This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 1,242,602

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES ·
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES · SCIENTIA · VERITAS
1817

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

Denisiuk, Nikolai F

А. Н. ОСТРОВСКАГО.

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ.

Составилъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ первый.

(1852—1859 гг.)

Въ первый выпускъ вошли статьи:

И. С. Тургенева, Ап. Григорьева, Н. Добролюбова, И. Панаева, Н. Чернышевскаго, Е. Эдельсона и др.; статьи изъ „Отечественныхъ Записокъ", „Современника", „Москвитянина", „Спб. Вѣдомостей", „Сына Отечества".

Цѣна 1 р.

МОСКВА.
ИЗДАНІЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.
Покровка, Лялинъ переулокъ, собств. домъ.
1906.

891.78
C85C
D38
v.1

ПОСТАВЩ. ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Т-ВО ОБ. ПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, МАЛОЯРОСЛАВСКІЙ ПЕР., С. Д.
1906.

0967086-172

ОГЛАВЛЕНІЕ

перваго выпуска.

Стр.

Александръ Николаевичъ Островскій. (Біографическій очеркъ.) **Н. Денисюкъ** 1

Нѣсколько словъ о новой комедіи г. Островскаго „Бѣдная невѣста". **И. С. Тургеневъ.** *(Современникъ, 1852 г., № 3)* 105

„Бѣдная невѣста" *(Отечественныя Записки, 1852 г., № 4)* 115

„Бѣдная невѣста". **Ап. Григорьевъ.** *(Москвитянинъ, 1853 г., № 1)* . . . 130

Современныя замѣтки. (Замѣтки и размышленія Новаго Поэта по поводу русской журналистики.) **Ив. Панаевъ.** *(Современникъ, 1853 г., № 4).* 145

„Не въ свои сани не садись". *(Отечественныя Записки, 1853 г., № 4)* . 156

„Бѣдность не порокъ". *(Отечественныя Записки, 1854 г., № 6)* 182

„Бѣдность не порокъ". **Н. Чернышевскій.** *(Современникъ, 1854 г., № 5)* . 206

„Бѣдность не порокъ". **Е. Эдельсонъ.** *(Москвитянинъ, 1854 г., № 5)* . . 218

„Не такъ живи, какъ хочется". *(Отечественныя Записки, 1855 г., № 1).* 235

„Въ чужомъ пиру похмелье". *(Спб. Вѣдомости, 1856 г., № 24)* 242

„Въ чужомъ пиру похмелье", г. Островскаго. *(Сынъ Отечества, 1856 г., № 1)* 250

„Доходное мѣсто", г. Островскаго. *(Сынъ Отечества, 1857 г., № 16)* . . 253

Два слова о главномъ дѣйствующемъ лицѣ комедіи г. Островскаго „Доходное мѣсто". **Н. Б.** *(Спб. Вѣдомости, 1857 г., № 111)* 256

„Доходное мѣсто", г. Островскаго. **Н. Н.** *(Спб. Вѣдомости, 1857 г., № 115)* 258

„Праздничный сонъ—до обѣда", комедія г. Островскаго. *(Сынъ Отечества, 1857 г., № 13)* 261

„Не сошлись характерами", картины московской жизни, А. Островскаго. *(Сынъ Отечества, 1858 г., № 15)* 262

Темное царство. (Сочиненія А. Островскаго. Два тома. Спб. 1859 г.) **Н. Добролюбовъ.** *(Современникъ, 1859 г., №№ 7 и 9)* 264

ОГЛАВЛЕНІЕ

примѣчаній о журналахъ и авторахъ, статьи которыхъ помѣщены въ первомъ выпускѣ.

Стр.

И. С. Тургеневъ 105

„Отечественныя Записки" 115

Ап. Григорьевъ 130

Ив. Панаевъ 145

Н. Чернышевскій 206

Е. Эдельсонъ 218

„Спб. Вѣдомости" 242

„Сынъ Отечества" 250

Н. Добролюбовъ 264

ОГЛАВЛЕНІЕ

статей перваго выпуска въ тематическомъ порядкѣ.

„Бѣдная невѣста“. Статьи: Стр.

И. С. Тургенева 105
„Отечественныхъ Записокъ“ 115
Ап. Григорьева 130
Н. Добролюбова 375, 379, 384

„Не въ свои сани не садись“. Статьи:

Ив. Панаева 145
„Отечественныхъ Записокъ“ 156
Н. Добролюбова 312, 340

„Бѣдность не порокъ“. Статьи:

„Отечественныхъ Записокъ“ 182
Н. Чернышевскаго 206
Е. Эдельсона 218
Н. Добролюбова 330

„Не такъ живи, какъ хочется“. Статьи:

„Отечественныхъ Записокъ“ 235
Н. Добролюбова 358

„Въ чужомъ пиру похмелье“. Статьи:

„Спб. Вѣдомостей“ 242
„Сына Отечества“ 250
Н. Добролюбова 344

„Доходное мѣсто“. Статьи:

„Сына Отечества“ 253
„Спб. Вѣдомостей“ 256, 258
Н. Добролюбова 354, 385

„Праздничный сонъ—до обѣда“. Статьи:

„Сына Отечества“ 261
Н. Добролюбова 377, 384

„Не сошлись характерами“. Статьи:

„Сына Отечества“ 262
Н. Добролюбова 369, 377, 383

„Семейная картина“. Статьи:

Н. Добролюбова 272

„Свои люди—сочтемся“. Статьи:

Н. Добролюбова 279

„Воспитанница“. Статьи:

Н. Добролюбова 371

Предисловіе.

Наше отношеніе къ своимъ выдающимся писателямъ, кажется, настолько всѣмъ хорошо извѣстно, что повторять еще разъ аксіому, ставшую ходячею монетой, нѣтъ никакой надобности. Въ то, напримѣръ, время, когда о Мольерѣ написано такое количество книгъ, статей, біографій и т. д., что только перечисленіе ихъ занимаетъ нѣсколько томовъ, мы объ Островскомъ не имѣемъ ни одного произведенія, которое хотя бы въ общихъ чертахъ давало представленіе о жизни и произведеніяхъ нашего лучшаго и, въ сущности, единственнаго драматурга. Въ то время, когда о всякомъ выдающемся писателѣ, имѣвшемъ счастье родиться гдѣ угодно, только не въ Россіи, существуетъ цѣлая огромная литература, выясняющая его литературное значеніе, убѣжденія, художественныя цѣли и задачи, особенности творчества, языка, литературныхъ пріемовъ, его личный характеръ, интимныя подробности его жизни, отношеніе современниковъ, критики, публики, литературныхъ вліяній и т. д.,—у насъ объ Островскомъ нѣтъ ровно ничего такого, что̀ ставило бы своею задачей освѣтить творчество и жизнь этого выдающагося дарованія. Въ то время какъ у насъ есть литературные критики-историки, спеціально изучившіе Шекспира, Мольера, Жоржъ-Зандъ и т. д., мы не имѣемъ ничего не только исчерпывающаго, но болѣе или менѣе серіознаго, обстоятельнаго, заслуживающаго вниманія о своихъ выдающихся художникахъ-писателяхъ. Каковы бы ни были причины такого прискорбнаго явленія: цензурныя ли условія, обще-культурныя, недостатокъ ли національнаго самосознанія и разумнаго національнаго чувства, живущее ли и доселѣ исключительное пристрастіе ко всему иноземному, недоста-

точность ли въ одномъ случаѣ,—т-е. когда дѣло касается русскаго писателя,—сырого литературнаго матеріала и изобиліе его въ другомъ, т-е. въ томъ, когда предметомъ описанія является иностранный авторъ,—но только фактъ остается фактомъ: русскіе писатели не пользовались и не пользуются тѣмъ вниманіемъ, которое предполагаетъ тщательное изученіе ихъ произведеній въ связи съ ихъ жизнью и временемъ.

Участь Островскаго въ этомъ смыслѣ нисколько не лучше участи всѣхъ остальныхъ нашихъ литературныхъ корифеевъ. По выраженію одного изъ критиковъ, „Островскій—писатель дарованія необыкновеннаго, человѣкъ сильный и честный, достойный любви, сочувствія, уваженія со стороны всѣхъ пишущихъ“, и все-таки, повторяю, мы до сихъ поръ не имѣемъ ни порядочно написанной его біографіи, ни разбора его произведеній.

Правда, были попытки издать нѣсколько сборниковъ критическихъ статей объ Островскомъ, имѣются также два-три біографическихъ очерка о немъ, нѣсколько главъ, разбросанныхъ въ сочиненіяхъ русскихъ критиковъ, въ разное время писавшихъ объ Островскомъ, да нѣсколько десятковъ газетныхъ и журнальныхъ статей, представляющихъ собою литературный матеріалъ, съ одной стороны, либо случайный, либо слишкомъ недостаточный, а съ другой—разбросанный по различнымъ изданіямъ и потому трудно доступный для пользованія публики! Между тѣмъ, интересъ къ Островскому среди читающей и театральной публики, несомнѣнно, существуетъ, судя по продажѣ его сочиненій на книжномъ рынкѣ, а также и по тому обстоятельству, что его пьесы собираютъ попрежнему театральный залъ и до сихъ поръ все еще служатъ фундаментомъ репертуара во всѣхъ столичныхъ и дѣйствительно серіозныхъ провинціальныхъ драматическихъ театрахъ.

Не ставя въ данный моментъ себѣ задачей самостоятельное изслѣдованіе жизни и творчества Островскаго, я собралъ все, что имѣется въ нашей литературѣ наиболѣе цѣннаго объ этомъ авторѣ и соединилъ въ одно цѣлое. Къ этому я прибавилъ біографію нашего драматурга, написанную съ тою полнотою, какую допускаютъ, съ одной стороны, размѣры книги, а съ другой, тотъ сырой матеріалъ біографическаго характера, которымъ пока можетъ располагать всякій, взявшій на себя въ данный моментъ, эту задачу.

Къ статьямъ, помѣщеннымъ въ книгахъ этого изданія, я присовокупилъ примѣчанія, выясняющія литературную физіономію и эстетическіе взгляды ихъ авторовъ или журналовъ, если имя автора осталось неизвѣстнымъ. Такимъ образомъ для неопытнаго читателя не остаются непонятными противорѣчія во взглядахъ авторовъ статей, помѣщенныхъ здѣсь бокъ-о-бокъ, и этимъ, мнѣ кажется, достигаются извѣстное единство и внутренняя связь перепечатанныхъ въ нашемъ изданіи критическихъ произведеній. Они теряютъ, благодаря этому, свой разрозненный характеръ и сливаются какъ бы въ одно цѣлое, разсматривающее предметъ съ разныхъ сторонъ, съ разныхъ точекъ зрѣнія, съ разныхъ историческихъ моментовъ.

Кромѣ того, я вносилъ въ статьи, гдѣ считалъ нужнымъ, поправки, разъясненія, дополненія, толкованія и т. д.

Статьи въ нашемъ изданіи расположены въ хронологическомъ порядкѣ. Нѣкоторыя изъ нихъ сокращены въ тѣхъ случаяхъ, когда шла рѣчь о сценическомъ воспроизведеніи разбираемыхъ пьесъ, или повторялся пересказъ содержанія этихъ пьесъ, уже приведенный въ ранѣе напечатанной статьѣ, или авторъ отдавалъ вниманіе злобѣ дня, для насъ потерявшей интересъ, или онъ безъ надобности допускалъ длинноты.

Н. Денисюкъ.

А. Н. Островскій.

Александръ Николаевичъ Островскій.

(1823—1886 г.)

Англичане о своей палатѣ лордовъ говорятъ, что она похожа на картофель, потому что лучшая ея часть подъ землею. То же можно сказать и о русскихъ писателяхъ-художникахъ. Къ числу этихъ корнеплодовъ принадлежитъ, безъ сомнѣнія, и Александръ Николаевичъ Островскій.

Островскаго нельзя ставить вровень съ Гёте, Шекспиромъ и даже Шиллеромъ, но среди русскихъ драматурговъ онъ занимаетъ по праву первое мѣсто. На одно изъ первыхъ мѣстъ онъ имѣетъ право и какъ художникъ и какъ писатель, произведенія котораго сыграли общественную роль.

Островскій—писатель исключительно національный, не претендующій на общечеловѣческіе типы. Онъ никогда, вѣроятно, поэтому не будетъ понятенъ иностранцамъ и никогда не будетъ удовлетворительно переведенъ на другой языкъ. Въ его произведеніяхъ отразился русскій человѣкъ, русское міропониманіе, русскіе нравы, обычаи и укладъ жизни, русскія отрицательныя стороны жизни и положительныя стороны русской души. О немъ съ полнымъ правомъ можно сказать: „Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ“.

Я не стану сейчасъ спорить ни съ тѣми, кто находилъ Островскаго никуда негоднымъ мыслителемъ; ни съ тѣми, кто искалъ глубокихъ мыслей въ его произведеніяхъ; ни съ тѣми, кто его считалъ „западникомъ“; ни съ тѣми, кто привѣтствовалъ его идеи какъ „славянофильскія“. Словомъ, здѣсь я не стану заниматься анализомъ, а укажу только на общую идею, пронизавшую всѣ, или почти всѣ, произведенія Островскаго; идею, которая имѣла для русскаго общества соціальную цѣнность; идею, которая поставила имя Островскаго въ ряды славныхъ бойцовъ за свободу личности и общественную свободу; идею, которая дала жизнеспособность его

лучшимъ произведеніямъ; идею, которая была и остается и доселѣ близкою и дорогою каждому изъ насъ, несмотря на разницу въ убѣжденіяхъ. Я говорю о *самодурахъ и самодурствѣ*, не какъ о специфическихъ свойствахъ русской природы, а какъ о результатѣ непроглядной духовной темноты, отсутствія культуры, самосознанія, общественнаго и политическаго строя.

Только въ послѣднія 20 лѣтъ у насъ стали намѣчаться политическія партіи; до этой же поры существовали небольшіе кружки „гражданъ", подпольно занимавшихся „внутреннею политикой". Такъ какъ бюрократическо-полицейскій строй не допускалъ людей вмѣшиваться въ дѣло, „до нихъ не относящееся", а за попытки въ сторону самоопредѣленія и желаніе осмыслить свое политическое существованіе посылалъ, надо полагать, съ цѣлями воспитательно-нравственными, въ мѣста безлюдныя, холодныя, приспособленныя самой природой для цѣлей исправительныхъ и уничтоженія „буйствъ духа", это породило крайнія партіи, крайнія мнѣнія, вѣру въ революціонный способъ борьбы. Въ силу этого единственнымъ средствомъ распространять свои идеи для нашихъ революціонеровъ являлись тайныя типографіи, а единственнымъ средствомъ борьбы съ правительствомъ за эти идеи—терроръ.

Легальная литература была очень тщательно обставлена рогатками цензурнаго устава и ворохомъ циркуляровъ, въ которыхъ даже, въ концѣ-концовъ, сами цензора не могли разобраться и, махнувъ на всякія „нормы" рукой, совершали надъ всѣмъ печатнымъ, что́ имъ попадало въ руки, то, что баши-бузуки въ русско-турецкую войну называли „сѣкимъ башка". Одинъ изъ экспромптовъ покойнаго поэта Минаева остроумно характеризуетъ то положеніе, въ которомъ находилась наша печать въ цензурныхъ комитетахъ, и тѣ операціи, которыя продѣлывались надъ нею цензурой:

Тамъ надъ статьями совершаютъ
Вдвойнѣ цивическій обрядъ:
Ихъ какъ евреевъ обрѣзаютъ
И какъ католиковъ крестятъ...

Каждая газета или журналъ должны были быть разсмотрѣны, смотря по содержанію статей, чуть ли не въ 12-ти цензурахъ. Въ 50-хъ годахъ цензоръ Никитенко пишетъ: „Вотъ сколько у насъ цензуръ: общая при мини-

стерствѣ народнаго просвѣщенія, главное управленіе цензуры, верховный негласный комитетъ, духовная цензура, военная, цензура при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, театральная при министерствѣ Императорскаго Двора, газетная при почтовомъ департаментѣ, цензура при Третьемъ отдѣленіи и новая педагогическая,—итого десять цензурныхъ вѣдомствъ. Если сосчитать всѣхъ лицъ, завѣдующихъ цензурою, ихъ окажется больше, чѣмъ книгъ, печатаемыхъ въ теченіе года. Я ошибся—больше: еще цензура по части сочиненій юридическихъ при Второмъ отдѣленіи и цензура иностранныхъ книгъ; всего двѣнадцать".

Извѣстная поговорка „гдѣ много нянекъ, тамъ дитя безъ носа" для нашей литературы отличалась еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ цензурныя няньки знали, что это дитя—пасынокъ, и пасынокъ нелюбимый, обладавшій докучливымъ свойствомъ египетскаго феникса, возрождавшагося изъ собственнаго пепла.

Всѣ эти перечисленныя Никитенко многообразныя цензурныя препоны существовали и до нашихъ дней, отгораживая русское общество китайскою стѣной ненарушимаго насильственнаго молчанія отъ всякой здоровой общественной мысли.

Благодаря не столько широкимъ, сколько безграничнымъ правамъ, даннымъ цензурѣ, она имѣла огромное значеніе и для каждаго литератора, въ частности, и для всей русской литературы, вообще. Теперь писать о произведеніяхъ того или другого литературнаго дѣятеля, не указавъ на то непосредственное воздѣйствіе, и моральное и физическое, которое оказала на него и его произведенія цензура, невозможно. Тѣ безчисленныя поврежденія, которыя претерпѣвала каждая рукопись нашихъ лучшихъ писателей, тотъ „рабій" языкъ, которымъ они вынуждены были писать благодаря требованіямъ цензуры, не могли не отразиться и на отдѣльномъ произведеніи каждаго россійскаго автора и на всей русской литературѣ, взятой вмѣстѣ. Для вполнѣ правильной оцѣнки произведеній нашей печати надо было бы ихъ разсматривать съ цензорскими гранками въ рукахъ. Сколько тамъ намогильныхъ крестовъ, искаженій первоначальной мысли, уничтоженныхъ цѣлыхъ главъ, написанныхъ цѣлыхъ главъ въ угоду цензурнымъ требованіямъ!.. Сколько изворотливости со стороны запуганнаго, затравленнаго цензур-

нымъ уставомъ писателя и сколько сноровки въ разысканіи и изловленіи запретныхъ мыслей со стороны цензора!.. Сколько лжи, съ одной стороны, и сколько служебнаго рвенія—съ другой!.. О, необозримое поле цензированныхъ гранокъ, „кто на тебѣ со славой палъ, чьи небо слышало молитвы?“

При такихъ условіяхъ люди, склонные къ полетамъ безпокойной мысли и недовольству существующимъ порядкомъ вещей, а равно и начальствомъ, поддерживающимъ оный порядокъ, должны были прибѣгнуть либо къ нелегальнымъ способамъ удовлетворенія своихъ человѣческихъ и гражданскихъ потребностей, либо подчиниться тѣмъ цензурнымъ требованіямъ, при которыхъ Щедринъ чувствовалъ, что съ него „съ живого сдираютъ кожу“. При нелегальной литературной дѣятельности литераторъ рисковалъ очень быстро, безъ особыхъ судебныхъ формальностей и излишнихъ гарантій правосудія, изъ литературнаго бытія перейти въ небытіе; и въ такихъ случаяхъ даже не могла утѣшать мысль, что въ отношеніи его произведеній оправдается изреченіе, что „всѣ имѣющіе уши слышать, да слышатъ“. Оставалось одно: печатать съ предварительной или съ разрѣшительной цензурой и избѣгать всего, что имѣло цѣлью указать промахи, недостатки бюрократическаго, экономическаго, финансоваго строя, господствующей религіи, церкви, духовенства, собственности, христолюбиваго воинства, полиціи, школы, семьи, всякихъ властей, ибо „нѣсть власти, аще не отъ Бога“, и т. д.

Цинизмъ и откровенность доходили до того, что даже самое слово *прогрессъ* стало запретнымъ. Извѣстный цензоръ Никитенко въ 1859 г. записываетъ въ свой дневникъ: „Запрещено употреблять въ печати слово прогрессъ. Въ самомъ дѣлѣ, это—безсмысленное слово въ приложеніи къ XIX вѣку, который утописты превозносятъ до небесъ, обѣщая, что онъ родитъ чудеса прогресса... У насъ хорошъ прогрессъ своего рода, когда даже запрещается употреблять это слово“.

Если же кто забывалъ, что онъ находится подъ опекою соотвѣтственнаго количества томовъ россійскихъ законовъ и еще большаго количества примѣчаній къ нимъ и циркуляровъ, запрещающихъ, съ одной стороны, колебать всѣ эти основы, а съ другой—опираться на нихъ, то въ его передней звякалъ колокольчикъ, ему предъявляли бумагу, въ которой было сказано—„фюить!“ И съ этого момента, какъ говоритъ

щедринскій помпадуръ, „vous êtes à milles verstes de votre chez-soi, de vos habitudes, de vos amis, de la civilisation...“ [1]).

Въ одинъ далеко не прекрасный день Петру Великому пришлось сдѣлать въ духовномъ регламентѣ за № 3718 слѣдующее постановленіе: „Аще кто о чемъ благословенное письмо сочинитъ, и тое бъ не печатать, но первѣе презентовать въ коллегіумъ; а коллегіумъ разсмотрѣть должно, нѣтъ ли какого въ письмѣ ономъ погрѣшенія, ученію православному противнаго“. Съ этого момента на Руси водворяется цензура, производя погромы въ литературныхъ произведеніяхъ, уныніе въ умахъ и усыпленіе чувствъ, единообразіе и единомысліе въ газетахъ и журналахъ, выправленіе міропониманія авторовъ и издателей, согласно офиціальному пониманію добра и зла. Вотъ тотъ путь, которымъ правящій классъ, насаждая, рука-объ-руку съ администраціей, тишину, благополучіе и порядокъ въ государствѣ и обществѣ, хотѣлъ достигнуть прочности устоевъ и положить непреодолимыя преграды естественному развитію страны.

Такимъ образомъ и такими средствами оберегала цензура и администрація общество отъ здоровыхъ, независимыхъ мнѣній лучшихъ русскихъ писателей. Оставалось одно: говорить въ такихъ формахъ, „кутать мысль“ въ такія непроницаемыя ткани, чтобы она была непонятна читателю, т.-е. именно тому, для кого и предназначалась данная идея. Надо было ее выводить въ свѣтъ извиняясь, присѣдая, заранѣе раскаиваясь въ поступкѣ, всячески затемняя, облекая въ иносказательныя формы, подмигивая читателю въ такихъ мѣстахъ, гдѣ фантазія и техника писателя отказывались изобрѣсти что-нибудь, не противорѣчащее цензурному уставу, строго блюдущему, чтобы какъ-нибудь, отъ злоупотребленій печати, не пострадали древнее величіе и фигура отечества. При такихъ условіяхъ занятіе ни соціальными науками ни публицистикой было невозможно. Всѣ литературныя силы страны ушли либо въ область художественной литературы, либо въ область литературной критики. Тамъ онѣ были до нѣкоторой степени безопасны и, „мысля образами“, вращаясь исключительно въ области личной пси-

---

[1]) Вы за тысячу верстъ отъ вашего дома, вашихъ привычекъ, друзей, цивилизаціи...

хологіи, любовнаго чувства, не внушали къ себѣ такого недовѣрія со стороны начальства.

Люди, занятые „звуками сладкими и молитвами", плакавшіе горькими слезами надъ судьбою своихъ героинь, описывавшіе красоты природы, свиданія при лунѣ и луну при свиданіяхъ, были, по мнѣнію центральнаго правительства, совершенно безопасны подъ строгимъ надзоромъ министерства Внутреннихъ дѣлъ. Они не станутъ раздумывать надъ вопросами, находящимися исключительно только въ вѣдѣніи того или другого министерства; они не станутъ заниматься разысканіемъ причинъ обѣднѣнія трудящихся земледѣльческихъ массъ въ Россіи, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе растущей государственной задолженности, непроизводительной траты финансовыхъ средствъ страны, поражающей смертности населенія, полной его безграмотности, безправности, технической и культурной отсталости и т. д. и т. д. При такомъ попустительствѣ въ пользу художественной литературы, правительство, очевидно, полагало добиться двухъ цѣлей: сдѣлать видъ, что, съ одной стороны, у него въ государствѣ, какъ и въ прочихъ западно-европейскихъ странахъ, насаждается литература; съ другой же стороны, не полагая окончательно препонъ естественной потребности человѣческой природы—мыслить и пропагандировать, ввести эту потребность (къ величайшему для администраціи сожалѣнію неистребимую) въ соотвѣтствующее видамъ правительства русло. Но и это русло было очень узко.

Художнику-писателю предоставлялась полная свобода надѣлять своихъ героинь и героевъ рѣдкими нравственными качествами, вовлекать ихъ въ различныя занимательныя любовныя исторіи, надѣлять ихъ тѣмъ или другимъ цвѣтомъ волосъ, величиною носа, одѣвать ихъ въ болѣе поношенное, менѣе поношенное платье или модный костюмъ, но при этомъ предписывалось строго-на-строго слѣдить, чтобъ они сходились исключительно для матримоніальныхъ цѣлей, не затрогивали общественныхъ вопросовъ, не пропагандировали свободной любви, а буде сами впадутъ въ оную, то чтобы это вышло не по соизволенію или попустительству автора, а нечаянно, по несчастному стеченію обстоятельствъ; но оная преступная любовь отнюдь не должна возводиться въ принципъ, быть выраженіемъ идеаловъ автора. Они могли

любить, любить и любить, но съ непремѣннымъ условіемъ не касаться ни вопросовъ религіозныхъ, ни общественныхъ, ни экономическихъ, ни нравственныхъ, ни политическихъ.

Ко всему этому, въ газетахъ и журналахъ допускалась, въ умѣренныхъ размѣрахъ, и публицистика, но сфера ея компетенціи была очень ограничена. Когда знаменитый Булгаринъ, редакторъ „Сѣверной Пчелы", спросилъ начальника III отдѣленія ген. Дуббельта, о чемъ же онъ можетъ писать, какихъ общественныхъ вопросовъ касаться, тотъ ему отвѣтилъ: „Театръ, выставка, гостиный дворъ, толкучка, трактиры, кондитерскія—вотъ твоя область, и дальше ея не моги ни шагу". Разумѣется, что и эти вопросы надо было подымать со всяческою осторожностью, потому что и надъ трактирами и гостинымъ дворомъ рѣяло начальство и, конечно, не всегда съ „душой, открытой для добра".

Нарисованная картина положенія русской печати съ нѣкоторыми динамическими отклоненіями существовала до нашихъ дней.

Если положеніе печати было тяжко, то для изображенія положенія театра уже не остается красокъ на палитрѣ историка.

До монгольскаго ига русскіе города въ своемъ экономическомъ и культурномъ развитіи шли въ-ногу съ остальною Европой. Народный театръ, въ лицѣ скомороховъ, народныхъ потѣшниковъ, подвизавшихся на площадяхъ, пирахъ, на улицахъ, словомъ, всюду, гдѣ была толпа, уши—чтобы слушать, и глаза—чтобы лицезрѣть, получилъ прочное начало. „Веселые молодцы" были украшеніемъ и великокняжеской гридни, и народной попойки, и праздной толпы. Въ былинѣ о Ставрѣ Годиновичѣ, Ставрова жена спрашиваетъ князя Владимира:

Чѣмъ ты, Владимиръ-князь, въ Кіевѣ потѣшаешься?
Есть ли у тебя веселые молодцы?

Ряженые скоморохи не только импровизировали, плясали и пѣли для праздной забавы, но зачастую, подъ маскою шутки, дурачества, потѣхи, зло осмѣивали народные пороки, боярскую спесь, глупость, административное убожество и экономическое неравенство. Просматривая фарсы древней Руси, вы убѣждаетесь, что, въ наше просвѣщенное время бюрократическаго абсолютизма, пьесы съ такимъ содержа-

ніемъ не пропустилъ бы ни одинъ цензоръ, желающій невозбранно, до предстоящей пенсіи, получать присвоенное ему содержаніе, чины и ордена.

Татарское иго тяжко отразилось на всей русской жизни, а въ томъ числѣ и на развитіи русскаго театра. Однако, и въ эпоху басурманской власти скоморошество и потѣха существовали и дѣлали, какъ никакъ, свое культурное дѣло; настоящее же иго для театра, значительно превосходящее татарское, начинается въ послѣпетровскій періодъ нашей государственности. Петръ Великій понималъ значеніе театра и всѣ силы употреблялъ для того, чтобы потѣшныя игры вошли въ общественный обиходъ. Правда, все это онъ продѣлывалъ со свойственною ему стремительностью и съ помощью исторической дубинки, полагая, что все можно создать, ко всему можно привить интересъ вдругъ, по манію царя.

Послѣ Петра коронованные его преемники поддерживали его традиціи, но у нихъ не было очень и очень многаго для того, чтобы улучшать и вводить въ жизнь намѣченныя имъ реформы. Въ ихъ рукахъ все омертвѣло, выродилось, приняло карикатурно-канцелярскія формы; ото всего наслѣдія этого гиганта - реформатора осталась только внѣшность, а содержаніе такъ было извращено, уничтожено и опоганено, что трудно было по немъ повѣрить въ грандіозность и прозорливость замысловъ этого великаго человѣка.

Централизуя, обезцвѣчивая и обезпложивая всю жизнь страны, русское правительство то же сдѣлало и съ русскимъ театромъ—онъ сталъ сначала придворнымъ, а потомъ казеннымъ.

Въ 1746 г. Волковъ въ Ярославлѣ строитъ первый русскій народный театръ и пишетъ для него пьесы. Изъ этого театра, какъ изъ ячейки, со временемъ должны развиться другіе провинціальные театры; онъ долженъ изъ нѣдръ народа вызвать сценическія дарованія, сценическихъ писателей, создать театральную публику, бытовой репертуаръ... Все это, конечно, было бы, если бы не было Петербурга съ его всевластною бюрократіей, вытягивающею изъ страны всѣ жизненные соки.

Театръ Волкова былъ переведенъ въ Петербургъ, сами артисты посажены на казенное иждивеніе и присмотръ. Свобода творчества кончилась; вдохновеніе и любовь къ дѣлу безвозвратно исчезли; самъ Волковъ зачахъ на 34 году

жизни; Сумароковъ, приставленный къ оному придворному театру на предметъ фабрикаціи, по случаю разныхъ тезоименитствъ, одолѣній, восшествій, прославленій, соотвѣтственныхъ пьесъ, спился, и живое многообѣщающее дѣло умерло.

Театръ игралъ чисто-служебную роль. Онъ долженъ былъ разнообразить жизнь Двора, увеселять придворную челядь, прославлять доброту, могущество, мудрость, государственный геній повелителя, а буде повелитель женска пола, то и красоту онаго. Разумѣется, при такихъ условіяхъ, когда Ломоносову и Тредьяковскому заказываютъ трагедіи, съ непремѣннымъ условіемъ, чтобъ онѣ имѣли въ виду тѣ цѣли, о которыхъ мы только-что говорили, и для этого выдаютъ, даже, очевидно, въ видахъ поощренія, казенную бумагу, смѣшно говорить о національномъ театрѣ, о развитіи сценическаго искусства и творчества, о плодотворныхъ задачахъ, объ отраженіи жизни, художественной правды и т. д.

Вторая стадія развитія нашего театра (если это, конечно, можно назвать развитіемъ) начинается съ того момента, когда онъ изъ придворнаго становится просто казеннымъ, сбрасываетъ ливрею придворнаго лакея и надѣваетъ мундиръ чиновника министерства Двора. Съ этого момента его двери охотно открываются для публики, и онъ даже въ интересахъ фиска заботится о репертуарѣ, постановкѣ и подборѣ актеровъ. Онъ уже не такъ связанъ съ жизнью Двора, свои спектакли не пріурочиваетъ къ придворнымъ событіямъ и церемоніаламъ, но онъ все же существуетъ на деньги министерства, его актеры выслуживаютъ пенсію, какъ заправскіе чиновники, его администрація назначается министромъ, получаетъ чины и ордена, а слѣдовательно... „чей хлѣбъ-соль ѣшь, тому и пѣсенки пой“.

Какъ видимъ, и тутъ для свободнаго развитія благопріятныя условія не наблюдаются. До царствованія Александра III казенный театръ монополизировалъ всяческія театральныя зрѣлища, концерты, благотворительные и литературные вечера и даже циркъ. Александръ III разрѣшилъ частные театры въ столицахъ, но повелѣніе, даже и высочайшее, чудесъ не дѣлаетъ. Преслѣдуемый, уничтожаемый и строжайше опекаемый и регламентируемый театръ не имѣлъ ни репертуара, ни традицій, ни воспитанной большой театральной публики, ни театральной критики, задавленной цензурой.

Цензурныя условія, въ которыхъ находилась русская печать вообще, были еще болѣе строги и ощутительны въ отношеніи театра. До сихъ поръ, напримѣръ, существуетъ еще спеціальная театральная цензура. Начиная съ золотого вѣка русскаго либерализма, съ вѣка великой ученицы французскихъ энциклопедистовъ Екатерины II, и кончая нашими днями, театральная цензура примѣняла гораздо болѣе суровыя требованія къ пьесѣ, чѣмъ ко всякому другому литературному произведенію. При Екатеринѣ, несмотря на ея звонкую фразу о томъ, что „театръ есть школа народная", награды получаютъ: Державинъ за „Фелицу", Петровъ за „Оды на карусель", Костровъ за торжественныя оды и т. д. Эти награды ясно подчеркивали, чего желала императрица отъ жрецовъ Аполлона. Когда Радищевъ и Новиковъ вздумали прислушаться къ голосу своей совѣсти, а не руководящимъ офиціальнымъ началамъ, имъ тотчасъ же показали, что они невѣрно поняли, чего, дѣйствительно, государыня желаетъ отъ своихъ литераторовъ. Когда Я. Б. Княжнинъ, по желанію Екатерины, написалъ „Титово милосердіе", гдѣ Титъ съ его милосердіемъ оказался совершенно ни при чемъ, а все дѣло свелось къ милосердію самой государыни, авторъ былъ въ почетѣ, но „Вадимъ", написанный въ 1783 г., не разрѣшенъ ни для сцены ни для печати.

Государынѣ важно было, чтобъ ея дворъ не отставалъ отъ Версаля. Она должна была окружить себя, какъ и Людовикъ XIV, представителями литературы. Это—чисто-меценатскій пріемъ, далекій отъ дѣйствительнаго пониманія роли печати въ странѣ. Государыня не жалѣла табакерокъ, писатели не жалѣли похвалъ, но когда французская революція показала, что литература существуетъ не для одной забавы, тогда бюстъ Вольтера моментально очутился въ подвалѣ, а тайная канцелярія начала усердно чинить расправу съ вольтерьянцами.

„Извѣстно, — говоритъ А. Н. Пыпинъ, — что обширная, даже наибо́льшая часть тогдашней литературы, насколько она касалась современной жизни государства и общества, была наполнена безусловнымъ панегирикомъ, нерѣдко терявшимъ всякую мѣру вѣроятія, доходившимъ до той степени лести, которую авторитетный историкъ литературы назвалъ прямо пресмыкательствомъ". Тредьяковскій постольку былъ терпимъ, поскольку онъ воспѣвалъ въ стихахъ Анну, и даже

и въ такихъ случаяхъ онъ не всегда угождалъ императрицѣ. Мы знаемъ, что за одну изъ одъ онъ получилъ всемилостивѣйшую пощечину. Ломоносовъ трудился надъ одами въ честь Елизаветы и т. д.

„При Екатеринѣ писатели могли писать, но то, что́ они писали, должно было быть въ строго правительственномъ духѣ. Типографіи могли печатать и размножаться количественно, но достаточно было одного распоряженія изъ Петербурга, чтобы всѣ книги собирались въ кучу и сжигались рукою палача“ [1]).

При Павлѣ положеніе театра въ смыслѣ цензуры, самособою, не улучшилось. Капризъ государя и произволъ власти не давали авторамъ увѣренности за завтрашній день. Сегодня разрѣшенная пьеса завтра навлекала самыя суровыя кары на автора, и обратно. Сначала, напримѣръ, „Ябеду“ Капниста разрѣшаютъ и для печати и для театра. Послѣ четвертаго представленія государь приказываетъ автора немедленно отправить въ Сибирь, а книгу конфисковать. Черезъ сутки Павелъ убѣждается, что пьеса хороша, и велитъ первому попавшемуся ему на глаза фельдъегерю скакать во всю прыть за несчастнымъ драматургомъ, вернуть его, и, кромѣ того, награждаетъ чиномъ статскаго совѣтника, перескочивъ черезъ цѣлый рядъ іерархическихъ ступеней (Капнистъ былъ только коллежскимъ асессоромъ). Съ Коцебу была та же исторія, гдѣ, по „щучьему велѣнью“, гнѣвъ смѣнялся милостью, а милость—гнѣвомъ, сопровождаясь каждый разъ то „поврежденіями“, то „монаршими милостями“.

Не измѣнились цензурный уставъ и цензурная практика и въ эпоху императоровъ Александра I и Николая I. Каковы были взгляды цензуры на драматическую литературу, каковы были ея представленія о задачахъ театра и каковы были ея требованія? Наиболѣе ярко все это обрисовываетъ донесеніе петербургскаго цензурнаго комитета 1809 г. по поводу пьесы „Дидона“. Вотъ оно:

1) Пьеса сія не содержитъ никакой нравственной цѣли, необходимо нужной для всѣхъ театральныхъ пьесъ.

2) Вся пьеса преисполнена выраженій слишкомъ подлыхъ и для тонкаго уха оскорбительныхъ, а особливо если ихъ произноситъ Эней, или Дидона, или другія важныя

---

[1]) „Матеріалы къ исторіи русскаго театра“, барона И. В. Дризена.

особы, напримѣръ: „вся глотка пересохла“ и пр.; „а послѣ они насъ такъ взбутетенили, что небо въ овчинку показалось“ и пр.; „охъ, матушка, охъ, милая, не огурчика мнѣ хочется“.

3) Комитетъ находитъ неприличнымъ выводить на сцену лица царственныя въ столь подломъ и непристойномъ видѣ.

4) Непочтительность Энея къ его дядѣ, выраженная самыми грубыми словами, предосудительна и противна нравственности; напримѣръ, Эней говоритъ ему: „Эхъ, дядюшка, нелегкая тебя суетъ“; также: „Сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро“ и пр.

5) Пьеса сія, вообще, ни къ чему иному служить не можетъ, какъ только къ поврежденію вкуса, распространенію подлыхъ выраженій въ народѣ и оскорбленію тонкаго чувства благородныхъ зрителей.

Разумѣется, пьеса была запрещена. Изъ этого характернаго документа видно, въ какихъ цензурныхъ условіяхъ былъ авторъ въ началѣ XIX вѣка. Его герои должны быть во что бы то ни стало почтительны къ старшимъ и въ XIX вѣкѣ такъ же свято исповѣдывать культъ предковъ, какъ это возможно было только въ древнемъ Иранѣ, или во времена Русской Правды; они должны были выражаться на самомъ изысканномъ языкѣ, даже если бы говорившій персонажъ и принадлежалъ къ низшимъ слоямъ общества. Вѣдь, говорятъ же во Франціи всѣ дворники по-французски? Помимо этого соображенія, удерживающаго ихъ отъ разсужденій объ „огурчикѣ“, всѣ выводимыя лица должны быть преисполнены всяческихъ нравственныхъ качествъ и совершенствъ. Наконецъ, самая пьеса должна сводиться къ нравоученію, по рецепту Тредьяковскаго: „Главнѣйшая польза отъ трагедіи, чтобы пороки были истреблены, а добродѣтели торжество, съ великимъ удовольствіемъ сердцу читателеву, себѣ получили“.

Само-собою разумѣется, что при такихъ условіяхъ о художественности, характерахъ, жизненной правдѣ, типахъ, исторической вѣрности, идейности не могло быть и рѣчи. 20-е годы не только не принесли театру цензурныхъ облегченій, но еще болѣе усилили надзоръ за „народною школой“. Въ эти годы русскія войска тріумфально прошли въ Парижъ и обратно, все и вся разбивая, покоряя, освобождая и разрушая. Изъ „современнаго Вавилона“ они занесли въ Россію „вольнолюбивыя мечты“ и литературные вкусы. Ни то ни другое не имѣлось въ виду при посылкѣ армій для

окончательнаго пораженія и изловленія „маленькаго капрала“. Предполагалось, что войска разобьютъ, что́ имъ разбить было приказано, и вернутся все съ тою же слѣпою вѣрой въ совершенство политическаго строя родины, ея богатство, довольство, величіе, процвѣтаніе наукъ, искусствъ и пр. Оказалось, что тлетворное вліяніе Запада затронуло „питомцевъ славы“. Подъ вліяніемъ всего этого зашевелилось слегка и общество. Разумѣется, отвѣтомъ на всѣ такого рода движенія всегда въ Россіи были одни и тѣ же дѣйствія правительства: строгій надзоръ за печатью и, по возможности, искорененіе оной. Жуковскаго переводъ „Іоанну д'Аркъ“ запретили и только всесильное россійское средство—протекція—спасло дѣтище Шиллера. Вступился великій кн. Николай Павловичъ. На нѣмецкомъ театрѣ запрещаютъ „Эгмонта“ Гёте, потому что въ немъ возмущаются ирландцы, а посему, „вмѣсто того, чтобы внушить зрителямъ повиновеніе правительству“, внушаютъ чувства, не имѣющія ничего общаго съ тѣми чувствами, на коихъ незыблемо покоится „существующій порядокъ вещей“. Словомъ, ни о какихъ попустительствахъ цензуры не могло быть и рѣчи. Не разрѣшая драматургамъ писать ни о чемъ, что, дѣйствительно, представляло хоть какой-нибудь общественный интересъ, цензура не допускала и обсужденій въ печати игры актеровъ императорскихъ театровъ. Все, на чемъ лежитъ казенная печать, должно быть совершенно и неприкосновенно. При Николаѣ I, большомъ любителѣ театра, жрецамъ Таліи жилось легче. Однако, государь допускалъ только такія пьесы, авторы которыхъ не вмѣшивались въ дѣла, до нихъ не относящіяся. Мы знаемъ, сколько крови цензура испортила автору „Бориса Годунова“, Грибоѣдову, Гоголю, Лермонтову. Подвергались запрещенію такія благонамѣреннѣйшія пьесы, какъ „Марѳа-Посадница“—М. П. Полевого, „Генералъ-поручикъ Паткуль“—Н. Кукольника и т. д. Конечно, послѣ того, какъ Кукольникъ написалъ „Рука Всевышняго отечество спасла“, о немъ мнѣніе государя сильно измѣнилось къ лучшему. Въ этой борьбѣ цензуры съ творческими силами страны пострадали даже иностранцы, какъ, напримѣръ: В. Гюго, Бомарше и Мейерберъ. Запрещены были „Гугеноты“; „Маріонъ Делормъ“ В. Гюго тоже должна была удалиться съ петербургскаго французскаго театра; „Свадьба Фигаро“ не могла итти на русскомъ языкѣ и т. д.

Возможно ли было при такихъ условіяхъ развитіе нашего театра? Кому же охота писать только для того, чтобъ его произведенія читали чины охраннаго отдѣленія, а самъ авторъ, вмѣсто гонорара, получалъ бы казенное иждивеніе въ видѣ арестантскаго халата и пищевого пайка при слѣдованіи въ мѣста, не столь отдаленныя? Гр. Соллогубъ пишетъ о русскомъ театрѣ: „Предметъ комедіи—пороки, недостатки, слабости людей. Чьи же пороки можетъ выставлять русскій комикъ?—Дворянства, купечества, чиновничества, военнаго сословія, высшаго сословія? Ничьи нельзя: всѣ разсердятся и возопіютъ... Слѣдовательно, собственнаго театра, въ высшемъ смыслѣ, быть еще у насъ не можетъ".

Допустимъ, что человѣкъ, никогда не бывавшій въ Россіи и вовсе незнакомый съ ея общественною жизнью, пожелалъ бы ознакомиться съ нею въ театрѣ, основательно разсуждая, что отечественная драматургія должна отразить въ себѣ настроенія общества, преобладающія формы жизни, его типичныя явленія и т. д. и т. д. Онъ запасается кучей театральныхъ билетовъ и начинаетъ изучать русскую дѣйствительность, проведенную черезъ призму національнаго театра. Послѣ цѣлаго ряда просмотрѣнныхъ пьесъ онъ долженъ былъ бы разсуждать приблизительно такъ: „Странная страна эта Россія!.. Все общество живетъ только личною жизнью, мелкими семейными дрязгами, семейными заботами, матримоніальнымъ обманомъ, громкими пустопорожними фразами, угрозами по совершенно неизвѣстному адресу, надеждами на совершенно неопредѣленныя возможности, вѣрой въ совершенно неопредѣленные идеалы, томленіемъ духа и скорбью по какимъ-то безформеннымъ формамъ жизни. Они *вообще* страдаютъ, *вообще* желаютъ, *вообще* надѣются, *вообще* протестуютъ, но какъ вы ни напрягайте вашу сообразительность, вы подъ этимъ безплотнымъ и безплоднымъ *вообще* не уловите ни одного конкретнаго образа. Въ Россіи, очевидно, нѣтъ ни властей, ни духовенства, ни полиціи, ни рабочаго вопроса, ни крестьянскаго вопроса, нѣтъ соціальной и политической борьбы, нѣтъ никакихъ широкихъ общественныхъ интересовъ, а есть только обыватели съ ихъ личными настроеніями и семейными дѣлами. Невольно спрашиваешь съ недоумѣніемъ: какъ могутъ эти обыватели существовать внѣ всякой связи съ общими условіями жизни? Такая связь, несомнѣнно, есть: общія условія кладутъ неизбѣжно свой

отпечатокъ на частную жизнь. Почему же мы не видимъ этой связи на сценѣ? Всѣ дѣйствующія лица точно сговорились не упоминать ни однимъ словомъ о чемъ-то общемъ и очень важномъ, безъ чего ихъ жизнь дѣлается похожа на страницу, случайно вырванную изъ середины толстой книги. Это что-то похожее на игру: „Бѣлаго и чернаго не называйте, „да“ и „нѣтъ“ не говорите“. Получается рядъ странныхъ впечатлѣній: мы слышимъ, напримѣръ, со сцены протестующія тирады, но эти протесты какъ-будто направлены въ пустое пространство; слышимъ призывъ къ борьбѣ, но не видимъ на сценѣ воочію тѣхъ враговъ, съ которыми надо бороться, а если видимъ, то все это—такіе ничтожные воробьи, по которымъ не стоитъ стрѣлять.

Топчутся персонажи на сценѣ, точно хоръ въ оперѣ, въ теченіе всего акта подымающій мечи, сотрясающій воздухъ боевыми кличами и дальше рампы не идущій. Или вотъ передъ нами упорно ноютъ хорошіе, умные люди: что-то скомкало ихъ, обрѣзало у нихъ крылья, но это „что-то“ остается скрытымъ отъ насъ, и мы невольно начинаемъ думать, что всѣ эти хорошіе, умные люди ноютъ просто потому, что они—„нытики“, люди не пригодные на дѣйствительную жизненную борьбу, большія раскапризничавшіяся дѣти. Не менѣе странное впечатлѣніе производятъ на насъ и бодрые, самоотверженные люди, борцы за идеалъ: они говорятъ смѣло, зовутъ впередъ, но сами почему-то ничего не дѣлаютъ или ограничиваются такимъ крошечнымъ добрымъ дѣльцемъ, что вся эта шумиха становится подъ-конецъ забавною, во всякомъ случаѣ не стоящею того, чтобы изъ-за нея сидѣть весь вечеръ въ театрѣ, писать четыре акта и утруждать драматическую цензуру. Вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуешь, что эти борцы гдѣ-то тамъ, за сценой, дѣйствительно дѣлаютъ и дѣйствительно борются, а до сцены достигаютъ только невнятные отголоски этого; кругомъ разыгрывается буря, а на театральные подмостки попадаютъ только клочки пѣны, плавающей на поверхности“.

Севастополь палъ, крѣпостное право пало, „мундирные фраки были замѣнены мундирными полуфраками“, гражданъ посылали въ каторгу и тюрьму черезъ посредство быстраго и милостиваго суда, а печать все находилась въ положеніи Гулливера, зажатаго между двухъ пальцевъ (цензура и администрація) великана, и все съ трепетомъ ждала: отпустятъ, изуродуютъ или раздавятъ.

Само-собою разумѣется, что и Островскій, несмотря на то, что писалъ пьесы „въ улыбательномъ духѣ", какъ говорилось встарину, не избѣжалъ попечительнаго воздѣйствія цензурнаго вѣдомства. *Свои люди—сочтемся* была запрещена, а авторъ за оскорбленіе цѣлаго сословія, изъ котораго правительство вербовало откупщиковъ, патріотовъ своего отечества, цѣловальниковъ и людей съ „густо-консервативными" убѣжденіями, былъ взятъ „подъ сумлѣніе", т.-е. подъ надзоръ полиціи. *Не въ свои сани не садись* также чуть-было не надѣлала хлопотъ автору, но его спасла чистая случайность: императоръ Николай Павловичъ, просмотрѣвъ пьесу, сказалъ: „Очень мало пьесъ, которыя доставили бы мнѣ такое удовольствіе—ce n'est pas pièce, c'est une leçon". *Доходное мѣсто* было запрещено наканунѣ перваго представленія и лишь впослѣдствіи вновь дозволено. *Воспитанница*, несмотря на время реформъ и освободительныя вѣянія въ правительствѣ и обществѣ (1859 г.), не была одобрена къ представленію.

Вотъ въ общихъ чертахъ разсказъ или, правильнѣе, мартирологъ русской театральной литературы. Красной нитью по исторіи театра проходитъ принципъ административнаго обуздыванія и предохраненія отъ „излишествъ".

Однако, какъ ни остроумно и обильно были поставлены препоны для печатнаго слова страны, оно понемногу дѣлало свое дѣло. Загнанное въ уголъ самыхъ благонамѣренныхъ темъ, оно и тамъ сумѣло сыграть роль проводника освободительныхъ идей.

Среди шума революціи этого года и, кажется, окончательнаго крушенія абсолютизма и полицейско-бюрократическаго строя, старый боецъ, видавшій виды, г. Боборыкинъ въ своей лекціи напомнилъ русскому обществу о заслугахъ нашей беллетристики.

Надо, говоритъ лекторъ, обратиться къ прошлому и посмотрѣть, чему служила, за что страдала и боролась русская беллетристика, и въ самомъ прошедшемъ прослѣдить связь съ настоящимъ. Не будемъ бояться страшныхъ словъ. Россія переживаетъ революціонный періодъ. Но движеніе не должно быть всецѣло истребительнымъ. Довольно погромовъ. Мы не пойдемъ на погромъ нашего общественнаго достоянія. Надо цѣнить все то, что́ русская беллетристика принесла русскому самосознанію. Болѣе ста лѣтъ тому рус-

скій беллетристъ за свои воззрѣнія былъ приговоренъ къ смертной казни: за „неистовыя израженія противу сана и власти царской“ Радищеву было постановлено „отсѣчь голову“, и этотъ приговоръ санкціонировала „великая россійская жена“, ученица Дидро и энциклопедистка, Екатерина II. „Путешествія Радищева“ сыграли роль символа и предзнаменованія для всей нашей послѣдующей беллетристики. Марлинскій, Грибоѣдовъ, Пушкинъ и Гоголь являются отразителями общественныхъ настроеній. Даже Гоголь, котораго нельзя назвать не только революціонеромъ, но даже свободнымъ мыслителемъ, несмотря на свои воззрѣнія, силой могучаго таланта сыгралъ огромную роль въ освободительномъ дѣлѣ. Беллетристика забрасывала искры въ самосознаніе общества и будила протестъ. А Герценъ, съ мощностью его таланта и умѣніемъ наносить удары, съ его великою ненавистью къ соціальной несправедливости! И этотъ человѣкъ былъ беллетристомъ. А заслуги Тургенева въ борьбѣ съ соціальною неправдой! Тогда еще не было рабочаго вопроса, и приходилось бороться со страшнымъ гнетомъ, порабощавшимъ всю еще недиференцировавшуюся трудящуюся массу. Далѣе идетъ молодая генерація писателей—и Михайловъ, и Некрасовъ, и народники. Всюду живетъ протестъ, всѣ будятъ общественную мысль. Въ то время еще не народился типъ, являющійся выразителемъ коллективной рабочей психологіи, и лишь современная жизнь выдвигаетъ его. Самъ Толстой съ его ученіемъ о непротивленіи злу, останавливающимъ всякій протестъ, какъ художникъ, сыгралъ колоссальную роль въ дѣлѣ раскрѣпощенія общества. Анализируя тѣ теченія въ русской беллетристикѣ, которыя противорѣчили стремленіямъ къ свободѣ, лекторъ отмѣтилъ, что эти теченія только подчеркивали общій тонъ русской беллетристики, которая всегда оставалась вѣрна завѣтамъ исканія общественной правды. Какіе же идеалы преслѣдовала русская беллетристика въ лучшей своей долѣ? Прежде всего—идеалъ широкой человѣчности, далѣе—раскрѣпощеніе, милость къ падшимъ, политическое освобожденіе и соціальное равенство. Всегда, на протяженіи десятилѣтій, она боролась съ нашимъ общимъ врагомъ или, точнѣе, съ тремя врагами—бездушнымъ и жестокимъ самоуправствомъ власти, пресмыкающимся передъ властью церковнымъ управленіемъ и хищническою централизаціей. Сочетаніе худо-

жественной правды съ общественными стремленіями и протестомъ—великое достояніе русской беллетристики.

Среди атмосферы безправія и соціальной несправедливости, приниженности и темноты, литература зачастую оставалась единственнымъ факеломъ, освѣщавшимъ путь изнемогающимъ путникамъ, и вела ихъ туда, гдѣ слабѣющій глазъ неясно различалъ свѣтъ.

Въ то время, когда по землѣ ползли только призраки и малѣйшій шорохъ пугалъ тюремщиковъ общественности, литература протестовала изо всѣхъ силъ, которыя находились въ ея распоряженіи. Облекаясь въ различные покровы, прикрываясь разнообразными маскарадными костюмами, дѣйствуя то мѣткимъ словечкомъ, то образомъ, то параллелями, то уподобленіями, то экивоками, она протестовала, протестовала и протестовала!..

Среди этихъ протестантовъ—какъ я уже сказалъ—не послѣднее мѣсто занимаетъ и Островскій.

Островскій нарисовалъ патріархальный бытъ русской семьи съ безотвѣтственнымъ самодуромъ-патріархомъ и безгласными рабами-домочадцами. Этого, конечно, вполнѣ достаточно для того, чтобы возникъ въ умѣ читателя вопросъ объ органической связи такой кабальной семьи съ кабальными же формами экономической, общественной и государственной жизни; о причинной связи между тѣмъ, что́ дѣлается въ Замоскворѣчьѣ, и тѣмъ, что́ наблюдатель видитъ на протяженіи „отъ финскихъ хладныхъ скалъ, до пламенной Колхиды“.

Такое уродливое явленіе какъ самодуръ—глава семьи—и самодурство, какъ типичное общественное явленіе, не могло возникнуть иначе, какъ въ соотвѣтствіи съ остальными факторами русской дѣйствительности. Нуженъ соотвѣтствующій составъ почвы, чтобы выросъ Титъ Титычъ и чтобы онъ не только безнаказанно, но съ полнымъ сознаніемъ своего права могъ проявлять свой „ндравъ“, а окружающіе вѣрили, что его никто обидѣть не можетъ, потому что онъ самъ всѣхъ обидитъ.

Безропотная покорность, молчаніе и безусловное признаніе авторитета—высшія добродѣтели, равно обязательныя для всѣхъ, „отъ мала до велика“. Глава семьи въ отношеніи своихъ домочадцевъ является такимъ же абсолютнымъ властителемъ, какимъ ближайшее начальство является въ

отношеніи этихъ маленькихъ сатраповъ; въ свою очередь, эти послѣдніе находятся въ такомъ же подчиненіи въ отношеніи высшаго начальства и т. д. Словомъ, „чинъ чина почитай". Когда императору Павлу кто-то осмѣлился почтительнѣйше возразить, опираясь на законъ, государь пришелъ въ ярость и, ударяя себя въ грудь, закричалъ: „Здѣсь вашъ законъ!" Лейбъ-медикъ Роджерсъ такъ описываетъ это же время: „Здѣсь, кажется, все происходитъ случайно, подъ вліяніемъ минуты. Когда онъ *хочетъ*, ему возражать не смѣютъ; онъ смотритъ на совѣтъ или представленіе, какъ на возмущеніе".

Вотъ тотъ общественный строй, на почвѣ котораго такъ пышно расцвѣли самодуры Островскаго.

Исторія народовъ даетъ обширный матеріалъ для вывода, что форма семьи складывается въ соотвѣтствіи съ хозяйственными и государственными формами жизни народа и, въ свою очередь, вліяетъ на нихъ. Лакомбъ въ своей „La famille dans la société romaine" доказываетъ, что нигдѣ патріархальныя рамки семьи не отлились въ такія рельефныя формы, какъ у римлянъ, зато и нигдѣ семья не оказала такого вліянія на жизнь народа. Онъ говоритъ, что міровое значеніе Рима разрушено было господствомъ отца. Подъ давленіемъ этой деспотической идеи формировались не только граждане и солдаты, но и тотъ типъ монархіи, который привелъ Римъ къ паденію. И въ самомъ дѣлѣ, какъ могъ народъ итти впередъ, развиваться и крѣпнуть, если онъ формировался подъ угломъ зрѣнія патріархальной семьи, состоявшей (по опредѣленію Момзена) изъ свободнаго мужчины, достигшаго собственной власти благодаря смерти своего отца, жены, торжественно повѣнчанной съ нимъ жрецами при помощи обряда confarreatio, который отдаетъ въ руки pater familias'а (господина надъ всѣми членами семьи) право полнаго владѣнія и господства надъ сыновьями, внуками и ихъ законными женами и незамужними ихъ дочерьми и внучками, вмѣстѣ съ принадлежащимъ имъ имуществомъ. По древнему римскому праву, жена всю свою жизнь остается въ полномъ распоряженіи своего мужа-господина и даже послѣ его смерти не получаетъ самостоятельности. Мужъ можетъ убить свою жену, если онъ обличитъ ее въ невѣрности; если же онъ самъ нарушитъ супружескую вѣрность, то наказуется постольку, поскольку онъ нарушилъ патріархальное право

другого мужчины. Мужчина могъ прогнать безплодную или невѣрную жену. Еще суровѣе ложилась власть pater familias'а на его потомство. Если онъ не подниметъ новорожденнаго ребенка, котораго обязаны положить къ его ногамъ, какъ господина, и этимъ не признаетъ его своимъ, то ребенка убиваютъ. Глава семьи также женитъ и выдаетъ замужъ своихъ сыновей и дочерей, по собственному усмотрѣнію, а не согласно ихъ волѣ, хотя формально онъ и долженъ спрашивать ихъ согласія на этотъ бракъ, но общій укладъ патріархальной семьи воспитывалъ дѣтей такъ, что предъ грозною волей господина уста дѣтей могли говорить только угодное ему. „По римскому праву,—говоритъ Момзенъ,—рабу легче освободиться отъ своего господина, чѣмъ сыну отъ отца". Естественно, что, гдѣ семья воспитывается на принципѣ непререкаемаго авторитета главы ея, тамъ этотъ же принципъ долженъ лечь и въ основу общественныхъ, экономическихъ и государственныхъ формъ жизни, иначе будетъ нарушено единство и стройность системы, потеряется равновѣсіе частей государства, выпадетъ одно изъ звеньевъ цѣпи, ослабѣетъ цементирующее начало, а вмѣстѣ съ этимъ и вся система должна будетъ рухнуть.

Разсматривая семью съ исторической точки зрѣнія, мы видимъ, что семейное право тѣсно связано съ имущественнымъ правомъ и религіознымъ культомъ. Эволюція собственности, религіозныхъ вѣрованій и семьи совершается параллельно, въ зависимости одна отъ другой. Патріархальная семья тѣсно связана съ институтомъ семейной общины, называвшейся въ древне-русскихъ юридическихъ актахъ XVI и XVII вѣка „Огнищемъ", „Печищемъ" (культъ семейнаго очага), а во времена Тацита и Цезаря у другихъ народовъ—gentes, cognationes hominum, qui una coierunt, genealogiae, consorteriae, „орба", „задруга" и т. д. Такая семья опирается на преемственность власти старшаго въ родѣ мужчины. Отсюда понятенъ, съ одной стороны, „культъ предковъ", какъ покровителей рода, слѣдящихъ и непосредственно вмѣшивающихся въ дѣла семьи изъ загробнаго міра, а съ другой—право собственности, не могущей быть раздѣленною между членами семьи. При такихъ условіяхъ и трудъ, и собственность, и потребленіе должны быть общими, а распоряженіе всѣмъ этимъ принадлежитъ главѣ семьи. Выдѣленіе отдѣльныхъ членовъ невозможно, а слѣдова-

тельно, не допускается и вообще всякая индивидуализація, будетъ ли она касаться духовной или матеріальной стороны жизни.

Для людей, принужденныхъ бороться съ органическою и неорганическою природой, имѣя въ своемъ распоряженіи примитивные орудія и способы для этой борьбы, конечно, остается одно средство—объединеніе, совокупныя усилія и дѣйствія, твердая власть, коллективизмъ; но по мѣрѣ движенія впередъ, по мѣрѣ накопленія опыта и усовершенствованія техническихъ пріемовъ, начинается индивидуализація: личность заявляетъ свои права и требуетъ ихъ огражденія отъ посягательства другой воли. Вотъ тутъ-то и начинается жестокая борьба между отживающимъ патріархальнымъ строемъ и нарождающимся правовымъ порядкомъ. Борьба эта тянется на протяженіе большихъ историческихъ періодовъ и требуетъ большихъ усилій со стороны борцовъ. Разлагающійся патріархальный строй уже не соотвѣтствуетъ новымъ формамъ и требованіямъ жизни, не приноситъ съ собою внутренній миръ и благосостояніе семьи и государства: онъ уже внутри разложился, сгнилъ и представляетъ архаизмъ, но еще не бросаетъ позиціи, опираясь на невѣжество, робость умовъ и традиціи, освященныя вѣками.

Когда Аристотель разрѣшаетъ вопросъ о различныхъ формахъ правленія, то отдаетъ преимущество монархической, потому что „она ближе подходитъ къ естественному правленію, особенно къ управленію семьей". Абсолютная монархія можетъ вырасти и держаться только на патріархальномъ принципѣ; авторитетъ церкви опирается также на безусловное слѣпое подчиненіе ея боговдохновенности; отсюда же получаетъ силу и рабство, какъ система хозяйства. Праву, какъ выраженію духа и воли націи, здѣсь не можетъ быть мѣста. Законы создаются кастой всевластной бюрократіи, санкціонируются абсолютнымъ монархомъ; абсолютизмъ главы государства, устами церковныхъ жрецовъ, освящается именемъ Бога. Такимъ образомъ, распутать этотъ клубокъ или даже внести частичныя поправки нѣтъ никакой возможности, такъ какъ концы его спрятаны въ недосягаемыхъ для нашего ума и воли небесахъ. Попробуйте потрясти хотя бы одинъ изъ этихъ столповъ, и все зданіе зашатается. Вотъ почему рѣшительно всѣ звенья этой цѣпи, опутывающей издревле народы, такъ тѣсно связаны между собою, такъ

неразлучны и такъ чутко стерегутся и сурово наказываются абсолютизмомъ, разсматривающимъ всякую попытку усомниться въ томъ, что всякая власть санкціонирована Богомъ и потому непререкаема, какъ тягчайшее преступленіе. Вотъ почему освобожденіе крестьянъ у насъ было связано съ такими трудностями, подготовлялось такъ долго, откладывалось, вызывало со всѣхъ сторонъ столько воплей ужаса, негодованія по адресу вольнодумцевъ. Церковь и абсолютистское правительство и собственники хорошо понимали, что, измѣняя хозяйственный строй страны освобожденіемъ крестьянъ, они разрушаютъ одинъ изъ четырехъ устоевъ (семья, государство, собственность, церковь), на которыхъ покоится современный общественнный строй. Разъ трудящіяся массы станутъ, въ отношеніи работодателей, юридически независимыми, тутъ будетъ нанесенъ непоправимый ударъ власти господъ по отношенію къ рабамъ. Разъ допускается свобода договора трудящагося и дающаго трудъ, то этимъ разрушается общій принципъ безусловнаго господства, съ одной стороны, и безусловнаго повиновенія, съ другой. „Бога бойтесь, царя чтите. Раби повинуйтесь во всякомъ страсѣ владыкамъ, не токмо благимъ и кроткимъ, но и строптивымъ. Се бо есть угодно передъ Богомъ“,—такъ говоритъ апостолъ Петръ. На этомъ же принципѣ и была построена у насъ до сихъ государственность, церковь, семья и собственность. Манифестъ 19-го февраля 1861 г. сдѣлалъ брешь въ институтѣ собственности, и это отразилось на всемъ остальномъ положеніи вещей. Переходъ къ новымъ формамъ хозяйства повлекъ за собою реформы и въ другихъ областяхъ народной жизни. Правда, реакція была не такъ ужъ слаба и хорошо понимала, къ чему ведетъ это частичное измѣненіе фигуры отечества, издревле установившейся и освѣщенной преданіями вѣковъ. Одна часть реакціонеровъ встревожилась не на шутку и начала сулить всякія бѣды, опираясь на нравственный авторитетъ апостола Павла, сказавшаго: „Всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется“. Они не безъ основанія предрекали, что за паденіемъ одной категоріи власти—власти помѣщика—падутъ и другія категоріи. Болѣе смѣтливые и житейски-опытные говорили, что поелику затронутъ одинъ изъ китовъ, на которомъ держится порядокъ страны, то особенно опасаться нечего. „Я питаю увѣренность,—говоритъ одинъ изъ героевъ „Невинныхъ разсказовъ“ Ще-

дрина,—что мы возродимся. Я просто пришелъ къ заключенію, что это не болѣе какъ страшный сонъ. Мы возродимся—это вѣрно. Потому ненатурально! Развѣ можно существовать безъ системы?.. Конечно, сначала все это будетъ какъ-будто подъ пепломъ, а потомъ оно потеплится-потеплится, да и воспрянетъ настоящимъ манеромъ". И тѣ и другіе были правы. И сильный классъ собственниковъ, и церковь, и центральное правительство вскорѣ убѣдились, что однѣ реформы влекутъ за собою другія, что, реформируя жизнь въ одной отрасли, тѣмъ самымъ вызываешь потребность реформъ и въ остальныхъ. Разрушая авторитетъ помѣщика, уничтожая рабство экономическое, надо быть готовымъ и вообще къ разрушенію всѣхъ авторитетовъ, всѣхъ рабствъ; даруя свободу одному классу, надо быть готовымъ къ раскрѣпощенію всего народа, ибо основаніе всѣхъ несвободъ одно и то же. „Крѣпостное право,—говоритъ Щедринъ,—упразднено, но еще не сказало своего послѣдняго слова. Это цѣлый громадный строй, который слишкомъ жизненъ, непроникающъ и силенъ, чтобы исчезнуть по первому манію. Обыкновенно, говоря о немъ, разумѣютъ только отношенія помѣщиковъ къ бывшимъ крѣпостнымъ людямъ, но тутъ только одна капля его. Эта капля слишкомъ специфически пахла, а потому и приковала къ себѣ вниманіе всѣхъ. Капля устранена, а крѣпостное право осталось. Оно разлилось въ воздухѣ, освѣтило нравы; оно изобрѣло путы, связывающія мысль, поразило ума и сердца дряблостью". Митрополитъ московскій Владиміръ еще такъ недавно въ своей привѣтственной рѣчи Государю указалъ на то, что тронъ и церковь неразрывно связаны, и колебаніе престижа церкви вызываетъ колебаніе престола. Послѣ освобожденія крестьянъ само правительство убѣдилось, что въ „системѣ" нехватаетъ одного звена. Ни для кого не секретъ, что съ 1863 г. и до нашихъ дней было сдѣлано все возможное, чтобы снова закабалить народъ и заглушить въ массахъ и обществѣ стремленіе къ политической, религіозной и экономической свободѣ. Въ теченіе 40 съ лишнимъ лѣтъ это освободительное движеніе удалось, какъ всѣмъ извѣстно, задержать.

Задерживая всѣ уловимыя проявленія прогресса, уничтожая ростки новой жизни, правительство особенно неусыпно слѣдило за печатью. Всякое правительство, однако, скорѣе соглашается, обыкновенно подъ давленіемъ крайней необходимо-

сти, на другія, какія-угодно реформы, но только не на свободу печати. Оно хорошо понимаетъ, что свободная печать и есть тотъ мечъ-кладенецъ, которымъ народъ добудетъ себѣ остальныя свободы. „Лучше быть безъ парламента, чѣмъ безъ свободы печати; лучше отказаться отъ отвѣтственности министровъ, отъ Habeas Corpus Act, отъ права разрѣшенія налоговъ, чѣмъ отъ свободы печати, потому что эта свобода, все равно, вернетъ всѣ остальныя“ (Шериданъ).

Въ періодъ безвременья, когда разумная общественная жизнь, казалось, больше уже не только не существовала, но и не подавала никакихъ надеждъ на существованіе, когда даже, по выраженію сатирика, солнце стало всходить изъ-за полицейской будки, когда всякая мысль, не согласная съ узаконенными офиціальными образцами, трактовалась какъ злѣйшее преступленіе, а самъ преступникъ казался безъ всякихъ судебныхъ гарантій, на которыя имѣлъ право любой карманный воришка,—говорила только одна печать.

Щедринъ въ одной изъ своихъ журнальныхъ статей въ „Современникѣ“, въ 1863 г., пишетъ:

„Извѣстно, что литература наша до сихъ поръ состоитъ подъ покровительствомъ цензуры; но, быть-можетъ, не всякому извѣстно, что покровительство это заключается не столько въ расширеніи свободы печатнаго слова, сколько въ снисходительномъ огражденіи его отъ разнаго рода излишествъ. Оказывается, что въ настоящее время эту послѣднюю обязанность можетъ принять на себя само общество, которое уже достаточно созрѣло для того, чтобы различить вредныя и антисоціалистскія ученія отъ невредныхъ и соціалистскихъ [1]). Оказывается также, что цензура, какъ учрежденіе попечительное, не только ставила литературу въ условія стѣснительныя и несоотвѣтствующія ея нынѣшнему развитію, но даже не достигала и той предупредительно-полицейской цѣли, для которой она была создана. Писатели съ антисоціалистскими намѣреніями находили способъ проводить свои идеи подъ покровомъ идей соціалистскихъ; мысль скрывалась, нельзя было ничего разобрать... Мало того, мысль до такой степени сжилась съ различными

---

[1]) Салтыковъ употребляетъ здѣсь это слово въ смыслѣ „общественныхъ“, ограждающихъ общественный порядокъ, а не въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребляется это слово теперь.

покровами и изворотами, что даже откровенно приняла ихъ за единственно нормальный способъ выраженія; литература до такой степени пріучила публику читать между строками, что не было того темнаго намека, который оставался бы для нея тайной; не было полуслова, котораго бы она не прочла всѣми буквами и даже съ нѣкоторыми прибавленіями. Прохаживался ли, напримѣръ, „Русскій Вѣстникъ" насчетъ Австріи—публика знала, что это хоть и не опечатка, однако, нѣчто въ родѣ опечатки; восхвалялъ ли „Русскій Вѣстникъ" австрійскаго министра Брука [1])—публика понимала, что это значитъ: посмотримъ, дескать, что-то у насъ дѣлается... Одна цензура ничего не понимала, да по строгому, добросовѣстному толкованію цензурнаго устава и не имѣла права понимать. Если вѣрить „Русскому Вѣстнику" и г. Громекѣ, отъ этого выигрывали только нигилисты, которыхъ рѣчь, по милости безпрерывныхъ преградъ, пріобрѣла какую-то нелишенную заманчивости таинственность и даже силу. Если вѣрить тому же „Русскому Вѣстнику", эта сила должна сама-собою уничтожиться, какъ только ей дана будетъ возможность высказаться. Тогда всякій пойметъ, что это не сила, а ложь, и всякій же получитъ средство „легко справиться съ ней безъ всякихъ карательныхъ мѣръ". Вполнѣ раздѣляемъ такое мнѣніе „Русскаго Вѣстника", радуемся его радостями и будемъ ожидать".

Разумѣется, это былъ скорѣе пискъ, чѣмъ протестъ; „экивоки, подмигиванія и прищелкиванія", чѣмъ гражданское возмущеніе; „бунтъ на колѣняхъ" вмѣсто требованія реформъ, критики дѣйствительности.

Увы, какъ извѣстно, Щедринъ не только не дождался свободы печати, но былъ свидѣтелемъ еще сильнѣйшихъ репрессій, которыя не помѣшали ему, однако, многое сказать такое, что́ нанесло не одинъ уколъ „существующему порядку вещей".

Въ числѣ застрѣльщиковъ лучшаго будущаго находился и Островскій, подъ покровомъ своего добродушнаго юмора, изображенія сценъ жизни купеческой среды, смѣшившихъ и самихъ цензоровъ и предержащихъ властей. Они и не подозрѣвали, что смѣются сами надъ собой. Чиновничья близо-

---

[1]) Министръ торговли, а потомъ финансовъ, отмѣтившій свое управленіе многочисленными плодотворными реформами.

рукость мѣшала имъ понять, что произволъ, самодурство Тита Титыча ничѣмъ не отличается отъ произвола и самодурства любого помпадура; что и въ одномъ и въ другомъ случаѣ этотъ произволъ опирается на одну и ту же „систему"; что и въ одномъ и въ другомъ случаѣ онъ имѣетъ мѣсто только потому, что и для начальства „обыватель есть не что иное, какъ административный объектъ, всѣ притязанія котораго могутъ быть разсѣчены только тремя словами: не твое дѣло" (Щедринъ), и для замоскворѣцкаго патріарха существуетъ единственный законъ: чего моя лѣвая нога хочетъ. И у многомилліоннаго русскаго народа правъ никакихъ нѣтъ, а существуютъ „якобы права", и у домочадцевъ Тита Титыча единственныя права—самодурство „самого".

Лица и учрежденія, завѣдывавшія тогда въ Россіи „умопомраченіемъ" и многоразличными „препонами", не догадались, что шутки Островскаго не ставили себѣ цѣлью исправлять и наставлять людей на путь истинный, сѣять революцію и критиковать содержаніе „Правительственнаго Вѣстника". Задачи комедіи болѣе тонки и менѣе уловимы для уха и глаза блюстителей государственнаго благочинія. „Комедія указываетъ тѣ моменты, когда недостатки людей становятся черезчуръ ощутимыми, неустройство учрежденій опаснымъ, а несогласіе съ окружающимъ нестерпимымъ. Сказать правду легче всего въ смѣхѣ, какъ это замѣтилъ еще древній поэтъ" [1]). Подкупающій беззаботный смѣхъ, комическое отношеніе къ предмету больше всего гарантируютъ автора отъ цензурныхъ и административныхъ скорпіоновъ, такъ какъ немногіе сумѣютъ подмѣтить, что комическій и сатирическій писатель есть самый тонкій критикъ нравовъ, и въ его смѣхѣ (если это истинный художникъ) всегда звучитъ очень и очень серіозная нотка и скрыта далеко не шуточная мысль. За примѣрами ходить недалеко: возьмите Щедрина. Развѣ могъ бы онъ сказать и половину того, что́ онъ сказалъ, если бы природа щедро не надѣлила его способностью заразительно смѣяться, разсыпать истинные перлы юмора. Наконецъ, наиболѣе глухъ тотъ, кто не желаетъ слышать, и слѣпъ тотъ, кто не желаетъ видѣть, т.-е. наша бюрократія, не-на-шутку увѣровавшая

[1]) „Театръ", лекціи Карла Боринскаго.

въ себя, свои силы, свою вѣковѣчность и свои административные таланты.

Только среди всеобщаго безправія, издѣвательства надъ человѣческой личностью, экономической кабалы и всяческаго насильничанья и беззащитности могъ вырасти и процвѣтать бытъ людей, нарисованныхъ Островскимъ. Если вы прочтете ту страничку, гдѣ Добролюбовъ рисуетъ это „темное царство", вы согласитесь, что не одно Замоскворѣчье находилось въ такомъ положеніи. Читайте:

„Это міръ затаенной, тихо вздыхающей скорби, міръ тупой, ноющей боли, міръ тюремнаго, гробового молчанія, лишь изрѣдка оживляемый глухимъ, безсильнымъ ропотомъ, робко замирающимъ при самомъ зарожденіи. Нѣтъ ни свѣта, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью вѣетъ темная и тѣсная тюрьма. Ни одинъ звукъ съ вольнаго воздуха, ни одинъ лучъ свѣтлаго дня не проникаетъ въ нее. Въ ней вспыхиваетъ по временамъ только искра того священнаго пламени, которое пылаетъ въ каждой груди человѣческой, пока оно не будетъ залито наплывомъ житейской грязи. Чуть тлѣется эта искра въ сырости и смрадѣ темницы, но иногда на минуту вспыхиваетъ она и обливаетъ свѣтомъ правды и добра мрачныя фигуры томящихся узниковъ. При помощи этого минутнаго освѣщенія мы видимъ, что тутъ страдаютъ наши братья, что въ этихъ одичавшихъ, безсловесныхъ, грязныхъ существахъ можно разобрать черты лица человѣческаго,—и наше сердце стѣсняется болью и ужасомъ. Они молчатъ, эти несчастные узники,—они сидятъ въ летаргическомъ оцѣпенѣніи и даже не потрясаютъ своими цѣпями; они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положеніе, но тѣмъ не менѣе они чувствуютъ тяжесть, лежащую на нихъ, они не потеряли способности ощущать свою боль. Если они безмолвно и неподвижно переносятъ ее, такъ это потому, что каждый крикъ, каждый вздохъ, среди этого мрачнаго омута, захватываетъ имъ горло, отдается колючею болью въ груди; каждое движеніе тѣла, обремененнаго цѣпями, грозитъ имъ увеличеніемъ тяжести и мучительнаго неудобства ихъ положенія. И неоткуда ждать имъ отрады, негдѣ искать облегченія: надъ ними буйно и безотчетно владычествуетъ безсмысленное *самодурство*, въ лицѣ разныхъ Большовыхъ, Торцовыхъ, Брусковыхъ, Уланбековыхъ и пр., не признающее никакихъ раз-

умныхъ правъ и требованій. Только его дикіе, безобразные крики нарушаютъ эту мрачную тишину и производятъ пугливую суматоху на этомъ печальномъ кладбищѣ человѣческой мысли и воли".

Если Россія сейчасъ какъ одинъ человѣкъ встала, съ кличемъ: „Такъ дольше жить нельзя!"; если сейчасъ русское общество и трудящіяся массы въ борьбѣ за право пошли на многія матеріальныя лишенія, а зачастую и смерть,—то надо полагать, что къ этому вынудили ихъ дѣйствительно тяжелыя условія общественной жизни, такія условія, которыя терпѣть больше они были уже не въ силахъ, несмотря на вѣками искусственно выработанную способность подчиняться и пассивно относиться къ общественному дѣлу. Если многомилліонная масса встала на завоеваніе себѣ политическихъ и человѣческихъ правъ, значитъ „темное царство" съ его „буйно и безотчетно владычествующимъ безсмысленнымъ самодурствомъ" не миѳъ, не игра фантазіи, не простая смута, „сѣющаяся небольшою кучкой злонамѣренныхъ людей", не явленіе случайное, частичное, а вопіющій фактъ, явленіе общерусское. Это естественный и послѣдній актъ крѣпостной зависимости, въ которой жило русское общество, русская мысль и самосознаніе.

А. Григорьевъ говоритъ, что всякое истинно-художественное произведеніе, всякое созданіе большого мастера носитъ въ себѣ высоко-нравственную задачу. Я указалъ на нравственную задачу, которую носятъ въ себѣ произведенія Островскаго, и отчасти въ силу этого могу назвать его истиннымъ художникомъ; отчасти потому, что не одна только нравственная идея вложена въ произведенія Островскаго, но и художественныя красоты, которыя сдѣлали его произведенія жизнеспособными и даютъ имъ долговѣчность, собираютъ и будутъ собирать театральный залъ даже и тогда, когда „темное царство" отойдетъ на страницу исторіи.

Островскій правдиво, поэтически изобразилъ цѣлый міръ, міръ разнообразный, дотолѣ въ литературѣ никому невѣдомый, неоткрытый. Его мѣсто въ исторіи среди нашихъ литературныхъ корифеевъ. Островскій, конечно,—не сатирикъ какъ полагалъ Добролюбовъ: онъ не имѣлъ предвзятой цѣли бичевать, осмѣять; онъ не прибѣгалъ къ средствамъ сатиры—выдвинуть, преувеличить, подчеркнуть, ярче разрисовать тѣ стороны изображаемой картины жизни, которыя подле-

жали, по мнѣнію автора, сломкѣ и сдачѣ въ архивъ исторіи. Островскій прежде всего и позже всего—народный поэтъ-художникъ. Островскій художественно правдиво изображаетъ дѣйствительность, а если изображенныя имъ картины наводятъ на грустныя размышленія и даютъ матеріалъ для невеселыхъ выводовъ, то уже это вина самой дѣйствительности, вѣрно отраженной авторомъ и пропущенной черезъ призму его индивидуальной любви и скорби къ изображаемому быту и лицамъ.

Герои и его „темнаго царства", и ходульныхъ, картонныхъ героевъ кулисъ, и барско-приказной среды не вызываютъ въ вашей душѣ презрѣнія къ себѣ, но презрѣніе къ тому мірку, который вскормилъ и воспиталъ ихъ. Вы видите, что міръ, изъ котораго вышли они—міръ лжи, праздности, пустоты, невѣжества, грубой силы, безправія, угнетенія и порока, полукультурности, фальшивой образованности.

У васъ послѣ чтенія комедій и драмъ Островскаго не подымется рука обвинить эти жертвы ненормальнаго соціальнаго строя. Вы почувствуете, что это люди, такіе же люди, какъ и всѣ, но только исковерканные окружающею дѣйствительностью, и въ вашемъ сердцѣ встанетъ протестъ противъ этой дѣйствительности и васъ потянетъ въ бой противъ этихъ формъ существованія.

Островскій не негодуетъ, не поражаетъ, не казнитъ; онъ только рисуетъ, синтезируетъ, поляризируетъ, такъ-сказать, дѣйствительность, относясь къ ней прежде всего отечески любовно. Тамъ, гдѣ философъ, ученый думаютъ, если можно такъ выразиться, больше умомъ, чѣмъ сердцемъ, тамъ такой художникъ какъ Островскій поступаетъ наоборотъ.

Островскій не выдѣляетъ только самодуровъ и самодурство, не ставитъ ихъ исключительно на первый планъ въ своихъ произведеніяхъ, а рисуетъ цѣликомъ весь мірокъ, гдѣ родилось и расцвѣло, съ одной стороны, самодурство, а съ другой стороны—отупѣлая, невѣжественная масса, для которой „дни раздѣляются на тяжелые и легкіе"; для которой всѣ вопросы небесной механики и физической географіи—сводятся къ твердой вѣрѣ, „что земля стоитъ на трехъ рыбахъ, и что, по послѣднимъ извѣстіямъ, кажется, одна начинаетъ шевелиться: значитъ, плохо дѣло"; для которой всѣ астрономическія открытія ограничиваются нахожденіемъ „двухъ человѣкъ на лунѣ"; для которой вся политика

покоится на такомъ международномъ правѣ и регулируется такими государственными интересами, что́ не придутъ въ голову дипломатамъ даже въ бреду. Наиболѣе, кажется, по ихъ мнѣнію, интересная и значительная въ концертѣ державъ страна, до сихъ поръ, къ сожалѣнію, еще не занесенная на карты, это—Бѣлая Арапія; по крайней мѣрѣ, оттуда депеши идутъ въ изобиліи. Наконецъ, имъ вѣдомы чрезвычайныя явленія природы: „царь Фараонъ изъ моря выходитъ", а „Литва—она къ намъ съ неба упала". Это міръ духовной слѣпоты и нравственной грубости, слѣпой и безотчетной вѣры въ несокрушимую законность и боговдохновенность обычая, обряда, преданія и авторитета. Рядомъ съ купеческимъ міромъ Островскій рисуетъ и приказный. Вы тутъ наблюдаете нашихъ „правительственныхъ агентовъ" съ ихъ пустымъ чванствомъ, хитростью, кривоуміемъ, готовностью къ обману, взяткѣ, кривосудію, хищенію. Жалкое подобіе человѣка, оторваннаго отъ жизни и взрощеннаго на почвѣ приказно-бюрократическаго строя! Они такъ же, какъ и міръ купеческій, имѣютъ своихъ самодуровъ; они такъ же должны угадывать, чего ихъ лѣвая нога хочетъ; они такъ же вѣчно трепещутъ; ихъ жизнь такъ же вѣчные переходы отъ страха къ насилію. Ихъ „гнутъ въ бараній рогъ", и они „гнутъ въ бараній рогъ". Но инстинктъ художника не позволяетъ Островскому остановиться только на этихъ отрицательныхъ чертахъ изображаемой среды; на-ряду съ безобразіемъ, неумытостью и самодурствомъ онъ рисуетъ и привлекательныя черты ихъ души. Островскій художественнымъ чутьемъ видитъ (простите за необычную фразу), что гармонія народной души такъ же сложна, какъ и гармонизація его пѣсенъ, и такъ же трудно поддается теоретическому учету, какъ и гармонизація народной русской пѣсни правовѣрной музыкальной теоріи.

Островскому, въ особенности на первыхъ порахъ его дѣятельности, ставили въ вину его славянофильскія тенденціи и даже ретроградныя стремленія. Напримѣръ, по поводу его *Не въ свои сани не садись* высказывались мысли нелестныя для всякаго автора, служащаго интересамъ просвѣщенія. Говорили, что Островскій въ-лицѣ Вихорева указалъ на вредъ образованности, а въ-лицѣ Русакова и Бородкина—на пользу невѣжества. Быть-можетъ, Островскій, какъ членъ кружка славянофильствующихъ, намаперъ Погодина и былъ отчасти зараженъ квасным патріотизмомъ, но, какъ худож-

никъ, онъ всегда стоялъ на высотѣ задачи. Выводя Русакова, онъ показалъ только, что и въ самодурѣ, отсталомъ человѣкѣ, исковерканномъ общественнымъ строемъ, не умеръ человѣкъ, отецъ, семьянинъ и хорошій мужъ. Бородкинъ— тоже типичный представитель „темнаго“ непросвѣщеннаго царства, и въ немъ зритель встрѣчаетъ отзывчивость, чуткость души, деликатность и искренность. И въ немъ не вытравленъ человѣкъ. Здѣсь не гимнъ невѣжеству, а гимнъ человѣческой природѣ, ведущей его наперекоръ окружающему „туда, гдѣ брызжетъ свѣтъ“.

Островскій чутьемъ уловилъ тѣ неистребимыя стороны души русскаго народа, на которыя не могли надѣть намордникъ даже самые испытанные и изощрившіеся россійскіе Держиморды. И въ своихъ самодурахъ онъ подмѣтилъ стремленіе къ правдѣ и свѣту, хотя и въ такихъ формахъ, которыя вызывали у зрителя либо слезы либо смѣхъ. Самодуры Островскаго не звѣри и не безнадежныя тупицы; они ощупью ищутъ дорогу впередъ; они желаютъ „всякую моду подражать“, но окружающая атмосфера не такова, чтобъ указать имъ, какой именно модѣ и какъ надо подражать. Государственный и общественный строй страны не способствуетъ ни уясненію, для темныхъ массъ, разумныхъ и благихъ цѣлей существованія, ни проведенію ихъ въ жизнь. Съ верхнихъ ступеней трона до хижины бѣдняка все подчинялось „системѣ“—„тащить и не пущать“; всѣ силы ума и души могли быть израсходованы только лишь въ одномъ направленіи: въ охраненіи существующаго порядка вещей, въ слѣпомъ и рабскомъ подчиненіи завѣтамъ, обычаямъ, нравамъ и общественному укладу старины и патріархальнаго быта жизни; всякая серіозная попытка движенія впередъ каралась, какъ страшное преступленіе.

Однако, самодуры Островскаго и при этихъ условіяхъ „ведутъ свою линію“, и какъ это, быть-можетъ, ни странно покажется, протестуютъ по-своему противъ могильнаго застоя „системы“. Они неудовлетворены, въ нихъ совершается ростъ личности, ибо въ нихъ возрастаетъ потребность матеріальнаго комфорта, разнообразія впечатлѣній, ускореннаго темпа жизни, красоты, знанія, свободы. Конечно, все это проявляется въ примитивныхъ, грубыхъ, а зачастую карикатурныхъ формахъ, но это иначе, при наличности данныхъ условій, и быть не можетъ. Если „типъ“ Островскаго „всякую моду подражать“

начинаетъ и оканчиваетъ извнѣ, то тутъ опять-таки не исключительно его вина; если онъ рисуетъ только грубо матеріальные идеалы и рисуетъ себѣ лучшія условія существованія въ томъ, что жена его „дома-то будетъ въ шелковыхъ платьяхъ ходить-съ, а въ гости али въ театръ-съ—окромя бархатныхъ и надѣвать не станетъ; въ разсужденіи шляпокъ или салоповъ—не будетъ смотрѣть на разныя дворянскія приличія, а надѣнетъ какую чуднѣй"; самъ же онъ „фракъ надѣнетъ, и бороду обреетъ, либо такъ подстрижется по модѣ-съ"; домъ купитъ въ Каретномъ ряду, распишетъ какъ: „на потолкахъ, это, райскихъ птицъ нарисуемъ, сиреновъ, капидоновъ разныхъ—поглядѣть только будутъ деньги давать", то вѣдь это не что иное, какъ движеніе въ сторону наименьшаго сопротивленія. Истиннымъ своимъ проявленіемъ личность всегда считала: власть надъ людьми или признаніе, съ ихъ стороны, превосходства, собственность и творчество въ искусствѣ, наукѣ и жизни.

Если стремленіе къ власти надъ людьми у Титъ Титычей выливается въ форму самодурства, издѣвательства надъ личностью, склонностью „колесомъ ходить на разные фасоны", этому способствуетъ окружающая дѣйствительность. Если законы страны приказываютъ „женѣ бояться своего мужа", лишаютъ ее гражданскихъ правъ и даютъ ему законное право разсматривать ее, какъ свою собственность; если, по желанію родителей, дѣтей могутъ посадить въ смирительный домъ или сдать въ солдаты; если законы страны не ограждаютъ права, а обуздываютъ,—то понятно, почему самодуръ говоритъ: „На что жъ я и отецъ, коли не приказывать? Даромъ что ли я ее кормилъ. Захотѣлъ выдать дочь за приказчика, и поставлю на своемъ, и разговаривать не смѣй; я и знать никого не хочу" (*Свои люди сочтемся*). Самодуръ пасуетъ только передъ другою властью—начальствомъ. Но и эта „юридическая" зависимость исчерпывается поговоркой: „Мнѣ все ни почемъ, былъ бы будочникъ знакомъ". Если самодуры такъ грубо пользуются силой и правомъ собственности, ихъ этому учатъ обычаи и законы страны; если ихъ „творчество" выражается въ изобрѣтеніи нелѣпыхъ затѣй, пьянства на всѣ манеры и со всѣми онёрами, то это опять же потому, что другіе виды творчества порицаются и запрещаются начальствомъ, законами, обычаями, временными правилами, циркулярами, полицейской и чиновничьей „практикой".

Само-собою разумѣется что никакіе самые идеальные законы страны сами-по-себѣ не сдѣлали бы изъ Брусковыхъ, Торцовыхъ, Большовыхъ людей вполнѣ „достойныхъ кисти Айвазовскаго", борцовъ за права и справедливость, не преисполнили бы ихъ самопожертвованіемъ, но несомнѣнно также, что законы страны даютъ тонъ и направляютъ общественную нравственность. „Люди,—говоритъ Спиноза,—рѣдко живутъ по руководству разума; большею частью мы видимъ, что люди, говоря сравнительно—большинство изъ нихъ, другъ къ другу завистливы и враждебны"; вотъ почему важна роль государства въ дѣлѣ воспитанія массъ, такъ какъ разумные законы страны создаютъ такую нравственную атмосферу, которая поддерживаетъ дѣйствія общества и индивидуума на извѣстной нравственной высотѣ. „Все, что́ способно служить условіемъ для нравственно-разумной жизни людей, что́ подвигаетъ человѣчество къ усовершенствованію, можетъ быть повелѣваемо правомъ" [1]).

Я думаю, что доказывать всѣмъ хорошо извѣстную истину, что наше законодательство и государственный строй никогда не имѣли въ виду этотъ принципъ, не стоитъ труда. „Цѣлыхъ пятнадцать томовъ законовъ написано,—восклицаетъ Щедринъ, — а все отыскать закона не могутъ", а когда законъ и отыскивается,—прибавимъ отъ себя,—то онъ, оказывается, трактуетъ вопросъ далеко не съ точки зрѣнія „нравственно-разумной жизни".

Можетъ ли въ такой атмосферѣ произрастать что-либо нормальное? Гдѣ здѣсь мѣсто для здоровыхъ формъ жизни, творчества, прогресса, соціальной и личной справедливости? Тогдашнюю Россію можно охарактеризовать словами австрійскаго поэта-драматурга Грилльпарцера:

Ich weiss ein Land, das lag so unbeweglich,
Es regte kaum die Glieder, wie ein Wurm
. . . . . .
. . . . . .
Die nächste Nähe lag auf hundert Meilen,
Die Dämmerung gab noch zu helles Licht,
Das Höchste schien des Niedern Schmach zu theilen,
Und Ruhe war nicht bloss der Bürger Pflicht.

(Я знаю страну неподвижную, какъ червь пресмыкающуюся... Ближайшее отдалено отъ нея на сотни миль,

[1]) „Уголовн. законодатель, какъ воспитатель народа", проф. Владимирова.

сумерки для нея—слишкомъ рѣзкій свѣтъ; высшее должно дѣлить судьбу низменнѣйшаго, и гдѣ молчаніе—высшая обязанность всѣхъ.)

Но обличая „страну неподвижную", Островскій нигдѣ не говоритъ намъ, что она заслуживаетъ этой доли; что единственно для нея возможныя формы общественной жизни—это жизнь „червя пресмыкающагося"; что сумерки этой страны льются изъ душъ ея обывателей, а молчаніе есть естественное состояніе обывателей этой страны. Нѣтъ... Въ несчастныхъ представителяхъ „темнаго царства" теплится искра Божія, и лучъ свѣта хотя и робко, хотя и изрѣдка пронизываетъ мрачные своды этой темницы-государства. Если этотъ лучъ не разросся еще въ ослѣпительное солнце и „ближайшее" еще не стало настоящимъ, то надо же принять въ расчетъ, что тюремщиковъ въ этой странѣ слишкомъ еще много, что борьба съ ними не такъ легка и что свобода личности и свобода общества не даются даромъ, а берутся съ боя и боя упорнаго длительнаго и жестокаго.

Какъ истинный художникъ, Островскій потому и рисуетъ свой міръ самодуровъ съ тою любовью и мягкостью, которыя давали поводъ нѣкоторымъ критикамъ обвинять автора въ симпатіяхъ къ невѣжеству и косности, что видитъ въ нихъ людей, не лишенныхъ и всего того хорошаго, что̀ заключаетъ въ себѣ русское общество.

Показывая зрителю жизнь, какъ она есть, Островскій не морализируетъ, не порицаетъ и не одобряетъ, но это не значитъ, чтобъ изъ всего сказаннаго и показаннаго имъ нельзя было вывести опредѣленныхъ положеній, найти присутствіе идеала. О комедіяхъ Островскаго можно сказать то же, что говоритъ Щедринъ о „Ревизорѣ" Гоголя:

„Зритель выходитъ изъ театра совсѣмъ не въ томъ спокойномъ состояніи, въ какомъ онъ туда пришелъ; мыслящая сила его возбуждена; б-бокъ съ запечатлѣвшимися въ его умѣ живыми образами возникаетъ цѣлый рядъ вопросовъ, которые, въ свою очередь, служатъ исходнымъ пунктомъ для умственной работы, совершенно особой и самостоятельной. Зритель становится чище и нравственнѣе совсѣмъ не потому, чтобъ онъ вотъ-вотъ сейчасъ пошелъ да и сталъ благодѣтельствовать или раздавать свое имѣніе нищимъ, а просто потому, что сознательное отношеніе къ дѣйствительности уже само-по-себѣ представляетъ высшую нравствен-

ность и высшую чистоту. Тутъ дѣло совсѣмъ не въ томъ, чтобы прописать человѣку какой-нибудь буколическій рецептъ, въ родѣ тѣхъ, которые прописываются въ каллиграфическихъ прописяхъ и тѣхъ противныхъ дѣтскихъ книжонкахъ, которыми московское общество распространенія безполезныхъ книгъ отравляетъ нашихъ дѣтей, а въ томъ, чтобы напомнить человѣку, что онъ человѣкъ".

Комедія Островскаго рисовала и „униженныхъ и оскорбленныхъ", и унижавшихъ и оскорблявшихъ людьми, находя въ каждомъ изъ нихъ тѣ качества природы, которыя, при иныхъ внѣшнихъ условіяхъ, могли бы шире и нравственно-разумнѣе развернуться. Его смѣхъ каралъ не персонажей, имъ выводимыхъ, а тѣ условія общественной жизни, при которыхъ возможны безгласные рабы и безудержные самодуры. Онъ прямо не говоритъ о томъ строѣ и его учрежденіяхъ, которые поддерживаютъ эту систему безправія, безсудія, беззащитности, безнаказанности, произвола и рабства; онъ изъ своихъ произведеній не дѣлаетъ вывѣсокъ съ вытянутымъ указывающимъ перстомъ; онъ, можетъ-быть, даже и не подозрѣваетъ, какіе выводы и въ какихъ размѣрахъ сами-собою напрашиваются у его читателя.

По своимъ личнымъ воззрѣніямъ Островскій—чрезвычайно умѣренный мыслитель и гражданинъ; его, при всемъ добромъ желаніи, комитетъ министровъ не могъ бы обвинить въ „симпатіяхъ къ крайнимъ соціалистическимъ доктринамъ"; онъ мало даже доступенъ передовымъ идеямъ и движенію его времени; онъ ихъ непосредственно даже ни разу и не отражаетъ въ своихъ произведеніяхъ, если не считать его „Воспитанницу", гдѣ поднятъ вопросъ о крѣпостномъ правѣ, но поднятъ въ такихъ архи-цензурныхъ, неопредѣленныхъ формахъ, что итти въ расчетъ не можетъ. Наконецъ, Островскій и теоретически дурно освѣдомленъ въ общественныхъ вопросахъ, но это не мѣшаетъ ему, путемъ, такъ-сказать, безсознательнымъ, дать намъ богатый матеріалъ для вполнѣ опредѣленныхъ выводовъ, напрашивающихся зачастую безъ вѣдома автора. Богатая галлерея типовъ его „темнаго царства" почти ощутительно рисуетъ нравы и условія жизни въ нашемъ дорогомъ отечествѣ. Островскій, быть-можетъ, очень далекъ отъ мысли, что почти каждое его произведеніе даетъ тѣ пощечины „существующему порядку вещей", о которыхъ остроумно говоритъ въ своемъ трехстишіи Моро:

L'Aretin, per Dio grazia, è vivo e sano;
Ma'l mostaccio ha fregiato nobilmente
E più colpi ha, che dita in una mano...

(„Аретино [1]), благодаря Бога, живъ и здоровъ; но все лицо его носитъ слѣды наказанія, и ударовъ на немъ больше, чѣмъ пальцевъ на рукѣ".)

Разница здѣсь существенная, конечно, въ томъ, что во второмъ случаѣ „существующій порядокъ" бьетъ поэта, а у Островскаго поэтъ бьетъ „существующій порядокъ".

Въ единственной своей рецензіи [2]) Островскій самъ ясно высказывается о своемъ взглядѣ на задачи художника-писателя. „Публика ждетъ,—говоритъ онъ,—отъ искусства облеченія въ живую, изящную форму своего суда надъ жизнью, ждетъ соединенія въ полные образы подмѣченныхъ у вѣка современныхъ пороковъ и недостатковъ, которые являются ей сухими и отвлеченными. И художество даетъ публикѣ такіе образы и этимъ самымъ поддерживаетъ въ ней отвращеніе отъ всего, рѣзко опредѣлившагося, не позволяетъ ей воротиться къ старымъ, уже осужденнымъ формамъ, а заставляетъ искать лучшихъ, однимъ словомъ—заставляетъ быть нравственнѣе".

Вотъ то общественное значеніе сочиненій Островскаго, которое даетъ имъ право на мѣсто въ исторіи русской литературы и русскаго освободительнаго движенія. Кромѣ того, они по сей день составляютъ львиную долю пьесъ, идущихъ съ успѣхомъ на нашихъ столичныхъ и провинціальныхъ сценахъ изо-дня-въ-день. Это послѣднее обстоятельство явно свидѣтельствуетъ объ ихъ несомнѣнныхъ высокихъ художественныхъ достоинствахъ. И въ самомъ дѣлѣ, Островскій, если можно такъ выразиться,—большой мастеръ спектакля. Въ большинствѣ случаевъ дѣйствіе у него развивается спокойно, не толчется на мѣстѣ, и въ то же время просто, безъ ненужныхъ прикрасъ; фабула достаточно интересна, ясна безъ той претенціозности, которою страдаютъ многіе современные драматурги; драматическія положенія трогаютъ зрителя, не прибѣгая къ патологическимъ эффектамъ; языкъ

---

[1]) Итальянскій поэтъ (1492—1557 г.), прозванный „бичомъ государей", извѣстенъ сатирами и скандалезными пьесами, за которыя онъ былъ неоднократно битъ.

[2]) „Москвитянинъ", 1850 г., т. II, отд. IV, стран. 89—99; подписано *А. О.*

его персонажей соотвѣтствуетъ ихъ общественному положенію, умственному развитію и личнымъ особенностямъ; онъ знаетъ хорошо описываемую среду, ея нравы, обычаи; у него здоровый народный юморъ, безъ котораго было бы, конечно, невозможно браться за изображеніе Замоскворѣчья; онъ тонкій наблюдатель и психологъ съ несомнѣннымъ чувствомъ мѣры, потому что безъ этого сдерживающаго начала трудно обработать тотъ диковинный матеріалъ, которымъ располагалъ Островскій, нарисовать такихъ элефантовъ русской общественности, не впадая въ сатиру, карикатуру или шаржъ. Наконецъ, Островскій располагаетъ яркими, сочными красками и широкимъ мазкомъ.

Островскій—единственный бытописатель того міра, который отходитъ въ область преданій, но который, въ свое время, являлся крупнымъ факторомъ въ жизни Россіи. Во времена Островскаго онъ вполнѣ сложился и отлился въ рельефныя, вполнѣ законченныя формы, неспособныя къ дальнѣйшему развитію. Русская культура и русское общество навсегда распрощались съ дореформеннымъ укладомъ жизни; для Россіи наступила новая эра, новая основа гражданственности. Но почему, не играя уже такой общественной роли, произведенія нашего драматурга все еще читаются всѣми, и ни одна серіозная драматическая сцена не обходится безъ произведеній Островскаго? Отвѣтъ можетъ быть только одинъ: ихъ художественная цѣнность такъ велика, что, съ увѣренностью можно сказать, „пройдетъ вѣковъ завистливую даль“.

Заслуги Островскаго общественнаго характера, безспорно, велики, но его художественное значеніе несомнѣнно не меньше. Онъ—первый и по времени и по таланту создатель русскаго національнаго театра. Лучшіе наши писатели давали драматическія произведенія по своимъ художественнымъ достоинствамъ не менѣе, а иногда и болѣе цѣнныя, чѣмъ Островскій, но это были цвѣтущіе островки среди иностраннаго и русскаго хлама, наводнявшаго нашу сцену. Съ появленіемъ Островскаго русскій театръ впервые становится твердо на свои собственныя ноги. До Островскаго комедія нравовъ, собственно говоря, не существуетъ. Изъ груды бумаги, испорченной на печатаніе такого рода пьесъ у насъ, въ Россіи, едва ли вы укажете 20, дающихъ право очень снисходительному критику назвать ихъ заслуживающими вниманія. Что же касается дѣйствительно художественныхъ про-

изведеній, то, если исключить 5 комедій Гоголя, 3—Фонвизина и 1—Грибоѣдова, можно сказать, что до Островскаго русская литература не знала бытовой комедіи. Въ области исторической драмы то же самое. Лучшія произведенія принадлежатъ все тому же Островскому. Въ области же русской драмы Островскій со своею *Грозой* уже совершенно остается одинъ.

Островскій создалъ свою школу и вызвалъ безчисленныя подражанія. Новымъ русскимъ драматургамъ теперь предстоитъ и новая задача. Старый дореформенный строй Россіи пришелъ въ состояніе броженія послѣ реформы 60-хъ годовъ; броженіе это закончено 17-мъ октября 1905 г. Теперь начинается новая жизнь: возникнутъ новыя формы общественной жизни, типы, положенія, стимулы, направленія; печать получитъ полную свободу, и молитва „о еже книги читати въ любезномъ отечествѣ было можно", наконецъ будетъ услышана. Надо полагать, что и для русскаго театра наступятъ новыя, болѣе выгодныя условія существованія, новый золотой вѣкъ. Новое дѣло требуетъ и новыхъ людей!..

I.

Александръ Николаевичъ Островскій родился въ Москвѣ, 31 марта 1823 г. Родъ Островскихъ, какъ и родъ Сусаниныхъ, происходитъ изъ Костромской губерніи. Оба наиболѣе видныхъ представителя этихъ родовъ попали въ исторію: одинъ—потому, что спасъ царя для власти; другой далъ русскому театру власть. Костромичъ былъ также и первый создатель народнаго театра—Ѳ. Г. Волковъ. Такимъ образомъ, Кострома дала намъ и создателя народнаго театра и создателя національнаго репертуара. Большой знатокъ психологіи русскаго человѣка, Островскій подглядѣлъ особенности и разновидности душевнаго склада народныхъ массъ въ различныхъ углахъ обширной родины и однажды противопоставилъ характеръ рязанца съ характеромъ костромича.

Работая надъ драматическою хроникой *Косьма Захарьичъ Мининъ* и разбирая историческіе акты, Островскій обратилъ вниманіе на *рязанскій* характеръ Прокопія Ляпунова и такъ сравнилъ этого героя съ другимъ—*костромскимъ*—Иваномъ Сусанинымъ:

„Эти рязанцы по природѣ уже таковы, что какъ нѣмцы безъ штуки и съ лавки не свалятся. Вѣдь, вотъ нашъ костромичъ, Сусанинъ, не шумѣлъ: выбралъ время къ ночи, завелъ враговъ въ самую лѣсную глушь, тамъ и погибъ съ ними безъ вѣсти, да такъ, что до сихъ поръ историки не кончили еще спора о томъ, существовалъ ли еще онъ въ самомъ-то дѣлѣ на бѣломъ свѣтѣ. А Прокопію Ляпунову понадобилась веревка на шею, чтобъ растрогать: и вовсе въ этой штукѣ не было нужды. Актерская жилка у всѣхъ рязанцевъ прирожденнная...“

Первый изъ родичей Островскаго переѣхалъ въ Москву. Это былъ его дѣдъ. Онъ принадлежалъ къ тому званію людей, которое „пасетъ духовныхъ овецъ и волною ихъ питается“. Впрочемъ, говорятъ, это былъ священникъ, любимый и чтимый своимъ приходомъ. Онъ овдовѣлъ въ санѣ протоіерея одной изъ костромскихъ церквей, постригся въ московскомъ Донскомъ монастырѣ и умеръ въ преклонныхъ лѣтахъ, напутствуемый высокимъ уваженіемъ монастырской братіи. Старшій изъ его шестерыхъ дѣтей—Николай Ѳедоровичъ—былъ отцомъ знаменитаго писателя. Онъ, какъ это рѣдко случалось прежде среди нашего духовенства, измѣнилъ семейнымъ преданіямъ и, по окончаніи курса сначала въ духовной костромской семинаріи, потомъ въ московской духовной академіи, „ускользнулъ“ отъ духовнаго сана и поступилъ на гражданскую службу, въ канцелярію общаго собранія московскихъ департаментовъ Сената. Двадцати-четырехъ лѣтъ, въ 1820 году, онъ женился на дочери просвирни, и 31 марта 1823 года у молодыхъ супруговъ родился третій сынъ, названный Александромъ. Ему шелъ всего девятый годъ, когда мать его скончалась и на рукахъ у отца осталась многочисленная семья—изъ шести человѣкъ малолѣтнихъ дѣтей. Изъ автобіографіи Островскаго („Галлерея русск. писат.“ Спб. 1880 г.) мы видимъ, что онъ рано пристрастился къ чтенію. „Благодаря большой библіотекѣ своего отца, который, съ самаго начала журналистики въ Россіи, выписывалъ всѣ появлявшіяся періодическія изданія и пріобрѣталъ всѣ сколько-нибудь выходящія изъ ряда книги, Островскій весьма рано ознакомился съ русскою литературой и почувствовалъ наклонность къ авторству“.

Воспитаніемъ дѣтей раньше занималась исключительно мать: отецъ былъ поглощенъ службой и труднымъ добываніемъ средствъ. По смерти жены Н. Ѳ. воспитаніе дѣтей

поручилъ студенту Виѳанской семинаріи—и этотъ учитель подготовилъ Александра Николаевича къ поступленію въ гимназію. Въ прошеніи о принятіи сына въ число учениковъ московской губернской (нынѣ первой) гимназіи отецъ заявлялъ, что его двѣнадцатилѣтній сынъ—„по-россійски писать и читать умѣетъ и первыя четыре правила ариѳметики знаетъ". Поступленіе состоялось въ сентябрѣ 1835 г., и пять лѣтъ спустя Островскій получилъ аттестатъ, съ правомъ поступить въ университетъ безъ предварительнаго испытанія. Александръ Николаевичъ подалъ прошеніе о зачисленіи его въ студенты юридическаго факультета.

Трудно указать человѣка съ живымъ умомъ и дѣйствительною любознательностью, котораго удовлетворила бы наша высшая школа. Если это вѣрно въ отношеніи университета XX вѣка, то что же надо сказать о нашей alma mater сороковыхъ годовъ, т.-е. того времени, когда молодой Островскій явился въ стѣны университета на предметъ полученія духовной пищи. Ниоткуда не видно, чтобы родникъ истинъ, льющійся съ каѳедръ университетской аудиторіи, освѣжилъ и утолилъ молодого Островскаго. Впрочемъ, къ этому надо добавить, что и самъ юноша не очень, кажется, былъ одержимъ жаждой теоретическаго знанія. Ко всему этому прибавилась какая-то исторія съ однимъ изъ профессоровъ—Крыловымъ, и Островскій навсегда покинулъ храмъ офиціальной мудрости. При другихъ условіяхъ университетской жизни, несмотря на неособенно рьяное отношеніе къ наукамъ, Островскій, вѣроятно, получилъ бы законченное высшее образованіе, но, какъ говоритъ народная пословица—„откуда вредъ, туда и нелюбовь", „откуда худо, туда и остуда".

Наша почва была неблагопріятна для произрастанія науки и распространенія научныхъ знаній. Великій запретъ постоянно лежалъ на всякомъ свободномъ проявленіи мыслящаго духа. Цензура духа, мысли, книги, совѣсти, творчества, въ самомъ широкомъ значеніи и разнообразныхъ формахъ, ограждала нашу умственную жизнь отъ опасностей и разрушительнаго дѣйствія идей. Но—увы! — не оградивъ нашего общества отъ самыхъ дикихъ теорій, она погубила дѣйствительное знаніе и на дала развиться школѣ, укрѣпляющей серіозными упражненіями молодые умы.

Выйдя изъ университета, Островскій долженъ былъ начать самостоятельное существованіе. Передъ нимъ раскину-

лась сама жизнь со всею своею сложностью, поучительностью, пестротой, заботой, огорченіями и радостями. Отнынѣ только суровая дѣйствительность будетъ школой нашего драматурга, и только изъ необъятнаго моря жизни онъ будетъ черпать знанія, изучать природу человѣка и общества. Кромѣ того, въ это время отецъ его бросилъ казенную службу и занялся частною практикой. Кто ни перебываетъ въ пріемной адвоката? Съ какими людьми, нуждами и сторонами жизни ни приходится ему имѣть дѣло? Какіе тайники души разверзаются передъ нимъ и какія сложныя, неожиданныя, прямо сказочныя комбинаціи людскихъ отношеній дефилируютъ передъ нимъ!.. Все это Островскій имѣлъ случай наблюдать сначала въ качествѣ посторонняго лица, а впослѣдствіи и въ качествѣ чиновника Московскаго Совѣстнаго суда.

„Совѣстный судъ" существовалъ у насъ въ Россіи, на-ряду со всякими другими учрежденіями, не имѣющими никакого практическаго смысла, до судебныхъ реформъ 60-хъ годовъ. Въ моментъ особеннаго, вѣроятно, прилива чувствительности Екатерина II учредила „Совѣстный судъ", судившій не столько по законамъ, сколько по естественной справедливости (aequitas). Создатель этого маниловскаго судилища предписалъ руководиться его судьямъ „человѣколюбіемъ, почтеніемъ къ особѣ ближняго и отвращеніемъ отъ угнетенія". Вы представляете себѣ дореформеннаго чиновника-судью вкупѣ съ шестью сословными засѣдателями, не стѣсненныхъ никакими законами, кромѣ совершенно незнакомой имъ „естественной справедливости"? Я думаю, что при этихъ условіяхъ здѣсь можно было наблюдать такіе процессы, какихъ другихъ нѣтъ въ природѣ. Начиная съ Платона и Аристотеля и кончая великою французскою революціей, существовала теорія такъ-называемаго „естественнаго права",— называлось оно также правомъ разума, философскимъ, jus naturale, jus divinum и т. д. Покоилась такая теорія на томъ предположеніи, что въ душѣ человѣка живутъ правда и справедливость, которыя всегда подскажутъ ему болѣе вѣрно, гдѣ добро и гдѣ зло, чѣмъ всѣ писаные законы. Впослѣдствіи, конечно, эта система показала свою слабую сторону, какъ кодекса. Естественное право, будучи произведеніемъ отдѣльныхъ лицъ, а не созданное жизнью цѣлаго народа, отличается характеромъ гораздо болѣе неустойчивымъ,

колеблющимся, чѣмъ положительное право общества. Пересаживая на русскую почву все, что носило на себѣ заграничное клеймо и будучи дочерью XVIII вѣка, Екатерина II и у себя построила „Совѣстливый судъ“ на юридическомъ песцѣ „естественнаго права“.

Функціи и компетенція этого суда были весьма неопредѣленны. Въ одномъ случаѣ онъ имѣлъ цѣлью только улаживать возникавшіе споры, дѣйствовать на добрую волю тяжущихся, „вгонять въ чувство“, какъ выразились бы персонажи Островскаго, и такимъ образомъ способствовать мирному разрѣшенію спора по совѣсти; въ другихъ случаяхъ онъ постановлялъ обязательное юридическое рѣшеніе. Ему подлежали уголовныя дѣла, возникавшія по жалобамъ родителей на дѣтей, и, наконецъ, вообще всѣ гражданскіе споры между дѣтьми и родителями.

Этотъ патріархальный судъ, конечно, привлекалъ въ свои стѣны представителей самыхъ разнообразныхъ слоевъ русскаго общества, состояній, возраста и общественнаго положенія.

Біографы Шекспира говорятъ, что его служба у нотаріуса дала ему много цѣнныхъ свѣдѣній, которыя онъ потомъ съ успѣхомъ использовалъ въ своихъ произведеніяхъ. Въ отношеніи Островскаго еще съ бо́льшимъ вѣроятіемъ можно сказать, что служба въ Судѣ была для него, какъ для писателя, незамѣнимою школой, гдѣ онъ пріобрѣлъ такія знанія по вопросамъ семейныхъ и общественныхъ отношеній среди нашего московскаго купечества и мѣщанства, какія онъ никогда бы не получилъ изъ другого источника.

Замкнутая, патріархальная семья добраго стараго времени не очень-то охотно раскрывала двери своихъ особняковъ, гдѣ-нибудь на Татарской, Толмачевской, Крымской, Ордынкѣ и т. д., для посторонняго глаза и выносила соръ изъ избы только въ крайнихъ случаяхъ, и потому Судъ являлся чуть ли не единственнымъ мѣстомъ, гдѣ постороннему глазу раскрывались интимныя, закулисныя пружины. Кромѣ того въ Судѣ, да еще въ „Совѣстномъ“, вѣроятно, безсовѣстно залѣзали въ душу, карманъ и частную интимную жизнь тяжущихся.

На службу въ Судъ Островскій поступилъ въ 1843 г. и служилъ тамъ два года, а въ 1845 г. онъ поступаетъ въ канцелярію другого спеціальнаго Суда—коммерческаго, вѣдаю-

щаго торговыя дѣла по сдѣлкамъ товарно- и денежно-торговымъ, по векселямъ о несостоятельности и т. д., т.-е. опять передъ Островскимъ потянулась цѣлая вереница любопытныхъ дѣлъ, гдѣ тяжущимися сторонами являлись, по преимуществу, модели для его будущихъ героевъ.

Не только обстановка Коммерческаго суда, но и жалованье, которое получалъ Островскій, подготавливали его къ карьерѣ писателя. Начальство соблаговолило назначить будущему создателю русскаго театра жалованье въ размѣрѣ 4 руб. въ мѣсяцъ!.. Существовать даже скромно на такое вознагражденіе не представлялось возможнымъ, если, конечно, не употреблять тѣхъ спеціально-чиновничьихъ пріемовъ увеличенія заработка, которые создали нашей бюрократіи такую печальную извѣстность „во всѣхъ Европахъ". Отсюда понятно, почему Островскій остался снова на иждивеніи отца.

Не припося матеріальнаго достатка, служба въ Коммерческомъ судѣ имѣла для Островскаго другую хорошую сторону, служившую компенсаціей плохому заработку. Засѣдая въ „словесномъ столѣ", Островскій долженъ былъ знакомиться съ дѣлами о торговой несостоятельности, вникать во всевозможные хитроумные способы банкротства, до тонкости изучать купеческіе обходы законовъ, уловки съ кредиторами. Все это вскорѣ оказало ему великую услугу, снабдивъ неисчерпаемымъ запасомъ фактовъ и типовъ для художественнаго творчества. Отцовская адвокатская практика также оказала будущему писателю не малую пользу. Практика эта развивалась преимущественно среди московскаго купечества и шла съ большимъ успѣхомъ. Островскій-отецъ успѣлъ пріобрѣсти домъ, содержалъ семью и давалъ средства старшему сыну.

За Москворѣцкимъ мостомъ, или, какъ онъ при царяхъ назывался, „Живымъ", начинается особое царство, со своими обычаями и нравами: царство торговаго капитала, безпробуднаго пьянства, съ легкой руки Ивана Грознаго, устроившаго на Балчугѣ [1]) первый кабакъ, такъ какъ съ 1389 г., т.-е. съ момента запрета татарскими ханами употребленія въ Россіи вина, эти учрежденія не украшали россійскіе веси и грады; царство непролазной грязи, непробуднаго сна, отъ заката до восхода солнца, полнаго отсутствія дви-

[1]) *Балчугъ*, слово татарское, значитъ — „грязь".

женія даже на большихъ улицахъ; царство кулебякъ, гомерическихъ самоваровъ, бань; царство полной благонамѣренности и „русскаго духа", того „русскаго духа", который дѣлаетъ, съ одной стороны, невозможнымъ никакой, даже академическій разговоръ о санитаріи, а съ другой — совершенно избавляетъ недремлющее око начальства отъ разысканій и пресѣченій крамолы, а также отъ затраты мускульной и мозговой энергіи. Въ этомъ царствѣ обыватель крупный, дородный, такой, о которомъ говорятъ: „о печь не расшибешь"; кажется, что кухарки тамъ кладутъ въ горшки цѣлыхъ слоновъ. Всегда въ этой странѣ во всѣхъ домахъ ворота заперты, окна закрыты, занавѣски спущены, огромныя улицы охраняются однимъ будочникомъ изъ отслужившихъ 25-тилѣтній срокъ солдатъ, имѣющимъ гораздо больше права на богадѣльню, чѣмъ на роль агента исполнительной власти. Днемъ этотъ блюститель порядка мирно дремлетъ на солнышкѣ или, сидя на порогѣ своей будки, съ чувствомъ и разстановкой третъ табакъ, для собственнаго потребленія, а также и для своихъ заказчиковъ-обывателей, а ночью періодически постукиваетъ въ чугунную доску и, чтобы окончательно не заснуть, будитъ самъ себя окриками: „по-сма-тривай!". Кому и на кого надлежитъ посматривать, онъ, какъ хорошо дисциплинированный въ „николаевской" школѣ исполнитель начальственныхъ велѣній, не отдаетъ себѣ отчета. На его окрики, конечно, никто не отзывается, кромѣ купеческихъ псовъ, разсерженныхъ неумѣстною и безтолковою бдительностью алебардиста-будочника. Вокругъ царитъ непробудный покой и непроглядная темь, и только кое-гдѣ торчатъ убогіе фонари, сгущая вокругъ себя еще больше мракъ. Изрѣдка пробѣжитъ парень въ аптеку за „кровочистительными каплями" для „хозяина", и снова все стихнетъ... „Все, что здѣсь доступно оку, спитъ, покой храня"...

Вотъ въ этомъ московскомъ захолустьѣ и провелъ Островскій свое дѣтство и первую молодость. Затѣмъ семья Островскихъ переѣхала на жительство въ другое захолустье, къ Николѣ что въ Воробьинѣ.

Когда-то цари наши охотились на такъ-называемомъ Воронцовскомъ полѣ. Здѣсь же была церковь Пр. Иліи, стоявшая на полянѣ, среди дремучаго лѣса, спускавшагося къ Яузѣ. Въ этомъ лѣсу водились орлы до начала XVIII вѣка. Потомъ на этомъ мѣстѣ возникла Воронцовская улица съ

Воробьинскимъ переулкомъ. Сначала это мѣсто называлось Гостиною горой, потому что здѣсь жили купцы (гости). Въ 1690 г. стрѣлецкій полкъ Стрекалова началъ строить здѣсь церковь во имя Св. Николая чудотворца, а патріархъ Адріанъ освятилъ ее въ 1693 г. Въ 1697 г. тутъ находился стрѣлецкій полкъ полковника Воробьина, сохранившій во время стрѣлецкаго бунта вѣрность государю, и потому церковь названа Воробьинскою.

„Прямо противъ устья переулка стоялъ неказистый деревянный домъ, обычнаго московскаго пошиба. Обшитъ онъ былъ тесомъ и покрашенъ темною коричневою краской; размѣрами небольшой, въ пять оконъ. Смотря на него съ улицы, казался онъ одноэ ажнымъ, такъ какъ второй этажъ глядѣлъ окнами на свой и сосѣдній дворъ. Домъ стоялъ на самомъ низу, у подошвы горки, и начиналъ собою рядъ другихъ домовъ такого же узенькаго, но на этотъ разъ прямого переулка, примыкающаго на верхушкѣ къ церкви Николы въ Воробьинѣ.

Московскому городскому обществу на этомъ некрасивомъ домѣ, слѣдуя добрымъ обычаямъ петербургскаго, уже не доведется прибить доску съ надписью, напоминающею о томъ, что, въ честь родного слова и во славу отечественнаго искусства, здѣсь жилъ и работалъ Александръ Николаевичъ Островскій. „И ста запустѣніе на мѣстѣ святѣ“: домовое мѣсто прорѣзано теперь новымъ переулкомъ, носящимъ иностранное имя, вѣроятно, того фабриканта, который взгромоздилъ тутъ же на углу безобразное зданіе своего заведенія, а противъ него выстроились два дома, покрашенные голубою краской.

Прямо передъ окнами дома А. Н. Островскаго разстилался обширный пустырь, принадлежащій народнымъ банямъ, изстари называвшимся „серебряными“,—и, вѣроятно, онѣ были первыми въ Москвѣ общими и торговыми, по крайней мѣрѣ, упоминаніе о нихъ во владѣнныхъ старыхъ актахъ относится ко временамъ царя Алексѣя. Черезъ сто лѣтъ послѣ него и ровно за столько же до нашихъ дней какой-то заѣзжій иностранный художникъ остановился на нихъ, зарисовалъ, отгравировалъ и раскрасилъ, посвятивъ свою картину императору Павлу. Съ его соизволенія она дозволена была во всенародное обращеніе (о чемъ и напечатано внизу) и, какъ библіографическая рѣдкость, попадается въ двухъ варіантахъ. На обѣихъ изображенъ этотъ самый передбан-

ный дворъ, въ томъ видѣ и обстановкѣ, когда общія бани, по самой сущности своего названія, дѣйствительно были общими, т.-е. мытье производилось въ нихъ японскимъ или, вообще, азіатскимъ обычаемъ, въ одномъ помѣщеніи и лицами обоего пола совмѣстно и одновременно. На одной (раскрашенной) гравюрѣ, по направленію къ голымъ фигурамъ моющихся, степенно шествуетъ, съ пузатымъ главою впереди, купеческое семейство полнаго состава отъ-мала-до-велика. На другой гравюрѣ (неиллюминованномъ экземплярѣ) группу красныхъ дѣвицъ, въ тѣлогрѣяхъ и косыночкахъ, сопровождаетъ такая же группа добрыхъ молодцевъ въ кучерскихъ шляпахъ. Надъ тою и другой, на заднемъ планѣ, двое рабочихъ взгромоздились на вышку и накачиваютъ сюда въ чанъ ручнымъ рычагомъ воду изъ Яузы, занимающей добрую половину рисунка,—ту воду, которая и въ то время, несомнѣнно, не была пригодною. На самомъ заднемъ планѣ уже дымитъ фабричная труба, и виднѣется самое зданіе фабрики, изготовляющей для мелкой рѣки густые, тяжелые и липкіе отбросы“ [1]).

Тѣ же банные нравы царили и во времена Островскаго, въ 50-хъ годахъ, и хорошіе знакомые драматурга, во главѣ съ хозяиномъ, часто любовались до одурѣнія запарившимися купцами, мѣщанами и инымъ людомъ, выскакивавшимъ изъ бани голышомъ, чтобы покататься въ снѣгу.

Вотъ они, Колумбы физіотерапіи и сторонники термическаго лѣченія, грубо-эмпирическимъ путемъ дошедшіе до физіотерапевтической пользы смѣны температуръ, обливаній, массажа, потѣнія и т. д.

Какъ видите, Островскій имѣлъ полнѣйшую возможность фактически, всесторонне и очень близко, безъ матеріальныхъ прикрасъ познакомиться съ представителями того міра, который онъ будетъ изображать въ своихъ комедіяхъ.

II.

Въ первые же годы своей службы Островскій началъ мечтать о литературной дѣятельности. Въ его воображеніи уже складывались сцены будущей комедіи. Разумѣется, реалистъ Островскій хотѣлъ, чтобы эта комедія была, прежде

[1]) „А. Н. Островскій по моимъ воспоминаніямъ“, С. Максимова.

всего, жизненна, и чтобы самъ авторъ при ея созданіи стоялъ твердо на почвѣ, т.-е. зналъ бытъ и обстановку выводимыхъ типовъ и условій, при которыхъ развертывается дѣйствіе. При такихъ требованіяхъ отъ себя, какъ автора, Островскій, разумѣется, остановится на тѣхъ лицахъ и сценахъ, которыя ежедневно у него проходятъ передъ глазами. Такъ оно и было. Первая предназначенная къ печати комедія должна была носить названіе „Банкротъ“ [1]), но потомъ переименована въ *Свои люди—сочтемся.*

9-го января 1847 г. въ газетѣ „Московскій Городской Листокъ“ [2]), появился отрывокъ изъ *Своихъ людей.* Несмотря на то, что этотъ отрывокъ заключалъ въ себѣ всего два явленія, онъ причинилъ Островскому столько непріятностей и хлопотъ, что ихъ можно считать слишкомъ большими даже и для пятиактной пьесы.

Дѣло въ томъ, что отрывокъ, напечатанный въ газетѣ, подписанъ иниціалами А. О. и Д. Г. Изъ этой подписи явствуетъ, что надъ произведеніемъ работали два автора. Такъ оно и было. Островскій пригласилъ помочь ему, при рожденіи первенца, артиста московской драматической сцены—Дмитрія Тарасенкова, по сценѣ Горева. Впослѣдствіи, когда имя Островскаго стало выдвигаться изъ ряда именъ, печатающихся только въ общихъ спискахъ адресъ-календарей, г. Горевъ предъявилъ свои авторскія права на комедію. Островскій энергично сталъ это отрицать. Кто знаетъ, какъ быстро выдвигающееся литературное дарованіе плодитъ вокругъ себя зависть и злорѣчіе, для того не покажется страннымъ, что всѣ литературные враги Островскаго ухватились за это сотрудничество, какъ за доказательство, съ одной стороны, способности начинающаго драматурга беззастѣнчиво пользоваться чужимъ трудомъ, а съ другой—какъ за средство умалить дѣйствительные размѣры таланта восходящаго

---

[1]) По другой же версіи—„Несостоятельный должникъ“.

[2]) Съ января 1847 г. въ Москвѣ стала выходить, подъ редакціей г. Драшусова, первая частная ежедневная газета, подъ названіемъ „Московскій Городской Листокъ“. Газета посвящалась научно-литературнымъ вопросамъ. Въ числѣ ея сотрудниковъ мы встрѣчаемъ цвѣтъ тогдашняго литературнаго міра: Т. Н. Грановскаго, П. А. Вяземскаго, А. И. Герцена, А. Ѳ. Вельтмана, Ѳ. И. Глинку, Д. В. Григоровича, К. Д. Кавелина, Е. Ѳ. Корша, Н. Ф. Павлова, П. Г. Рѣдкина, гр. В. А. Соллогуба, С. П. Шевырева, С. М. Соловьева, Н. Х. Кетчера и др.

свѣтила. Пріемъ, какъ намъ извѣстно,—не новый, но всегда одинаково хорошо дѣйствующій на легковѣрную, жадную до всякихъ „исторій“ и сплетенъ толпу. Этотъ пріемъ, между прочимъ, употребляли и въ отношеніи Шекспира и Гуно и другихъ.

Въ первые моменты своей литературной дѣятельности Островскій, очевидно, нащупывалъ почву. Вслѣдъ за отрывкомъ изъ „Несостоятельнаго должника“, онъ печатаетъ разсказы изъ быта Замоскворѣчья, подъ общимъ заглавіемъ: „Записки замоскворѣцкаго жителя“ („Моск. Городской Лист.“, 1847 г., №№ 119—121). Кромѣ того, имъ еще готовились къ печати, но никогда не были напечатаны: „Сказаніе о томъ, какъ квартальный надзиратель пускался въ плясъ, или отъ великаго до смѣшного только одинъ шагъ“, а также „Двѣ біографіи“.

Послѣ напечатанія сценъ изъ „Несостоятельнаго должника“ для Островскаго, тотчасъ же, черезъ нѣсколько недѣль, начался медовый мѣсяцъ авторской славы. Явленіе не совсѣмъ обычное для исторіи русской литературы и общественной жизни. Этотъ фактъ изъ жизни нашего драматурга чреватъ былъ для него послѣдствіями.

Несмотря на всѣ огорченія цензурнаго происхожденія, которыя Островскому пришлось пережить за всю свою авторскую дѣятельность, несмотря на матеріальныя лишенія, испытанныя имъ на протяженіи почти всей жизни, несмотря на мелочную, оскорбительную борьбу съ театральнымъ начальствомъ и артистами-исполнителями, несмотря, наконецъ, на литературную критику, которую онъ такъ не любилъ и о которой говорилъ: „Я даже не прикасаюсь къ критическимъ статьямъ и не желаю о нихъ знать и слышать... Бодрость духа мнѣ дороже...“—Островскій все же среди русскихъ литераторовъ можетъ быть названъ однимъ изъ счастливцевъ. На первыхъ же шагахъ его литературной дѣятельности его отмѣтилъ, и отмѣтилъ съ восторгомъ, законодатель и авторитетъ тогдашняго московскаго общества проф. Шевыревъ; къ нему снисходительно отнесся Гоголь; его, наконецъ, нравственно поддерживалъ кружокъ литературной молодежи; и самъ бичъ Божій Москвы — гр. Закревскій, цинично сознавшійся, что въ Россіи царитъ власть тьмы, принималъ Островскаго у себя.

Далеко не всѣмъ такъ легко на Руси достается литера-

турная извѣстность. Раньше, чѣмъ произведеніе неизвѣстнаго начинающаго автора будетъ напечатано, сколько приходится обить литературныхъ пороговъ будущему „питомцу славы", сколько получить отказовъ и нелѣпыхъ наставленій, требованій согласовать данное произведеніе съ направленіемъ журнала и т. д. Но даже когда Рубиконъ перейденъ и первое произведеніе, наконецъ, напечатано, мытарства несчастнаго дебютанта не только еще не окончены, но только лишь начинаются. Критика, не вѣдающая, что творитъ, набрасывается на дерзкаго пришельца, осмѣлившагося проникнуть въ чертоги избранниковъ неба, тоже протягивающаго руку къ литературному „заработному фонду" и грозящаго занять мѣсто на литературномъ форумѣ. Два-три хлесткихъ фельетона—и критика даетъ ему почувствовать свои копыта. Вслѣдъ за нею то же, съ чужого уже голоса, начинаютъ повторять въ гостиныхъ. Мнѣніе готово. Островскій, благодаря Добролюбовскимъ статьямъ о своихъ произведеніяхъ, не претерпѣлъ такой напраслины и вышелъ изъ искуса не очень поврежденнымъ. Но Добролюбовы родятся столѣтіями, а обычно ихъ обязанности исполняются людьми съ весьма сомнительнымъ литературнымъ чутьемъ и запасомъ знаній. Доброжелательства, поддержки, поощренія и дѣльныхъ указаній отъ нихъ трудно ждать, а красное словцо, столь необходимое для успѣха статьи, какъ извѣстно, не щадитъ даже и мать съ отцомъ.

Въ моментъ напечатанія отрывка изъ *Своихъ людей* въ Москвѣ издавался Погодинымъ журналъ „Москвитянинъ". Уже изъ самаго названія можно заключить, какова была его программа. Самъ Погодинъ былъ убѣжденный сторонникъ націонализма, а потому неудивительно, что онъ сталъ группировать вокругъ себя всѣхъ славянофильствующихъ, а отчасти и славянофиловъ. Самъ Погодинъ и близкій сотрудникъ его проф. Шевыревъ были крайнею правой славянофильства. Это были то, что́ принято называть „квасные патріоты", или, какъ ихъ мѣтко охарактеризовалъ Пыпинъ, „офиціальные народники". Не даромъ же извѣстный академикъ и проф. Московск. Универс. И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Вдругъ мнѣ пришло въ голову: почему бы вамъ какъ Карамзину не проситься въ исторіографы".

Какъ и подобаетъ историку и защитнику своего отечества отъ враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ, Погодинъ

выбралъ своимъ мѣстожительствомъ Дѣвичье Поле, гдѣ нѣкогда, какъ гласитъ исторія, была крѣпость, за которою оборонялась русская рать, защищая Москву отъ польско-литовскаго нашествія. Жилъ онъ тамъ, какъ и должно жить ученымъ мужамъ, замкнуто, не болѣе раза въ годъ дѣлая нашествія на Москву.

Однако, и до него дошли слухи объ Островскомъ и его произведеніи въ „улыбательномъ духѣ". Борецъ съ „гнилымъ Западомъ" беретъ клочокъ бумажки (корректность въ отношеніи своихъ знакомыхъ не входила въ кругъ добродѣтелей Погодина) и пишетъ своему пріятелю Шевыреву:

„Есть какой-то Островскій, который хорошо пишетъ въ легкомъ родѣ, какъ я слышалъ. Спроси г. Попова [1]). И не можетъ ли онъ спросить его трудовъ. Я посмотрѣлъ бы ихъ и потомъ объявилъ бы свои условія".

Шевыревъ, дѣйствительно, былъ знакомъ съ Островскимъ. Знакомство это произошло по рецепту, рекомендованному Погодинымъ, хотя и раньше того момента, когда слухъ о талантѣ Островскаго достигъ Дѣвичьяго Поля.

Точнѣй же ходъ событій былъ таковъ: комедія въ 1849 г. была вполнѣ закончена, и Островскій прочелъ ее своему университетскому пріятелю А. Ѳ. Писемскому.

Въ московскомъ обществѣ стали ходить лестные толки о новомъ произведеніи, и М. Н. Катковъ, близко знакомый съ членами кружка „Молодого Москвитянина", устраиваетъ въ своей тогда еще очень скромной квартирѣ первое чтеніе *Банкрота*. Произведеніе произвело на слушателей необыкновенное впечатлѣніе. Съ этого момента началось частое чтеніе этой пьесы въ разныхъ мѣстахъ Москвы, съ каждымъ днемъ увеличивая ея славу. Островскаго стали просить читать ее въ знакомыхъ и незнакомыхъ домахъ.

Въ это же время онъ познакомился и съ артистомъ Садовскимъ. Садовскій принялъ новую пьесу, какъ литературное откровеніе, и они съ авторомъ стали ее читать въ литературныхъ кружкахъ. Вскорѣ въ „Москвитянинѣ", въ декабрьской книжкѣ, появилась замѣтка, гласившая: „А. Н. Островскій, молодой писатель, извѣстный московской публикѣ нѣкоторыми живыми очерками, написалъ комедію въ пяти

---

[1]) Товарищъ Островскаго по гимназіи, дававшій уроки дѣтямъ Шевырева.

дѣйствіяхъ, въ прозѣ — *Банкрутъ* — превосходное произведеніе, которое, читаемое извѣстнымъ артистомъ нашимъ П. М. Садовскимъ, производитъ общій восторгъ".

Изъ этой замѣтки явствуетъ, что въ этотъ моментъ Погодинъ не былъ знакомъ съ Островскимъ. Есть основанія предполагать, что они вскорѣ познакомились у графини Е. П. Растопчиной, гдѣ Садовскій, на одной изъ субботъ графини, читалъ комедію.

Объ этомъ графиня сообщила Погодину, а послѣ чтенія пришла въ совершеннѣйшій восторгъ: „Что́ за прелесть *Банкротство!* Это нашъ русскій Тартюфъ, и онъ не уступитъ своему старшему брату въ достоинствѣ правды, силы и энергіи. Ура! У насъ рождается *своя* театральная литература"...

Наконецъ, и Погодинъ вышелъ изъ своего историко-мистическаго настроенія и поручилъ извѣстному переводчику Николаю Васильевичу Бергу пригласить къ себѣ на вечеръ Островскаго.

Молодой авторъ былъ приглашенъ на вечеръ къ Погодину, гдѣ и долженъ былъ прочесть свою первую комедію. На этотъ же вечеръ былъ приглашенъ, между прочимъ, и Гоголь.

Островскій всегда считался первоклассным чтецомъ.

А. Я. Панаева въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ: „Островскій читалъ свои пьесы съ удивительнымъ мастерствомъ; каждое лицо въ пьесѣ — мужское или женское — рельефно выдѣлялось, и, слушая его чтеніе, казалось, что передъ слушателями разыгрываютъ свои роли отличные артисты".

Читали *Свои люди* у Погодина авторъ съ П. Садовскимъ вдвоемъ. Когда чтеніе было закончено, проф. русской словесности и тогдашній законодатель и авторитетъ въ области изящной словесности, Шевыревъ, театрально и съ подобающимъ persona gratissima вѣсомъ, произнесъ: „Поздравляю васъ, господа, съ новымъ свѣтиломъ въ отечественной литературѣ".

Погодинъ тотчасъ же заноситъ въ свой дневникъ: „Комедія *Банкротъ* удивительная! Ее прочли Садовскій и авторъ".

Извѣстная писательница и душа славянофильствующаго кружка, Е. П. Растопчина писала Погодину: „Отъ души

радуюсь замѣчательному произведенію и замѣчательному таланту, озарившимъ нашу немощность и нашъ застой. Chaque chose et chaque oeuvre a les défauts et les qualités, поэтому нельзя, чтобы немного грязнаго не примѣшалось въ олицетвореніи типовъ, взятыхъ живьемъ и цѣликомъ изъ общества". Къ хвалебному хору присоединились и А. С. Хомяковъ, и проф. словесности Московскаго университета Ив. Ив. Давыдовъ, и извѣстный художникъ-писатель В. Ѳ. Одоевскій и другіе.

Само-собою разумѣется, что комедія была взята Погодинымъ и напечатана въ 1850 г. въ мартовской книжкѣ „Москвитянина".

Однако, раньше чѣмъ быть напечатанною, пьеса свершила узаконенную и освященную обычаемъ цензурную одиссею.

Одинъ французскій писатель говоритъ, что въ Россіи литераторъ долженъ быть или фанатикъ или мученикъ. Кто знакомъ съ тѣмъ, что́ такое русская цензура, тотъ не будетъ оспаривать остроумнаго француза.

Печатаніе *Банкрута* затормозилось, ибо цензура усмотрѣла въ пьесѣ оскорбленіе всего купеческаго сословія. Редакторъ обратился къ высшему начальству. Въ этихъ хлопотахъ приняла участіе и гр. Растопчина. Отъ Островскаго потребовали объясненій. Наконецъ, отъ гр. Д. Н. Блудова, предсѣдателя всѣхъ комитетовъ о цензурѣ, университетахъ, народномъ просвѣщеніи, было получено Погодинымъ письмо, кажется, благопріятное для пьесы. Посылая копію этого письма Островскому (2-го марта 1850 г.), Погодинъ пишетъ: „Надо воспользоваться этимъ расположеніемъ и ковать желѣзо, пока горячо. Я пошлю его циркулярно къ своему цензору, потомъ къ попечителю и, подсмоливъ такую механику, не пустить ли тотчасъ *Банкрута*, если вы разсудите, въ печать? Въ корректурѣ легче будетъ—психологически—рѣшиться попечителю, который увидитъ, что дѣло какъ-будто уже кончено, и печатный Банкрутъ не кусается. Цензоръ отвезетъ къ нему корректуру, я наподдамъ и пр.". Черезъ два дня дѣло благополучно, наконецъ, было окончено, „механика" подѣйствовала на попечителя и цензора. Погодинъ, обрадованный, пишетъ автору:

„*(Между нами!)*. Ура! ура! Я былъ у попечителя. Говорили о *Банкрутѣ*.—„Если вы думаете, что его пропустить

можно, то я полагаюсь совершенно на васъ. Я и самъ такъ думалъ". Онъ обѣщалъ послать тетрадь къ цензору".

Впрочемъ, дѣло этимъ не окончилось. Уже послѣ напечатанія попечитель В. И. Назимовъ пригласилъ къ себѣ автора, чтобы сообщить „замѣчаніе, полученное изъ Петербурга относительно комедіи, въ видѣ совѣта".

Steeple-chase!..

Намъ сейчасъ трудно представить себѣ то впечатлѣніе, которое произвела пьеса на всѣ слои московскаго общества, начиная отъ салоновъ, университетской молодежи и кончая трактирами и тѣмъ классомъ, который былъ выведенъ въ пьесѣ. Люди, которые раньше ничего не брали въ руки, за исключеніемъ сонниковъ и святцевъ, прочли съ начала до конца новое произведеніе Островскаго, кто негодуя, кто ликуя, кто восхищаясь, кто завидуя. Предъ аристократическимъ обществомъ, по мановенію волшебнаго жезла автора, выросъ цѣлый новый, диковинный, невиданный міръ, своеобразный, поразившій ихъ такъ же, какъ внезапно открытая новая земля поражаетъ путешественника или мореплавателя. Студенты были въ восторгѣ отъ художественныхъ красотъ новаго произведенія; общество московскихъ трактировъ съ восторгомъ слѣдило за чтеніемъ новой пьесы, гдѣ съ такой тонкостью и пониманіемъ дѣла были „раздѣланы подъ-орѣхъ" ненавистные толстосумы и дикобразы Замоскворѣчья; сами же „потерпѣвшіе" сначала опѣшили и растерялись, а затѣмъ, „шибко осерчавъ", обратились съ жалобой ко всесильному московскому генералъ-губернатору графу Закревскому.

Какой-то „писака", „щелкоперъ", у котораго ничего нѣтъ за душой, кромѣ банки чернилъ, смѣетъ издѣваться надъ ними — Большовыми, Подхалюзиными, Ризположенскими! Надъ „патріотами своего отечества", надъ тѣми, кто является „опорой трона, царству оборона"! Кто далъ такое разрѣшеніе, изъ какого департамента, отъ какой власти, за какимъ нумеромъ этому борзописцу? Кто ему позволилъ дразнить и дергать за хвостъ одного изъ китовъ русскаго общества?

Правительство неоднократно черпало денежныя средства, на предметъ различныхъ побѣдъ и одолѣній, непосредственно изъ кармановъ „именитаго купечества"; это же купечество, какъ наиболѣе буржуазный и реакціонный элементъ, всегда служило оплотомъ „существующему порядку

вещей", а потому понятно, что жалобы на Островскаго были выслушаны, гдѣ слѣдуетъ, благосклонно, и тотчасъ же, безъ всякихъ промедленій, столь свойственныхъ бюрократической государственной машинѣ въ такихъ случаяхъ, было сдѣлано распоряженіе о недопущеніи пьесы на сцену, а самого автора подвергли полицейскому надзору. Suum cuique!..

Начальство не понимало, что художественное воспроизведеніе дѣйствительности не можетъ никого оскорбить, никому лично повредить. Цензура судила о произведеніи съ своей личной точки зрѣнія. Критиковать, по ихъ мнѣнію, значило изругать; вывести пороки, недостатки значило кому-нибудь мстить, завидовать, сводить личные счеты, желать кому-нибудь зла, подкапываться подъ чье-нибудь благополучіе. Въ одномъ журналѣ конца XVIII вѣка напечатано, что одинъ пріятель *„покритиковалъ* другого доброю великороссійскою пощечиной — и сія критика весь балъ кончила". Въ цензурной практикѣ вплотную до нашихъ дней господствовалъ такой взглядъ на сатиру, комедію, карикатуру и даже литературную критику. Цензорамъ вездѣ чудились пощечины, и они боялись, какъ бы „сія критика весь балъ не кончила".

Разумѣется, репрессивныя мѣры, принятыя въ отношеніи Островскаго, гнѣвъ замоскворѣцкихъ юпитеровъ и т. д. еще больше увеличили популярность пьесы и ея автора. Всѣ спѣшили познакомиться и съ тѣмъ и съ другимъ. Авторъ воспоминаній объ Островскомъ С. Максимовъ пишетъ:

„Наперерывъ другъ съ другомъ приглашали читать автора это и послѣдующія его произведенія почти ежедневно. Графъ Закревскій оказался, наконецъ, въ числѣ его поклонниковъ: на всѣхъ первыхъ представленіяхъ *Бѣдность не порокъ* и слѣдующихъ пьесъ молодого сочинителя гладкая какъ ладонь голова графа неизбѣжно вырисовывалась въ первыхъ рядахъ креселъ, рядомъ со львиною головой, украшенною цѣлою копной непослушной шевелюры, знаменитаго кавказскаго героя генерала А. П. Ермолова. Этотъ, впрочемъ, добровольно зачислилъ самъ себя въ поклонники собственно П. М. Садовскаго, котораго очень любилъ. Артистъ проводилъ у опальнаго генерала цѣлые вечера въ его скромномъ и пустынномъ кабинетѣ, на Большой Никитской, всегда вдвоемъ и глазъ-на-глазъ".

Какъ бы то ни было, въ залахъ гр. Закревскаго Островскій не разъ читалъ свои произведенія, обѣ первыя пьесы, и тутъ же услыхалъ оригинальное утѣшеніе изъ устъ самого грознаго и ревностнаго блюстителя за спокойствіемъ умовъ столицы, когда пожаловался нашъ чтецъ вскользь о недоразумѣніи, возникшемъ въ Петербургѣ и вызвавшемъ полицейскій надзоръ:

— Это вамъ дѣлаетъ больше чести!—лукаво отыгрывался властный старикъ почти наканунѣ своего паденія.

При вступленіи на престолъ Императора Александра II, по всемилостивѣйшему манифесту, полицейскій надзоръ былъ снятъ, и явившійся на квартиру Островскаго мѣстный квартальный надзиратель и благодарилъ его и поздравлялъ съ пріятною новостью. Благодарилъ за то, что онъ освободилъ полицію поведеніемъ своимъ отъ излишнихъ безпокойствъ и сохранилъ его, квартальнаго, здравымъ и невредимымъ, а поздравлялъ (приправившись пріятною улыбкой) словами, хорошо запечатлѣвшимися въ памяти свидѣтелей этого посѣщенія:

— Кажется, мы васъ не безпокоили, — расшаркивался квартальный. — Мы доносили о васъ, какъ о благородномъ человѣкѣ. Не скрою, однако, что мнѣ одинъ разъ была за васъ пахлобучка.“

Отсюда напрашивается самъ-собою выводъ, что и въ Россіи бываютъ квартальные, переполненные добродушіемъ, доброжелательствомъ и даже самопожертвованіемъ, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда лица, въ отношеніи которыхъ они проявляютъ свои чувства, хороши съ ихъ начальствомъ.

Разумѣется, поднадзорный Островскій не могъ оставаться на службѣ въ Судѣ. 10-го января 1851 г. его уволили, написавъ въ аттестатѣ, что увольняемый должность свою исполнялъ усердно, при хорошемъ поведеніи. Словомъ—по пословицѣ: „Коль служить, такъ на всѣ голоса говорить, а коль на всѣ голоса не говорить, такъ не служить“.

Кромѣ служебныхъ непріятностей и административной кары, Островскаго постигла еще одна изъ египетскихъ казней россійской общественной жизни — литературная сплетня и кляуза.

Какъ только *Свои люди* выдвинули молодого автора, такъ тотчасъ же явился „сотрудникъ“ Островскаго и сталъ предъявлять свои права ровно на половину того лавроваго

вѣнка, которымъ печать и общество увѣнчали пьесу Островскаго.

Въ „Вѣдомостяхъ Московской Городской Полиціи" нѣкій Правдовъ спрашивалъ, почему на цѣлой пьесѣ *Свои люди—сочтемся* не значится двухъ авторскихъ именъ, между тѣмъ какъ подъ отрывкомъ изъ нея, въ „Московскомъ Городскомъ Листкѣ", стоятъ двѣ подписи? Почему Островскій умолчалъ объ участіи Горева въ сочиненіи пьесы?

На этотъ вопросъ Островскій отвѣчалъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" статьей *Литературное объясненіе.* Оно сообщаетъ любопытныя свѣдѣнія о началѣ писательской дѣятельности автора и должно остаться цѣнною страницей въ его біографіи.

„До осени 1846 года,—сообщалъ Островскій,—мною написано было много сценъ изъ купеческаго быта... Комедія *(Свои люди — сочтемся)* въ общихъ чертахъ была уже задумана, и нѣкоторыя сцены набросаны; многимъ лицамъ я разсказывалъ идею и читалъ нѣкоторыя подробности... Осенью 1846 года пришелъ ко мнѣ г. Горевъ; я прочелъ ему написанныя мною *Семейныя сцены* (позже — *Семейная картина*) и разсказалъ сюжетъ своей пьесы. Онъ предложилъ начать обдѣлку сюжета вмѣстѣ: я согласился—и мы занимались три или четыре вечера (т.-е. г. Горевъ писалъ, а я большею частью диктовалъ). Въ послѣдній вечеръ г. Горевъ объявилъ мнѣ, что онъ долженъ ѣхать изъ Москвы. Тѣмъ и ограничилось его сотрудничество.

До 1847 года я не принимался за комедію; весною же (точнѣе въ *самомъ началѣ*) того года я началъ обработку пьесы по измѣненному мною плану и поспѣшилъ напечатать написанное съ г. Горевымъ... Нѣсколькихъ строчекъ, нѣсколькихъ фразъ г. Горева я не желалъ присвоить себѣ и объявилъ объ его сотрудничествѣ, подписавъ, въ его отсутствіе, сцены и за себя и за него".

Вскорѣ состоялось извѣстное намъ чтеніе сценъ у Шевырева. Островскій снова принялся за комедію и, по обыкновенію, снова обращался къ совѣтамъ и мнѣніямъ другихъ.

„Въ продолженіе 1847, 1848 и половины 1849 года,—разсказываетъ онъ,—я писалъ свою комедію отдѣльными сценами, на глазахъ своихъ друзей; постоянно читалъ имъ каждую сцену; совѣтовался съ ними о каждомъ выраженіи; исправлялъ, передѣлывалъ, нѣкоторыя сцены оставлялъ

вовсе, другія замѣнялъ новыми; во время болѣзни, не будучи въ состояніи писать, диктовалъ четвертый актъ; написанная прежде сцена, по новому плану, вошла въ третье дѣйствіе".

Вся послѣдующая литературная дѣятельность Островскаго достаточно убѣдительно подтверждаетъ положеніе, что и безъ „сотрудничества" г. Горева *Свои люди*, вѣроятно, ничего бы не потеряли, самъ же Островскій многое выигралъ бы, не имѣя надобности полемизировать по такому щекотливому поводу, читать о себѣ газетныя статьи, уличающія его въ присвоеніи чужого литературнаго труда.

Съ напечатаніемъ въ „Москвитянинѣ" комедіи *Свои люди—сочтемся* Островскій вступаетъ въ редакцію Погодинскаго журнала. Какъ разъ къ этому времени составъ сотрудниковъ журнала обновляется, новая редакція мѣняетъ значительно свою программу, и журналъ получаетъ литературный вѣсъ и значеніе.

А. Григорьевъ, вспоминая объ этомъ моментѣ много лѣтъ спустя, пишетъ: „Явился Островскій, и около него, какъ центра, кружокъ, въ которомъ нашлись всѣ мои дотолѣ смутныя вѣрованія... О, какъ мы тогда пламенно вѣровали въ свое дѣло; какія высокія пророческія рѣчи лились, бывало, на попойкахъ изъ устъ Островскаго; какъ безбоязненно принималъ тогда старикъ Погодинъ отвѣтственность за свою молодежь, какъ сознательно, несмотря на пьянство и безобразіе, шли мы всѣ тогда къ великой и честной цѣли!.. Пуста и гола жизнь послѣ этого сна"...

Кружокъ литераторовъ, начавшихъ въ 1850 г. новую эру журнала, получилъ названіе „Молодого Москвитянина". Онъ состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: А. А. Григорьева, извѣстнаго литературнаго критика, А. А. Потѣхина, Р. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова, Т. И. Филиппова, А. С. Хомякова, Кокорева, самого Погодина и А. Н. Островскаго. Очень близко къ кружку стоялъ и дебютировалъ своимъ „Ипохондрикомъ", „Тюфякомъ" и „Бракомъ по страсти" А. Ѳ. Писемскій, а также знаменитый московскій актеръ П. М. Садовскій, и позже—извѣстный разсказчикъ И. Ѳ. Горбуновъ.

Среди участниковъ этого кружка особенно выдѣлялся Т. И. Филипповъ, по тому вліянію, которое онъ имѣлъ на остальныхъ членовъ „Молодого Москвитянина", вообще, а на Островскаго, въ частности. Вліяніе Филиппова покоилось

не столько на его журнальныхъ статьяхъ, сколько на его знаніи, безграничной любви къ народной русской пѣснѣ, которую онъ хорошо понималъ, высоко цѣнилъ и превосходно исполнялъ.

Несомнѣнно, живые памятники народнаго творчества, какъ, напримѣръ, пѣсня, имѣютъ огромное и зачастую незамѣнимое значеніе для исторіи народа: словесности, филологіи, археологіи, для уясненія души народа и его національныхъ особенностей, наконецъ, для художественнаго творчества. Недаромъ чуткій и геніальный М. И. Глинка и А. С. Пушкинъ такъ внимательно и серіозно относились къ народной пѣснѣ. „Творитъ народъ,—говорилъ Глинка,—а мы только лишь его компиляторы". Пушкинъ также понималъ великое значеніе русской народной пѣсни и собиралъ ихъ. Собиралъ наши пѣсни и извѣстный археологъ Пав. Ив. Савваитовъ въ тридцатыхъ годахъ, но дѣйствительно серіозный вкладъ въ литературу народнаго творчества сдѣлалъ выдающійся представитель умственнаго движенія въ Россіи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ Петръ Васильевичъ Кирѣевскій. Удивительно способный, разносторонне образованный, владѣющій семью европейскими языками, Петръ Васильевичъ страстно любилъ свой народъ и дорожилъ народностью. По выраженію Пушкина, богатство знаній и европейская образованность спасли Кирѣевскаго отъ слѣпого, раболѣпнаго преклоненія предъ всѣмъ иностраннымъ, избавили отъ „чужеземнаго идеологизма и укрѣпили въ его сердцѣ благоговѣніе къ основамъ нашей русской жизни". Съ палкой въ рукѣ и котомкою на плечахъ отправился Кирѣевскій по русскимъ селамъ и деревнямъ, вдаль отъ большихъ дорогъ, за драгоцѣнною добычей. По этому поводу Языковъ пишетъ:

Своей народности подвижникъ просвѣщенный,
Съ ученымъ фонаремъ исторіи смиренно
Ты древле-русскіе обходишь города.

Вслѣдъ за Кирѣевскимъ подвижничество принялъ на себя извѣстный П. И. Якушкинъ, исходившій per pedes Apostolorum многія губерніи матушки-Руси, собирая исчезающіе остатки пѣсеннаго народнаго творчества.

Съ легкой руки этихъ людей народная пѣсня стала предметомъ внимательнаго изученія въ лагерѣ славянофиловъ и цѣнителей народности.

Т. И. Филипповъ, обладая красивымъ голосомъ, художественнымъ чутьемъ и страстною любовью къ народности, явился истолкователемъ и иллюстраторомъ къ тому, что говорили лучшіе представители славянофильства о необходимости изученія своего народа и его культуры. „Собственно говоря, она, эта пѣсня, и была главною силой, постепенно слагавшею, вырабатывавшею и выяснявшею основное міровоззрѣніе кружка. Открывая и бытовыя особенности, и историческій складъ, и вѣковѣчные идеалы русскаго народа, та же пѣсня побудила членовъ кружка основательнѣе вглядѣться въ значеніе Петровской реформы, какъ бы разрѣзавшей всю историческую Русь пополамъ“... [1])

До „Москвитянина“ Островскій былъ безусловнымъ „западникомъ“, неукоснительно читавшимъ каждую книжку „Отечественныхъ Записокъ“ и постоянно цитировавшимъ оттуда. Какъ натура художественная, увлекающаяся, Островскій въ своемъ увлеченіи Западомъ перехватывалъ даже черезъ край. Онъ увѣрялъ, напримѣръ, что самый видъ московскаго Кремля съ соборами ему противенъ. „Для чего здѣсь настроены эти пагоды?“—восклицалъ ярый западникъ.

Въ это время еще борьба славянофиловъ и западниковъ въ русской литературѣ далеко не была окончена, и имена Герцена, Грановскаго, Станкевича и Бѣлинскаго еще не потеряли своего обаянія и руководящаго начала.

Европа переживала самый блестящій періодъ своей общественной жизни, тогда какъ о Россіи можно было повторить слова П. А. Вяземскаго изъ его письма къ А. И. Тургеневу: „Истинный русскій патріотизмъ въ настоящее время можетъ заключаться только въ ненависти къ Россіи, какою она сейчасъ представляется“.

„Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ,—читаемъ мы въ одномъ изъ очерковъ Салтыкова,—для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, т.-е. о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе. Какъ извѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая

---

[1]) *Н. Барсуковъ.* „Жизнь и труды М. П. Погодина“.

публика) подѣлилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этотъ лагерь уже не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на подрастающее поколѣніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ вѣдомству управы благочинія. Я въ то время только-что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ, но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Фурье, Луи-Блана и, въ особенности, Жоржъ-Зандъ. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда. Въ Россіи—впрочемъ, не столько въ Россіи, сколько спеціально въ Петербургѣ—мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имѣли *образъ жизни*—ходили на службу въ соотвѣтствующія канцеляріи, писали письма родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собою область, какъ бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дѣло, какъ опубликованіе „Собранія русскихъ пословицъ", являлось прихотливымъ и предосудительнымъ; напротивъ того, во Франціи все было ясно какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ вырѣзками и помарками".

Разумѣется, то, что у Герцена, Грановскаго, Щедрина покоилось на сознательномъ отношеніи къ Западу, на хорошемъ знаніи литературы, культуры и жизни нашихъ сосѣдей, то у многихъ русскихъ являлось дѣломъ простой моды, слѣпымъ поклоненіемъ, пѣсней съ чужого голоса. Герценъ, имѣвшій возможность часто наблюдать „нашихъ за границей", остроумно и зло подсмѣивается надъ русскимъ обывателемъ, неуклюже заискивающе и подобострастно расшаркивающимся передо всѣмъ, что носитъ иностранную этикетку и имѣло счастье родиться въ Парижѣ или Германіи.

„Нужно было видѣть почтеніе, благоговѣніе, низкопоклонство, изумленіе молодыхъ русскихъ, пріѣзжавшихъ въ Парижъ!.. На другой же день неприступные бояре, наглецы, грубіяны, совершали свое поклоненіе волхвамъ, ухаживали за всѣми знаменитостями,—все равно, какого рода и какого пола,—начиная съ Дезирабора, зубного врача, до Ма-па, пророка.

Бѣдняги, они были жалки въ своей маніи удивленія. Дома имъ было нечего уважать, кромѣ грубой силы и ея внѣшнихъ знаковъ, чиновъ и орденовъ. Поэтому молодой русскій, какъ только переходилъ границу, былъ пораженъ острымъ идолопоклонствомъ. Онъ впадалъ въ экстазъ передъ всѣми людьми и всѣми вещами, передъ швейцарами и философіей Гегеля, передъ картинами Берлинскаго музея, передъ Штраусомъ-богословомъ и Штраусомъ-музыкантомъ. Шишка почтенія росла все больше и больше до самаго Парижа“...

Несомнѣнно, Островскій долженъ быть причисленъ къ этому типу поклонниковъ Запада. Незнакомый ни съ жизнью, ни съ наукой, ни съ литературой, ни съ культурой западныхъ странъ, Островскій могъ только говорить съ чужого голоса, что́ онъ и дѣлалъ до знакомства съ кружкомъ „Молодого Москвитянина“. Тутъ онъ рѣзко и быстро мѣняется въ своихъ симпатіяхъ и столь же рѣшительно, и опять съ чужого голоса, переходитъ на сторону борьбы съ Западомъ, какъ прежде боролся съ Кремлемъ и его „пагодами“. Подъ вліяніемъ Т. И. Филиппова Островскій перемѣнилъ взглядъ на національный вопросъ и однажды, увлеченный народными пѣснями Филиппова, воскликнулъ:

— Съ Тертіемъ (Филипповымъ) да Провомъ (Садовскимъ) мы все Петрово дѣло повернемъ назадъ.

Насколько практически выполнима такая программа и насколько она по плечу „Тертію“, „Прову“ и Островскому, сказать, конечно, нетрудно, но несомнѣнно, что, вступивъ въ составъ „могучей кучки“, Островскій сильно окрасился во всѣ цвѣта славянофильской радуги.

Однако, теоретическое увлеченіе Западомъ или допетровскою Русью, „преданьями старины глубокой“ или заморскими диковинами, не сбили Островскаго съ пути, какъ художника. Правда, эти увлеченія не остались безъ слѣда, но это были лишь колебанія вокругъ реальной цѣнности, какъ выразился бы экономистъ. Подъ вліяніемъ славянофи-

ловъ или статей Добролюбова Островскій настраивался въ томъ или другомъ духѣ, но въ его произведеніяхъ это отражалось только лишь моментами, частностями, отдѣльными фразами, а общій тонъ произведенія оставался вѣрнымъ, не уклоняющимся въ партійную борьбу, не служа иллюстраціей къ той или другой программѣ. Съ юности непосредственно соприкасаясь съ жизнью и людьми, онъ всегда стоялъ на собственныхъ ногахъ. Онъ всегда черпалъ изъ книги жизни, которую, къ счастію, волею или неволею, долженъ былъ изучить. Объ Островскомъ можно то же сказать, что говоритъ проф. Веселовскій о Мольерѣ: „Счастливъ тотъ писатель, которому судьба послала подобную житейскую школу, съ раннихъ поръ готовя его къ его поприщу; реализмъ у него не будетъ придуманъ заднимъ числомъ, по чужой указкѣ, но явится отпечаткомъ жизни".

III.

Съ 1850 г. Островскій начинаетъ давать русской публикѣ одну пьесу за другой. Въ томъ же 1850 г. въ „Москвитянинѣ", вслѣдъ за *Своими людьми*, появляется *Утро молодого человѣка*, а на горизонтѣ уже виднѣется новая комедія— *Бѣдная невѣста*, надъ которою работаетъ авторъ.

Къ сожалѣнію, съ первыхъ же шаговъ литературнаго поприща Островскому пришлось узнать, что литературный успѣхъ одинъ еще не влечетъ за собою и матеріальный достатокъ, что русскій литераторъ, въ особенности въ то время, могъ съ полнымъ правомъ сказать словами Фигаро: „Чести много, а денегъ мало". Положимъ, строго говоря, и чести не очень много, но все же больше, чѣмъ денегъ. Не знаю, зналъ ли Островскій эту фразу Фигаро, но что онъ на себѣ испытывалъ истину этихъ словъ, это несомнѣнно.

О, гонорарный вопросъ! Кто изъ русскихъ писателей не сталкивался съ нимъ въ самой острой формѣ? Даже Пушкинъ, несмотря на связи въ высшихъ сферахъ и огромное литературное дарованіе, признанное даже при жизни, долженъ былъ „взять мѣсто" какого-то архиваріуса, для составленія исторіи Петра; а Достоевскій, умершій съ долгомъ въ тысячу рублей редакціи „Отечественныхъ Записокъ" и боровшійся всю жизнь съ нуждой; а Гоголь, на смертномъ одрѣ

мечтавшій о пяти тысячахъ ассигнаціями для поѣздки, съ лѣчебною цѣлью, за границу; а Щедринъ, еле-еле сводившій концы съ концами и то потому, что, какъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, онъ за свою чиновничью службу получалъ пенсію...

О, культура страны, дающая своимъ лучшимъ сынамъ умирать чуть ли не съ голоду!.. О, общественный строй, цѣнящій и оплачивающій тысячными окладами „трудъ" чиновниковъ, въ головѣ которыхъ никогда не возникала ни одна собственная мысль, и равнодушно проходящій мимо того, безъ чего нація была бы стадомъ дикихъ звѣрей или пещерныхъ жителей!..

Въ этомъ смыслѣ Островскій не избѣжалъ общей участи, и для него это были „знакомыя, печальныя мѣста"...

Погодинъ не любилъ платить своимъ авторамъ. Ихъ произведенія онъ печаталъ охотно, потому что они ему подняли сильно подписку журнала, но въ своихъ денежныхъ расчетахъ съ сотрудниками былъ прижимистъ, какъ и подобаетъ истинно-русскому человѣку, вышедшему изъ народа и ставшему собственникомъ и предпринимателемъ. „Хозяйственный мужичокъ" въ немъ сказался тотчасъ же. По увѣренію г. Венгерова, онъ положительно эксплуатировалъ свою молодежь [1]). За первую комедію *Свои люди—сочтемся* онъ заплатилъ Островскому столько, что тотъ впослѣдствіи стыдился сообщить цифру перваго своего „гонорара". Должно-быть, сумма была круглая!.. Конечно, и сейчасъ литературный гонораръ въ большинствѣ случаевъ не вызываетъ особеннаго переполненія кармановъ литературныхъ дѣятелей, но плата, которою обыкновенно Погодинъ поощрялъ Пегаса, врядъ ли могла заставить его взобраться на вершину Геликона. 15 руб. за печатный листъ считалось у Погодина высшимъ гонораромъ!.. Кромѣ того, какъ сторонникъ семейнаго начала, онъ эту плату выдавалъ только тѣмъ изъ сотрудниковъ журнала, которые уже на практикѣ провели апостольское поученіе: „Не добро человѣку единому быти"; холостые же держались на еще большей гонорарной діэтѣ. А. Григорьевъ какъ-то разъ откровенно высказалъ Погодину въ глаза, что тотъ просто-на-просто эксплуатируетъ сотрудниковъ. „Въ вашемъ превосходительствѣ, — сказалъ

---

[1]) *С. А. Венгеровъ.* Молодая редакція „Москвитянина", „Вѣстн. Евр.", 1886 г. № 2.

первый критикъ „Молодого Москвитянина",—глубоко укоренена мысль, что человѣка надобно держать вамъ въ черномъ тѣлѣ, чтобъ онъ былъ полезенъ". Какъ ни скуденъ былъ гонораръ, но и онъ еще выдавался Погодинымъ не вдругъ, а по частямъ, съ прижимками,—вѣроятно, для того, чтобы не развивать въ сотрудникахъ расточительность и не давать имъ возможность предаваться лѣности, свойственной сытому человѣку.

Цѣлый рядъ писемъ-воплей сотрудниковъ „Москвитянина" подтверждаютъ слова безсребренника А. Григорьева.

Не будучи въ состояніи существовать на свой литературный „заработокъ", Островскій взялъ на себя въ журналѣ еще и обязанности корректора. Мѣстомъ занятій было Дѣвичье Поле, куда Островскій ежедневно и понтировалъ. Такимъ образомъ, свою скудную жизнь нашъ драматургъ въ это время зарабатывалъ тѣмъ, что каждодневно дѣлалъ пѣшкомъ по двѣнадцати верстъ, несъ кропотливый нелегкій трудъ корректора и писалъ комедіи, поставившія русскій театръ на собственныя ноги.

Островскій съ полнымъ правомъ могъ сказать, о своихъ отношеніяхъ къ Погодину, словами Гюйо:

Но меня приковалъ онъ, опуталъ цѣпями,
Взялъ свободу мою, отнялъ мужество онъ.
— Такъ когда-то изгнанникъ, съ босыми ногами,
Шелъ въ лѣсу Аполлонъ.

Въ то время, когда Островскій тратитъ чернила и бумагу не только на сочиненія, но и на письма, гдѣ онъ доказываетъ многимъ хорошо извѣстную истину, что деньги все-таки необходимы даже для литераторовъ, и что „къ такому празднику, когда расходы удесятерятся, быть совершенно безъ копейки—вещь очень непріятная", въ „Москвитянинѣ" печатается *Бѣдная невѣста*.

30 января 1852 г. Островскій пишетъ Погодину: „Завтра, т.-е. въ четвергъ, я вамъ сдамъ *Невѣсту*: не удивляйтесь, что я поступаю съ ней не по-христіански, а по-азіатски, т.-е. хочу взять съ васъ калымъ за нее. До сихъ поръ, хоть денегъ у меня не было, такъ комедія лежала на столѣ; а теперь ни комедіи не будетъ, ни денегъ, на что жъ это похоже! Что жъ я буду за человѣкъ! У всякаго человѣка съ большимъ трудомъ соединяются и большія надежды; мои надежды очень ограничены: мнѣ бы только расплатиться

съ необходимыми долгами да насчетъ платьишка кой-какого—и всего-то сто руб. серебр. (а объ остальномъ потолкуемъ и сочтемся). Я бы съ васъ за эту комедію ничего не взялъ, да нужда моя крайняя".

Бѣдная невѣста, кромѣ своихъ художественныхъ достоинствъ и восторговъ критики, представляетъ еще и автобіографическій интересъ. Сама *Бѣдная невѣста* не только списана съ существовавшаго лица, но и вдобавокъ съ лица, игравшаго роль въ жизни Островскаго. Это—предметъ его юношескихъ увлеченій.

И нѣтъ забвенія! и прошлыя страданья
Все ярче, все сильнѣй!.. Увы! такъ суждено:
Тамъ, гдѣ ужъ нѣтъ надеждъ, насъ ждутъ воспоминанья...

Какъ и подобаетъ „воспоминаньямъ" такой категоріи, они особенно, видимо, волновали душу Островскаго, и авторъ комедіи *Бѣдная невѣста* хотѣлъ не ударить въ грязь лицомъ передъ носителемъ „прошлыхъ страданій". Онъ тщательно и любовно отдѣлывалъ каждую строку новаго произведенія.

Еще до напечатанія *Бѣдной невѣсты* извѣстный романистъ Г. П. Данилевскій пишетъ Погодину: „Ждутъ съ нетерпѣніемъ *Бѣдной невѣсты*—даже стихи сатирическіе пишутъ на Москву, въ тревожномъ ожиданіи этой комедіи".

Сначала Островскій рѣшился напечатать только отрывокъ въ литературномъ сборникѣ „Раутъ", потомъ въ декабрѣ 1851 года прочиталъ всю комедію въ одну изъ субботъ гр. Растопчиной. Среди слушателей находился Шевыревъ; чтеніе произвело на него сильное впечатлѣніе, и онъ поспѣшилъ подѣлиться своимъ мнѣніемъ съ Погодинымъ. Гр. Растопчина также восторгалась. Эти вѣсти дошли до Писемскаго, жившаго въ Костромѣ,—и онъ, со свойственною ему порывистостью и шумливостью, написалъ Погодину: „Сейчасъ получилъ письмо отъ Островскаго... Радуюсь его успѣху и заочно восклицаю: Ура!!! Выдирай наши!!!"

Это произведеніе, дѣйствительно, имѣло громадный интересъ. Помѣщенное въ апрѣльской книжкѣ „Москвитянина" 1852 г., оно читалось многими съ положительнымъ восторгомъ. „Комедія Островскаго,—писалъ Писемскій Погодину,—нравится всѣмъ безъ исключенія... Всѣ выведенные имъ типы мнѣ снятся каждую ночь. Беневоленскаго я выучилъ наизусть и недурно играю".

Эта пьеса еще болѣе упрочивала славу Островскаго. Западники, отбросивши всѣ стилистическія и логическія тонкости и лабиринты критическихъ статей А. Григорьева, Колумба „новаго слова“ въ комедіяхъ Островскаго и Джэка-потрошителя его персонажей, признали талантъ Островскаго выдающимся, а Тургеневъ назвалъ дарованіе нашего драматурга „замѣчательнымъ“, а въ будущемъ ждетъ отъ него „необыкновеннаго“.

Далеко не всѣ произведенія, написанныя для сцены, сценичны. Въ талантѣ драматурга должны быть нѣкоторыя специфическія особенности, отличающія его отъ вообще писателя-художника. Сцена требуетъ дѣйствія, сжатости и ясности мысли, хорошаго діалога, выпуклой фабулы. Всѣ эти качества не такъ часто встрѣчаются среди писателей, пишущихъ для сцены. Произведенія большинства изъ нихъ походятъ на разсказъ, разыгранный на сценѣ: дѣйствія нѣтъ; мысль сбивчива; фабула или ничтожна или претенціозна; отсутствіе оригинальности и постоянное оригинальничанье; сценическіе художественные эффекты замѣняются ничего не имѣющими съ ними общаго патологическими, и, не давая зрителю художественныхъ наслажденій, доводятъ его нервную систему до высшаго напряженія.

Островскій былъ одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ драматурговъ, произведенія которыхъ выигрывали отъ постановки ихъ на сценѣ. Съ литературнымъ дарованіемъ онъ сочеталъ рѣдкое качество сценическаго писателя, постигнувшаго тонкости и секретъ оптическихъ условій сцены. Для Островскаго литературный успѣхъ былъ недостаточенъ; ему нуженъ былъ не столько читатель—сколько зритель, не столько аудиторія журнала—сколько театральная зала. Но пьеса за пьесой появлялись въ печати; о нихъ говорили всѣ журналы, литературные кружки, читающая публика, а сценическіе подмостки, „храня завѣты старины“ и полагая, что ничего не можетъ быть путнаго изъ Галилеи, а паче всего, отвѣчающаго цензурно-полицейскимъ требованіямъ эпохи шпицрутеновъ, крѣпостного права, безгласія, произвола, общественной жизни, слагающейся по командѣ и барабану,— игнорировали ихъ. Провинціальная сцена тогда почти не существовала, а тѣ немногія труппы, которыя были разсѣяны по лицу земли родной, питались репертуаромъ Императорскихъ театровъ. Въ столицахъ, кромѣ казенной сцены, суще-

ствованіе другихъ театровъ было запрещено закономъ. Такимъ образомъ, авторъ, для котораго не открылись двери Императорскихъ театровъ, былъ лишенъ возможности увидѣть свое произведеніе въ сценической обстановкѣ.

IV.

14-го января 1853 г. долженъ былъ состояться бенефисъ извѣстной актрисы московской сцены Л. П. Косицкой. Она выбрала пьесу Островскаго *Не въ свои сани не садись*. Дирекція пришла въ волненіе. Дѣло въ томъ, что императоръ Николай, какъ большой любитель театра, никогда не пропускалъ ни одной новой пьесы. Онъ зналъ лично каждаго актера, постоянно посѣщалъ театръ и бывалъ за кулисами; разговаривалъ запросто съ актерами и принималъ участіе не только въ ихъ судьбѣ, но и въ маленькихъ закулисныхъ исторіяхъ и дрязгахъ. При такомъ вниманіи къ театру тогдашнему директору театровъ Гедеонову приходилось ежеминутно считаться со вкусами, волею и даже мимолетными настроеніями государя.

Отсюда понятны тѣ волненія, опасенія и сомнѣнія, которыя предшествовали постановкѣ новой пьесы.

Дирекція была вполнѣ увѣрена, что и на бенефисный спектакль 14-го января государь будетъ въ театрѣ. Какъ онъ взглянетъ на содержаніе пьесы? Вѣдь, тамъ выведенъ дворянинъ, не надѣленный положенными по штату этому благородному сословію нравственными качествами. Рядомъ съ шалопаемъ Вихоревымъ, промотавшимъ свое имѣніе, разсуждая, что деньги „не больше не меньше, какъ средство жить порядочно, въ свое удовольствіе“, что „уже доказано всѣми науками“, нарисована эпическая фигура купца Русакова. Для зрителей ясно, что симпатіи автора не на сторонѣ дворянина. Удобно ли это для „существующаго порядка вещей“? А вдругъ это вызоветъ гнѣвъ государя? Вдругъ дирекціи придется быть въ положеніи Тяпкина-Ляпкина?

Толки въ обществѣ о желаніи бенефиціантки поставить пьесу Островскаго росли съ каждымъ днемъ, и, какъ ни слабо было тогда общественное мнѣніе и какъ ни великъ былъ служебный страхъ дирекціи, все-таки удалось убѣдить

театральное начальство, что все обойдется къ общему благополучію.

Первое представленіе прошло съ громаднымъ успѣхомъ, но для дирекціи это было неважно: она ждала съ трепетомъ приговора государя, не пріѣхавшаго на бенефисъ.

Въ вечеръ второго спектакля новой пьесы царская ложа была занята. Опустилась занавѣсь послѣдняго акта, и слова государя сразу привели въ нормальное состояніе нервную систему дирекціи. „Очень мало пьесъ,—сказалъ государь,—которыя бы мнѣ доставили такое удовольствіе, какъ эта. Это не пьеса, а нравственный урокъ“. Въ слѣдующее представленіе государь снова не только посѣтилъ театръ, но привезъ съ собою государыню и наслѣдника съ супругой.

Одобреніе пьесы со стороны государя было важно дирекціи только въ смыслѣ спасанія собственныхъ животовъ, но оно нисколько не измѣнило ихъ взгляда на художественное и общественное значеніе дѣтища Островскаго. Такъ же, какъ и къ операмъ Глинки, петербургская дирекція отнеслась и къ произведеніямъ Островскаго. Слухъ, глазъ и общественное воспитаніе людей петербургскихъ салоновъ не могли примириться съ армяками, бородами и рѣчью персонажей Островскаго. Не такъ приняла ихъ Москва. Что́ для Петербурга Островскій и что́ для Островскаго Петербургъ? Чѣмъ Петербургъ до сихъ, по крайней мѣрѣ, поръ былъ связанъ со страной? Необходимостью во́-время, для осуществленія бюджетной смѣты, получать выкупные платежи за такъ-называемые крестьянскіе надѣлы; увеличивать съ каждымъ годомъ косвенные и прямые налоги, отдавая предпочтеніе первымъ, какъ падающимъ на народныя массы, которыя все снесутъ; посылкой „помпадуровъ“ для усмиреній, подтягиваній, „децентрализацій, въ смыслѣ свободнаго битья по зубамъ“; основаніемъ дворянскаго банка; государственнымъ кормленіемъ благороднаго сословія дворянъ; разсылкой безконечнаго количества церкуляровъ, коверкающихъ и сгибающихъ жизнь страны въ бараній рогъ... Ну а больше чѣмъ? Если все это приходится сказать о современномъ Петербургѣ, то что же останется для Петербурга временъ полнѣйшей „централизаціи“ первой половины XIX столѣтія? Что же можно сказать о городѣ, сверху до низу набитомъ чиновниками всѣхъ вѣдомствъ и ранговъ? Что можно сказать о городѣ, гдѣ пишутъ не литераторы, а чиновники; гдѣ руко-

водитъ общественнымъ мнѣніемъ не печать, не интеллигенція, а Дворъ; гдѣ фантазія безпрепятственно можетъ создавать образы, положенія только у представителей сыскного отдѣленія, всѣ же остальные граждане ложатся спать, одѣваются, мыслятъ, стригутся, бреются, говорятъ, создаютъ художественныя и литературныя произведенія, учатъ и учатся, любятъ, живутъ и умираютъ согласно распоряженіямъ начальства?

Что же касается Москвы, то она въ эти тяжелыя для русской общественности времена сохранила органическую связь съ народомъ. Эта „большая деревня" со всею своею неумытостью, скверною мостовой, скучнѣйшимъ обществомъ, внѣшнею нечистоплотностью и примитивными формами общежитія льнула къ Россіи, и Россія льнула къ ней. И то, что для глаза петербургскаго „безшабашнаго совѣтника" или щегольского лейбъ-гвардейскаго ротмистра было чуждо и, просто, непонятно, то для московскаго обывателя было свое, родное.

Въ первый разъ Москва увидѣла Островскаго на сценѣ 23-го января 1854 г., т.-е. годъ спустя послѣ Петербурга. Впервые была поставлена *Бѣдность не порокъ*.

Въ труппѣ московскаго Малаго театра оказались превосходные исполнители для пьесъ Островскаго. Среди нихъ, конечно, первое мѣсто занялъ П. Садовскій. Успѣхъ комедіи былъ небывалый. Успѣхъ этотъ въ особенности подчеркивается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ это время въ Москвѣ гостила любимица всей Европы — французская актриса Элиза Рашель. Ея антрепренеръ долженъ былъ, чтобы собрать залъ, давать свои спектакли по утрамъ, такъ какъ вечеромъ все было на спектакляхъ пьесы Островскаго.

Горбуновъ, неразлучный спутникъ Островскаго, разсказываетъ нѣсколько случаевъ, свидѣтельствовавшихъ о живѣйшемъ вниманіи купцовъ къ истинно-русской бытовой комедіи и даже непосредственномъ ея нравственномъ вліяніи. Одинъ изъ замоскворѣцкихъ обывателей говорилъ Садовскому:

— Ну, Провъ Михайловичъ, такое ты мнѣ, — московскому первой гильдіи купцу Ив. Вас. М—ву, уваженіе сдѣлалъ, что въ ноги я тебѣ долженъ кланяться. Какъ вышелъ ты, я такъ и ахнулъ! Да, я говорю женѣ (увидишь, спроси ее): смотри, — говорю, — словно бы это я!.. Борода только у тебя покороче была, — ну вотъ какъ есть! Это, говорю, на меня

критика. Даже стыдно стало: сижу въ ложѣ-то, да кругомъ и озираюсь,—не смотрятъ ли, думаю, на меня. Ей-Богу! А какъ заговорилъ ты про тарантасъ, я такъ и покатился! У меня тоже у Макарія случай съ тарантасомъ былъ.

И онъ разсказалъ, какъ съ Нижегородской ярмарки возвращался онъ въ Москву и три дня не вылѣзалъ изъ тарантаса.

Другой купецъ объяснялъ Садовскому свои впечатлѣнія по поводу роли Любима Торцова столь же откровенно и въ высшей степени лестно для правдиваго авторскаго творчества и для даровитаго исполнителя.

— Вѣрите, Провъ Михайловичъ, я плакалъ. Ей-Богу плакалъ! Какъ подумалъ я, что со всякимъ купцомъ это можетъ случиться... страсть! Мало у насъ, по городу, ихъ такихъ ходятъ: ну, подашь ему,—а чтобы это жалѣть... А васъ я пожалѣлъ,—именно говорю, пожалѣлъ. Думаю: Господи, самъ я этому подверженъ былъ,—ну, вдругъ! Вѣрьте Богу, страшно стало! Домъ у меня теперь пустой: одинъ въ немъ существую, какъ перстъ. И чудится мнѣ, что я ужъ и на паперти стою и руку протягиваю... Спасибо, голубчикъ! Многіе, которые изъ нашихъ, можетъ, очувствуются. Я теперь, братъ, ничего не пью,—будетъ! Все выпилъ, что́ мнѣ положено!.. Думаю такъ: богадѣльню открыть... Которые теперича старички,—въ Москвѣ много ихъ!—пущай грѣются. Вотъ именно мнѣ эти ваши слова: „Какъ я жилъ, какія я дѣла выдѣлывалъ!..“ Ну, честное мое слово,—слезы у меня пошли.

Съ этого момента наступаетъ для русской сцены новая эра. Переводный репертуаръ, да еще вдобавокъ сомнительнаго достоинства, уступаетъ мѣсто національному; иноземная жизнь, довольно тенденціозно изображенная въ различныхъ французскихъ водевиляхъ, даетъ мѣсто своему, родному. Стушевываются также и доморощенные драмодѣлы, писавшіе по дурнымъ иностраннымъ образцамъ.

С. Максимовъ пишетъ объ этомъ моментѣ въ своихъ воспоминаніяхъ слѣдующее:

„Шире дорогу, Любимъ Торцовъ идетъ! — выслушалъ И. Ѳ. Горбуновъ со сцены, въ райкѣ; а здѣсь подслушалъ восторженное толкованіе постояннаго театральнаго посѣтителя и знатока (въ лицѣ учителя русской словесности):

— Шире дорогу: правда на сцену пришла. Любимъ Торцовъ—правда. Это конецъ сценическимъ пейзанамъ, конецъ Кукольнику. Воплощенная правда выступила на сцену, и вамъ, молодые люди, предстоитъ впереди чрезвычайное множество высокихъ художественныхъ наслажденій,—приготовьтесь!

Въ одно слово съ нимъ заговорила и вся московская разнокалиберная и несогласная критика, и несмѣлая въ окончательныхъ выводахъ, и дерзкая и скороспѣлая въ сужденіяхъ, и та, которая привыкла съ холоднымъ равнодушіемъ и свысока относиться ко всякому новому и сильному литературному явленію. Всѣ согласились на томъ, что этотъ начинающій молодой писатель съ перваго же шага обогналъ всѣхъ своихъ предшественниковъ, что онъ явно всталъ плечо-о-плечо съ самимъ Гоголемъ, что отъ него всѣ въ правѣ и твердой надеждѣ ожидать теперь заповѣднаго и великаго „новаго слова“ и проч.

На самой же сценѣ произошло нѣчто совершенно неожиданное и чрезвычайное. Въ томъ веселомъ, беззаботномъ комикѣ, который игриво подплясывалъ въ *Материнскомъ благословеніи*, подъ пѣсенку „За моей женой три су“, ярко блеснулъ художественный комическій талантъ высшей пробы и высокаго давленія (какъ выразился А. А. Григорьевъ). Когда Сергѣй Васильевичъ Васильевъ обратился къ Дуничкѣ (Люб. Пав. Косицкой) со словами: „Помни, Дуня, какъ любилъ тебя Ваня Бородкинъ!“—театръ разразился аплодисментами, въ ложахъ и креслахъ замелькали бѣлые платки.

— Восторженный менторъ нашъ, — припоминалъ И. Ѳ. Горбуновъ,—обтеръ выступившія изъ глазъ слезы и тихо, про-себя, произнесъ:

— Это—не игра, это—священнодѣйствіе! Какой талантъ удивительный!

За Сергѣемъ Васильевымъ, въ тонъ ему и въ соревнованіе съ нимъ, неожиданно поспѣшили и два водевильные „рѣзвые“ и „весельчаки“—Никифоровъ и Степановъ, разыгравши необыкновенную по своей реальности вводную аксессуарную сцену въ трактирѣ. Всѣ дѣйствовали по искреннему увлеченію, заодно и съ такою силой ансамбля, что трудно подыскать и припомнить что-либо подобное тому, неожиданно цѣльному и увлекательному. Бороздина и

Косицкая проявили всю силу своихъ талантовъ до такой степени, что лучше сыграть было невозможно."

Появленіе на театральныхъ подмосткахъ новой пьесы, требующей отъ исполнителей той художественной правды, которою проникнуты лучшія произведенія русскихъ художниковъ, раскололи нашихъ артистовъ на два лагеря. Одни были всецѣло на сторонѣ Островскаго, другіе категорически отрицали всѣ достоинства новаго произведенія. Разумѣется, что распря эта возникла далеко не на идейной почвѣ. Дѣло было, просто, изъ-за того, что однимъ удавались типы Островскаго, другіе же такъ свыклись съ герцогами, куртизанками, пейзанами и субретками иностраннаго репертуара, что герои Замоскворѣчья съ ихъ психикой казались имъ выходцами съ того свѣта.

Самаринъ—блестящій первый любовникъ—не могъ найти въ себѣ ни таланта ни воли усвоить глубоко-правдивое, но извнѣ мало-эффектное и слишкомъ сложное творчество молодого драматурга. Шумскій, считавшійся въ то время звѣздой первой величины въ водевиляхъ, также не желалъ итти на уступки изъ-за сѣрыхъ персонажей замоскворѣцкаго царства.

Для нихъ вопросъ о репертуарѣ былъ вопросомъ жизни и смерти. Привыкнувъ срывать дешевые аплодисменты невзыскательной публики, приспособившись къ трескучимъ, декоративнымъ эффектамъ французскихъ мелодрамъ и водевилей, они были уже неспособны къ реализму Островскаго.

Шумскій и Щепкинъ усердно ехидствовали надъ типами Островскаго.

— Надѣть на актера поддевку да смазные сапоги,— говорилъ Шумскій,—еще не значитъ сказать „новое слово".

Щепкинъ, въ свою очередь, острилъ:

— Бѣдность-то не порокъ, да, вѣдь, и пьянство не добродѣтель!

Сверхъ мѣры восторженные отзывы Григорьева, возводившаго въ перлъ нравственной красоты Любима Торцова, давали благодарную пищу закулисному остроумію. Щепкинъ даже отказался играть роль Коршунова въ комедіи *Бѣдность не порокъ*, рѣзко порицалъ самую пьесу, а роль Любима Торцова именовалъ „грязною". Несомнѣнно,—въ этой критикѣ звучала опять чисто-профессіональная ревность къ гром-

кимъ успѣхамъ Садовскаго, создавшаго роль. Это вполнѣ очевидно изъ собственныхъ признаній Щепкина.

Щепкинъ очень хорошо понималъ, что ему равняться въ роли Любима Торцова съ П. Садовскимъ не придется; какъ хитрый малороссъ, онъ до поры до времени прикрывался скептическимъ отношеніемъ къ пьесѣ, а самъ втихомолку готовилъ роль, чтобы сыграть ее. Для этого имъ была выбрана московская публика, но съ извѣстнымъ отборомъ и при болѣе для него выгодной обстановкѣ: Мих. Сем. пріѣхалъ на 19 спектаклей на Нижегородскую ярмарку. Онъ оттуда пишетъ сыну (27 августа 1858 г.):

„Я выучилъ лѣтомъ роль Любима Торцова изъ комедіи *Бѣдность не порокъ* Островскаго, въ которой Садовскій такъ хорошъ. Сыграть мнѣ ее нужно было во что бы то ни стало. Это являлось потребностью моей души. Въ Москвѣ я не могъ ее сыграть, потому что это было бы не по-товарищески: я какъ-будто сталъ просить себѣ 40 руб. разовыхъ, между тѣмъ Садовскій еще не получаетъ и полнаго оклада. Роль сама-по-себѣ *грязна*, но и въ ней есть свѣтлыя стороны“.

Кажется, ни до этого момента, ни послѣ, московское общество и труппа московскаго Малаго театра такъ не интересовались драматическимъ искусствомъ, какъ въ періодъ созданія и постановки первыхъ пьесъ Островскаго. Борьба западниковъ и славянофиловъ получила новую пищу и еще болѣе обострилась; къ нимъ примкнули артисты, главнымъ, конечно, образомъ, по чисто-профессіональнымъ побужденіямъ. Всколыхнулось Замоскворѣчье, зашумѣли Торговые ряды и Гостиный дворъ, Варварка и Ильинка. Все перебывало въ Маломъ театрѣ, у всѣхъ новыя пьесы вызывали восхищеніе, всѣ знали актеровъ, игравшихъ ту или другую роль въ пьесахъ Островскаго.

Вскорѣ послѣ перваго представленія комедіи *Не въ свои сани не садись*, извѣстный актеръ Малаго театра Степановъ и Горбуновъ зашли пить чай въ трактиръ. Выпили „четыре пары“—такъ въ то время опредѣлялась порція чаю,—Степановъ отдалъ половому деньги. Половой черезъ минуту принесъ ихъ обратно и положилъ на столъ.

— Что значитъ?—съ удивленіемъ спросилъ Степановъ.

— Приказчикъ не беретъ,—съ улыбкой отвѣтилъ половой.

— Почему?

— Не могу знать,—не беретъ. Ту причину пригоняетъ...

— Извините, батюшка, мы съ хозяевъ не беремъ,—сказалъ, почтительно кланяясь, подошедшій приказчикъ.

— Развѣ я хозяинъ?

— Ужъ такой-то хозяинъ, что лучше требовать нельзя! Въ точности изволили представить! И господинъ Васильевъ тоже:—„кипяточку!"—на удивленіе.

— За комплиментъ благодарю, а деньги все-таки возьми.

И вотъ этотъ самый Степановъ подсмѣивался надъ театральными „западниками".

— Михайлу Семенычу (Щепкинъ) съ Шумскимъ Островскій поддевки-то не-по-плечу шьетъ,—говорилъ Степановъ,—да и смазные сапоги узко дѣлаетъ: вотъ они оба и сердятся.

Въ концѣ-концовъ наиболѣе отзывчивою публикой оказалась та, которая была выведена въ бытовыхъ пьесахъ Островскимъ. Она скорѣе всѣхъ поняла жизненную правдивость, а также художественное и идейное значеніе новой комедіи и охотнѣе всѣхъ рукоплескала даровитому автору.

Московская критика также быстро измѣнила свои взгляды на Островскаго съ того момента, какъ лидеръ художественной критики западническаго лагеря, Добролюбовъ, написалъ свою знаменитую статью—„Темное царство". Островскій сталъ одинаково близокъ и дорогъ и западникамъ и славянофиламъ. Въ 1858 г. его пригласили въ качествѣ сотрудника въ архи-западническій „Современникъ".

Вмѣстѣ съ паденіемъ Севастополя и восшествіемъ на престолъ новаго царя, въ Россіи повѣяло „жизнью и волей". Воля, конечно, была относительная, зависящая, главнымъ образомъ, отъ временнаго попущенія и растерянности русской бюрократіи, послѣ позорнаго пораженія на Крымскомъ полуостровѣ, но печать приняла ее въ-серіозъ и сразу проявила необычайную для нея дѣятельность. Иностранцы указываютъ на основную черту русскаго характера—склонность къ крайностямъ. „Русскіе смотрятъ на вещи, говорятъ они,—либо съ крайнимъ пессимизмомъ, либо съ такимъ же крайнимъ оптимизмомъ". Печать 1858 г. сразу и круто бросилась въ сторону „либерализма". Возникло невиданное дотолѣ количество газетъ, журналовъ и уличныхъ листковъ. „Еще никогда не было въ Россіи такой массы листковъ, газетъ и журналовъ, какіе явились въ 1856—58 гг. Изданія являлись какъ грибы, хотя точнѣе было бы сказать, какъ

водяные пузыри въ дождь, потому что какъ много ихъ появлялось, такъ же много и исчезало. Одними объявленіями объ изданіяхъ можно было бы оклеить башню московскаго Ивана Великаго".

Закипѣла литературная жизнь Москвы и Петербурга, и славянофилы и полуславянофилы стали значительно радикальнѣе; о западникахъ, конечно, нечего и говорить. Куда же было Погодину угнаться за духомъ времени, получившимъ такой толчокъ. Въ одинъ прекрасный день редакторъ „Москвитянина" остался одинъ на Дѣвичьемъ Полѣ „старымъ вороном въ гнѣздѣ". Сотрудники, со свойственною этому классу людей переметчивостью и способностью къ „приспособленію", исчезли со стараго поля битвы. Неуспѣхъ журнала заставилъ, наконецъ, уйти и А. Григорьева. „Я погибъ,—пишетъ онъ вмѣстѣ съ „Москвитяниномъ",—ибо „Москвитянинъ" въ послѣднее время былъ я. Мнѣ остается одно утѣшеніе—знать, что я могъ матеріально не погибнуть, перейдя подъ другія знамена,—и предпочелъ, предпочитаю и предпочту честную (передъ внутреннимъ судомъ) гибель—житейскимъ выгодамъ". Знакомая картина сознанія безсилія передъ высокимъ идеаломъ, мерцающимъ впереди, и сознаніе безсилія предъ гнетомъ окружающихъ обстоятельствъ!.. Островскій также остался вѣренъ до послѣдней минуты своему старому судну, на которомъ было сдѣлано столько удачныхъ плаваній въ „темное царство". Однако, и онъ долженъ былъ спасаться, на послѣдней оставшейся шлюпкѣ, такъ какъ корабль, видимо, тонулъ. На мостикѣ безпомощно стояла одинокая фигура Погодина и потускнѣвшимъ окомъ ревниво глядѣла на бушующія волны молодой общественной жизни.

Такъ погибъ „Москвитянинъ" Погодина, первый журналъ, давшій литературный пріютъ нашему драматургу.

Въ 1860 г. директоромъ московскихъ театровъ назначается извѣстный композиторъ Верстовскій. Воспитанный, какъ и всѣ наши баре того времени, на французскихъ образцахъ, Верстовскій свысока относился къ русскому театру. Считая высшимъ выраженіемъ театральнаго искусства пьесы французскихъ классиковъ, Верстовскій не могъ снизойти до кафтановъ и сапоговъ бутылками персонажей пьесъ Островскаго. „Сцена провоняла отъ полушубковъ Островскаго", искренно выразился директоръ русскаго московскаго театра.

Въ соотвѣтствіи со своими личными вкусами, Верстовскій направлялъ и репертуаръ ввѣреннаго ему театра. Благородные маркизы въ пудреныхъ парикахъ и красныхъ каблукахъ, чувствительныя виконтессы, плутоватыя субретки, дурковатые пейзане снова наполнили сцену, произнося трескучіе монологи, посрамляя во всѣхъ пяти актахъ супружеское ложе, проявляя сверхъестественное благородство чувствъ и непостижимую изобрѣтательность въ дѣлѣ обмана мужей женами и женъ мужьями.

Въ то время какъ на постановку французской пьесы или водевиля тратились иногда большія деньги, для комедій Островскаго дирекція отказывалась отпускать нѣсколько рублей. Бывали случаи, что сами бенефиціанты на свой счетъ дѣлали, напримѣръ, декорацію какой-нибудь садовой бесѣдки.

Нисколько не лучше къ репертуару Островскаго относилась и петербургская дирекція. Тамъ въ это время процвѣталъ Кукольникъ, фабрикуя по французскому образцу мелодрамы. Еще въ сороковыхъ годахъ Бѣлинскій отозвался о произведеніяхъ Кукольника, какъ о „средствѣ, могущемъ быть употребляемымъ, какъ лѣкарство отъ безсонницы, и въ этомъ случаѣ съ большою пользою“. Не таково было мнѣніе присяжной петербургской критики: она его считала геніемъ, а Сенковскій его произведенія назвалъ „великими“. Впрочемъ, и самъ Кукольникъ не только раздѣлялъ вполнѣ это мнѣніе Сенковскаго, но неоднократно и высказывалъ его. Панаевъ говоритъ, что на собственныхъ вечерахъ, за ужиномъ, отдавъ должное Бахусу, Кукольникъ говаривалъ: „Кукольникъ великъ. Кукольника потомство оцѣнитъ“. О, неблагодарное, лишенное художественнаго вкуса потомство!..

Таковы были взгляды и симпатіи дирекціи. Въ „Спб. Вѣдом.“ и, въ своихъ фельетонахъ *Незнакомецъ* (А. Суворинъ), на-ряду съ другими журналистами, часто указывалъ на это непонятное пренебреженіе къ Островскому.

„Непонятно мнѣ, пишетъ г. Суворинъ, отсутствіе въ нынѣшнемъ году на сценѣ лучшихъ пьесъ Островскаго, Потѣхина и Сухово-Кобылина. Могутъ возразить мнѣ, что публика смотрѣть ихъ не хочетъ. Но чѣмъ объяснятъ мнѣ слѣдующій фактъ: когда недавно, нечаянно конечно, назначена была *Гроза*, то билеты еще наканунѣ всѣ были разобраны, и театръ дрожалъ (не въ буквальномъ смыслѣ)

отъ рукоплесканій. Мнѣ кажется, что есть же значительная часть публики, требованія которой столько же законны, какъ и требованія еленофиловъ, а драматическій театръ не есть собственность какого-нибудь антрепренера, а есть собственность казны, которая должна же имѣть и цѣли эстетическія, кромѣ цѣлей коммерческихъ" („Спб. Вѣд." 1896 г., № 33).

Во главѣ нашихъ императорскихъ театровъ всегда стояли не люди, отдавшіе свою жизнь и силу на служеніе искусству, не признанные художники, знатоки и авторитеты, а аристократы-чиновники, въ силу связей и протекціи получившіе доходное мѣсто директора казенныхъ театровъ. Недаромъ М. И. Глинка, когда рѣчь заходила о постановкѣ театральнаго дѣла на казенныхъ театрахъ, всегда убѣжденно заканчивалъ свою рѣчь фразой: „Дирекція ваша—олухи! Дураки!.."

Если дирекція успѣшно практиковала систему задушенія дѣтищъ А. Н. и этимъ избѣгала „полушубковъ" Островскаго, „провонявшихъ сцену", то въ этомъ дѣлѣ еще ей сильно помогла цензура. Театральная цензура оказалась прекраснымъ дезинфекціоннымъ средствомъ. Въ каждомъ произведеніи Островскаго она находила, кромѣ запаха полушубковъ, какую-нибудь „тенденцію" и тотчасъ же устремлялась на защиту общественной морали или, вообще, общественныхъ устоевъ, хватая мертвою хваткой заподозрѣнное произведеніе. Само-собою разумѣется, что во всемъ этомъ было гораздо больше чиновнаго произвола и тупости, чѣмъ выполненія своихъ обязанностей гасителей просвѣщенія: достаточно было явиться съ письмомъ отъ вліятельнаго лица, и произведеніе, признанное чрезвычайно опаснымъ для цѣлости государства, семьи, религіи и династіи, тотчасъ же освобождалось отъ цензурнаго плѣненія и преблагополучно шло на сценѣ, вызывая аплодисменты у самихъ же цензоровъ.

До какой степени запрещенія были дѣйствительно произвольны, показываетъ разсказъ актера Бурдина.

Для своего бенефиса Бурдинъ выбралъ четыре пьесы и представилъ ихъ въ цензуру. Среди нихъ была до святости скромная *Картина семейнаго счастья* Островскаго. Увы, всѣ пьесы оказались запрещенными. Бурдинъ, вспомнивъ, что директоръ театра Гедеоновъ хорошъ со знаменитымъ Дуббельтомъ, отправляется къ своему начальнику и разсказываетъ ему свое горе.

— А зачѣмъ ты выбираешъ такія пьесы?—спрашиваетъ Гедеоновъ.

Бурдинъ отвѣтилъ, что у цензоровъ такіе особенные взгляды, къ которымъ невозможно приладиться, и ни за одну пьесу нельзя поручиться, будетъ ли она одобрена или запрещена.

— Что же я могу сдѣлать?—снова спросилъ Гедеоновъ.

— Вы, ваше превосходительство,—отвѣчалъ Бурдинъ,—очень хороши съ Леонтіемъ Васильевичемъ (Дуббельтъ, начальникъ III отдѣленія того времени, завѣдывавшій драматическою цензурой): вамъ достаточно черкнуть ему два слова, и онъ разрѣшитъ хоть одну пьесу.

И Гедеоновъ написалъ Дуббельту, по просьбѣ Бурдина, о *Картинѣ семейнаго счастья*. Бурдинъ отправился къ начальнику III отдѣленія, и между ними произошелъ слѣдующій историческій разговоръ.

Дуббельтъ на пріемахъ былъ человѣкъ очень любезный и вѣжливый.

— Чѣмъ могу быть вамъ полезнымъ, мой любезный другъ?—спросилъ онъ у артиста.

— У меня горе, ваше превосходительство: бенефисъ на носу, а всѣ представленныя мною пьесы не одобрены.

— Ай-ай-ай! Какъ это вы, господа, выбираете такія пьесы, которыя мы не можемъ одобрить... все непремѣнно съ тенденціями!

— Никакихъ тенденцій, ваше превосходительство; но цензура такъ требовательна, что, положительно, не знаешь, что и выбрать.

— Какую же пьесу вы желаете, чтобъ я вамъ дозволилъ?

— *Семейную картину*, Островскаго.

— Въ ней нѣтъ ничего политическаго?

— Рѣшительно ничего; это—небольшая сценка изъ купеческаго быта.

— А противъ религіи?

— Какъ это можно, ваше превосходительство?

— А противъ общества?

— Помилуйте,—это просто характерная бытовая картинка.

Дуббельтъ позвонилъ.

— Позвать ко мнѣ Гедерштерна, и чтобъ онъ принесъ съ собою пьесу *Картина семейнаго счастья*, Островскаго.

Является высокая, сухая, безстрастная фигура камергера Гедерштерна, съ пьесой и толстою книгой.

— Вотъ господинъ Бурдинъ проситъ разрѣшить ему для бенефиса неодобренную вами пьесу Островскаго,—такъ я ее дозволяю.

— Но, ваше превосходительство...—началъ, было, Гедерштернъ.

— Дозволяю—слышите!

— Но, ваше превосходительство, въ книгѣ экстрактовъ извольте прочесть...

— А, Боже мой! Я сказалъ, что дозволяю! Подайте пьесу.

Гедерштернъ подалъ пьесу, и Дуббельтъ сверху написалъ: „Дозволяется. Генералъ-лейтенантъ Дуббельтъ",—и не зачеркнулъ даже написаннаго прежде: „Запрещается. Генералъ-лейтенантъ Дуббельтъ". Въ этомъ видѣ, прибавляетъ Бурдинъ, теперь хранится эта пьеса въ театральной библіотекѣ.

Подобныя исторіи происходили безпрестанно, и нѣкоторыя кончались не менѣе любопытно.

Напримѣръ, комедія *Воспитанница* вызвала чрезвычайно строгія замѣчанія въ томъ же III отдѣленіи. Въ пьесѣ было открыто „вредное направленіе", ее признали совершенно недопустимою на сценѣ. По мнѣнію начальства,—авторъ издѣвался надъ дворянствомъ, освобождавшимъ крестьянъ и приносившимъ огромныя жертвы. Начальнику III отдѣленія, генералу Потапову, указали, что въ комедіи совсѣмъ не затрогивается крестьянскій вопросъ и авторъ вовсе не касается благородныхъ чувствъ дворянства.

Генералъ отвѣтилъ:

— Конечно, ничего прямо не говорится, но мы не такъ просты, чтобы не умѣть читать между строкъ.

Такъ пьеса и осталась подъ запретомъ,—до счастливаго случая. Временно исправляющимъ должность начальника III отдѣленія былъ назначенъ генералъ Анненковъ, братъ извѣстнаго писателя П. В. Анненкова.

Пьеса Тургенева *Нахлѣбникъ* была подъ запрещеніемъ. П. В. Анненковъ, какъ другъ Тургенева, просилъ брата разрѣшить эту комедію.

— Съ удовольствіемъ,—отвѣчалъ онъ,—и не только эту, а всѣ тѣ, которыя ты признаешь нужными, только присы-

лай поскорѣе, потому что на этомъ мѣстѣ я останусь очень недолго.

П. В. Анненковъ послалъ ему нѣсколько пьесъ; въ числѣ ихъ находилась и *Воспитанница*. И вотъ, такимъ путемъ она попала на сцену. Ну развѣ не правъ Щедринъ, когда говоритъ, что „наши государственные люди всегда были немножко шалунами".

Даже и въ болѣе „либеральныя" времена, при Александрѣ II, цензура свирѣпствовала зачастую даже вопреки высочайшему вкусу и волѣ.

Когда была написана драма *Козьма Мининъ*, министръ народнаго просвѣщенія Головинъ, вообще сочувствовавшій литературѣ и доброжелательно относившійся къ литераторамъ, призналъ драму „превосходной", написалъ Панаеву, чтобы тотъ сообщилъ біографическія данныя Островскаго, его чинъ, адресъ и т. п. „Мнѣ нужно,—заканчиваетъ министръ,—обратить вниманіе государя на его превосходную драму *Козьма Мининъ* и при этомъ разсказать все, что могу, хорошенько объ авторѣ."

Островскому былъ пожалованъ брилліантовый перстень за благородныя патріотическія чувства, вдохновившія пьесу. Однако, ни царскій подарокъ, ни благородныя побужденія автора, ни даже его патріотизмъ не спасли пьесу. III отдѣленіе не посмѣло отрицать тѣхъ качествъ въ пьесѣ, которыя уже были признаны государемъ, но... нашло представленіе ея на сценѣ несвоевременнымъ. Пьеса нѣсколько лѣтъ пролежала въ архивѣ отдѣленія.

Такова дѣйствительная сущность самодержавія... Оно осуществляется только тогда, когда этого желаетъ бюрократія. Бюрократія, какъ истинный Протей, мѣняетъ, по мѣрѣ надобности, образъ, становясь то покорными слугами велѣній свыше и тѣмъ какъ бы умываетъ руки, то, какъ сама верховная власть, прикрываясь стремленіемъ стать въ защиту династическихъ и государственныхъ интересовъ.

Доходное мѣсто также было запрещено. *Свои люди — сочтемся* разрѣшили къ представленію только въ 1860 г. Послѣ представленія *Грозы* въ присутствіи государя, директоръ театра, Сабуровъ, написалъ письмо шефу жандармовъ, кн. Долгорукову, съ просьбой вторично и болѣе тщательно процензировать *Грозу*. При вторичномъ жандармскомъ изслѣдованіи оказалось, что Островскій сдѣлалъ погрѣшно-

сти въ композиціи пьесы, а именно: порокъ не былъ подвергнутъ достойному возмездію въ лицѣ Подхалюзина. Автору предлагалось немедленно исправить допущенную неточность. Пришлось вывести на сцену квартальнаго, безъ котораго не обходится ни одинъ общественный актъ русской жизни. Выведенный квартальный воочію убѣждалъ зрителя, что у насъ не можетъ остаться безнаказаннымъ ни единый поступокъ обывателя. Всѣ эти „недоразумѣнія" съ цензурой и дирекціей, въ связи съ дурно обставленными условіями оплаты, со стороны сцены, труда авторовъ, держали Островскаго въ постоянной матеріальной нуждѣ.

V.

Среди видныхъ дѣятелей „эпохи великихъ реформъ" одно изъ первыхъ мѣстъ занималъ великій князь Константинъ Николаевичъ. Въ самые критическіе моменты освободительнаго движенія, онъ былъ рѣшительнымъ сторонникомъ либеральной партіи: благодаря ему реформы не были задушены въ самомъ ихъ зародышѣ, и только уже впослѣдствіи реакціонное правительство и партія крѣпостниковъ свела ихъ на-нѣтъ.

Будучи управляющимъ флотомъ и морскимъ министерствомъ, Константинъ Николаевичъ реорганизовалъ и издающійся въ морскомъ вѣдомствѣ журналъ „Морской Сборникъ". Прежде спеціальный, мертвый, никому невѣдомый и ненужный органъ, по мысли великаго князя, сталъ общественнымъ, передовымъ журналомъ съ аудиторіей, состоящею не изъ однихъ капитановъ перваго ранга и адмираловъ, а и обыкновенныхъ смертныхъ русскихъ обывателей, не интересующихся никакими отраслями военныхъ наукъ. Къ участію въ журналѣ были привлечены лучшія литературныя силы страны, знакомыя съ народною жизнью.

Великій князь рѣшилъ, что наступила пора изученія быта народныхъ массъ въ дотолѣ невѣдомой странѣ, лежащей между Ледовитымъ океаномъ и Чернымъ моремъ, съ одной стороны, и Японскимъ и Балтійскимъ моремъ, съ другой, и именуемой Россіей. Начальству было извѣстно, что это „дистанція огромнаго размѣра", что въ ней очень много народа, способнаго выносить не только крѣпостное право и

бюрократическій строй, но и губернаторовъ. Населяютъ эту страну самыя разнообразныя народности, имена же ихъ Ты, Господи, вѣси, а равно и численность, языкъ, религію, культуру и исторію. Вся эта многомилліонная масса довольно исправно, при непосредственномъ участіи полиціи, вноситъ разныя повинности и отбываетъ барщину, не страдаетъ соціальнымъ утопизмомъ и твердо надѣется получить плату за земныя страданія на небеси. Впрочемъ, отъ времени до времени они забываютъ установленное Создателемъ раздѣленіе сословій, состояній и достояній. Въ эти историческіе моменты они проявляютъ буйство духа и начинаютъ „бунтъ на колѣняхъ". Въ такихъ случаяхъ употребляется съ успѣхомъ физіотерапевтическій административный методъ—генеральная порка и рукоприкладство въ различныхъ формахъ. Методъ вполнѣ раціональный и, при извѣстныхъ формахъ государственнаго устройства и культуры, легко выполнимый.

Вотъ эту-то страну, по мнѣнію великаго князя, и надлежало немного изучить съ точки зрѣнія ея народнаго и экономическаго быта. Для этой цѣли правительство на казенный счетъ командировало въ провинцію нѣсколькихъ лицъ: Писемскаго, Гончарова, Григоровича, Потѣхина, Максимова и Аѳанасьева-Чужбинскаго. Островскій самъ вызвался принять участіе въ этихъ изслѣдованіяхъ. Онъ согласился съ Потѣхинымъ подѣлить Волгу. Островскому достались верховья Волги, до Оки. Изслѣдованія командированныхъ писателей предполагалось печатать въ „Морскомъ Сборникѣ".

Когда дѣло касается культурныхъ потребностей государства, то наше правительство въ самую цвѣтущую эпоху своей дѣятельности ограничивалось платонизмомъ. Въ идеѣ оно признавало необходимость удовлетворенія той или другой духовной потребности страны; когда же приходилось осуществлять начинаніе, то казна оказывалась настолько скупа, что вопросъ оставался на бумагѣ или осуществлялся частью, въ виду недостаточности отпускавшихся средствъ. Такъ было и съ командированными писателями для изученія быта Россіи. Имъ выдавали сто рублей въ мѣсяцъ каждому! Кто знаетъ, какъ увеличиваются расходы въ пути, тотъ пойметъ, что на эту сумму не разъѣздишься, даже допустивъ, что изслѣдователи свели бы свой бюджетъ до минимальныхъ размѣровъ, граничащихъ съ подвижниче-

ствомъ. Впослѣдствіи, впрочемъ, эта сумма была нѣсколько увеличена.

Уже самая мысль расширить рамки журнала, а главное, ввести туда свободныхъ, независимыхъ людей, привыкшихъ къ инымъ литературнымъ пріемамъ, иной точкѣ зрѣнія на свою дѣятельность и описываемыя явленія, вызвали глухое недовольство среди чиновной редакціи „Морского Сборника".

Вопросъ о выборѣ и печатаніи доставляемаго командированными литераторами матеріала былъ возложенъ на ученый морской комитетъ. Во главѣ его стоялъ истый морякъ того времени, не признававшій ничего, кромѣ военной субординаціи и морского дѣла, адмиралъ Рейнеке. Онъ чрезвычайно упростилъ поставленныя комитету задачи: къ сочиненіямъ изслѣдователей предъявляли тѣ же требованія, что́ и къ обычно печатавшимся статьямъ, т.-е. въ нихъ искали разрѣшенія вопросовъ морского дѣла. Говоря иначе, ихъ разсматривали, какъ обыкновенные служебные отчеты,

Врядъ ли надо много говорить, что́ отсюда получилось... Чиновники не могли стать на точку зрѣнія общественной и художественной важности доставленнаго матеріала, а литераторы не могли допустить, чтобы возможно было дѣйствительно цѣнное содержаніе вложить въ рамки офиціальнаго служебнаго отчета о командировкѣ. Natura non facit saltum!..

Островскій собралъ въ эту поѣздку громадный матеріалъ. Благодаря ученому морскому комитету, онъ остался необработаннымъ, но и въ сыромъ видѣ представляетъ большую литературную цѣнность.

Если Островскому не удалось непосредственно обогатить литературу русской этнографіи, то это путешествіе дало ему богатѣйшій бытовой матеріалъ для его сценическихъ произведеній. Ему пришлось наблюдать цѣлый рядъ интересныхъ въ психологическомъ отношеніи лицъ; такія положенія и бытовыя картины, которыя даетъ только одна дѣйствительность. Какое безконечное разнообразіе красотъ природы, нравовъ, обычаевъ, говора, преданій, мѣткихъ словечекъ, мѣстныхъ особенностей!.. Все это принесло путешествіе Островскому, все это запечатлѣла память наблюдательнаго художника, все это послужитъ матеріаломъ для будущихъ произведеній...

И дѣйствительно, наиболѣе выдающіяся встрѣчи, оставившія глубокое впечатлѣніе, послужили канвой для той или другой пьесы.

По пути изъ Осташкова во Ржевъ Островскій заѣхалъ въ одинъ постоялый дворъ и попросилъ ночлега. Хозяинъ встрѣтилъ гостя непривѣтливо, поразилъ его своимъ разбойничьимъ видомъ и отказалъ въ ночлегѣ. Послѣ оказалось—онъ торговалъ своими пятью дочерями. Островскій твердо запомнилъ встрѣчу и воспользовался ею для комедіи *На бойкомъ мѣстѣ*.

Но еще раньше возникла *Гроза*. Она писалась одновременно съ отчетомъ о путешествіи: отчетъ появился въ „Морскомъ Сборникѣ“ въ 1859 году, *Гроза*—въ первой книгѣ „Библіотеки для чтенія“ за 1860 годъ. Оба произведенія—плодъ живыхъ впечатлѣній путешествія. Участь *Грозы* оказалась счастливѣе статьи. На драму обратила вниманіе Академія и поручила проф. Плетневу представить отзывъ о пьесѣ. Критикъ восхищался характеромъ Катерины, вѣрнымъ изображеніемъ провинціальнаго городского быта и находилъ произведеніе достойнымъ Уваровской преміи. Академія и присудила эту премію 29 декабря 1860 года.

Впослѣдствіи Тургеневъ, большой поклонникъ таланта Островскаго, усиленно хлопоталъ о постановкѣ на парижской сценѣ *Грозы*, желая познакомить французскую публику съ дарованіемъ нашего автора; но, какъ извѣстно, французы, да еще французы того времени, недовѣрчиво смотрѣли на все, что не изъ Парижа и не парижское. Въ 1877 г. Островскій самъ затѣялъ сближеніе съ „современнымъ Вавилономъ“. Для этого онъ далъ перевести *Бѣдную невѣсту*, полагая, что она для французовъ будетъ болѣе доступна.

Однако, воспоминанія о поѣздкѣ не ограничились *Грозой*. Островскій начинаетъ дѣятельно заниматься русскою стариной. Подвигъ нижегородца Козьмы Минина представлялъ благодарную задачу для драмы. Волжскія впечатлѣнія ярко возставали въ памяти драматурга. Вотъ Балахна, Кинешма, Юрьевецъ, Кострома, Ярославль. Это мѣста, которыми двигалось ополченіе для освобожденія русской земли отъ иноземца, во главѣ съ Мининымъ, ставшимъ выборнымъ человѣкомъ всей русской земли. Вся эта историческая картина разыгрывается на берегахъ великой русской рѣки! Островскій

даже вложилъ въ уста своего героя описаніе одной изъ самыхъ краснорѣчивыхъ картинъ Поволжья.

Такимъ образомъ, съ этого момента нашъ драматургъ начинаетъ новый, не только для себя, но, пожалуй, и для русской художественной литературы, жанръ *исторической хроники*. По своей художественной цѣнности историческая драма Островскаго слѣдуетъ тотчасъ же за его бытовою комедіей.

Козьма Мининъ появился въ январской книжкѣ „Современника" за 1862 г. Въ 1867 г. появляется драматическая хроника *Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій*; въ этомъ же году напечатано *Тушино*, а въ слѣдующемъ историческая драма—*Василиса Мелентьева*.

Въ 1862 г. Островскій задумалъ совершить заграничное путешествіе. Какія цѣли преслѣдовалъ, въ данномъ случаѣ, нашъ драматургъ? Изученіе нравовъ, культуры, гражданскихъ, экономическихъ и политическихъ формъ жизни? Конечно, нѣтъ. Во-первыхъ, для такой задачи нужно прежде всего хорошее знаніе языковъ, а Островскаго на этотъ счетъ „не умудрилъ Господь", десятокъ же другой „комнатныхъ словъ", которыя хранила еще память Александра Николаевича, плохо помогли бы дѣлу. Но, можетъ-быть, за невозможностью заглянуть во внутреннюю жизнь страны, Островскій рѣшилъ довольствоваться тѣми внѣшними впечатлѣніями, которыя даетъ невиданная еще природа, образцы архитектуры, историческіе памятники, художественныя произведенія, музеи, выставки и т. д.? Нѣтъ, и это, очевидно, не тянуло Островскаго къ иноземцамъ, потому что въ его записной книжкѣ наиболѣе подробно и съ нескрываемымъ удовольствіемъ и обстоятельностью описываются только гастрономическія наслажденія; что же касается хотя-бы, напримѣръ, кунсткамеры чудесъ—Рима, то Островскій какъ-то, видимо, „для прилику", слоняется по всѣмъ его семи холмамъ и „мелькомъ" осматриваетъ и соборъ Петра, и знаменитый нѣкогда при Веспасіанѣ, Титѣ и Неронѣ своими зрѣлищами Колизей, и Ватиканъ съ его 11 тысячами комнатъ и 22 дворами. О Ватиканѣ Островскій говоритъ, что онъ его описывать „не станетъ", а Колизей „описать невозможно", соборъ же Петра онъ не описываетъ, потому что „осмотрѣлъ соборъ мелькомъ"; говоря о самой могущественной и богатой въ средніе вѣка республикѣ и разсадникѣ

искусствъ и наукъ при Медичи—Флоренціи, Островскій также не тратитъ много чернилъ.

Онъ пишетъ: „Несказанное богатство художественныхъ произведеній подѣйствовало на меня такъ сильно, что я не нахожу словъ для выраженія того душевнаго счастія, которое я чувствовалъ всѣмъ существомъ моимъ, проходя эти залы. Чего тутъ нѣтъ: и Рафаэль, и сокровища Тиціановой кисти, и Дель-Сарто, и древняя скульптура". Вотъ все, что́ имѣетъ сказать Островскій о бывшей столицѣ великаго Тосканскаго герцогства, застроенной памятниками, статуями и дворцами съ богатѣйшими художественными галлереями, переполненными картинами и скульптурными произведеніями античнаго міра и эпохи возрожденія,—Флоренціи, гдѣ находится академія искусствъ, превосходные музеи, около 13 театровъ, много ученыхъ обществъ и т. д. О Венеціи Островскій тоже пишетъ кратко и безъ особаго вдохновенія. Очевидно, онъ и тутъ „не находитъ словъ для выраженія". Однако, „восторгъ" передъ дворцомъ дожей, Ріальто и Canale Grande не мѣшаетъ ему не упускать изъ виду и „чувствовать всѣмъ существомъ" гастрономическія сокровища той же Венеціи. Спохватившись, онъ заканчиваетъ описаніе красотъ Венеціи словами: „Забылъ записать, что въ Венеціи превосходныя груши".

Если записи Островскаго и его спутниковъ о красотахъ Италіи, ея художественныхъ и историческихъ сокровищахъ такъ бѣглы, блѣдны, казенны и дѣлаются, такъ-сказать, изъ уваженія къ установившимся вѣками традиціямъ, то все, что́ касается вкусовыхъ инстинктовъ, тщательно записывается, описывается и комментируется.

„А. Н. Островскій записалъ даже себѣ на память меню обѣда у Крола въ Берлинѣ за одинъ талеръ въ десять блюдъ: супъ, сардинки, ветчина съ картофелемъ, форель съ картофелемъ, котлеты съ горошкомъ, пудингъ съ малиновымъ сиропомъ, дикая коза, салатъ и варенье къ ней, сыръ и бисквиты съ кремомъ. И. Ѳ. Горбуновъ то и дѣло заноситъ въ свою книжку: „Ужинали въ прекрасномъ отелѣ, обѣдали у Казино,—превосходный обѣдъ въ большомъ обществѣ; пошли завтракать—дешевизна необыкновенная" и т. д. О парижскихъ кулинарныхъ наслажденіяхъ онъ уже и не говоритъ. Между тѣмъ, онъ успѣлъ подучиться изготовленію нѣкоторыхъ итальянскихъ и французскихъ блюдъ и охотно предъ-

являлъ свои дѣйствительно выдающіяся способности въ этомъ дѣлѣ ближайшимъ московскимъ и петербургскимъ друзьямъ. Третій спутникъ (М. Ѳ. Шишко) пошелъ дальше: руководясь афоризмомъ, что для изученія народа и его характера, прежде всего, необходимо знать, что онъ ѣстъ, а потому, не участвуя въ первыхъ осмотрахъ и посѣщеніяхъ, бѣжалъ раннимъ утромъ на рынокъ и тамъ пропадалъ по цѣлымъ часамъ" [1]).

Можно подумать, что, вернувшись въ Россію, Островскій начнетъ писать трактатъ объ итальянской кулинаріи съ точки зрѣнія русскаго желудка. Правда, иногда мысль нашихъ путешественниковъ останавливается и на вопросахъ общаго характера, и даже проводится параллель между порядками родины и за-границы, но факты, наводящіе ихъ на размышленія, случайные, легковѣсные, не идущіе дальше квартальнаго. Напримѣръ, наши путешественники были свидѣтелями встрѣчи городомъ Туриномъ Виктора-Эммануила. Объ этой встрѣчѣ они пишутъ, какъ истые россійскіе обыватели, въ сильной степени натерпѣвшіеся отъ полиціи и полагающіе, что это ближайшее зло есть вмѣстѣ съ тѣмъ и первопричина всѣхъ общественныхъ безпорядковъ страны.

„На площади,—пишутъ Горбуновъ и Островскій,—стояла кавалерія, а по улицѣ, вплоть до станціи,—пѣхота. Площадь и улица были полны народу; балконы тоже. Полиціи почти до самаго пріѣзда короля не было замѣтно. Только когда по выстрѣлу узнали, что король ѣдетъ, полицейскіе учтиво подвигали народъ къ тротуару". Это замѣтилъ А. Н. Островскій, а вотъ какъ подтверждаетъ его И. Ѳ. Горбуновъ (у котораго, также по московской и петербургской памяти, болѣлъ зубъ на этой же сторонѣ): „Нѣтъ ни давки ни шума; ходятъ всѣ свободно, курятъ сигары; квартальныхъ и въ завѣтѣ нѣтъ. Король сидѣлъ въ коляскѣ, въ партикулярномъ платьѣ; съ нимъ находились двое статскихъ и одинъ военный. Когда коляска въѣхала на улицу, воздухъ огласился криками и аплодисментами; изъ оконъ начали бросать въ коляску букеты. У насъ не такъ. Толпа стоитъ стѣнкой, тихо, превосходно. Квартальный тоже стоитъ все смирно,—вдругъ, словно муха его укусила,—ни съ того, ни съ сего всполохнулся: „Осади назадъ!"—Зачѣмъ? Почему? Ни шеве-

---

[1]) *С. Максимовъ*, А. Н. Островскій (по моимъ воспоминаніямъ).

литься ни кричать совсѣмъ не нужно было, — никто не просилъ".

Итакъ, самое правильное будетъ предположить, что Островскій поѣхалъ за границу безъ опредѣленной цѣли и даже не влекомый „охотой къ перемѣнѣ мѣстъ". Очевидно, тутъ дѣйствовали постороннія и случайныя обстоятельства. Въ этотъ историческій моментъ нашимъ правительствомъ былъ облегченъ выѣздъ русскихъ изъ предѣловъ родины: уничтожены стѣсненія въ справкахъ о благонадежности и правахъ на заграничный выѣздъ; плата на заграничные паспорта съ 500 руб. понижена до 5 руб. и т. д. Многіе люди средняго достатка теперь устремились въ невиданныя страны. Это стало модой. Островскій, очевидно, тоже не устоялъ и отдалъ дань кумиру толпы.

Съ Островскимъ поѣхалъ неразлучный его спутникъ Горбуновъ, а такъ какъ и послѣдній въ иностранныхъ діалектахъ былъ слабъ, то въ подкрѣпленіе себѣ они пригласили Макара Ѳедосеевича Шишко, химика, завѣдывавшаго освѣщеніемъ петербургскихъ театровъ и коронаціонными иллюминаціями. Тріумвиры поѣхали черезъ Берлинъ, Вѣну, Венецію и Римъ до Парижа и Лондона. Пробыли они въ этомъ путешествіи всего мѣсяцъ и 26 дней. По возвращеніи въ Россію Островскій принялся за изученіе итальянскихъ драматурговъ и, наконецъ, перевелъ три комедіи: „Великій банкиръ", „Заблудшія овцы" и „Кофейня", а также драму Джакометти—„Семья преступника".

Изъ перечня произведеній Островскаго и ихъ сценическаго успѣха мы въ правѣ были бы предположить, что это даетъ возможность популярному автору, создавшему цѣлый репертуаръ для русскаго театра, жить, что-называется, припѣваючи. Увы, оказывается, что онъ не выходитъ изъ нужды! Театральное начальство не допускало его пьесъ на сцену или ставило ихъ весьма рѣдко, дурно обставляя. Не даромъ же среди нашихъ драматическихъ писателей сложилась поговорка, что для того, чтобы написать пьесу, нуженъ талантъ, но для того, чтобы ее поставить на императорскую сцену, нуженъ, по меньшей мѣрѣ, геній.

„Нужда преслѣдуетъ его,—говоритъ біографъ Островскаго И. И. Ивановъ,—неотступно. Сцена не признаетъ его заслугъ; онъ—авторъ первостепенныхъ драматическихъ произведеній, одинъ изъ самыхъ блестящихъ писателей своего вре-

мени, — не видитъ ни утѣшенія ни просвѣта въ своемъ настоящемъ и будущемъ. Недуги начинаютъ подтачивать его отъ природы некрѣпкое здоровье. Островскій страдаетъ сердцебіеніемъ, безотчетной пугливостью. Его изводитъ постоянно тревожное состояніе духа, отсутствіе сна и аппетита. И все это въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, въ самый расцвѣтъ лѣтъ и силъ!"

Островскій по временамъ доходитъ до отчаянія. Онъ не знаетъ, какъ ему жить съ семьей, на что воспитывать своихъ многочисленныхъ дѣтей, онъ готовъ даже совсѣмъ отказаться отъ столь любимаго имъ театра. Въ своемъ письмѣ къ артисту Бурдину, отъ 27 сентября 1866 г., Островскій пишетъ: „Объявляю тебѣ по секрету, что я совсѣмъ оставляю театральное поприще. Причины вотъ какія: выгодъ отъ театра я почти не имѣю, хотя всѣ театры въ Россіи живутъ моимъ репертуаромъ. Начальство театральное ко мнѣ не благоволитъ, а мнѣ ужъ пора видѣть не только благоволеніе, но и нѣкоторое уваженіе; безъ хлопотъ и поклоновъ съ моей стороны ничего для меня не дѣлается, а ты самъ знаешь, способенъ ли я къ низкопоклонству; при моемъ положеніи въ литературѣ играть роль вѣчно кланяющагося просителя тяжело и унизительно. Я замѣтно старѣю и постоянно нездоровъ, а потому ѣздить въ Петербургъ, ходить по высокимъ лѣстницамъ—мнѣ уже нельзя. Повѣрь, что я буду имѣть гораздо больше уваженія, которое я заслужилъ и котораго стою, если развяжусь съ театромъ. Давши театру 25 оригинальныхъ пьесъ, я не добился, чтобы меня хоть мало отличили отъ какого-нибудь плохого переводчика. По крайней мѣрѣ, я пріобрѣту себѣ спокойствіе и независимость вмѣсто хлопотъ и униженія. Современныхъ пьесъ больше писать не стану; я уже давно занимаюсь русскою исторіей и хочу посвятить себя исключительно ей; буду писать хроники, но не для театра. На вопросъ, отчего я не ставлю своихъ пьесъ, я буду отвѣчать, что онѣ неудачны. Я беру форму *Бориса Годунова*; такимъ образомъ постепенно и незамѣтно я отстану отъ театра".

Намѣреніе это становится особенно настойчивымъ послѣ того, какъ театральныя власти задержали постановку на московской сценѣ драмы *Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій*. Артистъ Бурдинъ посовѣтовалъ Островскому написать письмо министру. Островскій, пересылая этотъ документъ

Бурдину для дальнѣйшей передачи, сопровождаетъ его слѣдующими печальными признаніями:

„Любезный другъ, я едва держу перо въ рукахъ; постоянное сидѣніе за работой, безсонныя ночи совершенно разстроили мои нервы. Извѣстіе, которое я получилъ отъ тебя, добило меня совершенно, хотя оно было для меня не новостью. Поутру я былъ въ конторѣ (императорскихъ театровъ), видѣлъ тамъ Чаева [1]), слышалъ отъ него о постановкѣ его *Дмитрія Самозванца* въ Москвѣ, но вечеромъ, когда получилъ твое письмо, со мной сдѣлалось дурно; сегодня я весь разбитъ и, вѣроятно, слягу. Письмо (къ министру) теперь у тебя въ рукахъ,—посылай его или разорви; дѣлай такъ, какъ укажетъ тебѣ твоя любовь ко мнѣ".

Не всѣмъ извѣстно, что только съ 1882 г. у насъ была прекращена монополія императорскихъ театровъ; до этого года никакое театральное предпріятіе, концертъ или благотворительный вечеръ въ обѣихъ столицахъ, никакія публичныя зрѣлища, включительно до цирка, не могли быть устраиваемы частными лицами; въ провинціи же театръ почти не существовалъ. Будучи, такимъ образомъ, монополистомъ, казенный театръ могъ диктовать авторамъ какія-угодно условія и вообще не стѣсняться съ ними.

Мы видимъ, что въ отношеніи Островскаго онъ и пользовался въ самыхъ широкихъ размѣрахъ этимъ своимъ исключительнымъ положеніемъ. Онъ ему ставилъ различныя преграды. Вмѣсто уваженія къ выдающему драматургу онъ ждалъ съ его стороны искательства, вынуждалъ просьбы, принималъ начальническій тонъ. Авторъ, пьесами котораго живетъ казенный театръ, третируется театральнымъ начальствомъ и, не разгибая спины, долженъ работать, чтобы какъ-нибудь содержать семью. Простая статистическая справка покажетъ, что́ извлекли петербургскій и московскій казенный театръ отъ пьесъ Островскаго за первыя 20 лѣтъ (1853—1872 гг.). Къ этому времени Островскимъ было написано 32 пьесы, и онѣ были даны на нашихъ казенныхъ театрахъ 766 разъ. Принимая въ расчетъ, что Островскаго репертуаръ всегда давалъ этимъ театрамъ хорошіе сборы, можно съ увѣренностью сказать, что нашъ драматургъ положительно

---

[1]) Николай Александровичъ Чаевъ—русскій драматургъ. Написалъ историч. драмы: „Дмитрій Самозванецъ", „Свекровь", романъ „Богатыри" и др.

эксплуатировался дирекціей. Несмотря, однако, на хорошій дивидендъ казнѣ театровъ и заслуги передъ русскою литературой, Островскій тщетно добивался признанія этихъ заслугъ со стороны правительства. Въ 1872 г. исполнилось 25-тилѣтіе со дня напечатанія перваго произведенія Островскаго. 12-го января 1872 г. директоръ театровъ Гедеоновъ пишетъ министру двора гр. Адлербергу: „Въ наступающемъ февралѣ мѣсяцѣ исполнится 25 лѣтъ литературной дѣятельности драматическаго писателя А. Н. Островскаго, который въ теченіе этого времени написалъ для русской драматической сцены 32 оригинальныхъ произведенія, кромѣ нѣкоторыхъ переводныхъ пьесъ. Большинство этихъ произведеній пользовалось вполнѣ заслуженнымъ успѣхомъ, и всѣ, вообще, значительно способствовали увеличенію сборовъ дирекціи, самому же Островскому, при незначительности авторскаго гонорарія, не могли доставить особыхъ выгодъ, потому что при частыхъ, почти еженедѣльныхъ бенефисахъ драматическихъ артистовъ репертуаръ постоянно наполняется новыми пьесами, которыя нерѣдко мѣшаютъ повторенію пьесъ, имѣвшихъ значительный успѣхъ. Такимъ образомъ, Островскій, посвятившій лучшіе свои годы литературно театральной дѣятельности, въ настоящее время находится въ столь стѣсненныхъ обстоятельствахъ, что не въ состояніи продолжать свои литературные труды“ и т. д. Оканчиваетъ Гедеоновъ просьбой пожизненной для Островскаго пенсіи, подобно той, какая была пожалована композитору Сѣрову за „Юдиѳь“ и „Рогнѣду“.

Министръ, однако, не только не призналъ за Островскимъ достаточныхъ заслугъ, но и самому ходатаю сдѣлалъ выговоръ. Увѣдомленіе министра гласитъ, что на основаніи 54 ст. пенсіон. устава (Св. П. С. З., т. III), директоръ театровъ не имѣетъ никакого права ходатайствовать о пенсіи, закономъ не установленной. Если къ этому добавить, что французская актриса Рашель, актеры ея труппы и даже ея братъ, устроитель ея спектаклей, получили за свои нѣсколько представленій подарки отъ двора на нѣсколько тысячъ рублей, безплатное право пользованія Михайловскимъ театромъ, что къ ней дворъ относился не только съ полною предупредительностью, но считался съ ея капризами и разными мелкими желаніями, то отношеніе къ своему выдающемуся драматургу еще болѣе рельефно бросается въ глаза. Такъ

напримѣръ, когда Рашель заявила, что она для здоровья должна пить ослиное молоко, то государь приказалъ немедленно отдать въ ея распоряженіе изъ Гатчинскаго звѣринца ослицу съ осленкомъ, а когда ослица перестала давать молоко, то тотъ же гр. Адлербергъ тотчасъ же поспѣшилъ сдѣлать новый докладъ государю, и ее замѣнили другою.

Итакъ, Островскій, въ приведенномъ выше письмѣ, рѣшаетъ порвать съ театромъ. Очень, конечно, обидно, что писатель, признанный и критикой и публикой „необычайно талантливымъ", долженъ былъ влачить жалкое матеріальное существованіе; позорно поведеніе дирекціи театровъ, дѣлавшей все отъ нея зависящее, чтобы не допустить произведенія Островскаго на сцену, а попавшія случайно туда затемнить, представить передъ публикой въ невыгодномъ свѣтѣ,— но кто же повѣритъ писателю, серіозно и любовно относящемуся къ своей дѣятельности, что онъ броситъ занятіе литературой? Кто же повѣритъ Островскому, что онъ броситъ столь любимый имъ театръ? Другому крупному художнику, Щедрину, такъ же, какъ и Островскому, приходилось считаться съ нуждой и необезпеченностью русскаго писателя; онъ тоже грозилъ бросить навсегда занятіе литературой и даже на нѣкоторое время осуществилъ эту мысль, но только на нѣкоторое. Для такихъ людей писать значитъ жить, жить значитъ—писать. Vita sine litteris mortua est! говоритъ латинское изреченіе, вполнѣ примѣнимое къ литераторамъ по призванію.

Написавъ такое категорическое письмо и заявивъ категорически, что онъ отряхаетъ прахъ отъ ногъ своихъ, Островскій продолжаетъ каждый годъ дарить русской литературѣ по новой комедіи.

Въ этотъ періодъ своей литературной дѣятельности нашъ драматургъ переходитъ къ изображенію быта интеллигентнаго класса. Такимъ образомъ, къ двумъ своимъ жанрамъ— бытовой комедіи и исторической драмѣ, онъ прибавляетъ третій. И здѣсь также онъ остается лучшимъ въ нашей сценической литературѣ мастеромъ.

Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ въ Петербургъ пріѣхала французская оперетта и сразу плѣнила сердца публики. Все столичное общество заговорило о г-жѣ Шнейдеръ и ея мастерствѣ въ области опереточнаго жанра. Помните, Щедринъ въ своемъ „Дневникѣ провинціала въ Петербургѣ", со свойственнымъ ему остроуміемъ, тоже, между прочимъ,

описываетъ восторгъ петербуржцевъ передъ жрецами Оффенбаха. Встрѣтивъ пріятеля въ Петербургѣ, провинціалъ спрашиваетъ, какъ онъ поживаетъ.

— Жуируемъ,—отвѣчаетъ тотъ,—Гандонъ, Ловато, Шнейдеръ... Да ты Шнейдеръ-то видѣлъ?

— Нѣтъ еще... Я такъ недавно въ Петербургѣ...

— Ты не видѣлъ Шнейдеръ! Чудакъ! Чего же ты ждешь? Желалъ бы я знать, зачѣмъ ты пріѣхалъ? Boulotte—да, вѣдь, это перлъ! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... sapristi! И онъ не видѣлъ!

Въ комнату входитъ другой товарищъ, еще только коллежскій совѣтникъ.

— Смѣльскій! ужасайся! Онъ не видѣлъ Шнейдеръ!

— Ты не видѣлъ Шнейдеръ?

— Онъ не слыхалъ „Dites lui!"

Я слушаю и краснѣю. Въ самомъ дѣлѣ, что́ дѣлалъ я въ теченіе цѣлыхъ двухъ недѣль? Я бесѣдовалъ съ Прокопомъ, я наслаждался лицезрѣніемъ иконописнаго Аристида Ѳемистоклыча — и ничего не видѣлъ! Не видѣлъ Шнейдеръ! и т. д.

Вотъ какъ описываетъ знаменитый сатирикъ увлеченіе петербуржцевъ опереттой. Вслѣдъ за талантливыми французами, для которыхъ опереточный жанръ былъ кровью и плотью, а сама оперетта, въ свое время, являлась сильнымъ и популярнымъ орудіемъ противъ властителей Франціи и уродливостей общественной жизни,—оперетта была пересажена на русскую сцену. Театральные антрепренеры воспользовались моднымъ повѣтріемъ и спросомъ на оперетту и заполонили ею всѣ театры.

Комедія была отодвинута на второй планъ. Разумѣется, Островскій, какъ чуткій художникъ, не могъ не болѣть душой за національное искусство, да и личное его самолюбіе, надо полагать, не могло не страдать. Онъ понималъ, что оперетта, по крайней мѣрѣ механически пересаженная на русскую сцену,—явленіе уродливое, антихудожественное, превращающееся изъ граціозной шутки, ѣдкой сатиры въ простой поводъ пропѣть и продѣлать на сценѣ нѣсколько скабрезностей.

Вотъ что пишетъ Островскій въ одномъ изъ своихъ писемъ объ опереттѣ много лѣтъ спустя послѣ того, какъ она нанесла ему кровную обиду:

„Судя по вашему письму, въ которомъ вы разбирали какую-то оперетту, я думалъ, что вы къ этому фальшивому роду сценическихъ произведеній питаете такое же отвращеніе, какое къ нему питаю и я и какое долженъ питать всякій литераторъ-художникъ. Мы теперь стараемся всѣ наши идеалы и типы, взятые изъ жизни, какъ можно рельефнѣе и правдивѣе изобразить до самыхъ мельчайшихъ бытовыхъ подробностей, а главное — мы считаемъ первымъ условіемъ художественности въ изображеніи даннаго типа вѣрную передачу его образа выраженія, т.-е. языка и даже склада рѣчи, которымъ опредѣляется самый тонъ роли. Теперь и сценическая постановка (декораціи, костюмы, гримировка и пр.) въ бытовыхъ пьесахъ сдѣлала большіе успѣхи и далеко ушла въ постепенномъ приближеніи къ правдѣ. Оперетта же съ безпрестаннымъ шаржемъ, который составляетъ ея достоинство и безъ котораго она немыслима, есть отрицаніе реальности и правды".

Опереточная эпидемія не могла не отодвинуть на второй планъ драматическій театръ, а въ частности, и репертуаръ Островскаго. Кромѣ того, въ русской транскрипціи французская оперетта теряла все, кромѣ голой скабрезности, и потому понижала вкусъ театральной публики.

Родившись изъ нѣдръ психологіи французскаго народа, воспитавшись на французскихъ бульварахъ и въ кафе, французская пѣсенка превратилась въ оперетту. „Tout finit par des chansons".

Эта способность облекать насмѣшку въ форму пѣсенки вошла во Франціи въ обычай, ставшій всенароднымъ.

„Въ Парижѣ,—говоритъ Мерсье,—все перелагается въ пѣсенки. Будь маршалъ Франціи или висѣльникъ—если не сложили о немъ пѣсенки—останется народу неизвѣстнымъ, что бы тамъ ни дѣлалъ". Пѣсенки, каламбуры, остроты—вѣчная принадлежность французской живости. Даже въ такихъ пьесахъ, какъ „Свадьба Фигаро", написанныхъ далеко не въ цѣляхъ легкой забавы, политическіе монологи Фигаро и мѣткія выраженія, воплощающія въ себѣ геній насмѣшливаго самосознанія предреволюціонной Франціи, пересыпаются легкою шуткой и игриво-циническими, сильно дѣйствующими на чувственность положеніями.

Веселая пѣсенка подала руку водевилю, и отъ этого счастливаго брака родилась дочь—оперетта. Счастливымъ

супругамъ еще при жизни выпала завидная доля убѣдиться, что ихъ дѣтище достойно ихъ. Оперетта росла, привлекала всеобщее вниманіе, но это не сдѣлало ее пустою кокеткой.

Въ то время, когда французская драма, состоя на побѣгушкахъ у двора, выродилась въ уродливое явленіе и обратилась въ эхо придворныхъ интригъ, оперетта, отбросивъ всякое жеманство, стала до-упаду хохотать надъ ходульною добродѣтелью, надутымъ жеманствомъ, подслащенною чувствительностью, приторною лестью; она стала всему говорить *ты*, всѣхъ хлопать по плечу; старое искусство облекалось въ колоссальные парики и фижмы, а потому оперетта раздѣлась до рубашки.

Изъ письма Островскаго видно, что онъ узко смотрѣлъ на это дѣтище веселаго революціоннаго Парижа, но въ одномъ онъ правъ: оперетта и ея успѣхъ въ Россіи влекли за собою гибель, конечно, временную, хорошихъ сценическихъ традицій и развращали вкусъ театральной толпы. Помимо оперетты, въ Россіи стали возникать любительскіе театральные кружки и расплодились частные театры съ сомнительнымъ репертуаромъ, приспособленнымъ къ низменнымъ вкусамъ большинства, съ неряшливою постановкой пьесъ, со случайнымъ наборомъ труппы и т. д. Для поддержанія правильныхъ понятій о сценѣ и сценическомъ искусствѣ Островскій основалъ въ самомъ началѣ 70-хъ годовъ артистическій кружокъ. Этотъ кружокъ долженъ былъ служить разсадникомъ сценическихъ дѣятелей, такъ-сказать, замѣнить собою театральную школу, осуществлять постановку дѣйствительно художественныхъ произведеній, развить въ публикѣ серіозныя требованія и вкусъ къ сценѣ. Дѣйствительно—кружокъ Островскаго многое сдѣлалъ для русскаго театра. Кружокъ далъ московской сценѣ не одного талантливаго актера. Вслѣдъ за основаніемъ кружка, Островскій рѣшилъ осуществить учрежденіе еще болѣе важнаго института—Общества русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ. Общество это должно охранять матеріальные интересы драматурговъ и оперныхъ композиторовъ. Драматическіе писатели и композиторы должны сами вступиться за свое достояніе и принудить театры, обогащающіеся на счетъ постановки ихъ произведеній, платить имъ опредѣленное вознагражденіе.

Островскій сталъ пропагандировать свою идею и хлопо-

тать объ ея осуществленіи среди администраціи. Драматурги и правящія сферы охотно откликнулись на призывъ Островскаго.

Сначала возникло въ Москвѣ собраніе драматическихъ писателей. Островскій былъ его вдохновителемъ и руководителемъ. Но на первыхъ порахъ большихъ результатовъ не получилось: антрепренеры упорно уклонялись отъ платы авторамъ за представленія пьесъ, возникло множество процессовъ, и всѣ благія цѣли собранія, вѣроятно, долго не осуществились бы, если бы на помощь не пришли судебная власть и правительство.

Суды стали карать антрепренеровъ за самовольную постановку пьесъ; антрепренеры начали входить въ личныя сдѣлки съ авторами, но размѣръ платы зависѣлъ отъ случайностей, отъ ловкости той или другой стороны. Дѣло окончательно укрѣпилось, когда Собраніе драматическихъ писателей было признано закономъ и превратилось въ офиціальное учрежденіе, подъ именемъ: „Общество русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ“.

Островскаго единогласно избрали предсѣдателемъ Общества, и онъ оставался несмѣняемымъ предсѣдателемъ съ 21 октября 1874 г. до самой смерти. Не забывая обширныхъ заботъ о судьбахъ русской драмы и сцены, Островскій и только-что созданное Общество желалъ сдѣлать орудіемъ нравственнаго и художественнаго воспитанія русскихъ дѣятелей драмы и оперы.

Онъ предполагалъ учредить при Обществѣ центральную библіотеку по драматической литературѣ и оперѣ, снабдить ее классическими произведеніями,—русскими и иностранными, и издавать при библіотекѣ пьесы для театровъ. Островскій намѣревался пожертвовать Обществу собственную библіотеку. Не упустилъ онъ изъ виду и другихъ просвѣтительныхъ учрежденій: чтенія при Обществѣ о сценическомъ искусствѣ, устройство образцовой сцены для классическихъ произведеній, и руководить этою сценой должны были сами драматурги и знатоки театральнаго дѣла. Наконецъ, Островскій желалъ образовать при Обществѣ капиталъ для выдачи постоянныхъ и временныхъ премій за лучшія драматическія произведенія и для конкурсовъ на соисканіе премій за сочиненія по сценическому искусству,—при чемъ темы предоставлялось предлагать Обществу.

Такой широкій планъ, какой задумалъ въ этотъ моментъ Островскій, конечно, трудно было осуществить цѣликомъ при наличности условій русской общественной жизни, но все же кое-что было реализовано.

VI.

Послѣ вступленія на престолъ Александра III монополія казенныхъ театровъ была прекращена, и это дало надежду Островскому осуществить свою завѣтную мечту—создать въ Москвѣ народный театръ. Здѣсь, въ сердцѣ Россіи, въ этой „большой деревнѣ" съ огромнымъ постояннымъ приливомъ крестьянскихъ массъ, по мнѣнію Островскаго, надлежало создать вполнѣ народный образцовый театръ. Извѣстно, что самая отзывчивая аудиторія,—это неизбалованныя поверхностною культурой народныя массы.

На ихъ „свѣжія души" театръ долженъ производить самое сильное впечатлѣніе, очищать, облагороживать душу, служить однимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ внѣшкольнаго образованія, будить мысль, самосознаніе, разумное національное чувство, образовывать литературный вкусъ, привить любовь къ разумнымъ культурнымъ развлеченіямъ.

Въ качествѣ предсѣдателя *Общества драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ*, Островскій представилъ государю записку, въ которой и изложилъ свои взгляды на принципы и необходимость народнаго театра въ Москвѣ.

Онъ указывалъ на безпрерывный и сильный ростъ театральной публики. Она умножается съ каждымъ поколѣніемъ; спросъ на театральныя зрѣлища давно превысилъ предложеніе. До 1853 года драматическія представленія давались въ Большомъ театрѣ,—но, несмотря на то, что его зала—одна изъ самыхъ большихъ театральныхъ залъ въ Европѣ—и онъ уже сталъ тѣсенъ. Потомъ драму перевели въ Малый театръ, т.-е. еще сузили москвичамъ доступъ на спектакли, и огромное большинство публики, и при прежнихъ, болѣе выгодныхъ условіяхъ рѣдко попадавшее въ театръ, осталось и вовсе безъ театра.

А между тѣмъ Москва съ каждымъ годомъ ширится и все гуще населяется, какъ естественный торгово-промышлен-

ный и культурный центръ Россіи. Авторъ записки пользуется случаемъ выразить свои завѣтныя думы, національныя и сыновнія чувства къ родному, взрастившему его и создавшему ему литературную славу городу: „Тамъ древняя святыня, тамъ историческіе памятники, тамъ короновались русскіе цари и коронуются русскіе императоры; тамъ, въ виду торговыхъ рядовъ, на высокомъ пьедесталѣ, какъ образецъ русскаго патріотизма, стоитъ русскій купецъ Мининъ. Въ Москвѣ всякій пріѣзжій, помолясь въ Кремлѣ русской святынѣ и посмотрѣвъ историческія достопамятности, невольно проникается русскимъ духомъ. Въ Москвѣ все русское становится понятнѣе и дороже... Москва—городъ вѣчно обновляющійся, вѣчно юный; черезъ Москву волнами вливается въ Россію великорусская народная сила".

Ясно, какое цивилизующее значеніе можетъ имѣть Москва для народа,—и театръ долженъ стоять здѣсь на первомъ планѣ. Его дѣйствіе на „свѣжую душу" особенно сильно. „Театръ съ честнымъ, художественнымъ, здоровымъ народнымъ репертуаромъ развиваетъ народное самопознаніе и воспитываетъ сознательную любовь къ отечеству,—онъ необходимъ для Москвы. Такой театръ былъ бы поистинѣ наукой и для русскаго драматическаго искусства. Мы должны начинать сначала, должны начинать свою русскую народную школу, а не слѣпо итти за французскими образцами и писать по ихъ шаблонамъ разныя тонкости, интересныя только пресыщенному вкусу. Русская нація еще складывается, въ нее вступаютъ свѣжія силы, зачѣмъ же намъ успокоиваться на зрѣлищахъ, тѣшащихъ извращенные вкусы?"

Далѣе Островскій указываетъ, что наши актеры, воспитываясь на сомнительномъ иноземномъ репертуарѣ, утрачиваютъ способность играть русскій бытовой и историческій жанръ. Театръ въ такомъ видѣ доступенъ только людямъ съ достаткомъ, изъ горожанъ интеллигентныхъ круговъ. Истощенная жизнью города нервная система этихъ людей требуетъ острыхъ, сильныхъ, пряныхъ ощущеній, а это отражается опять-таки на предложеніи, т.-е. все на томъ же репертуарѣ, превращая его въ зрѣлища, потакающія низменнымъ инстинктамъ толпы.

Такое положеніе вещей грозитъ, по мнѣнію Островскаго, серіозными дурными послѣдствіями для нашего театра. Онъ опошлится, измельчаетъ, выродится, станетъ дѣломъ простой

спекуляціи и далеко отодвинется отъ тѣхъ задачъ, которыя долженъ преслѣдовать, какъ общественная школа.

Императоръ Александръ III сочувственно встрѣтилъ записку и отвѣтилъ на нее собственноручной подписью: „Было бы весьма желательно осуществленіе этой мысли, которую я раздѣляю совершенно".

Островскому было разрѣшено устроить въ Москвѣ частный русскій театръ. Драматургъ ревностно принялся за разрѣшеніе задачи. Онъ обратился къ „просвѣщенному московскому обществу" съ приглашеніемъ принять участіе въ осуществленіи мысли, одобренной государемъ. Онъ предлагалъ общую программу устройства будущаго національнаго театра, опредѣлялъ количество мѣстъ и ихъ цѣну, давалъ общія правила на счетъ состава труппы, постановки пьесъ, репертуара, чтобы театръ „производилъ на публику воспитательное дѣйствіе". Пьесы должны ставиться только избранныя, истинно-художественныя, потому что только такія произведенія „производятъ на публику желанное цивилизующее дѣйствіе". Новыхъ пьесъ ежегодно слѣдуетъ давать—одну или двѣ историческихъ драмы, три-четыре комедіи, одну пьесу сказочнаго содержанія, для святочныхъ и масленичныхъ спектаклей. Лучшія произведенія иностранныхъ классиковъ также должны входить въ репертуаръ этого театра.

Театръ этотъ Островскій проектировалъ устроить на товарищескихъ началахъ.

Вслѣдъ за представленіемъ записки государю Островскій получилъ то, чего такъ тщетно добивался въ теченіе многихъ лѣтъ: ему была пожалована государемъ за 35-тилѣтіе литературной дѣятельности для отечественной сцены золотая табакерка съ бриллiантовымъ изображеніемъ имени государя и пожизненная пенсія, въ размѣрѣ 3000 руб. ежегодно. Этимъ, однако, не окончилось вниманіе государя къ таланту и заслугамъ нашего драматурга.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1885 г. Островскій сталъ во главѣ Императорскихъ Московскихъ театровъ, въ качествѣ завѣдующаго художественною и репертуарною частью, а также театральною школой. Хозяйственно-административную часть поручили А. А. Майкову. Всѣ дружно привѣтствовали назначеніе Островскаго.

„Знаменосцемъ Императорскихъ театровъ въ Москвѣ,—

пишетъ извѣстный театральный критикъ „Моск. Вѣд.“ С. Васильевъ,—избранъ Островскій. Нельзя было сдѣлать лучше выбора, если только вообще можетъ быть рѣчь о выборѣ, гдѣ извѣстное дѣло прямо приводитъ къ извѣстному лицу, прямо указываетъ на него. А. Н. Островскій неразрывно и неразлучно соединенъ съ Москвой,—нравоописаніемъ Бѣлокаменной онъ положилъ основаніе своей славы,—съ московскимъ театромъ, лѣтопись котораго составляетъ „бархатную книгу“ нашего драматурга“. Въ такомъ же духѣ высказалась и остальная печать, общество и всѣ, кто любитъ, цѣнитъ и понимаетъ искусство.

1-го января 1886 г. Островскій, вмѣстѣ со вступившимъ уже въ должность А. Майковымъ, присутствовалъ на вечернихъ представленіяхъ въ Большомъ и Маломъ театрахъ; на другой день А. Н. посѣтилъ театральную школу, а 4-го января офиціально представлялись новому управленію всѣ служащіе при московскихъ казенныхъ театрахъ.

Съ 6-го января Островскій окончательно уже принялъ въ свои руки художественную часть этихъ театровъ.

Съ этого момента Островскому предстоитъ непосредственно вліять на народную школу, которой онъ придавалъ такое большое значеніе, которую онъ такъ любилъ и которой отдалъ, какъ драматическій писатель, всю свою жизнь.

Столкнувшись съ закулиснымъ міромъ театра, Островскій тотчасъ же по достоинству оцѣнилъ его жрецовъ. „Ну, amicus,—сказалъ онъ г. Кропачеву, своему личному секретарю,—окунулся я въ омутъ; не знаю, какъ изъ него вылѣзу“.

Кто знаетъ театральную „семью“ и личную психологію членовъ оной, тотъ пойметъ Островскаго. Плѣсень, рутина, сплетня, вѣроломство, недоброжелательство, mania grandiosa, полное извращеніе нравственнаго чувства, жизнь для хлопковъ, склонность смотрѣть на міръ, какъ на пестро расписанныя декораціи, склонность и вѣра только въ одинъ обманъ и въ области интимной жизни и въ области чувства, мысли, слова, дѣла и житейскихъ отношеній, поголовное невѣжество, даже въ вопросахъ своего искусства, полное отсутствіе органической связи съ общественною жизнью, атрофія гражданскихъ чувствъ, полная эмансипація отъ гражданскихъ обязанностей, пренебреженіе ко всему здоровому и естественному, погоня за всякою мишурой, полный

индифферентизмъ ко всему, чѣмъ живетъ общество, что волнуетъ страну, за что борется народъ, чѣмъ гордится онъ, на что надѣется. Для представителя кулисъ все начинается кулисами и ими же все и оканчивается.

Однажды, на юбилей выдающагося ученаго, въ числѣ прочихъ гостей, была приглашена и знаменитая пѣвица. Когда стали пить за здоровье ученаго, пѣвица спросила своего сосѣда по столу: „Скажите, пожалуйста, какимъ голосомъ поетъ юбиляръ". Это очень типичный, характерный анекдотъ, и для того, кто хорошо знаетъ артистическій міръ, не представится единичнымъ, случайнымъ.

Въ своихъ воспоминаніяхъ объ Островскомъ Н. А. Кропачевъ говоритъ, что Островскій чувствовалъ „отвращеніе къ театру, ибо однажды въ семьѣ своей онъ сказалъ, что, если кто-либо изъ дѣтей его поступитъ на службу въ театръ, онъ въ гробу перевернется".

Вотъ въ этотъ-то міръ картонныхъ героевъ, блестящихъ мантій, перьевъ, шлемовъ, чувствъ и гонораровъ и вступилъ А. Н. Островскій.

Съ первыхъ же дней вступленія „въ отправленіе своихъ обязанностей" Островскій принялся за дѣло реформъ съ тою неутомительностью и страстностью, на которыя способны только люди, горячо любящіе данное дѣло, беззавѣтно ему преданные и вполнѣ убѣжденные въ его необходимости и полезности.

Свое назначеніе на должность руководителя театромъ онъ называлъ „счастьемъ", „мечтой всей своей жизни".

Прежде всего Островскій принялся за вопросъ о школѣ. По обыкновенію, онъ и на этотъ счетъ составилъ обстоятельную записку. Театральное училище должно поставлять артистовъ на императорскую сцену. Теперь эта сцена вынуждена пополнять свою труппу провинціальными актерами и даже любителями: явленіе ненормальное и даже убыточное. Школа и сцена должны быть неразрывно другъ съ другомъ связанными учрежденіями. Изъ школы ученики должны поступать на сцену и здѣсь, среди опытныхъ артистовъ, завершать свое художественное воспитаніе, вырастать на глазахъ публики. Театръ—естественное продолженіе школы, и такъ должно быть одинаково и для драмы и для оперы. Своимъ недавнимъ процвѣтаніемъ Моск. Имп. театръ обязанъ былъ преимущественно своему училищу.

Стройный ансамбль, живость и изящество исполненія только и возможны были при той богатой сценической техникѣ, которою обладали бывшіе ученики театральнаго училища.

Не оставилъ Островскій безъ вниманія и балетъ. Онъ хотѣлъ обновить его, сдѣлать болѣе разумнымъ и содержательнымъ зрѣлищемъ, сообщить ему занимательность—съ помощью феерій и сказочныхъ представленій; онъ хотѣлъ устранить ту специфичность балетныхъ представленій, которая и привлекаетъ, главнымъ образомъ, офицеровъ разнаго рода оружія и „государственныхъ младенцевъ".

Наконецъ, драматургъ входилъ и въ частные вопросы театральной службы, тщательно пересмотрѣлъ составъ лицъ, завѣдующихъ постановкой и исполненіемъ пьесъ, и предположилъ немало существенныхъ преобразованій и въ этой области.

Островскій замышляетъ и переустройство Малаго театра, желаетъ его расширить и, кромѣ того, мечтаетъ выстроить противъ Большого театра новый, въ которомъ цѣны должны быть понижены до такого minimum'а, чтобы туда получили доступъ народъ и бѣднѣйшіе классы Москвы.

Работа шла безостановочно; можно сказать, Островскій полагалъ на нее всѣ свои духовныя и физическія силы. По временамъ имъ овладѣвала оторопь предъ громадностью и сложностью задачи, и онъ писалъ тогда: „Нѣтъ, я чувствую, что у меня нехватаетъ силъ и твердости провести въ дѣло, на пользу родного искусства, тѣ завѣтныя убѣжденія, которыми я жилъ, которыя составляютъ мою душу. Это положеніе глубоко трагическое".

Но эти настроенія не заставляли Островскаго опускать руки. Напротивъ, послѣ тяжелаго раздумья онъ съ новымъ рвеніемъ набрасывался на работу, и тогда тонъ его писемъ мѣнялся, онъ посылалъ совсѣмъ другія вѣсти, въ родѣ слѣдующей: „Вотъ уже двѣ недѣли я до самозабвенія работаю надъ преобразованіемъ театральнаго училища, а теперь страдаю на экзаменахъ всякой мелочи обоего пола".

Очевидецъ разсказываетъ, до какихъ предѣловъ доходило утомленіе Островскаго отъ чрезмѣрной работы.

Почти каждый день онъ являлся домой измученный, съ потухшимъ взглядомъ, опускался въ кресло и въ теченіе нѣкотораго времени не могъ вымолвить слова...

— Дай мнѣ опомниться, прійти въ себя,—начиналъ онъ.—

Я сегодня чуть не умеръ. Мнѣ нехватало воздуха, нечѣмъ было дышать... Ревматизмъ не позволяетъ отъ боли пошевелить руками... Народу, съ которымъ надо было объясняться, пропасть... потомъ доклады—я сегодня подписалъ шестьдесятъ бумагъ,—и вотъ, видишь, въ какомъ состояніи воротился домой...

Едва отдохнувъ, вечеромъ онъ отправлялся въ театръ, большею частью успѣвалъ посѣтить тотъ и другой, волновался, видя неисправности, и дома засыпалъ безпокойнымъ и тревожнымъ сномъ.

Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ изнурительнаго труда Островскій собрался поѣхать въ деревню. Имѣніе это—сельцо Щелыково, Кинешемскаго уѣзда—было пріобрѣтено еще отцомъ Островскаго; по завѣщанію покойнаго досталось его второй женѣ, и она продала его своему пасынку.

Мѣстность, гдѣ расположена усадьба, въ высшей степени живописна, перерѣзывается тремя рѣчками, окружена лѣсомъ; съ балкона барскаго дома открывается великолѣпный видъ. Островскій очень любилъ проводить лѣто въ Щелыковѣ; страстный рыболовъ и отъ природы человѣкъ съ простыми вкусами, домосѣдъ и семьянинъ,—онъ чувствовалъ себя въ деревнѣ здоровымъ и счастливымъ. Программа жизни была не сложная, но приносившая писателю отдыхъ и ясное, радостное настроеніе духа: „Читаемъ, гуляемъ въ своемъ лѣсу, ѣздимъ на Сендегу ловить рыбу, сбирать ягоды, ищемъ грибы... Отправляемся въ луга съ самоваромъ—чай пьемъ. Соберемъ помочь, станемъ пѣсни слушать, угощеніе жнецамъ предоставимъ: все по предписанію врачей и на законномъ основаніи“.

По увѣренію проф. А. Остроумова, лѣчившаго Ал. Ник., Островскій страдалъ хроническимъ пораженіемъ кровеносныхъ сосудовъ (атероматозное перерожденіе) и увеличеніемъ сердца. Въ связи съ этимъ у него въ теченіе уже нѣсколькихъ лѣтъ передъ смертью наблюдались припадки удушья (asthma cardiacum). Эти припадки сильно мучили покойнаго, и они, надо полагать, и были причиной его смерти.

Съ цѣлью отдохнуть и среди природы улучшить состояніе своего организма, Островскій и рѣшилъ уѣхать въ любимое свое Щелыково.

Сопровождаемый своимъ сыномъ, студентомъ, Александръ Николаевичъ выѣхалъ изъ Москвы 28-го мая, а 3-го іюня

Москва уже была освѣдомлена, что лучшаго русскаго драматическаго писателя не стало. Островскій скончался 2-го іюня 1886 г. въ 10 часовъ утра.

По свидѣтельству сына покойнаго писателя, нашъ драматургъ умеръ при слѣдующей обстановкѣ: Островскій „сидѣлъ на стулѣ передъ своимъ письменнымъ столомъ, читалъ „Русскую Мысль“ и говорилъ съ Машей (старшая дочь Александра Николаевича); потомъ вдругъ сказалъ: „Мнѣ дурно, дайте воды“, и только что Маша успѣла выскочить изъ комнаты, онъ упалъ со стула на полъ и ударился щекой и вискомъ. Тогда мы прибѣжали, тотчасъ посадили въ кресло. Онъ прохрипѣлъ раза три, всхлипывалъ нѣсколько секундъ и затихъ“.

Въ моментъ смерти жена Островскаго находилась въ церкви, куда онъ просилъ ее съѣздить и помолиться за него, вѣроятно, чувствуя приближеніе „конца своей жизненной драмы“.

Моментъ смерти А. Н. Островскаго совпалъ съ театральными каникулами, и потому отсутствовавшіе артисты не могли отдать послѣдній долгъ навѣки закрывшему глаза творцу ролей, исполненіе которыхъ доставило имъ популярность и симпатіи театральной публики.

Несмотря на то, что на похороны въ Щелыково пріѣхали: братъ покойнаго Михаилъ Николаевичъ, министръ государственныхъ имуществъ, Костромской губ. предводитель дворянства А. И. Шиповъ, представитель костромскаго губернатора г. Арцимовичъ, управляющій государственными имуществами Костромской и Ярославской губ. г. Герке, представитель костромского окружнаго суда, мировые судьи и т. д., надъ гробомъ покойнаго была произнесена только рѣчь личнаго секретаря покойнаго—Н. А. Кропачева, выразившаяся въ нѣсколькихъ общихъ фразахъ.

Похороненъ Островскій въ церковной оградѣ щелыковской церкви, рядомъ со своимъ отцомъ.

Н. Денисюкъ.

Нѣсколько словъ о новой комедіи г. Островскаго „Бѣдная невѣста“ [1]).

*) Мы рѣдко разбираемъ въ отдѣлѣ критики сочиненія, появляющіяся въ печати не особою книгой; но намъ, съ одной стороны, хотѣлось доказать наше вниманіе къ молодому писателю, такъ высоко поставленному сочинителями московскихъ критикъ и дѣйствительно замѣчательному и даровитому; съ другой стороны, мы желали, по мѣрѣ возможности, загладить нашу вину передъ нимъ,—вину, замѣтимъ кстати, общую намъ со всѣми нашими журнальными собратіями и состоящую въ томъ, что о первой извѣстной комедіи г. Островскаго не было сказано ни слова.

Мы и теперь говорить о ней не станемъ, предоставляя себѣ сдѣлать это со временемъ: о ней нельзя говорить поверхностно и въ короткихъ словахъ. Мы только подѣлимся теперь съ читателями впечатлѣніемъ, произведеннымъ на насъ *Бѣдною невѣстой.*

Результатъ нашего чтенія былъ слѣдующій: талантъ у г. Островскаго есть, и замѣчательный,—мы даже готовы не отказаться отъ нашихъ надеждъ на будущее его значеніе, возбужденныхъ въ насъ первымъ произведеніемъ г. Островскаго; но для того, чтобы онѣ могли оправдаться, необходимо г. Островскому—и мы просимъ его видѣть въ нашихъ словахъ выраженіе самыхъ искреннихъ убѣжденій—необ-

---

[1]) И. С. Тургеневъ. „Современникъ“, 1852 г., т. 32, № 3.

*) Статья эта принадлежитъ извѣстному нашему художнику И. С. Тургеневу, писавшему иногда въ „Современникѣ“ статьи и рецензіи. Тургеневъ по своимъ эстетическимъ воззрѣніямъ былъ реалистомъ, требовавшимъ отъ художественнаго произведенія прежде всего правды. Въ одной изъ своихъ статей онъ говоритъ: „Нужно постоянное обращеніе со средой, которую беремся воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неугомонная въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій—и, наконецъ, нужна образованность, нужно знаніе!..“

Самъ Тургеневъ въ высшей степени обладалъ этими качествами какъ художникъ. Люди, его знавшіе, свидѣтельствуютъ, что это былъ очень умный и образованный человѣкъ, великолѣпно знавшій иностранную художественную

ходимо ему отказаться отъ ложной манеры, которую онъ себѣ какъ бы придалъ и которой не было замѣтно въ *Своихъ людяхъ*...

Но прежде чѣмъ мы объяснимъ, въ чемъ, по нашему мнѣнію, состоитъ эта ложная манера, необходимо вкратцѣ разсказать самое содержаніе *Бѣдной невѣсты*.

Оно очень просто. У Анны Петровны, вдовы бѣднаго чиновника, дочь, Марья Андреевна, невѣста. Мать всячески старается ее пристроить; въ этомъ дѣлѣ помогаетъ ей старинный другъ ея мужа, нѣкто г. Добротворскій. За Марьей Андреевной ухаживаютъ молодые люди: Милашинъ и Меричъ; въ Мерича она сама влюблена; въ нее влюбленъ нѣкто Хорьковъ; мать Хорькова тоже вдова, мѣщанка, сильно хлопочетъ о своемъ сынѣ. Между тѣмъ, г. Добротворскій рекомендуетъ г. Беневоленскаго, чиновника; чиновникъ этотъ очень можетъ помочь Аннѣ Петровнѣ въ тяжбѣ, угрожающей всему ея состоянію; онъ влюбляется въ Марью Андреевну и предлагаетъ ей свою руку. Вдова соглашается и начинаетъ вмѣстѣ съ Добротворскимъ убѣждать

литературу въ оригиналахъ. О томъ же, что онъ хорошо зналъ среду, которую воспроизводилъ, говорить не приходится.

Понятно, что для насъ отзывъ такого художника, какъ Тургеневъ, объ Островскомъ, является въ высшей степени интереснымъ и цѣннымъ.

Правда, критическое чутье неоднократно обманывало увлекающагося Ивана Сергѣевича. Онъ, напримѣръ, о давно забытомъ, по заслугамъ, произведеніи Дружинина „Полинька Саксъ“ въ 1848 г. въ „Современникѣ“ сказалъ— какъ свидѣтельствуетъ А. Я. Головачева-Панаева: „Положительно везетъ „Современнику“. Вотъ это талантъ, не чета вашему „литературному прыщу“ и вознесенному до небесъ вами апатичному чиновнику И. А. Гончарову“. Въ 1852 г. была напечатана, подъ иниціалами Л. Н. Т., „Исторія моего дѣтства“ Толстого. Тургеневъ не нашелъ въ авторѣ большого таланта. Впрочемъ, впослѣдствіи тотъ же Тургеневъ говорилъ, что Дружининъ составилъ себѣ имя только потому, что въ сороковыхъ годахъ была голодовка по части беллетристики, а о Толстомъ иначе уже не выражался какъ о „великомъ писателѣ земли русской“.

На этотъ разъ Тургеневъ не ошибся. Его отзывъ объ одномъ изъ первыхъ произведеній Островскаго и надежды на молодого драматурга вполнѣ оправдались. Въ „Современникѣ“ литературная работа, благодаря Некрасову и Панаеву, охотно дѣлилась между участниками журнала на чисто товарищескихъ началахъ. Зачастую одну и ту же статью начиналъ Некрасовъ, а оканчивалъ Чернышевскій или Панаевъ. Писались такимъ же образомъ и стихи, подъ сборнымъ именемъ „Новаго поэта“. Этимъ и объясняется, главнымъ образомъ, почему Тургеневъ бралъ иногда роль литературнаго критика. *Прим. П. Денисюка.*

Марью Андреевну, которая передъ этимъ только что имѣла первое объясненіе въ любви съ Меричемъ. Марья Андреевна проситъ трехдневной отсрочки, въ надеждѣ на своего возлюбленнаго; но возлюбленный оказывается несостоятельнымъ, боится брака, думаетъ только какъ бы отдѣлаться благополучно, и Марья Андреевна рѣшается выйти за Беневоленскаго.

Мы не можемъ сказать, что сообщили читателямъ содержаніе комедіи г. Островскаго: это едва ли ея остовъ; но такъ какъ, вѣроятно, она будетъ прочтена всѣми, то намъ не для чего вдаваться въ бо́льшія подробности. Мы желали только обозначить главныя точки на нашемъ пути.

Первое, что́ мы должны замѣтить въ комедіи г. Островскаго, чему мы съ удовольствіемъ отдаемъ полную справедливость, это — истина всѣхъ выведенныхъ имъ лицъ, всѣхъ, исключая главнаго лица—бѣдной невѣсты. Дѣйствительно, всѣ эти лица живы, несомнѣнно живы и истинны, хотя ни одно изъ нихъ не доведено до того торжества поэтической правды, когда образъ, взятый художникомъ изъ нѣдръ дѣйствительности, выходитъ изъ рукъ его типомъ, и самое названіе, какъ, напримѣръ, названіе Хлестакова, теряетъ свою случайность и становится нарицательнымъ именемъ. Этой судьбы не дождаться ни одному изъ лицъ господина Островскаго. А между тѣмъ, имъ затронута одна струна, которая до сихъ поръ въ области искусства издавала только слабые звуки,—а именно: струна наивности, нецеремонности, какой-то дѣтской откровенности въ эгоизмѣ. Всѣ лица комедіи г. Островскаго—эгоисты, наивные эгоисты, исключая бѣдной невѣсты, Хорькова (о которомъ мы поговоримъ ниже), да еще, можетъ-быть, старика Добротворскаго; но особенно отлично выразился этотъ эгоизмъ въ лицахъ молодыхъ людей Милашина и Мерича и въ лицѣ грубоположительнаго г. Беневоленскаго. Эти три лица очень хороши, особенно Милашинъ—юноша завистливый, мелкій, скучный, неотвязный, который все поетъ, прощается, не уходитъ и преспокойно досадуетъ и удивляется, отчего не всякое чужое счастіе ему достается,—и крѣпкоголовый, дюжій, расчетливый и дѣловой Беневоленскій. Меричъ, предметъ любви бѣдной невѣсты, тоже хорошъ; онъ разнится тѣмъ отъ Милашина, что, будучи недуренъ собой, меньше завидуетъ и досадуетъ, а напротивъ, щеголяетъ

своими побѣдами и вообще порядочный фатъ, хотя трусливъ и остороженъ до крайности. Эгоизмъ и въ немъ рѣзко проявляется; напримѣръ, онъ входитъ къ Марьѣ Андреевнѣ: „Какъ я рада! какъ я ждала тебя, Владимиръ!“ восклицаетъ она.—Мы одни?—спрашиваетъ онъ.—„Одни“. И онъ немедленно ее цѣлуетъ. Вообще, онъ въ присутствіи Марьи Андреевны только и думаетъ объ одномъ—какъ бы поцѣловать ее поскорѣй. Должно сознаться, что пошлость и эгоизмъ въ сопряженіи съ молодостью необыкновенно рѣзко и вѣрно схвачены г. Островскимъ. Но намъ показалось, что сцена, въ которой Меричъ объясняется въ любви къ Марьѣ Андреевнѣ, не удалась г. Островскому. Мы понимаемъ намѣреніе автора, когда онъ влагаетъ ему въ уста книжныя рѣчи; но эти рѣчи въ самой своей незначительности—незначительны. Видно, тайна „возводить въ перлъ созданія“ даже самую пошлость не всякому дается... Но объ отношеніяхъ Мерича съ Марьей Андреевной мы поговоримъ впослѣдствіи, такъ же какъ о характерѣ самой бѣдной невѣсты. Намъ хочется теперь сказать нѣсколько словъ о ея матери—Аннѣ Петровнѣ, а также и о матери Хорькова. Въ очертаніи именно этихъ двухъ характеровъ особенно ясно выказывается та ложная манера, о которой мы говорили выше. Эта ложная манера состоитъ въ подробномъ до крайности и утомительномъ воспроизведеніи всѣхъ частностей и мелочей каждаго отдѣльнаго характера, въ какомъ-то ложно-тонкомъ психологическомъ анализѣ, который обыкновенно разрѣшается тѣмъ, что каждое лицо безпрерывно повторяетъ одни и тѣ же слова, въ которыхъ, по мнѣнію автора, и выражается его особенность. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобъ эти слова были невѣрны, но художество не обязано только повторять жизнь, и во всѣхъ этихъ безконечно малыхъ чертахъ теряется та опредѣленность, строгость рисунка, которыхъ требуетъ внутреннее чувство читателя даже отъ самой разыгравшейся и смѣлой фантазіи. Невозможно перечесть, сколько разъ Анна Петровна говоритъ о себѣ, что она женщина слабая, *сырая*, что какъ можно безъ мужчины въ домѣ, и т. д. Положимъ, что это вѣчное хныканье идетъ къ ея брюзгливой, вялой и, при всей добротѣ, глубоко эгоистической натурѣ, но надобно же знать во всемъ и мѣру. Этотъ же самый пріемъ, состоящій въ безконечномъ повтореніи удачнаго или коми-

ческаго выраженія, употребляется г. Островскимъ постоянно, съ какими бы лицами онъ ни имѣлъ дѣло. Г-жа Хорькова повторяетъ безпрерывно, что она, конечно, женщина необразованная, а сынъ ея образованный, но все-таки уважаетъ ее. Служанка Дарья ни разу не выходитъ на сцену безъ одного и того же восклицанія; г. Добротворскій слова не скажетъ, не повторивъ, что онъ зналъ батюшку Марьи Андреевны съ дѣтства, и т. д. Къ чему, спрашивается, человѣку съ талантомъ г. Островскаго приклеивать своимъ героямъ такіе ярлыки, напоминающіе свитки со словами, выходящіе изо рта фигуръ на средневѣковыхъ картинахъ! Самыя даже лучшія лица, какъ-то: г-да Беневоленскій и Милашинъ, не избѣжали этой участи. Не говоря уже о томъ, что изъ этого вытекаютъ длинноты утомительныя, что веселый смѣхъ, возбужденный въ читателѣ первымъ появленіемъ комической фразы, уступаетъ, наконецъ, мѣсто чувству непріятнаго раздраженія при двадцатомъ повтореніи, мы готовы утверждать, что такого рода мелочная разработка характера неистинна,—художественно неистинна, при всей своей внѣшней вѣроятности, и намъ кажется, что именно этотъ упрекъ болѣе всѣхъ другихъ долженъ быть чувствителенъ г. Островскому, при явномъ стремленіи его таланта къ простотѣ и правдѣ. Что́ бы сказалъ г. Островскій о пейзажистѣ, который вздумалъ бы отдѣлывать малѣйшія фибры въ листочкахъ, малѣйшія песчинки на первыхъ планахъ своихъ картинъ? Намъ, помнится, случилось встрѣтить въ Римѣ живописца, который предлагалъ своимъ посѣтителямъ микроскопъ для лучшаго разсмотрѣнія мелочной отдѣлки своихъ произведеній; но не г. Островскому завидовать хитростному и кропотливому искусству этой мозаичной работы, не автору *Своихъ людей*, этой замѣчательной драмы, замѣчательной особенно по ширинѣ и свободѣ маперы. Г. Островскій лучше насъ знаетъ, что Деннеръ *), извѣстный писатель старушечьихъ лицъ, допускается въ кабинетахъ любителей какъ куріозумъ, и мы надѣемся, что г. Островскій домогается для себя болѣе почетнаго мѣста, на которое, впрочемъ, его талантъ даетъ ему полное право.

*) Бальтазаръ Деннеръ, нѣм. живоп. XVII-го вѣка, въ своихъ портретахъ преслѣдовалъ, главнымъ образомъ, тщательное, кропотливое воспроизведеніе мелочей, и съ этой стороны онъ вызываетъ удивленіе, отталкивая въ то же время художественное чувство. *Н. Д.*

Изъ всего сказаннаго нами слѣдуетъ, что не въ однихъ безпрерывныхъ повтореніяхъ упрекаемъ мы г-на Островскаго: мы упрекаемъ его въ излишнемъ раздробленіи характеровъ,— въ раздробленіи, доходящемъ до того, что каждая отдѣльная частичка исчезаетъ, наконецъ, для читателя, какъ слишкомъ мелкіе предметы исчезаютъ для зрѣнія. Г. Островскій въ нашихъ глазахъ, такъ-сказать, забирается въ душу каждаго изъ лицъ, имъ созданныхъ; но мы позволимъ себѣ замѣтить ему, что эта безспорно полезная операція должна быть совершена авторомъ предварительно. Лица его должны находиться уже въ полной его власти, когда онъ выводитъ ихъ передъ нами. Это—психологія, скажутъ намъ; пожалуй, но психологъ долженъ исчезнуть въ художникѣ, какъ исчезаетъ отъ глазъ скелетъ подъ живымъ и теплымъ тѣломъ, которому онъ служитъ прочною, но невидимой опорой. Это, между прочимъ, нехудо замѣтить и нѣкоторымъ нашимъ критикамъ, которые считаютъ долгомъ начать каждую свою статью ab ovo, какъ-будто и въ критикѣ его убѣжденія, его коренныя правила не должны перейти въ плоть и кровь, и онъ всякій разъ обязанъ выставлять ихъ на-показъ, передъ собой и читателями, какъ какіе-нибудь верстовые столбы, чтобы не сбиться съ дороги. Притомъ эта мелочная, копотливая манера неумѣстна особенно въ драматическомъ произведеніи, гдѣ она замедляетъ и охлаждаетъ видъ дѣйствія, и гдѣ намъ дороже всего тѣ простыя, внезапныя движенія, въ которыхъ звучно высказывается человѣческая душа,—подобныя, напримѣръ, хоть этой чертѣ, взятой нами у самого г-на Островскаго. Марья Андреевна собирается сказать Меричу свое горе—предложеніе ненавистнаго г-на Беневоленскаго. Меричъ прерываетъ ее замѣчаніемъ, что у ней хорошіе глазки, что такъ и хочется поцѣловать ее. Марья Андреевна, вся судьба которой рѣшается въ это мгновеніе, восклицаетъ, наконецъ:

...Да ты послушай, ради Бога!

Меричъ. Хорошо, хорошо; слушаю.

Марья Андреевна. Не успѣла я еще опомниться отъ твоего поцѣлуя (*закрываетъ глаза руками; Меричъ ее цѣлуетъ*), пріѣхалъ этотъ Беневоленскій... онъ грубъ, необразованъ, просто ужасъ.

Меричъ. Мери, вѣдь, это скучная исторія.

Въ этихъ немногихъ словахъ, въ невольномъ движеніи Маши, въ поступкѣ Мерича открывается намъ болѣе глубокій

взглядъ въ сущность характеровъ и отношеній Маши и Мерича, чѣмъ въ самыхъ тщательно выдѣланныхъ такъ-называемыхъ психологическихъ анализахъ. Весь второй актъ, изъ котораго мы взяли вышеприведенныя слова, прекрасенъ съ начала до конца, исполненъ юмора и меньше всѣхъ другихъ отзывается трудомъ, меньше другихъ пахнетъ лампой Демосѳена. (Третій актъ, напротивъ, весьма слабъ, и трудно читать его безъ какого-то нетерпѣнія скуки; въ немъ какъ-будто соединились всѣ недостатки г-на Островскаго.) Во второмъ актѣ всѣ сцены хороши: разговоръ Марьи Андреевны съ Хорьковымъ, въ которомъ она, не подозрѣвая, что Хорьковъ въ нее влюбленъ, раздираетъ его сердце полупризнаніемъ своей любви къ Меричу; слѣдующій за тѣмъ разговоръ между Хорьковымъ и Милашинымъ, гдѣ этотъ молодой человѣкъ является въ полномъ блескѣ, наконецъ, появленіе г-на Беневоленскаго, его объясненія съ Анною Петровной, его внезапный вопросъ Марьѣ Андреевнѣ, въ которую онъ уже успѣлъ влюбиться: какія она конфеты любитъ?—все это отлично. Но пора намъ поговорить о Марьѣ Андреевнѣ. Прежде всего мы должны сказать, что замѣчанія, сдѣланныя нами выше таланту г-на Островскаго, не относятся къ характеру Марьи Андреевны. Создавая образъ этой молодой дѣвушки, онъ менѣе предавался своей обычной наклонности къ мелочному анализу, онъ явно искалъ большихъ линій, простора; Марья Андреевна почти ничего не повторяетъ, и между тѣмъ характеръ ея удался менѣе всѣхъ: видно, наши недостатки растутъ на одной почвѣ съ нашими достоинствами, и трудно вырвать одни, пощадивъ другія. Марья Андреевна—лицо рѣшительно не живое: она вся сочинена; впечатлѣніе, оставляемое ею, неясно, и, скажемъ болѣе, самъ авторъ это чувствуетъ. Доказательствомъ справедливости нашей догадки служатъ, между прочимъ, слова, вложенныя г. Островскимъ въ уста бѣдной невѣсты, въ явнымъ намѣреніемъ пояснить ими ея характеръ. Когда, напримѣръ, Марья Андреевна, въ пятомъ актѣ, уже рѣшившись выйти за Беневоленскаго, говоритъ: „Страстность души, которая чуть не погубила меня, теперь мнѣ не нужна: для нея будетъ благородное употребленіе“ (она собирается исправить мужа), мы, перемѣнивъ мѣстоименіе изъ перваго лица въ третье, очень хорошо понимаемъ, что авторъ такъ о ней думаетъ и желаетъ, чтобъ и мы были такого же мнѣ-

нія о ней; но мы никакъ не можемъ вѣрить, что Марья Андреевна сама могла дѣйствительно произнести эти слова. Это—уловка Скриба, особенно въ его либретто, заставлять людей говорить не то, что̀ имъ слѣдовало бы сказать, а то, что̀ о нихъ думаетъ въ это время зритель; и если г. Островскій, при всемъ своемъ, повторяемъ, несомнѣнномъ стремленіи къ истинѣ, рѣшился прибѣгнуть къ той же манерѣ, значитъ онъ чувствовалъ самъ неясность созданнаго имъ характера и необходимость комментаріевъ. Эта неясность, это колыханіе сопровождаютъ Марью Андреевну въ продолженіе всей комедіи. Необходимости, жизненной необходимости въ ея образѣ нѣтъ. Авторъ добросовѣстно и старательно гоняется за ней—за этой неуловимою чертой жизни, и не достигаетъ ея до конца. Изъ математики намъ извѣстно, что переломанная на самые мелкіе углы прямая линія можетъ только безконечно приблизиться къ линіи круга, но никогда не сольется съ ней. Точно такъ же и умъ, трудъ, наблюденіе проводятъ только, если можно такъ выразиться, прямыя линіи. Одной поэзіи дана та „волнистая линія красоты“, о которой говорилъ Гогартъ *).—Особенно неудачны, между прочимъ, небольшіе, тоже объяснительные монологи, которыми заключается почти каждая сцена Марьи Андреевны. Напримѣръ: послѣ перваго объясненія въ любви, въ которомъ она и Меричъ что-то немножко круто начали говорить другъ другу *ты*, она, оставшись одна, произноситъ слѣдующія слова: „Онъ ушелъ... Хорошо ли я сдѣлала? Мнѣ стыдно и весело. Что если это только шалость съ его стороны? Боже мой, какъ мнѣ совѣстно за себя! А если онъ любитъ въ самомъ дѣлѣ? Онъ всегда такой скучный, печальный! Ахъ, какъ бы мнѣ хотѣлось знать, любитъ ли онъ меня!“ и т. д. Отъ этой небольшой тирады такъ и вѣетъ условною, театральной атмосферой. Насъ не удивляетъ, что Марья Андреевна влюбилась въ Мерича, этого совершенно недостойнаго ея молодого человѣка: мы знаемъ, что въ извѣстныя лѣта дѣвушки любятъ не въ силу какихъ-нибудь особенныхъ заслугъ въ избранномъ предметѣ, но просто потому, что имъ пришла пора любить; но вся любовь ея завязывается и разыгрывается какъ-то натянуто-литературно. Она любитъ потому, что автору нужно заставить ее полюбить,

*) Вильямъ Гогартъ, знаменитый англійскій художникъ. *Н. Д.*

чтобы на чувствѣ ея къ Меричу завязать интересъ пьесы, потомъ ввести обычную борьбу, которую разрѣшаетъ, наконецъ, обычная жертва; но читателю не вѣрится ни въ эту любовь ни въ эту борьбу,—въ самое существованіе Марьи Андреевны ему плохо вѣрится; а жертва ея не возбуждаетъ въ немъ ни сожалѣнія ни ропота: жертва ея проходитъ неоцѣненною, едва ли замѣченною... Окончательное же примиреніе остается совершенно непонятнымъ. Мы даже готовы согласиться, что читатель, искусившійся въ дѣлѣ чтенія, читатель, прослѣдившій большое количество тѣхъ призрачныхъ женскихъ лицъ, которыми такъ богата наша словесность, ихъ такъ-называемыя страданія и радости,—„прослѣдитъ", пожалуй, и это лицо, даже съ участіемъ; но на свѣжаго человѣка оно едва ли произведетъ глубокое впечатлѣніе и, кромѣ двухъ-трехъ горячихъ словъ, кромѣ послѣдняго прощанья Марьи Андреевны съ Меричемъ, гдѣ тотъ, отказавшись отъ ея руки и добившись отъ нея, что она его прощаетъ, объявляетъ, что все прекрасно,—кромѣ этой сцены, говоримъ, да еще послѣдующей, съ Милашинымъ, гдѣ Маша, съ трудомъ удерживая рыданія, играетъ съ нимъ въ дураки,—едва ли отъ чего-нибудь забьется сердце у этого свѣжаго человѣка. Но особенно напряженнымъ и, говоря техническимъ слогомъ, „резонерскимъ", сдѣланнымъ покажется ему конецъ, въ которомъ Марья Андреевна внезапно взглядываетъ на самое себя съ утилитарной точки зрѣнія, собираясь заняться исправленіемъ г. Беневоленскаго. Словомъ, какъ барышня, фигура Марьи Андреевны совершенно исчезаетъ передъ лицомъ какой-нибудь дочери городничаго въ гоголевскомъ „Ревизорѣ"; какъ дѣвушка, она то возбуждаетъ наше сочувствіе, то отталкиваетъ насъ, какъ, напр., въ той сценѣ, гдѣ она сама требуетъ отъ Мерича, чтобы тотъ женился на ней; граціи въ ней тоже нѣтъ, и проходитъ она черезъ нашу душу какъ гость, котораго мы не поняли,—можетъ-быть, потому, что нечего было въ немъ понимать. Видно, что г. Островскій хотѣлъ создать въ Марьѣ Андреевнѣ лицо значительное... но наше уваженіе къ его таланту заставляетъ насъ признаться, что образъ бѣдной невѣсты не удался.

Мы обѣщали сказать нѣсколько словъ о Хорьковѣ. Онъ является только въ двухъ сценахъ. Въ первой онъ сперва узнаетъ, что его не любятъ, а потомъ подучаетъ Милашина,

какъ бы повредить Меричу, и даже, несмотря на благородство чувствъ своихъ, предлагаетъ Милашину перехваченныя письма счастливаго своего соперника; во второй—приходитъ навеселѣ, проситъ прощенія за непріятности, причиненныя Аннѣ Петровнѣ его матерью, и плачетъ надъ Машею, уже рѣшившеюся на свадьбу съ Беневоленскимъ. Это лицо удалось г. Островскому и показываетъ въ немъ замѣчательный драматическій инстинктъ; жаль, что онъ не развилъ его.

Изъ второстепенныхъ лицъ также хороши двѣ свахи: одна въ платочкѣ, другая въ чепцѣ... жаль, что онѣ слишкомъ напоминаютъ лицо извѣстной свахи въ „Женитьбѣ“!

Теперь намъ остается сказать нѣсколько послѣднихъ словъ о комедіи г. Островскаго вообще. Общій колоритъ ея вѣренъ, хотя сухъ; недостатки ея, сколько намъ кажется, происходятъ частью отъ безсилія, частью отъ ложнаго направленія, даннаго силѣ. Замѣтимъ еще, что характеры, выведенные г. Островскимъ, при всей вѣрности дѣйствительности, показываются намъ ровно настолько, насколько это нужно ходу дѣйствія. У первостепенныхъ мастеровъ это иначе. Мы очень хорошо знаемъ, каковъ Хлестаковъ за сценой и во всѣхъ положеніяхъ жизни. Внутренняя, драматическая, патетическая сторона *Бѣдной невѣсты* намъ кажется вовсе не выдержанною; пьеса дѣйствительно умно задумана, могла бы быть трогательною, возбуждаетъ уваженіе къ таланту, къ уму автора—и только. Впрочемъ, и этого довольно. Ни одна сцена новаго произведенія г. Островскаго не можетъ сравниться съ извѣстною окончательною сценой *Своихъ людей*.

Господинъ Островскій заставилъ своей *Невѣстой* забыть свои неудачные этюды; но онъ все еще въ долгу передъ читателемъ: онъ началъ необыкновенно, и читатель ждетъ отъ него необыкновеннаго. Со всѣмъ тѣмъ, мы отъ всей души привѣтствуемъ комедію г. Островскаго, желаемъ ему итти далѣе, расти, крѣпнуть, желаемъ ему въ особенности выпутаться изъ тѣхъ сѣтей, которыя онъ самъ наложилъ на свой талантъ... Да осуществятся въ немъ наши надежды! Онѣ не слишкомъ радостны, не слишкомъ сильны.

В. Т. (И. С. Тургеневъ.)

Бѣдная невѣста [1]).

*) Въ 4-мъ № „Москвитянина“ помѣщена давно имъ обѣщанная пьеса г. Островскаго: *Бѣдная невѣста.*

Имя г. Островскаго извѣстно публикѣ по первой его комедіи, о которой критика не сказала еще отчетливаго мнѣнія, да по двумъ драматическимъ этюдамъ: *Утро молодого человѣка* и *Неожиданный случай*, о которыхъ критика имѣла право отзываться невыгодно. Теперь сужденію ея подлежитъ новое произведеніе молодого автора, такъ справедливо пріобрѣвшаго извѣстность первою комедіей.

Изложимъ прежде содержаніе пьесы, останавливаясь преимущественно на тѣхъ мѣстахъ, безъ которыхъ нельзя опредѣлить ни характеровъ дѣйствующихъ лицъ ни значенія комедіи.

Главное дѣйствующее лицо, какъ можно видѣть и по самому названію пьесы, бѣдная невѣста—*Марья Андреевна Незабудкина.* Все состояніе матери ея, *Анны Петровны*, вдовы небогатаго чиновника, заключается въ домѣ, но и о томъ производится дѣло, принявшее дурной оборотъ, по случаю какихъ-то упущеній со стороны хозяйки. Анна Петровна—„женщина слабая, *сырая*“, какъ она часто говоритъ о себѣ, сильно озабочена двумя предметами: дочерью и домомъ. Ей

---

[1]) „Отечественныя Записки“, 1852 г., № 4. Настоящая критическая статья помѣщена въ отдѣлѣ „Журналистики“ между разборами пьесъ другихъ авторовъ.

*) Въ 1820 г. небезызвѣстный литераторъ Пав. Петр. Свиньинъ сталъ издавать журн. „Отечеств. Зап.“. Программа журнала была не широка, включая въ себя преимущественно матеріалы по русской исторіи и статьи по русской археологіи. Само-собою разумѣется, что такой органъ не могъ имѣть обширную аудиторію. Онъ долженъ былъ прекратить свое существованіе на десятомъ году своей жизни. Въ 1839 г. журн. пріобрѣлъ А. А. Краевскій и, значительно расширивъ программу, пригласилъ лучшихъ литераторовъ того времени. Между прочимъ, „Отечествен. Зап.“ былъ впервые введенъ тогда же у насъ отдѣлъ „современной хроники Россіи“, задавшійся цѣлью обозрѣвать внутреннюю и политическую жизнь страны. Отдѣломъ критики и библіографіи завѣдывалъ Бѣлинскій. Тамъ же въ это время работали Герценъ, Грановскій, В. Боткинъ, Кудрявцевъ. Естественно, что такія силы выдвинули журналъ на первое мѣсто на форумѣ русской литературы. Въ началѣ 1846 г. Бѣлинскій прекратилъ работу въ „Отеч. Зап.“, и

очень хочется пристроить дочь. Исполненію желанія ея помогаютъ, съ одной стороны, свахи, отъ которыхъ, впрочемъ, мало толку, съ другой—*Платонъ Марковичъ Добротворскій*, старый стряпчій, выведенный въ люди отцомъ Марьи Андреевны. Онъ-то ищетъ ей жениховъ въ присутственныхъ мѣстахъ, между чиновниками, которые имѣли бы хорошее мѣсто или капиталецъ, и могли хлопотать по дѣлу Анны Петровны. Дочь, дѣвушка съ умомъ и чувствомъ, возмущается такой безцеремонной заботливостью матери. „Что это вы, маменька, дѣлаете?—говоритъ она:—посылаете Платона Маркыча по присутственнымъ мѣстамъ жениховъ искать. Это ужъ Богъ знаетъ что такое; это ужъ обидно даже!“ Кромѣ неделикатности обращенія, есть и другая причина тревоги: сердце Марьи Андреевны, какъ говорится, уже занято. Ей нравится одинъ молодой человѣкъ—*Меричъ*, который ничѣмъ не высказывается въ первомъ актѣ, но котораго узнаемъ послѣ: это пустой, мелкосвѣтскій фатъ и эгоистъ, смазливый собою. Онъ любитъ красоваться своими чувствами, но неспособенъ къ истинному чувству. Вся цѣль его—прославиться побѣдами, часто небывалыми, надъ жен-

---

онѣ мало-по-малу стали клониться къ упадку. Этому помогла и реакція 1848 г., когда преслѣдованія печати достигли высокой степени совершенства, навсегда увѣковѣчивъ память о такъ-называемомъ „Бутурлинскомъ комитетѣ“, которому былъ порученъ высшій надзоръ за нравственностью печати, а также за ея духомъ, направленіемъ и политическими взглядами Эта эпоха (1848—1855 гг.) не безъ основанія названа „эпохою цензурнаго террора“. Все это дурно отразилось на „Отечеств. Зап.“; журналъ сильно обезцвѣтился, и хотя во второй половинѣ 50-хъ годовъ въ русской жизни повѣяло „жизнью и волей“, но это нисколько не отразилось на обезкровленномъ организмѣ журнала. Новая эпоха въ исторіи „Отечеств. Зап.“ началась съ января 1868 г., когда фактическое редактированіе журнала перешло въ руки Некрасова, Щедрина и Елисѣева.

Они арендовали журналъ у Краевскаго и повели дѣло съ тѣмъ умѣніемъ, трудолюбіемъ, знаніемъ дѣла и литературнымъ вкусомъ, на которые были способны только такіе выдающіеся писатели и журналисты, какъ Салтыковъ, Елисѣевъ и Некрасовъ. Журналъ снова занялъ первое мѣсто въ литературной семьѣ, выдвигая на первый планъ нужды и интересы общественной и народной жизни. Русское общество съ нетерпѣніемъ ждало каждую новую книжку журнала, жадно ища бичующихъ страницъ нашего великаго сатирика, гражданскихъ стиховъ Некрасова и внутренняго обозрѣнія Елисѣева. Само-собою разумѣется, что русское правительство и цензура не остались хладнокровными зрителями роста нравственнаго авторитета „Отечествен. Зап.“. Журналъ въ 1872 г. получилъ первое предостереженіе за „рѣзкое порицаніе недавно изданныхъ законовъ о народномъ просвѣ-

скимъ сердцемъ. Еще мальчикомъ писывалъ онъ самъ къ себѣ письма и хвалился товарищамъ въ пансіонѣ, что получаетъ ихъ отъ барышень. Но въ сношеніяхъ съ барышнями онъ заходитъ недалеко: онъ только можетъ прикидываться влюбленнымъ, набрасывать на себя задумчивость, страданія и разочарованія; но лишь только дѣло коснется мало-мальски серіознаго обязательства, осторожный и трусливый эгоизмъ его бьетъ отступленіе. Другой—молодой и еще болѣе мелкотравчатый человѣкъ, *Милашинъ*, не обращаетъ на себя вниманія Марьи Андреевны; но о немъ скажемъ послѣ. Оба они ухаживали за бѣдною невѣстой, но ни тотъ ни другой не любятъ ея истинно. Истинно любитъ ее *Хорьковъ*, бывшій студентъ, три года окончившій курсъ и во все это время ничего не дѣлавшій. Онъ называлъ себя жалкимъ, слабымъ человѣкомъ.

„Меня обдаетъ холодомъ, когда я вспомню, какъ я прожилъ эти три года. Лѣнь, праздность, грязная холостая жизнь—и никакихъ стремленій выйти изъ этой жизни, ни капли самолюбія! Я ужъ начинаю успокоиваться въ бездѣйствіи!“

Онъ проситъ мать свою узнать чувства Марьи Андреевны. Анна Петровна, съ своей стороны, не прочь отъ согласія;

щеніи, искусственный подборъ и превратное толкованіе газетныхъ извѣстій, явно стремящихся къ возбужденію въ обществѣ недовѣрія къ симъ законамъ, а въ учащихся какъ неуваженія къ начальству и преподавателямъ, такъ и неудовольствія къ вводимой системѣ образованія“. Слѣдующее предостереженіе было мотивировано лаконически: „Вредное направленіе, особенно выразившееся во внутреннемъ обозрѣніи“ (1879 г.). Послѣ трагической смерти Александра II за „Отечествен. Зап.“ стали еще строже присматривать. Статьи стали выходить изъ-подъ цензорской опеки въ такомъ видѣ, что ихъ не всегда можно было выводить въ свѣтъ, а Щедрину каждый мѣсяцъ, передъ выходомъ новой книжки журнала въ свѣтъ, приходилось испытывать ощущенія человѣка, съ котораго живьемъ „сдираютъ кожу“. Въ 1883 г. журналъ снова получаетъ предостереженіе за „вредное направленіе, осмѣяніе и стараніе выставить въ ненавистномъ свѣтѣ существующій общественный, государственный и экономическій строй какъ у насъ, такъ и въ другихъ европейскихъ государствахъ, на ряду съ этимъ не скрывая симпатіи къ крайнимъ соціалистическимъ доктринамъ“. Однако, и это предостереженіе не заставило редакцію „Отечествен. Зап.“ умилиться картиной нашей „существующей общественной, государственной и экономической“ жизни. Журналъ упорно продолжалъ отрицать, что у насъ „все обстоитъ благополучно“, а посему три министра и одинъ оберъ-прокуроръ Свят. Синода, посовѣщавшись между собою, рѣшили окончательно закрыть непокорный журналъ, разливавшій соціальный ядъ по всѣмъ направленіямъ страны. Это событіе имѣло мѣсто въ 1884 г.

Прим. Н. Денисюка.

но дочь не замѣчаетъ любви Хорькова: напротивъ, она считаетъ его солиднымъ, холоднымъ человѣкомъ.

Вотъ содержаніе перваго акта, который идетъ вяло и холодно. Въ этомъ отношеніи онъ походитъ на такъ-называемую экспозицію старинныхъ пьесъ не потому, чтобъ въ немъ, какъ въ этихъ экспозиціяхъ, драматическое представленіе переходило въ эпическое изложеніе, въ разсказы о завязкѣ и о характерахъ лицъ, а потому, что почти неизбѣжныя принадлежности этихъ экспозицій составляютъ холодность и вялость, отсутствіе дѣйствія, движенія. Отчего происходятъ онѣ въ первомъ актѣ *Бѣдной невѣсты?* Первый актъ ея—собственно рядъ сценъ, лишенныхъ внутренней связи, съ однимъ и тѣмъ же содержаніемъ—сватовствомъ. Являются разныя лица, но съ однимъ и тѣмъ же дѣломъ—съ предложеніемъ жениховъ. Одна изъ свахъ предлагаетъ двухъ служащихъ, другая—богатаго купца; Хорькова предлагаетъ своего сына; Добротворскій—Беневоленскаго; Милашинъ и Меричъ являются сами. Они не предлагаютъ руки, но читатель видитъ, что они тоже относятся къ числу жениховъ.

Мы знаемъ нѣчто подобное въ томъ же родѣ у Гоголя. Это—представленіе провинціальныхъ чиновниковъ Хлестакову. Несмотря на однообразіе мотива, у Гоголя сцены эти вышли превосходными, какъ только могутъ онѣ выходить у художника, которому дана способность творчески воспроизводитъ индивидуальность самыхъ мелкихъ, самыхъ ничтожныхъ харкатеровъ. Слѣдовательно, не однообразіе мотива причиною вялости и скуки перваго акта, не однообразіе также и характеровъ: обѣ свахи, Хорькова, Меричъ, Милашинъ, Добротворскій, Анна Петровна непохожи другъ на друга. Причина холодности въ томъ, что подмѣчаетъ авторъ въ этихъ лицахъ и какъ заставляетъ ихъ высказываться. Они безпрерывно повторяютъ одни и тѣ же слова, обращаются къ однимъ и тѣмъ же пунктамъ. Нѣтъ въ нихъ ничего значительно-выдающагося, рѣзко-опредѣлительнаго. Каждое лицо туго входитъ въ свою роль и не въ силахъ объявить своей личности при первыхъ словахъ, при первомъ появленіи на сцену. Это безсиліе замѣтно и въ Аннѣ Петровнѣ и въ Хорьковой; еще замѣтнѣе оно въ Меричѣ, который приходитъ въ первомъ актѣ какъ бы для того только, чтобы ничего не сказать о себѣ читателю. Что же

дѣлаетъ невѣста при этой личной или заочной выставкѣ жениховъ? Она обнаруживаетъ свой характеръ настолько, насколько можно обнаружить его во время трактаціи о ней и при ней. Ея положеніе чисто-страдательное, и потому читатель узнаетъ о ней изъ ея страдательнаго сопротивленія разнымъ притязаніямъ. Видно, что она дѣвушка съ умомъ и чувствомъ. Простота, отсутствіе аффектаціи—ея главное свойство. Она оскорбляется притворнымъ нѣжничаньемъ еще больше, нежели безцеремоннымъ предложеніемъ ей руки, какъ бѣдной невѣстѣ. Характеръ задуманъ хорошо. Какъ онъ исполненъ—увидимъ ниже.

Движеніе начинается со второго акта, особенно съ появленія Беневоленскаго, чиновника, рекомендованнаго Добротворскимъ—и не только движеніе, но и самая завязка, которой въ первомъ актѣ нѣтъ. До прихода Беневоленскаго у Марьи Андреевны вышло объясненіе съ Меричемъ. Узнавъ, что необходимость заставляетъ ее пожертвовать собою—выйти замужъ за какого-нибудь жениха, Меричъ говоритъ ей:

„Теперь, когда ужъ дѣло совсѣмъ кончено, когда вы соглашаетесь пожертвовать собою для вашей маменьки, что, разумѣется, очень похвально, я могу вамъ сказать, что я васъ любилъ, Марья Андреевна, любилъ страстно; я васъ до сихъ поръ люблю такъ, какъ никто васъ любить не будетъ!“.

Марья Андреевна, съ своей стороны, открывается въ любви къ нему, и здѣсь слишкомъ быстро начинаютъ они говорить другъ другу *ты*. Это неудивительно со стороны Мерича, которому нужно только хвастаться любовными побѣдами, но какъ-то странно слышать отъ бѣдной невѣсты. Что она могла полюбить такую ничтожность, каковъ Меричъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Что она, и по своему положенію въ свѣтѣ и по даннымъ природы, болѣе другихъ дѣвушекъ была свободна отъ ложнаго стыда—это также ясно. Но, несмотря на различіе общественныхъ положеній и данныхъ природы, всѣ дѣвушки сходны въ одномъ—въ чувствѣ деликатности, въ извѣстной стыдливости, запрещающей имъ коротко сближаться съ перваго раза. Притомъ же до этой быстрой замѣны холоднаго *вы* сердечнымъ *ты* не видно обстоятельствъ, ее объясняющихъ. Въ 5 явленіи перваго акта Марья Андреевна, увидѣвъ Мерича въ окно, говоритъ:

„Идетъ такой печальный, задумавшись. Желала бы я знать, о чемъ онъ думаетъ: ужъ, вѣрно, не обо мнѣ. Ахъ, какая я глупая! Ну съ чего я такъ покраснѣла вся, и голосъ дрожитъ? Надобно немного успокоиться—

онъ, пожалуй, замѣтитъ. А что жъ такое, мнѣ бы даже хотѣлось, чтобъ онъ замѣтилъ".

Меричъ въ то время явился на пару словъ, не больше. Слѣдовало бы прежде раскрыть отношенія молодыхъ людей, для чего потребовалось бы, можетъ-быть, одна или двѣ сцены лишнія. Безъ этихъ же сценъ читатель имѣетъ право видѣть въ обращеніи невѣсты не силу свѣжей любви, а странную поспѣшность любовныхъ влеченій. Да и сама героиня скрѣпляетъ это право собственнымъ двукратнымъ признаніемъ. „*Я къ тебѣ бросаюсь на шею*,—говоритъ она Меричу при размолвкѣ (въ 4-мъ актѣ),—а ты оглядываешься, не увидалъ бы кто". И далѣе, въ 5-мъ актѣ: „*Дѣвушка сама бросается къ вамъ*, а вы потомъ хвастаетесь побѣдой".

Является *Беневоленскій*. Анна Петровна принимаетъ его очень ласково: у него есть состояніе, и, какъ дѣловой человѣкъ, онъ можетъ выиграть ея процессъ. Въ подругѣ жизни онъ ищетъ дѣвушку недурную, образованную и, главное, хозяйку. Мать отъ него въ восторгѣ; дочери онъ противенъ.

Въ 3-мъ актѣ, когда мать отлучилась по дѣламъ, приходитъ Меричъ. Эта сцена очень хороша. Передъ нами трогательное положеніе дѣвушки между прелестью сердечнаго чувства и тяжестью житейской необходимости, отъ которой она не знаетъ, какъ отдѣлаться. Сердечное влеченіе—это сторона романтическая, а рѣшеніе вопроса: какъ быть съ Беневоленскимъ?—сторона дѣловая. Какъ дѣвушка съ истиннымъ чувствомъ, она чужда сентиментализма, ищущаго единственной отрады въ слезахъ и гореваньѣ; какъ дѣвушка съ умомъ неиспорченнымъ, слѣдовательно, болѣе или менѣе положительнымъ, она не желаетъ заслонять такъ-называемую прозу жизни пустыми мечтами и несбыточными надеждами, потому что и то и другое происходитъ отъ безсилія души, боящейся глядѣть на идущую опасность. Передъ нами же, съ другой стороны, человѣкъ, неспособный на увлеченія и жертвы, дрянной и мелкій эгоистъ, который поспѣшно и, вмѣстѣ, съ оглядкой пользуется тѣмъ, что можно извлечь сладенькаго изъ своего положенія, который и боится помѣхи наслажденію и сердится на всякую помѣху.

Мать возвращается домой съ печальнымъ извѣстіемъ: дѣло проиграно, домъ отнимутъ, да еще и взысканіе поло-

жено. Она проситъ дочь, потомъ требуетъ отъ нея итти за Беневоленскаго. Дочь проситъ трехдневной отсрочки. При свиданіи съ Меричемъ, за которымъ послана была горничная, она открываетъ ему страшное и, какъ ей думается, общее для нихъ горе. Меричъ (читатель это предвидѣлъ) не можетъ помочь ей, потому что помочь значитъ жениться, а онъ, по словамъ его, запутанъ въ какихъ-то обстоятельствахъ, на которыя и сваливаетъ всю вину. Это не мѣшаетъ ему снова увѣрять въ своей любви. „Ты любилъ?—возражаетъ бѣдная невѣста.—Никогда ты не любилъ меня. Я одна любила. Теперь поведеніе твое стало ясно. Я узнала тебя. Господи Боже мой! И ты смѣешь называть это любовью! Хороша любовь! Не только безъ самоотверженія, даже безъ увлеченія". Меричъ уходитъ, разумѣется, довольный, что отдѣлался такъ дешево. Слѣдующая за тѣмъ сцена, когда невѣста, желая показаться веселою и спокойною, играетъ въ дураки съ Милашинымъ, могла бы, при другихъ условіяхъ, выйти очень трогательною, но вышла сценой манкированнаго патетизма, страданія, какъ увидимъ ниже. Мать отправляетъ къ Беневоленскому письмо съ изъявленіемъ согласія на его предложеніе. Въ это время входитъ пьяный Хорьковъ, начавшій пить съ самаго отказа Марьи Андреевны. Бѣдная невѣста узнаетъ, какъ онъ любилъ ее. „Я сама васъ любила, Михайла Иванычъ,—говоритъ она,—я очень жалѣю, что поздно васъ узнала. Я выхожу замужъ за Беневоленскаго".

Патетическою сценой оканчивается 4-й актъ—и пьеса. Дѣйствительно, развязка уже есть, комедія кончена. Но читатель видитъ 5-й актъ и спрашиваетъ: зачѣмъ онъ? Для дѣйствія онъ не нуженъ: дѣйствіе уже кончено. Стало-быть, онъ нуженъ для опредѣленія характеровъ, которые не всѣ опредѣлились въ первыхъ четырехъ актахъ? Въ самомъ дѣлѣ, еще не раскрытъ ни характеръ Беневоленскаго, ни характеръ бѣдной невѣсты, въ особенности. Здѣсь явная ошибка со стороны автора, нарушившаго одинъ изъ главныхъ законовъ драмы. Характеры должны окончательно ознакомить съ собою читателя въ объемѣ выбраннаго дѣйствія. Если же объемъ дѣйствія истощенъ, а характеры еще не исчерпаны—значитъ, ходъ дѣйствія опередилъ развитіе характеровъ, тогда какъ эти два предмета должны начаться и кончиться вмѣстѣ. Отдѣльно взятый актъ можетъ быть

очень хорошимъ, какъ онъ и вышелъ у г. Островскаго, или нехорошимъ, но въ томъ и другомъ случаѣ онъ лишній. Другое дѣло, если бъ авторъ назвалъ его эпилогомъ. А то странно видѣть пьесу, конченную по дѣйствію, но не конченную по развитію характеровъ, которое не уложилось на пространствѣ выбраннаго дѣйствія.

Этотъ приставной актъ, нужный для дорисовки характеровъ, но ненужный для дѣйствія, состоитъ изъ отдѣльныхъ сценъ, напоминающихъ по формѣ „Театральный Разъѣздъ" Гоголя или послѣдній актъ „Горе отъ ума". Различныя лица, входя въ сношеніе съ Марьей Андреевной, помогаютъ читателю покороче разсмотрѣть ее. Это—смотръ невѣсты Беневоленскаго, точно такъ же какъ первый актъ былъ выставкою женихъвъ. Какъ тамъ не было завязки, такъ и здѣсь нѣтъ развязки. Первый актъ слѣдовало бы назвать прологомъ, второй—эпилогомъ. Лучшая изъ сценъ послѣдняго—явленіе Дуни, *нечужой* Беневоленскому. По нашему мнѣнію, Дуня—лучшее лицо комедіи, вѣрно схваченное и трогательно представленное.

Что же читатель узнаетъ изъ разговоровъ невѣсты съ разными лицами? Изъ разговора съ Беневоленскимъ онъ узнаетъ, что Беневоленскій, по любви къ невѣстѣ, оставилъ нѣкоторыя привычки: бросилъ водку и не нюхаетъ табакъ; изъ разговора съ Добротворскимъ узнаетъ, что Марья Андреевна затѣмъ идетъ за Беневоленскаго, чтобъ исправить его, сдѣлать изъ него порядочнаго человѣка; изъ сцены съ Меричемъ, напоминающей свиданіе Онѣгина съ Татьяной, уже свѣтскою дамой, онъ узнаетъ, что бѣдная невѣста *теперь иначе смотритъ на жизнь, что страстность души, которая чуть не погубила ея, теперь не нужна*: она преобразуетъ мужа и обратится на любовь къ дѣтямъ. Наконецъ, изъ разговора невѣсты съ матерью читатель выноситъ слѣдующія слова:

„Право, мнѣ кажется, что я буду счастлива; а если нѣтъ... Если нѣтъ, такъ ужъ это я буду виновата, а не вы. Никто не посмѣетъ упрекнуть васъ. Чѣмъ же вы виноваты? Вы все для меня сдѣлали, что могли. Теперь, я сама попробую что-нибудь для себя сдѣлать. *Я не знаю, какъ онъ меня, а я его ужъ теперь люблю*".

Изложивъ содержаніе пьесы, мы не поставимъ вопросительнаго знака послѣ слова: *комедія*. Названіе значитъ для насъ очень немного. Дантъ назвалъ же свою поэму Боже-

ственной *Комедіей*; пьеса Коцебу „Ненависть къ людямъ и раскаяніе“ называется же у насъ *комедіей*. Пусть другіе титулуютъ *Бѣдную невѣсту* мѣщанскою драмой или слезною комедіей (comedie larmoyante)—мы и на это согласны. Дѣло не въ имени, а въ томъ, что̀ изображаетъ пьеса и какое впечатлѣніе производитъ.

Идея новой комедіи г. Островскаго—представить положеніе бѣдной дѣвушки, нерѣдко принужденной (потому именно, что она бѣдна) связывать судьбу свою съ судьбою такого человѣка, котораго не любитъ и который, конечно, не можетъ осчастливить ее. Эта, впрочемъ, совсѣмъ не новая идея указывается и словами самой невѣсты: „Я только не надолго позабыла, *что я бѣдная невѣста*“. Впечатлѣніе, производимое пьесой, должно состоять въ сильномъ сочувствіи къ страданію дѣвушки, принужденной покориться обстоятельствамъ, принести имъ въ жертву и сладостныя влеченія дѣвическаго сердца и счастіе замужней женщины. Какое бы лицо ни выводилось передъ нами—одаренное ли значительными силами духа или просто доброе и нѣжное—интересъ можетъ возбудиться въ одинаковой мѣрѣ, сочувствіе можетъ быть одинаково сильнымъ. Великій художникъ равно движетъ нашимъ сердцемъ и повѣстью о Люціи, не вынесшей несчастія, и повѣстью о Кларѣ, сознавшей безвыходность своего страданія. Задача искусства — представить читателю въ яркомъ свѣтѣ какъ существо слабое, такъ и существо героическое, чтобы читатель ясно видѣлъ ихъ образы и составилъ себѣ о нихъ полное, опредѣленное понятіе. Но если одно и то же лицо представляется ему то обыкновенною дѣвушкой, то героиней, тогда образъ двоится, становится смутнымъ. Такая-то смутность лежитъ на лицѣ бѣдной невѣсты. Даже неоднократное чтеніе пьесы не помогаетъ внимательному читателю, который, наконецъ, спрашиваетъ себя: что же она такое, эта бѣдная невѣста? Въ первыхъ четырехъ актахъ вы видите дѣвушку съ хорошими, но обыкновенными данными; образованіе ея сказывается игрою на фортепіано да любовью къ чтенію — и вдругъ эта самая дѣвушка, въ пятомъ актѣ, отдѣленномъ отъ первыхъ четырехъ какою-нибудь недѣлею, вырастаетъ въ героиню.

Она не только сознаетъ свое положеніе, но и примиряется съ нимъ. Она сознаетъ его, подвергаетъ его анализу,

потому что изъ анализа только могли выйти такія сентенціи: „я теперь иначе смотрю на жизнь“, „страстность души, которая чуть не погубила меня, теперь мнѣ не нужна“. Она примиряется со своимъ несчастіемъ, потому что только примиреніе могло произвести такую сентенцію, если не фразу: „я не знаю, какъ онъ меня, а я его ужъ теперь люблю“. Она... любитъ Беневоленскаго, котораго называла уродомъ и который въ самомъ дѣлѣ противенъ! Онѣгинъ удивлялся перемѣнѣ, происшедшей въ Татьянѣ; но эта перемѣна, во-первыхъ, очень понятна, какъ слѣдствіе многихъ лѣтъ, долгаго пребыванія въ извѣстномъ кругу; во-вторыхъ, не такъ крута и рѣшительна: Татьяна все еще любитъ Онѣгина и съ радостью промѣняла бы блистательный свѣтъ на простую жизнь деревенской дѣвочки. При той неопредѣленности, которая сообщена главному лицу пьесы, трудно найти истинный ключъ къ выписаннымъ нами словамъ. Если они просто утѣшительныя рѣчи — тогда и говорить нечего. Каждая дѣвушка, если она только не легкомысленна, выходя замужъ за немилаго, обращаетъ свои мысли къ обязанностямъ матери, устремляетъ на дѣтей любовь свою. Дѣти—вотъ опора несчастнаго замужества, и въ этомъ отношеніи жена Балахнова (въ „Проселочныхъ дорогахъ“) гораздо ближе къ дѣйствительности, нежели Марья Андреевна, полюбившая того, кого за недѣлю передъ тѣмъ называла уродомъ. Если сказанныя слова выражаютъ примиреніе теоретическое, примиреніе въ умѣ только, тогда бѣдная невѣста—философъ, принадлежащій къ школѣ оптимистовъ, на что, конечно, она претендовать не имѣетъ права. Если же, наконецъ, эти слова—примиреніе дѣйствительное, а не отвлеченное, совершившееся уже въ жизни, а не въ идеѣ, тогда бѣдная невѣста—героиня, хотя мы не знаемъ, на чемъ выросъ ея героизмъ. Предположеніе героизма разрушается, сверхъ того, въ томъ же пятомъ актѣ самою бѣдною невѣстой; она плачетъ, обращается съ вопросомъ къ Добротворскому, можно ли исправить Беневоленскаго, проситъ Мерича не противорѣчить ей въ той мысли, что она будетъ счастлива... Всѣ эти противорѣчія однѣхъ сценъ другимъ въ пятомъ актѣ и пятаго акта—четыремъ предыдущимъ крайне затемняютъ образъ невѣсты, отчего онъ и вышелъ неопредѣленнымъ, неудачнымъ.

Причину неудачи, конечно, должно искать въ недостаткѣ

творческой силы. Выше мы сказали, что *Бѣдная невѣста* задумана очень хорошо; теперь должны прибавить, что исполненіе не отвѣчаетъ тому, что́ задумано. Есть основаніе допустить и другую причину, именно: теорію, предпосланную художнической работѣ. Авторъ, должно полагать, далъ себѣ задачу—вывести на сцену *непосредственную* дѣву, можетъ-быть, такую, какую ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать. Эта непосредственная, то-есть незнакомая съ цивилизаціей дѣва одною силою глубокой натуры достигаетъ того, что́ остается недостижимымъ для человѣка образованнаго. Она бодро выходитъ изъ несчастія, тогда какъ Хорьковъ, мужчина, да еще ученый, не выноситъ его. Въ такомъ случаѣ Хорьковъ — противоположность бѣдной невѣсты: можно думать, что съ этой нравственною цѣлью онъ и выведенъ. Мнѣніе наше о присутствіи теоретическаго начала въ комедіи подкрѣпляется и приговоромъ критики „Москвитянина", которая въ томъ же 4-мъ нумерѣ такъ отнеслась къ *Бѣдной невѣстѣ*: „Въ г-нѣ Писемскомъ дорожимъ мы его непосредственнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, но не отъ него ждемъ мы *новаго сильнаго слова*. Отъ кого именно ждемъ мы этого новаго слова, мы имѣемъ право сказать ужъ прямо въ настоящую минуту: *Бѣдная невѣста предстоитъ суду публики*. Кажется, ясно?.. Гораздо бы лучше было, если бъ авторъ, не увлекшись мыслью о героизмѣ, вывелъ просто дѣвушку, которая своимъ безвыходнымъ положеніемъ возбуждаетъ искреннее сочувствіе. Сочувствіе читателя или зрителя возбуждается тѣмъ, что́ дѣйствительно трогательно. Видитъ онъ, что страданіе восходитъ до патетизма—и его состраданіе растетъ въ той же мѣрѣ. Въ *Бѣдной невѣстѣ* нѣтъ патетизма, слѣдовательно, нѣтъ и состраданія въ сердцѣ читателя; посмотрите, невѣста влюблена въ Мерича, дрянного человѣчка; потомъ она разочаровывается, видя, какъ ничтоженъ тотъ, кому отдана первая любовь ея. „И я повѣрила этому человѣку!—восклицаетъ она.—Какъ мнѣ стыдно за себя!" Дальше она отдаетъ руку Беневоленскому. Вотъ ея положеніе. Что въ этомъ положеніи должно патетически трогать зрителя? Другими словами: какому несчатію можетъ онъ сострадать сильно—тому ли, что невѣста разсталась съ Меричемъ, или тому, что она принуждена выйти за такого человѣка, каковъ Беневоленскій. Жалѣть о разлукѣ ея съ Меричемъ читатель не въ силахъ, потому что

знаетъ Мерича за ничтожность. Напротивъ, умный и добрый читатель обязанъ радоваться разрыву. Развѣ онъ не понимаетъ, какую участь готовилъ дѣвушкѣ Меричъ? Ему было ясно, что *страстность души*, связавъ ее съ Меричемъ, *погубила бы ее*. А не сама ли она признается, что ей стыдно за себя? Какъ же намъ жалѣть о томъ, что покрыло бы ее стыдомъ и поразило несчастіемъ? Вы скажете, что бѣдная невѣста все-таки страдаетъ, разочарованная въ предметѣ любви, обманутая въ своихъ надеждахъ? Но вѣдь это страданія и слезы ребенка, у котораго отняли ножикъ или горячій уголь. Другое дѣло, если бъ Меричъ любилъ искренно, но обстоятельства разлучили его съ любимою дѣвушкой: тогда зрителю было бы и понятно и чувствительно ихъ горе. Другое также дѣло, если бъ Меричъ и не могъ отвѣчать на любовь невѣсты, но принадлежалъ бы къ разряду людей, достойныхъ любви: и тогда каждый оцѣнилъ бы тягость положенія. А въ настоящемъ случаѣ о чемъ жалѣть и плакать и рваться? Слава Богу, что Меричъ ушелъ. Мы только немножко сердимся на Хорькова, почему онъ не выгналъ его раньше изъ дома Анны Петровны, хотя имѣлъ на то средство: онъ зналъ, что Меричъ можетъ имѣть дурное вліяніе на Марью Андреевну, и, по слабости своего характера, удовольствовался только замѣчаніемъ: „Эхъ, не хочется мнѣ съ нимъ связываться-то только, а то бы я его сразу выгналъ отсюда“. Остается другое несчастіе: принужденный выходъ за Беневоленскаго, какъ жертва обстоятельствамъ. Дѣйствительно, Беневоленскій не такой субъектъ, съ которымъ можно вести пріятную жизнь; но это несчастіе не только значительно ослабляется, даже уничтожается словами самой невѣсты, которая говоритъ Меричу: „Владиміръ, пока я не видала тебя, я бы пошла за кого угодно маменькѣ“. Ясно, что не Беневоленскій ей противенъ, а Меричъ очень пріятенъ. Главная причина страданія—тотъ же ничтожный Меричъ. Вотъ почему сказали мы и теперь повторяемъ, что сцена съ Милашинымъ, когда невѣста играетъ съ нимъ въ карты, могла бы, при другой обстановкѣ, выйти трагически-трогательною, а теперь вышла сценой манкированнаго патетизма. Патетизмъ былъ только въ намѣреніи автора; его нѣтъ на самомъ дѣлѣ. Читатель или зритель, для котораго, конечно, пишется пьеса, на котораго она должна производить впечатлѣніе и впечатлѣніями котораго, болѣе или

менѣе сильными, измѣряется бо́льшая или меньшая сила творческаго представленія, спрашиваетъ себя: гдѣ же тутъ страданіе? Страданіе, патетизмъ, хотя менѣе возвышенные, но болѣе правдивые, состояли въ горькомъ положеніи бѣдной дѣвушки, которая принуждена выйти за человѣка, котораго не любитъ. Но, видно, такого положенія было мало для автора, у котораго притомъ нѣтъ, какъ намъ кажется, таланта романтическаго: его сфера Большовы, Подхалюзины, Тишки. Мы сказали, что, будь Меричъ человѣкъ достойный любви, положеніе бѣдной невѣсты оказалось бы дѣйствительно трогательнымъ. Будь онъ и недостоинъ любви, но посильнѣе натурой—и тогда трогательность страданія имѣла бы мѣсто. Авторъ вывелъ его совершенно другимъ, а на это имѣлъ, если не ошибаемся, скрытую мысль. Видите ли, въ чемъ дѣло: Томъ-Пусы критики, у которыхъ прежде самасобою слѣзала съ головы шапка при встрѣчѣ съ Печоринымъ, вздумали (позднее раскаяніе) отмстить себѣ за свое тогдашнее неразуміе неразуміемъ новымъ—намѣреннымъ нападеніемъ на Печорина.

Толкуя о непосредственномъ отношеніи художника къ дѣйствительности, они силятся сбить съ пьедестала тотъ кумиръ, передъ которымъ усердно кувыркались, подобно индійскимъ дервишамъ. Надобно было присоединиться къ къ нимъ и искусству—создать лицо, щеголяющее фразами, которыя лежали подлѣ печоринскихъ, и отражающее въ себѣ печоринскій элементъ. И вотъ изъ-подъ мантіи великана вылѣзла букашка Меричъ, который отстоитъ на такой же почтительной дистанціи отъ Тамарина, на какой Тамаринъ стоитъ отъ Печорина. Не знаемъ, покраснѣлъ ли бы прародитель отъ столь отдаленнаго и недостойнаго родича; но знаемъ только, что къ Тамарину (не говоря уже о Печоринѣ) дѣвушка могла бы привязаться сильно и не могла бы отъ него оторваться легко. Чѣмъ привлекающая сила больше, тѣмъ и разлука трогательнѣе и страданіе правдивѣе. Кромѣ мелочности внутренняго значенія (за что мы не упрекаемъ искусство, свободное въ выборѣ сюжетовъ, мы упрекаемъ его только въ подчиненіи теоріямъ, особенно фальшивымъ, которое не даетъ формироваться яснымъ образамъ и губитъ впечатлѣнія), Меричъ страдаетъ еще неизвѣстностью внѣшняго, общественнаго своего положенія. Кто онъ такой въ послѣднемъ отношеніи? Человѣкъ, не окончив-

шій курса? слушатель лекцій, вѣчно-сбирающійся держать экзаменъ? чиновничекъ низшихъ инстанцій или купеческій сынокъ?—Богъ его вѣдаетъ! По свидѣтельству Милашина, онъ говоритъ по-французски и бываетъ въ высшемъ обществѣ. Первому повѣрить можно, второму повѣрить нельзя. Милашинъ солгалъ: кто жъ пуститъ Мерича въ высшее общество, и гдѣ на немъ отраженіе этого общества? Можетъ-быть, онъ и часто смотрѣлъ съ улицы на великосвѣтскіе дома, но въ самихъ домахъ не былъ. Тѣмъ же недугомъ страждетъ и Милашинъ. Мы знаемъ его внутреннія качества, хорошо выставленныя авторомъ; это—человѣкъ несноснаго, пустого самолюбія, любящій ввязываться въ чужія дѣла, завидующій успѣху каждаго и до того не умный, что сноситъ довольно крупные щелчки по носу; но кто онъ такой, какъ лицо общественное—остается тайной. Право, намъ кажется, что оба они, Милашинъ и Меричъ, ушли въ *Бѣдную невѣсту* изъ „Неожиданнаго случая". Это—своего рода Розовый и Дружининъ. Другой важный недостатокъ Милашина—безполезность его для дѣйствія пьесы, которая безъ него вышла бы менѣе растянутою, потому что Милашинъ часто вертится на сценѣ и долго бесѣдуетъ съ дѣйствующими лицами. Все его участіе ограничивается тремя предметами: приносомъ писемъ Мерича, что, впрочемъ, ужъ ненужно (невѣста и безъ нихъ узнала, что́ такое Меричъ), игрою въ дураки съ невѣстой, что могъ бы сдѣлать и другой кто-нибудь, да позднимъ, тоже излишнимъ, предложеніемъ своей руки. Послѣднее дѣло не требовало частыхъ выходовъ его на сцену и расширенія объема пьесы, которую очень не мѣшало бы сократить. Другія лица: Беневоленскій, Добротворскій, Анна Петровна, Хорькова съ сыномъ, Дарья и Дуня—хороши, потому что вѣрны дѣйствительности и ясно представлены. Впрочемъ, отъ Беневоленскаго, какъ отъ одного изъ главныхъ лицъ, желалось бы побольше опредѣлительности. Вѣрность дѣйствительности можетъ быть двоякая: творческая, состоящая въ яркомъ воспроизведеніи отличительныхъ, характеристическихъ особенностей каждаго лица, и дагерротипная, состоящая въ тщательномъ и безразличномъ записываніи всего, что́ видится и слышится. Въ первомъ случаѣ представляются такія дѣйствія и слова лица, которыхъ онъ, быть-можетъ, никогда не сдѣлаетъ и не произнесетъ, но въ которыхъ, какъ нельзя лучше, понимается

его сущность; во второмъ случаѣ представляются такія дѣйствія и слова, которыя лицо не только дѣлаетъ и говоритъ, но и часто обыкновенно говоритъ и дѣлаетъ. Талантъ г. Островскаго второго рода—дагерротипный, котирующій. Отъ этого происходитъ, во-первыхъ, то, что лица его комедіи, какъ мы замѣтили, туго выказываются, а не знакомятся съ зрителемъ съ перваго же раза; надобно къ нимъ присмотрѣться да присмотрѣться, послушать ихъ да послушать, чтобы, наконецъ, узнать, кого видишь передъ собой; это—совершенная противоположность лицамъ Гоголя. Отъ этого, во-вторыхъ, происходитъ то, что лица г. Островскаго въ дѣйствіяхъ своихъ возвращаются къ однимъ и тѣмъ же пунктамъ, а въ разговорахъ—къ повторенію однихъ и тѣхъ же словъ. Здѣсь нечего сказать противъ вѣрности жизни, потому что въ жизни дѣйствительно такъ и бываетъ; но искусство не довольствуется простой копировкой бывающаго. Языкъ, которымъ художникъ заставляетъ говорить дѣйствующія лица, отличается рельефностью: выраженія ихъ легко удерживаются въ памяти и пускаются въ оборотъ; языкъ дѣйствующихъ лицъ въ произведеніи дагерротипномъ есть плодъ прилежной наблюдательности и кропотливаго записыванія: выраженія вѣрны, но не многозначительны, въ томъ смыслѣ, что они трудно и нерѣзко выказываютъ внутреннее значеніе говорящаго: отъ нихъ почти ничего не остается въ памяти. Это языкъ, составленный изъ подслушанныхъ словъ и фразъ. Въ-третьихъ, возвращаясь часто и въ дѣлахъ и въ словахъ къ повтореніямъ, лица *Бѣдной невѣсты* замедляютъ ходъ дѣйствія, расширяютъ безъ нужды пьесу: отсюда непропорціональность внѣшней величины съ величиною содержанія; отсюда же медленность движенія, какая-то холодность развитія. Конечно, мы цѣнимъ талантъ творческій выше дагерротиннаго, но это не мѣшаетъ намъ отдавать полную справедливость, признавать несомнѣнное достоинство послѣдняго. *Бѣдная невѣста*, которая, по нашему мнѣнію, ни съ какой стороны не можетъ подходить къ первой комедіи того же автора, принадлежитъ, однакожъ, къ сочиненіямъ добросовѣстнымъ. Она—серіозный плодъ труда и таланта вмѣстѣ. Не видать въ ней таланта такъ же смѣшно, какъ видѣть въ ней *новое* и *сильное* слово...

Бѣдная невѣста [1]).

*) Начиная оцѣнку явленій литературныхъ 1852 года съ *Бѣдной невѣсты* А. Н. Островскаго, мы поступимъ, впрочемъ, правильно какъ съ исторической, такъ и съ художественной точки зрѣнія. Какъ ни было несправедливо отношеніе критики къ новому произведенію Островскаго, каковы бы ни были недостатки самой комедіи, извѣстные и намъ, конечно, но всего болѣе извѣстные ея автору, все-таки изъ литературы 1852 года уцѣлѣетъ и останется одно только: *Бѣдная невѣста.* Отъ этого положенія не можетъ отречься и та близорукая критика, которая, придираясь къ разнымъ мелкимъ недостаткамъ или даже просто недосмотрамъ въ комедіи, не замѣтила самаго важнаго, самаго существеннаго недостатка въ художественномъ отношеніи— недостатка экономіи въ планѣ и въ подробностяхъ. Задачи, замыслы произведенія такъ широко, такъ, можно сказать, блестяще раскинулись передъ самимъ художникомъ, яви-

---

[1]) Ап. Григорьевъ. „Москвитянинъ", 1853 г., № 1. Также „Сочиненія Ап. Григорьева", т. 1.

*) Эта статья принадлежитъ Аполлону Александр. Григорьеву, извѣстному русскому критику и знатоку театра. Григорьевъ, какъ писатель, представляетъ собою интересное явленіе. Богато одаренный отъ природы, онъ не сдѣлалъ и десятой доли того, что́ могъ бы сдѣлать. Полная неуравновѣшенность натуры, житейская непрактичность, болѣзнь воли, болѣзненная идеализація и фантазія, склонность къ мистицизму и, наконецъ, страшный русскій недугъ—запой, сгубили это крупное дарованіе.

Г.—сынъ народа: его дѣдъ пришелъ въ Москву въ нагольномъ полушубкѣ и къ концу жизни сдѣлался помѣщикомъ. Г. не было и 17 лѣтъ, когда онъ поступилъ въ университетъ. Здѣсь онъ обратилъ на себя вниманіе профессоровъ и сталъ центромъ мыслящаго кружка молодежи. Въ университетѣ онъ много работалъ и читалъ. Пользуясь своимъ знаніемъ нѣмецкаго языка, онъ такъ же, какъ и многіе интеллигентные люди того времени, отдалъ дань увлеченію, восторгу и пропагандѣ идей Гегеля. Какъ натура энциклопедическая, онъ въ то же время не бросалъ и науку, а также увлекался театромъ, поэзіей и музыкой. 20-ти лѣтъ Г. окончилъ

лись ему такъ благородными и такъ говорящими сами за себя, что онъ пренебрегъ ради ихъ симметричностью постройки, что даже, драматургъ по свойству своего таланта, онъ забылъ объ условіяхъ драматизма и нѣкоторымъ сторонамъ своей концепціи далъ эпическое развитіе, нѣкоторыя же черты выразилъ даже лирически. Можетъ-быть, также, увлеченный благородствомъ и новостью своихъ задачъ, авторъ не выносилъ ихъ достаточно въ душѣ, не далъ имъ дозрѣть до надлежащей полноты и ясности представленія, но, во всякомъ случаѣ, *Бѣдная невѣста* свидѣтельствовала о силѣ таланта, находящейся въ извѣстномъ броженіи, въ необузданномъ состояніи, а никакъ не о безсиліи его. Крайне несправедливое отношеніе критики къ новому произведенію Островскаго было живо почувствовано самымъ парадоксальнымъ, но вмѣстѣ самымъ образованнымъ и самымъ умнымъ

университетъ съ золотой медалью и попробовалъ, было, служить, но неудачно. По натурѣ Г. былъ мечтатель-бродяга, не выносившій никакихъ рамокъ, никакой дисциплины, никакого порядка; такимъ онъ былъ и въ своихъ литературныхъ воззрѣніяхъ. Нельзя было указать партіи, къ которой онъ принадлежалъ бы безусловно. Онъ вездѣ былъ чужимъ, со всѣми былъ несогласенъ и потому всю жизнь оставался одинокимъ. Славянофилы считали его своимъ. Это вѣрно, но лишь до извѣстной степени. Выйдя изъ университета, Г. сталъ сотрудничать въ „Москвитянинѣ", подъ псевдонимомъ *Трисмегистова*. Въ 1843 г. Г. переѣхалъ въ Петербургъ и здѣсь сталъ помѣщать свои стихи, переводы, а также редактировалъ журн. „Пантеонъ". Черезъ 4 года онъ возвращается въ Москву и завязываетъ сношенія съ „Отеч. Зап.". (изд. Краевскаго). Съ 1851 г. онъ занимаетъ видное положеніе въ „Москвитянинѣ". Въ 1857 г. Г. уѣзжаетъ за границу съ семействомъ кн. Трубецкихъ, въ качествѣ наставника. За границей Г. живетъ (главнымъ образомъ во Флоренціи) 2 года. Жизнь среди другихъ людей и другой обстановки хорошо дѣйствуетъ на Г. Эта жизнь „не сломила вѣры въ свое народное. Смягчился только фанатизмъ вѣры". Въ 1859 г. Г. становится редакт. *Русск. Сл.*, а въ томъ же 1859 г. выходитъ оттуда вслѣдствіе ссоры. Временно работаетъ въ „Русск. Мірѣ" и „Сынѣ Отеч"., а весною 1860 г. вступаетъ критикомъ въ „Русск. Вѣстн.". Въ 1861 г. мы его уже встрѣчаемъ во „Времени", а по выходѣ изъ этого изданія онъ снова вступаетъ на службу и снова неудачно. Въ 1863 г. началъ издаваться журналъ „Якорь", куда Г. пригласили редакторомъ. Здѣсь онъ работаетъ всего 10 мѣсяцевъ. Въ 1864 г. Г. въ третій разъ попадаетъ въ долговое отдѣленіе и по выходѣ оттуда черезъ 4 дня умираетъ.

Г. завоевалъ себѣ положеніе въ литературѣ, какъ художественный критикъ, хотя онъ былъ, кромѣ того, талантливый поэтъ, переводчикъ и рецензентъ. Г. не былъ согласенъ и со школою Бѣлинскаго, признававшаго *полезное искусство*, и со школою, ставившею своимъ девизомъ *искусство для искусства* (послѣдній взглядъ онъ называлъ гастрономическимъ); свою кри-

изъ нашихъ критиковъ, *Иногороднымъ Подписчикомъ* [1]). „Приступая къ разбору *Бѣдной невѣсты*,—говоритъ онъ,—я долженъ сказать, что смотрю на это произведеніе не тѣми глазами, которыми привыкъ смотрѣть на всѣ драматическія и беллетрическія произведенія, являвшіяся въ нашихъ журналахъ, съ самаго начала моихъ писемъ о журналистикѣ. Если бъ наши періодическія изданія представляли публикѣ хоть разъ въ треть года по одному подобному произведенію, тонъ моихъ писемъ былъ бы совершенно иной, и взглядъ мой на журналистику измѣнился бы радикально. И вотъ почему я, хваля и осуждая господина Островскаго, гляжу на него, какъ на товарища лучшихъ русскихъ и иностранныхъ комиковъ, а вовсе не какъ на сверстника современныхъ намъ петербургскихъ и московскихъ художниковъ". Вслѣдствіе этого, *Иногородный Подписчикъ* съ весьма справедливымъ смѣхомъ и негодованіемъ замѣчаетъ, что „въ Петербургѣ о немъ (объ Островскомъ) отозвались тѣмъ же тономъ, какъ отозвались недавно о г-жѣ Туръ, авторѣ романа *Племянница*, и что, благодаря критикѣ, „нашему блистательному драматургу долго придется прогуливаться изъ Харибды въ Сциллу, то витая въ сообществѣ міровыхъ

тику Г. называлъ органической критикой, т.-е. такою, которая разсматриваетъ искусство, какъ органическое произведеніе народной жизни, даннаго художника, какъ болѣе или менѣе сильнаго и полнаго выразителя этой жизни, и данное художественное произведеніе, какъ органическое произведеніе внутренняго міра самого художника, живущаго въ связи съ народною жизнью.

Въ приводимой здѣсь статьѣ А. Григорьевъ полемизируетъ съ тѣми критиками, которые нашли, на ряду съ крупными достоинствами *Бѣдной невѣсты*, также и недостатки. Для Григорьева Островскій безгрѣшенъ и какъ художникъ и какъ мыслитель; его произведенія замѣчательны, его идеи новы, задачи широки, міросозерцаніе благородно. Въ Островскомъ Г. видѣлъ бытописателя родной земли и культуры, понимая подъ этимъ ту культуру нашей старины, которая строго блюла укладъ древней простонародной семьи, покоящейся на патріархальномъ строѣ и мирныхъ демократическихъ принципахъ. Тамъ, гдѣ Добролюбовъ видѣлъ художественное воспроизведеніе грубыхъ закоснѣлыхъ нравовъ, гнетъ и ветхость отживающей жизни („Темное царство", „Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ"), тамъ Григорьевъ восторгался своеобразностью русской старины и величавостью ея идеаловъ. Вотъ почему для Добролюбова Катерина въ „Грозѣ"—воплощенный протестъ противъ гнета и безправія, царящаго въ нашей семьѣ и обществѣ дореформеннаго быта, а для Григорьева—нарушительница чистоты брачнаго сожительства. *Прим. П. Денисюка.*

[1]) А. Дружининъ.

поэтовъ, то опускаясь въ лимбы, гдѣ копошатся, шумятъ, теряются, прославляются, царапаются, сплетничаютъ и забываются публикою наши современные художники мужескаго и женскаго пола". Мы привели снова это мѣсто потому, что считаемъ выходку критика необыкновенно правильною и остроумною, и что, по нашему мнѣнію, подобная насмѣшка вполнѣ заслужена критикою, которая тономъ покровительства объявляла за новость, что у Островскаго есть талантъ; которая спрашивала, что́ такое Меричъ: „Человѣкъ, не кончившій курса? слушатель лекцій, вѣчно собирающійся держать экзаменъ? чиновничекъ низшихъ инстанцій или купеческій сынокъ?" [1]—которая находила пятый актъ *Бѣдрой невѣсты* совершенно излишнимъ, намѣренно ли не понимая всей его необходимости въ концепціи автора, или возвращая на сцену давно забытыя правила трехъ единствъ; которая, наконецъ, въ этомъ самомъ актѣ не замѣтила—кого бы вы думали?—Дуни, Дуни, которая, кромѣ самостоятельнаго значенія, необходима и для пополненія личности Беневоленскаго! Такіе промахи критики смѣшны людямъ мыслящимъ и въ наше время, но каковы же покажутся они впослѣдствіи? Что́ скажутъ о критикѣ, которая съ какою-то злобою приняла явленіе, во всякомъ случаѣ, наиболѣе замѣчательное въ ея время, которой самая искренность стоила большихъ усилій и которая, при всемъ желаніи быть правдивою, не хотѣла или не умѣла освободиться отъ дурныхъ привычекъ того журнала, въ которомъ дѣйствовала? Что́ скажутъ о критикѣ, которая, по поводу ничтожнаго произведенія г. Шевича, злоупотребляла именемъ художника, самаго даровитаго въ ея время, и съ высоты своего непризнаваемаго никѣмъ величія *отыскивала* дагерротипную живопись тамъ, гдѣ все почти страждетъ излишествомъ жизни, неумѣренностью свободы художника?

Повторяемъ опять: существенный главный недостатокъ *Бѣдной невѣсты* — отсутствіе экономіи въ планѣ, въ постройкѣ, недостатокъ, котораго всѣ другіе являются уже неизбѣжными послѣдствіями. Сожми Островскій свою драму въ болѣе тѣсныя рамы, умѣрь нѣсколько свои въ высокой степени благородныя и широкія задачи, не выброси онъ за-разъ всего, что́ передумано, перечувствовано имъ въ отно-

[1] „Отечественныя Зап.", 1852 г., № 4 (см. стран. 115).

шеніи къ избранному драматическому положенію,—созданіе получило бы стройность и цѣлость, хотя, можетъ-быть, утратило бы нѣсколько своей энергіи, той энергіи, которая всегда проглядываетъ въ произведеніяхъ субъективныхъ, которая составляетъ и порокъ ихъ и высокое достоинство,—энергіи, которая, какъ субъективная, изолируетъ произведеніе отъ общаго и обыкновеннаго сочувствія, но вмѣстѣ съ тѣмъ кладетъ на него неотразимо влекущую печать. Въ такой энергіи есть почти всегда нѣчто недосказанное, нѣчто заставляющее подозрѣвать, что она еще не вся вылилась,—и продукты ея дѣйствительно являются чѣмъ-то недосказаннымъ, хотя въ то же время эта недосказанность—да простятъ мнѣ нѣсколько фигурное выраженіе!—прозрачна: сквозь нее видно, что́ хотѣлъ сказать поэтъ, видны основы его, видна болѣе всего поэзія его міросозерцанія. Пусть онъ не довелъ до послѣдней степени ясности своихъ задачъ, пусть не достигъ онъ положительной опредѣленности и типичности въ отдѣлкѣ выведенныхъ имъ образовъ; душа читателя, увлеченная силою творчества и, такъ-сказать, покоренная міросозерцаніемъ, дополняетъ въ себѣ сама, и притомъ дополняетъ правильно, недосказанныя черты. Ибо ничто въ такой степени не необходимо художнику, какъ міросозерцаніе. Талантъ находится въ прямомъ отношеніи съ жизнію, и бо́льшая или меньшая степень воспроизведенія жизни есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, высшая или низшая степень правильнаго отношенія къ ея явленіямъ, то-есть къ дѣйствительности. Безъ міросозерцанія, прочнаго, совершенно сложившагося (хотя складывающагося различно, смотря по различнымъ историческимъ даннымъ мѣстности, народности, времени, а съ другой стороны, смотря по условіямъ, лежащимъ въ натурѣ художника), не бывало, нѣтъ и не будетъ истинныхъ художниковъ. Кого ни возьмете вы изъ тѣхъ избранныхъ, которые отмѣтили жизнь свою дѣломъ, оставили по себѣ какой-либо прочный слѣдъ, всѣ они разумѣли смыслъ жизни и, стало-быть, серіозно смотрѣли на жизнь. Всѣ они, отрицательно ли, положительно ли, дѣйствовали въ литературѣ *во имя* ясно сознаваемаго и живо чувствуемаго идеала, и безъ этой идеальной основы — художества быть не можетъ. Чѣмъ свободнѣе, шире, человѣчнѣе и вмѣстѣ идеальнѣе міросозерцаніе художника, то-есть разумѣніе того, *во имя* чего воспроизводитъ онъ образы полные

правды и караетъ всякую неправду жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ разумѣніе отношенія идеала къ дѣйствительности, тѣмъ болѣе яркій слѣдъ оставляетъ по себѣ его дѣятельность. Изъ разумѣнія отношенія между тѣмъ, во имя чего художникъ творитъ, и между тѣмъ, въ чемъ художникъ видитъ или, лучше сказать, чувствуетъ глубоко положеніе или отрицаніе идеала,—изъ этого разумѣнія, обусловленнаго историческими данными извѣстной народности и извѣстной эпохи, выходитъ различное міросозерцаніе художника. Да не подумаютъ, впрочемъ, чтобы, увлекаясь нѣкоторымъ историческимъ фатализмомъ, мы въ сложеніи міросозерцанія художника давали мѣсто только вліянію историческихъ данныхъ эпохи: на одни и тѣ же явленія различныя художническія натуры смотрятъ подъ различнымъ угломъ зрѣнія. Свѣтъ одинъ, но онъ преломляется въ призмѣ на нѣсколько различныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ: нужно только, необходимо, чтобы душа художника воспринимала свѣтъ и отражала тотъ или другой его оттѣнокъ.

У Островскаго, однако, въ настоящую эпоху литературную есть свое прочное, новое и вмѣстѣ идеальное міросозерцаніе, съ особеннымъ оттѣнкомъ, обусловленнымъ какъ данными эпохи, такъ, можетъ-быть, и данными натуры самого поэта. Этотъ оттѣнокъ мы назовемъ, нисколько не колеблясь, кореннымъ русскимъ міросозерцаніемъ, здоровымъ и спокойнымъ, юмористическимъ безъ болѣзненности, прямымъ безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальнымъ, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма, безъ фальшивой грандіозности или столько же фальшивой сентиментальности. Другой вопросъ, всегда ли одинаково онъ служитъ ему; но всѣ задачи міросозерцанія выступили уже ярко въ доселѣ извѣстныхъ публикѣ произведеніяхъ Островскаго и выступятъ скоро еще ярче въ новомъ его произведеніи, о которомъ, какъ не напечатанномъ еще, мы не имѣемъ права говорить, хотя оно послужило бы къ самому прямому разъясненію вопроса. Покамѣстъ, слѣдовательно, мы должны ограничиться міросозерцаніемъ, явнымъ для насъ въ *Свои люди—сочтемся*, и въ особенности, чтобы не отдаляться отъ вопроса, міросозерцаніемъ *Бѣдной невѣсты*. Міросозерцаніе всякаго поэта особенно наглядно выступаетъ въ его отношеніи къ событію и положенію, взятымъ имъ для художественной обработки, и въ его отношеніи къ лицамъ, участвую-

щимъ въ событіи, поставленнымъ въ извѣстное драматическое положеніе.

Всѣмъ нашимъ читателямъ извѣстна, безъ сомнѣнія, *Бѣдная невѣста*, и потому не для чего здѣсь излагать въ подробности ея содержаніе или канву событій, нечего также и доказывать, что главное, центральное, такъ-сказать, драматическое положеніе, изъ котораго, какъ изъ зерна, выходятъ всѣ другія, — положеніе самой бѣдной невѣсты, Марьи Андреевны. Особенность міросозерцанія Островскаго въ отношеніи къ событію и къ положенію всего лучше и очевиднѣе можетъ быть доказана путемъ отрицательнымъ. Поэтому мы спросимъ, что́ увидѣли бы въ событіи и въ положеніи прежнія, весьма недавнія, впрочемъ, школы, свирѣпствовавшія въ русской литературѣ, т.-е. школа фальшивой образованности и школа натуральная. Школа фальшивой образованности принялась бы за это положеніе съ своей обычной точки зрѣнія. Дѣло извѣстное.

Но вотъ, среди толпы густой
Мелькаетъ быстро передъ вами
Ребенокъ робкій и нѣмой
Съ большими грустными глазами.
Ребенокъ... Ей пятнадцать лѣтъ,
Но за собой она невольно
Влечетъ васъ... за нее вамъ больно
И страшно... Блѣдный, томный цвѣтъ
Лица—печальный слѣдъ сомнѣній,
Тревожныхъ, раннихъ размышленій,
Тоски, неопытныхъ страстей,
И взглядъ внимательный—все въ ней
Вамъ говоритъ о *самовластной*
Душѣ... Ребенокъ бѣдный мой!
Ты будешь женщиной несчастной...
Но я не плачу надъ тобой...

Съ душевною болью выписываетъ авторъ статьи это нѣкогда сильно на него дѣйствовавшее лирическое мѣсто,— но тѣмъ не менѣе *долженъ* представить его въ образецъ того фальшиваго міросозерцанія, съ которымъ самые талантливые люди литературной школы отнеслись бы къ положенію Марьи Андреевны. Характеръ они такъ же мало бы создали своимъ міросозерцаніемъ, какъ мало обозначенъ онъ въ пьесѣ Островскаго, даже несравненно меньше, но взглядъ былъ бы таковъ. Вслѣдствіе этого, въ обстановкѣ явился бы не Меричъ, а господинъ, который былъ бы, пожалуй,

и такъ же пустъ, но котораго пустоту оправдывалъ бы явно авторъ общими *язвами* современности; и Милашина не было бы, потому что въ Милашинѣ многимъ колетъ глаза правда міросозерцанія автора; и Хорьковъ вышелъ бы, пожалуй, и пьющимъ же съ горя человѣкомъ, но съ самыми грубыми и необразованными наклонностями, совершенно неспособнымъ понять деликатную и чистоплотную натуру Марьи Андреевны (conditio sine qua non—выставить чистоплотность, какъ рѣдкое качество); и мать Марьи Андреевны вышла бы не та, и отношеніе къ ней Марьи Андреевны было бы не такое. Въ доказательство, что мы говоримъ не наугадъ, а на основаніи данныхъ прошедшаго, могли бы мы привести бездну повѣстей старыхъ годовъ; но всего лучше подтверждаетъ нашу мысль то, что критикѣ этой школы именно хотѣлось, чтобы Марья Андреевна полюбила не Мерича, а *хорошаго* человѣка; потому, изволите видѣть, что въ такомъ случаѣ, она внушила бы больше симпатіи. Бѣдная критика и не догадывалась въ своей наивности, что если бы комедія Островскаго писалась по ея теоріи и вообще по заданной напередъ темѣ, то тотъ же самый Меричъ могъ бы быть выданъ авторомъ за весьма *хорошаго* человѣка, за одного изъ тѣхъ безчисленныхъ героевъ, по которыхъ страдаютъ, сохнутъ, умираютъ злою чахоткой героини безчисленныхъ повѣстей и романовъ. Или вышла бы другая исторія: тотъ же Меричъ изображенъ былъ бы такъ карикатурно, какъ во многихъ же повѣстяхъ изображаются моншеры, не обладающіе великимъ искусствомъ одѣваться comme il faut и расчесывать волоса съ проборомъ назади, и метался бы въ глаза всѣмъ, даже упомянутой нами критикѣ. Что касается до добрѣйшаго Платона Марковича Добротворскаго, то онъ, какъ одно изъ орудій *гибели* Марьи Андреевны, явился бы такимъ карикатурнымъ звѣремъ, что Боже упаси. Вообще положеніе Марьи Андреевны было бы взято такъ, что она непремѣнно погибла бы и задохлась окончательно въ самой пьесѣ среди грубой и грязной дѣйствительности, какъ погибаютъ разныя героини „превращеній“ и другихъ повѣстей въ этомъ родѣ: фактъ опять удобо-доказываемый тѣмъ, что критикѣ этой школы особенно не понравился психологическій выходъ натуры Марьи Андреевны въ пятомъ актѣ, совершенно излишнемъ, по ея мнѣнію.

Съ другой стороны—натуральная школа все участіе зри-

теля насильственно сосредоточила бы на лицѣ Платона Марковича, внушила бы ему глубокую, слезливую, безсознательную и, въ особенности, *приличную* старику страсть къ Марьѣ Андреевнѣ,—какъ Макару Алексѣевичу Дѣвушкину или Мошкину, и подъ-конецъ—выдала бы за него замужъ Марью Андреевну, съ разбитымъ, подразумѣвается, сердцемъ.

Ни того ни другого не сдѣлалъ Островскій: онъ не пощадилъ Мерича, не идеализировалъ Добротворскаго и избѣгъ даже еще крайности, въ которую немудрено впасть всякому, оскорбленному неправильнымъ отношеніемъ разныхъ школъ къ дѣйствительности,—не идеализировалъ самой дѣйствительности, обставляющей характеръ Марьи Андреевны; съ равнымъ разумнымъ участіемъ отнесся онъ и къ положенію своей героини, и къ положенію, напримѣръ, ея матери, и къ положенію Хорькова, и къ положенію Дуни и т. д. Этимъ-то такъ и благородны, такъ широки и такъ новы его задачи, хотя и не во всѣхъ частяхъ выполнены равно удовлетворительно. Самая неудовлетворительность и преимущественно техническая неудовлетворительность выполненія произошла едва ли не оттого, что для автора на первомъ планѣ стояли задачи. Имъ онъ пожертвовалъ драматизмомъ въ двухъ первыхъ актахъ, чтобы почти эпически-спокойными и какъ-будто нѣсколько вяло тянущимися подробностями ввести насъ въ бытъ и отношенія изображаемаго имъ міра; имъ уступилъ онъ и въ нѣсколько лирически, а не драматически-патетической сценѣ пятаго акта между Меричемъ и Марьей Андреевной, въ ея обращеніи къ Меричу: „Поздно, Владимиръ Васильичъ, поздно...“ и т. д. Но такой недостатокъ, являясь дѣйствительно недостаткомъ на судѣ строгой эстетической критики, заставляетъ какъ-то читателя искреннѣе сочувствовать произведенію, въ которомъ присутствіе субъективности автора не скрыло отъ другихъ тѣхъ задачъ, которыя ее самое тревожили.

Теперь взглянемъ нѣсколько на отношеніе художника къ выведеннымъ имъ лицамъ. Лицо Марьи Андреевны подверглось нареканіямъ за отсутствіе въ немъ характера. Мы сами соглашаемся отчасти, что Марья Андреевна скорѣе положеніе, чѣмъ лицо, но, вмѣстѣ съ этимъ, не можемъ не высказать своего задушевнаго мнѣнія, что при такой молодости лѣтъ ей еще нельзя было выработать опредѣленной

личности, а при окружающей ея обстановкѣ—и неоткуда было взять элементовъ для опредѣленія личности: Марья Андреевна представляетъ собою общій процессъ женскаго сердца, въ ту эпоху, когда женщина вся состоитъ только изъ побужденій и неопредѣленныхъ стремленій,—а что у ней есть натура, изъ которой, какъ будетъ она постарше, выработается настоящая, славная женская личность, такъ это показываетъ многое,—между прочимъ, ея жажда искренней любви, ея благородное сознаніе собственнаго достоинства, ея честный взглядъ на вещи... Кромѣ того, мы видимъ въ ней не мечтательницу, не резонерку, не одно изъ тѣхъ неминуемо *гибнущихъ* въ дѣйствительности, по представленію нашихъ романистовъ и драматурговъ, существъ, которыхъ всѣ достоинства существуютъ только въ воображеніи ихъ сочинителей. Марья Андреевна, хоть она не вполнѣ еще сложилась нравственно, даже, пожалуй, вовсе не сложилась,—натура живучая, способная понять правду жизни, смыслъ ея и настоящее дѣло, не вооружающаяся даже на окружающую ее сферу, ибо сама она, со всѣми страстными задатками ея организаціи,—все-таки продуктъ этой жизненной сферы. Милашина *возмущаетъ* Добротворскій,—ея не возмущаетъ: она видитъ въ немъ добраго человѣка даже въ ту минуту, когда ей крайне несносны заботы о скорѣйшемъ устройствѣ ея участи. Меричу отдалась она со всею непосредственностью и свѣжестью души,—но и тутъ она не отрѣшается отъ настоящей жизни—она даже *безпокоитъ* этого господина тѣмъ, что старается завести съ нимъ рѣчь о близкихъ къ дѣлу интересахъ. Но, съ другой стороны, не одни впечатлѣнія окружающей сферы быта дѣйствовали на ея страстную и воспріимчивую натуру: внутренній міръ ея создался подъ вліяніемъ впечатлѣній другой сферы, подъ вліяніемъ чтенія, подъ вліяніемъ идей, которыя живутъ въ воздухѣ и, какъ воздухъ, проходятъ въ какой бы то ни было замкнутый и особый мірокъ. Этимъ можно оправдать даже ея мѣстами книжную рѣчь. Что касается, наконецъ, до психологическаго выхода ея характера, но этотъ выходъ могъ показаться насильственнымъ только развѣ этой критикѣ, о которой мы уже говорили. Очевидно всякому, что словами: „Я хочу жить, я имѣю право на счастіе...“, авторъ не хотѣлъ ни поднять свою героиню на ходули, ни навязать своей комедіи ложное или пошлое примиреніе, а только

хотѣлъ быть вѣрнымъ передавателемъ душевнаго процесса такихъ натуръ, какъ натура Марьи Андреевны,—натуръ, не скоро впадающихъ въ апатію разочарованія, добивающихся отъ жизни—правды. Очевидно также и то, что авторъ не дѣлитъ съ своей Марьей Андреевной надеждъ на моральное возвышеніе Максима Дороѳеевича Беневоленскаго,—очевидно по его же указаніямъ, по всему слѣдующему за сценою V-го акта Марьи Андреевны съ Меричемъ до конца комедіи, что разобьются впрахъ такія надежды, хотя подлежитъ большому сомнѣнію, чтобы разбилась или обмельчала натура его героини.

Дѣйствительность, окружающая Марью Андреевну—матеріально очень бѣдная, а нравственно весьма недалекая. На ознакомленіе насъ съ этой обстановкою Островскій употребилъ, какъ мы уже замѣтили, не драматическія, а эпическія средства: много лишнихъ подробностей, которыя сами по себѣ прекрасны, взятыя отдѣльно, по ходу драмы не содѣйствуютъ,—вошло сюда. Зато мы знаемъ хорошо Анну Петровну, знаемъ Дарью, знаемъ Хорькову, знаемъ Добротворскаго,—знаемъ, однимъ словомъ, этотъ особенный, совершенно московскій, даже замоскворѣцкій міръ мелкаго чиновничества, изображенный безъ малѣйшей злобы и задней мысли. Нельзя не остановиться съ удовольствіемъ на отношеніи автора къ матери Марьи Андреевны, съ одной стороны, и на отношеніи его къ матери Хорькова, съ другой; принимая самое сильное участіе въ своей героинѣ, авторъ, однако, ничѣмъ не пожертвовалъ этому участію. Вы, напримѣръ, негодуете на Милашина, пристающаго къ Марьѣ Андреевнѣ съ пошлымъ и приторнымъ участіемъ въ тяжкую и рѣшительную минуту ея жизни, но ни разу не негодуете на Анну Петровну—даже тогда, когда она попрекаетъ дочь въ неблагодарности, когда она настоятельно требуетъ, чтобы та шла замужъ за Беневоленскаго; жаль вамъ Марьи Андреевны, да что жъ и старухѣ-то дѣлать? Женщина она слабая, сырая; кромѣ того, что ей втемяшилась въ голову idea fixa: какъ это безъ мужчины въ домѣ?—и домъ-то еще у нея оттягиваютъ. Недалека она—это точно, что недалека, да вѣдь, она любитъ свою Машеньку; вѣдь, въ концѣ она сама чувствуетъ, что что-то неладно: „Признаться сказать, скоренько дѣло-то сдѣлали; кто его знаетъ, въ него не влѣзешь“. Однимъ словомъ, нѣтъ возможности сердиться

читателю на бѣдную старуху, когда ни авторъ, ни сама Марья Андреевна на нее не сердятся.

Подъ-пару къ этому глуповато-доброму существу старикъ Платонъ Марковичъ Добротворскій—лицо вполнѣ живое и типическое, къ которому опять авторъ отнесся необыкновенно правильно и человѣчно. Это ничего—что онъ поцѣлуетъ въ рукавъ Максима Дороѳеича Беневоленскаго;—это ничего, что онъ добродушно замѣтитъ, говоря о лошадкѣ Максима Дороѳеича: „Ахъ, проказникъ вы, проказникъ, Максимъ Дороѳеичъ! Да вѣдь, чай, не купленная"—абсолютныхъ понятій о честности вы отъ него и не требуйте; но вѣдь, онъ трогательно привязанъ къ семьѣ своего благодѣтеля, онъ бѣгаетъ по всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ, отыскивая жениха Машѣ, онъ скажетъ ей отъ души, по своему разумѣнію, доброе слово („Свистуны, вѣдь, они, матушка, никакой основательности нѣтъ. Не вѣрьте вы имъ. Нынче любятъ, а завтра разлюбятъ"). Онъ прежде всего заботится о тишинѣ и мирѣ—но между тѣмъ, когда дѣло идетъ объ участи Маши, которая устроилась, по его мнѣнію, благополучно, онъ даже Беневоленскому, къ которому относится съ уваженіемъ и съ нѣкоторою лестью, скажетъ основательно, боясь за старыя его шашни: „Что жъ вы, отецъ мой, у меня съ Марьей-то Андреевной дѣлаете? Вы этакъ у меня ее уморите, сердечную... А ужъ вы, батюшка, эти глупости-то оставьте". Добрый, добрый старикъ—хоть и недалеко онъ видитъ. Онъ совершенно подъ-пару Аннѣ Петровнѣ, и правъ былъ авторъ, что къ нимъ обоимъ отнесся такъ человѣчно.

Иное отношеніе къ матери Хорькова, тоже мастерски задуманному и мастерски выполненному лицу. Тутъ уже авторъ, видимо, относится со смѣхомъ къ претензіямъ полуобразованности—читателю больно за бѣднаго Хорькова въ сценѣ его объясненія съ Марьей Андреевной, гдѣ Хорькова его, такъ-сказать, подучиваетъ; еще яснѣе обозначается для васъ эта женщина въ третьемъ актѣ, когда она съ такимъ явнымъ злорадствомъ приходитъ къ матери Марьи Андреевны, чтобы вылить на бѣдную дѣвушку лужу сплетенъ. Вамъ очевидно, что она вломилась въ амбицію—и что если такая женщина вломится въ амбицію, такъ тутъ только держись. Вамъ ясно, каково должно было быть ея вліяніе на натуру сына и какіе слѣды на его душѣ должно было оставить это вліяніе.

Самъ Хорьковъ—опять скорѣе положеніе, чѣмъ лицо, точно такъ же, какъ и Марья Андреевна,—положеніе, слишкомъ великодушно брошенное авторомъ въ драму, когда оно само могло послужить предметомъ драмы, но положеніе, котораго наиболѣе яркія стороны набросаны кистью мастера. Какъ ни неудовлетворительно впечатлѣніе, получаемое отъ малоразвитыхъ его отношеній къ матери и къ Марьѣ Андреевнѣ,—но все-таки это „любовь изъ-за угла",—удѣлъ натуръ слишкомъ сосредоточенныхъ и сначала запуганныхъ, потомъ попорченныхъ средою жизни,—трагическая безвыходность его положенія, постоянное недовольство собою и страстное разрѣшеніе невыносимаго душевнаго состоянія запоемъ, показываютъ, какъ широка была задача поэта въ созданіи его положенія. Повторяемъ опять, это положеніе брошено только слишкомъ великодушно, вѣроятно, отъ избытка силъ таланта. Въ сценическомъ выполненіи *Бѣдной невѣсты*, при искусной и теплой игрѣ актера, который возьметъ на себя роль Хорькова, положеніе можетъ уясниться, досказаться и произведетъ эффектъ поразительный. Замѣтимъ между прочимъ, что одинъ изъ критиковъ „Бѣдной невѣсты" поставилъ Хорькову въ вину предложеніе Милашину *перехваченныхъ* писемъ *счастливаго своего соперника*. Зачѣмъ колоть Хорькову глаза счастливымъ соперникомъ,—возразилъ на это въ свое время одинъ изъ насъ, рецензентовъ „Москвитянина",—когда онъ не оказалъ къ нему ни ревности ни зависти, когда онъ сразу оставилъ всѣ свои надежды и, забывъ о себѣ, заботился только о судьбѣ Марьи Андреевны? Вѣдь, онъ не о себѣ хлопоталъ, изъ комедіи это ясно; за что же критикъ наводитъ сомнѣніе на его честность? Что это за условный взглядъ на поведеніе? Дѣвушка гибнетъ, опутанная сѣтями подлаго человѣка, и ей нельзя подать помощи! Неужели же Хорькову, который знаетъ цѣну Меричу, въ подобномъ случаѣ оглядываться съ сомнѣніемъ на свой поступокъ? Ему и въ голову не могло прійти, что онъ дѣлаетъ дурно; онъ слишкомъ сильно любилъ Марью Андреевну и слишкомъ мало любилъ себя.

Что касается до лица Беневоленскаго, то, созданное совершенно цѣльно и притомъ за-разъ, всей натурой вылитое, оно не требуетъ разъясненія отношенія къ себѣ автора. Тутъ нельзя даже указать на какія-либо особенныя черты—все тутъ типично, отъ желанія пріобрѣсть образованную жену

и вмѣстѣ пріобрѣсти органчикъ для обученія канареекъ до пріобрѣтенія хорошей вещички отъ нечаянно *набѣжавшаго* хорошаго человѣка и до разсказа о представленіи Роберта, въ которое, *загулявши*, не попалъ Максимъ Дороѳеичъ; отъ возраженія на желаніе Анны Петровны, чтобы мужчина былъ непьющій: „Конечно... а знаете ли, сударыня, я вамъ осмѣлюсь сказать, что въ мужчинѣ даже и это ничего. Какъ ты думаешь, Платонъ Марковичъ, объ этомъ?"—до зарока не пить, даннаго передъ свадьбой, при чемъ читатель остается убѣжденъ, что такой зарокъ данъ только до послѣ-свадьбы, а всего скорѣе только до первой вѣрной оказіи. Особенно же хорошъ и просится на картину Максимъ Дороѳеичъ, когда самодовольно деретъ себя за хохолъ, одѣтый женихомъ и стоя передъ зеркаломъ. А между тѣмъ, личность Беневоленскаго была бы все-таки неполна безъ *Дуни*. Несмотря на всю краткость двухъ сценъ, въ которыхъ она является, къ ея личности нельзя прибавить ни одной черты, вся жизнь ея передъ вами, какъ на ладони... Напоминать черты Дуни, значитъ, выписывать всѣ ея слова, всю сцену ея съ Беневоленскимъ, а равно и первую ея сцену съ Пашею, или по даннымъ, заключающимся въ этихъ сценахъ, писать исторію этой женщины... Есть слова у Дуни въ высшей степени патетическія:

„А все-таки, Паша, ты то возьми, лѣтъ пять жили... вѣдь, жалко... Конечно, немного я отъ него добраго видѣла... больше слезъ, одного сраму что̀ перенесла. Такъ, ни за что прошла молодость, и помянуть нечѣмъ".

Или ея обращенія къ Беневоленскому:

„Смотри жъ, живи хорошенько .. Эта, вѣдь, тебѣ навѣкъ, не то, что я. Ну, прощай, не поминай лихомъ,—добромъ нечѣмъ. Что это я какъ дура расплакалась, въ самомъ дѣлѣ? О, махнемъ рукой, Паша, завьемъ горе веревочкой!"

Всякій, кто и не знаетъ этого типа женщинъ, почувствуетъ невольно, что это все такъ именно должно сказаться—равно какъ и „адье, мусье", брошенное на прощанье въ порывѣ какой-то размашистой удали завитого веревочкой горя, равно какъ и то, что Дуня, издѣваясь, пугаетъ Беневоленскаго прежде: „а хочешь, сейчасъ дебошъ сдѣлаю"; все, все такъ, отъ ясныхъ намековъ на ея жизнь, когда Беневоленскій пріѣзжалъ къ ней „пьяный да олаберный—такъ какъ обѣснующій какой", до ея ироническаго тона при встрѣчѣ съ нимъ и своего рода благородства въ словахъ:

„Ты смотри, не загуби чужого вѣку даромъ. Грѣхъ тебѣ будетъ. Остепенись, да живи хорошенько“...

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о Меричѣ и Милашинѣ... Что къ Меричу, а равно и къ Милашину отнесся авторъ въ высшей степени правильно, это ясно изъ того даже, что критика извѣстной школы до сихъ поръ сердится на него за эти лица. Что, съ другой стороны, Меричъ и Милашинъ—превосходны только какъ задачи, что они не вызрѣли достаточно въ душѣ художника, это также ясно. Но общій психологическій процессъ такихъ натуръ, какъ натура Мерича и Милашина, представленъ до того осязательно, что вы, принимая участіе въ судьбѣ Марьи Андреевны, негодуете на того и другого и презираете ихъ. Можетъ-быть, только двухъ-трехъ штриховъ рѣзца недоставало для довершенія этихъ фигуръ. Въ отношеніяхъ того и другого къ Марьѣ Андреевнѣ слишкомъ явно, что они существуютъ только ради ея къ комедіи, что авторъ увлекся преимущественно драматизмомъ положенія и сосредоточилъ все на немъ, оставивъ многое недосказаннымъ.

Но и того, что выполнено въ *Бѣдной невѣстѣ*, достаточно, чтобъ она была замѣчательнымъ произведеніемъ во всякой литературѣ, а задачи ея такъ широки, благородны и новы, что, безъ сомнѣнія, поставляютъ автора во главѣ современнаго литературнаго движенія.

Ап. Григорьевъ.

Современныя замѣтки [1]).

Замѣтки и размышленія Новаго Поэта по поводу русской журналистики. Мартъ 1853 г.

*) Есть на свѣтѣ особый родъ людей, которые звались во время оно, а можетъ-быть, еще зовутся и до сихъ поръ, *лихими, добрыми, славными малыми, чудными товарищами* и тому подобными именами... Я убѣжденъ, что въ глазахъ Тряпичкина Хлестаковъ добрый малый, а въ глазахъ ярмарочныхъ героевъ—Ноздревъ славный и лихой малый и чудный товарищъ... Мнѣ не разъ въ жизни случалось встрѣчаться съ этими такъ-называемыми добрыми и славными малыми.

---

1) „Современникъ", № 4, 1853 г.

*) Подъ псевдонимомъ „Новый поэтъ" въ „Современникѣ" писалъ, главнымъ образомъ, Ив. Панаевъ. По крайней мѣрѣ, до 1856 г., момента отъѣзда Панаева за границу, когда его замѣнилъ Некрасовъ, отдѣлъ „журнальныхъ замѣтокъ" велъ Панаевъ. Ив. Ив. Панаевъ (1812—62 гг.) вступилъ на литературное поприще въ качествѣ беллетриста въ 1834 г., подражая Марлинскому. Познакомившись съ Бѣлинскимъ, онъ отрѣшился отъ мелодраматической манеры и фальшивой идеализаціи Марлинскаго, описывавшаго „жажду крови и мести" или „очаровательницу Адель въ ея кабинетѣ, гдѣ и зимой раскинулись цвѣтники, въ легкомъ платьѣ, окруженную благовонною розовою атмосферой, вѣющею съ кассолета", и сталъ писать въ болѣе реалистическомъ направленіи. Несмотря, однако, на сравнительно большое количество романовъ, Панаевъ стяжалъ себѣ извѣстность не какъ беллетристъ, а какъ журналистъ. Въ 1847 г., вмѣстѣ съ Некрасовымъ, онъ возродилъ „Современникъ", ставшій вскорѣ во главѣ русской журналистики. Въ журналѣ, благодаря обширному литературному знакомству Панаева, принимали участіе всѣ лучшія тогдашнія литературныя силы.

У себя въ журналѣ Панаевъ писалъ сначала критическіе фельетоны, а затѣмъ фельетоны о петербургской жизни, подъ псевдонимомъ „Новый Поэтъ", хотя этимъ псевдонимомъ пользовались въ „Современникѣ" и другія лица (Некрасовъ, В. П. Гаевскій и др.). У Панаева былъ несомнѣнный литературный вкусъ и легкое фельетонное остроуміе.

Прим. Н. Денисюка.

Во-первыхъ, всѣ они пьютъ отлично: это—необходимое условіе добраго малаго и чуднаго товарища; во-вторыхъ, всѣ они ведутъ жизнь самую пустую и беззаботную, и чѣмъ пустѣе и беззаботнѣе жизнь, тѣмъ болѣе правъ на званіе добраго малаго и чуднаго товарища.

Добрый малый ставитъ послѣднюю копейку ребромъ; онъ никогда ни въ чемъ не отставалъ отъ товарищей, развѣ только въ наукахъ на школьной скамьѣ. Наука не далась доброму малому. И хотя—по словамъ Пушкина—

Мы всѣ учились понемногу,
Чему-нибудь и какъ-нибудь,
И воспитаньемъ, славу Богу,
У насъ не мудрено блеснуть...

но добрый малый не можетъ не только блеснуть воспитаньемъ—у него нѣтъ и слѣдовъ того, что́ называется воспитаньемъ, какъ-будто онъ нигдѣ, никогда и ничему не учился. Да и къ чему ему воспитаніе? Съ него довольно того, что онъ добрый малый! У него съ самой школьной скамьи осталась непреодолимая ненависть къ книгамъ; однако, иногда, отъ нечего дѣлать, онъ почитываетъ романы. У него есть даже любимые писатели: Поль-де-Кокъ и Александръ Дюма; о другихъ онъ и слышать не хочетъ. Впрочемъ, въ теченіе всей своей жизни онъ прочелъ только два романа Поль-де-Кока и послѣднюю часть какого-то романа Дюма, случайно ему попавшуюся... Добрый малый, несмотря на это, считаетъ себя человѣкомъ вполнѣ образованнымъ; онъ въ разговорѣ любитъ очень часто употреблять слово образованность; онъ твердитъ: „мы, образованные люди!“ и на простыхъ, необразованныхъ людей смотритъ очень свысока...

„Ты согласись, душа моя,—говоритъ онъ своему пріятелю,—что въ образованномъ обществѣ это не принято!“ Или: „Это, моншеръ, я тебѣ скажу, просто необразованный мужикъ!..“

Добрый малый ни въ чемъ не хочетъ отстать отъ образованныхъ людей, то-есть онъ живетъ несравненно выше своего состоянія или, лучше сказать, какъ человѣкъ съ состояніемъ, хотя у него нѣтъ почти никакого состоянія. Вы его всякій день можете встрѣтить на Невскомъ проспектѣ, часу въ третьемъ, на рысакѣ, въ свѣтло-желтыхъ саняхъ, обитыхъ бархатомъ. На его кучерѣ армякъ, рос-

кошно опушенный бобромъ, золотой кушакъ и свѣтло-голубая, бирюзоваго цвѣта шапка; а какой боберъ у самого добраго малаго на воротникѣ его пальто! а какіе у него усы и какой сокрушительный взглядъ при встрѣчѣ съ прекраснымъ поломъ!.. Вотъ впереди его сани; въ этихъ саняхъ дама въ бархатномъ салопѣ на черно-бурой лисицѣ, въ шапкѣ, отягченной цвѣтами и блондами.

— Перегоняй эти сани!—говоритъ онъ вполголоса своему кучеру, еще болѣе пріободряясь и поправляя свой усъ. Кучеръ пускаетъ рысака. Баринъ обгоняетъ барыню и граціозно раскланивается ей, восхищенный произведеннымъ имъ эффектомъ. Барыня въ черно-бурой лисицѣ улыбается барину съ несказанною пріятностью. Пріятности этой улыбки не мало способствуетъ рысакъ барина и свѣтло-бирюзовая шапка его кучера.

И какъ хорошо и весело на сердцѣ добраго малаго! И какой чудесный день! Рѣдкое петербургское солнце бросаетъ въ эту минуту лучи свои какъ-будто нарочно для него, какъ-будто единственно съ тою цѣлью, чтобы ярче освѣтить бирюзовую шапку его кучера и его желтыя сани, чтобы онѣ метались въ глаза всѣмъ проходящимъ и проѣзжающимъ... И онъ, счастливый, задаетъ нѣсколько концовъ отъ Адмиралтейства до Аничкова моста. Ему хочется, чтобы всѣ безъ исключенія замѣтили и удержали въ своей памяти его рысака, шапку его кучера, его сани, боберъ на воротникѣ его пальто и его прекрасные усы, подернутые морозною пылью.

Добрый малый проснулся только за часъ передъ этимъ и тотчасъ по окончаніи своего туалета—въ сани. Онъ находится въ совершенномъ невѣдѣніи, какъ проведетъ день. Въ жизни добраго малаго все зависитъ отъ случайности... На тротуарѣ Невскаго проспекта онъ завидѣлъ своихъ пріятелей и велитъ подъѣхать къ тротуару.

— Здравствуйте, господа.—„Здравствуй, братецъ".—Ну что́, какъ, куда?—„Да не знаю еще".—Обѣдаемъ у Дюссо.—„Прекрасно".—Въ пять часовъ.—„Идетъ".—Смотри же, ровно въ пять.—„Непремѣнно".

Добрый малый послѣ этого прогуливается по Невскому; рысакъ его слѣдуетъ за нимъ; онъ часто оглядывается на рысака и нѣсколько разъ повторяетъ кучеру: „Ты, Василій, ступай за мной", хоть Василій и безъ того слѣдуетъ за

нимъ,—но доброму малому хочется, чтобы всѣ добрые малые, гуляющіе по Невскому, вполнѣ были убѣждены, что этотъ рысакъ слѣдуетъ именно за нимъ, а не за другимъ какимъ-либо господиномъ, что это собственный его рысакъ. Навстрѣчу ему еще пріятели... Одинъ изъ этихъ пріятелей влюбленъ и каждое утро разъ по двадцати проѣзжаетъ мимо оконъ своей возлюбленной. О предметѣ любви его знаютъ всѣ его знакомые, также и о томъ, что онъ по двадцати разъ въ утро проѣзжаетъ мимо предмета, и потому онъ прямо останавливаетъ добраго малаго вопросомъ:

— А что́, не проѣхаться ли намъ мимо... знаешь?—И при этомъ влюбленный значительно подмигиваетъ.—„Съ удовольствіемъ, душа моя, поѣдемъ".

Добрый малый всегда и на все согласенъ, потому что онъ добрый малый и славный товарищъ. Однажды пріятель ворвался къ нему часа въ четыре ночи, когда онъ покоился самымъ безмятежнымъ сномъ, прихрапывая и насвистывая такъ, что даже смотрѣть вчужѣ на такой сонъ было завидно... Пріятель еще и не думаетъ о снѣ: онъ только-что поужиналъ и чувствуетъ себя въ самомъ пріятномъ расположеніи духа; ему даже хочется еще выпить. Онъ будитъ безжалостно добраго малаго и кричитъ:

— Вставай, братецъ! Что́ спишь? Я пріѣхалъ за тобой на тройкѣ. Поѣдемъ за городъ... Славно прокатимся, выпьемъ въ вокзалѣ бутылочку-другую. Тамъ сегодня пикникъ.

Добрый малый вскакиваетъ съ постели, какъ ни въ чемъ не бывало, и восклицаетъ, да еще съ пріятною улыбкой:

— Изволь, душа моя!

Вотъ каковы добрые малые!

А дни за днями бѣгутъ. Нѣтъ возможности удержать этого несноснаго времени. И зачѣмъ оно бѣжитъ такъ быстро? Къ чему и куда такъ торопиться?.. Свѣтло-бирюзовая шапка, производившая такой эффектъ,—увы!—совсѣмъ полиняла: снѣгъ, солнце и дождь превратили ее въ какую-то бурую, грязную, такъ что и смотрѣть-то на нее непріятно; золотой кушакъ имѣетъ видъ желтой тряпки; рысакъ окривѣлъ и охромѣлъ; да и самъ владѣтель этихъ эффектныхъ вещей, если поразсмотрѣть его вблизи, имѣетъ видъ нѣсколько тронутаго молью. Однако, издали онъ все еще *бель-омъ*; онъ даже, если хотите, *бельомистье* прежняго: фигура его отъ

полноты сдѣлалась величественнѣе; издали онъ можетъ производить значительный эффектъ, и, пожалуй, какая-нибудь близорукая барыня, проходя мимо него, можетъ подумать, взглянувъ на него и кокетливо прищуриваясь: „О, какой *бѣдовый!*“ или „У! какой разбойникъ!“

Если бы деньги моему доброму малому, онъ казался бы еще молодцеватѣе, еще очаровательнѣе; да бѣда въ томъ, что онъ все свое *почти* промоталъ, какъ и слѣдуетъ доброму малому, да еще, сверхъ того, задолжалъ всѣмъ добрымъ малымъ, которые ему вѣрили: сѣдельникамъ, шорникамъ, барышникамъ, каретникамъ, рестораторамъ, портнымъ и проч. и проч.

Онъ—добрый малый, снобсъ [1]) по происхожденію, истинный снобсъ по натурѣ и по привычкамъ—дошелъ до жалкаго трагическаго положенія, и—увы!—вмѣстѣ съ героемъ одной превосходной, но неизданной поэмы можетъ воскликнуть со вздохомъ:

И я ходилъ въ бѣльѣ голландскомъ,
И я обѣдалъ у *Дюме*,
И трюфли заливалъ шампанскимъ,
Не помышляя о тюрьмѣ...
Я франтомъ лучшаго былъ тона,
Съ князьями дружество водилъ
И титло громкое барона
Въ танцклассахъ съ гордостью носилъ;
Всегда кутилъ и билъ баклуши,
Вставлять умѣлъ лорнетку въ глазъ
И имя нѣжное *Ванюши*
Отъ разныхъ дамъ слыхалъ не разъ!
Безпечно развалясь въ каретѣ,
Катался по Большой Морской...
Досель въ плохомъ моемъ жилетѣ
Замѣтенъ щегольской покрой—
Остатокъ роскоши былой... и проч.

Поприще бѣднаго добраго малаго окончено въ столицѣ. Онъ принужденъ бѣжать въ провинцію, и ему остается одно—заглушивъ въ себѣ свою снобскую гордость, какъ Вихореву, въ комедіи г. Островскаго, шнырять по уѣзднымъ городамъ, въ надеждѣ открыть какую-нибудь невѣсту изъ купеческаго сословія, чтобы снова, посредствомъ такого благоразумнаго брака, подняться въ общественномъ мнѣніи, то-есть завести попрежнему рысаковъ, свѣтло-бирюзовыя

[1]) Фатъ, хлыщъ.

кучерскія шапки, пить всякій день шампанское и жить, что называется, въ собственное удовольствіе.

Вихоревъ, въ комедіи г. Островскаго *Не въ свои сани не садись*, лицо—вѣрное дѣйствительности и чрезвычайно удачно поставленное. Это снобсъ по происхожденію и добрый малый, въ родѣ очеркнутаго мною выше, взятый въ трагическую, роковую для него минуту. И сколько на свѣтѣ такихъ снобсовъ!

Комедія г. Островскаго имѣла блистательный и вполнѣ заслуженный успѣхъ на двухъ сценахъ: петербургской и московской, и потомъ появилась въ 5-мъ № „Москвитянина". Въ „Современникѣ" (3-й №, Письма П. Ч.) уже было обращено на нее вниманіе, но мы не можемъ лишить себя удовольствія, чтобы не поговорить о ней и о ея авторѣ нѣсколько подробнѣе.

Г. Островскій, безспорно, владѣетъ замѣчательнымъ талантомъ. Первое произведеніе его обратило на него всеобщее вниманіе; авторъ вдругъ возбудилъ, не безъ основанія, самыя преувеличенныя надежды, и мы, въ числѣ другихъ, пораженные чтеніемъ этого произведенія, были почти увѣрены, что русская литература пріобрѣла себѣ, въ лицѣ г. Островскаго, такой же высокій художественный талантъ, какимъ владѣлъ тотъ, кто такъ недавно и безвременно сошелъ въ могилу... [1])

Въ самомъ дѣлѣ, первая драма г. Островскаго рѣзко выходила изъ ряда обыкновенныхъ талантливыхъ произведеній, современныхъ намъ. Лица этой драмы—типы, поставленные твердой и опытной рукой художника; дѣйствіе ея живо и послѣдовательно, а языкъ отличается тою силою и вѣрностью, тою полнотою и мѣткостью, какимъ отличается языкъ въ „Горе отъ ума" и въ „Ревизорѣ", обратившійся въ пословицы... Словомъ, русская литература пріобрѣла въ драмѣ г. Островскаго художественное произведеніе, и этимъ самымъ авторъ ея съ перваго шага своего поставленъ былъ въ отношеніи къ критикѣ въ положеніе совершенно исключительное. Удовлетворить возбужденнымъ имъ ожиданіямъ было, конечно, не такъ легко. А между тѣмъ, черезчуръ услужливая критика, не имѣющая ни въ чемъ умѣренности, ни въ похвалахъ ни въ осужденіяхъ,—критика, не говоря-

---

[1]) Рѣчь, конечно, идетъ о Гоголѣ. *Н. Д.*

щая слова спроста, а все съ ужимками и съ паѳосомъ, восклицала по поводу г. Островскаго напыщеннымъ слогомъ: „Вотъ грядетъ...“ и проч. и такого рода восторженными возгласами невольно возбуждала къ нему еще большую требовательность. Съ другой стороны, если хотите, положеніе г. Островскаго было довольно выгодно. Люди, озадаченные и запуганные, такъ-сказать, и талантомъ автора и возгласами насчетъ его, готовы были видѣть въ каждомъ даже посредственномъ его произведеніи, имѣющемъ явиться вслѣдъ за первымъ, произведеніе необыкновенное и геніальное.

Въ такихъ обстоятельствахъ явилась *Бѣдная невѣста* и встрѣчена была различно петербургскими журналами. Нѣкоторые журналы отозвались о ней съ большою похвалою („Современникъ“ и „Библіотека для Чтенія“). Въ „Современникѣ„ даже двумъ довольно незначительнымъ лицамъ этой комедіи—*Милашину* и *Меричу*—приписано какое-то особенное значеніе. Вообще въ статьѣ этой, хотя и написанной однимъ изъ талантливѣйшихъ представителей современной литературы, есть что-то неопредѣленное и недосказанное. Авторъ ея усиливался придать произведенію г. Островскаго бо́льшее достоинство, чѣмъ оно имѣетъ, и какъ бы самъ въ то же время чувствовалъ это. „Отечественныя Записки“, напротивъ, отозвались о *Бѣдной невѣстѣ* уже слишкомъ неблагосклонно и строго. Въ сущности (по крайней мѣрѣ намъ такъ кажется), *Бѣдная невѣста* есть произведеніе таланта замѣчательнаго, но произведеніе неудавшееся, прекрасное въ частностяхъ, но не выдержанное художественно въ цѣломъ. Доказывать это теперь мы не считаемъ удобнымъ, потому что намѣрены говорить о новомъ произведеніи г. Островскаго, талантъ котораго мы вполнѣ цѣнимъ и уважаемъ.

Мысль новой его комедіи выступаетъ ярко и рельефно. Въ ней люди грубые, простые, необразованные, но съ душой и съ прямымъ здравымъ смысломъ, поставлены рядомъ съ людьми полуобразованными, съ людьми, находящимися въ переходномъ состояніи, утратившими совершенно первобытную чистоту и простоту нравовъ и принявшими или желающими принять образованную внѣшность, то-есть одну пустоту и тщету, и вслѣдствіе этого походящіе на ворону въ павлиньихъ перьяхъ. Авторъ очень ловко воспользовался этимъ контрастомъ. Простые и грубые люди—этотъ Русаковъ и

Бородкинъ—являются у него чуть не гомерическими героями въ сравненіи съ образованнымъ г. Вихоревымъ. Какъ прекрасны эти мужики въ своей простотѣ и какъ жалокъ этотъ снобсъ, этотъ промотавшійся добрый малый, въ своей наглости и въ своихъ претензіяхъ! Послушайте разговоръ его съ его пріятелемъ г. Баранчевскимъ.

Вихоревъ. Дѣло въ томъ, Баранчевскій, что́ мнѣ нужны деньги. Состояніе, которое у меня было когда-то, давно прожито, имѣніе разстроено. Мой другъ! Мнѣ жить нечѣмъ, мнѣ не съ чѣмъ въ Москву пріѣхать, а я тамъ много долженъ. Мнѣ нужно жениться на богатой, во что бы то ни стало; это—единственное средство.

Баранчевскій. Женись на Русаковой! Чего жъ тебѣ лучше? Къ тому же она въ тебя влюблена!

Вихоревъ. Влюблена-то она влюблена, да что скажетъ отецъ. А что, Баранчевскій, много у него денегъ?..

Баранчевскій. Полмилліона, навѣрно.

Вихоревъ. Нѣтъ, ты не шутишь?

Баранчевскій. Что за шутки! Непремѣнно есть полмилліона, если не больше. (*Смотритъ на часы.*) Торопиться-то мнѣ некуда; давай выпьемъ маленькую.

Вихоревъ. Изволь.

Баранчевскій (*половому*). Бутылку шампанскаго. (*Садятся.*)

Вихоревъ. Нѣтъ, послушай, Баранчевскій, неужели въ самомъ дѣлѣ у Максима Ѳедотыча полмилліона?

Баранчевскій. Что жъ тутъ мудренаго! У насъ много богатыхъ купцовъ Я самъ взялъ за женой полтораста тысячъ.

Вихоревъ. Ты?.. Нѣтъ ужъ это, братъ, шутки!.. Я этому не повѣрю!

Баранчевскій. Не вѣрь, пожалуй; а я, вотъ, имѣніе купилъ, премиленькое, верстахъ въ семи отъ города, душъ 200, домъ отдѣлалъ великолѣпнымъ образомъ.

Вихоревъ. Баранчевскій! Да ты великій человѣкъ! Счастливчикъ просто! А мнѣ такъ вотъ нѣтъ счастья. Я, было, въ Москвѣ тоже присватался за одну—кушъ порядочный; влюбилась сдуру ужасъ какъ, просто средствъ нѣтъ никакихъ, да не отдаютъ ни за какія благополучія. Я такъ, сякъ, увезти хотѣлъ, да съ ней-то не столкуешь—дура ужаснѣйшая! Дура à la lettre, mon cher, такое несчастіе!

Баранчевскій. Одно, братъ, непріятно, ужъ сейчасъ замѣтно, что изъ купчихъ.

Вихоревъ. Что за важность! Стоитъ объ этомъ разговаривать. Послушай, Баранчевскій, будь другъ ты мнѣ, помоги!

Баранчевскій. Еще бы не помочь!

Вихоревъ. Вѣдь, этотъ народъ не понимаетъ самой простой истины!.. Что такое деньги? Не больше, не меньше, какъ средство жить порядочно, въ свое удовольствіе. А они стараются какъ можно больше копить и какъ можно меньше проживать; а ужъ доказано всѣми науками, что это вредно... для торговли... и для цѣлаго общества.

Баранчевскій. Такъ, такъ, душа моя, такъ!

Вихоревъ. Вотъ видишь, если бы у тебя не было денегъ, ты бы не спро-

силъ бутылки шампанскаго, а этимъ поддерживается торговля. (*Баранчевскій утвердительно киваетъ головой.*) Слѣдовательно, если мы, люди образованные и со вкусомъ, но безъ средствъ, женимся на богатыхъ и такимъ образомъ даемъ, знаешь, нѣкоторое движеніе... можно ли насъ за это упрекнуть?

Баранчевскій. Никоимъ образомъ.

Вихоревъ. А вѣдь, есть такіе философы, которые осуждаютъ это!..

Баранчевскій. Осуждай, пожалуй!..

Авторъ съ первой сцены знакомитъ со своимъ героемъ—съ этимъ *образованнымъ* господиномъ, на которомъ движется вся комедія. Вотъ эта сцена:

Степанъ, лакей Вихорева, сидитъ за столомъ и ѣстъ селедку на синей сахарной бумагѣ. Половой стоитъ подлѣ него, съ полотенцемъ на плечѣ.

Степанъ. Что ты, братецъ, смотришь? Незавидное кушанье! Тонкое житье! Третій день вотъ селедками пробавляюсь, а что въ нихъ проку-то—только пьешь да въ животѣ бурчитъ.

Половой. Что вашъ баринъ-то, служащій?

Степанъ. Да, служили мы съ бариномъ-то безъ году недѣлю.

Половой. Что жъ такъ мало-съ?

Степанъ. Гм... Гдѣ ему служить! Не то у него на умѣ, и притомъ же гордъ... (*Глотаетъ съ трудомъ.*) Кто я, да что я! Да другія провинности да шалушки водились, такъ все къ одному пригнали, да и маширъ на хаусъ.

Половой. А имѣніе-то есть у васъ?

Степанъ. Было большое село, да отъ жару въ кучу свело. Все-то разорено, все-то промотано! То-есть, повѣришь ли ты, другъ мой, пріѣхали мы это въ деревню—ни кола ни двора; а хлѣбъ-то на полѣ, такъ не глядѣли бъ глаза мои; колосъ отъ колоса—не слыхать дѣвичьяго голоса.

Половой. А много ль душъ-то?

Степанъ. У тятеньки-то было полтораста, а у насъ только одиннадцать, да я двѣнадцатый—дворовый. Вотъ и всѣ.

Половой. Зачѣмъ же вашъ баринъ сюда пріѣхалъ?

Степанъ. Жениться хочетъ, *изъ себя очень красивъ*... Какъ женюсь, говоритъ, на богатой—всѣ дѣла поправлю. (*Голосъ за сценой*: Степанъ!) Иду-съ! (*Завертываетъ селедку въ бумагу и кладетъ въ карманъ. Уходитъ. Половой стираетъ со стола полотенцемъ.*)

Разговоръ Русакова съ этимъ *изъ себя очень красивымъ господиномъ*, послѣдняя сцена *изъ себя очень красиваго господина* съ Авдотьей Максимовной и его восклицаніе: „Опять несчастіе! Ахъ, чортъ возьми! Куда я теперь дѣнусь? Домотался! Хоть въ маркеры ступай! Поѣду еще куда-нибудь... Говорятъ, въ *Короваевѣ* есть богатые купцы, и недалеко: всего верстъ 50...“

Все это превосходно и въ высшей степени вѣрно дѣйствительности... Русаковъ и Бородкинъ вовсе не подняты на ходули, вовсе не преувеличены, какъ думаютъ нѣкоторые. Это—живыя лица, взятыя изъ жизни, безъ всякихъ

прикрасъ,—въ особенности Бородкинъ. Они кажутся только героями въ столкновеніи съ такимъ лицомъ, каковъ г. Вихоревъ.

Авдотья Максимовна (дочь купца) отлично выдержана авторомъ, а лица второстепенныя (Анна Ѳедотовна и Анна Антоновна, покровительницы людей образованныхъ, вообще, и г. Вихорева, въ особенности) очерчены мастерски. Такія Арины Ѳедотовны и Анны Антоновны встрѣчаются у насъ на каждомъ шагу. Ничего не можетъ быть забавнѣе разговоровъ Арины Ѳедотовны съ Бородкинымъ, оканчивающихся однимъ и тѣмъ же: „Какой ты кавалеръ! и съ бородой и *необразованный*!“, восклицанія Анны Антоновны при видѣ пьянаго мужа: „Необразованность ты моя! что ты шумишь-та? Мужикъ, мужикъ!“ и ея восторга при видѣ Вихорева, котораго она называетъ *амуромъ*.

Дѣйствіе въ новой комедіи г. Островскаго очень живо; никакіе лишніе и ненужные эпизоды и подробности (какихъ много въ *Бѣдной невѣстѣ*) не охолаживаютъ и не затрудняютъ дѣйствія,—въ ней авторъ обнаружилъ чувство сценическаго такта и мѣры; но, несмотря на это, все-таки, въ художественномъ отношеніи, эта комедія не можетъ быть поставлена на ряду съ первой его комедіей. Языкъ дѣйствующихъ лицъ въ этой новой комедіи очень вѣренъ, но это не тотъ типическій языкъ, обращающійся въ пословицы, который мы слышали въ „Ревизорѣ“ и въ *Свои люди — сочтемся*. Мы не можемъ не замѣтить, однако, превосходнаго отвѣта полового Вихореву, который на вопросъ Бородкина: „А что́, онъ образованный?“ отвѣчаетъ: „Какъ есть, изъ русскихъ-съ“. Вообще, *Не въ свои сани не садись*—произведеніе замѣчательное, умно задуманное и выполненное, но не выходящее изъ обыкновенныхъ талантливыхъ произведеній. Въ немъ мы не находимъ еще *новаго* слова...

Мы слышали много толковъ по поводу этой комедіи.

Снобсы обижены, что ихъ собратъ явился въ непривлекательномъ свѣтѣ. Они говорятъ: „Помилуйте! что́ это такое? на что́ это похоже? Авторъ всѣхъ мужиковъ выставляетъ добродѣтельными, а насъ, снобсовъ, унижаетъ... передъ кѣмъ же! передъ мужиками! Je vous demande bien!“

Иные люди, очень, впрочемъ, неглупые и вовсе не снобсы, замѣчаютъ, что авторъ въ своей комедіи обнаружилъ уже слишкомъ большое сочувствіе къ людямъ, подобнымъ Руса-

кову и Бородкину, и, пожалуй, иной его читатель или зритель можетъ вывести такое странное заключеніе, что авторъ считаетъ ихъ идеалами людей... и проч. и проч.

Но на это, какъ намъ кажется, даетъ достаточный отвѣтъ его первое произведеніе. Всѣхъ толковъ нельзя передать. Да и къ чему?

Довольно того, что комедія на всѣхъ произвела сильное впечатлѣніе и возбудила толки.

Это—несомнѣнное доказательство ея достоинства. Мы же, съ своей стороны, радуемся за новое прекрасное пріобрѣтеніе, сдѣланное русскою литературой, и находимъ, что впечатлѣніе, производимое комедіей г. Островскаго, совершенно нравственное. Что ни говорите, мм. гг., простой, грубый, необразованный русскій человѣкъ, въ его первобытной простотѣ, все-таки выше всякаго *полу*образованнаго снобса, въ родѣ г. Вихорева или такого *добраго малаго*, на котораго мы намекнули вначалѣ.

И. М. (Ив. Панаевъ).

„Не въ свои сани не садись“ [1]).

Замѣчательнѣйшимъ произведеніемъ литературы прошлаго мѣсяца было: *Не въ свои сани не садись*, комедія въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. А. Н. Островскаго, напечатанная въ 5-мъ № „Москвитянина“. Ею и займемся мы теперь преимущественно.

Въ репертуарѣ оригинальныхъ русскихъ пьесъ послѣдняго времени, новой комедіи г. Островскаго, безспорно, принадлежитъ первое мѣсто. На русской сценѣ обѣихъ столицъ она имѣла рѣшительный успѣхъ. Развѣ немногія пьесы стараго репертуара поспорятъ съ нею въ подобной удачливости. Для оцѣнки сценическихъ достоинствъ пьесы какое лучшее средство, какъ не самая сцена? Пьеса идетъ съ полнымъ успѣхомъ, выдерживаетъ къ ряду нѣсколько представленій, дѣлаетъ впечатлѣніе и заставляетъ говорить о себѣ—какое нужно еще болѣе наглядное ручательство, что театръ сдѣлалъ въ ней дѣйствительное пріобрѣтеніе? Случается, что посредственная и даже плохая пьеса держится удачною игрою артистовъ; но въ такомъ случаѣ говорятъ объ артистахъ, о выполненіи ролей, а о пьесѣ, большею частью, умалчиваютъ. Случается еще и то, что пьеса, дурно сложенная, имѣетъ успѣхъ, потому что довольно вѣрно попадаетъ на нѣкоторыя положенія въ обществѣ; но тогда опять говорятъ не о пьесѣ, а о той мысли, которой она обязана своимъ происхожденіемъ и которая дѣлаетъ ее занимательною. Новая комедія г. Островскаго, несомнѣнно, выше того и другого разряда пьесъ, пользующихся успѣхомъ на сценѣ. Мы имѣемъ тому очевидное доказательство—въ ней самой. Теперь, когда она „предана публичности“, то-есть появилась въ печати, мы можемъ говорить о ней не только какъ о произведеніи

---

[1]) „Отечественныя Записки“, 1853 г., № 4, т. 87, отд. V, стр. 100—120. (См. стран. 115.)

сценическомъ, но и литературномъ, и, повѣривъ въ чтеніи первыя впечатлѣнія, полученныя нами на сценѣ, смѣло утверждаемъ, она имѣетъ свои положительныя достоинства, не зависящія ни отъ игры актеровъ, ни отъ другихъ болѣе или менѣе случайныхъ обстоятельствъ.

Но только съ появленія пьесы въ печати наступаетъ для нея пора настоящей критической оцѣнки. Новая комедія г. Островскаго находится теперь на этой дорогѣ. Ее ожидаетъ въ литературѣ—мы въ этомъ не сомнѣваемся—пріемъ едва ли менѣе благосклонный, чѣмъ на сценѣ, но во всякомъ случаѣ—болѣе отчетливый. Мы также считаемъ себя обязанными сказать о ней наше мнѣніе, какъ о литературномъ произведеніи, пока она выйдетъ отдѣльною книгою, что́, вѣроятно, не замедлитъ.

Комедія г. Островскаго... Отчего, однако, автору непремѣнно хочется называть свою пьесу комедіей? Предлагаемый нами вопросъ не есть вопросъ простого любопытства, но находится въ тѣсной связи съ самымъ содержаніемъ пьесы и прямо выходитъ изъ него. Подробно пересказывать это содержаніе было бы излишне, когда съ полною вѣроятностью можно предполагать, что оно ужъ извѣстно большинству читателей, если не изъ чтенія, то изъ представленій на сценѣ. Комическій элементъ есть въ пьесѣ, въ томъ нѣтъ спора, но онъ далеко не составляетъ въ ней господствующаго интереса: не имъ она связана, не имъ держится, да не имъ и развязывается. Много комическаго во внѣшней постановкѣ дѣйствующихъ лицъ, въ ихъ пріемахъ, въ складѣ ихъ рѣчей, нерѣдко въ самыхъ понятіяхъ; но за этою смѣшною внѣшностью проходитъ въ прямомъ смыслѣ драматическое движеніе чувствъ. Чисто-комическимъ остается только второстепенное лицо „свата“, прекрасно задуманное. Первостепенныя же лица настроены такимъ образомъ, что смѣхъ, веселый смѣхъ держится лишь при первомъ ихъ появленіи и скоро потомъ уступаетъ мѣсто другому, совершенно противоположному настроенію духа. Въ этомъ, конечно, состоитъ особенное искусство автора, но оно еще не оправдываетъ названія комедіи. Завязка комедіи еще меньше располагаетъ зрителя къ веселости. Когда видишь передъ собою человѣка, который замышляетъ воспользоваться легковѣріемъ неопытной молоденькой дѣвушки, чтобы поправить свои дѣлишки, хотя бы на счетъ ея добраго имени,—становится вовсе не смѣшно.

И когда потомъ другой человѣкъ великодушно подаетъ ей руку, чтобъ спасти ее отъ отцовскаго гнѣва,—опять не чувствуешь никакого расположенія смѣяться. Тутъ затронуты совсѣмъ другія душевныя струны, тутъ воочію видишь совершающееся торжество благородныхъ движеній неиспорченной природы надъ расчетомъ, надъ эгоизмомъ, и отвѣчаешь на нихъ полнымъ сердечнымъ сочувствіемъ. Когда передъ глазами проходятъ смѣняющіяся одно другимъ драматическія положенія, кому приходитъ въ голову, что смотришь комедію? Однимъ только можно бы еще нѣсколько оправдать ея названіе: пьеса оканчивается безъ всякой печальной катастрофы: подъ-конецъ всѣ примирены, всѣ счастливы, и даже главный виновникъ всей суматохи, задержанный содержателемъ трактира за долги, опять отпущенъ на свободу.

Впрочемъ, главное дѣло не въ названіи, а въ самой вещи. Уступимъ автору, если угодно, комедію и возьмемъ себѣ драму. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ пьеса умно задумана и, за немногими исключеніями, ведена съ большимъ искусствомъ въ продолженіе почти всего замышленнаго дѣйствія. Не во гнѣвъ будь сказано нѣкоторымъ критикамъ, ухитрившимся видѣть недостатокъ драматическаго произведенія въ самой простотѣ его содержанія, намъ нравится она именно этимъ „недостаткомъ". Что́ можетъ быть проще сюжета—представить молодую дѣвушку изъ простого быта, безъ всякаго искусственнаго образованія и, слѣдовательно, безъ развитія, увлеченную на минуту человѣкомъ пріятной наружности, но безъ всякихъ правилъ, потомъ брошенную имъ на первой же станціи и принужденную снова возвратиться въ покинутую семью, гдѣ она должна искать примиренія? Если это не сама дѣйствительность, то многое въ подобномъ вымыслѣ такъ близко къ ней и такъ походитъ на нее, что нерѣдко передается въ анекдотическомъ разсказѣ, какъ дѣйствительное происшествіе. Повидимому, отъ автора не требовалось даже особенной изобрѣтательности: ему стоило только прислушаться къ народной молвѣ и обработать данное ею содержаніе. Эта кажущаяся легкость поэтической производительности способна, впрочемъ, обмануть лишь самую неопытную мысль. Мысль „Ревизора" взята изъ такого же источника, а между тѣмъ основанная на ней пьеса остается поразительнѣйшимъ памятникомъ творческой спо-

собности своего автора. Новое драматическое произведеніе г. Островскаго также отличается необыкновенною простотою поэтической основы. Искусство автора состояло не въ томъ, чтобъ прикрасить данный простой матеріалъ и придать ему мнимое разнообразіе выдумками своего изобрѣтенія, но въ томъ, чтобъ облечь его въ художественную форму, то-есть обставить его живыми лицами, мотивировать дѣйствіе самою природою созданныхъ характеровъ и провести его, согласно съ поэтическою истиною, черезъ всѣ положенія, требуемыя драматическимъ развитіемъ: и мы находимъ, что гдѣ только авторъ былъ вѣренъ чисто-художественнымъ требованіямъ, тамъ вездѣ почти онъ достигъ своей цѣли. Сверхъ того, онъ умѣлъ привить къ этой простой основѣ такъ много человѣчнаго, затронулъ въ душѣ человѣка такія чувствительныя струны и нашелъ для нѣкоторыхъ душевныхъ движеній такіе вѣрные и естественные тоны, что потрясенное имъ чувство зрителя способно отказаться, по крайней мѣрѣ на первое время, отъ всѣхъ другихъ художественныхъ требованій. Немногіе еще въ такой степени, какъ авторъ новой пьесы, владѣютъ рѣдкимъ искусствомъ изобрѣтать простыя, но истинно-драматическія положенія, въ которыхъ человѣческое чувство дѣйствующаго лица какъ бы невольнымъ движеніемъ поднимается съ самаго дна души и сказывается зрителю или читателю въ своей безыскусственной формѣ, какъ неподдѣльный голосъ самой природы, какъ что-то оторвавшееся прямо отъ сердца.

Подойдемъ поближе къ дѣйствующимъ лицамъ и всмотримся пристальнѣе въ ихъ физіономіи. Максимъ Ѳедотычъ *Русаковъ*, „богатый купецъ“, какъ опредѣляетъ его самъ авторъ, стоитъ на первомъ планѣ. Лицо во всѣхъ почти отношеніяхъ весьма почтенное; талантливый авторъ, какъ видно по всему, поработалъ надъ нимъ съ большимъ усердіемъ и, можно даже сказать, съ особенною любовью. Русаковъ отличается не тѣмъ только, что честно ведетъ или велъ свои коммерческія дѣла: онъ честенъ и прямъ во всемъ и со всѣми. Долгая жизнь не наложила на него никакого клейма и не оставила на его совѣсти ни одного темнаго пятна. Ему не о чемъ вспомнить съ укоромъ для самого себя. Просто, безхитростно смотритъ онъ на жизнь и ничего не требуетъ себѣ отъ другихъ, кромѣ должнаго. Прямизною и откровенностью проникнуто все его обращеніе,

но въ немъ нѣтъ ничего, что поражало бы грубостью или рѣзкостью. Онъ человѣкъ строгихъ правилъ, и хотя нѣсколько суровъ по виду, но въ немъ много душевной доброты и теплой любви, что́ придаетъ обращенію его съ людьми близкими даже значительный оттѣнокъ нѣжности. Примѣрный семьянинъ, онъ съ любовью вспоминаетъ о своей покойной женѣ, съ которою въ мирѣ и согласіи прожилъ многіе годы, и со всею нѣжностью добраго отца любитъ свою единственную дочь, ея живое изображеніе и лучшую отраду своей старости. Твердый нравъ его и житейская опытность, впрочемъ, противятся тѣмъ слабостямъ, которыми сопровождается природная мягкость сердца или излишняя родительская нѣжность. Несмотря на всю свою любовь къ дочери, онъ не простилъ бы ей женской слабости и никогда не позволилъ бы свободнаго выбора; но при видѣ ея слезъ и слѣдующаго затѣмъ безчувственнаго состоянія, онъ смягчается, уступаетъ своему чувству и мѣняетъ свое непреклонное рѣшеніе. Гнѣвный тамъ, гдѣ оказывается нарушеніе долга или замѣчается зловредная необузданность нрава, онъ, впрочемъ, легко уступаетъ влеченію своего великодушнаго сердца и, въ порывѣ радости, первый подаетъ руку на примиреніе съ тѣми, кого оскорбилъ въ минуту своего справедливаго негодованія, и даже готовъ просить у нихъ прощенія. Словомъ, откуда ни подойди къ Русакову, отовсюду виденъ „человѣкъ". Въ упрекъ ему, какъ характеру, можно сказать развѣ одно, что онъ слишкомъ идеаленъ, что онъ скорѣе принадлежитъ къ числу искомыхъ характеровъ, нежели тѣхъ, съ какими обыкновенно приходится встрѣчаться въ жизни. Что жъ! Идеальное направленіе вовсе не лишнее въ литературѣ, когда въ ней такъ часто встрѣчаешь списываніе грязныхъ сторонъ дѣйствительной жизни. Идеальное направленіе облагораживаетъ литературу: оно лучшее противодѣйствіе распространяющемуся въ ней циническому элементу изображеній. Г. Островскій имѣлъ полное право поставить на первомъ планѣ своей драмы одинъ изъ такихъ характеровъ.

Бородкинъ также сто́итъ того, чтобы въ него всмотрѣться попристальнѣе. Это совершенно новый типъ въ нашей драматической литературѣ. Авторъ отмѣчаетъ его „молодымъ купцомъ, имѣющимъ мелочную лавочку и погребокъ". Съ перваго взгляда ожидаешь узнать въ немъ если не родного

брата извѣстному Лазарю, знакомому намъ по другой пьесѣ того же самаго автора[1]), то довольно близкаго его родственника. По первымъ пріемамъ и въ самомъ дѣлѣ можно подумать, что есть между ними что-то родственное Бородкинъ хоть и молодъ, а знаетъ смѣтку не хуже другого; это, что называется, малый не промахъ; хоть и немного жилъ на свѣтѣ, а своихъ выгодъ не пропуститъ и въ обиду себя не дастъ; человѣкъ онъ, какъ кажется, довольно ловкій въ своихъ дѣлахъ и практическій, и въ нуждѣ или при какой оказіи не пойдетъ просить другого, чтобы замолвить за себя доброе словечко. Таково, по крайней мѣрѣ, впечатлѣніе, которое Бородкинъ производитъ на зрителя при первомъ своемъ появленіи на сценѣ, то-есть въ разговорѣ съ содержателемъ трактира. Но мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести въ подлинникѣ хотя часть этой сцены, чтобы читатели могли видѣть, до какой степени мастерства доведено авторомъ искусство заставлять говорить дѣйствующія лица свойственнымъ имъ языкомъ.

Бородкинъ и Маломальскій (*входятъ*).

Бородкинъ. Теперича которыя я вина получилъ, Селиверстъ Потапычъ, такъ останетесь довольны: первѣйшаго сорта.

Маломальскій. Молодцы! соберите чайку... поскорѣй... лучшаго! (*Садится за столъ.*)

Бородкинъ. Если вы теперича попробуете, такъ вы завсегда будете предпочитать брать у меня. А я вамъ, Селиверстъ Потапычъ, завсегда этимъ дѣломъ могу услужить. (*Половой приноситъ чай и ставитъ на столъ. Бородкинъ начинаетъ мыть чашки и разливать.*) Позвольте васъ попотчевать бутылочку лисабончику.

Маломальскій. Я, братъ, ничего... Я выпью.

Бородкинъ. Мальчикъ! Паренекъ! (*Входитъ мальчикъ.*) Сбѣгай въ лавку, скажи приказчику, чтобъ отпустилъ бутылку лисабону лучшаго. (*Мальчикъ уходитъ. Бородкинъ разливаетъ чай.*) А ему, Селиверстъ Потапычъ, нѣтъ, вретъ,—не удастся ему замарать меня.

Маломальскій. Теперича, если ты ведешь свои дѣла правильно и, значитъ, аккуратно... ну, и никто тебя не можетъ замарать.

Бородкинъ. Я, истинно, Селиверстъ Потапычъ, благодарю Бога! Какъ остался я послѣ родителя семнадцати лѣтъ, всякое притѣсненіе терпѣлъ отъ родныхъ, и теперича, который капиталъ отъ тятеньки остался, я даже могъ рѣшиться всего капиталу. Все это я перенесъ равнодушно, и когда я пришелъ въ возрастъ, какъ должно,—не токма, чтобы я промоталъ или,

---

[1]) „Свои люди—сочтемся".

тамъ, какъ прожилъ, а сами знаете, имѣю можетъ-быть, вдвое-съ; живу самъ по себѣ, своимъ умомъ, и никому уважать не намѣренъ.

Маломальскій. Это ты въ правилѣ... дѣйствуешь.

Бородкинъ (*стучитъ крышкой чайника*). Кипяточку! (*Половой подходитъ и беретъ чайникъ.*)

Маломальскій. Ты... имѣешь свою... правилу...

Бородкинъ. Опять, Селиверстъ Потапычъ, за что онъ меня обижаетъ?

Маломальскій. Онъ не должóнъ этого...

Бородкинъ. Теперича онъ пущаетъ слухъ, якобы, то-есть, я занимаюсь этимъ малодушествомъ—пить. Такъ это онъ вретъ: кто меня видѣлъ пьянымъ?.. Опять хоша бъ я доподлинно пилъ, все-таки, стало-быть, на свои; что ли, я на его счетъ буду пить? А все это главная причина—одна зависть. (*Половой приноситъ воды. Бородкинъ разливаетъ.*) А, можетъ, онъ того не знаетъ, что я плевать хотѣлъ на все это.

Маломальскій. Слушай ты! Оставь втуне... пренебреги! Какъ ты свой кругъ имѣешь дѣла, и дѣйствуешь ты примѣрно въ этомъ кругѣ... такъ ты и должóнъ дѣйствовать, и тебѣ ничего не можетъ препятствовать никто...

Бородкинъ. Все-таки обидно. Говорится пословица: добрая слава лежитъ, а худая бѣжитъ. Зачѣмъ я теперь скажу про человѣка худо? Лучше я должóнъ сказать про человѣка хорошо.

Маломальскій. Это правильно говоришь.

Бородкинъ. Всякій по чужимъ словамъ судитъ! А почемъ онъ знаетъ, можетъ, онъ мнѣ этимъ вредъ дѣлаетъ. Я жениться хочу, такъ кому же это нужно, когда про человѣка такая слава идетъ.

Маломальскій. Слушай!. Коли ты женишься... кто же ему можетъ повѣрить... потому, какъ онъ есть пустой человѣкъ, и, съ позволенія сказать, ничтожный его весь разговоръ... Никому вреда... окромя себя.

Бородкинъ. Конечно, Селиверстъ Потапычъ, всякой знаетъ, что все это наносныя слова; да къ чему же это-съ? Что я ему сдѣлалъ? Я объ немъ и думать-то забылъ, потому какъ онъ невѣжа и ругатель.

Половой (*приноситъ бутылку*). Прикажете откупорить?

Бородкинъ. Откупори да бокальчиковъ дай!

Половой. Сейчасъ! (*Откупориваетъ, подаетъ два бокала и наливаетъ.*)

Бородкинъ. Пожалуйте-съ! (*Берутъ бокалы и пьютъ.*) Какъ на вашъ вкусъ?

Маломальскій. Ничего... живетъ... Эй, ты! Прибирай чай!

Бородкинъ. Я вамъ это самое по полтинничку поставлю. (*Молчаніе. Пьютъ.*) А я вамъ, вотъ... передъ Истиннымъ... то-есть, не то чтобы пьянство или тамъ что другое, а больше того, стараюсь, чтобы люди про меня хорошее говорили! Какъ живу я при матушкѣ теперича пятый годъ, сами знаете, честно и благородно... Пожалуйте еще... выкушайте... (*Наливаетъ.*) Никого я не трогаю, значитъ, никому до меня дѣла нѣтъ.

Авторъ такъ вслушался въ этотъ языкъ, такъ вѣрно воспроизводитъ его во всѣхъ подробностяхъ, что не забываетъ передавать въ вѣрной копіи и самыя допускаемыя въ немъ неправильности. Строгая критика, можетъ-быть, осудитъ это слишкомъ раболѣпное воспроизведеніе болѣе или менѣе случайныхъ формъ языка, какъ не совсѣмъ

достойное искусства, но тѣмъ не менѣе должно сознаться, что оно не мало способствуетъ впечатлѣнію, усиливая акустическій обманъ.

Нисколько не поражаетъ далѣе въ Бородкинѣ, когда изъ продолженія его разговора съ Маломальскимъ узнаемъ, что онъ ищетъ руки дочери Русакова и проситъ своего собесѣдника быть сватомъ, замѣчая притомъ, что это есть „его желаніе и маменькино". Отчего же и не такъ? Единственная дочь Русакова—невѣста не только пригожая, но и очень выгодная. Нѣтъ ничего страннаго и въ томъ, что, какъ видно изъ разговора Бородкина съ самою невѣстою (дѣйствіе 2-е, явленіе 4-е), она дѣйствительно пришлась ему по сердцу, и что было время, и очень недавно еще, когда она тоже отвѣчала на любовь его. Все это въ порядкѣ вещей. Но вдругъ этотъ самый Бородкинъ, съ которымъ вы только-что успѣли познакомиться въ двухъ-трехъ сценахъ, вырастаетъ въ цѣлаго героя или, что почти то же, возвышается въ своей любви до истинно-героическаго чувства: онъ не только спокоенъ, твердъ при вѣсти о похищеніи или бѣгствѣ своей невѣсты изъ родительскаго дома—онъ нисколько не теряетъ душевной ясности даже и по возвращеніи опозоренной бѣглянки, съ первыхъ же словъ открыто беретъ ея сторону противъ глубоко-оскорбленнаго отца; онъ, недавно еще отвергнутый, презрѣнный ею ради какого-то смазливаго проходимца, становится въ самую критическую минуту щитомъ и опорою ея противъ отцовскаго гнѣва; мало того—однимъ разомъ, однимъ словомъ снимаетъ весь позоръ дѣвушки, объявляя себя женихомъ ея и вѣрнымъ заступникомъ противъ всякаго. Движеніе истинно-благородное, чувство прекрасное, въ высокой степени человѣчное; жаль только, что манера нѣсколько сказочная. Откуда взялось оно и чѣмъ подготовлено? Считать ли его за внезапное вдохновеніе доброй природы, любви или чего-нибудь другого? Отъ автора, какъ драматическаго писателя, никогда не говорящаго прямо отъ себя, не добьемся ничего опредѣленнаго на этотъ счетъ, да и отъ самого Бородкина многаго не выпытаешь. Вообще, поэтическимъ созданіямъ г. Островскаго недостаетъ этой удивительной прозрачности въ характерахъ, къ которой пріучены мы Гоголемъ, и сквозь которую какъ-будто видишь всего человѣка, все его прошлое воспитаніе, привычки, наклонности; или, пожалуй,

созданія г. Островскаго и прозрачны настолько, что за ними нерѣдко видится, чувствуется движущая ими рука самого автора и временемъ даже управляющая ихъ дѣйствіями. Относительно Бородкина тоже, кажется, намъ не надобно далеко ходить, чтобы понять нечаянное проявленіе въ немъ героизма. Авторъ самъ, очевидно, находился въ идеальномъ настроеніи духа; оно сообщило свой колоритъ одному дѣйствующему лицу, облагородивъ все нравственное существо его; отчего же было ему въ той или другой степени не отразиться и на другомъ? Сохрани насъ Богъ ставить въ упрекъ автору идеализацію второго характера: если она нисколько не мѣшаетъ въ Русаковѣ, то нѣтъ никакой причины быть ей неумѣстною въ Бородкинѣ. Но мы бы хотѣли, чтобъ героизмъ послѣдняго былъ болѣе мотивированъ, чтобъ онъ былъ въ полной гармоніи со всею его нравственною природою и всѣми предшествующими данными, а не выходилъ бы какъ deus ex machina, чтобъ своимъ присутствіемъ помочь распутать слишкомъ затянувшійся узелъ драмы. Бородкинъ вдругъ вырастаетъ въ вашихъ глазахъ, прежде чѣмъ вы успѣли отличить въ немъ правое отъ лѣваго, свѣтлое отъ темнаго, такъ что вы не знаете, какой это ростъ—натуральный или искусственный. Сценически, впрочемъ, это неожиданное движеніе выполнено прекрасно и производитъ сильный эффектъ на зрителей.

Между женскими характерами первое мѣсто, по важности роли, принадлежитъ *Дунѣ*, дочери Русакова. Сколько мы могли замѣтить до сего времени, женскіе типы г. Островскаго дѣлятся на два рода: отрицательные и положительные. Весьма удачный типъ перваго рода мы видѣли въ Липочкѣ. *Бѣдная невѣста* начала собою второй рядъ, и Дуня, повидимому, назначена продолжать въ своемъ лицѣ ту же самую серію женскихъ характеровъ. Прежде мы имѣли уже случай замѣтить, что положительные женскіе типы менѣе удаются автору, чѣмъ отрицательные: новая пьеса и новый женскій характеръ почти не разубѣдили насъ въ этомъ мнѣніи. Не то чтобъ Дуня походила на Марью Андреевну (въ *Бѣдной невѣстѣ*): у каждой изъ нихъ есть своя обстановка, и между ними самими выходитъ большая разница. Марья Андреевна получила что-то похожее на образованіе, около нея есть кое-какой свѣтъ, въ ней самой мелькаетъ нѣчто похожее на развитіе, она, къ

несчастію, не лишена даже нѣкоторой наклонности къ резонерству... Въ Дунѣ ничего этого нѣтъ. Дуня въ нѣкоторомъ смыслѣ дитя природы, naturwüchsig, какъ говорятъ нѣмцы. Она выросла въ глуши уѣзднаго города, воспиталась, какъ Богъ велѣлъ, въ четырехъ стѣнахъ родительскаго дома, сберегаемая бдительнымъ отцовскимъ глазомъ; свѣтъ и образованіе не коснулись ея, да едва ли знакомы ей и по имени. Есть подлѣ нея одна тетка, старая дѣва, которая жила нѣсколько лѣтъ въ „Таганкѣ", слыхала, что есть какая-то образованность, и отъ всей души увѣрена, что это заморское растеніе уживается со всѣмъ, только не съ бородою: по понятіямъ Арины Ѳедотовны, что́ борода, то и невѣжество, что́ не мужикъ, то и образованность. Таковы ужъ понятія Арины Ѳедотовны объ образованности, которой она и въ глаза не видала. Само-собою разумѣется, что Дунѣ нечѣмъ было позаимствоваться отъ такой тетушки: она и осталась, чѣмъ была прежде, пока еще та проживала въ Таганкѣ—безъ всякаго развитія, безъ понятій, съ однимъ только естественнымъ чувствомъ. Очевидно, что тутъ нѣтъ мѣста никакому резонерству: Дуня живетъ только непосредственными ощущеніями. Нельзя даже сказать, чтобъ въ ней глубоко были укоренены эти самыя патріархальные понятія и обычаи, среди которыхъ она выросла, или, можетъ-быть, глупая тетушка порасшатала ихъ въ племянницѣ, полагая, что все это—невѣжество, и набивая ей голову разными бреднями, которыя для нея самой замѣняли образованность: какъ бы то ни было, Дуня легко отдается своему чувству и, не задумываясь, переходитъ вмѣстѣ съ нимъ отъ одного предмета къ другому, хотя бы это и не совсѣмъ сообразовалось съ понятіями о долгѣ и съ положеніемъ ея въ семействѣ.

Въ головѣ у ней немножко ходитъ вѣтеръ, а воли у нея нѣтъ никакой, чтобъ устоять противъ его теченія. Къ глубокой страсти Дуня тоже неспособна: она можетъ полюбить человѣка; но приглянулся ей красивый мужчина или хоть и не красивый, а такъ-себѣ, недурной наружности, она ужъ и растаяла, она ужъ, пожалуй, готова и бѣжать съ нимъ изъ отеческаго дома. Есть у нея одна постоянная привязанность, есть непритворная любовь къ отцу, который не налюбуется ею; но и это чувство не настолько сильно, чтобъ замѣнить ей недостатокъ благоразумія. Подобной

природѣ, лишенной всякой внутренней опоры, могло бы помочь развѣ одно—настоящее образованіе—то, которое не ссорится ни съ бородою, ни съ другими особенностями внѣшняго вида и заботится гораздо больше о содержаніи, нежели о формѣ. Но, къ сожалѣнію, Дунѣ внушено было только ложное понятіе о такъ-называемой образованности; а образованію она осталась столько же чужда, какъ и ея почтенная тетушка. Безъ сильной воли и безъ той нравственной опоры, которую даетъ образованіе—какъ и могла она быть лучше того, чѣмъ вышла на самомъ дѣлѣ?..

Все это, впрочемъ, въ порядкѣ вещей. Дунѣ можно отказать во многомъ, только не въ естественности; такія лица, такіе характеры встрѣчаются въ извѣстномъ быту во множествѣ. Въ этомъ отношеніи Дуня имѣетъ большое преимущество передъ Марьей Андревною. Она даже особенно нравится тѣмъ, что такъ вѣрно выражаетъ природу нѣкоторыхъ женщинъ. Она, какъ пташка, не говоритъ, а какъ-будто поетъ на какой-то знакомый ладъ: „Хоть бы ужъ поскорѣе онъ пріѣхалъ; по крайней мѣрѣ, я бы ужъ знала, а то какъ тѣнь какая хожу, ногъ подъ собою не слышу... Ну, идетъ!.. И безъ него-то мнѣ ужъ тошнехонько, не глядѣли бы глаза ни на что... На грѣхъ я его увидѣла! Такъ вотъ съ тѣхъ поръ изъ ума нейдетъ, и во снѣ все его вижу. Словно я къ нему привороженная какая. И нѣтъ мнѣ никакой радости! Прежде я веселилась, дѣвка, какъ птичка порхала, а теперь сижу вотъ, какъ къ смерти приговоренная, не веселитъ меня ничто, не глядѣла бы я ни на кого. Ужъ и что я бѣдная въ эти дни слезъ пролила!“ („Москв.“, стр. 33). Не тотъ ли же это тоскливый тонъ, который знакомъ вамъ изъ русской народной пѣсни? Не та ли же это тоскующая женщина? Не повторяется ли еще разъ и въ этихъ тонахъ старый, столько вѣковъ прошедшій плачъ Ярославны? Все это прекрасно, не лишено даже нѣкоторой поэзіи, но какъ замѣтно, что авторъ поскупился здѣсь на идеализацію, что онъ не прибавилъ почти не единой черты къ тому, что́ нашелъ въ самой дѣйствительности! На то онъ былъ, конечно, воленъ: никто не подумаетъ оспаривать у него этого права. Но почему же тамъ, гдѣ одинъ характеръ весь запечатлѣнъ идеальнымъ направленіемъ, гдѣ другой сбивается на ту же самую стать, третій остался бы только вѣрною копіей дѣйствительности?

Между лицами, необходимыми для завязки драмы, есть еще одно—*Вихоревъ*; но съ нимъ мы спускаемся еще ниже. Авторъ характеризуетъ его словомъ „проѣзжій", а, по понятіямъ Арины Ѳедотовны, онъ выходитъ „образованный кавалеръ". Этотъ „образованный кавалеръ"—человѣкъ безъ всякихъ правилъ. Дѣла, то-есть опредѣленнаго занятія, у него нѣтъ; имѣніе, какое у него было, онъ давно промоталъ, и чтó осталось, то разорено; такъ чтобъ не пропасть совсѣмъ отъ долговъ, онъ и придумалъ аферу—ѣздитъ по городамъ и сманиваетъ богатыхъ купеческихъ дочекъ, въ надеждѣ притянуть себѣ черезъ нихъ порядочный капиталецъ. Онъ не хлопочетъ ни объ умѣ ни о красотѣ: ему были бы только деньги. Глупая скорѣе влюбится „сдуру". Чего не удастся хитростью, онъ не прочь взять силою—похитить, увезти и потомъ хладнокровно бросить на первой станціи, если окажется, что нѣтъ никакого расчета на деньги. Хоть бы какія-нибудь формы были у человѣка, хоть бы искры совѣсти: у Вихорева ровно ничего нѣтъ! Пусть читатели судятъ сами:

Авдотья Максимовна. Я, Викторъ Аркадьичъ, такъ разсудила: что лучше жить въ бѣдности, да съ милымъ человѣкомъ, чѣмъ въ богатствѣ, да съ постылымъ.

Вихоревъ. Съ милымъ! А какъ съ милымъ-то жить нечѣмъ будетъ?

Авдотья Максимовна. Да, вѣдь, у васъ есть деревня своя.

Вихоревъ. Деревня? Какая деревня!.. Все это вздоръ!.. Ты вотъ что скажи, только говори откровенно: дастъ онъ денегъ или нѣтъ?

Авдотья Максимовна. Не дастъ!

Вихоревъ. Такъ что жъ ты со мной дѣлаешь?

Авдотья Максимовна. Да развѣ я виновата, Викторъ Аркадьичъ?

Вихоревъ (*ходя по комнатѣ*). Вамъ только влюбляться, да какъ бы замужъ выйти за благороднаго, чтобы барыней быть!

Авдотья Максимовна. Что вы говорите, Викторъ Аркадьичъ?

Вихоревъ. Кому нужно даромъ-то васъ брать! Можно было, я думаю, догадаться—не маленькая! Любовь да нѣжности все на умѣ!.. Вѣдь, глупость-то какая! Всѣ вы думаете, что васъ за красоту берутъ, такъ съ ума и сходятъ!

Авдотья Максимовна (*закрывая лицо руками*). Бѣдная я, горемычная! Для чего это я только на свѣтъ рождена!

Вихоревъ. Видимое дѣло, что человѣку деньги нужны, коли онъ на купчихѣ хочетъ жениться! Влюбиться-то бы я и въ Москвѣ нашелъ въ двадцать разъ лучше, а то всякая дура думаетъ, что въ нее влюблены безъ памяти.

Степанъ (*входитъ*). Лошади готовы-съ.

Вихоревъ. Пошелъ вонъ, дуракъ! (*Степанъ уходитъ.*)

Авдотья Максимовна. Что вы со мной сдѣлали?. Куда я теперь дѣнусь?.. Какъ я домой покажусь?

Вихоревъ. А мнѣ-то какое дѣло?.. Зачѣмъ ѣхала?

Авдотья Максимовна. Вѣдь, вы меня насильно посадили.

Вихоревъ. Выпроси у отца сто тысячъ, такъ я, пожалуй, женюсь на тебѣ. Будешь барыня!.. („Москв.", стр. 54—55.)

Какой безпощадный цинизмъ и дѣлъ и словъ! Какое безобразное извращеніе нравственныхъ инстинктовъ человѣческой природы! Какая закоснѣлость въ невѣжествѣ! Развѣ только самая крайняя степень неразвитія могла не разпознать въ немъ его пошлости и низости душевной и почувствовать къ нему влеченіе, даже что-то въ родѣ любви. Зато передъ этимъ пошлымъ типомъ какъ выростаютъ Русаковъ и Бородкинъ! Они кажутся истинными великанами передъ этимъ пигмеемъ нравственнаго чувства. Не знаемъ, имѣлъ ли при этомъ авторъ въ виду какой-нибудь расчетъ—видимъ только, что онъ не занялся имъ наравнѣ съ другими дѣйствующими лицами, не поработалъ надъ нимъ, какъ бы слѣдовало. Типъ вышелъ общій—пошлеца, въ которомъ стерлись послѣдніе слѣды человѣческаго стыда и который живетъ однимъ надувательствомъ; но въ немъ нѣтъ почти ничего личнаго, индивидуальнаго. Изображенія Вихоревыхъ, болѣе или менѣе удачныя, нерѣдко попадаются въ литературѣ; но не видно, чѣмъ бы Вихоревъ новой пьесы отличался отъ другихъ подобныхъ ему, или что внесено съ нимъ въ литературу новаго. Положимъ далѣе, что *такого* лица требовалъ общій планъ пьесы, и что не иначе, какъ надѣливъ его именно *такими* свойствами, можно было прійти къ извѣстной развязкѣ; но, по нашему мнѣнію, никакое частное требованіе не освобождаетъ художника отъ непремѣнной обязанности давать подъ каждымъ человѣческимъ именемъ живое лицо, обрисованное индивидуальными чертами. Иначе чѣмъ же бы отличалось художественное отъ нехудожественнаго? Въ Хлестаковѣ тоже не Богъ-знаетъ какъ великъ нравственный фондъ; Хлестаковъ, именно Хлестаковъ необходимо нуженъ для завязки и развязки извѣстной комедіи: но кто же не отличитъ тотчасъ Хлестакова отъ другихъ однородныхъ ему типовъ въ литературѣ? Кромѣ общаго, у него есть свой собственный, ему только принадлежащій нравъ, свои наклонности и привычки, даже свои мечты... Впрочемъ, можетъ-быть, мы не совсѣмъ въ правѣ, требуя того, чего нѣтъ; можетъ-быть, это лежитъ частью въ самыхъ свойствахъ таланта автора; итакъ, будемъ довольствоваться даннымъ.

О самомъ дѣйствіи, которое составляетъ содержаніе новой комедіи, мы замѣтили уже выше, что оно умно сложено и ведено большею частью очень искусно. Особенно замѣтенъ большой успѣхъ въ построеніи, сравнительно съ предпослѣднею пьесою того же автора. Нѣтъ этого множества вводныхъ сценъ, которыя въ *Бѣдной невѣстѣ* такъ долго задерживаютъ читателя у самаго входа въ дѣйствіе и похожи на огромный фронтонъ у небольшого зданія. Здѣсь, напротивъ, зритель очень быстро входитъ въ дѣйствіе и почти не задерживается потомъ до конца его развитія. Это показываетъ въ авторѣ большую сосредоточенность и происходящее отсюда бо́льшее обладаніе своимъ предметомъ. Мы могли бы даже замѣтить, что авторъ пожертвовалъ кое-чѣмъ для того, чтобы сколько возможно ускорить ходъ дѣйствія: у него какъ-будто на совѣсти лежало слишкомъ длинное подготовленіе къ нему въ предшедствующей пьесѣ. Въ первомъ же дѣйствіи, въ какихъ-нибудь шести или семи сценахъ, зритель знакомится почти со всѣми дѣйствующими лицами, и тутъ же, на его глазахъ, завязывается главный узелъ драмы: начинается дѣйствіе разговоромъ сначала слуги Вихорева съ трактирнымъ служителемъ, потомъ Бородкина съ Маломальскимъ и Маломальскаго съ Русаковымъ, а оканчивается свиданіемъ Дуни съ Вихоревымъ, который тутъ же уговариваетъ ее бѣжать съ нимъ. Все это происходитъ даже безъ перемѣны декораціи. Въ томъ же самомъ трактирѣ, въ той же комнатѣ, гдѣ Степанъ ѣстъ свою селедку, гдѣ Бородкинъ съ Маломальскимъ распиваютъ лисабончикъ, гдѣ Русаковъ выпиваетъ свою рюмку ерофеича, гдѣ, наконецъ, Вихоревъ съ Баранчевскимъ (лицо почти лишнее) пьютъ шампанское,—тутъ же происходитъ и свиданіе Вихорева съ Дунею; и чтобъ придать этой сценѣ больше вѣроподобія, половой (надо, чтобъ онъ былъ одинъ) выгоняется вонъ изъ комнаты, и на стражѣ ставится сама жена содержателя трактира. Эта Анна Антоновна для того только и выдумана, чтобы постоять на караулѣ во время свиданія, да сказать Вихореву „амуръ!“. Ну, какъ хотите, а это ужъ слишкомъ по-аристотелевски, и наша новая драма могла бы быть немного посвободнѣе въ своихъ движеніяхъ...

Второй актъ весь происходитъ въ домѣ Русакова. Зритель еще не увлеченъ особенно самымъ дѣйствіемъ, но вниманіе его постоянно занято быстрою перемѣною сценъ и

ихъ интересными подробностями. Не увлеченъ же онъ дѣйствіемъ потому, что оно пока занимаетъ его *больше* внѣшнею стороною, нежели внутреннею. Конечно, Дуня борется тутъ между своею любовью къ отцу и тѣмъ, чтó она называетъ любовью къ „этакому красавцу", то-есть Вихореву. Но эта борьба вовсе не изъ тѣхъ, которыя захватываютъ духъ у зрителя. Онъ ужъ отчасти знаетъ цѣну Вихореву и какъ-то плохо вѣритъ въ глубокую привязанность къ нему дѣвушки. Симпатическому чувству тутъ, право, не Богъ-знаетъ какъ много пищи. Относительно же Бородкина Дуня сама много охлаждаетъ стороннее участіе, говоря, что любила его когда-то, да теперь ужъ больше не любитъ; а въ возможность глубокой страсти съ *его* стороны зрителю пока нѣтъ еще особенной причины вѣрить. Даже и то, что Дуня, при рѣшительномъ словѣ отца: „Говорю тебѣ, Авдотья, иди за Бородкина; не пойдешь—не будетъ тебѣ моего благословенія", падаетъ въ обморокъ, какъ-то не совсѣмъ ладится... и съ степенью любви ея къ Вихореву и съ чувствами ея въ отношеніи къ Бородкину, къ которому она вовсе не питаетъ отвращенія, и, скажемъ болѣе, съ самымъ ея воспитаніемъ. Развѣ объяснить это сильное потрясеніе, которое произошло въ ней, однимъ страхомъ отцовскаго гнѣва и его негодованія? Какъ бы то ни было, а это обстоятельство имѣетъ рѣшительное вліяніе на ходъ всего дѣйствія. Старикъ размягчается и согласенъ выдать дочь за Вихорева, съ однимъ только условіемъ—если окажется, что Вихоревъ точно любитъ Дуню любовью, а не ищетъ руки ея изъ-за денегъ. Зритель знаетъ ужъ, чего можно ждать отъ проѣзжаго красавца, нисколько не вѣритъ въ безкорыстную любовь съ его стороны и ждетъ скорой развязки. Но авторъ придумываетъ новый оборотъ.

Самая занимательная сцена въ третьемъ актѣ—это разговоръ Русакова съ Вихоревымъ, когда онъ пріѣзжаетъ (въ чужомъ экипажѣ) просить руки его дочери и рисуется передъ нимъ своимъ мнимымъ благородствомъ и образованностью въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ ее Арина Ѳедотовна. Интересенъ особенно Русаковъ: онъ удивительно хорошо выдержанъ въ томъ смыслѣ, какъ задуманъ. Вѣрность въ каждомъ словѣ и въ каждомъ почти тонѣ. Передъ его простымъ, но здравымъ смысломъ какъ еще ничтожнѣе и пустѣе кажется этотъ наглый Вихоревъ со своими напро-

катъ взятыми фразами! Мы возьмемъ изъ одной этой прекрасной сцены два отрывка, для образца:

Вихоревъ. Скажите, сдѣлайте одолженіе, Максимъ Ѳедотычъ, бывали вы въ столицахъ?

Русаковъ. Какъ, батюшка, не бывать: въ Москву по дѣламъ ѣзжалъ.

Вихоревъ. Не правда ли, тамъ жизнь совсѣмъ другая, больше образованности, больше развлеченія? Я думаю, посмотрѣвши на столичную жизнь, довольно скучно жить въ уѣздномъ городѣ.

Русаковъ. Не всѣмъ же жить въ столицахъ, надобно кому-нибудь жить и въ уѣздномъ городѣ...

Вихоревъ. Я съ вами согласенъ, Максимъ Ѳедотычъ, вы, вѣдь, не такой купецъ, какъ прочіе уѣздные купцы: вы составляете, нѣкоторымъ образомъ, исключеніе. Но что жъ я говорю! Вы сами это очень хорошо знаете. Я думаю, вы съ вашимъ капиталомъ были бы и въ Москвѣ однимъ изъ первыхъ.

Русаковъ. Какъ знать чужой капиталъ!.. Нѣтъ, мнѣ и здѣсь хорошо.

Вихоревъ. Я понимаю, что вамъ здѣсь хорошо; вы здѣсь родились, привыкли, вамъ весь городъ знакомъ—конечно, привычка много значитъ; но у васъ есть дочь.

Русаковъ. Такъ что жъ что дочь?

Вихоревъ. Вы, вѣроятно, какъ чадолюбивый отецъ, захотите ей дать нѣкоторое образованіе, показать ей людей... наконецъ, найти хорошую партію. А гдѣ вы это здѣсь найдете?

Русаковъ. Да что жъ, развѣ здѣсь звѣри живутъ? Чай, тоже люди.

Вихоревъ. Да развѣ здѣсь васъ могутъ оцѣнить, Максимъ Ѳедотычъ? развѣ могутъ? Что вы говорите!

Русаковъ. Да что насъ цѣнить-то! Намъ этого не нужно. Ну, ихъ совсѣмъ и съ оцѣнкой-то. Былъ бы самъ по себѣ хорошъ, а то про меня чтó хошь говори. („Москвит.", стр. 38—39).

Вотъ другой отрывокъ изъ той же самой сцены:

Вихоревъ. Я надѣюсь, что вы на меня не обидитесь?

Русаковъ. Чтó вамъ, батюшка, угодно?

Вихоревъ. Охъ, Максимъ Ѳедотычъ, страшно... Но, во всякомъ случаѣ, такъ ли, не такъ ли, я надѣюсь, что мы останемся друзьями. (*Подаетъ ему руку, тотъ кланяется. Вихоревъ подвигается къ нему*) Влюбленъ, Максимъ Ѳедотычъ, влюбленъ... въ Авдотью Максимовну влюбленъ. Я бы свозилъ ее въ Москву, показалъ бы ей общество... у меня есть имѣніе не очень далеко отсюда. Я думаю, что, выйдя за меня, она нисколько себя не уронитъ... а главное — мнѣ хочется породниться съ вами, Максимъ Ѳедотычъ... Ну, и чинъ у меня...

Русаковъ. Полноте, ваше благородіе, мы люди простые, ѣдимъ пряники неписанные, гдѣ намъ! Вѣдь, насъ только за карманъ и уважаютъ.

Вихоревъ. Полноте, Максимъ Ѳедотычъ, чтó за идея!

Русаковъ. Право, такъ. А то за что насъ любить-то?

Вихоревъ. За добрую душу.

Русаковъ. Такъ ли, полно?

Вихоревъ. Я не понимаю, Максимъ Ѳедотычъ: у насъ какой-то странный разговоръ происходитъ.

Русаковъ. Не дѣло вы говорите. Вы люди благородные, ищите себѣ барышень, воспитанныхъ, а ужъ нашихъ-то дуръ оставьте намъ; мы своимъ-то найдемъ жениховъ какихъ-нибудь дешевенькихъ.

Вихоревъ. Однако, неужели же вы своей дочери не желаете добра, что не хотите отдать ее за человѣка благороднаго и притомъ такого, который ее любитъ?

Русаковъ. Оттого-то и не отдамъ, что желаю добра. А вы какъ думаете— я худа, что ль, ей желаю? Ну какая она барыня, посудите, отецъ: жила здѣсь въ четырехъ стѣнахъ, свѣту не видала. А купцу-то она будетъ жена хорошая, будетъ хозяйничать да дѣтей няньчить.

Вихоревъ. Но, Максимъ Ѳедотычъ, я ее люблю.

Русаковъ. Эхъ! (*Махнувъ рукой, отворачивается.*)

Вихоревъ. Я васъ увѣряю, что я люблю Авдотью Максимовну до безумія.

Русаковъ. Не повѣрю я вамъ.

Вихоревъ. Какъ не повѣрите?

Русаковъ. Такъ, не повѣрю, да и все тутъ.

Вихоревъ. Да какъ же вы не повѣрите, когда я вамъ даю честное слово благороднаго человѣка?

Русаковъ. Не за что вамъ ее любить! Она дѣвушка простая, невоспитанная и совсѣмъ вамъ не пара. У васъ есть родные, знакомые, всѣ будутъ смѣяться надъ ней, какъ надъ дурой, да и вамъ-то она опротивѣетъ хуже горькой полыни... такъ отдамъ я свою дочь на такую каторгу!.. Да накажи меня Богъ!..

Вихоревъ. Я вамъ говорю, что со мной она будетъ счастлива, я за это ручаюсь.

Русаковъ. Нечего намъ объ этомъ разговаривать—это дѣло несбыточное. Поищите себѣ другую, я свою не отдамъ. („Москвит.", стр. 40—42.)

По своей выдержанности, эта сцена, безспорно, одна изъ самыхъ удачныхъ въ цѣлой пьесѣ. Если она не прибавляетъ собственно драматическаго интереса, то даетъ много для характеристики. Русаковъ, выступающій здѣсь съ непоколебимымъ чувствомъ своего достоинства, получаетъ въ глазахъ зрителя новое право на участіе.

Вся сила драматическаго дѣйствія сосредоточена въ третьемъ актѣ. Странно, впрочемъ: чтобы перейти къ той части драмы, гдѣ чисто драматическій интересъ господствуетъ надъ другими, надобно перескочить черезъ одну довольно замѣтно выдавшуюся несообразность. Еще страннѣе подумать, что не будь одного случайнаго недоразумѣнія, вполнѣ зависѣвшаго отъ произвола автора, третій актъ могъ бы не существовать вовсе, по крайней мѣрѣ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ явился на сценѣ и въ литературѣ. Посмотрите, чѣмъ держится связь его съ предыдущими. Мы узнаемъ, что, послѣ обморока Дуни, отецъ перемѣнилъ свое рѣшеніе и согласился отдать ее за Вихорева подъ

однимъ извѣстнымъ условіемъ. Стало-быть, главное затрудненіе уладилось, и мысль Вихорева увезти Дуню не имѣетъ болѣе основанія. Ему оставалось бы только увидаться съ Дунею, чтобъ, узнавъ условіе, или принять его, или вовсе отказаться отъ своихъ плановъ на дѣвушку. Всякому заранѣе ясно, что Вихоревъ скорѣе надѣнетъ на себя петлю, чѣмъ польстится на невѣсту безъ приданаго; но никакъ не видно, чтобы въ такомъ случаѣ нужно еще было похищеніе: оно ужъ дѣлается совсѣмъ лишнимъ. Что́ же находимъ въ третьемъ актѣ? Онъ открывается сценою между Вихоревымъ и Дунею на постояломъ дворѣ. Итакъ, похищеніе ужъ состоялось. Зачѣмъ же и съ какою цѣлью? Отецъ ли, одумавшись, взялъ назадъ свое слово, или Вихоревъ хотѣлъ сильнѣе убѣдить его въ своей страсти, или, наконецъ, онъ захватилъ Дуню врасплохъ, и они не успѣли еще объясниться между собою? Ни то, ни другое, ни даже третье. Русаковъ не могъ измѣнить своему слову, не измѣнивъ своему характеру; Вихоревъ хорошо зналъ, что ему больше не повѣрятъ; объясненіе у него съ Дунею было, потому что нельзя же было имъ ѣхать вмѣстѣ до самой „Ямской Слободы“ и не переговорить между собою, и, однако, онъ увезъ ее и хотѣлъ везти еще далѣе, потому что у него былъ свой расчетъ: старики-де упрямы, — нынче онъ согласенъ, а завтра, пожалуй, заупрямится, какъ лошадь. („Москвит.“, стр. 51). Дуня, видите ли, успѣла сказать ему о согласіи отца, но *не успѣла еще* передать его непремѣннаго условія и тѣмъ ввела своего жениха въ большое заблужденіе. Странно, лучше сказать—хитро, но не искусно! Автору, очевидно, нужно было похищеніе для его драматическихъ цѣлей, и онъ рѣшился удержать его, хотя бы даже во вредъ поэтической истинѣ. Жаль: подобныя несообразности въ пьесѣ походятъ на прорѣхи въ платьѣ: онѣ непріятно останавливаютъ и развлекаютъ вниманіе зрителя и вообще много вредятъ единству и силѣ впечатлѣнія. Но только-что мы выбрались кое-какъ изъ одной несообразности, какъ ужъ попадаемъ въ другую. Надобно Дунѣ *окончить* свое объясненіе; оно и происходитъ въ первой сценѣ, на постояломъ дворѣ, въ самомъ началѣ третьяго акта: Вихоревъ, наконецъ, узнаетъ, на какомъ условіи Русаковъ согласился выдать за него дочь свою. Но онъ, повидимому, остается непоколебимымъ: „Да это онъ вретъ, онъ и денегъ дастъ“,—говоритъ онъ съ

увѣренностью о своемъ будущемъ тестѣ. Кто жъ, вы думаете, убиваетъ въ немъ эту увѣренность и заставляетъ его однимъ разомъ отказаться отъ всѣхъ надеждъ и бросить всѣ планы, которые онъ уже началъ приводить въ исполненіе? Дуня, почти только одно слово Дуни...

Авдотья Максимовна. Ну, нѣтъ, не знаю: онъ у насъ что́ сказалъ, то и свято. Опять же онъ теперь на меня въ сердцахъ, что я его не послушала. Онъ ни за что не дастъ.

Вихоревъ. Гм... Дѣло-то скверно! (*Беретъ себя за голову.*) А-ахъ! (Москвит.", стр. 54.)

И ужъ у него больше нѣтъ никакихъ сомнѣній, что Русаковъ точно не дастъ денегъ, и ужъ онъ принимается всячески честить Дуню, зачѣмъ она потащилась за нимъ, зачѣмъ, дура этакая, влюбилась въ него.

Вихоревъ. Ты вотъ что́ скажи, только говори откровенно: дастъ онъ денегъ или нѣтъ?

Авдотья Максимовна. Не дастъ!

Вихоревъ. Такъ что́ жъ ты со мной дѣлаешь?

Авдотья Максимовна. Да развѣ я виновата, Викторъ Аркадьичъ?

Вихоревъ (*ходя по комнатѣ*). Вамъ только влюбляться, да какъ бы замужъ выйти за благороднаго, чтобы барыней быть!

Авдотья Максимовна. Что́ вы говорите, Викторъ Аркадьичъ?

Вихоревъ. Кому нужно даромъ-то васъ брать! Можно было, я думаю, догадаться—не маленькая! Любовь да нѣжности все на умѣ!.. Вѣдь, глупость-то какая! Всѣ вы думаете, что васъ за красоту берутъ, такъ съ ума и сходятъ!

Авдотья Максимовна (*закрывая лицо руками*). Бѣдная я, горемычная! Для чего это я только на свѣтъ рождена!...

Вихоревъ. Видимое дѣло, что человѣку деньги нужны, коли онъ на купчихѣ хочетъ жениться! Влюбиться-то бы я и въ Москвѣ нашелъ въ двадцать разъ лучше; а то всякая дура думаетъ, что въ нее влюблены безъ памяти! (Тамъ же.)

Что Вихоревъ такъ скоро и вмѣстѣ такъ нагло сталъ издѣваться надъ бѣдною дѣвушкой, имъ же обманутою, это понятно; это входило въ расчетъ автора, чтобъ тѣмъ сильнѣе оттолкнуть Дуню отъ похитителя и заставить тѣмъ съ большею горячностью обратиться къ прежнему быту и къ прежнимъ, забытымъ ею привязанностямъ. Но какая же вѣроятность въ томъ, что Вихоревъ, который, очевидно, разсчиталъ все свое предпріятіе на твердой увѣренности, что старикъ дастъ денегъ, и ужъ сдѣлалъ самый рѣшительный шагъ къ своей цѣли, вдругъ такъ круто повернулъ совсѣмъ въ противоположную сторону отъ нѣсколькихъ словъ неопытной дѣвушки? Вѣдь, не повѣрилъ же онъ ей, когда она

просто-напросто передала ему волю отца. Отчего ея собственное увѣреніе было для него такъ рѣшительно? Ну, хоть бы онъ попыталъ счастья, когда ужъ самое важное было сдѣлано. Но автору, повидимому, не хотѣлось долго задерживаться: онъ спѣшилъ перейти къ развязкѣ и пожертвовалъ быстротѣ дѣйствія внутреннею его вѣроятностью.

Зато послѣдняя перемѣна декораціи, по силѣ и сосредоточенности драматическаго дѣйствія, не оставляетъ ничего желать болѣе. Прослушайте всѣ эти сцены въ театрѣ, при представленіи пьесы, пересмотрите ихъ вновь во внимательномъ чтеніи—вы получите впечатлѣніе весьма полное, вы переживете въ нихъ много разнообразныхъ ощущеній, много истинно-человѣческихъ движеній души, пока все дѣйствіе не разрѣшится общимъ чувствомъ свѣтлой радости по случаю возстановленія семейнаго мира и согласія. Авторъ весьма умно воспользовался здѣсь средствами драматическаго искусства, чтобъ, постепенно приводя въ движеніе различныя его пружины, затронуть зрителя съ самыхъ чувствительныхъ сторонъ и мало-по-малу овладѣть всѣмъ его участіемъ. Дѣйствіе опять происходитъ въ домѣ Русакова. Хорошъ этотъ честный и прямодушный старикъ, когда, возвратясь вечеромъ домой и еще не подозрѣвая никакой бѣды, онъ мирно бесѣдуетъ съ Бородкинымъ и передаетъ ему свои житейскія наблюденія, которыя утвердились въ немъ многолѣтнимъ опытомъ. Рѣчь его обыкновенно сбивается на сентенціи, самый тонъ ея постоянно отзывается нравоученіемъ: нечего же и ждать отъ старика, такъ много видѣвшаго въ жизни хорошаго и дурного, въ разговорѣ съ молодымъ человѣкомъ, который только еще учится жить. Еще лучше онъ, когда болтливый и пустоголовый сватъ приходитъ извѣстить о похищеніи дочери. Тутъ раздается этотъ глубокій, задушевный вопль, въ которомъ слышится голосъ, весь проникнутый чувствомъ оскорбленнаго достоинства отца и человѣка.

Русаковъ. Постой ты! Что жъ, она съ нимъ сѣла, да и поѣхала?

Арина Ѳедотовна. Нѣтъ, братецъ, онъ ее насильно посадилъ.

Русаковъ. Насильно!.. (*Встаетъ.*) Чтó жъ это, отцы мои! Увезли дѣвушку насильно... Помогите! Дочь мою, голубушку мою, послѣднюю мою радость. Вѣдь, это разбой!.. Побѣжимте!..

Бородкинъ. Я хоть сію минуту-съ.

Маломальскій. Поѣдемъ... у меня, сватъ, лошадь здѣсь...

Русаковъ (*хватаясь за голову*). Постойте! Откуда онъ ее увезъ?

Арина Ѳедотовна. За валомъ, братецъ, отъ мосту.

Русаковъ. А зачѣмъ она тамъ была? Вы, вѣдь, въ церковь пошли?

Арина Ѳедотовна. Мы, братецъ, гуляли.

Русаковъ (*хватая ее за руку*). Врешь, у васъ уговоръ былъ. Говори, былъ уговоръ? Говори!

Арина Ѳедотовна. Былъ.

Русаковъ (*садится, со слезами*). Такъ зачѣмъ же мы поѣдемъ? Она своей волей уѣхала, она своей волей бросила отца, на смѣхъ людямъ бросила старика одного горе мыкать! Дочка! Не вѣкъ тебѣ будутъ радости — вспомнишь ты и обо мнѣ Кто тебя такъ любить будетъ, какъ я тебя любилъ?.. Поживъ въ чужихъ людяхъ, узнаешь, что́ такое отецъ!.. Диви бы я съ ней строгъ былъ или жалѣлъ для нея что. Я ль ея не любилъ, я ли ея не голубилъ!..

Давая полную свободу чувству оскорбленнаго и, вмѣстѣ, глубоко огорченнаго отца, авторъ, впрочемъ, умѣлъ ни въ чемъ не нарушить господствующаго тона и довольствовался для своей цѣли простыми, безыскусственными выраженіями того самаго быта, изъ котораго заимствовано все дѣйствіе. Оттого каждое слово и каждый оттѣнокъ чувства, имъ выраженный, кажутся тѣмъ истиннѣе, тѣмъ неподдѣльнѣе. Сочувствіе зрителя возбуждено въ высшей степени; но ему готовится еще впереди не одно новое потрясеніе. Трогательна встрѣча убитой, опозоренной Дуни съ отцомъ, который еще полонъ чувствомъ своей оскорбленной чести и спрашиваетъ ее съ горькою ироніей: „А полюбовникъ гдѣ?“ Еще трогательнѣе, когда онъ, какъ-будто подавая дочери послѣднюю милостыню, дозволяетъ ей остаться въ своемъ домѣ“, не гонитъ ея вонъ... „Ну, что жъ! извѣстно, не гнать же мнѣ тебя“,—говоритъ онъ, все больше и больше отдаваясь своему горькому чувству, и при этихъ словахъ „притворно смѣется.—Что́ сказать о послѣдней сценѣ, гдѣ неожиданно-великодушное движеніе Бородкина, какъ свѣтлый лучъ, однимъ разомъ пробиваетъ эту удушливую атмосферу со всѣхъ сторонъ накопившихся горькихъ ощущеній и въ короткое время торжествуетъ надъ ними рѣшительную побѣду, соединяя всѣхъ снова въ одномъ гармоническомъ чувствѣ? Мы сказали ужъ прежде наше мнѣніе объ этой неожиданной чертѣ въ характерѣ Бородкина; впрочемъ, однажды приведенная въ дѣйствіе и поставленная рядомъ съ такимъ душевнымъ состояніемъ, въ которомъ человѣкъ теряетъ всякое внутреннее равновѣсіе, она въ своемъ проявленіи, какъ всякій героизмъ, производитъ весьма отрадное впечатлѣніе на зрителя и невольно увлекаетъ его за

собою. Вся сцена ведена мастерски. Дуня тутъ почти устраняется. На сценѣ, въ глазахъ зрителя, борется только героическое чувство Бородкина съ неуступчивымъ правомъ старика, котораго горячее сердце еще не остыло отъ непривычнаго чувства своего семейнаго стыда и позора, и въ справедливомъ негодованіи на легкомысліе дочери, упорно отвергаетъ предлагаемое ей, но незаслуженное ею тихое супружеское счастіе.

Маломальскій. Это къ тому, что теперича... Слухъ этотъ пойдетъ... такъ и такъ—и примѣрно, разойдется по городу... Кто ее возьметъ? Что жъ дѣлать-то! Согрѣшили. На себя пеняй.

Бородкинъ (*выступая впередъ*). Я возьму-съ...

Маломальскій. Гм... (*Мигаетъ глазомъ.*) Не бери!

Бородкинъ. Будетъ вамъ врать-то-съ. Это наше дѣло.

Русаковъ. Нѣтъ, Иванушка, погоди, тебѣ эта невѣста не годится, я тебѣ найду другую.

Бородкинъ. Мнѣ другой не надобно-съ.

Русаковъ. Тебѣ надобно дѣвушку честную, чтобъ про нее худой славы не было.

Бородкинъ. Чтó это значитъ худая слава? Коли я люблю Авдотью Максимовну, такъ это для меня все одно.

Русаковъ. Да она тебя не стоитъ. Ей теперь нечего объ замужествѣ думать.

Бородкинъ. Вы давеча сами обѣщали. Я вотъ отъ своего слова не пячусь, а вы пятитесь. А ужъ это не порядокъ, Максимъ Ѳедотычъ!.. Положимъ, хоша она ваша дочь, а за что жъ ее обижать? Авдотья Максимовна и такъ обижена кругомъ, должóнъ кто-нибудь за нее заступиться. Ее жъ обидѣли, да ее жъ и бранить! По крайней мѣрѣ, она у насъ будетъ ласку видѣть отъ меня и отъ маменьки. Что жъ такое, со всякимъ грѣхъ бываетъ. Не намъ судить!

Русаковъ. Да ты что шумишь-то?

Бородкинъ. Да мнѣ что шумѣть-то! Вы мнѣ обѣщали Авдотью Максимовну—и отдайте!..

Русаковъ (*подумавши*). Да возьми, пожалуй. Эка невидаль!

Бородкинъ (*подходя къ Авдотьѣ Максимовнѣ*). Авдотья Максимовна! Не плачьте, перестаньте-съ. Теперь васъ никто обидѣть не смѣетъ-съ. Никому не позволю... самому Максиму Ѳедотычу, провалиться на этомъ мѣстѣ!..

Авдотья Максимовна. Иванъ Петровичъ! Любите хоть вы меня: меня никто не любитъ. Весь свѣтъ на меня!

Бородкинъ. Помилуйте, Авдотья Максимовна, есть же во мнѣ какое-нибудь чувство; я, вѣдь, не звѣрь, и во мнѣ есть искра Божья!

Авдотья Максимовна. Иванъ Петровичъ! Я за васъ вѣчно буду Бога молить. Вы заступились за бѣдную дѣвушку. Ужъ коли тятенька говоритъ вамъ, что вамъ нужно дѣвушку честную, чего же мнѣ ждать отъ другихъ-то?.. Этакую муку терпѣть!.. Меня бъ на недѣлю не стало!.. Кабы кто

видѣлъ мою душу!.. Каково мнѣ теперь! Я честная дѣвушка, Иванъ Петровичъ. Я васъ обманывать не стану. Скажите вы это всѣмъ и тятенькѣ.

Русаковъ (*пораженный*). Эхъ-ма, сватъ, состарѣлся я, а все еще глупъ. За что я ее обидѣлъ? Во гнѣвѣ скажешь слово, а его ужъ не воротишь... Слово-то, какъ стрѣла. Вѣдь, иногда словомъ-то обидишь-то больше, чѣмъ дѣломъ. Такъ ли, сватъ?.. А это грѣхъ!.. Дунюшка! словечко-то у меня давеча въ сердцахъ вырвалось, маленько оно обидно, такъ ты его къ сердцу не принимай. Самому было горько, ну, и сказалъ лишнее. („Москвит.", стр. 71—72.)

Не портитъ драмы и послѣдній выходъ Маломальскаго, который ужъ готовъ подгулять на радостяхъ, а только завершаетъ ее очень удачною комическою чертою:

Маломальскій. Ну, ужъ теперь, сватъ, я загулялъ... ужъ теперь вплоть до свадьбы... Тамъ хозяйка какъ хочетъ, а я, примѣрно, гуляю!..

Ознакомясь съ фабулою, которая послужила основою произведенію, и прослѣдивъ ея художественное развитіе въ драматическихъ сценахъ, мы въ правѣ теперь обратиться къ самой идеѣ новой комедіи и, еще разъ обнявъ однимъ взглядомъ все ея содержаніе, посмотрѣть на него съ другой точки. Не однимъ только художественнымъ требованіямъ должно удовлетворить поэтическое произведеніе; потому что переработанное въ немъ фантазіею содержаніе взято не откуда, какъ изъ жизни, и къ ней же опять обращено. Безъ приложенія къ дѣйствительности, безъ ближайшаго отношенія къ ней самая поэтическая и художественно-развитая драма-фабула всегда останется на одномъ уровнѣ съ обыкновенною сказкою, которая знаетъ лишь одно назначеніе—пріятно занять досужее воображеніе. Отъ комедіи, преимущественно, въ правѣ мы требовать идеи болѣе положительной. Нельзя пожаловаться, чтобъ ея не было въ новой комедіи г. Островскаго. Она, напротивъ, выступаетъ очень ясно изъ всего содержанія пьесы и изъ нѣкоторыхъ сценъ, въ особенности эта идея нравственнаго превосходства необразованнаго быта надъ... надъ образованнымъ! Странно сказать, но по комедіи выходитъ такъ. Въ ней отъ начала до конца проходитъ весьма рѣзкое раздѣленіе всѣхъ дѣйствующихъ лицъ на два главные разряда: Русаковъ, Бородкинъ, Дуня, разумѣется, и Маломальскій—это люди чуждые образованія; Арина Ѳедотовна то и дѣло тычетъ въ глаза Бородкину его „необразованностью" и „невѣжествомъ"; да и на братца своего смотритъ почти такими же глазами; Анна Антоновна прямо называетъ своего мужа: „необразо-

ванность ты моя"; Вихоревъ говоритъ о себѣ не иначе, какъ „мы люди образованные и со вкусомъ". Русаковъ называетъ свою дочь дѣвушкой „простою, невоспитанною; наконецъ, даже половой въ трактирѣ замѣчаетъ о Русаковѣ и подобныхъ ему, что у нихъ „по необразованію все дѣлается". Другой разрядъ людей составляютъ: Вихоревъ, Арина Ѳедотовна и, пожалуй, Анна Антоновна, если ужъ непремѣнно нужно считать и ее. Они не родня между собою, и не то чтобъ были большіе пріятели, а между тѣмъ ихъ что-то тянетъ другъ къ другу, есть нѣчто общее между ними. Въ комедіи они представители „образованности": это связываетъ ихъ между собою, этимъ они величаются и отличаютъ себя отъ прочихъ лицъ, которымъ постоянно колютъ глаза ихъ невѣжествомъ. Самымъ названіемъ своей комедіи авторъ, очевидно, хотѣлъ указать на то же капитальное различіе между своими персонажами и притчею, или пословицею, довольно ясно выразилъ ту же самую идею, которая вытекаетъ для насъ изъ цѣлаго хода его пьесы. Дѣйствительно, „образованные люди" комедіи оказываются въ продолженіе ея развитія людьми безъ всякихъ правилъ, а „невоспитанные"—честными и прямодушными. Конечно, образованный читатель никакъ не подумаетъ, что, въ лицѣ Вихоревыхъ и подобныхъ ему, авторъ преслѣдуетъ настоящее образованіе, именно потому, что между нимъ и подобными лицами ровно нѣтъ ничего общаго: Вихоревъ и истинное образованіе—два понятія, между собой несовмѣстныя, исключающія одно другое. Образованный читатель можетъ даже поблагодарить благонамѣреннаго писателя, который такъ неумолимо раскрываетъ внутреннее безобразіе, часто скрывающееся подъ мнимою образованностью, маскирующееся чужимъ именемъ. Но что скажетъ, выходя изъ театра, простой, необразованный зритель? Какими глазами посмотритъ онъ на образованіе послѣ комедіи, которая такъ рѣзко проводитъ передъ нимъ различіе между образованностью и необразованностью и представляетъ ему первую *только* въ лицѣ Вихорева и Арины Ѳедотовны? Пойдетъ ли онъ потомъ искать на сторонѣ настоящаго понятія объ образованности или сумѣетъ отыскать его въ своей собственной головѣ и отличить отъ ложнаго? Болѣе, нежели сомнѣваемся.

Мы, конечно, не поставимъ въ вину самому автору ложныхъ толковъ, которые можетъ возбудить его пьеса въ одной

части публики; но не думаемъ, чтобъ онъ хотѣлъ быть русскимъ Аристофаномъ (въ нѣкоторомъ смыслѣ), и вовсе не считаемъ за лишнее обратить его вниманіе на это обстоятельство. Хотя бы и противъ воли автора, но поводъ къ ложному пониманію частью данъ уже въ цѣломъ строѣ комедіи и, такъ-сказать, въ самой закладкѣ ея. Въ ней самымъ страннымъ образомъ соединились два направленія, которыя до сихъ поръ мы привыкли встрѣчать порознь въ литературѣ. Тогда какъ одни дѣйствующія лица явно носятъ на себѣ отпечатокъ идеальнаго, другія отражаютъ въ себѣ темную сторону дѣйствительности. Пусть такъ; въ сущности, мы не имѣемъ ничего сказать ни противъ того, ни противъ другого направленія, изъ которыхъ каждое, оставаясь въ извѣстныхъ предѣлахъ, можетъ имѣть свое значеніе и даже принести свою долю пользы, смотря по потребностямъ читающей публики. Не считаемъ также совершенно невозможнымъ и болѣе или менѣе удачнаго соединенія ихъ въ одномъ литературномъ произведеніи. Но какъ распредѣлены роли въ данномъ случаѣ? Почти діаметрально-противоположно тому, какъ распредѣляла ихъ старая русская комедія, которая тоже любила иногда мѣшать идеальное съ дѣйствительнымъ. Въ ней, въ нашей новой комедіи, все идеальное, какъ нарочно, досталось на долю необразованнаго класса, а на долю прочихъ лицъ, которыя назначены въ комедіи представлять собою другую часть общества, выражать въ ней понятіе объ образованности, оставлены лишь грубыя, часто даже грязныя краски! (Одна только Дуня, повидимому, не подходитъ подъ это раздѣленіе; но если бъ Дуня была представлена въ болѣе идеальномъ свѣтѣ, любовь ея къ такому человѣку, какъ Вихоревъ, сдѣлалась бы невозможною, и драма не могла бы состояться вовсе: вотъ откуда въ этомъ лицѣ недостатокъ идеальности.) Въ одномъ и томъ же произведеніи употреблены два пріема искусства, два различные рода освѣщенія—яркое и темное, и притомъ такъ, что всѣ выгоды перваго послужили въ пользу одного разряда лицъ, а всѣ невыгоды второго пали на другой—гдѣ же тутъ художническое безпристрастіе? Не все ли это равно, если бъ въ одной и той же картинѣ художникъ изобразилъ одну серію предметовъ свѣтлыми красками, а другую—исключительно темными, желая тѣмъ обозначить ихъ относительное достоинство? Изъ двухъ общественныхъ поло-

женій, которыя сводятся въ новой комедіи подъ весьма опредѣленными терминами, какъ два различныя понятія, каждое имѣетъ свои хорошія и свои слабыя стороны: отчего же бы непремѣнно нужно было выводить одно—*только* его хорошею стороною, а другое—*только* худою? Необходимости, разумѣется, не было никакой; стало-быть, выборъ состоялся по доброй волѣ самого писателя...

Но, заговорившись о комедіи г. Островскаго, мы ужъ поздно замѣтили, что все назначенное для обзора журналовъ мѣсто заняли разборомъ только одного этого произведенія, дѣйствительно замѣчательнаго.

„Бѣдность не порокъ“.

Комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ [1]).

*) Какъ неизмѣнно каждый годъ приноситъ съ собою новую весну, такъ точно каждый годъ даритъ русскую публику новою комедіей г. Островскаго. По крайней мѣрѣ, этотъ порядокъ ведется уже четыре года: мы получили отъ автора ровно такое же число комедій—не больше, не меньше. Считайте на каждый годъ по комедіи—не ошибетесь; считайте на каждую комедію по году—тоже не ошибетесь. Нельзя сказать, чтобъ это было мало, и нельзя сказать, чтобы было много. Какимъ же именемъ назвать этотъ новый родъ juste-milieu въ литературной производительности, которому, право, не знаемъ, бывали ли гдѣ примѣры? Эта рѣдкая „періодичность творчества“ есть ли нѣчто преднамѣренное,

---

[1]) „Отечественныя Записки“, 1854 г., № 6.—„Новыя книги“. *Бѣдность не порокъ*. Комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ. Соч. А. Н. Островскаго.

*) Приводимая здѣсь статья относится ко времени упадка журнала Въ ней авторъ совершенно не признаетъ художественныхъ достоинствъ за ком. *Бѣдность не порокъ*, полагая, что Островскій далъ не пьесу, а „балаганное“, „ярмарочное увеселеніе“. Кромѣ того авторъ данной статьи въ то же время полемизируетъ съ поклонниками таланта Островскаго и главнымъ образомъ съ Григорьевымъ, видѣвшимъ въ Любимѣ Торцовѣ положительный типъ, ту квинтъ-эссенцію русской души, которая умѣетъ любить и прощать. Несмотря на внѣшнюю неопрятность, на которую такъ упорно базируетъ критикъ „Отечеств. Зап.“, Григорьевъ въ Любимѣ Торцовѣ видитъ воплощеніе истинной народной правды, душевной чистоты, возвышенности и прямоты. Для критика „Отечественн. Зап.“ Торцовъ—праздный гуляка и алкоголикъ, для Григорьева—олицетвореніе истиннаго исконнаго русскаго духа:

Стоитъ съ поднятой головой,
Бурнусъ напяливъ обветшалый,
Съ растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но съ чисто-рускою душой...

Прим. Н. Денисюка.

условное, или вытекаетъ прямо изъ особенныхъ свойствъ таланта автора? Если послѣднее вѣрно, то мы поздравляемъ русскую публику съ небывалымъ еще въ ней талантомъ— „талантомъ періодическаго творчества". Умѣренная литературная производительность не можетъ служить упрекомъ никакому автору. Мы, напротивъ, всегда готовы подозрѣвать за нею—какъ скоро имѣемъ дѣло съ признаннымъ уже литературнымъ талантомъ—потребность самого автора обдѣлывать свои произведенія, то-есть, выработавъ содержаніе каждаго изъ нихъ, стараться найти для него по возможности и совершенную форму. Потребность этого рода—задатокъ художественной способности въ писателѣ, которая дается не всякому. Не тотъ художникъ въ литературѣ, кто наводняетъ ее множествомъ скороспѣлыхъ работъ; но тотъ, кто хотя немногимъ увеличиваетъ въ ней число неумирающихъ произведеній. Многое скоро пропадаетъ въ литературѣ; остается же въ ней надолго лишь немногое, и, нѣтъ сомнѣнія, что это немногое вырабатывается въ мастерской писателя гораздо долѣе, созидается медленнѣе, чѣмъ вся вмѣстѣ взятая масса мгновенно возникающихъ и такъ же быстро опадающихъ произведеній, которыя безпрестанно изготовляются для обыкновеннаго литературнаго обихода. То, что мы назвали выше „періодичностью" въ литературной производительности г. Островскаго, мы всегда готовы были толковать въ хорошую сторону, т.-е. принимать ее въ смыслѣ умѣренности, воздержности особеннаго рода, предписываемой художественными требованіями самого автора. Намъ скорѣе хотѣлось думать, что авторъ медлитъ, благоразумно придерживая свои произведенія до окончательной отдѣлки, чѣмъ увѣрять себя и другихъ, что извѣстная срочность, съ которою появляются въ свѣтъ его комедіи, происходитъ отъ нетерпѣливой поспѣшности съ его стороны. Что ни говорите о литературной критикѣ, а она всегда съ гораздо большею пріятностью остановится на зрѣломъ произведеніи, хотя бы самаго малаго объема, чѣмъ на скороспѣлыхъ произведеніяхъ обыкновенной литературной рутины, хотя бы даже онѣ вмѣщали въ себѣ много общеполезнаго матеріала. Въ прежнихъ своихъ комедіяхъ г. Островскій далъ намъ хорошіе задатки того, что онъ далеко не пренебрегаетъ художественною обработкою и усвоилъ себѣ многіе ея пріемы. Ссылаемся на предпослѣднюю его комедію, гдѣ

нѣкоторыя сцены отдѣланы рукою мастера, ссылаемся потомъ на постоянную заботливость его объ отдѣлкѣ языка, хотя, можетъ-быть, иногда онъ и доводитъ ее до крайности, до излишества, такъ что, наконецъ, впадаетъ въ тотъ родъ, который въ механическихъ искусствахъ называютъ рококо. Съ этой точки хотѣлось бы намъ прежде всего посмотрѣть и на новую комедію, чтобы прибавить нѣсколько новыхъ наблюденій надъ талантомъ автора и сдѣлать нѣкоторыя заключенія о его успѣхахъ и развитіи. Мы опять въ томъ же провинціальномъ купеческомъ быту, съ которымъ авторъ довольно уже познакомилъ насъ въ своей предпослѣдней комедіи. Итакъ, по мнѣнію автора, открытая имъ руда еще нисколько не истощилась, и надъ ней можно еще трудиться съ пользою для себя и для публики. Отчего не повѣрить на слово писателю, который въ этомъ дѣлѣ хозяинъ и знаетъ его лучше насъ? Все дѣйствіе происходитъ въ домѣ богатаго купца Гордѣя Карпыча Торцова, въ одинъ изъ святочныхъ вечеровъ. Это, впрочемъ, не тотъ Торцовъ, на котораго недавно указывали вамъ въ однихъ распашныхъ стихахъ, какъ на „героя нашего времени", и готовы были божиться, что русская поэзія до сихъ поръ не производила ничего лучшаго. Тотъ Торцовъ самъ-по-себѣ; съ тѣмъ мы будемъ еще имѣть случай довольно близко познакомиться въ комедіи, а пока нужно только знать его брата, хозяина того дома, въ которомъ происходитъ дѣйствіе. Оно начинается въ „приказчичьей" комнатѣ разговоромъ между Митею, приказчикомъ Торцова, Егорушкой, его же дальнимъ родственникомъ, и „мальчикомъ", какіе обыкновенно бываютъ въ купеческихъ домахъ. Егорушка—это такъ себѣ, ничего, въ родѣ тѣхъ фронтисписовъ [1]), какіе прикладывались къ стариннымъ изданіямъ; но Митя—совсѣмъ другое дѣло: Митя необходимое лицо въ пьесѣ; Митею она вяжется. Читателю надобно знать, что́ такое Митя, чтобы не смѣшать его съ Бородкинымъ (въ другой комедіи того же автора), который находится въ такомъ же положеніи. У нихъ не только одно положеніе, но, можно сказать, одна и та же страсть: оба они бѣдны—не богаты, по крайней мѣрѣ,—и любитъ каждый дочь своего богатаго хозяина, разумѣется, любовью безнадежною, хотя имъ и отвѣчаютъ нѣкоторою

[1]) Фронтисписъ—заглавный листъ съ виньеткой.

взаимностью. До сихъ поръ сходство; но есть и разница. Авторъ не хотѣлъ сдѣлать изъ Мити героя пьесы (на то есть у него другое лицо) и оттѣнилъ его иными красками... какими—это можетъ видѣть читатель изъ разговора Мити съ Яшей Гуслинымъ"... (Приводится изъ комедіи разговоръ Мити съ Яшей Гуслинымъ, въ 1-мъ дѣйствіи).

Митя весь въ этомъ разговорѣ; онъ не говоритъ, а жалобно поетъ; тоска и кручина не сходятъ у него съ языка; онъ скорѣе изсохнетъ, чѣмъ перестанетъ любить и горевать. Откуда такой рыцарь печальнаго образа? спросите вы, съ изумленіемъ смотря на купеческаго приказчика.—Изъ пѣсни или, пожалуй, изъ пѣсенъ. Это не характеръ, а олицетворенная жалобная пѣсня: отъ него ничего больше и не ждите. А чтобъ выдумка больше походила на правду, авторъ заставляетъ Митю читать и переписывать пѣсни Кольцова и даже дѣлать ему подражанія. Все это, въ самомъ дѣлѣ, такъ похоже на Митю: онъ весь состоитъ изъ стиховъ Кольцова, хотя далеко не изъ всѣхъ, носящихъ имя этого поэта. Изъ разговоровъ, которые ведутся въ той же приказчичьей комнатѣ, узнаемъ кое-что и о самомъ хозяинѣ дома, Гордѣѣ Карпычѣ Торцовѣ, въ рукахъ котораго находится судьба Мити и его любезной. Онъ самъ пока еще не показывается, но словоохотливая супруга его, Пелагея Егоровна, проходя мимо Мити, сообщаетъ намъ, въ разговорѣ съ нимъ, главныя подробности о жизни своего мужа. Надобно замѣтить, что добрая Пелагея Егоровна благоволитъ къ Митѣ (мы узнаемъ послѣ причину ея симпатіи) и потому не таитъ отъ него домашнихъ секретовъ. Вотъ въ чемъ дѣло: живши долгое время хорошо, хотя и не роскошно, Гордѣй Карпычъ съѣздилъ куда-то въ отъѣздъ, должно-быть, въ Москву, и съ тѣхъ поръ принялъ совсѣмъ другой родъ жизни. Все стало казаться ему немило, все опостылѣло. Не хочу, говоритъ, жить „по-мужицки", „хочу жить по-нынѣшнему, модами заниматься". То, что на языкѣ Пелагеи Егоровны называлось „модами заниматься", у самого Гордѣя Карпыча значило „образовать себя и жить по-просвѣщенному". Это образованіе состояло, по его мнѣнію, въ томъ, чтобъ ходить въ модномъ платьѣ, поставить въ гостиную новую мебель, завести у себя прислугу въ перчаткахъ и пить, вмѣсто мадеры, шампанское. Не только самъ онъ перемѣнилъ костюмъ, потребовалъ, чтобъ и жена его надѣла чепчикъ.

Съ того времени все пошло въ домѣ наизворотъ. Вмѣсто того, чтобъ позаботиться о своей дочери-невѣстѣ, подумать о томъ, какъ бы пристроить ее, Гордѣй Карпычъ началъ помышлять лишь о своихъ „штукахъ“ и не давалъ никому сказать слова противъ своего новаго обычая. Явленіе довольно странное въ простомъ человѣкѣ, но оно покажется еще страннѣе, когда читатель узнаетъ, что такая перемѣна произошла съ шестидесятилѣтнимъ старикомъ. Какъ объяснить такую странность въ человѣкѣ его лѣтъ? Пелагея Егоровна объясняетъ въ немъ эту внезапную перемѣну по-своему: связался-де мой мужъ съ нехорошимъ человѣкомъ, Африканомъ Саввичемъ, сталъ съ нимъ пить: „спьяну-то, должно-быть, у него и помутилось“. Но кто же повѣритъ ей, чтобъ пьянство могло произвести такое странное дѣйствіе? Гдѣ же видно, чтобы пьяный человѣкъ сталъ заботиться о хорошемъ покроѣ платья, о томъ, чтобъ въ комнатахъ его стояла хорошая мебель, и чтобъ жена его ходила въ чепчикѣ? У пьянаго человѣка едва ли не одно на умѣ. Тутъ что-то не такъ?.. Говоря далѣе о характерѣ своего мужа, Пелагея Егоровна называетъ его „крутымъ“. Опять что-нибудь да не такъ! Авторъ, кажется, имѣлъ совсѣмъ другое въ виду: въ Гордѣѣ Карпычѣ онъ именно хотѣлъ представить совершенно безхарактернаго человѣка, которому стоитъ только завести новое знакомство, чтобъ въ домѣ его пошло все вверхъ дномъ. Чтобы, впрочемъ, читатель не оставался долго въ сомнѣніи насчетъ этого лица, авторъ скоро выводитъ его самого на сцену“.. (Далѣе слѣдуетъ разговоръ между Гордѣемъ Карпычемъ съ Митей и Разлюляевымъ. Дѣйствіе I-е. Явленіе 7-е.)

Читатель видитъ, что какимъ Пелагея Егоровна представляла своего супруга, таковъ онъ и есть въ самомъ дѣлѣ, то-есть не въ смыслѣ характера, а по отношенію къ его образу мыслей. Изъ словъ его видно, что онъ точно помѣшался на образованіи, разумѣя подъ образованіемъ извѣстную внѣшность. Митя тоже хлопочетъ объ образованіи; но онъ, по крайней мѣрѣ, ищетъ его въ стихотвореніяхъ Кольцова. Какъ писатель вполнѣ современный, авторъ любитъ, чтобъ если не всѣ, то, по крайней мѣрѣ, большая часть его лицъ, такъ или иначе, относились къ образованію. Даже тѣ изъ нихъ, которыя не имѣютъ никакого понятія объ образованіи, считаютъ, однако, своимъ

долгомъ толковать о немъ. Но возвратимся къ Гордѣю Карпычу. Изображая его сумасброднымъ и безхарактернымъ, авторъ какъ-будто хотѣлъ показать на немъ, что въ одномъ и томъ же быту могутъ быть, однако, явленія совершенно противныя извѣстному Русакову, въ комедіи того же автора—*Не въ свои сани не садись*. Но стоила ли такая задача труда? И можно ли достигнуть какой-нибудь цѣли въ искусствѣ, изображая цѣлое лицо лишь одною *случайною* чертою, какъ, напримѣръ, вдругъ, ни съ того ни съ сего, развившимся въ немъ вкусомъ къ нѣкоторымъ перемѣнамъ во внѣшнемъ быту? Мы позволяемъ себѣ сомнѣваться. Пойдемъ далѣе, хоть самъ авторъ, очевидно, и не спѣшитъ дѣйствіемъ. Вмѣсто дѣйствія, мы пока имѣемъ только смѣну явленій или разговоръ разныхъ лицъ между собою. Всѣ эти разговоры ведутся въ той же приказчичьей комнатѣ; лица то и дѣло смѣняются въ ней: какъ на перекресткѣ, одни уходятъ, другія приходятъ вновь; постояннымъ лицомъ на сценѣ остается лишь Митя, провожающій то того, то другого. Такъ уходитъ Пелагея Егоровна; такъ, немного спустя, поговоривъ съ Митею, уходитъ и Гордѣй Карпычъ. „Вотъ она жизнь-то моя какова! Вотъ каково мнѣ сладко жить-то на свѣтѣ!“ распѣваетъ Митя жалобнымъ тономъ, проводивъ отца своей любезной. Является Анна Ивановна съ Любовью Гордѣевной и съ нѣкоторыми другими лицами, и въ приказчичьей комнатѣ заводится новый разговоръ. Читатель долженъ нѣсколько прислушаться къ разговору Анны Ивановны какъ для того, чтобъ узнать это лицо, такъ и для того, чтобъ лучше познакомиться съ тѣмъ бытомъ или, точнѣе, съ тѣми людьми, между которыми происходило это кажущееся дѣйствіе.

Явленіе 9-е.

Анна Ив. Миръ честной компаніи.

Разлюляевъ. Милости прошу къ нашему шалашу...

Митя. Наше почтеніе-съ! Милости просимъ!.. Какими судьбами?

Анна Ив. А никакими, просто взяли да и пришли. Гордѣй Карпычъ уѣхалъ, а Пелагея Егоровна отдохнуть легла, такъ теперь наша воля... Гуляй не хочу!..

Митя. Просимъ покорно садиться. (*Садятся; Митя садится противъ Любовь Гордѣевны; Разлюляевъ ходитъ.*)

Анна Ив. Надоѣло молча-то сидѣть, орѣхи щелкать,—пойдемте, говорю, дѣвушки, къ парнямъ, а дѣвушкамъ и любо.

Любовь Гордѣевна. Что ты выдумываешь-то! Мы не воображали сюда итти,—это ты выдумала.

Анна Ив. Какъ же не такъ! Да ты первая... Извѣстное дѣло, кому что нужно, тотъ объ томъ и думаетъ: парни объ дѣвкахъ, а дѣвки объ парняхъ.

Разлюляевъ. Ха-ха-ха!.. Это вы, Анна Ивановна, въ точности говорите.

Любовь Гордѣевна. Вотъ ужъ никогда.

Маша (*Лизѣ*). Ахъ, стыдъ какой!

Лиза. Это, Анна Ивановна, вы говорите совсѣмъ напротивъ.

Анна Ив. Ахъ вы, скромность! Ужъ сказала бы словечко, да не хорошо при парняхъ-то... Сама была въ дѣвкахъ, все знаю.

Любовь Гордѣевна. Дѣвушка дѣвушкѣ рознь.

Маша. Ахъ, стыдъ какой!

Лиза. Что вы говорите, это даже для насъ оченно странно и, можно сказать, конфузно.

Разлюляевъ. Ха-ха-ха!..

Анна Ив. А объ чемъ сейчасъ наверху разговоръ былъ? Хотите, скажу!.. Ну, говорить что ли? Чтó, присмирѣли!

Разлюляевъ. Ха-ха-ха и т. д.

Вотъ это живое лицо, хоть рѣчи ея и отзываются прачечной. Анна Ивановна говоритъ, конечно, съ-плеча; вообще она женщина незастѣнчивая, но зато хитростей въ ней нѣтъ, и она остается вполнѣ вѣрна своему быту. Впрочемъ, она занимаетъ въ пьесѣ лишь второстепенную роль: ея содѣйствіе нужно только для того, чтобы, когда всѣ ужъ вышли изъ комнаты Мити, кромѣ его самого и Любови Гордѣевны, придержать снаружи дверь и такимъ образомъ устроить между ними свиданіе, будто вовсе нечаянно. И тутъ Анна Ивановна остается вѣрна себѣ. Сцена свиданія между Митею и Любовью Гордѣевной также выдержана въ духѣ дѣйствующихъ лицъ. Она очень невелика, и вся состоитъ въ томъ, что Митя, вмѣсто объясненія въ любви, потчуетъ свою любезную стихами своего сочиненія, которые онъ „самъ писалъ и притомъ не учимшись“, на что въ отвѣтъ она пишетъ ему нѣсколько словъ прозою, запрещая, впрочемъ, читать ихъ при себѣ. Таковато любовь Мити, и вотъ каково ему платятъ за нее! Не знаемъ, можетъ-быть, тамъ оно такъ и бываетъ, но мы должны признаться за себя, что этотъ томносладенькій приказчикъ, который чувствуетъ и говоритъ по стихотвореніямъ Кольцова,—очень приторенъ. Любовь Гордѣевна, которая только что взялась за перо, какъ ужъ „выпачкала себѣ всѣ пальцы“, по крайней мѣрѣ,—гораздо натуральнѣе его. Объясненіе Любови Гордѣевны съ Митею кончено, а вмѣстѣ съ тѣмъ могло бы кончиться и самое дѣйствіе, какъ вдругъ,

будто бы изъ земли, вырастаетъ передъ влюбленными и передъ зрителемъ новая фигура, довольно дикаго и не очень опрятнаго вида, и, обращаясь къ испуганной дѣвушкѣ, говоритъ ей: „Стой! Что за человѣкъ? По какому виду? За какимъ дѣломъ? Взять ее подъ сомнѣніе!“ Оказывается, что эта странная фигура не кто иной, какъ „дяденька“ Любови Гордѣевны, родной братъ ея отца, однимъ словомъ: Любимъ Карпычъ Торцовъ, столько прославленный въ недавнее время. Мы бы, въ самомъ дѣлѣ, могли стать втупикъ передъ этимъ невиданнымъ еще въ нашей литературѣ „типомъ“, если бъ друзья автора, сверхъ ожиданія, не помогли нашему невѣжеству и не возвѣстили въ особомъ диѳирамбѣ, вскорѣ послѣ появленія въ свѣтъ пьесы, всей читающей русской публикѣ, что, наконецъ, давно искомый идеалъ найденъ и что публика можетъ любоваться имъ въ лицѣ Любима Торцова. Читатели, вѣроятно, не забыли то знаменитое „новое слово“, котораго, говорятъ, не могли выговорить ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни Гоголь, и котораго скорое появленіе пиѳически было возвѣщаемо въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ въ „Москвитянинѣ“: это таинственное слово, наконецъ, сказано, и имя ему—Любимъ Торцовъ. Мы заранѣе просимъ извиненія у автора въ такомъ толкованіи: намъ бы оно никогда не пришло въ голову, если бъ мы не нашли его въ томъ самомъ журналѣ, въ которомъ, за исключеніемъ послѣдней комедіи, печатались всѣ произведенія, носящія имя г. Островскаго, и если бъ оно не высказано было съ полною опредѣленностью однимъ изъ самыхъ жаркихъ почитателей его таланта *). Авторъ не протестовалъ ничѣмъ противъ такого объясненія, и мы поневолѣ должны были заключить, что оно соотвѣтствуетъ, по крайней мѣрѣ, не противорѣчитъ его собственному образу мыслей.

Итакъ, Любимъ Торцовъ—новое слово русской литературы, въ которомъ выразился успѣхъ ея послѣ Пушкина и Гоголя. Мнѣніе высказано незастѣнчиво: такъ и намъ слѣдуетъ, не пугаясь дикаго вида Любима Карпыча, всмотрѣться ему въ лицо попристальнѣе. Что такое Любимъ Торцовъ? Объ этомъ мы можемъ узнать изъ разговора его съ этимъ счастливцемъ Митею, которому открываютъ свою

*) Ап. Григорьевъ. *Н. Д.*

душу всѣ приходящіе въ его комнату или только проходящіе черезъ нее. Любимъ Торцовъ еще откровеннѣе всѣхъ другихъ. Онъ сразу разсказываетъ Митѣ всю свою исторію. Начать съ того, что Любимъ Карпычъ объявляетъ Митѣ, безъ дальнихъ околичностей, что онъ пропилъ свои послѣднія деньги, которыхъ было „два франка да нѣсколько сантимовъ“ (?), что онъ „пьетъ отъ своей глупости“ и что не можетъ перестать пить потому, что „попалъ на такую линію“. Это самое главное въ Любимѣ Торцовѣ; это первый аттестатъ его на вниманіе публики. Слѣдуетъ исторія того, какъ онъ попалъ на такую линію, съ которой болѣе не въ состояніи сойти. Остался онъ послѣ отца „малъ-малехонекъ, лѣтъ двадцати несмышленочекъ“. О своемъ моральномъ и нравственномъ состояніи въ то время онъ самъ выражается такимъ образомъ: „Въ головѣ-то, какъ въ пустомъ чердакѣ, вѣтеръ такъ и ходитъ“. Добра тутъ, конечно, ждать нечего. На бѣду еще этой пустой головѣ достались вольныя деньги: братья раздѣлились между собой, и хоть Гордѣй при этомъ случаѣ покривилъ душою (если, впрочемъ, вѣрить разсказчику), однако, Любиму все же досталась хорошая часть деньгами и билетами, которою онъ могъ распоряжаться совершенно по-своему. Понятно, какое употребленіе могъ сдѣлать „молодецъ“ въ двадцать лѣтъ, у котораго въ головѣ, кромѣ вѣтра, ничего не было; доставшемуся ему капиталу онъ, что называется, протеръ глаза. Получивъ свою часть, Любимъ Торцовъ, сейчасъ же — въ Москву, пошелъ по трактирамъ ходить, по театрамъ ѣздить, завелъ себѣ кучу пріятелей извѣстнаго сорта, перебывалъ вездѣ и научился даже такимъ выраженіямъ, какъ „шпиленъ зи полька“ или „дайте еще бутылочку похолоднѣе“, которыя, можетъ-быть, показываютъ короткое знакомство его съ самыми грязными углами большого города, но отъ которыхъ, право, можно было бы уволить литературу, безъ всякаго для нея ущерба. Особенно любилъ Торцовъ смотрѣть трагедію, но „только ничего не видалъ путемъ, потому что былъ больше все пьянъ“... Однимъ словомъ, Любимъ Торцовъ въ самой ранней молодости прошелъ уже всю школу распутства и вышелъ изъ нея горькимъ пьяницей. Вотъ какъ попалъ онъ на „ту линію“, съ которой не могъ болѣе своротить. „Такимъ-то побытомъ (продолжаетъ Любимъ разсказывать Митѣ) деньжонки всѣ я ухнулъ“. А что еще

оставалось (конечно, остатокъ былъ не очень великъ, когда ужъ сказано напередъ, что „деньжонки всѣ ухнулъ“), то повѣрилъ онъ одному негодяю, по имени Африкану Коршунову, который съ нимъ же бражничалъ, и прогулялъ остальное. Кто тутъ виноватъ: Коршуновъ ли или самъ Торцовъ? Самъ Любимъ готовъ бы, кажется, свалить всю вину на Коршунова, а намъ думается—оба хороши! „И сѣлъ я (говоритъ далѣе Торцовъ), какъ ракъ на мели: выпить не на что, а выпить-то хочется“. Извѣстно, какъ поступаютъ въ такомъ случаѣ: продаютъ все, что есть, спускаютъ съ плечъ послѣдній сюртучишко и остаются... ну, какъ бы вамъ это сказать?.. Любимъ Торцовъ, по его словамъ, поступилъ точно такъ же—и вотъ вамъ записной пьяница во всей его формѣ: „оборванный, обдерганный, небритый“. Любимъ самъ признается, что въ его положеніи остается развѣ только *воровать*, и что, если бы не совѣсть и если бы „не страшно“, ему бы не миновать этого ремесла. Хорошо, что хоть совѣсть осталась; но можно ли положиться, что и она никогда не заснетъ въ человѣкѣ, который пьетъ почти безъ просыпа? Это называется у кого-то „новое слово“; это поставляется на видъ, какъ лучшій цвѣтъ всей нашей литературной производительности за послѣдніе годы! За что же такая невѣжественная хула на русскую литературу? Дѣйствительно, такого „слова“ еще не говорилось въ ней, такого героя никогда и не снилось ей, благодаря тому, что въ ней еще свѣжи были старыя литературныя преданія, которыя, не допустили бы такого искаженія вкуса. Любимъ Торцовъ могъ явиться на сценѣ во всемъ своемъ безобразіи лишь въ то время, когда они начали приходить въ забвеніе. Не то удивляетъ насъ, что въ литературѣ нашей могъ возникнуть такой типъ, какъ Любимъ Торцовъ: неудивительно такое явленіе, потому что дагерротипное искусство господствуетъ въ ней ужъ нѣсколько лѣтъ сряду; мы уже столько дагерротипировали окружающую насъ дѣйствительность, что, наконецъ, въ состояніи были спуститься и до Любима Торцова. Удивляетъ и непріятно поражаетъ насъ то, что пьяная фигура какого-нибудь Торцова могла вырасти до идеала, что ею хотятъ гордиться, какъ самымъ чистымъ воспроизведеніемъ народности въ поэзіи, что Торцовымъ мѣрятъ успѣхи литературы и навязываютъ его всѣмъ въ любовь, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ-де намъ

свой, что онъ у насъ „ко двору“! Не есть ли это искаженіе вкуса и совершенное забвеніе всѣхъ чувствъ литературныхъ преданій? Но вѣдь, есть же стыдъ, есть литературныя приличія, которыя остаются и послѣ того, какъ лучшія преданія утрачены. За что же мы будемъ срамить себя, называя Торцова „своимъ“ и возводя его въ наши поэтическіе идеалы? Если ужъ Торцовъ, то-есть одинъ изъ множества Торцовыхъ, попалъ въ литературу, то пусть онъ и остается въ ней только подъ своимъ настоящимъ именемъ, съ своею подлинною отмѣткою, какъ есть въ ней и многіе другіе персонажи подобнаго разряда. Вы хотите непремѣнно сдѣлать изъ вашего Торцова героя нашего времени, то-есть хотите привязать къ нему симпатію публики? Но позволено спросить: на чемъ могутъ быть основаны эти симпатіи? или какого рода расположеніе долженъ принести съ собою зритель, чтобъ почувствовать любовь, влеченіе къ Торцову, смотря на его фигуру, слушая его рѣчи и узнавъ всѣ его похожденія?.. Продолжая ту же сцену, которая подала намъ поводъ сдѣлать это отступленіе, авторъ, повидимому, имѣлъ цѣлью поднять своего героя въ глазахъ зрителя. Любимъ Торцовъ разсказываетъ далѣе о себѣ, какъ однажды, отрезвясь сильною болѣзнью, онъ пришелъ было въ разсудокъ и пошелъ просить милости у брата. Этотъ братъ былъ не кто иной, какъ тотъ же извѣстный намъ Гордѣй Карпычъ: онъ отказался принять у себя Любима, говоря, что боится стыда отъ него,—и Любимъ опять попалъ на прежнюю „линію“. Она-то завела его и къ Митѣ: бродя изъ стороны въ сторону, Торцовъ зашелъ къ нему, чтобъ отдохнуть немного, попросить гривенникъ на извѣстное употребленіе, и, если можно, провести ночь. Отъ этого объясненія между Торцовымъ и Митею читателю, какъ говорится, ни тепло ни холодно. Конечно, къ біографіи Любима Торцова прибавляется еще одна новая черта; но она ничего не измѣняетъ въ нашемъ о немъ понятіи. Изъ того, что у Любима Торцова была въ жизни одна минута, когда онъ не прочь былъ вытрезвиться, еще не слѣдуетъ, чтобъ онъ въ самомъ дѣлѣ вытрезвился. Жаль его, какъ безнадежно-потерявшагося человѣка, но оттого онъ не становится лучшимъ въ нашихъ глазахъ. Разсказанный случай немного прибавляетъ и къ тому, что мы знаемъ ужъ о другомъ Торцовѣ. Братскаго чувства, какъ видно, никогда въ немъ не было. Что ему стыдно было такого

брата, какъ Любимъ, это еще не можетъ служить ему упрекомъ: кто же бы, живя въ обществѣ, не устыдился такого „пріятнаго во всѣхъ отношеніяхъ“ братца, какъ герой новой комедіи? Но Гордѣй Карпычъ не показалъ при этомъ случаѣ никакого состраданія: онъ не хотѣлъ взять на себя непріятныхъ хлопотъ, которыя отъ него требовались, чтобъ вытрезвить, выдержать брата; онъ поступилъ, какъ человѣкъ безъ сердца, и тѣмъ только далъ поводъ брату оправдывать свой порокъ, сваливая вину на другого.

Все это такъ странно встрѣтить въ произведеніи автора, который—казалось намъ до сего времени—любилъ вдумываться въ созданные имъ характеры и заботиться о художественномъ строѣ своихъ пьесъ, хотя бы желаніе его и не всегда увѣнчивалось успѣхомъ. Въ новой комедіи какъ-то незамѣтно ни того ни другого: вмѣсто характеровъ, онъ даетъ намъ лишь внѣшніе очерки лицъ и вводитъ ихъ въ дѣйствіе самымъ внѣшнимъ образомъ. Случилось захмелѣвшему Торцову забрести къ Митѣ и задремать у него, и изъ этого выходитъ цѣлый узелъ драматическаго дѣйствія; а случись ему попасть на другой ночлегъ, дѣйствія, пожалуй, и не было бы вовсе. Хорошо тѣмъ читателямъ, которые знакомы съ извѣстнымъ поэтическимъ комментаріемъ на комедію; они, по крайней мѣрѣ, приготовлены: они знаютъ, что какъ скоро появляется на сценѣ Любимъ Торцовъ, такъ ужъ тутъ непремѣнно должно происходить что-нибудь важное, что въ лицѣ его, можетъ-быть, даже готовится развязка цѣлой комедіи. Для нихъ Любимъ Торцовъ, появляющійся въ первомъ дѣйствіи, по крайней мѣрѣ, имѣетъ значеніе того, что называется deus ex machina, лишь заранѣе показывающаго себя зрителямъ, чтобъ они не сомнѣвались въ возможности развязки. Но какой смыслъ можетъ имѣть случайное его появленіе въ домѣ брата, откуда его выгнали прежде, для простого зрителя или читателя? Развѣ тотъ только, что ко многимъ другимъ лицамъ, которыя проходятъ какъ китайскія тѣни (кромѣ Анны Ивановны) черезъ это дѣйствіе, прибавляется еще новая фигура и не очень скромнымъ появленіемъ своимъ живописнѣе заключаетъ дѣйствіе, потому что безъ особенныхъ комментаріевъ едва ли кто захочетъ придавать важность послѣднимъ словамъ пьянаго человѣка, которыя онъ произноситъ у Мити, засыпая: „А я съ братомъ смѣшную штуку сдѣлаю“... А между тѣмъ, въ

нихъ-то и вся штука! Немного драматическаго интереса вынесли мы изъ перваго дѣйствія, да немного найдемъ его и во второмъ. Оно происходитъ уже въ „гостиной“ Торцова, меблированной, разумѣется, „по-модному“: хозяинъ дома, какъ извѣстно, стоитъ на томъ—въ этомъ даже состоитъ нѣкоторымъ образомъ его характеръ (за недостаткомъ другого). Автору почему-то вздумалось, что зритель слишкомъ утомленъ однообразіемъ ли дѣйствія, или разнообразіемъ безпрестанно появляющихся лицъ перваго акта, и потому онъ счелъ за нужное поскорѣе развеселить публику и для того превратилъ второй актъ въ самый нецеремонный дивертисментъ. Разыгрывается во всей своей красѣ святочный вечеръ, какіе бываютъ обыкновенно въ провинціальныхъ купеческихъ домахъ. Такъ какъ хозяина *не случилось* дома, то Пелагея Егоровна устраиваетъ вечеръ совершенно по своему вкусу. Всѣ эти лица, которыя такъ долго толпились, Богъ знаетъ зачѣмъ, передъ Митею въ первомъ актѣ, составляютъ теперь въ гостиной Гордѣя Карпыча одно общество: они—гости Пелагеи Егоровны. Кромѣ сентиментальной Любови Гордѣевны, которая говоритъ: „Что наша любовь? Какъ былинка въ полѣ—не расцвѣтетъ путемъ да и поблекнетъ“, кромѣ „тихаго да сиротливаго Мити“, успѣвшаго уже объясниться съ нею въ любви, тутъ и Анна Ивановна, и Разлюляевъ, и Гуслинъ, и Егорушка, и нянька Арина и, вдобавокъ, еще нѣсколько пріятельницъ хозяйки. Недостаетъ только рельефной фигуры Любима Торцова; но авторъ показываетъ его лишь при особенно важныхъ случаяхъ. Все второе дѣйствіе обходится вовсе безъ Торцова. Зато авторъ пользуется случаемъ, чтобы показать различіе между тѣмъ бытомъ, который вновь завелъ у себя хозяинъ дома, и тѣмъ, котораго продолжаетъ держаться хозяйка. Гордѣй Карпычъ, какъ извѣстно, любитъ угощать своихъ гостей шампанскимъ, а Пелагея Егоровна, держась крѣпко *старины*, угощаетъ своихъ пріятельницъ мадерою. Какіе, подумаешь, тонкіе оттѣнки! „Я,—говоритъ Пелагея Егоровна,—люблю по-старому, по-старому... Я люблю, я веселая... да... попотчевать, да чтобы мнѣ пѣсни пѣли“ и проч. И по желанію Пелагеи Егоровны, начинается всеобщее веселье. Старушкамъ подаютъ мадеры, молодымъ подносятъ пряники и другія лакомства; затягиваютъ подблюдныя пѣсни, приходятъ ряженые: старикъ съ балалайкой, вожакъ съ медвѣдемъ и козой, Егорушка со

сказкой. Кто во что гораздъ; пошла потѣха — настоящій шабашъ!.. (Затѣмъ приводятся пѣсни изъ 2-го дѣйствія.)

Какъ, однако, легко, будучи драматическимъ писателемъ, по волѣ превратить сцену въ балаганъ, и какъ возможно, будучи зрителемъ, обмануться въ ожиданіяхъ и вовсе нечаянно попасть, вмѣсто драматическаго представленія, на ярмарочное увеселеніе. Кому же хотѣлъ польстить авторъ, выводя на сцену козу и медвѣдя? Есть ли это уступка народному вкусу, вынужденная стремленіемъ къ популярности въ извѣстномъ смыслѣ, или авторъ не шутя думаетъ подобными сценами перевоспитать на свой ладъ вкусъ избранной части публики?—задача, достойная писателя-художника въ томъ и другомъ случаѣ! По счастью, впрочемъ, веселый дивертисментъ наполняетъ собою не весь второй актъ. При концѣ его авторъ вспомнилъ, что все-таки онъ пишетъ драматическую пьесу, а не представленіе для разъѣзда каретъ, и что пора же ему, наконецъ, позаботиться о настоящемъ драматическомъ интересѣ: угождая райку, надобно было сдѣлать хоть небольшую уступку и остальной части публики. Конечно, въ силу такого соображенія явилась новая сцена, которая, по нашему мнѣнію, одна только и составляетъ настоящее содержаніе всего второго дѣйствія. Читатель припомнитъ, что комедія до сихъ поръ оставалась безъ завязки, потому что нельзя называть завязкою пѣсенную любовь Мити къ Любови Гордѣевнѣ, пока мы не узнали отъ отца ея, что́ онъ думаетъ о любви своей дочери. Гордѣй Карпычъ такой своенравный человѣкъ: почему знать, можетъ-быть, ему и понравится, что у дочери его вдругъ появились романическія чувствованія? Вѣдь, у него, несмотря на его шестьдесятъ лѣтъ, такіе странные вкусы! Послѣдняя сцена второго акта однимъ разомъ рѣшаетъ всѣ наши сомнѣнія по этому предмету. Еще коза и медвѣдь не успѣли сойти со сцены, какъ пріѣзжаетъ „самъ", то-есть самъ хозяинъ, и еще привозитъ съ собою дорогого гостя. Этотъ дорогой гость не кто иной, какъ тотъ самый Африканъ Саввичъ, по фамиліи Коршуновъ, который, какъ мы видѣли прежде, заслужилъ себѣ такую невыгодную репутацію во мнѣніи Пелагеи Егоровны и Любима Торцова: по словамъ Любима, Гордѣй Карпычъ не только „гуляетъ" вмѣстѣ съ нимъ, но отъ него же получилъ и всѣ свои дурные вкусы, а по словамъ второго, Африканъ Саввичъ былъ тотъ самый

гуляка, который нѣкогда выманилъ у него послѣднія деньги и прогулялъ ихъ вмѣстѣ съ нимъ. Поэтому, можетъ-быть, вы воображали увидѣть въ Коршуновѣ нѣчто напоминающее Торцова? Ничуть не бывало: Коршуновъ богатый человѣкъ, держитъ у себя фабрику, и хоть „все пьетъ съ дилехторомъ ея", какъ выражается Пелагея Егоровна, однако, ведетъ себя, по крайней мѣрѣ съ чужими людьми, настолько прилично, что Гордѣй Карпычъ не только не стыдится его, но еще гордится имъ и позволяетъ ему называть себя дружескимъ „ты". Можно себѣ представить, какую суматоху произвелъ въ домѣ неожиданный пріѣздъ хозяина, да еще съ гостемъ. Гордѣй Карпычъ распорядился въ мигъ: завидѣвъ ряженыхъ, въ томъ числѣ одѣтыхъ въ шкуры козы и медвѣдя, въ своей гостиной, онъ закричалъ на эту „сволочь" и тотчасъ выгналъ ее вонъ. Потомъ онъ крикнулъ на „дѣвокъ", и если бъ не вступилась за нихъ Пелагея Егоровна, то имъ тоже пришлось бы убираться вонъ, вслѣдъ за козой и медвѣдемъ. Потомъ онъ выбранилъ жену за мадеру и велѣлъ подать полдюжины шампанскаго; потомъ поплелись старушки-пріятельницы Пелагеи Егоровны, и т. д. Спровадивъ такимъ образомъ непрошенныхъ гостей, въ томъ числѣ и безотвѣтнаго Митю, Гордѣй Карпычъ начинаетъ чествовать своего дорогого гостя, Африкана Саввича, и вскорѣ потомъ, съ бокаломъ въ рукѣ, объявляетъ всѣмъ присутствующимъ, что онъ намѣренъ переселиться въ Москву и что Африканъ Саввичъ будетъ его зятемъ. При этомъ словѣ Пелагея Егоровна пробуетъ противорѣчить; но, узнавъ, что уже поздно, что будущіе тесть и зять уже ударили между собою по рукамъ, скоро унимается. Любовь Гордѣевна вовсе не противорѣчитъ: „Я (говоритъ), тятенька, изъ твоей воли ни на-шагъ не выйду; я приказу твоего не могу ослушаться". Да и гдѣ же ей взять опору, чтобъ говорить противъ? Плаксивый видъ ея друга никому бы не внушилъ бодрости. Стихотворныя его подражанія Кольцову тоже, повидимому, не произвели сильнаго дѣйствія на ея сердце. И такъ она проситъ отца только пожалѣть ее, бѣдную, и не губить ея молодости; но какъ Гордѣй Карпычъ отказывается взять свое слово назадъ, то она во всемъ отдается на его волю, и дѣйствіе заключается свадебною пѣснью въ честь жениха и невѣсты. Несмотря на всю пассивность этой сцены, она, однако, принадлежитъ къ лучшимъ

въ пьесѣ. Во внѣшнемъ положеніи Африкана Саввича есть нѣкоторыя видимыя противорѣчія, но самъ онъ, какъ характеръ, задуманъ довольно удачно. Въ лицѣ его нѣтъ ничего симпатичнаго для зрителя, но ему нельзя отказать въ жизненности. Это лицо напомнило намъ время, впрочемъ, еще очень недавнее, болѣе счастливой производительности того же автора, когда ему дѣйствительно удавалось многое какъ въ изображеніи лицъ, такъ и въ развитіи дѣйствія. Коршуновъ задуманъ оригинально: въ немъ нѣтъ ничего ни заученнаго ни сочиненнаго, какъ въ другихъ, окружающихъ его лицахъ той же комедіи, какъ въ Митѣ и самомъ Гордѣѣ Карпычѣ; онъ никому не подражаетъ, никого не коверкаетъ; онъ походитъ лишь самъ на себя. Судя по этимъ признакамъ, можно бы подумать, что Коршуновъ замышленъ одновременно съ Большовыми, Лазарями, Русаковыми и подобными имъ лицами и лишь случайно попалъ въ позднѣйшее поколѣніе Торцовыхъ и ихъ современниковъ... Впрочемъ, мы говоримъ только о первомъ появленіи его на сцену, потому что не одно и то же постановка характера въ пьесѣ и развитіе его въ самомъ дѣйствіи. Послѣднее мы узнаемъ изъ дальнѣйшаго хода комедіи... (Слѣдуетъ первое объясненіе Коршунова съ Любовію Гордѣевной. Дѣйствіе 2-е. Явленіе 9-е.)

Кто разъ подслушалъ разговоръ Африкана Саввича, тотъ ужъ довольно ясно представляетъ его себѣ. Посмотримъ теперь, что сдѣлалъ изъ него авторъ въ дальнѣйшемъ развитіи драматическаго дѣйствія... Драматическое дѣйствіе— легко сказать! А гдѣ прикажете ему взять мѣста, когда въ распоряженіи автора остается не болѣе акта? Если дѣйствіе едва успѣло завязаться въ концѣ второго, то третьяго (онъ же и послѣдній) достанетъ развѣ только для развязки. Притомъ же драма возможна только тамъ, гдѣ есть характеры, гдѣ предполагается возможность столкновенія между ними; но какого хотите вы драматизма, когда противъ одного дѣйствительнаго характера вы имѣете только сочиненныя лица, безъ всякой существенной основы, или тѣни безъ образа, способныя развѣ на то лишь, чтобы пропѣть жалобную пѣсню или проговорить чужое стихотвореніе?.. Отъ „дѣйствующаго“ лица въ драматической пьесѣ вы, конечно, потребуете дѣйствія, а вамъ нарочно даютъ такія лица, которыя лишены всякой внутренней способности дѣйствовать! Посмотрите, напримѣръ, какія усилія употребляетъ

авторъ, чтобъ устами самой героини своей пьесы втолковать читателю или зрителю, что она рѣшительно не имѣетъ никакой воли, что она даже стоитъ на томъ и что такъ тому всегда и быть. Онъ нарочно заставляетъ ее нѣсколько разъ изворотить фразу, чтобъ сказать читателю, въ сущности, одно и то же, чтобъ ему и въ голову не приходило ожидать отъ дѣвушки чего-нибудь похожаго на смыслъ и дѣло. Пелагея Егоровна—такое же олицетворенное отсутствіе воли, какъ и дочь ея, только постарше годами. Женщина и воля, то-есть личность—для г. Островскаго понятія несовмѣстимыя. Его идеалъ женщины—женщина безъ личности. Впрочемъ, въ новой комедіи, за малыми исключеніями, и мужчины немного развѣ разнятся съ женщинами, хотя послѣднія и величаютъ ихъ иногда „крутыми“ характерами. Еще Гордѣй Карпычъ пусть себѣ: иному и въ самомъ дѣлѣ онъ можетъ показаться „крутымъ“, особенно какъ закричитъ покрѣпче на жену; но посмотрите на „тихаго да сиротливаго“ Митю: чѣмъ онъ лучше безотвѣтной Пелагеи Егоровны и отказывающейся отъ всякой самостоятельности Любови Гордѣевны? Мы не видали его ни въ дѣйствительности, ни на сценѣ; но, судя по его рѣчамъ, готовы подумать, что онъ также румянится и бѣлится, какъ и матушка съ дочкою... И вы хотите отъ Мити какого-нибудь дѣйствія?.. Его, пожалуй, тоже можно назвать интереснымъ явленіемъ въ литературѣ и даже, если угодно „новымъ словомъ“, потому что онъ, какъ и Любимъ Торцовъ, представляетъ собою еще нѣчто невиданное—совершенное женоподобіе въ мужскомъ образѣ: отсутствіе всякой энергіи въ характерѣ, съ претензіею, впрочемъ, на симпатію читателей и зрителей. Нѣтъ нужды говорить, что все эти лица остаются неизмѣнно вѣрны себѣ и въ третьемъ актѣ, въ которомъ все дѣйствіе происходитъ ужъ въ новомъ помѣщеніи—въ комнатѣ, составляющей *„родъ кабинета хозяйки* (то-есть Пелагеи Егоровны), откуда она управляетъ (?) всѣмъ домомъ и гдѣ принимаетъ (?) своихъ гостей запросто“. Дѣйствіе же это состоитъ въ томъ, что Пелагея Егоровна, усѣвшись на диванѣ въ своемъ quasi-кабинетѣ, отдыхаетъ отъ хлопотъ и плачется о своей дочери вмѣстѣ съ Ариною и Анною Ивановною; что приходитъ сюда Митя, или Митенька, и начинаетъ прощаться съ Пелагеею Егоровною (это происходитъ такъ: Митя кланяется въ ноги Пелагеѣ Егоровнѣ и потомъ

цѣлуется съ ней и съ Анной Ивановной, потомъ просто кланяется и останавливается); что на тотъ часъ забѣгаетъ сюда и Любовь Гордѣевна, и начинается новое прощанье, жалостливѣе перваго. Эта трогательная картина занимаетъ цѣлыя семь явленій. Дѣйствія, собственно, никакого нѣтъ, а между тѣмъ всѣ тронуты, всѣ разжалоблены. Митя уходитъ и уноситъ съ собой послѣдній и единственный узелъ дѣйствія, котораго не было, но которое могло бы быть. Еще жалостливая Пелагея Егоровна продолжаетъ оплакивать его, но Любовь Гордѣевна сейчасъ же перестаетъ и думать о немъ. „Ну, маменька (говоритъ она), что тамъ и думать, чего нельзя, только себя мучить". Читатель тоже думаетъ про-себя: о чемъ же больше и хлопотать? Кажется, все дѣло уладилось: Гордѣй Карпычъ давно поладилъ съ Африканомъ Саввичемъ; Митя, который могъ быть единственнымъ препятствіемъ къ браку Коршунова съ Любовью Гордѣевною, добровольно удалился со сцены; она сама болѣе не противорѣчитъ и не велитъ тужить даже своей матери; стало-быть, все кончено, и комедія развязалась безъ дѣйствія? Вдругъ входитъ въ ту же комнату Коршуновъ и вступаетъ въ разговоръ со своей невѣстой... (Приводится самый разговоръ.)

Что хорошо, то хорошо! Эта сцена, хоть мы ея вовсе не ждали, опять напомнила намъ прежнее, лучшее время автора комедіи. Опять видно умѣнье заставить человѣка высказаться въ немногихъ словахъ; опять видна способность задумать цѣлый характеръ, вѣрный только самому себѣ. Повторяемъ: въ Коршуновѣ нѣтъ ничего симпатическаго,—напротивъ, чѣмъ больше узнаешь его, тѣмъ больше чувствуешь къ нему антипатію; но въ то же время нельзя не сознаться, что, чѣмъ больше слушаешь его, тѣмъ онъ кажется занимательнѣе. Эта занимательность внутренняя, происходящая изъ вѣрно-задуманнаго характера, который постепенно раскрывается даже въ простомъ разговорѣ съ другимъ. Коршуновъ, очевидно, принадлежитъ грубой дѣйствительности: въ немъ нѣтъ ни одной идеальной черты, да никто, къ счастью, и не думаетъ выдавать его за идеальнаго героя; но тѣмъ не менѣе интересно заглянуть на дно души этого стараго эгоиста, который притворяется добренькимъ и ласковымъ старичкомъ, а самъ думаетъ о томъ, какъ бы залучить въ свои лапы добычу. Тутъ, конечно,

есть одинъ пунктъ, о которомъ можно и поспорить. Въ странномъ припадкѣ откровенности, Коршуновъ тутъ же даетъ замѣтить своей невѣстѣ, что какъ хорошо тому жить на свѣтѣ, кого онъ полюбитъ, такъ плохо придется тому, кого онъ не залюбитъ, что тому человѣку лучше не жить на свѣтѣ, что онъ не дастъ ему ни прохода ни отдыха... Читатель въ правѣ спросить: какъ же могъ до такой степени забыться этотъ человѣкъ, чтобъ рѣшиться застращать свою невѣсту, когда онъ затѣмъ и пришелъ сюда, чтобы успокоить, приласкать ее и внушить ей хоть сколько-нибудь довѣренности къ себѣ? Въ оправданіе этого противорѣчія могутъ сказать, что старикъ не выдержалъ, когда ему напомнили о первой женѣ, что онъ былъ задѣтъ за живое и измѣнилъ самъ себѣ, то-есть высказался противъ воли... По нуждѣ нужно допустить такое объясненіе; но намъ кажется естественнѣе другое. По всей вѣроятности, авторъ желалъ показать зрителю своего Коршунова не только тѣмъ, чѣмъ онъ самъ хотѣлъ казаться передъ другими, но и тѣмъ, чѣмъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ; и какъ дѣйствіе было уже къ концу, то онъ предпочелъ соединить обѣ цѣли въ одномъ явленіи, чѣмъ оставить мысль свою недосказанною. По этой одной чертѣ можно было судить, къ чему ведетъ недостатокъ художественнаго строя въ пьесѣ. Впрочемъ, все остальное въ приведенной нами сценѣ обстоитъ благополучно. Неловкая выходка Коршунова нисколько не измѣняетъ сущности дѣла: самъ онъ остается совершенно твердъ въ своемъ прежнемъ намѣреніи, а Любовь Гордѣевна даже не пугается; такъ она ко всему равнодушна. Зритель еще разъ ожидаетъ благополучной развязки, какъ вдругъ... какъ вдругъ подмостки сцены раздвигаются, и изъ-подъ нихъ выходитъ страшилище... Читатель догадается, что это страшилище, этотъ deus ex machina не кто иной, какъ Любимъ Карпычъ Торцовъ, котораго авторъ нарочно не выпускалъ на сцену съ самаго окончанія перваго дѣйствія, чтобъ тѣмъ эффектнѣе поразить зрителей его появленіемъ въ концѣ пьесы. Какъ и слѣдовало ожидать, онъ появляется на сцену съ громомъ и трескомъ.

Любимъ Карпычъ. Гуръ-гуръ-гуръ... буль-буль-буль... Съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать!.. Пріятелю! (*Протягивая руку Коршунову.*) Наше вамъ-съ!.. Тысячу лѣтъ со днемъ не видались. Какъ поживаете?

Хорошъ?.. Но это пока еще одни слова; дѣйствіе же,

которое за ними слѣдуетъ, состоитъ вотъ въ чемъ. Прежде всего нашъ герой накидывается на своего стараго пріятеля, Африкана Саввича, ты-де меня разорилъ, съ сумой по міру пустилъ. На это Коршуновъ весьма справедливо замѣчаетъ ему: „Ты же самъ чего зѣвалъ? вѣдь, тебя за воротъ не тянули". Любимъ соглашается съ нимъ, но прибавляетъ— тоже, по нашему мнѣнію, совершенно справедливо: „Я-то дуракъ, да вѣдь, и тебѣ не велика честь". Между ними начинается торговля: Коршуновъ думаетъ отдѣлаться цѣлковенькимъ, а Любимъ забираетъ все выше и требуетъ „стараго долгу, да мильонъ триста тысячъ за племянницу". ордѣй Карпычъ вступается за своего гостя и гонитъ брата вонъ. Тогда Любимъ приходитъ въ совершенный азартъ: я, говоритъ, пришелъ не шутки шутить, во мнѣ, говоритъ, кровь заговорила, и Богъ вѣсть по какому праву начинаетъ честить Коршунова такими словами, что тотъ, какъ ни тупъ къ обидамъ, однако, оскорбляется отъ брани пьянаго буяна и откланивается своему нареченному тестю, говоря, что онъ даромъ терпѣть обидъ не намѣренъ. Читатель можетъ подумать: чего же смотритъ хозяинъ? Какъ же онъ позволяетъ у себя въ домѣ такое нахальное буйство—все равно, къ кому бы оно ни относилось? Читатель, стало-быть, не довольно вникъ въ характеръ этого лица. Гордѣй Карпычъ такой странный, такой причудливый человѣкъ, что за него ни на минуту поручиться нельзя.

Вотъ, Гордѣя Карпыча осрамили въ его же собственномъ домѣ, въ его глазахъ наругались надъ нареченнымъ его зятемъ и даже выгнали этого нареченнаго зятя вонъ съ безчестіемъ; всякій ждетъ, что Гордѣй Карпычъ выдержитъ сколько-нибудь свой характеръ и, по крайней мѣрѣ, заставитъ молчать своего милаго братца—не тутъ-то было! Въ Гордѣѣ тоже, должно-быть, заговорила родственная кровь; онъ также вдругъ вскидывается на Коршунова за то, что тотъ въ порывѣ досады, сказалъ ему: теперь-де *ты* приди ко мнѣ, да покланяйся, чтобъ я взялъ твою дочь", не менѣе самого Любима распаляется жаждою мщенія и, въ припадкѣ ярости, говоритъ, что выдастъ дочь свою не за кого другого, какъ... „вотъ за Митьку". А Митька, то-есть, приказчикъ Митя, какъ-будто того только и ждалъ: онъ, видите, не успѣлъ еще выбраться изъ дома и пришелъ сюда на шумъ... Митѣ, разумѣется, то и на руку: онъ готовъ хоть

сейчасъ къ вѣнцу съ Любовью Гордѣевной. Видя, что все потянуло къ нему—и невѣста и мать ея, Гордѣй Карпычъ тотчасъ, было, и въ попятную, но Любимъ Торцовъ не дремлетъ: онъ еще разъ выступаетъ героемъ изъ „толпы" (?) и говоритъ повелительно брату: „Братъ, отдай Любушку за Митю". Гордѣй ничего не хочетъ и слышать. „Ужъ пускай бы (говоритъ онъ Любиму) говорилъ человѣкъ, да не ты". Гордѣй берется, наконецъ, за разумъ и начинаетъ стыдить своего брата. Но въ Любимѣ живетъ чародѣйская сила; онъ думаетъ: не мытьемъ, такъ катаньемъ—дѣлаетъ передъ братомъ *выпляску*, потомъ становится передъ нимъ на колѣни и—новый Амфіонъ *) такимъ образомъ смягчаетъ каменное сердце своего брата. Въ одинъ мигъ сцена измѣняется. Гордѣй Карпычъ разнѣживается до того, что утираетъ слезу на глазахъ, поднимаетъ брата и обнимаетъ Митю и Любовь Гордѣевну. „Я сталъ (говоритъ онъ самъ о себѣ) совсѣмъ другой человѣкъ". У всѣхъ присутствующихъ какъ-будто отлегло на сердцѣ, и Разлюляевъ, другъ Мити, торжественно провозглашаетъ, что *„пьянство не порокъ*... то, бишь, бѣдность не порокъ", что́ и слѣдовало доказать. Отсюда видно, что Любимъ Торцовъ недаромъ грозился въ концѣ перваго акта сыграть съ своимъ братомъ „смѣшную штуку": онъ, какъ видится, сдержалъ свое слово вполнѣ; онъ доказалъ ему, какъ дважды два—четыре, что бѣдность не порокъ, не успѣвъ, однакожъ, показать зрителямъ, что и пьянство—добродѣтель... „Новое слово" сказано. Восторженныя похвалы въ стихахъ и прозѣ, воздаваемыя ему въ одномъ литературномъ захолустьѣ, показываютъ, что въ немъ выразилось направленіе какой-то школы (NB—подъ школою не всегда нужно разумѣть тѣхъ, которые учатся или хотятъ учиться). Новое слово облеклось въ форму комедіи, конечно, для того, чтобъ удобнѣе дѣйствовать какъ на литературную, такъ и на нелитературную публику. По вниманію къ этимъ двумъ обстоятельствамъ, мы и рѣшились пройти въ подробномъ обзорѣ все содержаніе пьесы, чтобъ, не заставляя читателя вѣрить намъ на слово, дать ему въ руки вѣрный масштабъ, по которому онъ самъ бы могъ судить о достоинствахъ произведенія. По своему же внутреннему составу и

*) Царь Ѳиванскій, сынъ Зевса и Антіоны; игрою на лирѣ очаровывалъ даже камни, которые сами складывались въ стѣны Ѳивъ. *Н. Д.*

строю, пьеса не стоила бы того, чтобъ долго останавливаться на ней: мы тѣмъ болѣе убѣждались въ этомъ, чѣмъ болѣе разбирали ее по частямъ. Что за драматическая пьеса, въ которой нѣтъ дѣйствія, или гдѣ выдаютъ за дѣйствія то святочныя и маскарадныя потѣхи, то идиллическія картины, то глупыя причуды безхарактерныхъ людей, которыя сами не знаютъ, чего хотятъ, то, наконецъ, выходки пьяныхъ нахаловъ, которые вдругъ, неизвѣстно почему, объявляютъ себя новыми „эвменидами" *) и въ этомъ качествѣ позволяютъ себѣ хлестать перваго встрѣчнаго по лицу! Да и какое драматическое дѣйствіе возможно тамъ, гдѣ половина дѣйствующихъ лицъ, по мысли самого автора, скорѣе должна походить на говорящія куклы, чѣмъ на живыхъ людей, гдѣ совершеннѣйшая пассивность намѣренно поставляется высшимъ идеаломъ женскаго характера? Далѣе, хотя бы какая-нибудь тѣнь художественнаго настроенія прикрывала эти коренные недостатки, или хоть была бы какая-нибудь послѣдовательность во внѣшнемъ ходѣ пьесы; но какой это художественный строй, когда въ пьесѣ все случайно, когда явленія смѣняются одно другимъ безъ всякой внутренней необходимости, и дѣйствующія лица гораздо больше поражаютъ неожиданностью своего появленія на сценѣ, чѣмъ прямымъ отношеніемъ къ происходящему дѣйствію? Авторъ такъ мало обдумалъ ходъ своей пьесы, распорядился такъ неэкономически, что даже для кажущагося дѣйствія, которымъ только и держатся комедіи, едва успѣлъ завязать узелъ въ концѣ второго акта, между тѣмъ какъ вся она состоитъ только изъ трехъ! Что же касается до перваго акта, то для него поспѣло уже заключеніе, прежде чѣмъ оказалась возможность завязки. Мы видѣли потомъ, среди какого хаоса происходитъ развязка всей пьесы: вдругъ какъ-будто какой смерчъ пронесся по комнатѣ и разомъ перевернулъ въ ней всѣ головы... Не говоримъ о „характерахъ"—этой необходимой основѣ всякаго драматическаго дѣйствія. Мы уже имѣли довольно случаевъ познакомиться съ ними и оцѣнить ихъ какъ по внутреннему достоинству, такъ и по отношеніямъ ихъ между собою въ продолженіе разбора пьесы. Рѣдкое драматическое произведеніе, если оно плодъ талантливаго пера, не дастъ въ результатѣ, послѣ

*) Эвмениды—то же что фуріи и эринніи, богини мести. *Н. Д.*

представленія или чтенія, нѣсколькихъ типовъ, которые удерживаются въ памяти, хотя бы интрига и все соединенное съ нею содержаніе пьесы пришли въ забвеніе. Отъ новой комедіи удастся, можетъ-быть, спасти въ этомъ смыслѣ развѣ Коршунова и Анну Ивановну, да и то съ нѣкоторою натяжкою (рельефностью Торцова пусть любуется кто хочетъ, кто чувствуетъ къ нему симпатію: мы, съ своей стороны, рѣшительно отрекаемся отъ него). Это, безспорно самыя живыя лица комедіи; но Анна Ивановна только-что намѣчена, а Коршуновъ, какъ ни вѣрно задуманъ, остался недоконченнымъ; ему приходится убираться со сцены, прежде чѣмъ онъ успѣлъ показать себя въ дѣйствіи. Остается языкъ дѣйствующихъ лицъ комедіи. Г. Островскій, какъ извѣстно, щеголяетъ имъ. Нѣтъ спора, что онъ превосходно знаетъ языкъ изображаемаго имъ класса людей и отлично умѣетъ поддѣлываться подъ него.

Но это умѣнье никогда не восходило у него до творчества и до сихъ поръ оставалось на степени подражанія. Копируя особенности рѣчи извѣстнаго сословія, г. Островскій всегда старался сохранить самые ея пороки и вкравшіяся въ нее искаженія языка наравнѣ съ особенностями. Сначала это занимало какъ новость, но потомъ стало надоѣдать, какъ повтореніе одного и того же. Если новая комедія не отстала въ этомъ отношеніи отъ другихъ пьесъ того же автора, то и нисколько не подвинула дѣла впередъ. Скучно слышать, напримѣръ, Митю, который не можетъ сказать десяти словъ сряду безъ того, чтобъ не ввернуть своихъ „теперича“, „знамши“, „надоть“ и тому подобнаго. Если и есть дѣйствительно такой жаргонъ, то какое дѣло до него искусству? Въ натурѣ ли его эта рабская подражательность? Къ сожалѣнію, она не въ языкѣ только новой комедіи, но и во всемъ почти ея содержаніи, какъ въ концепціи цѣлаго, такъ и въ подробностяхъ. Напрасно стали бы вы искать въ ней хоть одной идеальной черты: ея нѣтъ ни въ лицахъ, ни въ самомъ дѣйствіи... Безусловные почитатели таланта г. Островскаго, которые, кажется, готовы принять каждое движеніе его пера за новый успѣхъ русской литературы, называютъ Любима Торцова „новымъ ея словомъ“. Разсматривая это дѣйствительно-небывалое литературное явленіе въ тѣсной связи съ тѣмъ, что ему непосредственно предшествовало, мы скорѣе приходимъ къ той

мысли, что оно не первое, а развѣ „послѣднее слово“ давно существовавшаго направленія въ нашей литературѣ. Далѣе итти, кажется, уже нельзя: самыя прямыя стороны дѣйствительности не только списаны подлинными ея красками, но и возведены въ достоинство идеаловъ. Все это могло случиться лишь при крайнемъ упадкѣ чистаго вкуса и при совершенномъ забвеніи лучшихъ преданій добраго стараго времени. Не пора ли, наконецъ, и возвратиться къ нимъ? Прислушиваясь къ этимъ прекраснымъ поэтическимъ отголоскамъ, которые какъ-то уцѣлѣли отъ прежняго литературнаго періода и такъ недавно еще и вмѣстѣ такъ живо напомнили намъ о нашей доброй старинѣ, право, нельзя не пожалѣть о ней и не пожелать, чтобъ и нашему поколѣнію не отказано было въ тѣхъ скромныхъ, но истинно поэтическихъ дарахъ, которыми по праву можетъ гордиться муза г. Тютчева. *) Автору можетъ не понравиться нашъ взглядъ на новую комедію. Мы бы, впрочемъ, и не подумали входить въ подобный разборъ ея, если бы не сохранили въ себѣ довольно уваженія къ его таланту на основаніи прежнихъ его произведеній и не ожидали отъ него болѣе успѣха въ будущемъ. Одинъ грубый промахъ, одна ошибка противъ искусства не есть еще признакъ совершеннаго паденія. При доброй волѣ, молодому таланту не трудно будетъ поправить свою ошибку и снова стать на ноги. Но для болѣе вѣрнаго успѣха мы прежде всего желали бы ему выйти изъ того тѣснаго круга, въ которомъ онъ до сихъ поръ заключилъ свою дѣятельность, и нѣсколько поболѣе расширить свой умственный горизонтъ. Если видѣть только огородныя растенія, то, конечно, можно подумать, что въ цѣлой растительной природѣ нѣтъ ничего роскошнѣе и великолѣпнѣе.

---

*) Авторъ статьи приводитъ въ примѣръ Тютчева, очевидно, потому, что какъ разъ въ это время (50-е годы) онъ былъ открытъ и вошелъ въ моду, хотя писалъ уже давно и его выдающееся дарованіе обратило вниманіе Пушкина и другихъ знатоковъ поэзіи еще въ 30-хъ годахъ. Тютчевъ— представитель писателей, принадлежащихъ къ школѣ „чистаго искусства“.

Н. Д.

„Бѣдность не порокъ“ [1]).

*) Первая комедія г. Островскаго—*Свои люди—сочтемся* была принята читателями съ единодушнымъ одобреніемъ. Мы встрѣчали даже такихъ, которые, въ порывѣ увлеченія, ставили эту комедію выше „Недоросля“ и „Горе отъ

---

[1]) „Современникъ“ 1854 г., № 5. „Новыя книги“. *Бѣдность не порокъ.* Комедія А. Островскаго.

*) Эта статья принадлежитъ хорошо извѣстному читающей публикѣ Ник. Гаврил. Чернышевскому, автору многихъ научныхъ трудовъ, переводовъ, публицистическихъ статей и литературному критику. Чернышевскій род. въ Саратовѣ въ 1828 г. и ум. въ 1889 г. Происходя изъ духовной семьи, Чернышевскій сначала воспитывался въ духовной семинаріи, а затѣмъ перешелъ въ петерб. университетъ, на филологическій факультетъ. По выходѣ оттуда Чернышевскій нѣкоторое время занимался педагогической дѣятельностью, но вскорѣ оставилъ ее и отдался всецѣло литературѣ. Небольшими статейками, рецензіями и переводами въ „Петерб. Вѣд.“ и „Отеч. Зап.“ началъ онъ свою дѣятельность. Въ 1854 г. онъ переходитъ въ „Современникъ“ и занимаетъ тамъ мѣсто руководящаго сотрудника. Здѣсь онъ работаетъ исключительно по вопросамъ исторіи литературы и критики. Съ 1858 г. Чернышевскій почти оставляетъ область литературы и критики и пишетъ по вопросамъ политической экономіи и политики. Эта трансформація писательской энергіи Чернышевскаго произошла, главнымъ образомъ, потому, что въ журналѣ появилась такая крупная литературная сила, какъ Добролюбовъ. Между юношей Добролюбовымъ и Чернышевскимъ завязывается тѣсная дружба, вслѣдствіе огромнаго вліянія со стороны Чернышевскаго на умственное развитіе даровитаго критика. Чернышевскій, со свойственнымъ ему великодушіемъ, понялъ, что въ лицѣ Добролюбова онъ имѣетъ такого соперника, съ которымъ ему тягаться не-подъ-силу. Вліянію „Современника“, въ этотъ періодъ, на мыслящую часть общества журналъ обязанъ исключительно этимъ двумъ людямъ, а поэтому, неудивительно, что правительство Александра II, сначала было намѣревавшееся пойти по пути реформъ, но быстро понявшее, что частичными реформами обойтись нельзя, а широкія реформы для правящихъ классовъ не выгодны, повернуло назадъ, и первые, кто пострадалъ отъ репрессій, были „Современникъ“ и Чернышевскій. Въ 1864 г. Чернышевскій былъ сосланъ въ Сибирь и вернулся изъ ссылки только въ 1883 г.

Въ приводимой здѣсь статьѣ Чернышевскій отрицательно относится къ разбираемому произведенію Островскаго. Онъ не видитъ въ новой коме-

ума", наравнѣ съ „Ревизоромъ". И такое увлеченіе не сердило тѣхъ, которые не раздѣляли его—такъ оно было естественно. Черезъ два года явилась *Бѣдная невѣста*, не уронившая извѣстности автора, но и не поддержавшая ея. Третья комедія его *Не въ свои сани не садись* заставила нѣкоторыхъ изъ самыхъ жаркихъ почитателей перваго произведенія г. Островскаго опасаться, что онъ уже не въ силахъ создать что-нибудь, достойное автора *Своихъ людей*. Но большая часть публики не раздѣляла еще этихъ опасеній; многіе оставались такъ увлечены *Своими людьми*, что все, выходившее изъ-подъ пера ихъ автора, считали равно замѣчательнымъ. Явилась *Бѣдность не порокъ*, и большинство публики убѣдилось въ основательности опасеній за талантъ г. Островскаго; и если мы скажемъ, что, по нашему убѣжденію, г. Островскій еще можетъ имѣть силы—если только будетъ имѣть желаніе—создать послѣ *Бѣдность не*

діи ни художественныхъ красотъ, ни внутренняго содержанія. Такое крайнее мнѣніе вызвано у Чернышевскаго, надо полагать, тѣмъ необузданнымъ преклоненіемъ передъ Островскимъ со стороны славянофиловъ, идеи которыхъ были ненавистны такому человѣку, какъ Чернышевскій, склонному къ крайнимъ увлеченіямъ и утопіямъ соціализма.

Для Чернышевскаго, считающагося, вмѣстѣ съ Добролюбовымъ, родоначальникомъ такъ-называемой „публицистической" критики, т.-е, такой критики, которая оцѣниваетъ художественное произведеніе исключительно съ точки зрѣнія общественной идеи, Островскій, какъ натура по преимуществу художественная, не представлялъ большой цѣнности. Кромѣ того, Островскаго зачисляли въ лагерь славянофиловъ, смотрѣвшихъ на формы общественной жизни, нравы, религію, семью допетровской эпохи, какъ на явленія положительныя, а потому западникъ Чернышевскій, чуявшій, что такая художественная проповѣдь въ области практической политики ведетъ къ закрѣпленію самодержавія какъ „исконнаго" начала русской общественной жизни, протестовалъ, поскольку это разрѣшалъ цензурный уставъ, противъ всего, что припахивало „самобытностью русской народности" и тѣхъ „исконныхъ" началъ, которыя, по мнѣнію славянофиловъ, „издревле" „искони" лежатъ въ основѣ политическаго и общественнаго „уклада" русскаго народа, опредѣляя его государственный строй, выражаясь въ традиціяхъ московской старины, когда „великіе государи" держали „совѣтъ" со своими холопами, а сіи послѣдніе „били челомъ о своихъ нуждишкахъ" и „животишкахъ". Несомнѣнно политикъ и сторонникъ правового строя бралъ верхъ надъ критикомъ Чернышевскимъ каждый разъ, какъ онъ сталкивался съ произведеніями, любовно относившимися, по его мнѣнію, къ русской старинѣ. Въ дискредитированіи и пораженіи такого произведенія онъ, не безъ основанія, видѣлъ salus publica.

Прим. Н. Денисюкъ.

порокъ что-нибудь замѣчательное, то большинство читателей, мнѣніе которыхъ имѣетъ вѣсъ въ дѣлѣ искусства, едва ли не назоветъ насъ людьми, которые все еще не хотятъ отказаться отъ надеждъ и тогда, когда уже невозможно надѣяться. Мы не можемъ найти эпитета, который бы достаточно выражалъ всю фальшивость и слабость новой комедіи: не можемъ найти потому, что воспоминаніе о *Своихъ людяхъ* не позволяетъ намъ прибѣгнуть къ эпитетамъ, которыми характеризуются произведенія кичливой бездарности. Потому скажемъ только: новая комедія г. Островскаго слаба до невѣроятности. А между тѣмъ находятся люди, которые продолжаютъ называть ее „цѣннымъ и долговѣчнымъ вкладомъ въ сокровищницу русской литературы". Этого мало,—находятся люди, которые рѣшаются говорить такъ: „мы видѣли „Гамлета", „Отелло", Ричарда III", „Короля Лира"; эти геніальныя созданія, сильныя тѣмъ, что въ нихъ правдиво изображается человѣкъ, и могущественно ихъ „правда" дѣйствовала на нашу душу, но пришло время, и мы увидали произведеніе еще высшаго достоинства (т.-е. *Бѣдность не порокъ*) *)... (Дальше слѣдуетъ стихотвореніе, напечатанное въ „Москвитянинѣ" 1854 года, № 5.)

Для нечитавшихъ *Бѣдность не порокъ* прибавимъ, что Любимъ Торцовъ—лицо изъ этой комедіи. Насъ нисколько не удивляетъ, что есть люди, не умѣющіе отличать посредственныхъ или плохихъ пьесъ отъ геніальныхъ и добродушно ставящіе *Бѣдность не порокъ* выше Шекспировскихъ произведеній: вѣдь, есть же люди, думающіе, что Основьяненко (или Гребенка) **) выше Гоголя, что „панъ Халявскій" лучше „Мертвыхъ Душъ" и т. д.; но тѣмъ не менѣе удивительно, что подобные люди рѣшаются печатно высказывать, что *Бѣдность не порокъ* выше „Гамлета" и „Отелло". Примѣровъ такой забавной рѣшительности не бывало въ русской литературѣ съ тѣхъ поръ, какъ С. Глинка ***) говорилъ, что въ „Дмитріи Самозванцѣ" Сумароковъ, въ отношеніи раз-

*) Мнѣніе Ап. Григорьева. *Н. Д.*

**) Гребенка, Евг. Павл., несомнѣнно талантливый малороссійскій и русскій писатель. Въ настоящее время его произведенія забыты, но въ свое время Бѣлинскій сильно увлекался нѣкоторыми изъ нихъ. *Н. Д.*

***) Извѣстный писатель (1776—1847 гг.). Издавалъ журн. „Русскій Вѣстникъ," написалъ много стиховъ, разсказовъ, театральн. пьесъ, сочиненій для дѣтей и т. д. *Н. Д.*

витія волненія душевнаго, превосходнѣе того, что́ Шекспиръ *предъявлялъ* въ своемъ „Макбетѣ“ („Очерки жизни А. П. Сумарокова“, изданные С. Глинкою, часть 3, стр. 120). Что могло придать этимъ неосторожнымъ поклонникамъ слабой комедіи такую смѣшную смѣлость? Только имя г. Островскаго, какъ автора *Своихъ людей*. Блескъ его такъ ослѣпилъ ихъ, что они не могутъ видѣть прискорбнаго различія между первою комедіей г. Островскаго и его послѣдними произведеніями. А различіе до того велико, что автора *Бѣдность не порокъ*, не будь выставлено его имени на этой комедіи, невозможно было бы признать авторомъ *Своихъ людей:* онъ кажется только его подражателемъ, усвоившимъ себѣ до нѣкоторой (только до нѣкоторой) степени его манеру, но не имѣющимъ и тѣни его таланта. Только подпись одного имени на обоихъ произведеніяхъ убѣждаетъ насъ, что оба они писаны однимъ и тѣмъ же человѣкомъ. Но мало того, что успѣхъ *Свои люди—сочтемся* доставилъ автору извѣстность,—у него явились подражатели, но какіе? Въ карикатурныхъ подражаніяхъ *Своимъ людямъ*, — мы говоримъ о недавно появившихся пьесахъ: г. Потѣхина „Братъ и сестра“ („Москвитянинъ“, №№ 3 и 4) и г. Красовскаго „Женихъ изъ Ножовой линіи“ („Отечеств. Записки“, № 3)—нѣтъ и тѣни того, что́ составляетъ достоинство *Своихъ людей*; въ нихъ только развиты до крайности всѣ слабыя стороны *Своихъ людей* въ художественномъ отношеніи и утрированъ до совершеннаго искаженія оригинальный языкъ этой комедіи. Какъ же могло отъ *Своихъ людей* произойти такое потомство, какъ *Не въ свои сани не садись*, „Женихъ изъ Ножовой линіи“, „Братъ и Сестра“ и, особенно, *Бѣдность не порокъ*? Общій отвѣтъ на это ясенъ для всякаго, знающаго, что́ такое значитъ „подражать“. „Подражать“—значитъ: не понимая существенныхъ достоинствъ, не понимая смысла произведенія, ослѣпившаго насъ своимъ успѣхомъ, механически воспроизводить его внѣшнюю сторону и, не имѣя силъ передать его красоты, со всею силою безвкусія скопировать въ громадныхъ размѣрахъ его недостатки, принимая ихъ за красоты. Послѣ *Своихъ людей* авторъ ихъ написалъ *Бѣдную невѣсту*. Комедія была очень хороша; ее всѣ похвалили, но въ восторгъ не привела она никого. Почему же такъ? Потому, что она дѣйствительно не имѣла ни одного изъ блестящихъ достоинствъ первой комедіи г. Островскаго. Идея въ ней

была, если хотите; а если хотите, то можете сказать, что и не было, потому что идея эта была вовсе не новая. Милая, достойная всего лучшаго дѣвушка должна—потому, что у нея нѣтъ приданаго—для того, чтобы спасти себя и мать отъ нищеты, выйти замужъ за человѣка, который не пара ей ни по образованію, ни по чистотѣ сердца, ни даже по лѣтамъ: это человѣкъ пошлый, необтесанный, довольно пожилой, котораго она будетъ стараться, но не успѣетъ, облагородить, котораго она будетъ усиливаться полюбить, но не будетъ въ состояніи любить; ея жизнь погибнетъ невозвратно (все это сама она чувствуетъ), погибнетъ ея красота и молодость. Сотни хорошихъ, если не геніальныхъ произведеній были писаны уже на эту тему, и если она всегда останется прекрасна, то свѣжесть и эффектность можетъ придать ей только колоссальный талантъ. А г. Островскій написалъ прекрасное, но вовсе не колоссальное по исполненію произведеніе. Мало того, что идея не имѣла достоинства новизны, она принадлежала слишкомъ тѣсному кругу частной жизни. Недовольный сомнительнымъ успѣхомъ этой комедіи г. Островскій написалъ новую: *Не въ свои сани не садись*. Въ этой комедіи ясно и рѣзко было сказано: *полуобразованность хуже невѣжества*, но не прибавлено, что лучше и той и другого *истинная образованность*. Вообще эта комедія какъ бы служила переходнымъ звеномъ между *Своими людьми* и *Бѣдность не порокъ*, къ которой мы теперь и обратимся, такъ такъ то, что было не совсѣмъ опредѣленно въ *Не въ свои сани не садись*, совершенно выяснилось въ *Бѣдность не порокъ*. Эта комедія явилась всего три мѣсяца назадъ, потому большей части нашихъ читателей содержаніе ея, можетъ-быть, еще неизвѣстно, и мы должны разсказать его довольно подробно. Но прежде нежели начнемъ говорить о содержаніи, скажемъ объ именахъ дѣйствующихъ лицъ. Въ *Не свои сани не садись* представитель (мнимо) русскихъ по преимуществу понятій назывался уже Русаковымъ; представитель вѣрности стариннымъ обычаямъ — Бородкинымъ; представитель модной пустоты и вѣтрогонства—Вихоревымъ. Такое блистательное нововведеніе, заимствованное изъ комедій стараго времени, понравилось г. Островскому; въ *Бѣдность не порокъ* всѣ фамиліи лицъ „заимствованы“ отъ ихъ качествъ: Коршуновъ (фабрикантъ свирѣпаго нрава), Гуслинъ (русскій виртуозъ),

Разлюляевъ (т.-е. гуляка и весельчакъ). И надобно сказать, что это чрезвычайно прилично новой комедіи г. Островскаго, столь же неумѣренной въ неудачной идеализаціи, столь же наивно написанной, какъ самыя плохія комедіи стараго времени. Въ нашихъ романахъ тридцатыхъ годовъ герой, образецъ скромнаго поведенія и всѣхъ добродѣтелей, въ отличіе отъ остальныхъ лицъ (Звонскихъ, Греминыхъ, Блестовыхъ и такъ далѣе) не имѣлъ даже фамиліи: онъ назывался просто Владиміромъ или Александромъ; такъ и у г. Островскаго герой именуется просто Митя (отличіе отъ старыхъ романовъ только въ томъ, что тамъ уменьшительнымъ Митя, Ваня, Андрюша титуловались юродивые). Дѣйствіе комедіи опять въ уѣздномъ городѣ. Егорушка, мальчикъ, племянникъ богатаго купца Гордѣя Карпыча Торцова, читаетъ сказку о „Бовѣ-Королевичѣ", перерывая свое чтеніе отвѣтами на вопросы Мити, приказчика Торцова; чтеніе „Бовы-Королевича" рѣшительно не связано съ пьесою и введено только въ качествѣ народнаго элемента для украшенія сцены. Между прочимъ, и это главное, Егорушка разсказываетъ, какъ нѣсколько дней тому назадъ Гордѣй Карпычъ прогналъ изъ дому своего промотавшагося брата Любима за то, что Любимъ началъ при гостяхъ за столомъ „разныя колѣна выкидывать". Митѣ, живущему въ домѣ, очень естественно было цѣлую недѣлю, если не больше, не слыхать о такомъ шумномъ и скандальномъ происшествіи. Оставшись одинъ, Митя объясняется въ любви къ Любови Гордѣевнѣ, дочери Гордѣя Карпыча, и объявляетъ, что онъ теперь не можетъ работать, потому что „все бы думалъ о ней". Митя человѣкъ очень бѣдный, и поэтому, намъ кажется, могъ бы ужъ давно привыкнуть поступать такъ, какъ всѣ бѣдные люди, обязанные каждый аккуратно работать, чтобы не терпѣть нужды: тоска сама-по-себѣ, а работа все-таки идетъ у нихъ какъ слѣдуетъ. Итакъ, вотъ вамъ элементы комедіи во вкусѣ трагедій Корнеля и Расина: сначала (рѣшительно неумѣстный по положенію лицъ) прологъ для объясненія публикѣ предшествующихъ событій, потомъ лирическій монологъ, въ которомъ изливаетъ свою сентиментальную любовь герой. Потомъ входитъ Пелагея Егоровна (лицо безцвѣтное, повидимому, добрая старуха) и, продолжая прологъ, начатый Егорушкою, объясняетъ публикѣ положеніе дѣлъ, разсказывая Митѣ, который

уже пятьсотъ разъ все это знаетъ, что Гордѣй Карпычъ совсѣмъ испортился и помутился отъ знакомства съ богатымъ фабрикантомъ Коршуновымъ, отъ котораго перенялъ манеру стыдиться старыхъ простыхъ обычаевъ и гоняться за нынѣшнимъ свѣтомъ. Чтобъ ободрить къ продолженію объясненій для публики Пелагею Егоровну, которая сама должна чувствовать, что совершенно неумѣстно объясняетъ Митѣ давно извѣстныя ему дѣла, Митя подталкиваетъ ея разсказы разспросами и предположеніями. Тотчасъ послѣ ухода Пелагеи Егоровны является третье лицо, съ ролью корнелевскихъ паперсниковъ — Гуслинъ, которому Митя открывается въ любви своей къ Любови Гордѣевнѣ, прибавляя: „Что на свѣтѣ прежестоко?“

Прежестока есть любовь.

Намъ кажется, что человѣкъ, восхищающійся подобными стихами, еще не въ состояніи находить Кольцова порядочнымъ поэтомъ; но по волѣ г. Островскаго, Митя (юродивый или нѣтъ?) восхищается Кольцовымъ, и самъ пишетъ à la Koltzoff. Нельзя не согласиться съ отзывомъ объ этомъ Гордѣя Карпыча: „Какія нѣжности при нашей бѣдности!“ Но не удивляйтесь. Дальше будетъ еще лучше. Входитъ Разлюляевъ, сынъ богатаго фабриканта, веселый, удалый малый, и съ чѣмъ бы, вы думали, входитъ онъ?—съ гармоніею! Сколько извѣстно читателямъ, на „гармоніи“ играютъ одни только дворовые люди и бѣднѣйшій классъ мѣщанъ; но Разлюляевъ купилъ ее, конечно, по приказанію автора, потому не осуждаемъ его за это. Безъ особенной воли своего прихотливаго повелителя, Разлюляевъ, конечно, нанялъ бы музыкантовъ, какъ всегда дѣлаютъ богатые гуляки изъ купеческаго класса. Какъ онъ входитъ, начинается пѣніе различныхъ пѣсенъ, ни къ чему не ведущее въ пьесѣ; между прочимъ, Гуслинъ, успѣвшій въ нѣсколько минутъ положить на музыку пѣсню Мити à la Koltzoff, разумѣется, довольно плохую, поетъ ее и „во все это время (по точнымъ словамъ г. Островскаго) Разлюляевъ стоитъ, какъ вкопанный, и слушаетъ съ чувствомъ. „По окончаніи пѣнія всѣ молчатъ“— отъ глубокаго чувства, по мнѣнію г. Островскаго, а по нашему мнѣнію, оттого, что пѣсня плоха и хвалить ее совѣстно, хоть на это и рѣшается, наконецъ, Разлюляевъ; потомъ опять поэтическое тріо принимается пѣть,—за этимъ застаетъ

ихъ Гордѣй Карпычъ и бранитъ (по нашему мнѣнію, совершенно справедливо) Митю за то, что онъ не занимается своимъ дѣломъ. Но Разлюляевъ по уходѣ Гордѣя Карпыча соглашается съ Митею, что его жизнь очень горька. Входитъ съ подругами Любовь Гордѣевна, предметъ страсти поэтическаго Мити, и опять начинается ни къ чему не ведущее пустословіе и пѣніе пѣсенъ. Наконецъ, „начинается нить завязки романа", какъ говоритъ Гоголь. Митя остается наединѣ съ Любовью Гордѣевною и объясняется ей въ любви—какимъ бы, вы думали, способомъ?—читая ей „собственно для нея сочиненные стихи" о томъ, что

Понапрасну свое сердце парень губитъ,
Что неровнюшку-дѣвицу парень любитъ.

Намъ казалось бы еще правдоподобнѣе объясненіе полуграмотнаго русскаго парня съ безграмотною дѣвушкою, если бы они принялись (по примѣру Шатобріана, см. его „Замогильныя Записки") читать Аріосто, и на какомъ-нибудь патетическомъ мѣстѣ ихъ уста слились бы въ поцѣлуй. Тогда Митя, разсказывая объ этомъ Гуслину, могъ бы выказать пониманіе не только Кольцова, но и Данте, воскликнувъ:

Quel giurno vi no leggemo avante!

На что Гуслинъ могъ бы ему отвѣчать: „Эхъ, братъ, тогда былъ счастливъ, а теперь еще больше сталъ тосковать! Правду, Митя, говоритъ Данте:

Nessun' maggior' dolore... и т. д.

Разумѣется, Любовь Гордѣевна *пишетъ* Митѣ отвѣтъ и уходитъ, вручивъ его. Конечно, скажете вы, пламенный Митя сейчасъ же прочиталъ рѣшеніе своей судьбы? Г. Островскій не считаетъ этого нужнымъ. Къ Митѣ приходитъ Любимъ Торцовъ, братъ хозяина, и на восьми страницахъ повѣствуетъ Митѣ свои приключенія (какъ-будто бы Митя, столько времени жившій съ нимъ въ одномъ домѣ, не слышалъ уже ихъ отъ него тысячу разъ, но въ *Бѣдность не порокъ* все разсказывается, ни одно лицо не знаетъ ничего изъ того, что́ давно должно знать), и Митя, съ рѣшительнымъ отвѣтомъ своей милой въ карманѣ, имѣетъ терпѣніе, непостижимое ни для кого, кромѣ героевъ г. Островскаго, слушать битыхъ полчаса его разсказы, не догадываясь даже отвернуться въ сторону, чтобы взглянуть: „да" или „нѣтъ" написала ему

Любовь Гордѣевна. Надобно отдать справедливость Любиму Торцову, что разсказываетъ онъ превосходно; но разсказъ его—ненужный для пьесы эпизодъ, какъ три четверти всѣхъ разговоровъ, разсказовъ и пѣсенъ. Намъ необходимо послушать вмѣстѣ съ Митею, что́ такое за человѣкъ Любимъ Торцовъ, который, по мнѣнію нѣкоторыхъ, „душѣ такъ прямо кажетъ путь“ („Москв.“ 1854 г., № 5). Надобно посмотрѣть, что́ это за путь, по которому предлагается итти вслѣдъ за Любимомъ. По смерти отца раздѣлившись съ братомъ, поѣхалъ онъ повеселиться въ Москву и повеселился такъ, что пропилъ всѣ деньги. „Какъ же вы жили, Любимъ Карпычъ?“ спрашиваетъ Митя, дослушавши похожденія его до того времени, пока не осталось у него ни копейки денегъ.

„Какъ жилъ? Не дай Богъ лихому татарину. Жилъ въ просторной квартирѣ между небомъ и землей, ни съ боковъ ни сверху нѣтъ ничего... Есть ремесло хорошее, коммерція выгодная—воровать. Да не гожусь я на это дѣло: совѣсть есть; опять же и страшно: никто этой коммерціи не одобряетъ. Говорятъ, въ другихъ земляхъ за это по талеру платятъ, а у насъ добрые люди по шеямъ колотятъ. Нѣтъ, братъ, воровать скверно! Эта штука стара, ее бросить пора... Да, вѣдь, голодъ-то не тетка, надобно что-нибудь дѣлать! Сталъ по городу скоморохомъ ходить, по копеечкѣ собирать, шута изъ себя разыгрывать, прибаутки разсказывать, артикулы разные выкидывать. Бывало, дрожишь съ утра ранняго въ городѣ, гдѣ-нибудь за угломъ отъ людей хоронишься, да дожидаешься купцовъ. Какъ пріѣдетъ особенно кто побогаче, выскочишь, сдѣлаешь колѣно—ну, и дастъ кто пятачокъ, кто гривну. Что наберешь, тѣмъ и дышишь день-то, тѣмъ и существуешь“.

Если подражать Любиму Торцову совѣтуютъ въ томъ, чтобы не заниматься коммерціею, которой никто не одобряетъ, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ полезный, хотя нѣсколько обидный образецъ для читателей. Ну, а если нѣкоторые читатели подумаютъ, что имъ предлагаютъ итти къ нравственной высотѣ путемъ Любима Торцова, т.-е. пропившись, сдѣлаться скоморохами и выкидывать артикулы по улицамъ? Воля ваша, они могутъ обидѣться еще сильнѣе. Наконецъ, нашъ идеалъ—нетрезвый, какъ всегда—засыпаетъ, и Митя можетъ прочитать записку, полчаса лежавшую у него въ карманѣ. Читаетъ: *И я тебя люблю. Любовь Торцова*, схватываетъ себя за голову и убѣгаетъ. Мы такъ подробно разсказывали первое дѣйствіе, что, вѣроятно, читатели, утомленные даже сокращенною передачею всѣхъ этихъ неклеящихся съ настоящимъ содержаніемъ пьесы нескладицъ и несообразностей, утомленные всѣми этими наперсниками,

прологами, монологами, въ которыхъ нѣтъ ни тѣни драматизма, попросятъ насъ сократить разсказъ о двухъ остальныхъ дѣйствіяхъ. Съ величайшею радостью исполняемъ ихъ желаніе. Двѣ трети второго дѣйствія заняты святочнымъ вечеромъ, справляемымъ матерью Любови Гордѣевны въ отсутствіе мужа. Всѣ эти сцены съ плясками, играми, пѣснями и такъ далѣе рѣшительно лишнія и не связаны съ пьесою ничѣмъ, кромѣ воли автора. Наконецъ, пріѣзжаетъ Гордѣй Карпычъ съ Коршуновымъ, прогоняетъ наряженныхъ, называя такія увеселенія „мужичествомъ", и объявляетъ, что просваталъ дочь за Коршунова. Та умоляетъ отца не губить ея. Отецъ не хочетъ слушать, и простой святочный вечеръ обращается въ помолвку. Но Любимъ Карпычъ не дремлетъ: онъ въ домѣ брата оскорбляетъ Коршунова, высчитывая въ глаза ему всѣ его мошенничества. Раздраженный Коршуновъ требуетъ, чтобы Гордѣй Карпычъ извинился передъ нимъ, что позволилъ обидѣть его въ своемъ домѣ. „Попросишь прощенья,—говоритъ онъ нареченному тестю,—потому что другого жениха здѣсь твоей дочери нѣтъ".—„Врешь,—говоритъ Гордѣй Карпычъ (замѣтьте, какъ натурально подведена развязка),—съ деньгами, которыя я за нею дамъ, всякій человѣкъ будетъ...". Въ эту самую минуту, неизвѣстно зачѣмъ, въ дверяхъ показывается Митя, который давно уже простился, чтобы уѣхать домой отъ горести по разлукѣ съ Любовью Гордѣевною... „Вотъ за Митьку отдамъ". Митя валится ему въ ноги, жена (знающая о любви между Митею и дочерью) умоляетъ мужа исполнить свое слово; Гордѣй въ нерѣшимости; тогда опять является идеалъ человѣка, Любимъ, и въ монологѣ, достойномъ автора шекспировской пьесы „Раздумье артиста" (см. „Ералашъ" при 11 нумерѣ „Современника"), проситъ брата сжалиться надъ нимъ, отдать дочь за Митю, который дастъ ему пріютъ и кусокъ хлѣба. По обыкновенному порядку вещей, вмѣшательство, даже одно появленіе Любима, который такъ жестоко уязвилъ гордость Гордѣя, осрамивъ его передъ всѣми и разстроивъ свадьбу, должно было бы безвозвратно испортить дѣло; но у г. Островскаго выходитъ не такъ: выслушавъ монологъ брата, Гордѣй „утираетъ слезу" и говоритъ ему: „Ну, братъ, спасибо, что на умъ наставилъ!" и благословляетъ Митю и Любовь Гордѣевну (какъ это правдоподобно!). Читатели теперь видятъ, что почти вся пьеса состоитъ изъ ряда

несвязныхъ и ненужныхъ эпизодовъ, монологовъ и повѣствованій; собственно для развитія дѣйствія нужна развѣ только третья доля всего вставленнаго въ пьесу. Чѣмъ это объяснить? Во-первыхъ, небреженіемъ автора къ требованіямъ искусства,—онъ, повидимому, считаетъ каждую написанную имъ строку драгоцѣнностью, которая будетъ пріятна читателямъ и въ томъ случаѣ, когда рѣшительно ненужна и неумѣстна; во-вторыхъ—и это едва ли не главное—авторъ дѣйствительно правъ до нѣкоторой степени съ своей точки зрѣнія, вставляя въ свою пьесу по всевозможнымъ поводамъ пѣсни, пляски, игры: онъ пишетъ апоѳеозу стариннаго быта, какимъ представляется ему современный бытъ нѣкоторой части купеческаго общества, потому онъ старается выставлять на видъ всѣ поэтическія черты его; для этой цѣли онъ вставилъ въ свою небольшую пьесу 16 или 17 пѣсенъ (не считая того, что Разлюляевъ нѣсколько разъ поетъ „Ахъ, какъ гусара не любить", и нѣсколько разъ поется—„Одна гора высока"), выставилъ на сценѣ цѣлый святочный вечеръ съ переодѣваньями, загадками, гаданьями и т. д., заставилъ дѣйствующихъ лицъ разъ десять плясать, и т. д. и т. д. Почему же, спроситъ насъ авторъ, недовольны вы такимъ намѣреніемъ? Не о намѣреніи мы теперь говоримъ, а объ исполненіи. А исполняли вы свое намѣреніе, нисколько не заботясь о цѣлости и стройности вашего произведенія, и написали не „комедію", не художественное цѣлое, а что-то сшитое изъ разныхъ лоскутковъ на живую нитку. *Бѣдность не порокъ* относится къ тому же роду произведеній, какъ „Мельникъ" Аблесимова *),—она сборникъ народныхъ пѣсенъ и обычаевъ,—разница только та, что у Аблесимова народные мотивы ловко введены въ самое дѣйствіе пьесы, а у васъ приставлены къ пьесѣ очень неловко и большею частью не имѣютъ съ ней никакой связи. Н говоримъ уже о томъ, что „Мельникъ" былъ первою пьесой, въ которой услышала публика народные мотивы, а ваша пьеса вовсе не новость въ своемъ родѣ, когда мы видѣли на сценѣ весь рядъ свадебныхъ обрядовъ, а пѣсни со сцены слушали уже десятки разъ. Недовольны будутъ читатели

*) А. О. Аблесимовъ (1742—1783 гг.) русскій писатель, написавшій, между прочимъ, комическую оперу „Мельникъ". *Н. Д.*

пьесою г. Островскаго еще по другой причинѣ—гораздо важнѣйшей:

Въ ней правды нѣтъ, въ ней жизни нѣтъ,
Въ ней фальшь, не вѣчное искусство,

говоря словами одного изъ восторженныхъ ея поклонниковъ. Коршуновъ, мелодраматическій злодѣй—это дурно; но еще хуже то, что всѣ остальныя лица подъ конецъ пьесы, даже злочинствующій сначала Гордѣй Карпычъ, облиты тою патокою, съ которою Егорушка пляшетъ на святочномъ вечерѣ, припѣвая:

Ай, патока, патока,
Вареная, сладка!

Въ особенномъ изобиліи пролита она на Любима Торцова, который, по собственнымъ его словамъ (истинная скромность!), „пьяница, но лучше всѣхъ", и на Митю, подслащенныхъ для совершеннаго искаженія дѣйствительности. Мы должны были бы сказать еще очень многое по поводу *Бѣдность не порокъ*, но наша статья и безъ того слишкомъ длинна. Отложимъ до другого случая то, что̀ еще остается намъ высказать о ложной идеализаціи устарѣлыхъ формъ. Въ двухъ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ г. Островскій впалъ въ приторное прикрашиваніе того, что не можетъ и не должно быть прикрашиваемо. Произведенія вышли слабыя и фальшивыя. Но, по нашему мнѣнію, онъ, повредивъ этимъ своей литературной репутаціи, не погубилъ еще своего прекраснаго дарованія: оно еще можетъ явиться попрежнему свѣжимъ и сильнымъ, если г. Островскій оставитъ ту тинистую тропу, которая привела его къ *Бѣдности не порокъ*. Пусть онъ не слушаетъ восторженныхъ и безотчетныхъ похвалъ, пусть не увлекается стихотворными диѳирамбами, въ которыхъ провозглашаютъ его героемъ „Искусства и Правды", но пусть лучше строго подумаетъ о томъ, что̀ такое правда въ созданіяхъ искусства. Въ правдѣ сила таланта; ошибочное направленіе губитъ самый сильный талантъ. Ложныя по основной мысли произведенія бываютъ слабы даже и въ чисто-художественномъ отношеніи.

Н. Чернышевскій.

„Бѣдность не порокъ“ [1]).

*) Критикѣ нашей рѣдко достается удовольствіе говорить о литературныхъ явленіяхъ, далеко выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ. Поэтому читатель, конечно, пойметъ то удовольствіе, съ какимъ мы приступаемъ къ разбору новой комедіи А. Н. Островскаго, вносящаго каждымъ произведеніемъ своимъ цѣнный и долговѣчный вкладъ въ сокровищницу русской литературы. По поводу новой комедіи даровитаго автора намъ очень хотѣлось бы поговорить

---

[1]) Е. Эдельсонъ. „Москвитянинъ“ 1854 г., № 5. „Бѣдность не порокъ“. Комедія въ трехъ дѣйствіяхъ. Сочиненіе А. Н. Островскаго.

*) Евгеній Николаевичъ Эдельсонъ, которому принадлежитъ эта статья, род. въ 1824 г. и ум. въ 1868 г.. Окончивъ курсъ на физико-математическомъ факульт. Московск. университ., онъ оставилъ занятія естественными науками и посвятилъ себя литературѣ. Выступилъ онъ въ 1848 г. въ журн. „Москвитянинъ“, издававшемся извѣстн. профессор. Погодинымъ, въ качествѣ литературн. критика. Здѣсь онъ писалъ, главнымъ образомъ, подъ псевдонимомъ *E. Curiosa*. „Москвитянинъ“ прекратилъ свое существованіе, и Евгеній Ник. сталъ изъ Москвы посылать свои статьи въ журн. „Библіот. для чтенія“. Въ 1863 г. онъ переѣзжаетъ въ Петербургъ и дѣлается членомъ редакціи „Библ. для чтенія“. Здѣсь онъ помѣщаетъ цѣлый рядъ статей по литерат. критикѣ. Когда же и этотъ журн. прекращаетъ свое существованіе, Евг. Ник. переходитъ въ „Отеч. Записки“.

Среди литературныхъ обозрѣвателей молодого „Москвитянина“ самое скромное мѣсто занималъ Евгеній Николаевичъ Эдельсонъ. Менѣе талантливый, чѣмъ его товарищи по журналу, Ап. Григорьевъ и Алмазовъ, Эдельсонъ не отличался ни опредѣленностью своихъ литературныхъ идеаловъ, ни ясностью языка. Погодинъ со свойственной ему прямолинейностью говоритъ о языкѣ Эдельсона: „такая туча, что мочи нѣтъ“. Если принять во вниманіе, что Евг. Ник. большой поклонникъ Гегеля и сторонникъ „чистаго искусства“, то этимъ многое будетъ объяснено въ его склонности къ туманному изложенію мыслей.

Е. Н. Эдельсонъ воспитывался въ московскомъ университетѣ въ 40-хъ годахъ. Это была пора, когда „шлегеліанство“ замѣнилось „гегеліанствомъ“, молодежь увлекалась положеніемъ „непогрѣшимаго учителя“ до самозабвенія. Споры съ утра до ночи и съ ночи до утра, споры даже у кровати умирающаго и даже печальное зрѣлище недуга и грядущей смерти (Вене-

о его прежнихъ комедіяхъ и вообще о всей литературной дѣятельности его, еще не обсуженной и не взвѣшенной нашею критикой съ достаточною полнотой; но, имѣя въ виду еще воротиться къ этому предмету со временемъ и не желая говорить о немъ лишь мимоходомъ, ограничимся въ настоящемъ случаѣ лишь тѣмъ, что́ ближайшимъ образомъ относится къ его послѣдней комедіи. Содержаніе пьесы *Бѣдность не порокъ* взято изъ того быта, въ изображеніи котораго г. Островскій дѣйствительно великій мастеръ, но которымъ иные критики напрасно хотѣли бы ограничить всю его литературную дѣятельность. Мы видѣли въ его пьесахъ не одно живое и типическое лицо изъ другихъ слоевъ общества; никто также не скажетъ, чтобы *Бѣдная*

витинова) еще выше поднимали „стремительность юношей къ задачамъ, коихъ разрѣшеніе скрывается въ глубинѣ таинственныхъ стихій, образующихъ и связующихъ жизнь духовную и жизнь вещественную". Увлеченіе германской философіей было всеобщимъ, захватило всю учащуюся молодежь 30-хъ годовъ. Въ числѣ поклонниковъ Гегеля былъ и Эдельсонъ. Это побудило его отъ занятій естественными науками перейти къ литературѣ. Будучи знакомъ съ кружкомъ литературной молодежи, которая вступила въ редакцію погодинскаго журнала подъ кличкой „молодой редакціи" „Москвитянина", Эдельсонъ сталъ писать критическія статьи подъ псевдонимомъ *E. Curiosa*. Участвовалъ Эдельсонъ въ это время и въ „Московск. Вѣдом.", бывшихъ подъ редакціей Каткова, но не того Каткова, какимъ онъ оказался въ 60-хъ годахъ. Когда „Москвитянинъ", подъ напоромъ идей новаго времени, прекратилъ существованіе (1856 г.), Эдельсонъ перешелъ въ „Библіотеку для чтенія". Это было время, когда „Библіот. для чтенія" окончательно освобождается ото ферулы знаменитаго барона Брамбеуса и переходитъ въ руки способнаго журналиста, хотя и съ легковѣснымъ литературнымъ багажомъ, А. В. Дружинина. Сначала Эдельсонъ свои статьи въ журналъ посылаетъ изъ Москвы, а затѣмъ въ 1863 г. переѣзжаетъ въ Петербургъ и становится уже членомъ редакціи „Библіотеки для чтенія", издававшейся тогда начинавшимъ работать на литературномъ поприщѣ П. Д. Боборыкинымъ.

„Библіотека для чтенія" со времени редакціи А. Ѳ. Писемскаго (1859 г.) пріобрѣтаетъ вполнѣ опредѣленную окраску, т.-е. представляетъ собою журналъ консервативнаго направленія. П. Д. Боборыкинъ и по молодости лѣтъ (28 лѣтъ) и по складу характера и ума и по отсутствію практической подготовки никогда не былъ способенъ къ сложнымъ обязанностямъ редактора-издателя. „Библіот. для чтенія" и при немъ не въ силахъ была конкурировать съ умѣло ведущимся „Современникомъ", „Отечеств. Зап." и „Русск. Словомъ." Отсюда понятно, почему Боборыкинъ былъ послѣднимъ издателемъ „Библіот. для чтенія". Въ 1865 г. на 8-омъ № журналъ прекратился, и Эдельсонъ перешелъ въ „Отечеств. Зап.".

Прим. Н. Денисюка.

Невѣста, взятая вся не изъ купеческаго быта, не была произведеніемъ истинно замѣчательнымъ; но понятно, почему г. Островскій такъ любитъ обращаться за матеріаломъ для своихъ комедій къ быту купеческому. Мы видимъ этому двѣ главныя причины. Первая заключается въ направленіи автора, въ задачахъ, имъ на себя возлагаемыхъ; вторая въ оригинальной, ему только одному свойственной манерѣ драматической.

Г. Островскій—нашъ народный писатель. Это значитъ, между прочимъ, что главная задача его литературной дѣятельности состоитъ въ изображеніи такихъ явленій и такихъ типовъ, которыхъ происхожденіе вытекаетъ изъ коренныхъ и самостоятельныхъ свойствъ русской природы. Поэтому, изображаетъ ли онъ вамъ русскаго человѣка, дошедшаго до безстыдства въ своей испорченности, каковъ, напр., Подхалюзинъ въ комедіи *Свои люди—сочтемся*, или выводитъ вамъ привлекательныя въ своей безыскусственности и нравственной чистотѣ лица, вы видите ясно, что всѣ эти лица русскія и что ни такихъ личностей, ни такихъ событій въ другой землѣ не встрѣтишь. Купеческое сословіе наше, издавна составляя чрезвычайно обширный и сильно дѣятельный классъ общества, находится по самому роду своихъ занятій въ безпрестанныхъ и самыхъ близкихъ столкновеніяхъ со всѣми прочими слоями общественными; въ немъ, кромѣ того, по различію состоянія и по различію главнѣйшихъ и обычныхъ сношеній, встрѣчаются всѣ формы жизни и обычаевъ, выработавшихся въ нашемъ отечествѣ. Между торгующимъ крестьяниномъ, мало чѣмъ отличающимся отъ крестьянина-земледѣльца, и столичнымъ купцомъ, ведущимъ свой домъ на иностранную ногу и мало чѣмъ отличающимся отъ иностраннаго негоціанта, встрѣтимъ еще цѣлую лѣстницу переходныхъ типовъ. И древняя доблесть русская, переживающая цѣлые вѣка, не сокрушимая никакими чуждыми вліяніями и въ торжественныя минуты являющаяся на свѣтъ, чтобы тихо и безъ шума исполнить свое святое дѣло, и легкость, фанфаронство, почти французскія, и крѣпкая привязанность къ старымъ, исконнымъ обычаямъ до малѣйшей ихъ подробности, и полное увлеченіе европейскимъ комфортомъ жизни,—все встрѣчается въ нашемъ купеческомъ сословіи. Понятно, что при такомъ разнообразіи въ немъ преимущественно

какъ бы откладываются и выявляются наружу всѣ коренныя народныя черты, подверженныя ли вліяніямъ разносторонней цивилизаціи или сохранившіяся въ своей нетронутой простотѣ. Вторая причина, почему г. Островскій любитъ особенно обращаться за матеріалами для своей комедіи къ купеческому быту, заключается, какъ мы сказали выше, въ особенной манерѣ и языкѣ этого писателя. Съ тѣхъ поръ, какъ появилась его первая комедія, создалось и новое требованіе для нашихъ драматическихъ писателей. Никогда и никѣмъ еще яркость языка, оригинальный колоритъ рѣчи каждаго лица не были доведены до такой степени. Характеры лицъ въ этой и послѣдующихъ комедіяхъ г. Островскаго выражались и запечатлѣвались въ читателѣ не одною уже вѣрностью себѣ въ дѣйствіяхъ и мнѣніяхъ, но и самымъ складомъ языка, искусно почерпнутымъ изъ богатаго всѣми формами языка народнаго и вѣрно приспособленнаго каждому лицу по его внутреннимъ свойствамъ и общественному положенію. Сколько мы понимаемъ, такая именно вѣрность и мѣткость языка есть исключительное достояніе комедіи г. Островскаго, и ни въ комъ изъ русскихъ и, тѣмъ менѣе, иностранныхъ писателей не встрѣчается. Не пускаясь теперь въ разсужденія о томъ, какую *именно* эстетическую цѣнность имѣетъ такая яркость языка въ комедіяхъ, мы попросимъ только каждаго изъ читателей припомнить о томъ особомъ и живомъ наслажденіи, какое доставляла ему эта характерная черта комедій г. Островскаго, и онъ, конечно, убѣдится, что она составляетъ одно изъ существенныхъ достоинствъ драматическихъ произведеній. По причинамъ, изложеннымъ выше, языкъ нашего купеческаго сословія представляетъ все богатство и разнообразіе нашего народнаго языка, обильнаго эпическими оборотами, множествомъ поговорокъ и негибнущихъ реченій, приспособленныхъ ко всевозможнымъ житейскимъ положеніямъ, и ту отчасти комическую вольность, съ какою народъ нашъ укладываетъ въ рѣчь слова и выраженія, взятыя изъ отвлеченной сферы понятій или чуждыхъ языковъ и не совсѣмъ еще приспособленныя имъ къ употребленію. Всѣ, конечно, знаютъ, какъ искусно пользуется г. Островскій указанными свойствами языка нашего купеческаго сословія, для нѣкотораго смягченія и разнообразія драматическихъ впечатлѣній, такъ часто встрѣчае-

мыхъ въ его комедіяхъ. Для этой особенной манеры автора управлять душою читателя купеческій бытъ представляетъ хотя, конечно, не единственный, но весьма богатый матеріалъ. Сказаннымъ до сихъ поръ мы не думаемъ открыть читателямъ что-либо новое для нихъ объ особенностяхъ и направленіи таланта г. Островскаго; но все-таки считаемъ эти объясненія необходимыми по причинѣ странныхъ отношеній нашей критики къ этому писателю. Напишетъ ли г. Островскій комедію изъ купеческаго быта съ тѣмъ особенно яркимъ и мѣткимъ языкомъ, который поражаетъ рѣшительно всякаго, критика наша коварно спрашиваетъ: нуженъ ли такой языкъ для долговѣчнаго существованія въ литературѣ и на сценѣ драматическихъ сочиненій? Возьметъ ли г. Островскій другой бытъ для своей комедіи, уже по самому характеру своему не допускающій особенной яркости и типичности языка, критика тотчасъ же начинаетъ сожалѣть объ этомъ недостаткѣ и указываетъ въ примѣръ автору его другія пьесы, какъ-будто забывая, что оригинальныя и особыя достоинства какого-либо рода сочиненій писателя не уменьшаютъ нисколько цѣны другихъ существенныхъ его достоинствъ, раздѣляемыхъ имъ отчасти съ другими писателями. Но пора обратиться отъ этихъ общихъ соображеній къ настоящему предмету нашей статьи и ввести читателя въ кругъ впечатлѣній, выносимыхъ изъ новой комедіи А. Н. Островскаго—*Бѣдность не порокъ*. Дѣйствіе въ уѣздномъ городѣ, во время святокъ. Авторъ переноситъ насъ въ скромную комнату приказчика Мити, живущаго у богатаго купца Гордѣя Карпыча Торцова. Безъ всякихъ особыхъ сценическихъ уловокъ, благодаря простотѣ изображаемой жизни, авторъ успѣваетъ познакомить васъ на этой маленькой аренѣ почти со всѣми лицами, участвующими въ комедіи, обозначить болѣе или менѣе каждое изъ нихъ, дать вамъ замѣтить относительное положеніе ихъ другъ къ другу, догадаться объ участіи, которое суждено принять каждому изъ нихъ въ дальнѣйшемъ теченіи комедіи, наконецъ, завязать всю комедію. Разскажемъ поподробнѣе, какъ все это имъ сдѣлано. Мы уже обозначили мѣсто дѣйствія, перечислимъ теперь и лица, по мѣрѣ ихъ появленія. При открытіи занавѣса на сценѣ два лица: приказчикъ Митя и мальчикъ Егорушка, дальній родственникъ Торцова, обыкновенно употребляемый въ нашихъ

купеческихъ домахъ для разныхъ порученій и домашнихъ услугъ. Егорушка читаетъ сказку о Бовѣ-Королевичѣ. Митя дома, потому что и не къ кому ему отправиться провесть время весело, да и нѣтъ, кажется, особой охоты. Въ головѣ у него двѣ безотвязныя мысли: одна—одиночество и беззащитность его положенія, другая—дерзкая и безнадежная любовь къ хозяйской дочери Любови Гордѣевнѣ. И та и другая весьма удобно выражаются въ нѣсколько пѣсенномъ складѣ его одинокихъ думъ, и этотъ складъ сохраняется отчасти за Митей во все продолженіе комедіи. Но вотъ воротилась съ катанья хозяйка съ дочерью, и первая заходитъ по дорогѣ къ Митѣ въ комнату. Выписываемъ весь этотъ разговоръ, потому что онъ тотчасъ же познакомитъ читателя съ характеромъ дома Торцовыхъ, съ относительнымъ положеніемъ въ немъ трехъ дѣйствующихъ лицъ и, наконецъ, съ тою язвой, которая, вошедъ въ домъ Торцовыхъ, смутила его обычный порядокъ... (Приводится разговоръ.)

Вслѣдъ за уходомъ Пелагеи Егоровны являются къ Митѣ: Яша Гуслинъ, племянникъ Торцова, тихій и скромный, хотя не безъ твердости, малый,—одно изъ тѣхъ лицъ, которыя не любятъ болтать пустяковъ, ни выставляться очень рѣзко на видъ, но которыхъ всѣ любятъ и которымъ какъ-то охотнѣе открываются въ горести. Одно изъ отличительныхъ качествъ такихъ характеровъ въ среднемъ купеческомъ быту—это ихъ наклонность къ музыкѣ и пѣнію. И это обстоятельство дѣлаетъ ихъ всегда въ небольшихъ пріятельскихъ собраніяхъ такими лицами, которыя сглаживаютъ и умѣряютъ разныя выходки другихъ позадорнѣе, сосредоточивая главный интересъ компаніи на пѣніи. Митя жалуется Гуслину на свое горькое положеніе и, наконецъ, открывается ему въ своей дерзкой любви къ хозяйской дочери. Яша, конечно, не обнадеживаетъ его въ счастливой развязкѣ этого дѣла, но уже однимъ своимъ участіемъ нѣсколько облегчаетъ положеніе Мити. Между тѣмъ, является еще гость — Разлюляевъ, сынъ богатаго торговца, но одѣвающійся еще совершенно по-русски; онъ даже съ гармоніей. Этотъ, очевидно, гуляетъ и потому, что праздники, и потому, что такого характера. Трое составляютъ они довольно полный хоръ, и потому, естественно, тотчасъ же принимаются за русскую пѣсню.—Но только-что распѣлись,

было, они, входитъ въ комнату самъ хозяинъ и, какъ уже читатель, конечно, догадается изъ извѣстнаго ему о Торповѣ, строго запрещаетъ въ своемъ домѣ такое безобразіе. „Что распѣлись! Горланятъ точно мужичье!—говоритъ онъ, (Митѣ.)—И ты туда жъ! кажется, не въ такомъ домѣ живешь, не у мужиковъ; что за полпивная! Чтобъ у меня этого не было впередъ". Вслѣдъ за тѣмъ, онъ уже кстати распекаетъ Митю и за стихотворенія Кольцова, найденныя у него на столѣ, и за изорванный сюртукъ, несмотря на возраженія этого послѣдняго, что у него старуха-мать, которой онъ долженъ удѣлять значительную часть своего небольшого жалованья. „Ужъ коли не умѣешь надъ собою приличія наблюдать, такъ и сиди въ своей конурѣ; коли голъ кругомъ, такъ нечего о себѣ мечтать! Стихи пишетъ, образовать себя хочетъ, а самъ какъ фабричный ходитъ! Развѣ въ этомъ образованіе-то состоитъ, что дурацкія пѣсни пѣть?" Митя остается, разумѣется, очень грустный послѣ этого разговора; но сцена вновь оживляется. Входятъ, подъ предводительствомъ молодой вдовы Анны Ивановны, хозяйская дочь и двѣ подруги ея—Маша и Лиза. Пользуясь отсутствіемъ Гордѣя Карпыча и сномъ матери, онѣ, соскучившись наверху, зашли на минуту поболтать въ приказчичьей комнатѣ. Весь послѣдующій разговоръ чрезвычайно оживленъ и полонъ мѣткаго знанія изображаемаго авторомъ быта, но, къ сожалѣнію, нужно бы было переписать всю сцену для убѣжденія въ этомъ читателя. Поэтому мы упомянемъ лишь о томъ, что, собственно, составляетъ главную интригу комедіи. Яша Гуслинъ, находящійся съ Анною Ивановной на самой дружеской ногѣ, тотчасъ же сообщаетъ ей о любви Мити къ хозяйской дочери. Анна Ивановна немедленно принимается за устройство этого дѣла. Изъ нѣкоторыхъ намековъ она убѣждается во взаимности ихъ, и, чтобы вызвать скорѣе и безъ проволочекъ объясненіе между ними, когда всѣ уходятъ, запираетъ шутя Любовь Гордѣевну наединѣ съ Митей. Первая, конечно, считаетъ долгомъ нѣсколько жеманиться; Митя, разумѣется, робѣетъ, однако, рѣшается прочесть своей возлюбленной стихи, нарочно для нея имъ написанные. Стихи отъ любимаго человѣка и не въ такомъ быту производятъ сильное впечатлѣніе, а простую дѣвушку они, разумѣется, приводятъ въ восхищеніе. Все еще полускрывая, однако, свою радость, Любовь

Гордѣевна рѣшается сама написать отвѣтъ Митѣ, но запрещаетъ читать его до своего ухода. Въ дверяхъ она сталкивается съ дядей Любимомъ Карпычемъ Торцовымъ, промотавшимся и спившимся купцомъ, и теперь уже значительно хмельнымъ. Но здѣсь мы остановимся въ изложеніи содержанія и просимъ у читателя позволенія сказать отъ себя нѣсколько словъ объ этомъ широко схваченномъ типѣ. Кто истинно любитъ и знаетъ Россію, кто гордится всѣми дорогими свойствами своего народа и сердечно соболѣзнуетъ о неизбѣжныхъ во всякомъ общественномъ организмѣ болѣзняхъ, кто, однимъ словомъ, живетъ со своимъ народомъ одною жизнью, а не уединяется въ какой-нибудь узкій нравственный кодексъ, откуда все ему представляется лишь съ своей внѣшней, подчасъ грязненькой стороны, для того художественно изображенное лицо Любима Торцова есть и источникъ многихъ эстетическихъ наслажденій и предметъ нравственнаго сочувствія. Передъ вами человѣкъ, богато одаренный и умомъ и сердцемъ, съ не совсѣмъ обыкновенными потребностями широты и полноты жизни; но худо направленный смолоду, увлеченный многочисленными примѣрами на торную уже дорогу разгула, онъ не умѣетъ, какъ какой-нибудь Африканъ Саввичъ, мѣшать вмѣстѣ два дѣла: то-есть предаваться разгульной жизни по временамъ, а въ остальное время собирать по крохамъ и выжимать изъ другихъ разомъ промотанныя деньги, и потому, отдаваясь разгулу всею душой, не замедляетъ перейти изъ типа гуляки-купца въ типъ *метеора* (по мѣткому народному названію), т.-е. человѣка, не имѣющаго пристанища и перелетающаго изъ одного увеселительнаго заведенія въ другое. Среди пьяной и безпутной жизни, среди хлама дурныхъ привычекъ, среди постоянно трагическаго тона, котораго онъ насмотрѣлся въ трагедіяхъ и которымъ потомъ тѣшилъ богатыхъ купцовъ, въ этомъ человѣкѣ сохранилось еще много дорогихъ человѣческихъ свойствъ, которыя не допустили его дойти до преступленій и по временамъ, въ торжественныхъ случаяхъ, вспыхиваютъ съ такою свѣжестью и яркостью, что способны дать урокъ иному весь вѣкъ безукоризненному человѣку. Не радуется ли сердце за русскую природу? Не говоримъ о высокой художественной отдѣлкѣ этого типа. Она, безъ сомнѣнія, будетъ оцѣнена всѣми критиками. Оригинальной фигуры Любима Торцова, съ его особеннымъ язы-

комъ, съ трагическими выходками, не забудетъ никто, читавшій комедію и тѣмъ болѣе видѣвшій ее на московской сценѣ. Но не можемъ не обратить вниманія на важное, по нашему мнѣнію, общественное значеніе этого типа. Хоть и съ горестью, но должно признаться, что такія личности, какъ Любимъ Торцовъ, не рѣдкость въ нашемъ отечествѣ. Вино ли наше очень забористо и не позволяетъ безнаказанно злоупотреблять его, какъ иностранныя вина и пива, или очень размашиста русская натура и не можетъ пріучиться къ умѣренному и своевременному пьянству, какимъ, напр., тѣшитъ себя каждое послѣобѣда Англія,—только каждому изъ насъ, вѣрно, не однажды въ жизни случалось встрѣчаться съ людьми, подобными Любиму, въ разныхъ степеняхъ общественнаго положенія, на различной степени паденія и съ различными оттѣнками характеровъ. Этому такъ распространенному типу комедія показываетъ яркими чертами счастливый исходъ, и хотя для падшихъ уже не послужитъ къ исправленію, но установитъ во всѣхъ прочихъ живой образъ лучшаго изъ подобныхъ со всѣми его темными сторонами и съ ободряющимъ указаніемъ тѣхъ нравственныхъ началъ, которыя никогда не оставляютъ совершенно человѣка ни на какой ступени паденія. Но воротимся къ содержанію комедіи. Уходя отъ Мити, Любовь Гордѣевна, какъ мы сказали, встрѣтилась съ дядей, уже значительно выпившимъ. Выкинувъ передъ племянницей одну изъ тѣхъ штукъ, какія привыкъ дѣлать, шатаясь безъ пріюта въ Москвѣ и увеселяя богатыхъ купцовъ, Любимъ обращается къ Митѣ съ просьбой принять и отогрѣть его и жалуется на брата, который выгналъ его изъ дому въ такое холодное время. Разговоръ, разумѣется, заходитъ на главную вину всѣхъ бѣдствій Любима, и онъ разсказываетъ Митѣ своимъ полускоморошнымъ тономъ исторію своего паденія... (Слѣдуетъ самый разсказъ Любима.)

Скоро Любимъ засыпаетъ, и Митя, оставшись одинъ, развертываетъ отвѣтъ Любовь Гордѣевны, который заключается въ слѣдующихъ короткихъ словахъ: *„И я тебя люблю. Любовь Торцова“*. Второе дѣйствіе происходитъ въ тотъ же вечеръ, наверху, въ хозяйскихъ комнатахъ. Не забудемъ, что на дворѣ святки, и потому будутъ гости. Пока на сценѣ темно. Анна Ивановна, принявшая уже сильное участіе въ любящихся, отправляется за Митей, чтобы

доставить ему на свободѣ свиданіе съ Любовью Гордѣевной. Объясненіе между ними, начавшееся шуткой со стороны Любови Гордѣевны и кончившееся обнаруженіемъ всей силы ея любви къ Митѣ, полно нѣжности и драматизма.

Мало-по-малу сцена освѣщается и оживляется. Входитъ сама хозяйка съ двумя сверстницами и молодежь. Такъ какъ представителя новѣйшей моды, т.-е. хозяина, нѣтъ дома, то вечеръ, естественно, принимаетъ характеръ старинныхъ русскихъ святочныхъ вечеровъ.

„Я, матушка, люблю по-старому, по-старому...—говоритъ Пелагея Егоровна,—да, по-нашему, по-русскому. Вотъ мужъ у меня не любитъ. Что дѣлать, характеромъ такой вышелъ. А я люблю, я веселая... да... чтобъ попотчевать, да чтобъ мнѣ пѣсни пѣли... да, въ родню свою: у насъ весь родъ веселый... пѣсельники".

И дѣйствительно, все идетъ по-старому. Вотъ раздается хоромъ русская пѣсня, къ которой невольно пристаетъ все общество, даже и двѣ барышни, подруги Любови Гордѣевны, отчасти уже зараженныя манерностью. Вотъ являются ряженые, разумѣется свои, домашніе, а потому и запросто. Извѣстные медвѣдь въ вывороченномъ тулупѣ съ вожакомъ, мастеромъ на пѣсни и прибаутки, неизбѣжная коза и мальчикъ съ патокой. Кое-кто позадорнѣе не вытерпѣлъ уже и пустился въ плясъ. А между тѣмъ, широкая русская пѣсня все льется и льется, вливая отраду и успокоеніе въ душу. Старая русская жизнь съ своими родными увеселеніями начинаетъ воскресать передъ вами и напоминаетъ вамъ цѣлую вереницу другихъ, взлелѣявшихъ ваше дѣтство игръ и забавъ. Вдругъ раздается стукъ въ двери: пріѣхалъ самъ хозяинъ. Всѣ въ тревогѣ. „Это что за сволочь!.. Вонъ!" Таковъ первый привѣтъ хозяина. Онъ не одинъ, съ нимъ Африканъ Саввичъ, тотъ самый московскій фабрикантъ, который, по словамъ Пелагеи Егоровны, пьетъ съ агличаномъ на фабрикѣ и сбилъ съ пути Гордѣя Карпыча. Хозяинъ встревоженъ. Онъ все боится, чтобъ Африканъ Саввичъ не счелъ его за человѣка, не знающаго приличій, и не подумалъ о немъ съ дурной стороны. Но Африканъ Саввичъ ловчѣе его, онъ не допускаетъ его выгнать собранныхъ для пѣсенъ дѣвушекъ, даже попросилъ ихъ повеличать себя и, разумѣется, наградилъ по обычаю. Послѣ нѣсколькихъ любезностей Любови Гордѣевнѣ онъ проситъ, наконецъ, хозяина сказать о цѣли своего пріѣзда. Гордѣй Карпычъ

объявляетъ, что помолвилъ дочь за Африкана Саввича. Никто не ожидалъ этого. Мать, женщина добрая, но слабая, совершенно теряется отъ этой неожиданности, чувствуя всю нескладность такого брака. Еще болѣе поражена Любовь Гордѣевна, послѣ недавнихъ горячихъ объясненій, послѣ неостывшихъ еще ласкъ Мити.

„Тятенька!—говоритъ она,—я изъ твоей воли не выйду. Пожалѣй ты меня, бѣдную, не губи мою молодость".

И потомъ, на твердо выраженную волю отца, продолжаетъ:

„Я приказу твоего не смѣю ослушаться. Тятенька! (*Кланяется въ ноги.*) Не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь!.. Передумай, тятенька!.. Чтó хочешь меня заставь, только не принуждай ты меня противъ сердца замужъ итти за немилаго!.."

Гордѣй Карпычъ. Я своего слова назадъ не беру. (*Встаетъ.*)

Любовь Гордѣевна. Твоя воля, батюшка! (*Кланяется и отходитъ къ матери.*)

Коршуновъ считаетъ дѣло конченнымъ и проситъ дѣвушекъ спѣть свадебную пѣснь. Дѣвушки запѣваютъ:

Поблекнутъ всѣ цвѣтики во саду... и т. д.

Этого ужъ не въ силахъ перенесть Любовь Гордѣевна. Пока все неожиданное дѣло, такъ поразившее ее, оставалось для нея еще какъ бы въ отвлеченномъ видѣ, она смогла пересилить себя. Но когда раздались звуки обрядной пѣсни, такъ знакомой ей и такъ живо представившей ей дѣйствительность совершившагося, она въ какомъ-то отчаяніи восклицаетъ: „Не ту, не ту! спойте другую". Хоръ запѣваетъ новую:

Ты, родимая моя матушка!
Въ день денна моя печальница,
Въ ночь ночная богомольница,
Вѣкова моя сухотница!
Прогляди ты очи ясныя,
На свою на дочку глядючи,
На свою на дочь любимую,
Во послѣдній разъ, въ останешный!

„Въ останешный!" повторяетъ Любовь Гордѣевна. Занавѣсъ опускается. Въ третьемъ дѣйствіи мы въ комнатѣ хозяйки. Въ сосѣдней комнатѣ обѣдъ. Нянька смотритъ въ дверь и причитаетъ по своей питомицѣ, выходящей за немилаго. Но вотъ обѣдъ кончился, входитъ хозяйка, усталая, и, попросивъ Анну Ивановну распорядиться хозяйствомъ, остается одна. Въ дверяхъ показывается Митя, встревоженный. Видя разрушенными всѣ свои надежды, онъ

рѣшился покинуть домъ Гордѣя Карпыча и пришелъ проститься съ Пелагеей Егоровной, отъ которой, почти одной, видѣлъ истинную ласку. Сначала онъ хотѣлъ умолчать объ истинной причинѣ своего отъѣзда, но потомъ не вытерпѣлъ и открылъ все хозяйкѣ. Та и не прочь бы отъ такого жениха, да не ея воля въ домѣ, и ей остается только горевать вмѣстѣ съ Митей о случившемся несчастіи. Пришла проститься съ Митей и Любовь Гордѣевна. Горько и тяжело ей, но когда Митя, въ припадкѣ отчаянія и молодецкой удали, проситъ позволенія увезти Любу въ ту же ночь и обвѣнчаться съ согласія матери, она твердо и рѣшительно отказывается отъ побѣга. „За что жъ ты меня обманывала? Надо мной издѣвалася?“ говоритъ обиженный Митя.

Любовь Гордѣевна. Полно ты, Митя! Что мнѣ тебя обманывать? Зачѣмъ? Я тебя полюбила, такъ сама же тебѣ сказала. А теперь изъ воли родительской мнѣ выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Должна я ему покориться, такая наша доля дѣвичья. Такъ, знать тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено изстари. Не хочу я супротивъ отца итти, чтобъ на меня люди не говорили да въ примѣръ не ставили. Хоть я, можетъ-быть, сердце свое надорвала черезъ это, да по крайности я знаю, что я по закону живу, никто мнѣ въ глаза насмѣяться не смѣетъ. Прощай! (*Цѣлуются.*)

Едва оканчивается эта тяжелая сцена, является Коршуновъ, повсюду отыскивающій свою красавицу-невѣсту. Увидавъ слезы на глазахъ Любови Гордѣевны, онъ смутно догадывается, что это слезы по комъ-нибудь милѣе его. И онъ начинаетъ прельщать Любовь Гордѣевну исчисленіемъ неудобствъ имѣть молодого мужа и рисуетъ ей картину неизмѣнной любви старика. Вся эта сцена и, въ особенности, отвѣтъ Коршунова на вопросъ Любови Гордѣевны: любила ли его первая жена?—ведены авторомъ съ отличнымъ искусствомъ и исполнены живого драматизма. Но вотъ и самъ Гордѣй Карпычъ, уже значительно подгулявшій. Онъ радъ, что успѣлъ показать себя предъ зятюшкой богато устроеннымъ пиромъ, и уже начинаетъ разсказывать ему свои виды въ будущемъ и о томъ, какъ онъ „будетъ всякую моду подражать“. Неожиданное событіе смущаетъ весь порядокъ пира. Любимъ Торцовъ успѣлъ, наконецъ, исполнить свою штуку, задуманную еще въ 1-мъ дѣйствіи въ комнатѣ Мити. Напившись для храбрости, онъ ворвался въ парадныя комнаты, распугалъ гостей и, наконецъ, является

на сцену. Рѣзкимъ тономъ, съ трагическими выходками и прибаутками нападаетъ онъ на Коршунова, споившаго и ограбившаго его въ прежнее время. Коршуновъ сначала отшучивается, но потомъ, когда дѣло доходитъ до прямыхъ обвиненій его въ подлости, смерти прежней жены и проч., выходитъ изъ себя и съ гнѣвомъ уходитъ.

„Такъ этакой-то у тебя порядокъ въ домѣ!—говоритъ онъ, принужденно хохоча, Гордѣю Карпычу.—Этакія ты моды завелъ: у тебя пьяные гостей обижаютъ! Хе-хе-хе! Я, говоритъ, въ Москву поѣду, меня здѣсь не понимаютъ. Въ Москвѣ-то ужъ такіе дураки повывелись, тамъ смѣются надъ ними. Зятюшка, зятюшка! Хе-хе-хе! Любезный тестюшка! Нѣтъ, шалишь, я даромъ себя обидѣть не позволю. Нѣтъ, ты теперь приди-ка ко мнѣ да покланяйся, чтобъ я дочь-то твою взялъ.

Гордѣй Карпычъ. Я къ тебѣ пойду кланяться?

Коршуновъ. Пойдешь, я тебя знаю. Тебѣ нужно свадьбу сдѣлать, хоть въ петлю лѣзть, да только бъ весь городъ удивить, а жениховъ-то нѣтъ. Вотъ несчастье-то твое. Хе-хе-хе...

Гордѣй Карпычъ. Опосля этого, когда ты такія слова говоришь, я самъ тебя знать не хочу! Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдамъ. Съ деньгами, что я за ней дамъ, всякій человѣкъ будетъ...

Въ это время входитъ на шумъ Митя. „Вотъ за Митьку отдамъ!“—продолжаетъ Гордѣй Карпычъ. Всѣ удивлены. Гордѣй Карпычъ сказалъ это сгоряча и потому, что не было никого другого подъ руками. Но это рѣшеніе какъ нельзя болѣе согласно съ общимъ желаніемъ. „Я, тятенька, вашей волѣ не перечила,—говоритъ Любовь Гордѣевна.—Коли хотите вы моего счастія—отдайте меня за Митю“. Сама слабая Пелагея Егоровна, наконецъ, вступается за дочь и упрекаетъ мужа, что „дочь ему словно на мытарство досталась“. Гордѣй Карпычъ все еще колеблется. Но сильное слово Любима рѣшаетъ дѣло.

„Человѣкъ ты или звѣрь?—говоритъ онъ брату.—Пожалѣй ты и Любима Торцова! (*Становится на колѣни.*) Братъ, отдай Любушку за Митю—онъ мнѣ уголъ дастъ. Назябся ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; хоть подъ старость-то да честно пожить. Вѣдь, я народъ обманывалъ: просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ работишку дадутъ; у меня будетъ свой горшокъ щей. Тогда-то я Бога возблагодарю. Братъ! и моя слеза до неба дойдетъ! Что онъ бѣденъ-то! Эхъ, кабы я бѣденъ былъ, я бы человѣкъ былъ. Бѣдность—не порокъ“.

Гордѣй Карпычъ тронутъ искренно. Все прошлое представляется ему какимъ-то сномъ, или, какъ онъ выражается „гнилою фантазіей“. На радостяхъ онъ разрѣшаетъ даже и

Гуслину жениться на Аннѣ Ивановнѣ.—Звонко, дружно и, на этотъ разъ, радостно раздается опять свадебная пѣснь и заключаетъ комедію.

Разсказавъ съ достаточною подробностью содержаніе новой комедіи А. Н. Островскаго, перейдемъ къ ея критической оцѣнкѣ. Но для этого прежде всего намъ нужно войти хорошенько въ идею автора. Избравъ пока, по причинамъ, изложеннымъ выше, содержаніемъ для своихъ комедій преимущественно купеческій бытъ, сквозь который постоянно проглядываютъ для него и особенно интересуютъ его коренныя черты истинно-русскаго быта, А. Н. Островскій, какъ писатель народный и общественный, долженъ былъ обратить свое вниманіе на существенно важныя черты этого быта. Такъ, въ своей первой комедіи онъ рѣзко и безпощадно выставляетъ на видъ общественное зло, проистекающее отъ исключительной страсти къ пріобрѣтенію, ради которой можно забыть все священное и которая весьма удобно можетъ развиться въ человѣкѣ, всю жизнь свою посвятившемъ денежнымъ спекуляціямъ и не охраняемомъ ничѣмъ отъ заразительныхъ, окружающихъ его примѣровъ нетруднаго обогащенія и обезпеченія себя отъ случайностей торговли. Но тамъ онъ былъ чистымъ сатирикомъ. Ничто противодѣйствующее не было выставлено имъ на-ряду съ показаннымъ зломъ. Въ настоящей комедіи видно, что его поразило другое зло, нерѣдко встрѣчаемое въ томъ же быту. Это фальшивая цивилизація, подражаніе внѣшнимъ формамъ и привычкамъ образованнаго класса, въ свою очередь заимствованнымъ, разорившее и погубившее уже не мало людей. Зло это, къ сожалѣнію, распространяется все болѣе и болѣе и требуетъ сильнаго противодѣйствія. Происходитъ оно преимущественно отъ свойственной болѣе или менѣе всѣмъ людямъ наклонности казаться выше своего состоянія и общественнаго положенія и производить хоть чѣмъ-нибудь впечатлѣніе на себя подобныхъ; распространяется отъ заподозрѣнной довѣренности въ правотѣ и достоинствѣ старыхъ обычаевъ, отъ заманчиваго лоска и блеска жизни и привычекъ образованнаго класса, и отъ многихъ другихъ причинъ, которыхъ перечислять всѣхъ здѣсь нѣтъ необходимости. Изображеніе такого рода зла въ купеческомъ быту составляетъ предметъ новой комедіи г. Островскаго. Но въ ней онъ является уже не однимъ

сатирикомъ. Въ противоположной сторонѣ видится ему въ томъ же быту благодушная, простая, крѣпко связанная съ родными преданіями и обычаями жизнь, и все сочувствіе его при столкновеніи такихъ двухъ враждебныхъ началъ, естественно, склоняется на сторону послѣдняго. Поэтому вся задача новой комедіи состоитъ въ сопоставленіи этихъ двухъ началъ и въ торжествѣ одного изъ нихъ. Но, избравъ для разрѣшенія своей задачи драматическую форму, авторъ тѣмъ самымъ принялъ на себя обязанность удовлетворить всѣмъ требованіямъ этой формы, т.-е. прежде всего произвести впечатлѣніе на читателя или зрителя драматическою коллизіею и движеніемъ и этимъ путемъ напечатлѣть въ немъ основную идею комедіи. Въ этомъ отношеніи мы не можемъ остаться совершенно довольными новою пьесою г. Островскаго. Не то чтобы въ комедіи *Бѣдность не порокъ* не было совсѣмъ драматическаго движенія,—мѣстами оно даже очень сильно,—но оно не развивается въ пьесѣ послѣдовательно и безпрерывно, и вы часто заняты въ ней простыми картинами той или другой стороны быта, которыя, конечно, также объясняютъ вамъ идею автора, но уже посредствомъ другого, не совсѣмъ драматическаго пріема. Чтобы болѣе пояснить нашу мысль, обратимся за примѣромъ къ самой комедіи. Интрига, посредствомъ которой сталкиваются въ пьесѣ два противоположныя начала, есть любовь Мити и хозяйской дочери. Узнавъ объ этой любви изъ перваго акта и уже познакомившись отчасти съ основною мыслью комедіи, мы имѣемъ полное право ожидать дальнѣйшаго развитія ея посредствомъ главной интриги. Такъ, дѣйствительно, и происходитъ въ концѣ второго и во всемъ третьемъ актѣ, но въ началѣ второго авторъ прибѣгаетъ къ другому способу: въ довольно длинной картинѣ онъ возсоздаетъ передъ нами образчикъ старой святочной русской жизни и, возбудивъ къ ней наше сочувствіе, вдругъ выдвигаетъ въ комическомъ свѣтѣ противоположный элементъ въ лицѣ Гордѣя Карпыча и Африкана Саввича. Эффектъ, если хотите, ловкій и служитъ хорошо главной мысли комедіи, но интересъ возникшей уже интриги задерживается и нѣсколько охолаживается этимъ простымъ сопоставленіемъ двухъ враждебныхъ началъ. На сценѣ даже жаль бы было не видѣть прекрасной, хотя и нѣсколько длинной картины святочнаго вечера и характеристическихъ

разговоровъ разныхъ дѣйствующихъ на немъ лицъ; но въ чтеніи такія вводныя картины положительно вредятъ силѣ и непрерывности драматическаго впечатлѣнія. Мы сказали выше, что главная задача комедіи *Бѣдность не порокъ* состоитъ въ столкновеніи двухъ враждебныхъ началъ. Интрига же комедіи, въ томъ смыслѣ, какъ обыкновенно понимается это слово, не слита органически съ идеею пьесы и является ей какъ бы нѣсколько постороннею. Собственно говоря, любовь Мити и Любови Гордѣевны принадлежитъ къ тому же плану задачи, на которомъ выставлена русская пѣсня, простота и веселость старыхъ обычаевъ, нѣкоторые утѣшительные типы и т. д., и которому противоположнымъ планомъ служитъ Гордѣй Карпычъ со своимъ искусителемъ Африканомъ Саввичемъ. Отъ этой некрѣпкой связи между основной мыслью и интригою, введенною въ пьесу, происходитъ то, что полное развитіе этой послѣдней становится ненужнымъ въ концѣ пьесы, и она разрѣшается почти случайнымъ образомъ, что́ составляетъ, безъ сомнѣнія, важный недостатокъ новой комедіи. Такъ какъ вопросъ зашелъ уже о недостаткахъ, то выскажемъ всѣ ихъ разомъ. Отъ нѣкоторой поспѣшности въ работѣ, замѣтной и въ общемъ планѣ, вышло, что языкъ автора, вообще, конечно, прекрасный, мѣстами не такъ сдѣланъ и не достигъ той окончательной мѣткости, по которой въ начавшемся разговорѣ фраза одного лица какъ бы подсказываетъ другую отвѣтную. Наконецъ, нельзя не попрекнуть автора за лицо Гордѣя Карпыча, на которомъ, по-настоящему, должна бы держаться вся пьеса, но который представляетъ довольно безцвѣтный образъ и хотя служитъ усердно основной мысли пьесы, но не представляетъ тѣхъ оригинальныхъ и типическихъ чертъ, по которымъ созданныя разъ лица никогда не забываются, даже и помимо содержанія пьесы. Вообще мы думаемъ, что полная отдѣлка лица Гордѣя Карпыча повела бы автора къ нѣкоторымъ измѣненіямъ во всемъ планѣ пьесы, и тогда для достиженія своихъ художественныхъ цѣлей онъ, можетъ-быть, не имѣлъ бы надобности прибѣгать къ пріемамъ не совсѣмъ драматическимъ или, по крайней мѣрѣ, употребилъ бы ихъ умѣреннѣе. Главное художественное достоинство новой пьесы г. Островскаго состоитъ, по нашему мнѣнію, въ обиліи типовъ, которые онъ успѣлъ вызвать изъ купеческаго быта и кото-

рыми прекрасно обставилъ свѣтлую сторону своей комедіи. Начиная съ незабываемаго типа Любима Торцова, предъ нами проходитъ цѣлый рядъ лицъ, совершенно вѣрныхъ дѣйствительности. Дивишься, какъ въ столь, повидимому, исчерпанномъ имъ быту онъ умѣетъ находить все новыя и новыя лица. Пѣвецъ Гуслинъ, разбитной малый Разлюляевъ, веселая и бойкая вдовушка Анна Ивановна, двѣ жеманныя дѣвушки—все это люди, съ которыми вы не разъ сходились въ дѣйствительности, и между тѣмъ это совсѣмъ не тѣ люди, съ которыми вы познакомились въ прежнихъ комедіяхъ того же автора. Все это, конечно, типы, замѣшанные въ главную интригу лишь мимоходомъ и не успѣвшіе раскрыть вполнѣ своихъ характеровъ, но въ общихъ картинахъ они удивительно рисуютъ всѣ подробности быта. Другое существенное достоинство комедіи состоитъ въ ея двоякомъ общественномъ значеніи: первое основано на самой идеѣ комедіи, второе на вырванномъ изъ дѣйствительности и возведенномъ въ художественную форму лицѣ Любима Торцова. Одно созданіе такого типа могло бы заставить забыть всѣ даже большіе недостатки комедіи. Упомянувъ о нѣкоторыхъ истинно драматическихъ сценахъ, какова, напр., въ началѣ 2-го дѣйствія сцена объясненія Мити съ Любовью Гордѣевной, потомъ Любови Гордѣены съ отцомъ, Африкана Саввича съ невѣстой, прощаніе Мити съ Пелагеей Егоровной и Любовью Гордѣевной, наконецъ, о сценѣ заключительной, мы, кажется, скажемъ все, что думаемъ о новой пьесѣ г. Островскаго, возбудившей наше полное сочувствіе. Объ обычныхъ достоинствахъ всѣхъ его произведеній, встрѣчаемыхъ и въ этой комедіи, мы не считаемъ нужнымъ распространяться. Пожелаемъ же на прощаніе новой встрѣчи съ его произведеніемъ, пусть и не слишкомъ скорой, но, если можно, еще болѣе радостной.

Е. Э-нъ. (Е. Эдельсонъ.)

„Не такъ живи, какъ хочется“.

Драма въ трехъ дѣйствіяхъ [1]).

Нашъ отзывъ о комедіи *Бѣдность не порокъ* извѣстенъ читателямъ [2]). Отзывъ рецензента „Современника“ былъ не менѣе строгъ. Можетъ-быть, такое нерасположеніе петербургскихъ журналовъ могло показаться нѣкоторымъ читателямъ преувеличеннымъ, и мы считаемъ долгомъ объяснить по этому поводу побудительныя причины.

Извѣстно, что писателю драматическому особенно трудно высказать вполнѣ свой взглядъ, потому что личность автора всегда скрыта за дѣйствующими лицами. Какъ же въ этомъ случаѣ пособить горю, особенно когда писатель встрѣчаетъ въ журналахъ не похвалы, а порицанія? Оправданіе дѣлается необходимымъ, и его приняли на себя, вмѣсто г. Островскаго, рецензенты „Москвитянина“.

Вы знаете, что бо́льшая часть выведенныхъ г. Островскимъ лицъ принадлежитъ купеческому быту. Можетъ-быть, вамъ интересно будетъ знать, почему именно это сословіе, а не какое-нибудь другое, возбуждаетъ фантазію г-на Островскаго?—„Москвитянинъ“ излагаетъ это обстоятельство подробно:

„Г. Островскій—нашъ народный писатель. Это значитъ, между прочимъ, что главная задача его литературной дѣятельности состоитъ въ изображеніи такихъ явленій и такихъ типовъ, *которыхъ происхожденіе вытекаетъ изъ коренныхъ и самостоятельныхъ свойствъ русскаго народа*. Поэтому, изображаетъ ли онъ вамъ русскаго человѣка въ своей испорченности, каковъ, напримѣръ, Подхалюзинъ въ комедіи *Свои*

---

[1]) „Отечественныя Записки“, 1855 г., № 1. „Журналистика“. (См. стран. 115.)

[2]) „Отечественныя записки“, 1854 г., № 6. (См. стр. 182.)

люди—сочтемся, или выводитъ вамъ привлекательныя въ своей безыскусственности и нравственной чистотѣ лица, вы видите ясно, что всѣ эти лица русскія и что ни такихъ личностей, ни такихъ событій въ другой землѣ не встрѣтишь. Купеческое сословіе наше, издавна составляя чрезвычайно обширный и сильно-дѣятельный классъ общества, находится по самому роду своихъ занятій въ безпрестанныхъ и самыхъ близкихъ столкновеніяхъ со всѣми прочими слоями общественными; въ немъ, кромѣ того, по различію состоянія и по различію главнѣйшихъ и обычныхъ сношеній, встрѣчаются всѣ формы жизни и обычаевъ, выработавшихся въ нашемъ отечествѣ. Между торгующимъ крестьяниномъ, мало чѣмъ отличающимся отъ крестьянина-земледѣльца, и столичнымъ купцомъ, ведущимъ свой домъ на иностранную ногу и мало чѣмъ отличающимся отъ иностраннаго негоціанта, встрѣтишь еще цѣлую лѣстницу переходныхъ типовъ. И древняя доблесть русская, переживающая цѣлые вѣка, несокрушимая никакими чуждыми вліяніями и въ торжественныя минуты являющаяся на свѣтъ, чтобы тихо и безъ шума исполнить свое святое дѣло, и легкость, фанфаронство—почти французскія, и крѣпкая привязанность къ старымъ, исконнымъ обычаямъ до малѣйшей ихъ подробности, и полное увлеченіе европейскимъ комфортомъ жизни,—все встрѣчается въ нашемъ купеческомъ сословіи. Понятно, что при этомъ разнообразіи *въ немъ преимущественно какъ бы откладываются и выявляются наружу всѣ коренныя народныя черты*, подверженныя ли вліяніямъ разносторонней цивилизаціи, или сохранившіяся въ своей нетронутой простотѣ"... („Москвит.", № 5, 1854 г.) [1]).

Прежде всего читатель видитъ въ этомъ объясненіи ту широкую раму произведеній г. Островскаго, которую иные называли узкою. Дѣло нешуточное выводить наружу всѣ коренныя народныя свойства; это ужъ совсѣмъ не то, что изображать купеческій бытъ... Но не въ этомъ дѣло: мы желаемъ познакомить читателя съ другимъ взглядомъ на произведенія г. Островскаго, со взглядомъ „Москвитянина", и для примѣра приведемъ „истолкованіе типа Любима Торцова", которымъ такъ гордятся рецензенты „Москвитянина",

---

[1]) См. стран. 218.

что въ честь этого типа написали даже оду. Вотъ какъ растолковано это лицо:

„Кто истинно любитъ и знаетъ Россію, кто гордится и всѣми дорогими свойствами своего народа и сердечно соболѣзнуетъ о неизбѣжныхъ во всякомъ общественномъ организмѣ болѣзняхъ, кто, однимъ словомъ, живетъ со своимъ народомъ одною жизнью, а не уединяется въ какой-нибудь узкій нравственный кодексъ, откуда все ему представляется лишь со своей внѣшней, подчасъ грязненькой стороны, для того художественно изображенное лицо Любима Торцова есть и источникъ многихъ эстетическихъ наслажденій и предметъ нравственнаго сочувствія. Передъ вами человѣкъ, богато одаренный и умомъ и сердцемъ, съ не совсѣмъ обыкновенными потребностями широты и полноты жизни; но худо направленный смолоду, увлеченный многочисленными примѣрами на торную уже дорогу разгула, онъ не умѣетъ, какъ какой-нибудь Африканъ Саввичъ, мѣшать вмѣстѣ два дѣла: то-есть предаваться разгульной жизни по временамъ, а въ остальное время собирать по крохамъ и выжимать изъ другихъ разомъ промотанныя деньги, и потому, отдаваясь разгулу всею душой, не замедляетъ перейти изъ типа гуляки-купца въ типъ *метеора* (по мѣткому народному названію), т.-е. человѣка, не имѣющаго пристанища и перелетающаго изъ одного увеселительнаго заведенія въ другое. Среди хлама дурныхъ привычекъ, среди постоянно трагическаго тона, котораго онъ насмотрѣлся въ трагедіяхъ и которымъ потомъ тѣшилъ богатыхъ купцовъ, въ этомъ человѣкѣ сохранилось еще много дорогихъ человѣческихъ свойствъ, которыя не допустили его дойти до преступленія и, по временамъ, въ торжественныхъ случаяхъ, вспыхиваютъ такою свѣжестью и яркостью, что способны дать урокъ иному весь вѣкъ безукоризненному человѣку. Не радуется ли сердце за русскую природу?

„Не говоримъ о высокой художественной отдѣлкѣ этого типа. Она, безъ сомнѣнія, будетъ оцѣнена всѣми критиками. Оригинальной фигуры Любима Торцова, съ его особеннымъ языкомъ, съ трагическими выходками, не забудетъ никто, читавшій комедію и тѣмъ болѣе видѣвшій ее на московской сценѣ. Но не можемъ не обратить вниманія на важное, по нашему мнѣнію, общественное значеніе этого типа. Хоть и съ горестью, но должно признаться, что такія

личности, какъ Любимъ Торцовъ, не рѣдкость въ нашемъ отечествѣ. Вино ли наше очень забористо и не позволяетъ безнаказанно злоупотреблять его, какъ иностранныя вина или пива, или же очень размашиста русская натура и не можетъ пріучиться къ умѣренному и своевременному пьянству, какимъ, напримѣръ, тѣшитъ себя каждое послѣобѣда Англія,—только каждому изъ насъ, вѣрно, не однажды въ жизни случалось встрѣчаться съ людьми, подобными Любиму, въ разныхъ степеняхъ общественнаго положенія, на различной степени паденія и съ различными оттѣнками характеровъ. Этому такъ распространенному типу комедія *показываетъ яркими чертами счастливый исходъ* (?), и хотя для падшихъ уже не послужитъ къ исправленію, но установитъ во всѣхъ прочихъ живой образъ лучшаго изъ подобныхъ со всѣми его темными сторонами и съ ободряющимъ указаніемъ тѣхъ нравственныхъ началъ, которыя никогда не оставляютъ совершенно человѣка ни на какой ступени паденія" (??) („Москвит.," тамъ же). Извѣстно, что исходъ „метеора", который такъ темно обозначенъ въ рецензіи, еще темнѣе въ комедіи. Эта-то темнота, или исходъ главнаго дѣйствующаго лица въ комедіи, соединенная въ одно съ исходомъ другой комедіи *Не въ свои сани не садись*, и была поводомъ, что „Отечественныя Записки" и „Современникъ", пытаясь разъяснить темноту, увидѣли странный свѣтъ.

Они увидѣли, что г. Островскій не только желаетъ отыскивать коренныя свойства русскаго народа, но произноситъ надъ нимъ судъ слишкомъ поспѣшный и отъ этого опрометчивый; что въ пользу этихъ исконныхъ свойствъ онъ ужъ слишкомъ унижаетъ свойства неисконныя, но очень полезныя въ гражданскомъ быту; что, вслѣдствіе такой заранѣе обдуманной идеи, поддерживаемой сотрудниками „Москвитянина", комедія его начала мало-по-малу терять свой художественный характеръ и переходить въ разрядъ аллегоріи.

Изреченіе: „Рука руку моетъ", вполнѣ было приложимо къ „Москвитянину" въ прошедшемъ году. Г. Островскій написалъ комедію, въ которой вывелъ на сцену Любима Торцова; г-нъ Э-нъ [1]) написалъ рецензію, въ которой выше-

[1]) Эдельсонъ.

изложеннымъ образомъ объяснилъ исконныя свойства Любима Торцова, а г. Григорьевъ пустился въ отыскиваніе исконныхъ свойствъ въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ. Что давалось трудно великимъ художникамъ, то „Москвитянинъ" открываетъ почти въ каждой своей книжкѣ, какъ астрономы открываютъ теперь планеты; а что еще хуже, исконному свойству сейчасъ же опредѣляютъ мѣру и вѣсъ, сравниваютъ съ нимъ на своихъ особенныхъ мѣрахъ неисконныя свойства и унижаютъ ихъ, въ одно и то же время возвеличивая исконныя свойства*). Вотъ въ чемъ ошибка. Но *Бѣдность не порокъ*—комедія, о которой было ужъ много говорено. Для разъясненія нашихъ словъ, впрочемъ, довольно ясныхъ, мы обратимся къ новой комедіи г. Островскаго: *Не такъ живи, какъ хочется*, поставленной въ декабрѣ прошлаго года на московской сценѣ. Мы не видѣли представленія этой пьесы; она не напечатана; но мы читали отчетъ о первомъ ея представленіи и, кажется, поняли ея сюжетъ. Она принадлежитъ прошедшему году, и потому мы имѣемъ право привести ее здѣсь въ доказательство нашей мысли. Въ ней мы видимъ тѣ же исконныя свойства, какъ и въ другихъ послѣднихъ комедіяхъ.

Дѣйствіе происходитъ на масленицѣ, и бо́льшая часть лицъ, выходящихъ на сцену, навеселѣ. Дѣйствіе вотъ какое: купеческій сынъ Петръ, женатый на мѣщанкѣ Дашѣ, кутитъ и пьетъ. Надоѣла ему жена, и любитъ онъ другую, Груню. На бѣду и Груня любитъ Петра, но не знаетъ, что онъ ужъ *женатый*. Груня же нравится другому купеческому сыну, Васѣ. Но, къ сожалѣнію, Груня не чувствуетъ къ нему никакой особенной любви, потому что вся она принадлежитъ Петру.

Груня живетъ у отца, который содержитъ постоялый дворъ. На этотъ постоялый дворъ приходитъ отецъ и мать Даши, жены Петра, и встрѣчаютъ тамъ свою дочь, которая рѣшилась бѣжать отъ мужа. Отецъ и мать прощаютъ дочь за то, что она бѣжала изъ дома, но намѣренію ея оставить мужа рѣшительно противятся: „Что ты? Ты пойми, дурочка: вѣдь, онъ мужъ тебѣ... какъ же это?... а отцы какъ живали?"

*) Авторъ иронизируетъ надъ тѣмъ обстоятельствомъ, что Островскій, Эдельсонъ и Ап. Григорьевъ одновременно состояли сотрудниками „Москвитянина" до 1855 г. *Н. Д.*

говорятъ они такъ или въ этомъ родѣ. Этимъ временемъ изъ разговора отца съ дочерью Груня узнаетъ, что ея Петръ, ея возлюбленный, женатъ... „А онъ, злодѣй подлый, сказывался холостымъ!“ вскрикиваетъ Груня, плачетъ, грозится и выходитъ замужъ за Васю, котораго, впрочемъ, не видно, чтобъ любила. Петръ, узнавъ о такомъ рѣшеніи Груни, напивается, буянитъ съ женой, въ озлобленіи хватаетъ ножъ и хочетъ убить жену. Ему слышатся разные голоса. Онъ по слѣду хочетъ отыскать жену, которая спряталась отъ него, и, не помня себя, выбѣгаетъ вонъ. Подымается суматоха. Кто-то объявляетъ, что видѣлъ Петра надъ прорубью... Является самъ Петръ и разсказываетъ: идетъ онъ и ищетъ жену... какъ вдругъ раздается благовѣстъ. Петръ хочетъ по привычкѣ перекреститься, подымаетъ руку, но въ рукѣ ножъ—и самъ стоитъ онъ на самой быстринѣ Москвы-рѣки, надъ прорубью. Понялъ Петръ, что кто-то свыше держитъ надъ нимъ руку свою. Петръ раскаялся, пришелъ домой съ повинной головою—и его прощаютъ. Даша бросается ему на шею.

Содержаніе этой новой комедіи выводитъ насъ на прямую дорогу къ оцѣнкѣ способовъ отыскиванія исконныхъ свойствъ и средствъ, употребляемыхъ г. Островскимъ для украшенія ихъ. Мы находимъ въ „Москвитянинѣ“ народную пѣсню, содержаніе которой одинаково съ сущностью комедіи г. Островскаго:

Сказали про молодца, что онъ не живъ, не здоровъ;
Сказали про удалаго—совсѣмъ безъ вѣсти пропалъ;
Вечоръ, вечоръ молодецъ—вдоль онъ улицы прошелъ,
Любимую пѣсенку шибко-громко просвисталъ.
Ко мнѣ, красной дѣвицѣ—въ теремъ голосъ подавалъ:
Чтобъ я, красна дѣвица—не дремала бъ, не спала,
Ждала бы дожидалася—къ себѣ милаго дружка.
Хотѣлъ притти милый другъ—во двѣнадцатомъ часу:
Пришелъ, пришелъ молодецъ—онъ на утренней зарѣ,
Стучитъ, гремитъ молодецъ—подъ косящатымъ окномъ.
Ахъ, спишь ли ты, дѣвушка—или такъ съ горя лежишь.
Ахъ, что же ты, милый другъ—вечоръ долго не бывалъ?
Затѣмъ, затѣмъ, дѣвушка—позамѣшкался въ дому...

(и проч. „*Москв.*“, № 5).

Прочитавшій эту пѣсню видитъ, чего ищетъ г. Островскій, гдѣ онъ находитъ искомое и какъ онъ передѣлываетъ искомое въ комедію, видитъ все, что принадлежитъ

фантазіи г. Островскаго; остается спросить одно: убѣждаютъ ли читателя убѣжденія г. Островскаго?

Ученый,—положимъ, г. Григорьевъ,—написавшій статью о народныхъ русскихъ пѣсняхъ, долженъ доказывать свои убѣжденія съ помощью исторіи, филологіи и того такта, который дается нѣкоторымъ людямъ; но г. Григорьевъ не доказалъ своихъ убѣжденій такими способами. Поэтъ, драматическій писатель, повѣствователь, доказываютъ истину своихъ убѣжденій иначе—не филологіей, не исторіей; они доказываютъ тѣмъ, что ихъ дѣйствующія лица живы, что дѣйствія этихъ лицъ совершенно правдоподобны, и тѣмъ, наконецъ, что мысль, взятая авторомъ за основу—общій выводъ, итогъ многихъ мыслей. Но, къ сожалѣнію, г. Островскій погрѣшаетъ особенно противъ третьяго правила. Ему должны быть знакомы русскія пѣсни; онъ долженъ знать, что пѣсни, какъ и пословицы, часто другъ-другу противорѣчатъ, что, слѣдовательно, если вы считаете кореннымъ взглядъ одной пѣсни, то противникъ можетъ вамъ привести другую пѣсню, и вашъ взглядъ пошатнется. Вотъ главная ваша ошибка. Ошибившись одинъ разъ, вы дѣлаете и другую ошибку: замѣну знанія стараетесь вы найти въ идеализаціи предмета. И идеализація выходитъ самою странною. Любимъ Торцовъ доказалъ совсѣмъ не то, что вы, повидимому, хотѣли доказать: „Ужъ я жъ ее билъ шельму—чуть на свѣтъ пустилъ“.

„Въ чужомъ пиру похмелье“.

Комедія Островскаго [1]).

*) Мы никогда не отрицали замѣчательнаго драматическаго дарованія въ г. Островскомъ, хотя и не ставили его на ряду съ Шекспиромъ. Мы даже именно потому и судили его всегда такъ строго, что видѣли въ немъ это дарованіе. Мы всегда выражали ту мысль, что г. Островскому легко можно было бы сдѣлаться замѣчательнымъ драматургомъ, если бы неизмѣнная тема его комедій не вредила своею

---

[1]) „Спб. Вѣдомости“, 1856 г., № 24.

*) „Спб. Вѣдомости“ являются патріархомъ русской журналистики: онѣ возникли, какъ продолженіе „Вѣдомостей“, созданныхъ по волѣ Петра Великаго, въ 1703 г. Съ момента возникновенія „Спб. Вѣдом.“ (1728 г.) и до нашихъ дней онѣ претерпѣли многоразличныя видоизмѣненія, то проводя „густо-консервативные“ взгляды, то умѣренно-либеральные. Но умѣренность воззрѣній не спасла газету отъ многоразличныхъ административныхъ каръ. Уже въ 1742 г. газета подчинена была сенатской цензурѣ, а въ 1751 г. запрещено безъ Высочайшей апробаціи печатать „артикулы“, относящіеся до придворныхъ происшествій. Въ 1865 г. объявлено первое предостереженіе за „несогласимыя съ интересами государственнаго кредита сужденія о такихъ правительственныхъ распоряженіяхъ, о которыхъ не было до тѣхъ поръ объявлено никакихъ положительныхъ свѣдѣній“. Въ 1866 г. газета снова претерпѣла за „превратное и несогласное съ закономъ истолкованіе значенія земскихъ учрежденій въ сферѣ государственныхъ установленій; голословное и ложное, вопреки опубликованныхъ правительственныхъ свѣдѣній, увѣреніе въ систематическомъ противодѣйствіи администраціи земскимъ учрежденіямъ и возбужденіе недовѣрія къ администраціи вообще, бездоказательное обвиненіе оной въ произволѣ и несочувствіи къ патріотическому настроенію времени“. Затѣмъ слѣдуютъ предостереженія въ 1871 г.; за „вредное направленіе“ воспрещаютъ печатать частныя объявленія въ 1875, 77, 78, 99 гг. Снова „предупреждаютъ“ въ 1901 г.; опять запрещаютъ объявленія въ 1903 г. и, за „статьи“ напрасно тревожащія

ложностью художественности его произведеній, не налагала на нихъ печати какой-то безтолковости и безсмыслія и не лишала ихъ всякаго серіознаго значенія. Мы отъ всей души жалѣли, что г. Островскій съ такимъ упорствомъ держится своей ложной идеи, и съ величайшимъ удовольствіемъ сознаемся, что въ послѣдней его комедіи *(Въ чужомъ пиру похмелье)* эта идея, эта тема становится гораздо менѣе замѣтна (чтобы не сказать: исчезаетъ совсѣмъ) и что въ ней гораздо болѣе достоинствъ, нежели въ его драмѣ *Не такъ живи, какъ хочется.* Если такъ, то почему скучно было въ театрѣ? Почему не понравилась комедія (если она точно не понравилась)? Постараюсь разъяснить эту кажущуюся несообразность.

Я сказалъ, что въ послѣдней комедіи г. Островскаго отчасти пропадаетъ обычная тенденція его прежнихъ произведеній. Самъ ли авторъ созналъ, въ виду почти единодушныхъ осужденій, необходимость отойти въ сторону отъ своего quasi-новаго слова, или былъ онъ приведенъ къ тому постороннимъ вліяніемъ, намъ до этого нѣтъ дѣла! Мы судимъ автора по его произведеніямъ. Во всякомъ случаѣ, очевидно, что въ новой комедіи г. Островскаго развивается

общественное мнѣніе" (какая трогательная заботливость!), еще разъ въ 1904 г. запрещаютъ печатать объявленія. Въ тотъ періодъ изданія газеты, въ который написана здѣсь предлагаемая статья, онѣ выходили подъ редакціей А. Н. Очкина. Этотъ періодъ „Спб. Вѣд." нельзя считать героическимъ, а наступаетъ онъ съ 1863 г. по 1874 г. Въ это время редактированіе находилось въ рукахъ извѣстнаго В. Ѳ. Корша, которому удалось собрать вокругъ себя большое количество способныхъ сотрудниковъ и сдѣлать газету руководящимъ органомъ, съ умѣренно-либеральной программой. Въ 1874 г. главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати заявлено было Коршу, что онъ не можетъ быть редакторомъ газеты. Редакторомъ сталъ Е. А. Саліасъ, а газета, съ Высочайшаго соизволенія, передана изъ вѣдѣнія академіи наукъ въ вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія. Кромѣ того, заявлено было, что въ числѣ сотрудниковъ не можетъ состоять В. П. Буренинъ, бывшій въ тѣ времена рѣшительнымъ сторонникомъ западническихъ идей. Послѣ этого ушло большинство сотрудниковъ газеты, и она стала быстро падать. Вмѣсто прибыли „Спб. Вѣдом." стали приносить убытокъ. Газета снова перешла въ другія руки; сначала къ В. В. Комарову (1877 г.), а затѣмъ къ В. Т. Авсѣенко (1883 г.). Авсѣенко попытался, было, снова оживить газету и окрасить ее въ менѣе патріотическіе цвѣта, но это ему не удалось, а удалось, до извѣстной степени, князю Э. Ухтомскому (1896—1903 г.).

Прим. Н. Денисюка.

идея, далеко не сходная съ идеей всѣхъ другихъ его драматическихъ произведеній, идея о вліяніи образованнаго человѣка на необразованнаго. Но боязнь зайти слишкомъ далеко какъ-будто удерживаетъ автора на полдорогѣ: онъ бросаетъ идею, не только не развивъ ее вполнѣ, но даже не объяснивъ ее порядочно. И вышло, что авторъ отъ своихъ отсталъ, а къ чужимъ не присталъ. Отсюда - несвязность сценъ, отсутствіе серіознаго и интереснаго содержанія, отсутствіе цѣльнаго и законченнаго дѣйствія, слабо-обрисованные характеры, ничѣмъ необъясненныя выходки дѣйствующихъ лицъ, и пр. и пр. Все это, очень естественно, должно было возбудить въ публикѣ совершенное недоумѣніе, а недоумѣніе есть преддверіе къ скукѣ.

Я всегда подкрѣпляю свои выводы фактами или, вѣрнѣе, я изъ фактовъ и дѣлаю свои выводы. Позвольте мнѣ и теперь ознакомить васъ, хотя и въ сжатомъ очеркѣ, съ содержаніемъ новой комедіи Островскаго. Въ дочь отставного учителя Иванова влюбленъ сынъ богатаго купца, Андрей Брусковъ. Онъ и самъ какъ-будто отчасти приглянулся Лизаветѣ Ивановнѣ (такъ зовутъ дочь учителя): оставшись съ нимъ наединѣ, она даетъ ему даже поцѣловать свою руку и на словахъ тоже выражаетъ немало нѣжности, несмотря на то, что, за минуту передъ этимъ, такъ положительно разувѣряла отца, который въ ужасъ приходилъ при одной мысли, что его Лизѣ можетъ понравиться необразованный купецъ. Если Лизавета Ивановна и несогласна выйти за Андрюшу, то скорѣе потому, что онъ купецъ и притомъ богатъ, нежели потому, что онъ совершенно неразвитъ и необразованъ (едва-едва писать-то онъ умѣетъ): званіе и обстановка останавливаютъ ее, а не сущность, не внутреннее значеніе самого Брускова. Не думаетъ ли она, если бы ей пришлось выйти за Андрея, не думаетъ ли она сама воспитать его, подобно тому какъ Маша (въ *Бѣдной невѣстѣ*) утѣшалась мыслью, что передѣлаетъ, исправитъ Беневоленскаго? Такіе странные уродливые подвиги и стремленія, основанные на условномъ, ходульномъ пониманіи чести, долга и счастья, не составляютъ ли ужъ идеала русской женщины по понятію г. Островскаго?.. Во всемъ этомъ дѣлѣ хлопочетъ изо всѣхъ силъ хозяйка Ивановыхъ, губернская секретарша Аграфена Платоновна; она уговариваетъ и отца съ дочерью, искренно удивляясь тому, что они не

только не соглашаются, но даже сердятся на нее за ея непрошенное вмѣшательство, за ея ни къ чему неведущія хлопоты; она утѣшаетъ и Андрюшу, все еще не теряя надежды, что дѣло уладится. Между тѣмъ, Андрюша ушелъ, а на его мѣсто является самъ Брусковъ, отыскивая своего непокорнаго сына. (Все это совершается въ отсутствіе Иванова, который пошелъ на уроки съ Гораціемъ подъ-мышкой.) Титъ Титычъ Брусковъ кричитъ и бранится. Лизавета Ивановна въ негодованіи—она гонитъ вонъ Брускова. Тотъ еще болѣе сердится. Аграфена Платоновна кое-какъ успокоиваетъ Лизу и выпроваживаетъ ее вонъ. Тогда принимается она въ свою очередь за Тита, показываетъ ему обязательство его сына жениться на Лизаветѣ Ивановнѣ и требуетъ съ него за это 3000 р. с. Изъ этого мы видимъ, что губернская секретарша хлопотала о супружествѣ, хлопотала и о денежкахъ. Подъ вліяніемъ постоянно господствующей въ немъ мысли, Титъ Титычъ не очень гнѣвно встрѣчаетъ требованіе Аграфены Платоновны; онъ полагаетъ, что такъ этого и ожидать слѣдовало, и останавливаетъ его одна только слишкомъ высокая цифра. „Разбойники! грабители!“ возглашаетъ онъ довольно хладнокровно. Торгуются и, послѣ взаимныхъ перебранокъ, сходятся, наконецъ, на тысячѣ. Слышенъ звонокъ, возвращается Ивановъ. Губернская секретарша гонитъ вонъ Брускова. „Какъ! сорвали тысячу цѣлковыхъ,—восклицаетъ онъ,—да и не поругаться за свои денежки!“ Ивановъ застаетъ Брускова преважно сидящимъ на стулѣ. Лиза, не зная продѣлки Аграфены Платоновны, жалуется отцу на дерзость Тита. Ивановъ, въ свою очередь, гонитъ его вонъ. Брусковъ все болѣе и болѣе укрѣпляется въ своемъ предубѣжденіи: „Ограбили да и вонъ гонятъ. По крайности, пойдемъ, чайку напьемся!“ Но Ивановъ отъ такого предложенія еще пуще сердится и принимаетъ Брускова за сумасшедшаго. Тѣмъ не менѣе, нѣкоторые намеки Тита смутили учителя, и онъ требуетъ объясненія. Легко понять, въ какой гнѣвъ и въ какое отчаяніе приходятъ Ивановы, и отецъ и дочь, когда они узнаютъ, въ чемъ дѣло. Иванъ Ксенофонтычъ хватаетъ деньги и со всѣхъ своихъ старческихъ ногъ спѣшитъ выручить несчастное обязательство. Этимъ оканчивается 1-е дѣйствіе.

Брусковъ, тѣмъ временемъ, надѣлалъ страшной тревоги у себя въ домѣ: разругалъ и чуть не перебилъ всѣхъ, кто

на глаза ему попался; сыну своему Андрею онъ объявляетъ неизмѣнную волю—на этихъ же дняхъ жениться на той толстой купчихѣ, которую онъ ему давно уже выбралъ и назначилъ. Призывается стряпчій Захаръ Захарычъ, блѣдная и ничтожная копія съ Псоя Стахича Замухрышкина, приказывается ему писать жалобу на грабителя Иванова. Въ эту минуту входитъ самъ Ивановъ и, къ совершенному изумленію Тита, отдаетъ ему взятыя у него деньги. „Деньги взять?“ спрашиваетъ Брусковъ у карикатурнаго стряпчаго. „Взять, взять... деньги взять!“ энергически отвѣчаетъ Захаръ. Не такъ скоро поддается Брусковъ на просьбу Иванова отдать ему обязательство. Бѣдный учитель унижается передъ богатымъ купцомъ, становится передъ нимъ на колѣни, увѣряетъ, что тотчасъ же изорветъ эту несчастную бумагу. „Что, строка! какъ думаешь?—Отдать бумагу?“ Захаръ приходитъ въ ужасъ: „Ни-ни-ни, — и не думайте, Титъ Титычъ!—ни за что не отдавать!“ Но Брусковъ ужъ рѣшился: „А я такъ думаю отдать!—говоритъ онъ.—А то еще и тебѣ плати. Отдать, отдать бумагу!“ И отдаетъ. Ивановъ въ глазахъ его рветъ бумагу, истерически хохочетъ и уходитъ, проклиная торжественно Брускова съ братіей и удивляясь, какъ это стѣны не обрушатся и не задавятъ собою этихъ изверговъ. Брусковъ сильно пораженъ: „Всѣ вонъ!“ кричитъ онъ неистово. (Выгоняетъ и копію съ Замухрышкина, не давъ ей даже обѣщанной рюмки водки.) Минуты двѣ длится молчаніе. Брусковъ сидитъ и раздумываетъ, потомъ вскакиваетъ: „Сюда, всѣ! Заложить въ карету пару вороныхъ! Андрюшка! собираться—къ Иванову! Въ ногахъ валяйся, а женись на дочери! безъ этого и возвращаться ко мнѣ не смѣй! Ступай!“ Но Андрюшка совсѣмъ растерялся: „Помилуй, тятенька! Какъ же это? Вѣдь, онъ не отдастъ, ни за что не отдастъ! Что же это за мученье такое!“—„Молчать! не смѣй со мной разговаривать! Кто я? Я мужъ, я голова; не смѣй со мной разговаривать! Чтобъ ты непремѣнно женился мнѣ на дочери Иванова! Безъ этого и на глаза показываться не смѣй!“ Такимъ повелѣніемъ оканчивается 2-е и послѣднее дѣйствіе комедіи.

Интрига этой комедіи, какъ видите, далеко не сложна; драматическаго элемента очень немного, внѣшней занимательности мало; естественности въ ходѣ дѣйствія и развитія характеровъ незамѣтно. Одно только лицо какъ-будто

запечатлѣно какою-то жизнью, но и это скорѣе оптическій обманъ, нежели дѣйствительность, скорѣе заслуга актера, нежели автора. Въ Ивановѣ, въ самомъ дѣлѣ, видѣлся намъ типъ стараго учителя, типъ, который такъ часто тормошили наши литераторы, но все еще не вполнѣ его опредѣлили и воспроизвели. Къ сожалѣнію, авторъ только затронулъ его, утрировалъ его дурныя стороны, до мелодрамятизма довелъ его хорошія стороны, и, если бъ не артистическая игра г. Шумскаго, Ивановъ вышелъ бы не только нелѣпъ, но и безцвѣтенъ. Типъ учителя, впрочемъ, и не нуженъ былъ автору самъ-по-себѣ: онъ ему нуженъ былъ, какъ орудіе для выясненія характера Брускова, характера, съ своей стороны, тоже отчасти страннаго. Самъ авторъ отказывается отъ серіознаго значенія этого характера и всей даже комедіи: онъ отступается отъ ея идеи и не сознается, что въ тенденціи его совершилась замѣтная перемѣна. Но намъ нѣтъ дѣла до мнѣнія автора о собственныхъ его произведеніяхъ: мы судимъ ихъ по нимъ же самимъ, и въ настоящемъ случаѣ судъ нашъ надъ комедіей *Въ чужомъ пиру похмелье* гораздо для нея выгоднѣе, нежели судъ ея автора. Мы не хотимъ допустить, что въ личности Брускова Островскій хотѣлъ очертить просто *самодура*, человѣка взбалмошнаго, который упрямъ до послѣдней крайности и любитъ всегда ставить на своемъ, но зато онъ самъ легко подчиняется впечатлѣнію минуты. Мы видимъ глубже замыселъ автора: мы видимъ, что не нарочно опустилъ авторъ завѣсу надъ послѣднимъ рѣшеніемъ Брускова, и не хотимъ вѣрить, будто, по идеѣ г. Островскаго, почтеннѣйшій Титъ съ полдороги вернетъ Андрюшу, чтобы снова женить его на толстой купчихѣ. Въ Брусковѣ, несмотря на всю его кажущуюся мелочность, очевидны тѣ же самыя черты, которыя принадлежали Ильѣ (въ *Не такъ живи, какъ хочется*) или даже Русакову (въ *Не въ свои сани не садись*): то же самовластіе, то же упорство. Мы видимъ въ новой комедіи отступленія автора отъ прежней его темы, отъ прежняго его *новаго слова*—и въ жалобахъ Андрюши, которыя обращаетъ онъ къ Лизаветѣ Ивановнѣ, что вотъ тятенька ничему не училъ его, а другіе купеческіе сынки учатся же и хорошими купцами выходятъ: не даромъ же, не пустою же стоять Коммерческой Академіи на Покровскомъ бульварѣ. Эти жалобы напоминаютъ намъ, правда, комедію

г. Владыкина*), котораго такъ неосновательно считаютъ иные подражателемъ г. Островскаго: но хотя бы и точно эти новыя идеи родились у автора *Бѣдной невѣсты* подъ вліяніемъ „образованности“ или чего-либо другого, а не по внутреннему убѣжденію, все-таки мы съ величайшимъ удовольствіемъ отмѣтили въ новой его комедіи такое неожиданное измѣненіе взгляда. Кстати замѣчу, что личность Андрюши показалось мнѣ блѣдною и неопредѣленною: онъ то влюбленъ въ Лизу, то отказывается отъ нея. Измѣненіе тенденціи автора мы видимъ и въ мастерскомъ разговорѣ жены Брускова. Настасьи Панкратьевны, съ ея знакомою, Ненилою Егоровной. Въ этомъ разговорѣ такъ много схвачено типическихъ особенностей купеческаго быта, что одного этого разговора было бы достаточно, чтобы разсѣять (хоть на время) идеальное сіяніе, которымъ такъ усердно старался окружать г. Островскій любимое свое сословіе. То же измѣненіе взгляда автора замѣтно, наконецъ, и въ его видимомъ желаніи заставить Брускова удивиться благородному поступку Иванова и хотя на время поучиться доброму вліянію образованнаго человѣка, хотя, строго судя, Иванова нельзя назвать дѣйствительно образованнымъ человѣкомъ: онъ учитель латинскаго языка—и только. Но тутъ-то и камень преткновенія: въ томъ, что болѣе всего указываетъ на желаніе автора отклониться отъ прежняго направленія, въ томъ именно и замѣтенъ снова возвратъ къ прошедшему. Брусковъ потому такъ сильно пораженъ поступкомъ учителя и потому дѣятельность свою соображаетъ съ произведеннымъ на него впечатлѣніемъ, что у него натура неиспорченная, что онъ воспріимчивъ и добръ, хотя и самовластенъ, что онъ только заблуждался, но опомнился и сталъ инымъ: какой-нибудь *вѣтрогонъ*, по понятію автора, молодой, т.-е. образованный человѣкъ никогда не могъ бы такъ оцѣнить благороднаго душевнаго порыва, и тѣмъ болѣе самъ не былъ бы способенъ на такой порывъ. Исторія, видите, совершенно такая же, какъ и съ Петромъ въ драмѣ *Не такъ живи, какъ хочется*: только здѣсь роль проруби и высшаго вліянія играетъ учитель Ивановъ. Наконецъ, чтобы

*) Мих. Ник. Владыкинъ игралъ 25 лѣтъ на сценѣ московскаго Малаго театра роли комиковъ. Писалъ комедіи. Наибольшимъ успѣхомъ пользовались ком. „Купецъ-лабазникъ“ и „Омутъ“. *Н. Д.*

уже все сказать, г. Островскій хотѣлъ, какъ увѣряютъ, назвать свою комедію *Ученье свѣтъ, а неученье тьма*, но, должно-быть, побоялся.

Кажется, я выяснилъ, сколько это можно было, судя по первымъ двумъ представленіямъ, причину неполнаго успѣха новой комедіи г. Островскаго. Неужели, спросятъ меня, причина эта заключается въ томъ, что авторъ отошелъ отъ своей темы, и неужели г. Островскому суждена одна ложная идеализація необразованнаго класса людей. Вопросъ этотъ трудно рѣшить въ настоящую минуту, потому что первый шагъ автора отъ его *новаго слова* такъ еще нерѣшителенъ, такъ робокъ, его комедія заключаетъ въ себѣ такъ много истинныхъ началъ *комедіи*, что намъ остается только недоумѣвать и ждать... Спѣшимъ прибавить, что и въ этой пьесѣ есть нѣсколько мѣстъ, отличающихся неоспоримыми красотами, типическимъ языкомъ, неподдѣльнымъ комизмомъ.

„Въ чужомъ пиру похмелье“, г. Островскаго [1]).

*) Въ комедіи г. Островскаго *Въ чужомъ пиру похмелье* находишь менѣе, чѣмъ ожидалъ и ожидаешь, до самаго конца надѣясь, что вотъ сейчасъ, должно-быть, явится что-нибудь яркое и полное; но ожиданіе не сбывается. Комедія эта, если ее подвергнуть тому тщательному анализу, о которомъ мы говорили выше, можетъ быть интересна до чрезвычайности—какъ тема, заключающая въ себѣ многія условія для глубокой драмы, но не обработанная и не развитая. Только нѣсколько моментовъ, прочувствованныхъ вполнѣ и притомъ выраженныхъ въ оригинальной и само-по-себѣ интересной формѣ языка (тайною котораго авторъ владѣетъ исключительно), оживляютъ дѣйствія, да и то какъ вспышки. Внутренней связи между этими отдѣльными моментами,

---

[1]) „Сынъ Отечества“, 1856 г., № 1.

*) Самыми замѣчательными журналами 20-хъ годовъ прошлаго столѣтія были: „Вѣстникъ Европы“, „Отечеств Записки“, „Сѣверный Архивъ“, „Московскій Телеграфъ“, „Моск. Вѣстн.“ и „Сынъ Отечества“. Журналъ „Сынъ Отечества“ сталъ издаваться въ Петербургѣ въ 1812 г. Возникъ онъ по мысли попечителя Спб. учебнаго округа С. Уварова, И. Ѳ. Тимковскаго и А. Н. Оленина и редактировался И. Гречемъ. Съ 1825 г. въ немъ принималъ участіе и Булгаринъ, а съ 1829 г. „Сѣверный Архивъ“ Булгарина сливается съ „Сыномъ Отечества“. Въ журналѣ первое время участвовали писатели разныхъ направленій. Здѣсь печатались стихи Пушкина и Баратынскаго и статьи Марлинскаго. Подъемъ національнаго чувства послѣ нашествія „двунадесяти языковъ“ объединилъ всѣхъ, а „Сынъ Отечества“, по волѣ государя, давшаго Гречу 1000 руб. на изданіе этого органа, долженъ былъ расширить и укрѣпить ненависть къ врагу. Обрусѣвшій нѣмецъ Гречъ, находившійся въ то время въ очень незавидныхъ матеріальныхъ условіяхъ, охотно принялъ на себя роль трибуна и поразителя ненасытнаго властолюбца, для котораго „всѣ трактаты и условія были только предлогами новыхъ войнъ, который не зналъ предѣловъ своему властолюбію и всякую мысль о независимости другихъ державъ считалъ преступленіемъ“. Москва была взята Наполеономъ и духъ народа, поднявшійся, было, послѣ реляцій о Бородинскомъ боѣ, упалъ. Надо было искусственно

которую образуютъ вполнѣ развитые характеры, нѣтъ или, по крайней мѣрѣ, она не довольно ясна. Отъ этого нѣкоторыя движенія—эффектныя, если угодно, особенно по своей неожиданности—дѣлаются совершенно непонятными и могутъ быть объяснены различно, если бы ужъ непремѣнно нужно было найти для нихъ внутреннюю, разумную причину. Почему, напримѣръ, Титъ Титычъ, выкупивъ расписку, которою сынъ его обязался жениться на дочери учителя, и поругавшись за свои деньги, въ ту минуту когда учитель гонитъ его вонъ, вдругъ подходитъ къ нему и, ударяя по плечу, предлагаетъ пойти выпить вмѣстѣ. Есть ли это невольное влеченіе человѣка, плутоватаго по ремеслу, къ ближнему, который, по его мнѣнію, мастерски надулъ его, или что-нибудь другое,—Богъ знаетъ... Только это неожиданное движеніе проливаетъ мракъ непонятности на ту сцену, гдѣ тотъ же Титъ Титычъ замышляетъ, повидимому,

---

возбудить его, влить новыя надежды. „Сынъ Отечества" принялъ на себя эту не легкую задачу. Началъ онъ довольно откровеннымъ хвастовствомъ и рискованнымъ пророчествомъ:

Побывать въ столицѣ—слава,
Но умѣемъ мы отмщать:
Знаетъ крѣпко то Варшава,
И Парижъ то будетъ знать...

Журналъ сталъ расходиться, и его издатель дѣйствительно имѣлъ право сказать: „*Сынъ Отечества* былъ первымъ журналомъ (если исключить „Вѣстн. Европы"), которые издателю своему приносятъ не убыль, а доходъ". Выходилъ „Сынъ Отечества" еженедѣльно, давая богатый матеріалъ для исторіи отечественной войны. Съ момента возникновенія и по 1852 г. журналъ переходилъ изъ рукъ въ руки, мѣняя программу, періоды выпусковъ, направленіе и т. д. Въ 1856 г. журналъ переходитъ въ руки извѣстнаго ученаго, журналиста и знатока восточныхъ и европейскихъ языковъ, Альберта Старчевскаго, и въ его рукахъ остается около 20 лѣтъ. Журналъ сразу пріобрѣтаетъ другую физіономію. Въ немъ отводится уже много мѣста вопросамъ экономики, крестьянскому, о желѣзныхъ дорогахъ, педагогическимъ и т. д. Успѣхъ журнала въ теченіе 13 лѣтъ былъ огромный по тому времени (16 тысячъ подписчиковъ) и обогатилъ издателя. Начиная съ 62-го года, журналъ превратился въ ежедневную газету, но уже прежняго успѣха не имѣлъ. Въ 1904 г. газета стала выходить по обновленной программѣ, сразу завоевала большой успѣхъ въ обществѣ и подверглась въ теченіе этого года тремъ предостереженіямъ, временной пріостановкѣ и воспрещенію розничной продажи за „вредное направленіе, выразившееся въ статьѣ № 1: „Благовременно ли" (1904); въ стат. № 8: „Дневникъ журналиста" и „Изъ провинціальнаго портфеля"; въ статьѣ № 12: „Провинція". *Прим. Н. Денисюка.*

серіозно сослать учителя съ его дочерью въ Сибирь. Сцена эта, и безъ того тягостная по своему нравственному безобразію, становится еще тягостнѣе именно оттого, что страсть, развивающаяся въ ней, неистинна,—она не вытекаетъ изъ внутренней необходимости, изъ характера лица, который не обрисованъ такъ и настолько, чтобы не вѣрить, что иначе это и быть не могло. Мы остановились на этой сценѣ еще потому, что тутъ же болѣе всего обнаруживается несоотвѣтственность между бѣднымъ учителемъ и его дочерью, которые сосредоточиваютъ или должны бы сосредоточивать на себѣ нравственный интересъ, и окружающими ихъ. Они и нравственное чувство, роль котораго автору было угодно поручить имъ, чтобы завязать свою комедію, являются какою-то блѣдною, безжизненною тѣнью между остальными дѣйствующими лицами. Жидкія, безцвѣтныя фразы этихъ *добродѣтельныхъ* лицъ, обработанныхъ настолько, чтобъ являться въ водевилѣ, звучатъ какъ-то особенно фальшиво или совершенно исчезаютъ. Исчезаютъ не въ глубинѣ и яркомъ колоритѣ противопоставленныхъ имъ чувствъ и страстей - тогда бы это выкупалось чѣмъ-нибудь—а въ оригинальности и внѣшней эффектности рѣчи другихъ дѣйствующихъ лицъ. Внѣшняя форма, очевидно, васъ подкупаетъ: она придаетъ особенное значеніе тому, что, собственно говоря, имѣетъ его очень мало, и вы спрашиваете себя: могъ ли бы Титъ Титычъ Брусковъ или его сынокъ возбудить въ васъ ту степень интереса, который они возбуждаютъ, если бы ихъ личность выразилась не въ этой подкупающей васъ своей новизной и оригинальностью формѣ, если бы они заговорили тѣмъ языкомъ, которымъ говоритъ призракъ, названный Иваномъ Ксенофонтычемъ Ивановымъ. Мы бы сказали—нѣтъ, если бы не знали другихъ произведеній г. Островскаго, гдѣ внѣшность не преобладаетъ въ такой степени, какъ въ настоящей его пьесѣ; если бы въ этой самой пьесѣ не было нѣсколькихъ моментовъ интересныхъ по своему внутреннему содержанію. И тамъ, разумѣется, форма имѣетъ значеніе; но тамъ она сливается съ содержаніемъ и образуетъ цѣлое и полное.

„Доходное мѣсто“, г. Островскаго [1]).

Пьеса *Доходное мѣсто* принадлежитъ къ числу лучшихъ произведеній г. Островскаго. Прежде всего пріятно то, что въ ней дѣйствуютъ не купцы съ широкою русскою натурой, надоѣвшіе донельзя, но чиновники, о которыхъ такъ давно не упоминалось въ русской литературѣ, и о которыхъ еще такъ много надо сказать ей. Комедія *Доходное мѣсто* задумана хорошо, хотя исполненіе во многомъ не соотвѣтствуетъ основной идеѣ. Вотъ ея содержаніе:

Старый, низкій взяточникъ Вышневскій, управляющій какимъ-то вѣдомствомъ, добивается любви своей жены, которая его терпѣть не можетъ. Къ нему приходитъ съ докладомъ ближайшій подчиненный его, старикъ Юсовъ, съ канцелярскимъ чиновникомъ Бѣлогубовымъ, добивающимся мѣста столоначальника для того также, чтобы имѣть возможность жениться. Юсовъ съ Бѣлогубовымъ бесѣдуютъ о развращеніи нравовъ, о томъ, что племянникъ Вышневскаго, Жадовъ, вольнодумствуетъ, не уважаетъ дяди, не хочетъ попросить *доходнаго мѣста*. На это Бѣлогубовъ замѣчаетъ, что другой человѣкъ на мѣстѣ Жадова сталъ бы сапоги чистить дядѣ, что какая же польза отъ ученья, когда въ человѣкѣ нѣтъ страха никакого, трепета передъ начальствомъ? Жадовъ дѣйствительно не умѣетъ и не хочетъ брать взятокъ, но проситъ у дяди прибавки жалованья для того, чтобы также жениться на сестрѣ той, за которую сватается Бѣлогубовъ. Разговоръ дяди съ племянникомъ очень любопытенъ; послѣдній говоритъ, что можно жить и безъ взятокъ и что поддержкой ему должно быть общественное мнѣніе; дядя отвѣчаетъ, что это невозможно и что общественнаго

---

[1]) „Сынъ Отечества“, 1857 г., № 16 (см. стран. 250).

мнѣнія у насъ нѣтъ и быть не можетъ. „Вотъ тебѣ общественное мнѣніе: не пойманъ не воръ. Какое дѣло обществу, на какіе доходы ты живешь, лишь бы ты жилъ прилично“. Жадовъ, разумѣется, не вѣритъ этой морали и окончательно ссорится съ дядей. Во второмъ дѣйствіи мы въ домѣ Кукушкиной, матери дѣвушекъ, въ которыхъ влюблены Жадовъ и Бѣлогубовъ. Дѣвушки эти—пустыя, необразованныя кокетки; ихъ мать соблюдаетъ только во всемъ порядокъ и старается какъ можно скорѣе сбыть съ рукъ своихъ дочерей. Это ей удается, потому что въ третьемъ дѣйствіи оба уже женаты, и въ антрактѣ проходитъ около года. Замѣтимъ, что г. Островскій плохо знаетъ сцену, и въ этомъ отношеніи сильно грѣшитъ даже первый актъ его комедіи; въ немъ лица выходятъ и уходятъ безо всякой причины и только-что не говорятъ, какъ лица въ китайскихъ драмахъ: я такой-то, хочу сдѣлать то-то, думаю такъ-то. Второй актъ еще слабѣе въ сценическомъ отношеніи: въ немъ есть много лишняго, и женскіе характеры особенно безцвѣтны. Третій актъ, совершенно лишній по пьесѣ, лучше всѣхъ въ художественномъ отношеніи. Здѣсь г. Островскій въ своей сферѣ. Дѣйствіе происходитъ въ трактирѣ, куда являются Юсовъ и другіе чиновники, которыхъ угощаетъ Бѣлогубовъ послѣ какой-то удачной взятки. Юсовъ, подгулявъ, даже танцуетъ русскую подъ звуки трактирнаго органа. Туда же приходитъ и Жадовъ со старымъ пріятелемъ разсказать ему о своей тяжелой жизни и сходится тамъ съ удивительнымъ лицомъ, напоминающимъ нѣсколько Торцова, Досужевымъ, благороднымъ пьяницею, который не могъ остаться на службѣ потому, что не хотѣлъ брать взятокъ, и, выйдя въ отставку, живетъ только тѣмъ, что пишетъ слезныя прошенія купцамъ. Досужевъ поитъ Жадова... Безъ пьянства, какъ извѣстно, не обходится ни одна пьеса г. Островскаго. Въ четвертомъ актѣ мы присутствуемъ при тяжелой семейной жизни Жадова. Мать и сестра жены его сбиваютъ ее съ толку. Она хочетъ даже оставить его потому, что терпитъ только горе и бѣдность. Чтобы не разставаться съ женою, которую онъ любитъ безъ памяти, Жадовъ рѣшается отправиться къ дядѣ и просить у него *доходнаго мѣста*. Онъ попадаетъ, однакоже, не во-время къ Вышневскому—дядя отданъ подъ судъ за разныя злоупотребленія и недочеты суммъ, и, сверхъ того, узнаетъ о невѣрности

своей жены. Вышневскій начинаетъ дѣлать упреки племяннику; тотъ приходитъ въ себя и опять отказывается отъ доходнаго мѣста, сказавъ, что будетъ ждать того времени, когда взяточникъ будетъ бояться суда общественнаго больше, чѣмъ уголовнаго. Съ Вышневскимъ дѣлается ударъ, и пьеса оканчивается.

Во всемъ этомъ много данныхъ для весьма хорошаго произведенія. Если бы авторъ сократилъ свою комедію акта на три, придалъ ей немножко больше жизни и движенія, не выражался языкомъ рѣзкимъ и отрывистымъ, наблюдалъ сценическія условія — пьесы вышла бы безукоризненною. И въ теперешнемъ видѣ своемъ она все-таки замѣчательна и лучше всѣхъ послѣднихъ его произведеній. Цѣль пьесы благородная, и мы должны быть за это благодарны автору.

Два слова о главномъ дѣйствующемъ лицѣ комедіи г. Островскаго „Доходное мѣсто“ [1]).

Въ комедіи г. Островскаго *Доходное мѣсто* представленъ молодой образованный человѣкъ (Жадовъ), прекрасно разсуждающій о взяткахъ; но всѣ его прекрасныя разсужденія разлетаются впухъ отъ одного каприза дурно воспитанной и не понимающей его женщины: она непремѣнно хочетъ наряжаться, и Жадовъ идетъ просить *доходнаго* мѣста. Тутъ выставляется вліяніе женщины. Выставить дурную женщину причиной зла—все то же, что представить хорошую женщину поддержкой добра. Одно заключается въ другомъ непремѣнно. Но у г. Островскаго оказался важный недостатокъ въ исполненіи этой справедливой идеи. Онъ неясно показалъ намъ, *какимъ* образованіемъ владѣетъ его Жадовъ: поверхностнымъ ли, состоящимъ въ однѣхъ книжныхъ фразахъ, или основательнымъ, глубоко проникающимъ все существо человѣка? Намъ было бы пріятнѣе думать, что въ лицѣ Жадова онъ рисовалъ не героя, а лицо комическое, типъ нѣкоторыхъ молодыхъ людей, прошедшихъ *сквозь* университеты и другія учебныя заведенія и вынесшихъ на себѣ изъ этихъ заведеній мантію добрыхъ фразъ, которая чрезвычайно скоро вытирается отъ прикосновенія дѣйствительной жизни. Но если г. Островскій хотѣлъ изобразить въ своемъ Жадовѣ истиннаго героя добра, тогда мы должны были бы объявить его пьесу неблагородною пьесой: ибо тогда она служила бы подтвержденіемъ для тѣхъ пошляковъ, воображающихъ себя ужасно практическими людьми, которые говорятъ: „Ну вотъ вамъ и образованіе! Вотъ вамъ

---

[1]) „Спб. Вѣдомости“, 1857 г., № 111 (см. стр. 242).

и образованный человѣкъ. Какъ пришла нужда, такъ не то заговорилъ!“ и т. п. Въ такомъ случаѣ пьеса была бы клеветой на образованіе, сочиненною съ цѣлью подорвать нашу вѣру въ образованіе. Но мы увѣрены, что г. Островскому и въ голову не приходило подобное намѣреніе, и потому смѣло считаемъ его Жадова не героемъ, а лицомъ комическимъ, тѣмъ болѣе что мысль г. Островскаго, довольна темная въ Жадовѣ, совершенно ясно высказалась въ женѣ Жадова, женщинѣ, дурно воспитанной и представленной у него источникомъ зла, а не добра.

Н. Б.

„Доходное мѣсто“, г. Островскаго [1]).

Никто, мы твердо въ томъ увѣрены, никто даже изъ поклонниковъ автора великолѣпной драмы *Не такъ живи, какъ хочется*, не рѣшится принять послѣднюю его пьеску за высокохудожественное произведеніе. Мы уже показали читателю, до какой степени безпорядочна и даже безтолкова новая комедія бывшаго московскаго драматурга: въ ней нѣтъ характеровъ, нѣтъ идеи (выдержанной и художнически развитой), нѣтъ естественности въ ходѣ дѣйствія, нѣтъ цѣльности и стройности въ содержаніи. Нѣсколько комическихъ мастерски набросанныхъ сценъ, два прекрасно развитые характера [2]), хотя они и напоминаютъ собою личность, выведенную тѣмъ же Островскимъ, но въ иномъ только мѣстѣ [3])— говорятъ лишь въ пользу того мнѣнія, что у автора *Своихъ людей* былъ талантъ, но что этотъ талантъ, склоняясь предъ какимъ-то таинственнымъ и гибельнымъ вліяніемъ, постепенно замиралъ и, кажется, достигъ уже окончательнаго упадка. Очень грустно и тяжело быть свидѣтелемъ постепеннаго физическаго разрушенія нашего организма, но едва ли не во сто разъ еще тяжеле видѣть какъ бы роковое и ничѣмъ неудержимое ослабленіе дѣятельности духовныхъ органовъ человѣка. Постоянно, съ самой первой пьесы г. Островскаго, съ чрезвычайнымъ и, такъ-сказать, болѣзненнымъ любопытствомъ, изучали мы всѣ произведенія этого писателя, радостно отмѣчая каждое живое въ нихъ слово, и каждый разъ—увы!—не досчитывались того или другого изъ самыхъ существенныхъ свойствъ драматическаго таланта; съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили мы

---

[1]) „Спб. Вѣдомости“, 1857 г., № 115 (см. стр. 242).

[2]) Юсовъ, Бѣлогубовъ.

[3]) Беневоленскій въ „Бѣдной невѣстѣ“.

за процессомъ угасанія художническихъ силъ автора и можемъ теперь смѣло, хотя и съ глубокимъ сожалѣніемъ, произнести надъ нимъ нашъ приговоръ: Островскому едва ли создать что-либо стройное цѣлое, проникнутое одною идеей, хорошо задуманною и строго выдержанною, обставленное прекрасно развитыми характерами, естественностью дѣйствія и интересомъ содержанія; его силъ хватитъ только на очеркъ небольшихъ отдѣльныхъ сценъ, въ родѣ *Семейной картины* и *Утра молодого человѣка*, да на обрисовку незначительныхъ личностей. Впрочемъ, мы безъ малѣйшаго сомнѣнія, съ радостью поспѣшимъ ослабить нашу сентенцію при малѣйшемъ благопріятномъ для автора признакѣ. Самъ „Современникъ" какъ бы чувствуетъ неловкость или, вѣрнѣе, нелогичность, несостоятельность своего хвалебнаго слова и самопроизвольно отрѣзываетъ у комедіи цѣлый актъ [1]), добродушно утверждая, что *Доходному мѣсту* лучше бы кончиться четвертымъ дѣйствіемъ. Такіе „лучше бы" не могутъ быть допущены относительно столь высоковознесеннаго художника и если онъ самъ придаетъ, напротивъ, весьма важное значеніе отрѣзываемому акту, весь смыслъ комедіи, всю ея идею. До какой степени вѣрна истинѣ эта идея и насколько развита она и выдержана—другой вопросъ. Мы, напримѣръ, доказали, что она ложна и несостоятельна. Намъ могутъ возразить, что въ дѣйствительности встрѣчаются люди, которые быстро переходятъ отъ одного рѣшенія къ другому, діаметрально противоположному: но авторъ *Доходнаго мѣста* вовсе и не имѣлъ въ виду выставить Жадова безхарактерною слабою личностью,—онъ силится, напротивъ, доказать, что Жадовъ человѣкъ твердыхъ убѣжденій, который можетъ споткнуться, но поступить противу правды и остановиться на дурномъ—никогда; человѣкъ, однимъ словомъ, которому нельзя не сочувствовать и который по праву поставленъ образцовою и идеальною личностью. Съ другой стороны, случается и то, что мы иногда скажемъ или сдѣлаемъ что-либо совершенно противъ нашихъ убѣжденій, нашего образа мыслей и нашей постоянной дѣятельности: но задача истиннаго художника именно въ томъ и состоитъ, чтобы все, вызванное въ человѣкѣ внѣшними посторонними обстоятельствами, все, что не совсѣмъ правильно называется *случай-*

[1]) Пятый.

нымъ [1]), строго отдѣлять отъ постояннаго, отъ законнаго, отъ опредѣляющаго существенный характеръ человѣка. У всякаго истиннаго художника есть, такъ-сказать, внутреннее чутье, дающее ему способность оцѣнить все въ наблюдаемомъ явленіи, согласить всѣ противорѣчія, всему дать настоящее мѣсто,—одно поставить на первомъ планѣ, другое отодвинуть на задній: отсутствіе этого внутренняго художническаго чутья мы именно и считаемъ однимъ изъ главнѣйшихъ признаковъ упадка дарованія въ г. Островскомъ. Онъ съ личностью Жадова, напримѣръ, поступаетъ совершенно наоборотъ противъ того, какъ бы слѣдовало поступить по законамъ искусства, жизни и правды: гремучестью и блескомъ пышныхъ фразъ авторъ старается прикрыть и даже заглушить существенныя черты Жадова, его пустоту, ничтожество, малодушіе, безхарактерность, ограниченность взгляда и умственныхъ потребностей, однимъ словомъ—все то, что проявляется не въ словахъ его и фразахъ, а въ поступкахъ [2]): безсильная попытка!..

Н. Н.

---

[1]) Въ сущности, мы не признаемъ въ мірѣ ничего случайнаго. *Н. Н.*

[2]) Какъ ясно, какъ осязательно распадается вся дѣятельность Жадова на фразы и поступки! Убѣжденіе, что жениться можно только по любви,—фраза; женитьба на Полинькѣ, которую ни любить ни уважать Жадовъ не можетъ (а къ которой влечетъ его одна чувственность),—поступокъ! Крики Жадова о томъ, что онъ никогда не будетъ взяточникомъ,—фразы! Просьба о доходномъ мѣстѣ - поступокъ! Витійство о перевоспитаніи жены, о честной трудовой жизни—фраза! Пьянство съ Досужевымъ—поступокъ! И какая грязь, какая пошлость въ этомъ послѣднемъ, ни съ чѣмъ въ комедіи несвязанномъ поступкѣ! Какое отсутствіе въ немъ всякаго драматизма! Впрочемъ, общественная жизнь наша такъ безцвѣтна и апатична, что и подобныя выходки принимаются иными за драматическія движенія... *Н. Н.*

„Праздничный сонъ—до обѣда“, комедія г. Островскаго [1]).

Въ февральской книжкѣ „Современника“ какъ-то странно прочесть *Праздничный сонъ — до обѣда*, плохую комедію стараго писателя г. Островскаго, послѣ пьесы новаго, только что начинающаго автора, г. Львова *). Г. Островскій выводитъ на сцену опять тѣхъ же надоѣвшихъ и устарѣвшихъ лицъ: глупую купеческую дочку, сваху, глупаго чиновника и купца съ бородкой и съ здравымъ смысломъ, но, по счастью, безъ особенной привязанности къ сивухѣ. Не правда ли, какъ легко представить себѣ, какого рода *комедія* должна происходить между подобными лицами? Чиновникъ, какъ ни глупъ, понимаетъ, что деньги вещь хорошая, и собирается жениться на купеческой дочкѣ; но здравый русскій смыслъ въ лицѣ своего бородатаго представителя, щелкающаго орѣхи, обличаетъ ничтожность современной цивилизаціи и обѣщаетъ доставить своей племянницѣ настоящаго русскаго жениха, который впослѣдствіи хоть и будетъ попивать сивуху, поколачивать свою жену, обмѣривать и обсчитывать покупщиковъ и отплевываться отъ книгъ и тому подобнаго навожденія лукаваго, зато будетъ—широкая русская натура и непремѣнно съ бородой. Дѣйствительно, таковъ старый сюжетъ новой комедіи г. Островскаго. Когда мы избавимся отъ такого вздора?! Для образчика *натуральности лицъ*, дѣйствующихъ въ комедіи, скажемъ, что чиновникъ и купеческая дочка послѣ первыхъ словъ перваго свиданія тотчасъ же начинаютъ цѣловаться, а потомъ продолжаютъ говорить о ягодахъ, потомъ опять цѣлуются и опять ведутъ пустой разговоръ. Въ какой странѣ можно поступать подобнымъ образомъ? Замѣтимъ также, что мать героини пьесы, Ничкина, почти цѣликомъ взята г. Островскимъ изъ комедіи г. Горева „Сплошь да рядомъ“.

---

[1]) „Сынъ Отечества“, 1857 г., № 13 (см. стр. 250).

*) Очевидно, рѣчь идетъ о Ник. Мих. Львовѣ, авторѣ довольно извѣстныхъ комедій: „Свѣтъ не безъ добрыхъ людей“, „Предубѣжденіе“ и „Компанія на акціяхъ“, умершемъ въ 1859 г. *Н. Д.*

„Не сошлись характерами“, картины московской жизни, А. Островскаго [1]).

Авторъ *Своихъ людей*, *Бѣдной невѣсты*, *Саней*, *Похмелья* рѣшительно повторяется. Въ новыхъ его сценахъ—онъ самъ не рѣшился назвать ихъ комедіей—опять праздный молодой дворянинъ, Поль Прежневъ, новое изданіе Вихорева, для поправленія своихъ разстроенныхъ обстоятельствъ женится на богатой невѣстѣ, купеческой дочери. Эта невѣста, не доучившаяся въ какомъ-то пансіонѣ, очень близка къ знаменитой Липочкѣ (въ комедіи *Свои люди—сочтемся*), хотя и украшена новымъ достоинствомъ—скупостью—и представлена вдовою, не поумнѣвшею отъ перваго замужества. Сваха—типъ, вѣчно повторяющійся, безъ малѣйшаго измѣненія во всѣхъ нашихъ комедіяхъ, романахъ и повѣстяхъ изъ купеческаго быта. Отецъ невѣсты, Карпъ Карпычъ Толстогораздовъ — отраженіе Кита Китыча Брускова изъ комедіи *Въ чужомъ пиру похмелье*; онъ только и дѣлаетъ, что ругаетъ свою простоватую жену, не даетъ ей выговорить слова безъ брани. Все содержаніе сценъ—въ женитьбѣ Поля и въ томъ, что черезъ мѣсяцъ онъ проситъ у жены пять тысячъ рублей серебромъ, а та, вмѣсто отвѣта, уѣзжаетъ отъ него совсѣмъ къ своимъ родителямъ, оставивъ ему такое письмо:

„Милый Поль! Какъ я ни люблю тебя, но намъ должно разстаться. Теперь всю жизнь мое сердце будетъ разрываться, и я буду день и ночь плакать по тебѣ. Я теперь хочу жить у папеньки подобно заключенной, а домъ этотъ продамъ. Теперь ужъ ты меня никогда не увидишь. Я тебя люблю всей душой, а ты мнѣ сегодня показалъ, что будто ты меня любишь изъ-за денегъ. Но въ нашемъ купеческомъ кругу не принято отдавать деньги. Чтó я буду значить, когда у меня не будетъ денегъ?—Тогда я ничего не

---

[1]) „Сынъ Отечества“, 1858 г., № 15 (см. стран. 250).

буду значить! Когда у меня не будетъ денегъ—я кого полюблю, а меня, напротивъ того, не будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги—я кого полюблю и меня будутъ любить, и мы будемъ счастливы. Я приготовила тебѣ къ именинамъ бумажникъ и сама вышила; а какъ я чувствовала, что тебѣ мой подарокъ будетъ очень пріятенъ, то и посылаю тебѣ. Ты къ папенькѣ не ѣзди: онъ у насъ очень сердитъ и очень разгнѣвается на тебя, когда все это узнаетъ, а я ничего не могу скрыть. Прощай, Поль! Когда будешь нуждаться въ деньгахъ, я тебѣ всегда готова помочь потихоньку отъ своихъ, только немного—рублей сто, не болѣе. Будь счастливъ! А я должна плакать всю жизнь. Твоя навѣки Серафима".

Непріятно поражаетъ пустота этого произведенія г. Островскаго послѣ его же *Доходнаго мѣста*—комедіи, имѣющей свои недостатки, но богатой типическими лицами и свѣжестью нѣкоторыхъ образовъ.

Темное царство [1]).

(Сочиненія А. Островскаго. Два тома. Спб. 1859 г.)

Гдѣ больше строгости, тамъ и грѣха
больше. Надо судить по-человѣчеству.
Островскій.

I.

*) Предъ нами грустно-покорныя лица нашихъ младшихъ братій, обреченныхъ судьбою на зависимое, страдательное существованіе. Чувствительный Митя, добродушный Андрей Брусковъ, бѣдная невѣста Марья Андреевна, опозоренная Авдотья Максимовна, несчастныя Даша и Надя—стоятъ

---

[1]) „Современникъ", 1859 г., №№ 7 и 9. Т. 76 и 77, отд. 3, стран. 17—78 и 53—128.

*) Эта статья принадлежитъ выдающемуся русскому критику Николаю Алексѣевичу Добролюбову (род. въ 1836 г., ум. въ 1861 г.). Происходя изъ духовнаго званія, Д. сначала воспитывался въ семинаріи, а оттуда перешелъ въ петербургскій педагогическій институтъ. Сначала онъ неудачно работалъ надъ беллетристическими произведеніями, но съ 1856 г. начинается его литературная извѣстность. Онъ помѣщаетъ въ „Современникѣ" историко-литературную статью: „О собесѣдникѣ любителей россійскаго слова". Статья поражаетъ всѣхъ эрудиціей автора. Окончивши институтъ, онъ вступаетъ, по приглашенію Некрасова, въ составъ редакціи журн. „Современникъ" и сразу занимаетъ выдающееся положеніе въ литературѣ. Непосильный трудъ и матеріальная нужда подтачиваютъ здоровье Д., и онъ принужденъ уѣхать лѣчиться за границу, въ маѣ 1860 г. Вернувшись оттуда въ ноябрѣ 1861 г., онъ умираетъ отъ чахотки. Д. является типичнымъ представителемъ реалистической критики, для которой только тѣ произведенія цѣнны, которыя вѣрно отражаютъ жизненныя явленія. Д. дѣлалъ свои критическія статьи еще и публицистическими, чему сильно способствовала общественная жизнь 60-хъ годовъ. Для Д. въ художественномъ произведеніи прежде всего важна не форма, а идея, и только тогда онъ признаетъ за нимъ положительныя достоинства, ибо такое произведеніе имѣетъ общественное значеніе. Въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ преслѣдуетъ ту же публицистическую задачу, и зачастую кажется, что онъ говоритъ не о произведеніи, а по-

передъ нами, безмолвно-покорныя судьбѣ, безропотно-унылыя... Это міръ затаенной, тихо вздыхающей скорби, міръ тупой, ноющей боли, міръ тюремнаго, гробового безмолвія, лишь изрѣдка оживляемый глухимъ, безсильнымъ ропотомъ, робко замирающимъ при самомъ зарожденіи. Нѣтъ ни свѣта, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью вѣетъ темная и тѣсная тюрьма. Ни одинъ звукъ съ вольнаго воздуха, ни одинъ лучъ свѣтлаго дня не проникаетъ въ нее. Въ ней вспыхиваетъ по временамъ только искра того священнаго пламени, которое пылаетъ въ каждой груди человѣческой, пока не будетъ залито наплывомъ житейской грязи. Чуть

поводу произведенія. Эстетическая сторона произведенія стоитъ не только на второмъ планѣ, но обыкновенно онъ ея и не касается. Онъ самъ предупреждаетъ своего читателя, чтобы тотъ не ждалъ отъ него эстетической оцѣнки произведенія, ибо ею „могутъ интересоваться развѣ чувствительныя провинціальныя барышни. Разсуждать о художественной красотѣ, входить въ анализъ характеровъ повѣстей и романовъ можно было бы еще, пожалуй, если бы мы имѣли дѣло съ такими геніальными поэтами, какъ Данте, Шекспиръ, Гёте и Байронъ". Русская литература ихъ не имѣетъ, а потому Добролюбовъ требуетъ отъ автора общественно цѣнныхъ идей. Предметъ, который избираетъ художникъ для воспроизведенія, долженъ быть значителенъ. Какъ умный человѣкъ и политически зрѣлый гражданинъ, Добролюбовъ не могъ не видѣть всѣхъ безчисленныхъ дефектовъ государственныхъ и общественныхъ „порядковъ" Россіи, но цензорская бдительность не преминула бы свершить безпощадно цивическую казнь надъ всякимъ литературнымъ протестомъ противъ „существующаго порядка вещей". Не имѣя возможности разсматривать явленія русской дѣйствительности по существу, не смѣя назвать даже ихъ по имени, Добролюбовъ употреблялъ своего рода езоповскій пріемъ: онъ придирался къ случаю и казнилъ отрицательныя стороны героевъ съ такимъ расчетомъ, чтобы читатель могъ самъ дѣлать сближенія, транспонировать, читать между строкъ; черезъ головы критикуемыхъ героевъ Добролюбовъ направлялъ свои стрѣлы по адресу, всѣмъ хорошо извѣстному, но о которомъ начальство строго запретило говорить.

Въ двухъ своихъ капитальныхъ работахъ объ Островскомъ, до сихъ поръ являющихся лучшимъ изо всего, что написано о немъ („Темное царство" и „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ"), Добролюбовъ остается вѣрнымъ своимъ пріемамъ публицистической критики. Конечно, не самодурство представителей Замоскворѣчья вызываетъ гнѣвъ нашего писателя. Онъ мѣтилъ и выше, и дальше. Большовы, Дикіе, Торцовы, Брусковы—плоть отъ плоти, кость отъ кости тѣхъ, кто властвуетъ не только надъ своими домочадцами. Титъ Титычи могли взрасти только на обильно удобренной почвѣ общественныхъ безобразій, общественнаго произвола; они только внѣшне грубѣе пользуются безправіемъ, забитостью, экономической зависимостью окружающихъ, чѣмъ тѣ, въ чьихъ рукахъ судьбы страны. Это тѣ же щедринскіе помпадуры, но безъ звѣзды, безъ присвоеннаго по штату оклада

тлѣется эта искра въ сырости и смрадѣ темницы, но иногда на минуту вспыхиваетъ она и обливаетъ свѣтомъ правды и добра мрачныя фигуры томящихся узниковъ. При помощи этого минутнаго освѣщенія мы видимъ, что тутъ страдаютъ наши братья, что въ этихъ одичавшихъ, безсловесныхъ, грязныхъ существахъ можно разобрать черты лица человѣческаго,— и наше сердце стѣсняется болью и ужасомъ. Они молчатъ, эти несчастные узники,—они сидятъ въ летаргическомъ оцѣпенѣніи и даже не потрясаютъ своими цѣпями; они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положеніе; но, тѣмъ не менѣе, они чувствуютъ

безъ права и возможности однимъ почеркомъ пера превращать цвѣтущій край въ Сахару и, по капризу или „усмотрѣнію,“ однимъ почеркомъ пера, сотни людей посылать на оленяхъ и собакахъ „въ таинственную даль“.

Однако, провозглашая принципъ реальной критики, Добролюбовъ требовалъ отъ художника *объективности*; онъ требовалъ, чтобы въ художественномъ произведеніи „жизнь сказалась сама-собою, а не по заранѣе придуманной авторомъ программѣ“. Въ силу этого Добролюбовъ возстаетъ противъ тенденціозности и партійности въ художественномъ творчествѣ. Художникъ всегда долженъ оставаться вѣрнымъ *факту* и описываемой *дѣйствительности*. „Слѣдуетъ разъ и навсегда покончить съ шумомъ и блескомъ, оставить несбыточныя надежды по произволу передѣлывать исторію. Напротивъ, необходимо признать громадную силу обстоятельствъ, изучать почву и время во всѣхъ подробностяхъ, понять человѣка въ его плоти и крови и подойти къ внѣшнему міру не съ фантастическими представленіями и эффектными криками, а съ сильной дѣльной рѣчью и практической сноровкой“.

Во всемъ этомъ, какъ видите, есть противорѣчія. Съ одной стороны. Добролюбовъ требуетъ отъ художника только *фактовъ*, только художественнаго воспроизведенія дѣйствительности, воспроизведенія *объективнаго*, не допускающаго съ его стороны вмѣшательства. Требуя, чтобъ онъ сосредоточилъ свое вниманіе на средѣ и событіяхъ, Добролюбовъ равнодушенъ къ теоріямъ художника, какъ нравственной и гражданской личности. Отсюда спокойный эпическій Гончаровъ приближается къ намѣченному имъ идеалу, а съ другой стороны, критикъ упрекаетъ Пушкина за то, что онъ слишкомъ гармониченъ, чтобы заниматься аномаліями жизни; въ немъ, несмотря на великій художественный талантъ, нѣтъ протестующаго начала. Съ одной стороны, по мнѣнію Добролюбова, художникъ долженъ быть „всегда безпристрастенъ: къ спорамъ и теоріямъ онъ не прикасается, а наблюдаетъ только факты жизни да и рисуетъ ихъ какъ умѣетъ,—вовсе не думая, кому это послужитъ, для какой цѣли пригодится“, а съ другой стороны, тотъ же Добролюбовъ требуетъ *отзывчивости* въ художникѣ. „Всѣ колебанія общественной мысли“ должны встрѣчать чуткій отголосокъ въ душѣ художника. „Живое отношеніе къ современности“ только и даетъ право художнику на общественное значеніе и долговѣчность. Этой отзывчивости и обязанъ Тургеневъ своей вполнѣ заслуженной популярностью. Добролюбовъ прихо-

тяжесть, лежащую на нихъ, они не потеряли способности ощущать свою боль. Если они безмолвно и неподвижно переносятъ ее, такъ это потому, что каждый крикъ, каждый вздохъ среди этого смраднаго омута захватываетъ имъ горло, отдается колючею болью въ груди; каждое движеніе тѣла, обремененнаго цѣпями, грозитъ имъ увеличеніемъ тяжести и мучительнаго неудобства ихъ положенія. И неоткуда ждать имъ отрады, негдѣ искать облегченія: надъ ними буйно и безотчетно владычествуетъ безсмысленное *самодурство*, въ лицѣ разныхъ Большовыхъ, Торцовыхъ, Брусковыхъ, Уланбековыхъ и пр., не признающее никакихъ

дитъ въ восторгъ передъ Беранже потому, что „всѣ горести и труды бѣдняковъ нашли себѣ живой и полный отголосокъ" въ его пѣсняхъ.

Но эти всѣ противорѣчія наблюдаются у Добролюбова какъ результатъ борьбы эстетика, понимающаго необходимость художественности, и болѣющаго душой сына своей родины, страстно простирающаго руки къ тому историческому моменту, когда „всѣмъ будетъ хорошо". Желаніе приблизить этотъ моментъ заставляетъ его требовать отъ литературы, чтобы и она поставила себѣ единственную задачу: раскрѣпощеніе народныхъ массъ и общества. Нужно вызвать увѣренность въ возможности прогресса родной страны. Нужно отнестись съ „довѣріемъ къ силамъ народа и съ надеждой на его добрыя расположенія, можно дѣйствовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дѣло крѣпкія, свѣжія силы и предохранить ихъ отъ того искаженія, какому онѣ такъ часто подвергаются при настоящемъ порядкѣ вещей". Для этой цѣли можно и должно принести въ жертву многое. Литература должна стать въ положеніе служебное, утилитарное, она должна употребить всѣ имѣющіяся въ ея распоряженіи силы и средства, чтобы помочь одолѣть общаго врага.

Послѣ восшествія на престолъ Александра II наша печать была до нѣкоторой степени раскрѣпощена и потому попыталась овладѣть громаднымъ накопившимся матеріаломъ въ соціальномъ музеѣ ошибокъ, какимъ являлась Россія. Возникла обличительная литература съ геніальнымъ сатирикомъ (Щедринъ) во главѣ. Въ то же время Глѣбъ Успенскій, Некрасовъ, Рѣшетниковъ изображали въ прозѣ и стихахъ бѣдственное положеніе народа. Гдѣ же тутъ время и возможность думать о красотѣ? Волна покаянія, очищенія и надеждъ захватила литературу и образовала реалистическое и пессимистическое направленіе, жертвовавшее красотою во имя тенденціи. Все твердило вокругъ: „Поэтомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ". Не одни только „западники" смотрѣли въ то время на искусство съ утилитарно-общественной точки зрѣнія, не одни они хотѣли превратить ее въ каѳедру соціальной политики. Все, что было мыслящаго въ странѣ, хотѣло использовать ее въ этомъ смыслѣ. Глава, вдохновитель, умственный центръ и „начетчикъ" славянофиловъ, К. Аксаковъ вполнѣ раздѣлялъ взглядъ „западниковъ" на реальныя, общественныя задачи литературы. Такъ, напримѣръ, онъ пишетъ: „Въ наше время поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда

разумныхъ правъ и требованій. Только его дикіе, безобразные крики нарушаютъ эту мрачную тишину и производятъ пугливую суматоху на этомъ печальномъ кладбищѣ человѣческой мысли и воли.

Но не мертвецы же всѣ эти жалкіе люди, не въ темныхъ же могилахъ родились и живутъ они. Вольный Божій свѣтъ разстилался когда-то и передъ ними, хоть на короткое время, въ давнюю пору ранняго, беззаботнаго дѣтства. Воспоминаніе объ этой золотой порѣ не оставляетъ ихъ и въ смрадной тюрьмѣ, и въ горькой кабалѣ самодурства. Грубые, необузданные крики какого-нибудь самодура, широкіе размахи руки его напоминаютъ имъ просторъ вольной

возможны), можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ о математикѣ, который, выслушавъ изящное произведеніе, спросилъ: *что этимъ доказывается?* Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ произведеніи является вопросъ: что этимъ доказывается? Таковы эпохи исканій, изслѣдованій, трудовыя эпохи постиженія и рѣшенія общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха".

Такимъ образомъ всѣ прогрессивные элементы тогдашняго общества, все чувствующее и мыслящее требовало отъ литературы, чтобъ она раскрыла общественныя язвы и воочію показала, что общій врагъ страны — бюрократія и бюрократическій строй, покоящійся на безправіи общества и народныхъ массъ.

Литературное руководство этимъ освободительнымъ движеніемъ выпало, между прочимъ, и на долю „Современника", во главѣ съ Добролюбовымъ и Чернышевскимъ. Несомнѣнно, что эти два писателя оказали могущественное вліяніе на революціонное развитіе тогдашней русской молодежи. Вотъ почему критикъ Добролюбовъ, подъ давленіемъ исключительныхъ условій времени, сузилъ и сконцентрировалъ свои силы, извлекая изъ критикуемыхъ художественныхъ произведеній полезные публицистическіе выводы, исключительно общественнаго содержанія, зачастую неожиданно для ихъ авторовъ, разворачивая идеи разсматриваемаго произведенія въ такія картины, которыя не снились имъ и во снѣ.

Въ 1859 г. гр. А. Г. Кулишевъ-Безбородко издалъ сочиненія Островскаго въ двухъ томахъ и этимъ, такъ-сказать, указалъ и далъ возможность подвести итогъ двѣнадцатилѣтней литературной дѣятельности нашего драматурга. Добролюбовъ попытался это сдѣлать въ приводимой статьѣ, и съ тѣхъ поръ оцѣнка Островскаго производится критикой по тѣмъ основнымъ положеніямъ, которыя заключаютъ въ себѣ приведенныя здѣсь страницы „Темнаго царства". Проходитъ одно десятилѣтіе за другимъ, объ Островскомъ накопилась довольно обширная литература, но послѣ „Темнаго царства" она ничего новаго объ нашемъ драматургѣ по существу не сказала.

Прим. Н. Денисюка.

жизни, гордые порывы свободной мысли и горячаго сердца,— порывы, заглушенные въ несчастныхъ страдальцахъ, но погибшіе не совсѣмъ безъ слѣда. И вотъ, черный осадокъ недовольства, безсильной злобы, тупого ожесточенія начинаетъ шевелиться на днѣ мрачнаго омута, хочетъ всплыть на поверхность взволнованной бездны и своимъ мутнымъ наплывомъ дѣлаетъ ее еще безобразнѣе и ужаснѣе. Нѣтъ простора и свободы для живой мысли, для задушевнаго слова, для благороднаго дѣла; тяжкій самодурный запретъ наложенъ на громкую, открытую, широкую дѣятельность. Но, пока живъ человѣкъ, въ немъ нельзя уничтожить стремленія жить, т.-е. проявлять себя какимъ бы то ни было образомъ во внѣшнихъ дѣйствіяхъ. Чѣмъ болѣе стремленіе это стѣсняется, тѣмъ его проявленія бываютъ уродливѣе; но совсѣмъ не быть они не могутъ, пока человѣкъ не совсѣмъ замеръ. И такова сила самодурства въ этомъ темномъ царствѣ Торцовыхъ, Брусковыхъ и Уланбековыхъ, что много людей дѣйствительно замираетъ въ немъ, теряетъ и смыслъ, и волю, и даже силу сердечнаго чувства—все, что составляетъ разумную жизнь,—и въ идіотскомъ безсиліи прозябаетъ, только совершая отправленія животной жизни. Но есть и живучія натуры; тѣ глубоко внутри себя собираютъ ядъ своего недовольства, чтобы при случаѣ выпустить его, а между тѣмъ неслышно ползутъ подобно змѣѣ, съеживаются, извиваются и перевертываются ужомъ и жабою... Они безмолвны, неслышны, незамѣтны; они знаютъ, что всякое быстрое и размашистое движеніе отзовется нестерпимою болью на ихъ закованномъ тѣлѣ; они понимаютъ, что, рванувшись изъ своихъ желѣзъ, они не выбѣгутъ изъ тюрьмы, а только вырвутъ куски мяса изъ своего тѣла. И вотъ они принимаются за работу, глухую и тихую: изгибаясь, вертясь и сжимаясь, они пробуютъ всѣ возможныя манеры—нельзя ли втихомолку высвободить руки, чтобы потомъ распилить свои цѣпи... Начинается воровское, урывчатое движеніе, съ оглядкою, чтобы кто-нибудь не подмѣтилъ его; начинается обманъ и подлость, притворство и зложелательство, ожесточеніе на все окружающее и забота только о себѣ, о достиженіи личнаго спокойствія. Тутъ нѣтъ злобно обдуманныхъ плановъ, нѣтъ сознательной рѣшимости на систематическую, подземную борьбу, нѣтъ даже особенной хитрости: тутъ просто неволь-

ное, вынужденное внѣшними обстоятельствами, вовсе необдуманное и ни съ чѣмъ хорошенько несоображенное проявленіе чувства самосохраненія. Какъ у насъ невольно и безъ нашего сознанія появляются слезы отъ дыма, отъ умиленія и хрѣна, какъ глаза наши невольно щурятся при внезапномъ и слишкомъ сильномъ свѣтѣ, какъ тѣло наше невольно сжимается отъ холода,—такъ точно эти люди невольно и безсознательно принимаются за плутовскую, лицемѣрную и грубо-эгоистическую дѣятельность, при невозможности дѣла открытаго, правдиваго и радушнаго... Нечего винить этихъ людей, хотя и не мѣшаетъ остерегаться ихъ: они сами не вѣдаютъ, что творятъ. Подъ страхомъ нагоняя и потасовки, рабски воспитанные, съ безпрестаннымъ опасеніемъ остаться безъ куска хлѣба, рабски живущіе,—они всѣ силы свои напрягаютъ на пріобрѣтеніе одной изъ главныхъ рабскихъ добродѣтелей—безсовѣстной хитрости. И чего же имъ совѣститься, какую правду, какія права уважать имъ? Вѣдь самодурство властвуетъ надъ ними, давитъ и убиваетъ ихъ совершенно безправно, безсмысленно, безсовѣстно! Въ людяхъ, воспитанныхъ подъ такимъ владычествомъ, не можетъ развиться сознаніе нравственнаго долга и истинныхъ началъ честности и права. Вотъ почему безобразнѣйшее мошенничество кажется имъ похвальнымъ подвигомъ, самый гнусный обманъ—ловкою штукой. Они могутъ васъ надувать, обкрадывать, подводить подъ ножъ, и при всемъ этомъ оставаться искренно радушными и любезными съ вами, сохранять невозмутимое добросердечіе и множество истинно-добродѣтельныхъ качествъ. Въ ихъ натурѣ вовсе нѣтъ злости, нѣтъ и вѣроломства; но имъ нужно какъ-нибудь выплыть, выбиться изъ гнилого болота, въ которое погружены они сильными самодурами; они знаютъ, что выбраться на свѣжій воздухъ, которымъ такъ свободно дышатъ эти самодуры, можно съ помощью обмана и денегъ: и вотъ они принимаются хитрить, льстить, надувать, начинаютъ, и по мелочи и большими кушами, но всегда тайкомъ и рывкомъ, закладывать въ свой карманъ чужое добро. Что за дѣло, что оно чужое? Вѣдь у нихъ самихъ отняли все, что они имѣли, *свою волю* и *свою мысль*; какъ же имъ разсуждать о томъ, что́ честно и что́ безчестно? какъ не захотѣть надуть другого для своей личной выгоды?

Такимъ образомъ, наружная покорность и тупое, сосредоточенное горе, доходящее до совершеннаго идіотства и плачевнѣйшаго обезличенія, переплетаются въ темномъ царствѣ, изображаемомъ Островскимъ, съ рабскою хитростью, гнуснѣйшимъ обманомъ, безсовѣстнѣйшимъ вѣроломствомъ. Тутъ никто не можетъ ни на кого положиться: каждую минуту вы можете ждать, что пріятель вашъ похвалится тѣмъ, какъ онъ ловко обсчиталъ или обворовалъ васъ; компаньонъ въ выгодной спекуляціи легко можетъ забрать въ руки всѣ деньги и документы и засадить своего товарища въ яму за долги; тесть надуетъ зятя приданымъ; женихъ обочтетъ и обидитъ сваху; невѣста-дочь проведетъ отца и мать, жена обманетъ мужа. Ничего святого, ничего чистаго, ничего праваго въ этомъ темномъ мірѣ: господствующее надъ нимъ самодурство—дикое, безумное, неправое—прогнало изъ него всякое сознаніе чести и права... И не можетъ быть ихъ тамъ, гдѣ повержено впрахъ и нагло растоптано самодурами человѣческое достоинство, свобода личности, вѣра въ любовь и счастье и святыня честнаго труда.

А между тѣмъ, тутъ же, рядомъ, только за стѣною, идетъ другая жизнь, свѣтлая, опрятная, образованная... Обѣ стороны темнаго царства чувствуютъ превосходство этой жизни и то пугаются ея, то привлекаются къ ней. Но основы этой жизни, ея внутренняя сила совершенно непонятны для жалкихъ людей, отвыкшихъ отъ всякой разумности и правды въ своихъ житейскихъ отношеніяхъ. Только самыя грубыя и внѣшнія, бьющія въ глаза проявленія этой образованности понятны для нихъ, только на нихъ они нападаютъ, ежели вздумаютъ *не взлюбить* образованность, и только *ихъ подражаютъ*, ежели увлекутся страстью жить *по-благородному*. Старикъ-самодуръ сбреетъ бороду и станетъ напиваться шампанскимъ вмѣсто водки; дочь его будетъ пѣть *жестокіе* романсы и увлекаться офицерами; сынъ начнетъ кутить и покупать дорогія платья и шали танцовщицамъ: вотъ и весь кодексъ ихъ образованности... Зато и тѣ, которые боятся новаго свѣта,—если имъ попадется дурачокъ Вихоревъ или Бальзаминовъ, рады его принять за представителя образованности и по поводу его излить свое негодованіе на новые порядки... Итакъ, черезъ всю жизнь *самодуровъ*, черезъ все страдальческое

существованіе *безотвѣтныхъ* проходитъ эта борьба съ волной новой жизни, которая, конечно, зальетъ когда-нибудь всю издавна накопленную грязь и превратитъ топкое болото въ свѣтлую и величавую рѣку, но которая теперь еще только вздымаетъ эту грязь, и сама въ нее всасывается и вмѣстѣ съ нею гніетъ и смердитъ... Теперь новыя начала жизни только еще тревожатъ сознаніе всѣхъ обитателей темнаго царства, въ родѣ далекаго привидѣнія или кошмара. Даже для тѣхъ, которые рѣшаются сами *подражать новую моду*, она все-таки тяжела такъ, какъ тяжелъ бываетъ всякій кошмаръ, хотя бы въ немъ представлялись видѣнія самыя прелестныя. И точно какъ послѣ кошмара, даже тѣ, которые, повидимому, успѣли уже освободиться отъ самодурнаго гнета и успѣли возвратить себѣ чувство и сознаніе,—и тѣ все еще не могутъ пайтись хорошенько въ своемъ новомъ положеніи и, не понявъ ни настоящей образованности ни своего призванія, не умѣютъ удержать и своихъ правъ, не рѣшаются и приняться за дѣло, а возвращаются опять къ той же покорности судьбѣ или къ темнымъ сдѣлкамъ съ ложью и самодурствомъ.

Таково общее впечатлѣніе комедій Островскаго, какъ мы ихъ понимаемъ. Чтобы нѣсколько рельефнѣе выставить нѣкоторыя черты этого блѣднаго очерка, напомнимъ нѣсколько частностей, долженствующихъ служить подтвержденіемъ и поясненіемъ нашихъ словъ. Въ настоящей статьѣ мы ограничимся представленіемъ того нравственнаго растленія, тѣхъ безсовѣстно-неестественныхъ людскихъ отношеній, которыя мы находимъ въ комедіяхъ Островскаго, какъ прямое слѣдствіе тяготѣющаго надъ всѣми самодурства.

Раскрываемъ первую страницу „Сочиненій Островскаго". Мы въ домѣ купца Пузатова, въ комнатѣ, меблированной безъ вкуса, съ портретами, райскими птицами, разноцвѣтными драпри и бутылками настойки. Марья Антиповна, девятнадцатилѣтняя дѣвушка, сестра Пузатова, сидитъ за пяльцами и поетъ: „*Черный цвѣтъ, мрачный цвѣтъ*". Потомъ она говоритъ сама съ собой:

„Вотъ ужъ и лѣто проходитъ, и сентябрь на дворѣ, а ты сиди въ четырехъ стѣнахъ, какъ монашенка какая-нибудь, и къ окну не подходи. Куда какъ антересно!"

Дѣйствительно, жизнь дѣвушки не очень интересна: въ домѣ властвуетъ самодуръ и мошенникъ Пузатовъ, братъ

Марьи Антиповны; а когда его нѣтъ, такъ подглядываетъ за своею дочерью и за молодой женой сына ворчливая старуха, - мать Пузатова, богомольная, добродушная и готовая за грошъ продать человѣка. Съ этими людьми нѣтъ ни отрады, ни покоя, ни раздолья для молодыхъ женщинъ; онѣ должны умереть съ тоски и съ огорченія на безпрестанное ворчанье старухи да на капризы хозяина. Поневолѣ начинаютъ онѣ изыскивать для себя тайныя развлеченія и, разумѣется, находятъ. Вотъ что говоритъ Марья Антиповна тотчасъ послѣ жалобы на судьбу свою:

„Что жъ, пожалуй, не пускайте, запирайте на замокъ! тиранствуйте! А мы съ сестрицей отпросимся ко всенощной въ монастырь, разодѣнемся, а сами въ паркъ отличимся, либо въ Сокольники. *Надо какъ-нибудь на хитрости подыматься*“

Вотъ вамъ первый образчикъ этой невольной, ненужной хитрости. Какъ сложилось въ Марьѣ Антиповнѣ такое разсужденіе, отъ какихъ частныхъ случайностей стала развиваться наклонность къ хитрости,—что намъ за дѣло!.. Мы знаемъ *общую* причину такого настроенія, указанную намъ очень ясно самимъ же Островскимъ, и видимъ, что Марья Антиповна составляетъ не исключительное, а самое обыкновенное, почти всегдашнее явленіе въ этомъ родѣ. Болѣе намъ ничего и не нужно для объясненія ея ранней испорченности. Но Островскій вводитъ насъ въ самую глубину этого семейства, заставляетъ присутствовать при самыхъ интимныхъ сценахъ, и мы не только понимаемъ, мы скорбно чувствуемъ сердцемъ, что тутъ не можетъ быть иныхъ отношеній, какъ основанныхъ на обманѣ и хитрости, съ одной стороны, при дикомъ и безсовѣстномъ деспотизмѣ— съ другой. Сцены Марьи Антиповны съ Матреной Саввишной, женой Пузатова, и ихъ обѣихъ съ кухаркой объясняютъ всю гнусность разврата, на которомъ все держится въ этомъ домѣ. Матрена Саввишна объясняетъ Машѣ, что ненужно пріучать офицеровъ подъ окнами ѣздить, потому что слава дурная пойдетъ и послѣ не развяжешься. Между тѣмъ, у нихъ ужъ послана кухарка къ какимъ-то молодцамъ, которые зовутъ ихъ въ Останкино и просятъ захватить бутылку мадеры. Разумѣется, и это дѣлается втихомолку и съ трепетомъ, потому что хоть Пузатова и нѣтъ дома, но мать его за всѣмъ подсматриваетъ и всему мѣшаетъ.

Еще только увидавъ въ окошко возвращающуюся Дарью, Машенька пугливо восклицаетъ: „Ахъ, сестрица, какъ бы она маменькѣ не попалась!“ И Дарья дѣйствительно попалась; но она сама тоже непромахъ,—умѣла отвертѣться: „за шелкомъ, говоритъ, въ лавочку бѣгала“. Надсмотрщицу провели на этотъ разъ. Но вотъ, среди разговора молодыхъ женщинъ съ кухаркой раздается маленькій шумъ за сценой; кухарка пугливо прислушивается и говоритъ: „Никакъ, матушка, *самъ* пріѣхалъ“... И дѣйствительно, еще изъ передней раздается голосъ Пузатова: „Жена! а жена! Матрена Саввишна!..“ Жена подходитъ къ дверямъ и спрашиваетъ: „Что такое?“ Мужъ отвѣчаетъ: „Здравствуй! А ты думала, Богъ знаетъ что!..“ Этотъ приступъ даетъ уже вамъ мѣрку супружескихъ отношеній Антипа Антипыча и Матрены Саввишны. Ясно, что жена для него въ родѣ резиновой куклы, которою забавляются дѣти: то ноги ей вытянутъ, то голову сплющатъ или растянутъ и смотрятъ, какой изъ этого *видъ* будетъ. Ни малѣйшаго сознанія ея человѣческихъ правъ и ни малѣйшей мысли объ уваженіи ея нравственной личности никогда и не бывало у Пузатова. Его отношенія къ ней ограничиваются животными побужденіями и потѣхой своего самодурства. Онъ говоритъ, что жена его, „какъ разрядится, такъ лучше всякой барыни—вальяжнѣй, ей-Богу! Вѣдь, тѣ все мелочь, съ позволенія сказать, взглянуть не на что нашему брату. А она у меня таки-того... То-есть я—насчетъ тѣлосложенія... Ну, и все такое“... И свои обязанности къ женѣ для пріобрѣтенія любви ея онъ ограничиваетъ тѣмъ же. Вотъ его отзывъ: „Чтобъ она меня, молодца такого, да промѣняла на кого-нибудь,—красавца-то этакого!..“ А въ чемъ его красота? Вотъ его собственное опредѣленіе: „То ли дѣло купецъ хорошій, гладкій да румяный,—вотъ какъ я. Ужъ и любить-то есть кого; не то что стрикулистъ чахлый“... Впрочемъ, въ этомъ онъ, можетъ-быть, и правъ: недаромъ же у насъ рисуются карикатуры пышныхъ камелій во фракахъ, господъ, живущихъ на счетъ чужихъ женъ!.. И если Матрена Саввишна потихоньку отъ мужа ѣздитъ къ молодымъ людямъ въ Останкино, такъ это, конечно, означаетъ частію то, что ея развитіе направилось нѣсколько въ другую сторону, частью же и то, что ей ужъ очень тошно приходится отъ самодурства мужа. А самодурство это вотъ какъ, напр., выражается. Антипъ Антипычъ,

въ ожиданіи чая, сидитъ и смотритъ по угламъ, наконецъ, отпускаетъ, отъ нечего дѣлать, слѣдующую штуку:

Антипъ Антипычъ (*грозно*). Жена! Поди сюда!

Матрена Саввишна. Что еще?

Антипъ Антипычъ. Поди сюда, говорятъ тебѣ! (*Ударяя кулакомъ по столу.*)

Матрена Саввишна. Да что ты, очумѣлъ, что ли?

Антипъ Антипычъ. Что я съ тобой сдѣлаю? (*Стучитъ по столу.*)

Матрена Саввишна. Да что съ тобой? (*Робко.*) Антипъ Антипычъ...

Антипъ Антипычъ. А? испугалась! (*Смѣется.*) Нѣтъ, Матрена Саввишна, это я такъ—шутки шучу. (*Вздыхаетъ.*) Что же чайку-то-съ?

Видите, это онъ со скуки такія *шутки шутитъ!* Ему скучно стало чаю дожидаться... Понятно, какія чувства можетъ питать къ такому мужу самая невзыскательная жена.

Но Антипъ Антипычъ—еще прогрессивный и гуманный человѣкъ въ сравненіи со своей матушкой. Онъ считаетъ удобнымъ побить жену только во хмелю, да и то не совсѣмъ одобряетъ. Выдавая сестру за Ширялова, онъ спрашиваетъ: „Ты, вѣдь, во хмелю смирный? не дерешься?“ А матушка его Степанида Трофимовна такъ и этого не признаетъ: она бранитъ сына, зачѣмъ онъ жену въ страхѣ не держитъ. „Мой покойникъ,—говоритъ,—какъ меня ни любилъ, какъ ни голубилъ, а въ спальнѣ на гвоздикѣ плетка висѣла про всякій случай“. У сына ея нѣтъ плетки, и это она считаетъ уже за упадокъ нравственности... Но жена и безъ плетки видитъ необходимость лицемѣрить передъ мужемъ: она съ притворной нѣжностью цѣлуетъ его, ласкается къ нему, спрашивается у него и у матушки къ вечернѣ да ко всенощной, хотя и сама обнаруживаетъ нѣкоторую претензію на самодурство и говоритъ, что „не родился тотъ человѣкъ на свѣтъ, чтобъ ее молчать заставилъ“. Обманъ и притворство полноправно господствуютъ въ этомъ домѣ и представляютъ намъ какъ-будто какую-то особенную религію, которую можно назвать *религіею лицемѣрства*.

Отставъ отъ жены, Пузатовъ переходитъ къ сестрѣ и начинаетъ сватать ей жениховъ. При этомъ дѣлаются опять разные скромные намеки насчетъ тѣлеснаго сложенія, отъ которыхъ не менѣе скромная дѣвушка убѣгаетъ изъ комнаты. Затѣмъ начинается о судьбѣ ея интимный совѣтъ между матерью и сыномъ. Мать предлагаетъ въ женихи Ширялова, котораго рекомендуетъ такъ: „Онъ хоть и старенькій, и вдовый, да денегъ-то, Антипушка, больно много—куры не клюютъ. Ну да и человѣкъ-то степенный, набожный,

примѣрный купецъ, въ уваженіи". Сынъ отвѣчаетъ на это лаконически: „Только, матушка, *ужъ больно плутъ*". Подумаешь, что Пузатовъ уважаетъ честность и не любитъ мошенничества. Ничуть не бывало. У него есть свои собственныя понятія, по которымъ плутовать слѣдуетъ, но только до какихъ-то предѣловъ, хотя, впрочемъ, онъ и самъ хорошенько не знаетъ, до какихъ именно... А такъ, покажется ему, что этотъ человѣкъ еще *не больно плутъ*, а вотъ этотъ такъ ужъ *больно плутъ*. И если ужъ больно плутъ, такъ у него какъ-будто и совѣсть зазритъ. А впрочемъ, послѣдствій особенныхъ и это чувство не имѣетъ. Вотъ что говорятъ мать и сынъ относительно своихъ нравственныхъ понятій. На замѣчаніе сына о плутовствѣ Ширялова Степанида Трофимовна отвѣчаетъ:

„Ахъ, батюшки мои! Да чѣмъ же онъ плутъ, скажи, пожалуйста! *Каждый праздникъ онъ въ церковь ходитъ, да придетъ-то раньше всѣхъ; посты держитъ; великимъ постомъ и чаю не пьетъ съ сахаромъ*,—все съ медомъ, либо съ изюмомъ. Такъ-то, голубчикъ! не то, что ты... *А если и обманетъ кого, такъ что за бѣда! Не онъ первый, не онъ послѣдній; человѣкъ коммерческій; тѣмъ, Антипушка, и торговля-то держится*. Не помимо пословица-то говорится: „не обмануть—не продать".

Антипъ Антипычъ Что говорить! *Отчего не надуть пріятеля, коли рука подойдетъ*. Ничего. Можно. Да ужъ, матушка, вѣдь, *иногда и совѣсть зазритъ*. (*Чешетъ затылокъ*.) Право слово. *И смертный часъ вспомнишь*. (*Молчаніе*.) Я и самъ, гдѣ трафится, не хуже его мину-то подведу. *Да я, вѣдь, и скажу потомъ*; вотъ, молъ, я тебя такъ и такъ, помазалъ маленько. Вотъ въ прошломъ году, Савву Саввича, при расчетѣ, рубликовъ на пятьсотъ поддѣлъ. Да вѣдь я послѣ сказалъ ему: вотъ, молъ, Савва Саввичъ, промигалъ ты полтысячки, да ужъ теперь, братъ, поздно, говорю: *а ты, молъ, не зѣвай*. *Посердился немножко, да и опять пріятели*. Что за важность!

Вы видите, что Пузатовъ не считаетъ свои мошенничества дурнымъ дѣломъ, не считаетъ даже обманомъ, а просто—ловкой, умной штукой, которою даже похвалиться можно. И тѣ, кого онъ обдуваетъ, держатся того же мнѣнія: Савва Саввичъ посердился на то, что допустилъ оплести себя, но потомъ, когда оскорбленное самолюбіе угомонилось, онъ опять сталъ пріятелемъ съ Антипомъ Антипычемъ. Обманъ тутъ—явленіе нормальное, необходимое, какъ убійство на войнѣ. Бытъ этого темнаго царства такъ уже сложился, что вѣчная вражда господствуетъ между его обитателями. Тутъ всѣ въ войнѣ: жена съ мужемъ—за его самовольство; мужъ съ женою—за ея непослушаніе или неугожденіе; родители съ дѣтьми за то, что дѣти хотятъ жить

своимъ умомъ; дѣти съ родителями за то, что имъ не даютъ жить своимъ умомъ; хозяева съ приказчиками, начальники съ подчиненными воюютъ за то, что они хотятъ все подавить своимъ самодурствомъ, а другіе не находятъ простора для самыхъ законныхъ своихъ стремленій; дѣловые люди воюютъ изъ-за того, чтобы другой не перебилъ у нихъ барышей ихъ дѣятельности, всегда разсчитанной на эксплоатацію другихъ; праздные шатуны бьются, чтобы не ускользнули отъ нихъ тѣ люди, трудами которыхъ они задаромъ кормятся, щеголяютъ и богатѣютъ. И всѣ эти люди воюютъ общими силами противъ людей честныхъ, которые могутъ открыть глаза угнетеннымъ труженикамъ и научить ихъ громко и настоятельно предъявить свои права. Вслѣдствіе такого порядка дѣлъ, всѣ находятся въ осадномъ положеніи, всѣ хлопочутъ о томъ, какъ бы только спасти себя отъ опасности и обмануть бдительность врага. На всѣхъ лицахъ написанъ испугъ и недовѣрчивость; естественный ходъ мышленія измѣняется, и на мѣсто здравыхъ понятій вступаютъ особенныя, условныя соображенія, отличающіяся скотскимъ характеромъ и совершенно противныя человѣческой природѣ Извѣстно, что логика войны совершенно отлична отъ логики здраваго смысла. Военная хитрость восхваляется, какъ доказательство ума, направленнаго на истребленіе своихъ ближнихъ; убійство превозносится, какъ лучшая доблесть человѣка; удачный грабежъ—отнятіе лагеря, отбитіе обоза и пр.—возвышаетъ человѣка въ глазахъ его согражданъ. А между тѣмъ, во всѣхъ законодательствахъ есть наказанія—и за обманъ, и за грабежъ, и за убійство. Мало того, во всѣхъ законодательствахъ признаются смягчающія обстоятельства, и иногда самое убійство извиняется, если побудительныя причины его были слишкомъ неотразимы. А между тѣмъ, какія смягчающія обстоятельства имѣются, напримѣръ, для венгерца или славянина, идущаго на войну противъ итальянцевъ для того, чтобы Австрія могла попрежнему угнетать ихъ? Какою страшною казнью нужно бы казнить каждаго венгерскаго и славянскаго офицера или солдата за каждый выстрѣлъ, сдѣланный имъ по французскимъ и сардинскимъ полкамъ! Но такова сила повальнаго ослѣпленія, что за убійство и грабежи на войнѣ не только не казнятъ никого, но еще восхваляютъ и награждаютъ! Точно въ такомъ безумномъ ослѣ-

пленіи находятся всѣ жители темнаго царства, возстающаго передъ нами изъ комедій Островскаго. Они въ постоянной войнѣ со всѣмъ окружающимъ, и потому не требуйте и не ждите отъ нихъ раціональныхъ соображеній, доступныхъ человѣку въ спокойномъ и мирномъ состояніи. Пузатовъ дѣлаетъ такой военный силлогизмъ: „Если я тебя не разобью, такъ ты меня разобьешь; такъ лучше же я тебя разобью". И что же сказать противъ такого силлогизма? И не рождается ли онъ самъ-собою у всякаго человѣка, поставленнаго въ затруднительное положеніе выбирать между побѣдою и пораженіемъ? Нечего и удивляться, что, разсказывая о томъ, какъ не додалъ денегъ нѣмцу, представившему счетъ изъ магазина, Пузатовъ разсуждаетъ такъ: „А то всѣ ему и отдать? да за что это? Нѣтъ, ужъ опосля честь будетъ. *Они тамъ ломятъ цѣну, какую хотятъ, а имъ сдуру-то и вѣрятъ. И въ другой разъ то же сдѣлаю, коли векселя не возьметъ*". Вы видите, что здѣсь идетъ самая обыкновенная игра: кто лучше играетъ, тотъ и остается въ выигрышѣ.

Но Пузатовъ самъ не любитъ собственно обмана, обмана безъ нужды, безъ надежды на выгоду; не любитъ, между прочимъ, и потому, что въ такомъ обманѣ выражается не солидный умъ, занятый существенными интересами, а просто легкомысліе, лишенное всякой основательности. Ширялова же, у котораго плутовство переходитъ всякія границы, онъ не одобряетъ больше потому, что ужъ тотъ ни войны, ни мира не разбираетъ—то во время перемирія стрѣлять начнетъ, то даже по своимъ ударитъ. „Это,—говоритъ Пузатовъ,—словно жидъ какой: отца родного обманетъ. Право. Такъ вотъ въ глаза и смотритъ всякому. А, вѣдь, святошей прикидывается". Впрочемъ, и неодобреніе Пузатова нельзя въ этомъ случаѣ принимать серіозно: въ самую минуту его брани на Ширялова, купецъ этотъ является къ Антипу Антипычу въ гости. Антипъ Антипычъ не только очень любезно принимаетъ его, не только внимательно слушаетъ его разсказы о кутежѣ сына Сеньки, вынуждающемъ старика самого жениться, и о собственныхъ плутовскихъ штукахъ Ширялова, но въ заключеніе еще сватаетъ за него сестру свою, и тутъ же, безъ согласія и безъ вѣдома Марьи Антиповны, окончательно слаживаетъ дѣло. Что его побудило къ этому? Отвѣтъ высказывается въ нѣсколькихъ словахъ, произносимыхъ имъ по уходѣ Ширялова. „Экой воръ мужикъ-

то,—самъ съ собою разсуждалъ Пузатовъ, подмигивая глазомъ,—тонкая бестія! Вѣдь, какимъ лазаремъ прикинется! Вишь ты, Сенька виноватъ!.. А ужъ что, братъ, толковать: просто на старости блажь пришла... Что жъ, мы съ нашимъ удовольствіемъ! Ничего, можно-съ!.. *Только, Пармонъ Ферапонтычъ, насчетъ приданаго-то кто кого обманетъ—дѣло темное-съ. Мы тоже съ матушкой на свою руку охульки не положимъ*"... Дѣло, стало-быть, очень просто: представилась возможность *выгодно* сбыть сестру; какъ же не воспользоваться случаемъ? Для сестры же тутъ доброе дѣло выходитъ: все-таки будетъ пристроена!..

Таковы люди, таковы людскія отношенія, представляющіяся намъ въ *Семейной картинѣ*, первомъ, по времени, произведеніи Островскаго. Въ немъ уже находятся задатки многаго, что́ полнѣе и ярче раскрылось въ послѣдующихъ комедіяхъ. По крайней мѣрѣ, видно, что уже и въ это время авторъ былъ пораженъ тѣмъ непріязненнымъ и мрачнымъ характеромъ, какимъ у насъ большею частью отличаются отношенія самыхъ близкихъ между собою людей. Здѣсь же намѣчены отчасти и причины этой мрачности и враждебности: безсмысленное самодурство—однихъ и робкая уклончивость, бездѣятельность—другихъ. Тутъ же чрезвычайно ярко и рельефно выставлены и послѣдствія такого неестественнаго порядка вещей—всеобщій обманъ и мошенничество и въ семейныхъ и въ общественныхъ дѣлахъ.

Въ *Своихъ людяхъ* мы видимъ опять ту же религію лицемѣрства и мошенничества, то же безсмысліе и самодурство—однихъ и ту же обманчивую покорность, рабскую хитрость—другихъ, но только въ большемъ развѣтвленіи. Здѣсь намъ представляется нѣсколько степеней угнетенія, указывается нѣкоторая система въ распредѣленіи самодурства, дается очеркъ его исторіи. Самый главный самодуръ, деспотъ всѣхъ къ нему близкихъ, не знающій себѣ никакого *удержу*, есть Самсонъ Силычъ Большовъ. И какой же страхъ онъ внушаетъ всему дому! Аграфена Кондратьевна, жена его, грозитъ своей взрослой дочери, что „отцу пожалуется"; а та отвѣчаетъ: „Васъ на то Богъ и создалъ, чтобы жаловаться; сами-то вы не очень для меня значительны". На вторичную угрозу она огрызается еще рѣзче: „Только и ладитъ, что отца да отца; бойки вы при немъ разговаривать-то, а попробуйте-ка сами!" Видно, что Самсонъ

Силычъ и для жены и для дочери представляется чѣмъ-то въ родѣ пугала, и онѣ обѣ, хотя и стращаютъ имъ другъ друга, но составляютъ противъ него глухую, затаенную, само-собою образовавшуюся оппозицію. Аграфена Кондратьевна, по своей крайней недальности, не можетъ сама привести въ ясность своихъ чувствъ, и только охами да вздохами выражаетъ, что ей тяжело. Но Липочка очень безцеремонно говоритъ: „У маменьки семь пятницъ на недѣлѣ; тятенька—какъ не пьянъ, такъ молчитъ, а какъ пьянъ, такъ прибьетъ, того и гляди... Каково это терпѣть образованной барышнѣ!“ Служащіе въ домѣ всѣ насквозь пропитаны тѣми же мрачно-робкими чувствами: мальчикъ Тишка жалуется на вытрепки, получаемыя имъ отъ хозяина; кухарка Ѳоминишна имѣетъ слѣдующій разговоръ съ Устиньей Наумовной, свахой, прінскивающею жениха Липочкѣ, дочери Большова:

Устинья Наумовна. Садись, Ѳоминишна,—ноги-то старыя, ломаныя.

Ѳоминишна. И, мать! некогда. Вѣдь, какой грѣхъ-то: самъ-то что-то изъ городу не ѣдетъ, всѣ подъ страхомъ ходимъ: того и гляди, пьяный пріѣдетъ. А ужъ какой благой-то, Господи! Зародится же, вѣдь, этакой озорникъ!

Устинья Наумовна. Извѣстное дѣло: съ богатымъ мужикомъ, что съ чортомъ, не скоро сообразишь.

Ѳоминишна. Ужъ мы отъ него страсти-то видѣли. Вотъ на прошлой недѣлѣ ночью пьяный пріѣхалъ: разоевался такъ, что на-поди. Страсти, да и только! Посуду колотитъ... „У!—говоритъ,—такія вы и этакія, убью сразу“.

И дѣйствительно, Самсонъ Силычъ держитъ всѣхъ, можно сказать, въ страхѣ Божіемъ. Когда онъ показывается, всѣ смотрятъ ему въ глаза и съ трепетомъ стараются угадать,—что, каковъ онъ? Вотъ небольшая сцена, изъ которой видно, какой трепетъ отъ него распространяется по всему дому. Въ комнату вбѣгаетъ Ѳоминишна и кричитъ:

Ѳоминишна. Самсонъ Силычъ пріѣхалъ, да никакъ хмельной!..

Тишка. Фю! Попались!

Ѳоминишна. Бѣги, Тишка, за Лазаремъ; голубчикъ, бѣги скорѣй!..

Аграфена Кондратьевна (*показывается на лѣстницѣ*). Что, Ѳоминишна, матушка, куда онъ идетъ-то?

Ѳоминишна. Да никакъ, матушка, сюда! Охъ, запру я двери-то, ей-Богу, запру; пускай его кверху идетъ, а ужъ ты, голубушка, здѣсь посиди.

И къ довершенію всего, оказывается, вѣдь, что Самсонъ Силычъ вовсе и не пьянъ; это такъ только показалось Ѳоминишнѣ. Но замѣчательно, какъ смѣшиваетъ всѣ понятія, уничтожаетъ всѣ различія этотъ надъ всѣми тяготѣю-

щій деспотизмъ: мать, дочь, кухарка, хозяйка, мальчишка-слуга, приказчикъ—все это въ трудную минуту сливается въ одно—въ угнетенную партію, заботящуюся о своей защитѣ. Ѳоминишна, которая въ другое время бьетъ Тишку и помыкаетъ имъ, упрашиваетъ его и называетъ голубчикомъ; Аграфена Кондратьевна съ жалобнымъ видомъ обращается къ своей кухаркѣ съ вопросомъ: „что, Ѳоминишна, матушка?..“ Ѳоминишна смотритъ на нее съ состраданіемъ и готовится оказать ей покровительство запоромъ дверей... Только приказчикъ, Лазарь Подхалюзинъ, связанный какимъ-то темнымъ, неусловленнымъ союзомъ со своимъ хозяиномъ и готовящійся самъ быть маленькимъ деспотомъ, стоитъ нѣсколько въ сторонѣ отъ этого страха, раздѣляемаго всякимъ, кто вступаетъ въ домъ Большова. Въ Подхалюзинѣ намъ является другая, низшая инстанція самодурства, подавленнаго до сихъ поръ подъ тяжелымъ гнетомъ, но уже начинающаго поднимать свою голову... Разсуждая съ Подхалюзинымъ, сваха говоритъ ему: „Вѣдь, ты самъ знаешь, каково у насъ чадочко Самсонъ-то Силычъ; вѣдь, онъ, неровенъ часъ, и чепчикъ помнетъ“. А Подхалюзинъ самоувѣренно отвѣчаетъ: „Ничего не помнетъ-съ“. Въ отвѣтѣ Тишкѣ, который грозитъ пожаловаться хозяину на подзатыльники Лазаря, онъ еще рѣшительнѣе: „Хозяину скажу! Что мнѣ твой хозяинъ! Я, коли на то пошло“...—начинаетъ онъ, но не договариваетъ. Видно, что и онъ-таки не забылъ еще, каково чадочко Самсонъ Силычъ. Впрочемъ, и Подхалюзинъ такъ куражится уже тогда, когда въ его рукахъ вся механика, подведенная Большовымъ для объявленія себя банкротомъ. Онъ чувствуетъ себя въ положеніи человѣка, успѣвшаго толкнуть своего тюремщика за ту дверь, изъ-за которой самъ успѣлъ выскочить. Но у тюремщика остались ключи отъ воротъ острога: надо ихъ еще вытребовать, а потому Подхалюзинъ, чувствуя себя уже не въ тюрьмѣ, но зная, что онъ еще и не совсѣмъ на свободѣ, безпрестанно переходитъ отъ самодовольной радости къ безпокойству и мѣшаетъ наглость съ раболѣпствомъ. Онъ уже получилъ домъ и лавки Большова; нужно ему окончательно овладѣть имѣніемъ старика, да еще жениться на его дочери, которая пришлась ему очень по нраву. Успѣхъ своихъ надеждъ Подхалюзинъ основываетъ именно на самодурствѣ Большова. Не употребляя долгихъ исканій и не

дѣлая особенно злостныхъ плановъ, онъ только подбиваетъ сваху отговорить прежняго жениха Липочки, изъ благородныхъ, а самъ поддѣлывается къ Большову раболѣпнымъ тономъ и выраженіемъ своего участія къ нему. Предварительныя сообщенія его очень нехитры. Онъ говоритъ самъ себѣ: „А знавши-то характеръ Самсона Силыча, каковъ онъ есть, это и очень можетъ случиться. У нихъ такое заведеніе; коли имъ что попало въ голову, уже ничѣмъ не выбьешь оттедова. Все равно, какъ въ четвертомъ году захотѣли бороду обрить: сколько ни просили Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали, —нѣтъ, говоритъ, послѣ опять отпущу, а теперь поставлю на своемъ: взяли да и обрили. Такъ вотъ и это дѣло: потрафь я по нихъ или такъ взойди имъ въ голову—завтра же подъ вѣнецъ, и баста, и разговаривать не смѣй". Ясно, что тутъ весь расчетъ очень немногосложенъ: весь онъ бьетъ на деспотическій характеръ Большова. Тутъ, разумѣется, хитрости особенной и не можетъ быть, потому что и всякому дураку законъ не писанъ, а самодуру—и подавно, слѣдовательно, съ нимъ ничего *не сообразишь*, по выраженію Устиньи Наумовны. Подхалюзинъ такъ и знаетъ, что онъ идетъ на-авось. „Потрафь,—говоритъ,—я по нихъ, *или такъ взойди имъ въ голову*"—оба шанса равно вѣроятны и равно невѣроятны. А что касается до *потрафленья*, такъ тутъ опять немного нужно соображенія: ври о своей покорности, благодарности, о счастіи служить такому человѣку, о своемъ ничтожествѣ передъ нимъ,—больше ничего и не нужно для того, чтобъ ублажить глупаго мужика деспотическаго характера. Изъ всѣхъ родовъ житейской дипломатики—это самый низшій, это не болѣе, какъ расчетъ перваго слѣдующаго хода въ шахматной игрѣ. Большовъ поддается на эту нехитрую штуку, потому что своевольныя привычки давно уже затмили въ немъ всякую сообразительность, лишили всякой возможности смотрѣть на вещи прямо и здраво. Себя самого онъ ставитъ единственымъ закономъ и средоточіемъ всего, до чего только досягаетъ его дѣятельность. Въ своемъ семействѣ это онъ выражаетъ съ циническою грубостью. О дочери онъ говоритъ: „Мое дѣтище: хочу—съ кашей ѣмъ, хочу—масло пахтаю". Оттого и выдача ея, противъ воли, замужъ за Подхалюзина представляется ему не болѣе, какъ занимательнымъ опытомъ. „А вотъ ты заходи-ка ужо къ невѣстѣ,—

говоритъ Лазарю:—мы надъ ними *шутку подшутили*ъ". Шутка эта состоитъ въ томъ, что онъ внезапно объявляетъ женѣ и дочери, что Лазарь—женихъ Липочки. Всѣ растерялись: и мать, и сваха, и Ѳоминишна, и сама невѣста, которая, впрочемъ, какъ *образованная*, нашла въ себѣ силы выразить рѣшительное сопротивленіе и закричать: „Не хочу, не хочу, не пойду я за такого противнаго". Разумѣется, изъ этого сопротивленія ничего не можетъ выйти: Самсона Силыча не уломаешь. А тутъ еще Подхалюзинъ поджигаетъ его, коварно говоря: „Видно, тятенька, не бывать-съ по вашему желанію". Этихъ словъ достаточно, чтобы Большовъ насильно соединилъ руки жениха и невѣсты и возразилъ такимъ манеромъ: „Какъ же не бывать, коли я того хочу? *На что жъ я и отецъ, коли не приказывать?* Даромъ, что ли, я ее кормилъ?" Какъ видите, Большовъ изъ отцовскихъ обязанностей признаетъ только одну: давать приказанія дѣтямъ. А что онъ кормилъ дочь, такъ это ужъ благодѣяніе, за которое она должна ему отплатить полнымъ отреченіемъ отъ своей воли. Точно таковъ же онъ и во всей дѣятельности. Онъ самъ замѣчаетъ, напримѣръ, что Подхалюзинъ мошенникъ; но ему до этого дѣла нѣтъ, потому что Подхалюзинъ его приказчикъ и объ его пользѣ старается. Безъ малѣйшей застѣнчивости онъ упрекаетъ его въ неблагодарности, указывая на такіе факты: „Вспомни тó, Лазарь, сколько разъ я замѣчалъ, что ты на руку нечистъ? что жъ? Я вѣдь не прогналъ тебя, не ославилъ тебя на весь городъ. Я тебя сдѣлалъ главнымъ приказчикомъ, тебѣ я все свое состояніе отдалъ, да тебѣ же, Лазарь, я отдалъ и дочь-то своими руками". И все это въ надеждѣ, что Лазарь будетъ славно мошенничать и наживать деньги отъ всѣхъ, кромѣ, разумѣется, самого Большова. То же самое и съ Ризположенскимъ, пьянымъ приказнымъ, занимающимся кляузами и дѣлающимъ кое-что по дѣламъ Большова: Самсонъ Силычъ подсмѣивается надъ тѣмъ, какъ его изъ суда выгнали, и очень сурово рѣшаетъ, что его надобно бы въ Камчатку сослать. На вопросъ Ризположенскаго: „За что же въ Камчатку?" Большовъ отрѣзываетъ: „За что? За безобразіе! Такъ неужели жъ вамъ потакать?" Но такой строгій взглядъ на дѣятельность выгнаннаго изъ службы чиновника нисколько не мѣшаетъ Самсону Силычу требовать его услугъ въ дѣлѣ замышленнаго имъ злостнаго банкротства. Большовъ какъ-

будто считаетъ себя совершенно внѣ тѣхъ нравственныхъ правилъ, которыя признаетъ обязательными для другихъ. Это странное явленіе (столь частое, однакоже, въ нашемъ обществѣ) происходитъ оттого, что Большовъ не понимаетъ истинныхъ началъ общественнаго союза, не признаетъ круговой поруки правъ и обязанностей человѣка въ отношеніи къ другимъ и, подобно Пузатову, смотритъ на общество какъ на вражескій станъ. „Мнѣ бы самому какъ-нибудь получше устроиться; а тамъ, кто отъ того пострадаетъ или прибыль получитъ, мнѣ до этого дѣла нѣтъ; коли пострадаетъ, такъ самъ виноватъ: оплошалъ, стало-быть". На такихъ соображеніяхъ держатся всѣ думы Большова, такими соображеніями былъ онъ подвигнутъ и на то, чтобъ объявить себя несостоятельнымъ. Островскаго упрекали въ томъ, что онъ не довольно полно и ясно выразилъ въ своей комедіи, какимъ образомъ, вслѣдствіе какихъ особенныхъ вліяній, въ какой послѣдовательности и въ какомъ соотвѣтствіи съ общими чертами характера Большова явилось въ немъ намѣреніе объявить себя банкротомъ. „Злостное банкротство,—говорили критики,—есть такое преступленіе, которое ужаснѣе простого обмана, воровства и убійства. Оно соединяетъ въ себѣ эти три рода преступленій; но оно еще ужаснѣе потому, что совершается обдуманно, подготовляется очень долго, требуетъ много коварнаго терпѣнія и самаго нахальнаго присутствія духа. Рѣшиться на такое преступленіе можетъ человѣкъ только при ложныхъ *убѣжденіяхъ* или вслѣдствіе какихъ-нибудь особенно неблагопріятныхъ нравственныхъ вліяній. У Островскаго не только ничего этого не показано, но даже выставлено банкротство Большова просто какъ прихоть, состоящая въ томъ, что „ему *не хочется* платить денегъ". Всѣ подобныя соображенія, будучи вполнѣ вѣрны въ теоретическомъ отношеніи, оказываются, однакоже, совершенно неприложимыми къ русской жизни. Въ томъ-то и дѣло, что наша жизнь вовсе не способствуетъ выработкѣ какихъ-нибудь убѣжденій, а если у кого они и заведутся, то не даетъ примѣнять ихъ. Одно только убѣжденіе процвѣтаетъ въ нашемъ обществѣ,—это убѣжденіе въ томъ, что не нужно имѣть (или, по крайней мѣрѣ обнаруживать) нравственныхъ убѣжденій. Но такое-то убѣжденіе и у Самсона Силыча есть, хотя оно и не совершенно, ясно въ его сознаніи: вслѣдствіе этого-то убѣжденія онъ и

ласкаетъ Лазаря, и ведетъ дѣло съ Ризположенскимъ, и рѣшается на объявленіе себя несостоятельнымъ. Вообще надобно сказать, что съ помощью этого убѣжденія и поддерживается нѣкоторая жизнь въ нашемъ „темномъ царствѣ“: черезъ него здѣсь и карьеры дѣлаются, и выгодныя партіи составляются, и капиталы наживаются, и общее уваженіе пріобрѣтается. Не будь развито это единственное *убѣжденіе* въ „темномъ царствѣ“, въ немъ все бы остановилось, заснуло и замерло. Конечно, и люди съ *твердыми* нравственными принципами, съ *честными* и *святыми* убѣжденіями тоже есть въ этомъ царствѣ; но, къ сожалѣнію, это все люди обломовскаго типа. Они и убѣжденія-то свои пріобрѣли не въ практической дѣятельности, не въ борьбѣ съ житейскою неправдой, а въ чтеніи хорошихъ книжекъ, горячихъ разговорахъ съ друзьями, въ восторженныхъ клятвахъ передъ женщинами да въ благородныхъ мечтаніяхъ на своемъ диванѣ. Удалось людямъ не быть втянутыми съ малолѣтства въ практическую дѣятельность, — и осталось имъ много свободнаго времени на обдумываніе своихъ отношеній къ міру и нравственныхъ началъ для своихъ поступковъ. Стоя въ сторонѣ отъ практической сферы, додумались они до прекрасныхъ вещей; но зато такъ и остались негодными для настоящаго дѣла и оказались совершенно ничтожными, когда пришлось имъ столкнуться кое съ чѣмъ и кое съ кѣмъ въ „темномъ царствѣ“. Сначала ихъ, было, побаивались, когда они являлись съ лорнетомъ Онѣгина, въ мрачномъ плащѣ Печорина, съ восторженною рѣчью Рудина; но потомъ поняли, что это все Обломовы, и что если они могутъ быть страшны для нѣкоторыхъ барышень, то, во всякомъ случаѣ, для практическихъ дѣятелей никакъ не могутъ быть опасны. Такъ они и остались внѣ жизни, эти люди честныхъ стремленій и самостоятельныхъ убѣжденій (нерѣдко, впрочемъ, на дѣлѣ измѣнявшіе имъ, вслѣдствіе своей непрактичности). И если нельзя сказать, чтобъ они остались чисты, какъ голуби, въ своихъ столкновеніяхъ съ окружавшими ихъ хищными птицами, то по крайней мѣрѣ, можно сказать утвердительно, что они оказались безсильны, какъ голуби. Что же касается до тѣхъ изъ обитателей „темнаго царства“, которые имѣли силу и привычку къ дѣлу, такъ они всѣ съ самаго перваго шага вступали на такую дорожку, которая никакъ ужъ не могла привести къ чистымъ

нравственнымъ убѣжденіямъ. Работающему человѣку никогда здѣсь не было мирной, свободной и общеполезной дѣятельности; едва успѣвши осмотрѣться, онъ уже чувствовалъ, что очутился какимъ-то образомъ въ непріятельскомъ станѣ и долженъ, для спасенія своего существованія, какъ-нибудь надуть своихъ враговъ, прикинувшись хотя добровольнымъ переметчикомъ. А тамъ начинаются хитрости, какъ бы обмануть бдительность непріятелей и спастись отъ нихъ; а ежели и это удастся, придумываются непріязненныя дѣйствія противъ нихъ, частью въ отмщеніе, частью же для огражденія себя отъ новой опасности. Гдѣ же тутъ развиться правильнымъ понятіямъ объ отношеніяхъ людей другъ къ другу? Гдѣ тутъ воспитаться уваженію человѣческаго достоинства? Здѣсь всѣ въ отвѣтѣ за какую-то чужую несправедливость, всѣ дѣлаютъ мнѣ пакости за то, въ чемъ я вовсе невиноватъ, и отъ всѣхъ я долженъ отбиваться, даже вовсе не имѣя желанія побить кого-нибудь. Поневолѣ человѣкъ дѣлается неразборчивъ и начинаетъ бить, кого попало, не теряя даже сознанія, что въ сущности-то никого бы не слѣдовало бить. Невольно повторишь опять сравненіе жизни „темнаго царства" съ ожесточенною войною. На войнѣ, вѣдь, не бѣда, если солдатъ убьетъ такого непріятеля, который ни одного выстрѣла не послалъ въ нашъ станъ: онъ подвернулся подъ пулю — и довольно. Солдата-убійцу не будетъ совѣсть мучить. Такъ точно, что за бѣда, если купецъ обманулъ честнѣйшаго человѣка, который никому въ жизни ни малѣйшаго зла не сдѣлалъ? Довольно того, что онъ покупаетъ товаръ; торговля все равно, что война: не обмануть — не продать!.. Приложите то же самое къ помѣщику, къ чиновнику „темнаго царства", къ кому хотите, — выйдетъ все то же: всѣ въ военномъ положеніи, и никого совѣсть не мучитъ за обманъ и присвоеніе чужого, оттого именно, что ни у кого нѣтъ нравственныхъ убѣжденій, а всѣ живутъ сообразно съ обстоятельствами.

Такимъ образомъ, мы находимъ глубоко-вѣрную, характеристически-русскую черту въ томъ, что Большовъ въ своемъ злостномъ банкротствѣ не слѣдуетъ никакимъ особеннымъ *убѣжденіямъ* и не испытываетъ *глубокой душевной борьбы*, кромѣ страха, какъ бы не попасться подъ уголовный... Намъ въ отвлеченіи кажутся всѣ преступленія чѣмъ-то слишкомъ ужаснымъ и необычайнымъ; но въ частныхъ случаяхъ они

большею частью совершаются очень легко и объясняются чрезвычайно просто. По уголовному суду человѣкъ оказался и грабителемъ и убійцею; кажется, долженъ бы быть извергъ естества. А смотришь, — онъ вовсе не извергъ, а человѣкъ очень обыкновенный и даже добродушный. И никакихъ у него убѣжденій нѣтъ о похвальности грабежа и убійства; и преступленія свои совершилъ онъ безъ тяжкой и продолжительной борьбы съ самимъ собою, а просто такъ, случайно, самъ хорошенько не сознавалъ, что онъ дѣлалъ. Поговорите съ людьми, видѣвшими много преступниковъ, они вамъ подтвердятъ, что это сплошь да рядомъ такъ бываетъ. Отчего происходитъ такое явленіе? Оттого, что всякое преступленіе есть не слѣдствіе натуры человѣка, а слѣдствіе ненормальнаго отношенія, въ какое онъ поставленъ къ обществу. И чѣмъ эта ненормальность сильнѣе, тѣмъ чаще совершаются преступленія даже натурами порядочными, тѣмъ менѣе обдуманности и систематичности и болѣе случайности, почти безсознательности въ преступленіи. Въ „темномъ царствѣ", разсматриваемомъ нами, ненормальность общественныхъ отношеній доходитъ до высшихъ своихъ предѣловъ, и потому очень понятно, что его обитатели теряютъ рѣшительно всякій смыслъ въ нравственныхъ вопросахъ. Въ преступленіи они понимаютъ только внѣшнюю, юридическую его сторону, которую справедливо презираютъ, если могутъ какъ-нибудь обойти. Внутренняя же сторона, послѣдствія совершаемаго преступленія для другихъ людей и для общества — вовсе имъ не представляются. Замышляя злостное банкротство, Большовъ и не думаетъ о томъ, что можетъ повредить благосостоянію заимодавцевъ и, можетъ-быть, пуститъ нѣсколько человѣкъ по-міру. Это ему не приходитъ въ голову даже и тогда, какъ ужъ его въ яму посадили. Онъ толкуетъ, что ему страшно на Иверскую взглянуть, проходя мимо Иверскихъ воротъ, жалуется, что на него мальчишки пальцами показываютъ, боится, что въ Сибирь его сошлютъ; но о людяхъ, разоренныхъ имъ, — ни слова. Мудрено ли же, что онъ такъ легко рѣшается на преступленіе, котораго существеннѣйшая-то мерзость ему и непонятна! Онъ видитъ только, что *„другіе же дѣлаютъ"*. И это для него не оправдательная фраза, не примѣръ только, какъ утверждалъ одинъ строгій критикъ Островскаго. Нѣтъ, тутъ исходная точка, изъ которой выводится вся мораль Большова. Онъ

видитъ, что другіе банкротятся, зажиливаютъ его деньги, а потомъ строятъ себѣ на нихъ дома съ бельведерами да заводятъ удивительные экипажи: у него сейчасъ и прилагается здѣсь общее соображеніе: „чтобы меня не обыграли, такъ я долженъ стараться другихъ обыграть". И ужъ тутъ нужды нѣтъ, что кредиторы Большова не банкротились и не дѣлали ему подрыва: все равно, съ кого бы ни пришлось, только бы сорвать свою выгоду. Тутъ, какъ и въ сраженіи, разбирать личности нечего. Вотъ, кабы никто не обманывалъ, т.-е. кабы войны не было, тогда и Самсонъ Силычъ жилъ бы мирно и честно, никого не надувалъ. А то какъ же ему-то вести себя, когда всѣ кругомъ мошенничаютъ? И кому какая будетъ польза отъ его честности? Не онъ, такъ другіе надуютъ, все единственно. Вотъ разговоръ Большова съ Подхалюзинымъ на этотъ счетъ:

Большовъ. Вотъ ты бы, Лазарь, когда на досугѣ баланцъ для меня сдѣлалъ, учелъ бы розничную по панской-то части, ну, и остальное, что тамъ еще. А то торгуемъ, торгуемъ, братецъ, а пользы ни на грошъ. Али сидѣльцы, что ли, грѣшатъ, таскаютъ роднымъ да любовницамъ; ихъ бы маленечко усовѣщевать. Что такъ, безъ барыша-то небо коптить? Аль сноровки не знаютъ? Пора бы, кажется.

Подхалюзинъ. Какъ же это можно, Самсонъ Силычъ, чтобы сноровки не знать? Кажется, самъ завсегда въ городѣ бываешь и завсегда толкуешь имъ-съ.

Большовъ. Да что же ты толкуешь-то?

Подхалюзинъ. Извѣстное дѣло-съ, стараюсь, чтобы все было въ порядкѣ и какъ слѣдуетъ съ. Вы, говорю, ребята, не зѣвайте: визишь, чуть дѣло подходящее, покупатель, что ли, тумакъ навернулся али цвѣтъ съ узоромъ какой барышнѣ понравился,—взялъ, говорю, и накинулъ рубль или два на аршинъ.

Большовъ. *Чай, братъ, знаешь, какъ нѣмцы въ магазинахъ нашихъ баръ обираютъ. Положимъ, что мы—не нѣмцы, а христіане православные, да тоже пироги-то съ начинкой ѣдимъ.* Такъ ли, а?

Подхалюзинъ. Дѣло понятное-съ. И мѣрять-то, говорю, надо тоже поестественнѣе, тяни да потягивай, только чтобъ, Боже сохрани, какъ не лопнуло; вѣдь, не намъ, говорю, послѣ носить. Ну, а *зазѣвается, такъ не кто виноватъ,* — можно, говорю, и просто черезъ руку лишній аршинъ шмыгнуть.

Большовъ. *Все единственно: вѣдь, портной украдетъ же.* Эхъ, Лазарь, плохи нынче барыши: не прежнія времена.

Ясное дѣло: вся мораль Самсона Силыча основана на правилѣ: чѣмъ другимъ красть, такъ лучше я украду. Правило это, можетъ-быть, не имѣетъ драматическаго интереса,— это ужъ какъ тамъ угодно критикамъ; но оно имѣетъ чрезвычайно обширное приложеніе во многихъ сферахъ нашей

жизни. По этому правилу иной беретъ взятку и кривитъ душой, думая: все равно, — не я, такъ другой возьметъ, и тоже рѣшитъ криво. Другой держитъ свои помѣщичьи права, разсчитывая: все равно,—вѣдь, если не мой управляющій, то окружной станетъ стѣснять моихъ крестьянъ. Иной подличаетъ передъ начальствомъ, соображая: все равно,—вѣдь, если не меня, такъ онъ другого найдетъ для себя, а я только мѣста лишусь. Словомъ—куда ни обернитесь, вездѣ вы встрѣтите людей, дѣйствующихъ по этому правилу: тотъ принимаетъ у себя негодяя; другой обираетъ богатаго простяка; третій сочиняетъ доносъ; четвертый соблазняетъ дѣвушку, — все на основаніи того же милаго соображенія: *„не я, такъ другой“*. Кажется, ясно, что здѣсь такое соображеніе совсѣмъ не имѣетъ значенія примѣра... Оно есть не что иное, какъ выраженіе самаго грубаго и отвратительнаго эгоизма, при совершенномъ отсутствіи какихъ-нибудь высшихъ нравственныхъ началъ.

Слѣдуя внушеніямъ этого эгоизма, и Большовъ задумываетъ свое банкротство. И его эгоизмъ еще имѣетъ для себя извиненіе въ этомъ случаѣ: онъ не только видитъ, какъ другіе наживаются банкротствомъ, но и самъ потерпѣлъ нѣкоторое разстройство въ дѣлахъ именно отъ несостоятельности многихъ должниковъ своихъ. Онъ съ горечью говоритъ объ этомъ Подхалюзину:

„Вотъ ты и знай, Лазарь, какова торговля-то! Ты думаешь что? Такъ вотъ ларомъ и бери деньги. Какъ не деньги, скажетъ,—видалъ, какъ лягушки прыгаютъ. На-ка, говоритъ, вексель. А по векселю-то съ иного что возьмешь, коли съ него взять-то нечего! У меня такихъ-то векселей тысячъ на сто, и съ протестами; только и дѣло, что каждый годъ подкладывай. Хошь за полгину серебра всѣ отдамъ! Должниковъ-то по нимъ, чай, и съ собаками не сыщешь: которые повымерли, а которые поразбѣжались, — некого и въ яму посадить. А и посадишь-то, Лазарь, такъ самъ не радъ: другой такъ обдержится, что его оттедова куревомъ не выкуришь. Мнѣ, говоритъ, и здѣсь хорошо, а ты проваливай“.

Огражденный такими разсужденіями, Большовъ считаетъ себя совершенно въ правѣ сыграть съ кредиторами маленькую штуку. Сначала въ немъ является только неопредѣленное желаніе—увернуться какъ-нибудь отъ платежа денегъ,—ихъ же пришлось много платить въ одно время. Онъ придумываетъ только, „какую бы тутъ механику подсмолить“; но этого ни онъ самъ, ни его совѣтникъ, Ризположенскій, не знаютъ еще хорошенько. На вопросъ Большова, Ризполо-

женскій отвѣчаетъ: „А тамъ, глядя по обстоятельствамъ“. Но тутъ же они придумываютъ — заставить кредиторовъ пойти на сдѣлку, предложить всѣмъ 25 коп. за рубль; если же кто заартачится, такъ прибавить, а то, пожалуй, и всѣ заплатить. Большовъ говоритъ: „Это точно,—поторговаться не мѣшаетъ: не возьмутъ по двадцати-пяти, такъ полтину возьмутъ; а если полтины не возьмутъ, такъ за семь гривенъ обѣими руками ухватятся. Все-таки барышъ. Тамъ что хошь говори, а у меня дочь-невѣста, хоть сейчасъ изъ полы въ полу да съ двора долой. Да и самому-то, братецъ ты мой, отдохнуть пора: проклажались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту къ чорту“. Вы видите, что рѣшеніе Большова очень добродушно и вовсе не обнаруживаетъ сильной злодѣйской натуры: онъ хочетъ кое-что, по силѣ возможности, вытянуть изъ кредиторовъ, въ тѣхъ видахъ, что у него дочь-невѣста, да и самому ему покой нуженъ. Что же тутъ особенно ужаснаго, отъ чего бы Большовъ долженъ былъ необычайное волненіе душевное испытывать? Онъ смотритъ на свой новый замыселъ, какъ на одинъ изъ тѣхъ обмановъ, которыхъ немало довелось ему совершить на своемъ вѣку и которые для него находятся рѣшительно въ порядкѣ вещей. Его одно только и смущаетъ нѣсколько—то, что ему, пожалуй, не удастся чистенько обдѣлать свою операцію. Этого онъ отчасти труситъ и потому все хочетъ устроить съ кредиторами сдѣлку, заплативъ имъ по двадцати-пяти копеекъ. Но Подхалюзинъ говоритъ ему: „А ужъ по мнѣ, Самсонъ Силычъ, коли платить по двадцати-пяти, такъ пристойнѣе совсѣмъ не платить“, и Большовъ,—безъ всякихъ возраженій, очень легко соглашается. „А что,—говоритъ онъ,—вѣдь, и правда, *храбростью-то никого не удивишь*, а лучше тихимъ-то манеромъ дѣльце обдѣлать. *Тамъ, послѣ, суди Владыко на второмъ пришествіи.* Хлопотъ-то только куча“. И ни слова, ни намека на безнравственность задуманнаго дѣла въ отношеніи къ заимодавцамъ Большова. Только о „судѣ Владычнемъ“ вспоминаетъ онъ; но и это такъ, больше для формы: „второе пришествіе“ играетъ здѣсь роль не болѣе той, какую даетъ Большовъ и „милосердію Божію“, въ извѣстной фразѣ своей: „Бонапартъ Бонапартомъ, а мы пуще всего надѣемся на милосердіе Божіе, *да и не о томъ идетъ рѣчь*“. Именно—не о томъ теперь рѣчь: Большова занимаетъ не судъ на второмъ пришествіи, который еще когда-то будетъ,

а предстоящія хлопоты по дѣлу. Хлопоты эти очень смущаютъ его: онѣ вовсе не въ его натурѣ. Надуть разомъ, срывка, хотя бы и самымъ безсовѣстнымъ образомъ,—это ему ничего; но думать, соображать, подготовлять обманъ долгое время, *подводить всю эту механику*—на такую хроническую безсовѣстность его не станетъ, и не станетъ вовсе не потому, чтобы въ немъ мало было безсовѣстности и лукавства,—то и другое находится въ немъ съ избыткомъ,—а просто потому, что онъ не привыкъ серіозно думать о чемъ-нибудь. Онъ самъ это сознаетъ и въ горькую минуту даже высказываетъ Ризположенскому: „То-то вотъ и бѣда, что нашъ братъ, купецъ, дуракъ,—ничего онъ не понимаетъ, а такимъ піявкамъ, какъ ты, это и на́ руку". Можно сказать даже, что и все самодурство Большова происходитъ отъ непривычки къ самобытной и сознательной дѣятельности, къ которой, однакоже, онъ имѣетъ стремленіе, при несомнѣнной силѣ природной смѣтливости. Мы не видимъ изъ комедіи, какъ росъ и воспитывался Большовъ, какія вліянія на него дѣйствовали смолоду; но для насъ ясно, что онъ воспитывался подъ вліяніями тоже неблагопріятными для здороваго, самостоятельнаго развитія. Въ его дѣйствіяхъ постоянно проглядываетъ отсутствіе *своего ума*; видно, что онъ непривыкъ самъ разумно себя возбуждать къ дѣятельности и давать себѣ отчетъ въ своихъ поступкахъ. А между тѣмъ, его теперешнее положеніе, да и самая натура его, не сломившаяся окончательно подъ гнетомъ, а сохранившая въ себѣ духъ противорѣчія, требуетъ теперь самобытности, которая и выражается въ упрямствѣ и произволѣ. Извѣстно, что упрямство есть признакъ безхарактерности; точно такъ и самодурство есть вѣрное доказательство внутренняго безсилія и холопства. Самодуръ все силится *доказать*, что ему никто не указъ, и что онъ, что́ захочетъ, то и сдѣлаетъ; между тѣмъ, человѣкъ, дѣйствительно независимый и сильный душою, никогда не захочетъ этого доказывать: онъ употребляетъ силу своего характера только тамъ, гдѣ это нужно, не растрачивая ее, въ видѣ опыта, на нелѣпыя затѣи. Большовъ съ услажденіемъ все повторяетъ, что онъ воленъ дѣлать, что хочетъ, и никто ему не указъ: какъ-будто онъ самъ все еще не рѣшается вѣрить этому... Видно, что его, можетъ-быть, отъ природы и не слабую личность сильно подавили въ свое время и отняли-таки у него значительную

долю природной силы души. Оттого и, вышедши на свою волю, онъ не умѣетъ управлять собою. Онъ самодурствуетъ и кажется страшенъ, но это только потому, что ни съ какой стороны ему нѣтъ отпора; борьбы онъ не выдержитъ... Эта черта очень ясно представлена Островскимъ въ другой его комедіи, а потому мы еще возвратимся къ ней. Но она замѣтна и въ Большовѣ, который, даже рѣшаясь на такой шагъ, какъ злостное банкротство, не только старается свалить съ себя хлопоты, но просто самъ не знаетъ, что онъ дѣлаетъ, отступается отъ своей выгоды и даже отказывается отъ своей воли въ этомъ дѣлѣ, сваливая все на судьбу... Подхалюзинъ и Ризположенскій, снюхавшись между собою, подстроиваютъ такъ, что, вмѣсто сдѣлки съ кредиторами, Большовъ рѣшается на объявленіе себя несостоятельнымъ. Но Подхалюзинъ для виду отговариваетъ его отъ такого поступка. Что же отвѣчаетъ Большовъ? Онъ входитъ въ азартъ и говоритъ: „Что жъ, деньги заплатить? Да съ чего же ты это взялъ? Да я *лучше все огнемъ сожгу, а ужъ имъ ни копейки не дамъ*. Перевози товаръ, продавай векселя; *пусть тащатъ, воруютъ, кто хочетъ*, а ужъ я имъ не плательщикъ". Подхалюзинъ сожалѣетъ, что „заведеніе у насъ было превосходное, а теперь все должно въ разстройство прійти"; а Большовъ кричитъ: „А тебѣ что за дѣло? не твое было... Ты старайся только, — отъ меня забытъ не будешь". Что обуяло его? Подумаешь, что это взрывъ сильной натуры, что ужъ это такая непреклонная воля... Но, во-первыхъ, что же возбудило въ немъ такую рѣшимость, противную его собственной выгодѣ, и почему воля его выражается только въ крикахъ съ Подхалюзинымъ, а не въ дѣятельномъ участіи въ хлопотахъ? Во-вторыхъ, самъ Большовъ вскорѣ отказывается отъ своей воли. Когда Подхалюзинъ толкуетъ ему, что можетъ случиться „грѣхъ какой", что, пожалуй, и имѣніе отнимутъ и его самого по судамъ затаскаютъ, Большовъ отвѣчаетъ: „Что жъ дѣлать-то братецъ: ужъ, знать, такая воля Божія, противъ нея не пойдешь". Подхалюзинъ отвѣчаетъ: „Это точно-съ, Самсонъ Силычъ", но въ сущности оно не „точно", а очень нелѣпо. Большовъ не только хочетъ свалить съ себя всякую нравственную отвѣтственность, но даже старается не думать о томъ, что затѣваетъ. Принятое рѣшеніе засѣло въ его головѣ крѣпко, но какъ-то не связалось ни съ чѣмъ въ его мысляхъ и понятіяхъ и оста-

лось для него чужимъ и мертвымъ. Онъ даже старается увѣрить, что это не онъ собственно рѣшилъ, а что „такова ужъ воля Божія: противъ нея не пойдешь". Это черта, чрезвычайно распространенная въ нашемъ обществѣ, и у Островскаго она подмѣчена весьма тонко и вѣрно. Она одна говоритъ намъ очень многое и рисуетъ характеръ Большова лучше, чѣмъ могли бы обрисовать его нѣсколько длинныхъ монологовъ. Эта темнота разумѣнія, отвращеніе отъ мышленія, безсиліе воли передъ всякимъ рискованнымъ шагомъ, порождающія этотъ тупоумный, отчаянный фатализмъ и самодурство, противное даже личной выгодѣ, все это чрезвычайно рельефно выдается въ Большовѣ и очень легко объясняетъ отдачу имъ имѣнія своему приказчику и зятю, Подхалюзину,—поступокъ, въ которомъ иные критики хотѣли видѣть непонятный порывъ великодушія и подражаніе королю Лиру. Въ поступкѣ Большова дѣйствительно есть внѣшнее сходство съ поступкомъ Лира, но именно настолько, насколько можетъ комическое явленіе походить на трагическое. Лиръ представляется намъ также жертвой уродливаго развитія; поступокъ его, полный гордаго сознанія, что онъ *самъ, самъ-по-себѣ* великъ, а не по власти, которую держитъ въ своихъ рукахъ, поступокъ этотъ тоже служитъ къ наказанію его надменнаго деспотизма. Но если мы вздумаемъ сравнить Лира съ Большовымъ, то найдемъ, что одинъ изъ нихъ съ ногъ до головы король британскій, а другой—русскій купецъ; въ одномъ все грандіозно и роскошно, въ другомъ все хило, мелко, все разсчитано на мѣдныя деньги. Въ Лирѣ дѣйствительно сильная натура, и общее раболѣпство предъ нимъ только развиваетъ ее одностороннимъ образомъ — не на великія дѣла любви и общей пользы, а единственно на удовлетвореніе собственныхъ личныхъ прихотей. Это совершенно понятно въ человѣкѣ, который привыкъ считать себя источникомъ всякой радости и горя, началомъ и концомъ всякой жизни въ его царствѣ. Тутъ, при внѣшнемъ просторѣ дѣйствій, при легкости исполненія всѣхъ желаній не въ чемъ высказываться его душевной силѣ. Но вотъ его самообожаніе выходитъ изъ всякихъ предѣловъ здраваго смысла: онъ переноситъ прямо на свою личность весь тотъ блескъ, все то уваженіе, которымъ пользовался за свой санъ, онъ рѣшается сбросить съ себя власть, увѣренный, что и послѣ того люди не перестанутъ трепетать его. Это безумное убѣ-

жденіе заставляетъ его отдать свое царство дочерямъ и черезъ то изъ своего варварски-безсмысленнаго положенія перейти въ простое званіе обыкновеннаго человѣка и испытать всѣ горести, соединенныя съ человѣческою жизнью. Тутъ-то, въ борьбѣ, начинающейся вслѣдъ затѣмъ, и раскрываются всѣ лучшія стороны его души; тутъ-то мы видимъ, что онъ доступенъ и великодушію, и нѣжности, и состраданію о несчастныхъ, и самой гуманной справедливости. Сила его характера выражается не только въ проклятіяхъ дочерямъ, но и въ сознаніи своей вины предъ Корделіею, и въ сожалѣніи о своемъ крутомъ нравѣ, и въ раскаяніи, что онъ такъ мало думалъ о несчастныхъ бѣднякахъ, такъ мало любилъ истинную честность. Оттого-то Лиръ и имѣетъ такое глубокое значеніе. Смотря на него, мы сначала чувствуемъ ненависть къ этому безпутному деспоту; но, слѣдя за развитіемъ драмы, все болѣе примиряемся съ нимъ, какъ съ человѣкомъ, и оканчиваемъ тѣмъ, что исполняемся негодованіемъ и жгучею злобой уже *не къ нему*, а *за него* и за цѣлый міръ—къ тому дикому, нечеловѣческому положенію, которое можетъ доводить до такого безпутства даже людей подобныхъ Лиру. Не знаемъ, какъ на другихъ, но, по крайней мѣрѣ, на насъ „Король Лиръ“ постоянно производилъ такое впечатлѣніе.

Въ одной изъ критикъ увѣряли, что и Островскій хотѣлъ своего Большова возвысить до подобнаго же трагизма и собственно для этого вывелъ Самсона Силыча изъ ямы, въ четвертомъ актѣ, и заставилъ его упрашивать дочь и зятя объ уплатѣ за него 25 копеекъ кредиторамъ. Такое сужденіе обнаруживаетъ полное непониманіе не только Шекспира и Островскаго, но и вообще нравственнаго свойства драматическихъ положеній. По нашему мнѣнію, въ послѣднемъ актѣ Большовъ нисколько не возвышается въ глазахъ читателя и нисколько не теряетъ своего комическаго характера. Въ послѣднихъ сценахъ есть трагическій элементъ, но онъ участвуетъ здѣсь чисто-внѣшнимъ образомъ, такъ, какъ есть онъ, напр., и въ появленіи жандарма въ „Ревизорѣ“... Но въ чемъ же здѣсь выразился тотъ внутренній трагизмъ, который заставилъ бы страдать за Большова и примирилъ бы съ его личностью? Гдѣ слѣды той душевной борьбы, которая бы очистила и просвѣтлила заросшую тиной самодурства натуру Большова? Нѣтъ этихъ слѣдовъ, да и не съ

тѣмъ писана комедія, чтобъ указывать ихъ; послѣдній актъ ея мы считаемъ только послѣднимъ мастерскимъ штрихомъ, окончательно рисующимъ для насъ натуру Большова, которая была остановлена въ своемъ естественномъ ростѣ враждебными, подавляющими обстоятельствами и осталась равно безсильною и ничтожною, какъ при обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ широкой и самобытной дѣятельности, такъ и въ напасти, опять ее скрутившей. Для насъ и въ послѣднемъ актѣ Большовъ не перестаетъ быть комиченъ: ни одного свѣтлаго луча не проникло въ эту темную душу послѣ переворота, навлеченнаго имъ самимъ на себя. Онъ нимало не сознаетъ гадости своего поступка, онъ не мучится внутреннимъ стыдомъ; его терзаетъ только стыдъ внѣшній: кредиторы таскаютъ его по судамъ, и мальчишки на него показываютъ пальцами. „Каково сидѣть-то въ ямѣ (говоритъ онъ), каково по улицѣ-то итти съ солдатомъ! Вѣдь, меня сорокъ лѣтъ въ городѣ-то всѣ знаютъ, сорокъ лѣтъ всѣ въ поясъ кланялись, а теперь мальчишки пальцами показываютъ". Вотъ что у него на первомъ планѣ; а на второмъ является въ его мысляхъ Иверская, но и то не надолго: воспоминаніе о ней тотчасъ смѣняется у него опасеніемъ, чтобы въ Сибирь не угодить. Вотъ его слова: „А тамъ, мимо Иверской: какъ мнѣ взглянуть на нее, матушку? Знаешь, Лазарь: Іуда, вѣдь, онъ тоже Христа за деньги продалъ, какъ мы совѣсть за деньги продаемъ... *А что ему за это было?.. Вѣдь, я злостный, умышленный... Вѣдь, меня въ Сибирь сошлютъ. Господи! Коли такъ не дадите денегъ, дайте Христа ради". (Плачетъ.)*—Жаль, что *Своихъ людей* не даютъ на театрѣ: талантливый актеръ могъ бы съ поразительною силой выставить весь комизмъ этого самодурнаго смѣшенія Иверской съ Іудою, ссылки въ Сибирь съ христарадничествомъ. Комизмъ этой тирады возвышается еще болѣе предыдущимъ и дальнѣйшимъ разговоромъ, въ которомъ Подхалюзинъ равнодушно и ласково отказывается платить за Большова болѣе десяти копеекъ, а Большовъ то попрекаетъ его неблагодарностью, то грозитъ ему Сибирью, напоминая, что имъ обоимъ одинъ конецъ, то спрашиваетъ его и дочь, есть ли въ нихъ христіанство, то выражаетъ досаду на себя за то, что опростоволосился, и приводитъ пословицу: „Сама себя раба бьетъ, коль не чисто жнетъ",—то, наконецъ, дѣлаетъ юродивое

обращеніе къ дочери: „Ну вотъ, вы теперь будете богаты, заживете по-барски; по гуляньямъ это, по баламъ—дьявола тѣшить. А не забудьте вы, Алимпіяда Самсоновна, что есть клѣтки съ желѣзными рѣшетками, сидятъ тамъ бѣдные-заключенные... Не забудьте насъ, бѣдныхъ-заключенныхъ". По нашему мнѣнію, вся эта сцена очень близко подходитъ къ той сценѣ въ „Ревизорѣ", гдѣ городничій ругаетъ купцовъ, что они не помнятъ, какъ онъ имъ плутовать помогалъ. Только у Островскаго комическія черты проведены здѣсь нѣсколько тоньше, и притомъ надо сознаться, что внутренній комизмъ личности Большова нѣсколько замаскировывается въ послѣднемъ актѣ несчастнымъ его положеніемъ, изъ-за котораго проницательные критики и навязали Островскому такія идеи и цѣли, какихъ онъ, вѣроятно, никогда и во снѣ не видѣлъ. Хороши должны быть нравственныя понятія критика, который полагаетъ, что Большовъ въ послѣднемъ актѣ выведенъ авторомъ для того, чтобы привлечь къ нему *сочувствіе* зрителей... По нашему мнѣнію, Большовъ къ концу пьесы оказывается пошлѣе и ничтожнѣе, нежели во все ея продолженіе. Мы видимъ, что даже несчастіе и заключеніе въ тюрьму нимало не образумили его, не пробудили человѣческихъ чувствъ, и справедливо заключаемъ, что видно они ужъ навѣкъ въ немъ замерли, что такъ имъ ужъ и спать сномъ непробуднымъ. Онъ и теперь говоритъ, что 25 копеекъ отдать кредиторамъ—много, да что ужъ дѣлать-то, когда меньше не берутъ. „Потомятъ года полтора въ ямѣ-то, да каждую недѣлю будутъ съ солдатомъ по улицамъ водить, а еще, того гляди, въ острогъ перемѣстятъ, такъ радъ будешь и полтину дать". Не явно ли здѣсь комическое безсиліе этой натуры, не могущей ни рѣшиться на смѣлый шагъ, ни выдержать продолжительной борьбы? Не явно ли и нравственное ничтожество этого человѣка, у котораго ни разу во всей пьесѣ не проявлялось чувства законности и сознанія долга? Мало этого: въ его грубой душѣ замерли даже чувства отца и мужа; это мы видѣли и въ первыхъ актахъ пьесы, видимъ и въ послѣднемъ. Горе жены нимало не трогаетъ его, а возмутительная грубость дочери не оскорбляетъ отцовскаго чувства. Олимпіада Самсоновна говоритъ ему: „Я у васъ, тятенька, до двадцати лѣтъ жила,—свѣту не видала; что же мнѣ прикажете отдавать вамъ деньги, а самой опять

въ ситцевыхъ платьяхъ ходить?“ Большовъ не находитъ ничего лучшаго сказать на это, какъ только попрекнуть дочь и зятя невольнымъ благодѣяніемъ, которое онъ имъ сдѣлалъ, передавъ въ ихъ руки свое имѣніе: „Вѣдь, я,—говоритъ,—у васъ не милостыню прошу, а свое же добро“. Неужели и это отношеніе отца къ дочери не комично? А мораль, которую выводитъ для себя Большовъ изъ всей своей исторіи,—высшій пунктъ, до котораго могъ онъ подняться въ своемъ нравственномъ развитіи: „Не гонись за большимъ, будь доволенъ тѣмъ, что есть; а за большимъ погонишься, и послѣднее отнимутъ!“ Какую степень нравственнаго достоинства указываютъ намъ эти слова! Человѣкъ, потерпѣвшій отъ собственнаго злостнаго банкротства, не находитъ въ этомъ обстоятельствѣ другого нравственнаго урока, кромѣ сентенціи, что „не нужно гнаться за большимъ, чтобы своего не потерять“! И черезъ минуту къ этой сентенціи онъ прибавляетъ сожалѣніе, что не умѣлъ ловко обдѣлать дѣльце,—приводитъ пословицу: „сама себя раба бьетъ, коль нечисто жнетъ“. Какъ сильно выражается въ этомъ рѣшительная безсмысленность и нравственное ничтожество этой натуры, которая въ началѣ пьесы могла еще кому-нибудь показаться сильною, судя по тому страху, какой она внушаетъ всѣмъ окружающимъ!... И нашлись критики, рѣшившіе, что послѣдній актъ *Своихъ людей* долженъ возбудить въ зрителяхъ сочувствіе къ Большову!

Но что же, въ самомъ дѣлѣ, даетъ намъ это лицо комедіи? Неужели смыслъ его ограничивается тѣмъ, что „вотъ, дескать, посмотрите, какіе бываютъ плохіе люди“? Нѣтъ, это было бы слишкомъ мало для главнаго лица серіозной комедіи, слишкомъ мало для таланта такого писателя, какъ Островскій. Нравственный смыслъ впечатлѣнія, какое выносишь изъ внимательнаго разсмотрѣнія характера Большова, гораздо глубже. Мы уже имѣли случай замѣтить, что одна изъ отличительныхъ чертъ таланта Островскаго состоитъ въ умѣньи заглянуть въ самую глубь души человѣка и подмѣтить не только образъ его мыслей и поведенія, но самый процессъ его мышленія, самое зарожденіе его желаній. Это самое умѣнье видимъ мы и въ обработкѣ характера Большова и находимъ, что результатомъ психическихъ наблюденій автора оказалось чрезвычайно-гуманное воззрѣніе на самыя, повидимому, мрачныя явленія жизни и грубокое чувство уваженія къ

нравственному достоинству человѣческой натуры,—чувство, которое сообщаетъ онъ и своимъ читателямъ. Въ Большовѣ, этомъ *злостномъ* банкротѣ, мы не видимъ ничего злостнаго, чудовищнаго, ничего такого, за что его слѣдовало бы считать извергомъ. Авторъ сводитъ насъ съ офиціальной, юридической точки зрѣнія и вводитъ въ самую сущность совершающагося факта, заставляетъ безчестный замыселъ создаваться и расти передъ нашими глазами. И что́ же мы видимъ въ исторіи этого замысла, столь ужаснаго въ юридическомъ смыслѣ? Ни тѣни сатанинской злобы, ни признака іезуитскаго коварства! Все такъ просто, добродушно, глупо! Самсонъ Силычъ — вовсе не порожденіе ада, а просто грубое животное, въ которомъ смолоду заглушены всѣ симпатическія стороны натуры и не развиты никакія нравственныя понятія. Въ его характерѣ нѣтъ того, что называютъ личною иниціативой или свободнымъ возбужденіемъ себя къ дѣятельности; онъ живетъ такъ, какъ живется, не разсчитывая и не загадывая много. Самодурствуетъ онъ потому, что встрѣчаетъ въ окружающихъ не твердый отпоръ, а постоянную покорность; надуваетъ и притѣсняетъ другихъ потому, что чувствуетъ только, какъ это *ему* удобно, но не въ состояніи почувствовать, какъ тяжело это *имъ*; на банкротство рѣшается онъ опять потому, что не имѣетъ ни малѣйшаго представленія объ общественномъ значеніи такого поступка. Самый законъ является для него не представителемъ высшей правды, а только внѣшнимъ препятствіемъ, камнемъ, который нужно убрать съ дороги. Самая совѣсть является у него не во внутреннемъ голосѣ, а въ насмѣшкахъ прохожихъ, во взглядѣ на Иверскую, въ опасеніи ссылки въ Сибирь. Короче,—въ Большовѣ вы видите ясно, что его преступная, безобразная дѣятельность происходитъ именно оттого, что въ немъ не воспитанъ человѣкъ. Онъ гадокъ для насъ именно тѣмъ, что въ немъ видно почти полное отсутствіе человѣческихъ элементовъ; и въ то же время онъ пошлъ и смѣшонъ искаженіемъ и тѣхъ зачатковъ человѣчности, какіе были въ его натурѣ. Но эта самая гадость и пошлость, представленная слѣдствіемъ неразвитости натуры, указываетъ намъ необходимость правильнаго, свободнаго развитія и возстановляетъ передъ нами достоинство человѣческой природы, убѣждая насъ, что низости и пре-

ступленія не лежатъ въ природѣ человѣка и не могутъ быть удѣломъ естественнаго развитія.

Достиженію этого же результата прекрасно содѣйствуетъ все развитіе пьесы и всѣ остальныя лица, группирующіяся около Большова Во всей пьесѣ нѣтъ никакихъ особенныхъ махинацій, нѣтъ искусственнаго развитія дѣйствія, въ угоду схоластическимъ теоріямъ и въ ущербъ дѣйствительной простотѣ и жизненности характеровъ. Всѣ лица дѣйствуютъ въ своемъ смыслѣ добросовѣстно, и ни одно не впадаетъ въ тонъ мелодрамнаго героя. Достиженію постыдной цѣли не служатъ здѣсь лучшія способности ума и благороднѣйшія силы души въ своемъ высшемъ развитіи; напротивъ, вся пьеса ясно показываетъ, что именно недостатокъ этого развитія и доводитъ людей до такихъ мерзостей. Во всѣхъ лицахъ замѣтно одно человѣческое стремленіе — высвободиться изъ самодурнаго гнета, подъ которымъ всѣ выросли и живутъ. Большовъ внѣшнимъ образомъ избавился отъ него; но слѣды воспитанія, стѣсняющаго мысль и волю, остались и въ немъ на всю жизнь и сдѣлали его безсмысленнымъ деспотомъ. И до того заразителенъ этотъ нелѣпый порядокъ жизни „темнаго царства", что каждая, самая придавленная личность, какъ только освободится хоть немножко отъ чужого гнета, такъ и начинаетъ сама стремиться угнетать другихъ. Эти дикія отношенія проведены очень искусно по всей комедіи Островскаго; вотъ почему и сказали мы, что въ ней видимъ цѣлую іерархію самодурства. Въ самомъ дѣлѣ, Большовъ безпрекословно царитъ надъ всѣми; Подхалюзинъ боится хозяина, но уже покрикиваетъ на Ѳоминишну и бьетъ Тишку; Аграфена Кондратьевна, простодушная и даже глуповатая женщина, какъ огня боится мужа, но съ Тишкой тоже расправляется довольно энергически, да и на дочь покрикиваетъ, и если бы сила была, такъ непремѣнно бы сжала ее въ ежовыхъ рукавицахъ. Посмотрите, какъ она расходилась, напримѣръ, во второй сценѣ перваго акта.—„Али ты думаешь,—кричитъ она дочери, — что я не властна надъ тобой приказывать? Говори, безстыжіе твои глаза, съ чего у тебя взглядъ-то такой завистливый? Что ты, прытче матери хочешь быть? У меня, вѣдь, недолго: я и на кухню горшки парить пошлю. Ишь ты! А! Ахъ, матушки вы мои! Посконный сарафанъ сошью, да вотъ на голову тебѣ и надѣну!"

Липочка огрызается, а Аграфена Кондратьевна повторяетъ: „Уступи верхъ матери! словечко пикнешь, такъ языкъ ниже пятокъ пришью“. Но Липочка почерпаетъ для себя силы душевныя въ сознаніи того, что она *образованная*, и потому мало обращаетъ вниманія на мать и въ распряхъ съ ней всегда остается побѣдительницей: начнетъ ее попрекать, что она не такъ воспитана, да расплачется, мать-то и струситъ и примется сама же ублажать обиженную дочку. Липочка явно обнаруживаетъ наклонность къ самому грубому и возмутительному деспотизму. Она говоритъ матери: „Я вижу, что я другихъ образованнѣе; что жъ мнѣ, потакать вашимъ глупостямъ? Какъ же! Есть оказія!“ А съ Подхалюзинымъ, при помолвкѣ, они уговариваются: „Старики почудили на своемъ вѣку, — *будетъ: теперь намъ пора*“... Одинъ только Тишка не обнаружилъ еще никакихъ стремленій къ преобладанію, а, напротивъ, служитъ мишенью, въ которую направляются самодурныя замашки цѣлаго дома: „У насъ,— жалуется онъ, — коли не тотъ, такъ другой, коли не самъ, такъ сама дастъ вытрепку; а то вотъ приказчикъ Лазарь, а то вотъ Ѳоминишна, а то вотъ... всякая шваль надъ тобой командуетъ“. Слѣды этого командованья съ безпрестанными вытрепками уже обнаруживаются въ Тишкѣ: онъ уже выучился мошенничать и воровать. А когда наворуетъ денегъ побольше, то и самъ, конечно, примется командовать такъ же безпутно и жестоко, какъ и имъ командовали. Его карьера очень искусно обозначена Островскимъ въ немногихъ словахъ, произносимыхъ Тишкою на сценѣ, гдѣ онъ считаетъ свои деньги, оставшись одинъ. „Полтина серебромъ — это Лазарь далъ (за то, что за водкой сходилъ тихонько); да намедни, какъ съ колокольни упалъ, Аграфена Кондратьевна гривенникъ дала; да четвертакъ въ орлянку выигралъ, да третьевось хозяинъ забылъ на прилавкѣ цѣлковый“. Вотъ источники пріобрѣтенія для Тишки: сбѣгать за водкой, упасть съ колокольни, выиграть, украсть. Какое нравственное чувство разовьется въ немъ при такой жизни? Какъ онъ будетъ сочувствовать страданіямъ другихъ, когда его самого утѣшали гривенничками за то, что онъ съ колокольни упалъ! Ясно, что и изъ него со временемъ выйдетъ Подхалюзинъ... Такова ужъ почва этого „темнаго царства“, что на ней другихъ продуктовъ не можетъ вырасти!

Но что такое самъ Подхалюзинъ? Вѣдь, это сознательный мошенникъ, съ развитыми понятіями! Не составляетъ ли онъ противорѣчія общему впечатлѣнію комедіи, заставляющей насъ признать всѣ преступленія въ этой средѣ слѣдствіемъ темноты разумѣнія и неразвитости человѣческихъ сторонъ характера? Напротивъ, Подхалюзинъ окончательно убѣждаетъ насъ въ вѣрности этого впечатлѣнія. Въ немъ мы видимъ, что онъ именно настолько и сносенъ еще, насколько коснулось его вѣяніе человѣческой идеи. Онъ не очертя голову бросается въ обманъ, онъ обдумываетъ свои предпріятія, и вотъ мы видимъ, что сейчасъ же въ немъ ужъ является и отвращеніе отъ обмана въ нагомъ его видѣ, и стараніе замазать свое мошенничество разными софизмами, и желаніе пріискать для своего плутовства какія-нибудь нравственныя основанія, и въ самомъ обманѣ соблюсти видимую, юридическую добросовѣстность. Есть вещи, о которыхъ онъ вовсе и не думалъ, — какъ, напримѣръ, обмѣриваніе и надуваніе покупателей въ лавкѣ, — такъ тамъ онъ и дѣйствуетъ совершенно равнодушно, безъ зазрѣнія совѣсти. Но когда вышелъ случай необыкновенный, случай попользоваться большимъ кушемъ изъ имѣнія хозяина, тутъ Подхалюзинъ задумался и началъ себя оправдывать.

„Говорятъ, надо совѣсть знать,—разсуждаетъ онъ:—да извѣстное дѣло, *надо совѣсть знать, да въ какомъ это смыслѣ понимать* нужно? Противъ хорошаго человѣка у всякаго есть совѣсть, *а коли онъ самъ другихъ обманываетъ, такъ какая же тутъ совѣсть*! Самсонъ Силычъ купецъ богатѣйшій, и теперича все это дѣло, можно сказать, такъ, для препровожденія времени затѣялъ. А я человѣкъ бѣдный! Если и попользуюсь въ этомъ дѣлѣ чѣмъ-нибудь лишнимъ, такъ и грѣха нѣтъ никакого, *потому онъ самъ несправедливо поступаетъ, противъ закона идетъ*. А мнѣ что его жалѣть? Вышла линія,—ну, и не плошай: онъ свою *политику ведетъ, а ты свою статью гони*. Еще то ли бы я съ нимъ сдѣлалъ, да не приходится“.

Видите, что и Подхалюзинъ не извергъ, и онъ совѣсть имѣетъ, только понимаетъ ее по-своему. Онъ, какъ и всѣ прочіе, сбитъ съ толку военнымъ положеніемъ всего „темнаго царства“; обманъ свой онъ обдумываетъ, — не какъ обманъ, а какъ ловкую и, въ сущности, справедливую, хотя юридически и незаконную штуку; прямой же неправды онъ не любитъ: свахѣ онъ обѣщалъ двѣ тысячи и даетъ ей сто цѣлковыхъ, упираясь на то, что ей не за что давать болѣе. Ризположенскому онъ отдаетъ деньги по мелочи, и, только уже передавъ ему нѣсколько сотъ, отказывается отъ даль-

нѣйшей уплаты, находя, что ему „пора ужъ и честь знать". За самого Большова онъ не вовсе отказывается платить кредиторамъ, но только разсчитываетъ, что 25 копеекъ— много. Притомъ же, въ этомъ случаѣ онъ имѣетъ видимое основаніе для своего поведенія: онъ помнитъ, что самъ Большовъ говорилъ ему, и ссылается на его же собственныя слова. Отдавая за него дочь, Самсонъ Силычъ ведетъ такой разговоръ съ будущимъ зятемъ:

Большовъ. Свое добро, самъ нажилъ... кому хочу, тому даю... Да что тутъ разговаривать-то! На милость суда нѣтъ! Бери все, только насъ со старухой корми, да кредиторамъ заплати копеекъ по десяти.

Подхалюзинъ. Стоитъ ли, тятенька, объ этомъ говорить-съ. Нешто я не чувствую? Свои люди - сочтемся.

Большовъ. Говорятъ тебѣ, бери все, да и кончено дѣло! И никто мнѣ не указъ! Заплати только кредиторамъ. Заплатишь?

Подхалюзинъ. Помилуйте, тятенька, первымъ долгомъ-съ.

Большовъ. Только ты смотри—имъ много не давай. *А то ты, чай, радъ сдуру-то все отдать.*

Подхалюзинъ. Да ужъ тамъ, тятенька, сочтемся. Помилуйте, свои люди.

Большовъ. То-то же. *Ты имъ больше десяти копеекъ не давай.* Будетъ съ нихъ.

Подхалюзинъ очень хорошо вошелъ въ эти соображенія и кротко напоминаетъ ихъ Большову, когда тотъ является къ нему изъ ямы. Претензіи кредиторовъ на 25 коп. онъ не признаетъ справедливою, напротивъ, онъ находитъ, что они „зазнались больно: а не хотятъ ли восемь копѣекъ въ пять лѣтъ". Проникнутый этими мыслями, онъ радушно угощаетъ тестя, вмѣстѣ съ нимъ ругаетъ кредиторовъ, выражаетъ надежду, что „какъ-нибудь отдѣлаемся", ибо „Богъ милостивъ"; но заплатить требуемое кредиторами отказывается, потому что они „просятъ цѣну совсѣмъ несообразную". Съ его точки зрѣнія онъ поступаетъ ничуть не безчестно и не жестоко, а только благоразумно и твердо. Онъ даже выказываетъ значительную степень великодушія, соглашаясь платить за Большова 15 копеекъ вмѣсто 10-ти и рѣшаясь даже самъ ѣхать къ кредиторамъ, чтобъ ихъ упрашивать. Видно, что онъ не лишенъ даже чувства состраданія и нѣкоторой совѣстливости; но ему все хочется отжилить поболѣе, и онъ надѣется, что авось уладитъ дѣло повыгоднѣе Здѣсь-то всего болѣе и выказывается въ Подхалюзинѣ мелкій плутъ, образовавшійся прямо вслѣдствіе деспотическаго гнета, тяготѣвшаго надъ нимъ съ малолѣтства. У него нѣтъ и разбойнической рѣшимости отказаться отъ

всякой уплаты и бросить все это дѣло Большова на произволъ судьбы, съ тѣмъ, чтобы рѣшиться на новыя похожденія, съ новыми хлопотами и рискомъ; нѣтъ и умнаго расчета, отличающаго мошенниковъ высокаго полета и заставляющаго ихъ брать изъ всякой спекуляціи хоть что-нибудь, только бы покончить дѣло. Ловкій мошенникъ большой руки, пустившись на такое дѣло, какъ злостное банкротство, не пропустилъ бы случая отдѣлаться 25 копейками за рубль; онъ тотчасъ покончилъ бы всю аферу этою выгодною сдѣлкой и былъ бы очень доволенъ. Да и какъ же не быть довольнымъ, успѣвъ получить задаромъ три четверти чужого имѣнія? Кромѣ русскаго доморощеннаго плута, всякій удовлетворился бы такимъ результатомъ. Настоящій мошенникъ, по призванію посвятившій себя этой спеціальности, не старается изъ каждаго обмана вытянуть и выторговать себѣ фортуну, не возится изъ-за гроша съ аферой, которая доставила уже рубли; онъ знаетъ, что за теперешнею спекуляціей ожидаетъ его другая, за другою представится третья и т. д., и потому онъ спѣшитъ обдѣлывать одно дѣло, чтобы, взявъ съ него что можно, перейти къ другому. Совсѣмъ не такъ поступаетъ нашъ мелкій плутъ, порожденный и возращенный безсмысленнымъ гнетомъ самодурства. Въ немъ нѣтъ именно этой размашистости, которою такъ всѣ восхищаются почему-то въ русскомъ человѣкѣ, но зато много безтолковаго сквалыжничества. Въ поступкѣ Подхалюзина могутъ видѣть нѣкоторые тоже широту русской натуры: „Вотъ, дескать, какой,—коли брать и изъ чужого добра, такъ и забирай больше, бери не три четверти, а девять десятыхъ“... Но въ самомъ-то дѣлѣ, Подхалюзинъ выказываетъ здѣсь именно отсутствіе предпріимчивости и увѣренности въ себѣ. Онъ пользуется своимъ обманомъ, какъ находкой, которая разъ попалась, а въ другой разъ не попадется, пожалуй. Поэтому-то онъ и не разстается съ своею аферой, все выжидая, нельзя ли изъ нея еще чего-нибудь вытянуть: недаромъ же онъ рисковалъ въ самомъ дѣлѣ! Ему такъ непривыченъ, такъ тяжелъ всякій рискъ, что онъ боится и думать о вторичной попыткѣ подобнаго рода... Теперь ему только бы устроиться, а тамъ онъ пойдетъ ужъ на мелкіе обманы, какъ и обѣщается въ заключительномъ обращеніи къ публикѣ, по первому изданію комедіи: „А вотъ мы магазинчикъ открываемъ! Милости

просимъ: малаго ребенка пришлете,—въ луковицѣ не обочтемъ-съ". Это значитъ, что онъ удовольствуется тою практикой, которую прежде *объяснялъ* приказчикамъ Большова... Развѣ опять *подойдетъ линія*, гдѣ будетъ что-нибудь плохо лежать: тутъ онъ и побольше стяпетъ себѣ, что успѣетъ.

Такимъ образомъ, и Подхалюзинъ не представляетъ собою изверга, не есть квинтъ-эссенція всѣхъ мерзостей. Всего гаже онъ въ той сценѣ, гдѣ онъ плачетъ передъ Большовымъ, увѣряя его въ своей привязанности и пр. Но, вѣдь, тутъ онъ подмазывается къ Самсону Силычу не столько изъ корысти, сколько для того, чтобы выманить у старика обѣщаніе выдать за него Липочку, которую—надо замѣтить—Подхалюзинъ любитъ сильно и искренно... Онъ это ясно доказываетъ своимъ обращеніемъ съ ней въ четвертомъ актѣ, т.-е. когда она уже сдѣлалась его женою... А для любви такія ли хитрости прощаемъ мы самымъ нравственнымъ героямъ, въ самыхъ романическихъ исторіяхъ.

Нечего распространяться о томъ, что общему впечатлѣнію пьесы нимало не вредитъ и Липочка, при всей своей нравственной уродливости. Находятъ, что ея обращеніе съ матерью и потомъ сцена съ отцомъ въ послѣднемъ актѣ переходятъ предѣлы комическаго, какъ слишкомъ омерзительныя. Намъ вовсе этого не кажется, потому что мы не можемъ признать святости кровныхъ отношеній въ такомъ семействѣ, какъ у Большова. На Липочкѣ тоже видна печать домашняго деспотизма: только при немъ образуются эти черствыя, бездушныя натуры, эти холодныя, отталкивающія отношенія къ роднымъ; только при немъ возможно такое совершенное отсутствіе всякаго нравственнаго смысла, какое замѣчается у Липочки. А за исключеніемъ того, что̀ осталось въ Липочкѣ, какъ слѣдъ давившаго ее деспотизма, она ничуть не хуже большей части нашихъ барышень, не только въ купеческомъ, но даже и въ дворянскомъ сословіи. Многія ли изъ нихъ не наполняютъ всей своей жизни одною внѣшностью, не утѣшаются въ горѣ нарядами, не забываются за танцами, не мечтаютъ объ офицерахъ? Если я на своемъ вѣку имѣлъ разговоръ съ тремя образованными барышнями, то отъ двухъ изъ нихъ ужъ конечно слышалъ я повтореніе извѣстнаго монолога Липочки: „То ли дѣло отличаться съ военными! Ахъ, прелесть, восхищеніе! И усы, и эполеты, и мундиръ, а у иныхъ даже шпоры съ колокольчиками!..

Ужъ какое же есть сравненіе—военный или штатскій? Военный ужъ сейчасъ видно: и ловкость, и все; а штатскій что? Такъ какой-то, неодушевленный"... Какъ же можно барышень, произносящихъ подобные монологи, серіозно обвинять за что-нибудь? Не ясно ли, что Липочка все, что ни сдѣлаетъ, сдѣлаетъ по совершенной неразвитости, нравственной и умственной, а никакъ не по злонамѣренности или природному звѣрству? Чѣмъ же возмущаться въ личности этой несчастной?

Вообще, чѣмъ можно возмущаться въ *Своихъ людяхъ*? Не людьми и не частными ихъ поступками, а развѣ тѣмъ печальнымъ безсмысліемъ, которое тяготѣетъ надъ всѣмъ ихъ бытомъ. Люди, какъ мы видѣли, показаны намъ въ комедіи съ человѣческой, а не съ юридической стороны, и потому впечатлѣніе самыхъ ихъ преступленій смягчается для насъ. Офиціальнымъ образомъ мы видимъ здѣсь злостнаго банкрота, еще болѣе злостнаго приказчика, ограбившаго своего хозяина, ехидную дочь, хладнокровно отправляющую въ острогъ своего отца,—и всѣ эти лица мы клеймимъ именами злодѣевъ и изверговъ. Но авторъ комедіи вводитъ насъ въ самый домашній бытъ этихъ людей, раскрываетъ передъ нами ихъ душу, передаетъ ихъ логику, ихъ взглядъ на вещи, и мы невольно убѣждаемся, что тутъ нѣтъ ни злодѣевъ, ни изверговъ, а все люди очень обыкновенные, какъ всѣ люди, и что преступленія, поразившія насъ, суть вовсе не слѣдствія исключительныхъ натуръ, по своей сущности наклонныхъ къ злодѣйству, а просто неизбѣжные результаты тѣхъ обстоятелвствъ, посреди которыхъ начинается и проходитъ жизнь людей, обвиняемыхъ нами. Слѣдствіемъ такого убѣжденія является въ насъ уваженіе къ человѣческой натурѣ и личности вообще, смѣхъ и презрѣніе въ отношеніи къ тѣмъ уродливымъ личностямъ, которыя дѣйствуютъ въ комедіи и въ офиціальномъ смыслѣ внушаютъ ужасъ и омерзѣніе, и, наконецъ,—глубокая, непримиримая ненависть къ тѣмъ вліяніямъ, которыя такъ задерживаютъ и искажаютъ нормальное развитіе личности. Затѣмъ мы прямо переходимъ къ вопросу: что же это за вліянія и какимъ образомъ они дѣйствуютъ? Комедія ясно говоритъ намъ, что всѣ вредныя вліянія состоятъ здѣсь въ дикомъ, безправномъ самовольствѣ однихъ надъ другими. Самый способъ дѣйствія этихъ вліяній объясняется намъ изъ комедіи очень просто. Мы видѣли, что Большовъ вовсе не сильная натура, что онъ не-

способенъ къ продолжительной борьбѣ, да и вообще не любитъ хлопотъ; видѣли мы также, что Подхалюзинъ—человѣкъ смѣтливый и вовсе не привязанный къ своему хозяину; видѣли, что и всѣ домашніе не очень-то расположены къ Самсону Силычу, кромѣ развѣ жены его, совершенно ничтожной и глупой старухи. Что же мѣшаетъ имъ составить открытую оппозицію противъ неистовства Большова? То, что они матеріально зависятъ отъ него, ихъ благосостояніе связано съ его благосостояніемъ? Но въ такомъ случаѣ, отчего Подхалюзинъ, радѣя о пользахъ хозяина, не удерживаетъ его отъ опаснаго шага, на который тотъ рѣшается по неразумію, „такъ, для препровожденія времени"? Потому, конечно, что Подхалюзинъ самъ надѣется тутъ нагрѣть руки? Да,—но здѣсь-то и раскрывается въ полной силѣ весь ужасъ нелѣпыхъ отношеній, изображенныхъ намъ въ *Своихъ людяхъ*. Видите, здѣсь дѣло не въ личности самодура, угнетающаго свою семью и всѣхъ окружающихъ. Онъ безсиленъ и ничтоженъ самъ-по-себѣ; его можно обмануть, устранить, засадить въ яму, наконецъ... Но дѣло въ томъ, что съ уничтоженіемъ его не исчезаетъ самодурство. Оно дѣйствуетъ заразительно, и сѣмена его западаютъ въ тѣхъ самыхъ, которые отъ него страдаютъ. Безправное, оно подрываетъ довѣріе къ праву; темное и ложное въ своей основѣ, оно гонитъ прочь всякій лучъ истины; безсмысленное и капризное, оно убиваетъ здравый смыслъ и всякую способность къ разумной, цѣлесообразной дѣятельности; грубое и гнетущее, оно разрушаетъ всѣ связи любви и довѣренности, уничтожаетъ даже довѣріе къ самому себѣ и отучаетъ отъ честной, открытой дѣятельности. Вотъ чѣмъ именно и опасно оно для общества! Самодура уничтожить было бы нетрудно, если бъ энергически принялись за это честные люди. Но бѣда въ томъ, что, подъ вліяніемъ самодурства, самые честные люди мельчаютъ и истомляются въ рабской бездѣятельности, а дѣломъ занимаются только люди, въ которыхъ собственно человѣчныя стороны характера наименѣе развиты. И дѣятельность этихъ людей, вслѣдствіе совершеннаго извращенія ихъ понятій подъ вліяніемъ самодурства, имѣетъ тоже характеръ мелкій, частный и грубо-эгоистическій. Цѣль ихъ не та, чтобы уничтожить самодурство, отъ котораго они такъ страдаютъ, а та, чтобы только какъ-нибудь повалить самодура и самимъ занять его мѣсто. И вотъ—Большовъ угодилъ

въ яму, и вмѣсто него явился Подхалюзинъ и благоденствуетъ на тѣхъ же правахъ [1]).

Таковы общіе выводы, представляемые намъ комедіею *Свои люди—сочтемся*. Мы остановились на ней особенно долго по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, о ней до сихъ поръ не было говорено ничего серіознаго; во-вторыхъ, краткія замѣтки, какія дѣлались о ней мимоходомъ, постоянно обнаруживали какое-то странное пониманіе смысла пьесы; въ-третьихъ, сама-по-себѣ комедія эта принадлежитъ къ наиболѣе яркимъ и выдержаннымъ произведеніямъ Островскаго; въ-четвертыхъ, не будучи играна на сценѣ, она менѣе популярна въ публикѣ, нежели другія его пьесы... Кромѣ того, она требовала болѣе подробнаго разсмотрѣнія и потому, что въ ней изображаются подвижныя плутовскія натуры, развившіяся подъ гнетомъ самодурства. Таковы здѣсь всѣ лица, исключая Аграфены Кондратьевны. Они дѣятельно подчинились самодурству, растлили свой умъ, сдѣлались сами участниками гадостей, порождаемыхъ деспотическимъ гнетомъ. Разсмотрѣть это нравственное искаженіе представляетъ задачу гораздо болѣе сложную и трудную, нежели указать простое паденіе внутренней силы человѣка подъ тяжестью внѣшняго гнета. А именно натуры послѣдняго разряда, сдавленныя, убитыя, потерявшія всякую энергію и подвижность, представляются намъ, главнымъ образомъ, въ послѣ-

[1]) Впрочемъ, въ новомъ изданіи Островскаго и Подхалюзинъ не благоденствуетъ, а уводится къ концу пьесы квартальнымъ, имѣя затѣмъ въ перспективѣ Сибирь. Намъ кажется, что эта прибавка совершенно лишняя. Конечно, авторъ сдѣлалъ ее не по своимъ убѣжденіямъ, а въ угоду нѣкоторымъ, слишкомъ ужъ строгимъ пуристамъ, требовавшимъ, чтобъ порокъ непремѣнно былъ наказанъ. Но мы видѣли, что здѣсь дѣло не въ лицахъ и не во внѣшнемъ фактѣ, а въ самомъ бытѣ, въ самыхъ связяхъ, которыми держится весь этотъ бытъ. Притомъ же мы знаемъ, что если Подхалюзинъ можетъ подвергнуться наказанію, то развѣ за какую-нибудь оплошность свою,—за то, что не совсѣмъ чисто умѣлъ обработать дѣльце. Да притомъ у него остается еще одинъ рессурсъ: квартальнаго встрѣчаетъ онъ предложеніемъ выпить водочки и поговорить съ нимъ, надѣясь такимъ образомъ уладить дѣло. Квартальный не соглашается и уводитъ его; но мы знаемъ, что не отъ квартальнаго зависитъ судьба Подхалюзина и что не всѣ въ темномъ царствѣ такъ несговорчивы, какъ этотъ необыкновенный квартальный.. Мы даже почти увѣрены, по опущеніи занавѣса, что при существующихъ общественныхъ отношеніяхъ той среды, въ которой дѣйствуетъ Подхалюзинъ, онъ непремѣнно найдетъ легкое средство вывернуться и оправдаться. *Н. Добролюбовъ.*

дующихъ комедіяхъ Островскаго, къ которымъ мы должны теперь обратиться. Въ этихъ послѣднихъ мы уже гораздо короче постараемся прослѣдить мертвящее вліяніе самодурства и, преимущественно, остановимся на одномъ его видѣ—на рабскомъ положеніи нашей женщины въ семействѣ. Затѣмъ, въ связи съ тѣмъ же вопросомъ самодурства и даже въ прямой зависимости отъ него, разсмотримъ значеніе тѣхъ формъ образованности, которыя такъ смущаютъ обитателей нашего „темнаго царства", и, наконецъ, тѣхъ средствъ, которыя многими изъ героевъ этого царства употребляются для упроченія своего матеріальнаго благосостоянія. Но разсмотрѣніе всѣхъ этихъ вопросовъ и показаніе непосредственной связи ихъ съ самодурствомъ—какъ оно обнаруживается въ комедіяхъ Островскаго—должно составить другую статью.

Теперь же мы можемъ, въ заключеніе разбора *Своихъ людей*, только спросить читателей: откажутъ ли они изображеніямъ Островскаго, такъ подробно анализированнымъ нами, въ жизненной правдѣ и въ силѣ художническаго представленія? И если эти лица и этотъ бытъ вѣрны дѣйствительности, то думаютъ ли читатели, что тѣ стороны русскаго быта, которыя рисуетъ намъ Островскій, не стóятъ вниманія художника? Рѣшатся ли они сказать, что дѣйствительность, изображаемая имъ, имѣетъ лишь частное и мелкое значеніе и не можетъ дать никакихъ важныхъ результатовъ для человѣка разсуждающаго?.. Отвѣтъ на эти вопросы можетъ показать, достигли ли мы своей цѣли, анализируя факты, представлявшіеся намъ къ комедіяхъ Островскаго. Что касается лично до насъ, то мы никому ничего не навязываемъ, мы даже не выражаемъ ни восторга ни негодованія, говоря о произведеніяхъ Островскаго. Мы только слѣдимъ за явленіями, имъ изображенными, и объясняемъ, какой смыслъ имѣютъ они для насъ. Читатели, соображаясь со своими собственными наблюденіями надъ жизнью и со своими понятіями о правѣ, нравственности и требованіяхъ природы человѣческой, могутъ рѣшить сами—какъ то, справедливы ли наши сужденія, такъ и то, какое значеніе имѣютъ жизненные факты, извлекаемые нами изъ комедій Островскаго.

II.

И нынѣ все дико и пусто кругомъ...
Не шепчутся листья съ гремучимъ ключомъ;
Напрасно пророка о тѣни онъ проситъ:
Его лишь песокъ раскаленный заноситъ,
Да коршунъ хохлатый, степной нелюдимъ,
Добычу терзаетъ и щиплетъ надъ нимъ.

Лермонтовъ.

Разсматривая комедію Островскаго *Свои люди —сочтемся*, мы обратили вниманіе читателей на нѣкоторыя черты русскаго, преимущественно купеческаго быта, отразившіяся въ этой комедіи. Мы сказали, что основа комизма Островскаго заключается, по нашему мнѣнію, въ изображеніи безсмысленнаго вліянія *самодурства*, въ обширномъ значеніи слова, на семейный и общественный бытъ. Въ отношеніяхъ Самсона Силыча Большова ко всѣмъ его окружающимъ мы видѣли, что самодурство это — безсильно и дряхло само-по-себѣ, что въ немъ нѣтъ никакого нравственнаго могущества, но вліяніе его ужасно тѣмъ, что, будучи само безсмысленно и безправно, оно искажаетъ здравый смыслъ и понятіе о правѣ во всѣхъ, входящихъ съ нимъ въ соприкосновеніе. Мы видѣли, что подъ вліяніемъ самодурныхъ отношеній развиваются плутовство и пронырливость, глохнутъ всѣ гуманныя стремленія даже хорошей натуры, и развивается узкій, исключительный эгоизмъ и враждебное расположеніе къ ближнимъ. Нужно имѣть геніально-свѣтлую голову, младенчески-непорочное сердце и титанически-могучую волю, чтобы имѣть рѣшимость выступить на практическую, дѣйствительную борьбу съ окружающею средой, нелѣпость которой способствуетъ только развитію эгоистическихъ чувствъ и вѣроломныхъ стремленій во всякой живой и дѣятельной натурѣ.

Но чтобы выйти изъ подобной борьбы непобѣжденнымъ,— для этого мало и всѣхъ исчисленныхъ нами достоинствъ: нужно еще имѣть желѣзное здоровье и, главное, вполнѣ обезпеченное состояніе. А между тѣмъ, по устройству „темнаго царства",—все его зло, вся его ложь тяготѣетъ страданіями и лишеніями именно только надъ тѣми, которые слабы, изнурены и необезпечены въ жизни; для людей же сильныхъ и богатыхъ—та же самая ложь служитъ къ услажденію жизни. Что же имъ за выгода обличать эту ложь,

бороться съ этимъ зломъ? Можно ли ожидать, что купецъ Большовъ станетъ требовать, напримѣръ, отъ своего приказчика Подхалюзина, чтобы тотъ разорялъ его, поступая по совѣсти и отговаривая покупателей отъ покупки гнилого товара и отъ платы за него лишнихъ денегъ? Само-собою разумѣется, что ужъ скорѣе самъ приказчикъ могъ бы, проникнувшись добросовѣстностью, послѣдовать такому образу дѣйствій. Но приказчикъ связанъ съ хозяиномъ: онъ сытъ и одѣтъ по хозяйской милости, онъ можетъ „въ люди произойти", если хозяинъ полюбитъ его; а ежели не полюбитъ, то что же такое приказчикъ, со своею непрактическою добросовѣстностью? Такъ,—ничтожество!.. И вотъ Подхалюзинъ начинаетъ соображать шансы своего положенія. Человѣкъ онъ не геніальный, не герой и не титанъ, а очень обыкновенный смертный. Невозможно и требовать отъ него практическаго протеста противъ всей окружающей его среды, противъ обычаевъ, установившихся вѣками, противъ понятій, которыя какъ святыня внушались ему, когда онъ былъ еще мальчишкою, ничего не смыслившимъ... Ясно, что онъ долженъ подчиняться той морали, какая господствуетъ въ атмосферѣ его окружающей,—пойти по той дорожкѣ, которая проторена другими... Не пробовать же ему новой, никому невѣдомой дороги, когда уже есть готовый торный проселокъ!

Но, съ другой стороны, какъ натура живая и дѣятельная, и Подхалюзинъ задаетъ себѣ нѣкоторые жизненные вопросы и задачи. Задачи его обыкновенно очень мизерны, вопросы—неглубоки, потому что кругъ зрѣнія его очень ограниченъ. Онъ видитъ передъ собою своего хозяина-самодура, который ничего не дѣлаетъ, пьетъ, ѣстъ и проклажается въ свое удовольствіе, ни отъ кого ругательствъ не слышитъ, а, напротивъ, самъ всѣхъ ругаетъ невозбранно,—и въ этомъ гаденькомъ лицѣ онъ видитъ идеалъ счастія и высоты, достижимыхъ для человѣка. Что выходитъ изъ тѣснаго круга обыденной жизни, постоянно имъ видимой, о томъ онъ имѣетъ лишь смутныя понятія, да нимало и не заботится, находя, что то ужъ совсѣмъ другое, объ этомъ ужъ нашему брату и думать нечего... А разъ рѣшивши это, поставивши себѣ такой предѣлъ, за который нельзя переступить, Подхалюзинъ, очень естественно, старается приспособить себя къ такому кругу, гдѣ ему надо дѣйствовать, и для того съеживается и выгибается. Это же и не стоитъ

ему большого труда,—дѣло привычное съ малолѣтства: какъ вытянутъ по спинѣ аршиномъ или начнутъ объ голову кулаки отбивать,—такъ тутъ поневолѣ выгнешься и сожмешься... И Подхалюзинъ, вынося самъ всякія истязанія и находя, наконецъ, что это въ порядкѣ вещей, глубоко затаиваетъ свои личныя живыя стремленія, въ надеждѣ, что будетъ же когда-нибудь и на его улицѣ праздникъ. Между тѣмъ, нравственное развитіе идетъ своимъ путемъ, логически-неизбѣжнымъ при такомъ положеніи: Подхалюзинъ, находя, что личныя стремленія его принимаются всѣми враждебно, мало-по-малу приходитъ къ убѣжденію, что дѣйствительно личность его, какъ и личность всякаго другого, должна быть въ антагонизмѣ со всѣмъ окружающимъ, и что, слѣдовательно, чѣмъ болѣе онъ отнимаетъ отъ другихъ, тѣмъ полнѣе удовлетворитъ себя. Изъ этого начала развивается то вѣчно-осадное положеніе, въ которомъ неизбѣжно находится каждый обитатель „темнаго царства", пускающійся въ практическую дѣятельность, съ намѣреніемъ добиться чего-нибудь... Высшія нравственныя правила, для всѣхъ равно обязательныя, существуютъ для него только въ нѣсколькихъ прекрасныхъ реченіяхъ и заповѣдяхъ, никогда не примѣняемыхъ къ жизни; симпатическая сторона натуры въ немъ не развита; понятія, выработанныя наукою, объ общественной солидарности и о равновѣсіи правъ и обязанностей ему недоступны. Самые идеалы его (потому что идеалы и у Подхалюзина есть, какъ есть и у городничаго въ „Ревизорѣ") грубы, тусклы, безобразны и безчеловѣчны. Городничій мечтаетъ о томъ, какъ онъ, сдѣлавшись генераломъ, будетъ заставлять городничихъ ждать себя по пяти часовъ; такъ точно Подхалюзинъ предполагаетъ: „тятенька подурили на своемъ вѣку,—будетъ: теперь намъ пора". И только бы ему достичь возможности осуществить свой идеалъ: онъ, въ самомъ дѣлѣ, не замедлитъ заставить другихъ такъ же бояться, подличать, фальшивить и страдать отъ него, какъ боялся, подличалъ, фальшивилъ и страдалъ самъ онъ, пока не обезпечилъ себѣ право на самодурство...

Тяжело прослѣдить подобную карьеру; горько видѣть такое искаженіе человѣческой природы. Кажется, ничего не можетъ быть хуже того дикаго, неестественнаго развитія, которое совершается въ натурахъ, подобныхъ Подхалюзину, вслѣдствіе тяготѣнія надъ нимъ самодурства. Но въ послѣ-

дующихъ комедіяхъ Островскаго намъ представляется новая сторона того же вліянія, по своей мрачности и безобразію едва ли уступающая той, которая была нами указана въ прошедшей статьѣ.

Эта новая сторона является намъ въ натурахъ подавленныхъ, безотвѣтныхъ. Такія натуры представляются намъ почти въ каждой изъ комедій Островскаго, съ большею или меньшею ясностью очертаній. Даже въ *Своихъ людяхъ* Аграфена Кондратьевна принадлежитъ къ такимъ натурамъ: но здѣсь она не играетъ видной роли. Ярче выставляются намъ въ послѣдующихъ комедіяхъ лица Мити въ *Бѣдность не порокъ*, и дѣтей Брусковыхъ въ пьесѣ *Въ чужомъ пиру похмелье*, и лица дѣвушекъ почти во всѣхъ комедіяхъ Островскаго. Авдотья Максимовна, Любовь Торцова, Даша, Надя— все это безвинныя, безотвѣтныя жертвы самодурства, и то сглаженіе, *отмѣненіе* человѣческой личности, какое въ нихъ произведено жизнью, едва ли не безотраднѣе дѣйствуетъ на душу, нежели самое искаженіе человѣческой природы въ плутахъ, подобныхъ Подхалюзину. Тамъ еще кое-гдѣ пробивается жизнь, самобытность, мерцаетъ минутами лучъ какой-то надежды; здѣсь—тишь невозмутимая, мракъ непроглядный, здѣсь предъ вами стоитъ мертвая красавица въ безлюдной степи, и общее гробовое молчаніе нарушается лишь движеніемъ степного коршуна, терзающаго въ воздухѣ добычу... Жутко, точно на кладбищѣ или въ домѣ купца-раскольника наканунѣ великаго праздника!

Чтобы видѣть проявленіе безотвѣтной, забитой натуры въ разныхъ положеніяхъ и обстоятельствахъ, мы прослѣдимъ теперь послѣдующія за *Своими людьми* комедіи Островскаго изъ купеческаго быта, начавъ съ комедіи *Не въ свои сани не садись*.

Но, упомянувъ объ этой пьесѣ, мы считаемъ нужнымъ напомнить читателямъ то, что сказано было нами въ первой статьѣ—о значеніи вообще художнической дѣятельности. *Не въ свои сани не садись* вызвало самыя разнообразныя сужденія *объ убѣжденіяхъ* Островскаго. Одни превозносили его за то, что онъ усвоилъ себѣ прекрасныя воззрѣнія славянофиловъ на прелести русской старины; другіе возмутились тѣмъ, что Островскій явился противникомъ современной образованности. Всѣ эти разсужденія могли быть прискорбны для Островскаго главнымъ образомъ потому, что изъ-за

толковъ о его воззрѣніяхъ совершенно забывали о его талантѣ, и о лицахъ, и явленіяхъ, выведенныхъ имъ. Въ отношеніи къ Островскому такой пріемъ былъ просто неделикатенъ. Мы понимаемъ, что графа Соллогуба, напримѣръ, нельзя было разбирать иначе, какъ спрашивая: что онъ *хотѣлъ сказать* своимъ „Чиновникомъ"?—потому что „Чиновникъ" есть не что иное, какъ модная юридическая,—даже не идея, а просто—фраза, драматизированная безъ малѣйшаго признака таланта. Можно такъ обращаться, напримѣръ, и съ стихотвореніями г. Розенгейма: поэзіи у него нѣтъ ни въ одномъ стихѣ; поэтому единственною мѣркой достоинства стихотворенія остается относительное значенія идеи, на которую оно сочинено. Такимъ образомъ, не входя ни въ какія художественныя разбирательства, можно, напримѣръ, похвалить г. Розенгейма за то, что „Гроза", помѣщенная имъ недавно въ „Русскомъ Словѣ", написана имъ на тему, не имѣющую той пошлости, какъ его чиновничьи и откупныя элегіи. Здѣсь мы можемъ быть совершенно спокойны, обращая вниманіе единственно на воззрѣніе автора, какое желалъ онъ выразить въ пьесѣ. Комедіи Островскаго заслуживаютъ другого рода критики, потому что въ нихъ, независимо отъ теоретическихъ понятій автора, есть всегда художественныя достоинства. Мы уже замѣчали, что общія идеи принимаются, развиваются и выражаются художникомъ въ его произведеніяхъ совершенно иначе, нежели обыкновенными теоретиками. Не отвлеченныя идеи и общіе принципы занимаютъ художника, а живые образы, въ которыхъ проявляется идея. Въ этихъ образахъ поэтъ можетъ, даже непримѣтно для самого себя, уловить и выразить ихъ внутренній смыслъ гораздо прежде, нежели опредѣлить его разсудкомъ. Иногда художникъ можетъ и вовсе не дойти до смысла того, что онъ самъ же изображаетъ; но критика и существуетъ затѣмъ, чтобы разъяснить смыслъ, скрытый въ созданіяхъ художника, и, разбирая представленныя поэтомъ изображенія, она вовсе не уполномочена привязываться къ теоретическимъ его воззрѣніямъ. Въ первой части „Мертвыхъ душъ" есть мѣста по духу своему близко подходящія къ „Перепискѣ", но „Мертвыя души" отъ этого не теряли своего общаго смысла, столь противоположнаго теоретическимъ воззрѣніямъ Гоголя. И критика Бѣлинскаго не трогала гоголевскихъ теорій, пока онъ являлся предъ

нею просто какъ художникъ; она ополчилась на него тогда, когда онъ провозгласилъ себя нравоучителемъ и вышелъ къ публикѣ не съ живымъ разсказомъ, а съ книжицею назидательныхъ совѣтовъ.

Не сравнивая значенія Островскаго съ значеніемъ Гоголя въ исторіи нашего развитія, мы замѣтимъ, однако, что въ комедіяхъ Островскаго, подъ вліяніемъ какихъ бы теорій онѣ ни писались, всегда можно найти черты глубоко-вѣрныя и яркія, доказывающія, что сознаніе жизненной правды никогда не покидало художника и не допускало его искажать дѣйствительность въ угоду теоріи. А если такъ, то, значитъ, и основныя черты міросозерцанія художника не могли быть совершенно уничтожены разсудочными ошибками. Онъ могъ брать для своихъ изображеній не тѣ жизненные факты, въ которыхъ извѣстная идея отражается наилучшимъ образомъ, могъ давать имъ произвольную связь, толковать ихъ не совсѣмъ вѣрно: но если художническое чутье не измѣнило ему, если правда въ произведеніи сохранена,—критика обязана воспользоваться имъ для объясненія дѣйствительности, равно какъ и для характеристики таланта писателя, но вовсе не для брани его за мысли, которыхъ онъ, можетъ-быть, еще и не имѣлъ.

Сдѣлавши эти объясненія, мы можемъ теперь сказать, что вовсе не хотимъ видѣть въ *Не своихъ саняхъ* апологію патріархальнаго, стариннаго быта и попытку доказать преимущества русской необразованности предъ европейскимъ образованіемъ. Мы могли бы въ этой комедіи отыскать даже нѣчто противоположное, но и того не хотимъ, а просто укажемъ на фактъ, служащій основою пьесы. Мы уже видѣли, что основной мотивъ пьесъ Островскаго—неестественность общественныхъ отношеній, происходящая вслѣдствіе самодурства однихъ и безправности другихъ. Чувство художника, возмущаясь такимъ порядкомъ вещей, преслѣдуетъ его въ самыхъ разнообразныхъ видоизмѣненіяхъ и передаетъ на позоръ того самаго общества, которое живетъ въ этомъ порядкѣ. И вотъ одно изъ такихъ видоизмѣненій.

Есть на Руси купецъ-самодуръ, добрый, честный и даже, по-своему, умный,—но самодуръ. У него есть дочь, которая предъ нимъ безгласна и безправна, какъ всякая дочь предъ всякимъ самодуромъ. Не признавая ея правъ, какъ самостоятельной личности, ей и не даютъ ничего, что въ жизни

можетъ ограждать личность: она необразована, у ней нѣтъ голоса даже въ домашнихъ дѣлахъ, нѣтъ привычки смотрѣть на людей своими глазами, нѣтъ даже и мысли о правѣ свободнаго выбора въ дѣлѣ сердца. Выросши въ полный ростъ человѣческій, она все еще ведетъ себя, какъ несовершеннолѣтняя, какъ ребенокъ неразумный. Самая любовь ея къ отцу, парализуемая страхомъ, неполна, неразумна и неоткровенна, такъ что дочка втихомолку отъ отца напитывается понятіями своей тетушки, пожилой дѣвы, бывшей въ ученьѣ на Кузнецкомъ Мосту, и затѣмъ съ ея голоса увѣряетъ себя, что влюблена въ молодого прощелыгу, отставного гусара, на-дняхъ пріѣхавшаго въ ихъ городъ. Гусаръ сватается, отецъ отказываетъ; тогда гусаръ увозитъ дѣвушку, и она рѣшается ѣхать съ нимъ, все толкуя, однако, о томъ, что ѣхать не надо, а лучше къ отцу возвратиться. Но на первой же станціи гусаръ узнаетъ, что отецъ не дастъ ни гроша денегъ за убѣжавшею дочерью, и тотчасъ же, конечно, прогоняетъ отъ себя бѣдную дѣвушку. Она возвращается домой; отецъ ругаетъ и хочетъ запереть ее на замокъ, чтобы свѣта Божьяго не видѣла и его передъ людьми не срамила; но ее рѣшается взять за себя молодой купчикъ, которой давно въ нее влюбленъ и котораго она сама любила до встрѣчи съ Вихоревымъ. Все кончается благополучно.

Таковъ фактъ, составляющій сущность комедіи *Не въ свои сани не садись*. Какой же смыслъ его? Даетъ ли онъ хоть какой-нибудь поводъ къ развитію темы о преимуществахъ стараго быта, къ выраженію славянофильскихъ тенденцій? Кажется, нѣтъ. Смыслъ его тотъ, что самодурство, въ какихъ бы умѣренныхъ формахъ ни выражалось, въ какую бы кроткую опеку ни переходило, все-таки ведетъ, по малой мѣрѣ, къ обезличенію людей, подвергшихся его вліянію; а обезличеніе совершенно противоположно всякой свободной и разумной дѣятельности; слѣдовательно, человѣкъ обезличенный, подъ вліяніемъ тяготѣвшаго надъ нимъ самодурства, можетъ нехотя, безсознательно, совершить какое-угодно преступленіе и погибнуть—просто по глупости и недостатку.

Это значеніе разсказаннаго нами факта, всего скорѣе и рѣзче бросающееся въ глаза, недостаточно ярко является въ комедіи, потому что въ ней на первый планъ выступаетъ контрастъ умнаго, солиднаго Русакова и добраго, честнаго

Бородкина—съ жалкимъ вертопрахомъ Вихоревымъ. За этотъ контрастъ и ухватились критики и надѣлали въ своихъ разборахъ такихъ предположеній, какихъ у автора, можетъ-быть, и на умѣ никогда не было. Его обвинили чуть не въ совершенномъ обскурантизмѣ, и даже до сихъ поръ нѣкоторые критики не хотятъ ему простить того, что Русаковъ - необразованный, но все-таки добрый и честный человѣкъ. И дѣйствительно, увлекшись негодованіемъ противъ мишурной образованности господъ, подобныхъ Вихореву, сбивающихъ съ толку простыхъ русскихъ людей, Островскій не съ достаточною силой и ясностью выставилъ здѣсь *тѣ причины*, вслѣдствіе которыхъ русскій человѣкъ можетъ увлекаться подобными господами. Но нельзя сказать, чтобы эти причины были совершенно забыты авторомъ: простой и естественный смыслъ факта не укрылся отъ него, и въ *Не своихъ саняхъ* мы находимъ разбросанныя черты тѣхъ отношеній, которыя разумѣемъ подъ общимъ именемъ самодурныхъ. Если бъ эти черты были ярче, комедія имѣла бы болѣе цѣльности и опредѣленности; но и въ настоящемъ своемъ видѣ она не можетъ быть названа противною основнымъ чертамъ міросозерцанія автора. Въ темный бытъ Русаковыхъ онъ внесъ лучъ посторонняго свѣта, сгладилъ и уровнялъ нѣкоторыя грубыя черты; но и въ этомъ смягченномъ видѣ, если всмотрѣться внимательнѣе, сущность дѣла осталась та же. Попробуемъ указать нѣсколько чертъ изъ отношеній Русакова къ дочери и къ окружающимъ; мы увидимъ, что здѣсь основаніемъ всей исторіи является опять-таки то же самодурство, на которомъ утверждаются всѣ семейныя и общественныя отношенія этого „темнаго царства".

Максимъ Ѳедотычъ Русаковъ—этотъ лучшій представитель всѣхъ прелестей стараго быта, умнѣйшій старикъ, *русская душа*, которою славянофильскіе и кошихинствующіе критики кололи глаза нашей послѣ-петровской эпохѣ и всей новѣйшей образованности,—Русаковъ, на нашъ взглядъ, служитъ живымъ протестомъ противъ этого темнаго быта, ничѣмъ не осмысленнаго и безнравственнаго въ самомъ корнѣ своемъ. Въ Большовѣ мы видѣли дрянную натуру, подвергнувшуюся вліянію этого быта; въ Русаковѣ намъ представляется: а вотъ какими выходятъ при немъ даже честныя и мягкія натуры!.. И дѣйствительно—природная доброта и даже деликатность пробиваются въ Русаковѣ сквозь грубыя

формы. Онъ обходится со всѣми ласково, о женѣ и дочери говоритъ съ умиленіемъ; когда Дуня, узнавъ о его рѣшительномъ отказѣ Вихореву, падаетъ въ обморокъ (сцена эта намъ кажется, впрочемъ, утрированною), онъ пугается и даже тотчасъ соглашается измѣнить для нея свое рѣшеніе. Мало этого: у него голова сложена довольно хорошо, и изъ нея не выбитъ здравый смыслъ. Онъ не говоритъ просто: „такъ должно быть *потому*, что *я* такъ хочу", а старается отыскать резоны для своихъ рѣшеній. Но этимъ и ограничивается то, что могъ онъ сохранить изъ добрыхъ качествъ своей натуры; далѣе начинаются пріобрѣтенія самодурства. Видно, что Русаковъ, по мягкости своей природы, съ самаго начала кротко покорился существующему порядку, признавъ его законность; значитъ, не было нужды доказывать ему эту законность пинками и колотушками. Оттого въ немъ и въ старости нѣтъ той враждебности и крутости, какую замѣчаемъ въ другихъ самодурахъ, выводимыхъ Островскимъ; оттого онъ не отвергаетъ даже резоновъ въ разговорѣ съ низшими и младшими. Но бытъ „темнаго царства", въ которомъ онъ выросъ, ничего не далъ ему въ отношеніи резонности: ея нѣтъ въ этомъ бытѣ, и потому Русаковъ впадаетъ въ ту же несмысленность, въ тотъ же мракъ, въ какомъ блуждаютъ и другіе собратья его, хуже одаренные природой.

Любопытно послушать мораль, до которой успѣлъ онъ возвыситься. Покорность, терпѣніе, уваженіе къ опыту и преданію, ограниченіе себя своимъ кругомъ — вотъ его основныя положенія. Дошелъ онъ до нихъ грубо-эмпирически, сопоставляя факты, но ничѣмъ ихъ не осмысливая, потому что мысль его связана въ то же время самымъ упорнымъ, фаталистическимъ понятіемъ о судьбѣ, распоряжающейся человѣческими дѣлами. Онъ появляется на сцену съ сентенціей о томъ, что „нужно къ старшимъ за совѣтомъ ходить,—старикъ худа не посовѣтуетъ". Далѣе, въ отвѣтъ на сватовство Бородкина, онъ говоритъ: „Я, значитъ, долженъ это дѣло сдѣлать съ разумомъ, потому мнѣ придется за дочь Богу отвѣчать". На этомъ основаніи онъ судьбою дочери распоряжается вотъ какимъ образомъ: „Статочное ли дѣло, чтобъ повѣрить дѣвкѣ, кто ей понравится? Нѣтъ, это не порядокъ: пусть *мнѣ* человѣкъ понравится. Я не за того отдамъ, кого она полюбитъ, а за того, кого *я* полюблю. Да, кого я полюблю, за того и отдамъ". Въ этомъ ужъ крѣпко сказывается и

самодурство; но оно смягчается въ Русаковѣ слѣдующимъ разсужденіемъ: „Какъ дѣвкѣ повѣрить? что она видѣла? кого она знаетъ?“ Разсужденіе справедливое въ отношеніи къ дочери Русакова; но ни Русакову и никому изъ его собратьевъ не приходитъ въ голову спросить: „Отчего жъ она ничего не видѣла и никого не знаетъ? Какая же необходимость была воспитывать ее въ такомъ блаженномъ невѣдѣніи, что всякій ее можетъ обмануть?..“ Если бъ они задали себѣ этотъ вопросъ, то изъ отвѣта и оказалось бы, что всему злу корень опять-таки не что иное, какъ ихъ собственное самодурство. Русаковъ совершенно доволенъ своимъ положеніемъ и въ бары лѣзть не желаетъ, а образованіе онъ считаетъ исключительною принадлежностью баръ; вслѣдствіе того онъ и дочь свою такъ держитъ, что она остается, по его выраженію, *дурою*. Въ отвѣтъ на сватанье Вихорева онъ говоритъ: „Ищите себѣ барышень, воспитанныхъ, а ужъ нашихъ-то дуръ оставьте намъ, мы своимъ-то найдемъ жениховъ какихъ-нибудь дешевенькихъ“. Въ этихъ словахъ еще слышится иронія; но Русаковъ и серіозно продолжаетъ въ томъ же родѣ: „Ну, какая она барыня, посудите, отецъ: жила здѣсь въ четырехъ стѣнахъ, свѣту не видала... Не за что вамъ и любить ее: она дѣвушка простая, невоспитанная и совсѣмъ вамъ не пара. У васъ есть родные, знакомые, всѣ будутъ смѣяться надъ ней, какъ надъ дурой, да и вамъ-то она опротивѣетъ хуже горькой полыни... такъ отдамъ ли я дочь на такую каторгу!“

Въ этихъ разсужденіяхъ всего печальнѣе то, что они совершенно справедливы. Въ самомъ дѣлѣ, не очень-то веселая жизнь ожидала бы Авдотью Максимовну, если бы она вышла *за благороднаго,* хотя бы онъ и не былъ такимъ шелыганомъ, какъ Вихоревъ. Она, въ самомъ дѣлѣ, воспитана такъ, что въ ней вовсе нѣтъ лица человѣческаго. Самая лучшая похвала ей изъ устъ самого отца—какая же?—та, что „въ глазахъ у нея только любовь да кротость: *она будетъ любить всякаго мужа*, надо найти ей такого, чтобы ее-то любилъ“. Это значитъ—доброта безразличная, безотвѣтная, именно такая, какая въ мягкихъ натурахъ вырабатывается подъ гнетомъ семейнаго деспотизма и какая всего болѣе нравится самодурамъ. Для людей, привыкшихъ опирать свои дѣйствія на здравомъ смыслѣ и соображать ихъ съ требованіями справедливости и общаго блага, такая доброта

противна или, по крайней мѣрѣ, жалка. Немудрено разсудить, что если человѣкъ со всѣми соглашается, то у него, значитъ, нѣтъ своихъ убѣжденій; если онъ всѣхъ любитъ и всѣмъ другъ, то, значитъ, всѣ для него безразличны; если дѣвушка всякаго мужа любить будетъ, то ясно, что сердце у ней составляетъ даже не кусокъ мяса, а просто какое-то расплывающееся тѣсто, въ которое можно воткнуть что угодно...

Для человѣка, не зараженнаго самодурствомъ, вся прелесть любви заключается въ томъ, что воля другого существа гармонически сливается съ его волей, безъ малѣйшаго принужденія. Оттого-то очарованіе любви и бываетъ такъ неполно и недостаточно, когда взаимность достигается какими-нибудь вымогательствами, обманомъ, покупается за деньги или, вообще, пріобрѣтается какими-нибудь внѣшними и посторонними средствами. Чувство любви можетъ быть истинно хорошо только при внутренней гармоніи любящихъ, и тогда оно составляетъ начало и залогъ того общественнаго благоденствія, которое обѣщается намъ, въ будущемъ развитіи человѣчества, водвореніемъ братства и личной равноправности между людьми. Но самодурство и этого чувства не можетъ оставить свободнымъ отъ своего гнета: въ его свободномъ и естественномъ развитіи оно чувствуетъ какую-то опасность для себя и потому старается убить прежде всего то, что служитъ его основаніемъ,—личность. Для этого самодуры сочиняютъ свою мораль, свою систему житейской мудрости, и по ихъ толкованіямъ выходитъ, что чѣмъ болѣе личность стерта, неразличима, непримѣтна, тѣмъ она ближе къ идеалу совершеннаго человѣка. „У него такой отличный характеръ, что онъ вынесетъ безропотно всякое оскорбленіе, будетъ любить самаго недостойнаго человѣка",—вотъ похвала, выше которой самодуръ ничего не знаетъ. А на нашъ взглядъ подобный человѣкъ есть дрянь, кисель, тряпка; онъ можетъ быть хорошимъ *человѣкомъ*, но только въ лакейскомъ смыслѣ этого слова. На другое же ни на что онъ негоденъ, и отъ него можно ожидать ровно столько же пакостей, сколько и хорошихъ поступковъ: все будетъ зависѣть оттого, въ какія руки онъ попадется. Ничего этого не признаетъ Русаковъ, въ качествѣ самодура, и твердитъ свое: „Все зло на свѣтѣ отъ необузданности; мы, бывало, страхъ имѣли и старшихъ уважали, такъ и

лучше было... Бить некому нынѣшнихъ молодыхъ людей, а то-то надо бы: палка-то по нихъ плачетъ". И о чемъ бы онъ ни говорилъ,—уваженіе къ старшимъ на первомъ планѣ. Даже на Вихорева онъ сердится всего болѣе за то, что тотъ „со старшими говорить не умѣетъ". И на дочь свою, когда та дѣлаетъ попытку убѣдить отца, онъ, при всей своей мягкости, прикрикиваетъ: „Да какъ ты смѣешь такъ со мною разговаривать!" А затѣмъ онъ даетъ ей строгій приказъ: „Вотъ тебѣ, Авдотья, мое послѣднее слово: или поди ты у меня за Бородкина, или я тебя и знать не хочу". И, чтобы приказъ былъ дѣйствительнѣе, онъ подкрѣпляетъ его попреками: „Я тебя растилъ, я тебя берегъ пуще глазу... Что грѣха на душу принялъ! Гордость меня одолѣла съ тобой... Наказалъ Богъ по грѣхамъ". Говоря безпристрастно, такое обращеніе нельзя назвать очень гуманнымъ; но въ нашемъ „темномъ царствѣ" и оно еще довольно мягко, и Русаковъ по справедливости можетъ быть названъ лучшимъ изъ самодуровъ.

Зато и выработалась же добрая натура Авдотьи Максимовны подъ вліяніемъ этого кроткаго самодурства! Трудно представить болѣе жалкую дѣвушку. Въ сущности, она даже скорѣе комична, нежели жалка, такъ, какъ комична Софья Павловна съ своею любовью къ Молчалину, или Софья Сергѣевна (въ „Новѣйшемъ Оракулѣ" г. Потѣхина) съ нѣжною страстью къ Зильбербаху. Но надъ Авдотьею Максимовной нельзя смѣяться: обстановка ея слишкомъ мрачна. Когда мы одиноко идемъ въ полночь по темному склепу, между могилами, и вдругъ, за одной изъ гробницъ, предъ нами внезапно является какая нибудь нелѣпая рожа и дѣлаетъ намъ гримасу, — то, какъ бы гримаса ни была смѣшна, трудно засмѣяться въ эту минуту: невольно испугаешься. Такъ и комизмъ нашего „темнаго царства". Дѣло само-по-себѣ просто забавно, но въ виду самодуровъ и жертвъ, во мракѣ ими задавленныхъ, пропадаетъ охота смѣяться... Авдотья Максимовна въ теченіе всей пьесы находится въ сильнѣйшей ажитаціи, безсмысленной и пустой, если хотите, но тѣмъ не менѣе возбуждающей въ насъ не смѣхъ, а состраданіе: бѣдная дѣвушка въ самомъ дѣлѣ не виновата, что ее лишили всякой нравственной опоры внутри себя и воспитали только къ тому, чтобы вѣкъ ходить ей на привязи. Сердце у ней доброе, въ характерѣ много довѣрчивости, какъ у

всѣхъ несчастныхъ и угнетенныхъ, не успѣвшихъ еще ожесточиться; потребность любви пробуждена, но она не находитъ для себя ни простора, ни разумной опоры, ни достойнаго предмета. Въ Авдотьѣ Максимовнѣ не развито настоящее понятіе о томъ, что хорошо и что дурно, не развито уваженіе къ побужденіямъ собственнаго сердца, а въ то же время и понятіе о нравственномъ долгѣ развито лишь до той степени, чтобы признать его, какъ внѣшнюю принудительную силу. Въ этомъ положеніи несчастная дѣвушка и мечется, не зная, куда ей приклонить, наконецъ, свою голову. Отца она любитъ, но въ то же время и боится, и даже какъ-то не совсѣмъ довѣряетъ ему. Бородкинъ ей нравился; но ей сказали, что онъ мужикъ необразованный, и она теряется, не знаетъ, чтó думать, и доходитъ до того, что Бородкинъ становится ей противенъ. Подвертывается Вихоревъ, который ничего не имѣетъ, кромѣ наглости и вывѣсочной физіономіи — она прельщается Вихоревымъ. Но и тутъ она только понапрасну мучитъ самое себя. Ни на одну минуту не стоитъ она на твердой почвѣ, а все какъ-будто тонетъ, — то всплыветъ немножко, то опять погрузится... такъ и ждешь, что вотъ-вотъ сейчасъ потонетъ совсѣмъ... При первомъ ея появленіи на сцену, въ концѣ перваго акта, Вихоревъ сообщаетъ ей, что отецъ просваталъ ее за Бородкина; она наивно говоритъ: „Не безпокойтесь, я за Бородкина не пойду“.—„А если отецъ прикажетъ?“ — спрашиваетъ Вихоревъ. „Нѣтъ, — говоритъ — онъ насильно не заставитъ“. — „А какъ заставитъ, что тогда?“ — „Тогда, — идіотски отвѣчаетъ она,—я ужъ право и не знаю, что мнѣ дѣлать съ этимъ дѣломъ... такая-то напасть на меня!“ Вихоревъ, для котораго всѣ средства хороши, предлагаетъ ей уѣхать съ нимъ тихонько; она приходитъ въ ужасъ и восклицаетъ: „Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, что вы это? Ни за какія сокровища!“ Отчего же такой ужасъ? Да просто оттого, видите, что „отецъ проклянетъ меня: каково мнѣ будетъ тогда жить на бѣломъ свѣтѣ“. Вслѣдствіе того она простодушно совѣтуетъ Вихореву переговорить съ ея отцомъ; Вихоревъ предполагаетъ неудачу, а она успокоиваетъ его такимъ разсужденіемъ: „Что же дѣлать! знать моя такая судьба несчастная... Вчера тетенька на картахъ гадала, что-то все дурно выходило, я ужъ немало плакала“. Вихоревъ стращаетъ ее, что уѣдетъ на Кавказъ и будетъ стараться, чтобъ его

тамъ застрѣлили; она и къ нему пристаетъ: „Нѣтъ, не ѣздите. Что это вы, — какія страсти говорите". Словомъ, дѣвушка со всѣхъ сторонъ подъ страхомъ: тамъ отцовское проклятіе грозитъ, тутъ на картахъ дурно выходитъ, а здѣсь милаго Вихорева, того и гляди, черкесы подстрѣлятъ. И хоть бы какое-нибудь внутреннее противодѣйствіе всѣмъ этимъ ужасамъ явилось въ бѣдной дѣвушкѣ! Она простодушно одинаково вѣритъ—и отцовскому проклятію, и картамъ, и тому, что Вихоревъ поѣдетъ подъ пули,—и всего этого одинаково боится... Правду она говоритъ про себя въ началѣ второго акта: „Какъ тѣнь какая хожу, ногъ подъ собою не слышу... только чувствуетъ мое сердце, что ничего изъ этого хорошаго не выйдетъ. Ужъ я знаю, что много мнѣ, бѣдной, тутъ слезъ пролить". Да и какъ же не пролить при такихъ порядкахъ?..

Къ довершенію горя оказывается, что она еще и Бородкина-то любитъ, что она съ нимъ, бывало, встрѣтится, такъ не наговорится: у калиточки его поджидаетъ, осенніе темные вечера съ нимъ просиживаетъ, — да и теперь его жалѣетъ, но въ то же время не можетъ никакъ оторваться отъ мысли о необычайной красотѣ Вихорева. Впрочемъ, она очень недовольна собой и говоритъ: „На грѣхъ я его увидѣла". Но самое большое мученье для нея составляетъ— просить отца о согласіи на ея желаніе выйти за Вихорева. Она приступаетъ къ этому съ какою-то особенною торжественностью, заставляетъ Вихорева сначала поклясться, что онъ ее точно любитъ, потомъ объявляетъ ему, что для доказательства своей любви она рѣшается сама просить отца... „Но если бъ вы знали, чего это мнѣ стоитъ",—прибавляетъ она, и послѣдующая сцена вполнѣ объясняетъ и оправдываетъ ея страхъ, возможный и понятный единственно только при самодурныхъ отношеніяхъ, на которыхъ основанъ весь семейный бытъ Русаковыхъ. Кажется, чего естественнѣе и легче для дочери—объявить свои желанія отцу, который ее нѣжно любитъ? Но Авдотья Максимовна, твердя о томъ, что отецъ ее любитъ, знаетъ, однакоже, какого рода сцена можетъ быть слѣдствіемъ подобной откровенности съ отцомъ, и ея добрая, забитая натура заранѣе трепещетъ и страдаетъ. Въ самомъ дѣлѣ,—и „какъ ты смѣешь?", и „я тебя растилъ и лелѣялъ", и „ты дура", и „нѣтъ тебѣ моего благословенія"—все это градомъ сыплется на бѣдную дѣвушку и дово-

дитъ ее до того, что даже въ ея слабой и покорной душѣ вдругъ подымается кроткій протестъ, выражающійся невольнымъ, безсознательнымъ переломомъ прежняго чувства: отцовскій приказъ итти за Бородкина возбудилъ въ ней отвращеніе къ нему. „Мнѣ давеча было жаль Ваню,—говоритъ она про Бородкина,—а теперь онъ мнѣ опостылѣлъ... опостылѣлъ". Но это уже крайняя степень реакціи, на которую она способна; далѣе этого она не можетъ итти въ своемъ сопротивленіи чужой волѣ — и падаетъ въ обморокъ. Тутъ происходитъ чувствительная сцена, въ которой Русаковъ умиляется и соглашается выдать дочь за Вихорева, но только — если тотъ возьметъ ее безъ денегъ. Обрадованная Авдотья Максимовна спѣшитъ въ церковь, чтобы на дорогѣ встрѣтить Вихорева, объявить отрадную новость, а Вихоревъ увозитъ ее... Изъ хода дѣла оказывается, что Вихоревъ увезъ Авдотью Максимовну насильно, и это обстоятельство представляется очень важнымъ для старика Русакова. Но для насъ оно не такъ важно, потому что мы видимъ въ комедіи сцену увезенной дѣвушки съ Вихоревымъ на постояломъ дворѣ. Изъ этой сцены мы съ достовѣрностью можемъ заключить, что если Вихоревъ и насильно посадилъ Авдотью Максимовну въ коляску, то онъ сдѣлалъ это единственно по скорости времени, но что она и сама не могла бы устоять противъ Вихорева, если бы онъ сталъ ее уговаривать. И на постояломъ дворѣ она сначала упрашиваетъ: „Викторъ Аркадьичъ, голубчикъ! съ вами я въ огонь и въ воду готова, только пустите меня къ тятенькѣ... Что съ нимъ будетъ?" и пр. Но мольбы ея исчезаютъ предъ волею Вихорева. Сталъ онъ ее уговаривать, да приласкалъ немножко, и вотъ что она уже говоритъ ему: „Ненаглядный ты мой! Радость, жизнь моя! Куда хочешь—съ тобой! *Никого я теперь не боюсь и никого мнѣ не жалко.* Такъ бы вотъ улетѣла съ тобой куда-нибудь!" Вслѣдъ затѣмъ, она опять вспоминаетъ объ отцѣ и опять, разумѣется, безплодно. Ей, видите, страшно было рѣшиться уѣхать съ Вихоревымъ; но, разъ попавши къ нему въ руки, она точно такъ же боится и отъ него уйти. Ни разу не проявилась въ ней сильная рѣшимость, свидѣтельствующая о самобытности характера. Кроткая жалоба, смиренная мольба—дальше этого она не смѣетъ итти. Когда Вихоревъ отталкиваетъ ее отъ себя, узнавши, что за ней денегъ не даютъ, она какъ-будто возмущается нѣсколько и

говоритъ: „Не будетъ вамъ счастья, Викторъ Аркадьичъ, за то, что вы наругались надъ бѣдною дѣвушкой". Но тотчасъ же она сама пугается своихъ словъ и переходитъ къ смиренному тону, въ которомъ даже хочется предположить иронію, какъ она ни неумѣстна въ положеніи Авдотьи Максимовны. Доброта, лишенная всякой способности возмущаться зломъ, и тупая покорность судьбѣ выражаются въ этихъ словахъ несчастной дѣвушки: „Богъ васъ накажетъ за меня, а я вамъ зла не желаю. Найдите себѣ жену богатую, да такую, чтобъ любила васъ такъ, какъ я; живите съ ней въ радости, а я дѣвушка простая, доживу какъ-нибудь, скоротаю свой вѣкъ, въ четырехъ стѣнахъ сидя, проклинаючи свою жизнь". И эта гуманно-патетическая тирада обращена къ Вихореву! А Вихоревъ думаетъ: „Что жъ, отчего и не пошалить, если шалости такъ дешево обходятся". А тутъ еще, въ заключеніе пьесы, Русаковъ, на радостяхъ, что урокъ не пропалъ даромъ для дочери и еще болѣе укрѣпилъ въ ней принципъ повиновенія старшимъ,—уплачиваетъ долгъ Вихорева въ гостиницѣ, гдѣ тотъ жилъ. Какъ видите, и тутъ сказывается самодурный обычай: па милость, дескать, нѣтъ образца; хочу — казню, хочу—милую... Никто мнѣ не указъ,—ни даже самыя правила справедливости.

Такъ вотъ каково положеніе и развитіе двухъ главныхъ лицъ комедіи *Не въ свои сани не садись*. Нравится оно вамъ? Хотѣли бы вы быть на мѣстѣ Авдотьи Максимовны? Или, можетъ-быть, вамъ было бы пріятно играть роль Русакова и довести кого-нибудь изъ близкихъ вамъ до того положенія, въ какомъ представляется намъ дочь Максима Ѳедотыча? Если такъ, то, конечно, вы должны восхищаться патріархальностью, чистотою и счастіемъ того быта, который изображенъ Островскимъ въ этой комедіи. Но если нѣтъ, то и эта пьеса должна вамъ представляться сильнымъ протестомъ, захватившимъ самодурство въ такомъ его фазисѣ, въ которомъ оно можетъ еще обманывать многихъ нѣкоторыми чертами добродушія и разсудительности.

Но — могутъ сказать намъ — несчастіе, происшедшее въ семействѣ Русаковыхъ, есть не болѣе, какъ случай, совершенно выходящій изъ ряда обыкновенныхъ явленій ихъ жизни. До пріѣзда Вихорева во всей семьѣ Русаковыхъ была тишь да гладь да Божья благодать. Виною всего горя была зараза новыхъ понятій, привезенная съ Кузнецкаго

Моста сестрою Русакова — Ариною Ѳедотовной. Самъ Русаковъ говоритъ ей: „Твое дѣло, порадуйся! Я ее въ страхѣ воспитывалъ да въ добродѣтели, она у меня какъ голубка была чистая. Ты пріѣхала съ заразой-то своей. Только у тебя и разговору-то было, что глупости... Всѣ рѣчи-то твои были такія вздорныя. Вѣдь, тебя нельзя пустить въ хорошую семью: ты ядъ и соблазнъ!“ И дѣйствительно, во всей пьесѣ представляется очень ярко и послѣдовательно, какимъ образомъ этотъ ядъ мало-по-малу проникаетъ въ душу дѣвушки и нарушаетъ спокойствіе ея тихой жизни. А въ концѣ изображается опять, какъ живая сила простыхъ, патріархальныхъ отношеній беретъ верхъ надъ язвою современной полуобразованности, возвращаетъ заблудшую дочь въ родительскій домъ и торжествуетъ, въ лицѣ Бородкина, возстановляя ея естественныя права въ кругу всѣхъ ея близкихъ. Такое значеніе, очевидно, хотѣлъ придать пьесѣ самъ авторъ, и на всѣхъ вообще она производитъ впечатлѣніе, не возстановляющее противъ стараго быта, а примиряющее съ нимъ.

На это мы должны сказать, что не знаемъ, что̀ именно имѣлъ въ виду авторъ, задумывая свою пьесу, но видимъ въ самой пьесѣ такія черты, которыя никакъ не могутъ послужить въ похвалу старому быту. Если эти черты не такъ ярки, чтобы бросаться въ глаза каждому, если впечатлѣніе пьесы раздвояется,—это доказываетъ только (какъ мы уже замѣчали въ первой статьѣ), что общія теоретическія убѣжденія автора, при созданіи пьесы, не находились въ совершенной гармоніи съ тѣмъ, что̀ выработала его художническая натура изъ впечатлѣній дѣйствительной жизни. Но, смотря на художника не какъ на теоретика, а какъ на воспроизводителя явленій дѣйствительности, мы не придаемъ исключительной важности тому, какимъ теоріямъ онъ слѣдуетъ. Главное дѣло въ томъ, чтобъ онъ былъ добросовѣстенъ и не искажалъ фактовъ жизни въ пользу своихъ воззрѣній: тогда истинный смыслъ фактовъ самъ собою выкажется въ произведеніи, хотя, разумѣется, и не съ такою яркостью, какъ въ томъ случаѣ, когда художнической работѣ помогаетъ и сила отвлеченной мысли... Объ Островскомъ даже сами противники его говорятъ, что онъ всегда вѣрно рисуетъ картины дѣйствительной жизни; слѣдовательно, мы можемъ даже оставить въ сторонѣ, какъ вопросъ частный и личный,—то, какія намѣренія имѣлъ авторъ при

созданіи своей пьесы. Положимъ, что никакихъ не имѣлъ, а такъ, просто—поразилъ его случай, нерѣдко совершающійся въ „темномъ царствѣ“, котораго изображеніемъ онъ занимается,—онъ взялъ да и записалъ этотъ случай. О смыслѣ его предоставляется судить публикѣ и критикѣ. Критика рѣшила, что смыслъ пьесы—указаніе вреда полуобразованности и восхваленіе коренныхъ началъ русскаго быта. По нашему мнѣнію, это отчасти невѣрно, отчасти недостаточно. Настоящій же смыслъ пьесы вотъ въ чемъ.

Русаковъ есть лучшій представитель старыхъ началъ жизни, началъ самодурныхъ. По натурѣ своей онъ добръ и честенъ, его мысли и дѣла направлены ко благу, оттого въ семьѣ его мы не видимъ тѣхъ ужасовъ угнетенія, какіе встрѣчаемъ въ другихъ самодурныхъ семействахъ, изображенныхъ самимъ же Островскимъ. Но это явленіе совершенно случайное, исключительное: въ сущности тѣхъ началъ, на которыхъ основанъ бытъ Русаковыхъ, нѣтъ никакихъ гарантій благосостоянія. Напротивъ, уничтожая права личности, ставя страхъ и покорность основою воспитанія и нравственности, эти начала только и могутъ обусловливать собою произволъ, угнетеніе и обманъ. Русаковъ—случайное исключеніе, и зато первый ничтожный случай разрушаетъ все добро, которое въ его семействѣ было слѣдствіемъ его личныхъ достоинствъ. Онъ полагаетъ, что все зло произошло отъ наущеній Арины Ѳедотовны; но, вѣдь, это онъ только сваливаетъ съ больной головы на здоровую. Тутъ опять тотъ же силлогизмъ, который не такъ давно приводился противниками грамотности. „Грамотные мужики—кляузники и плуты; они обманываютъ неграмотныхъ; слѣдовательно, не нужно учить мужиковъ грамотѣ“. Въ правильномъ своемъ видѣ этотъ силлогизмъ долженъ имѣть слѣдующій видъ: „Неграмотные мужики обманываются грамотными; слѣдовательно, надо всѣмъ мужикамъ дать средства учиться, чтобы оградить ихъ отъ обмана“. Такъ и здѣсь: Арина Ѳедотовна соблазнила и надула дочь Русакова; что изъ этого? То, что надо было дѣвушкѣ дать средства оградить себя отъ соблазна. Надо было ей самой и жизнь раскрывать, и людей показывать, и пріучать ее къ самостоятельности мнѣній и поступковъ: дѣвушка, развитая и привыкшая къ обществу, не поддалась бы пошлой Аринѣ Ѳедотовнѣ и не плѣнилась бы пустоголовымъ Вихоревымъ. Но дать ей

настоящее, человѣческое развитіе значило бы признать права ея личности, отказаться отъ самодурныхъ правъ, итти наперекоръ всѣмъ преданіямъ, по которымъ сложился бытъ „темнаго царства"; этого Русаковъ не хотѣлъ и не могъ сдѣлать. Онъ добръ и уменъ настолько, чтобы не вдаваться въ крайности, чтобы положить предѣлъ и мѣру злоупотребленіямъ, до которыхъ самодурныя права доводятъ другихъ его собратій. Но въ немъ нѣтъ столько силы ума и характера, чтобъ отрѣшиться отъ самыхъ главныхъ основъ своего быта. Онъ остановился на данной точкѣ и все, что́ изъ нея выходитъ, обсуждаетъ довольно правильно: онъ очень вѣрно замѣчаетъ, что дочь его нетрудно обмануть, что разговоры Арины Ѳедотовны могутъ быть для нея вредны, что невоспитанной купчихѣ несладко выходить за барина и пр. Но во всѣхъ его сужденіяхъ замѣтенъ тотъ неразумный, тупой консерватизмъ, который составляетъ одно изъ отличительныхъ свойствъ упрямаго самодурства. Онъ остановился на томъ положеніи дѣлъ, которое уже существуетъ, и не хочетъ допустить даже мысли о томъ, что это положеніе можетъ или должно измѣниться. Онъ сознаетъ, что дочь его невоспитана и собственно потому не годится въ барыни; но онъ не выражаетъ ни малѣйшаго сожалѣнія о томъ, что не воспиталъ ея. По его понятіямъ, ужъ это такъ и должно быть: купчиха — такъ купчиха, а барыня — такъ ужъ та съ тѣмъ и родится, чтобъ быть барыней. Онъ сознаетъ и то, что его дочь не умѣетъ различать людей и потому плѣняется дряннымъ вертопрахомъ Вихоревымъ. Но это не наводитъ его на мысль, что надобно было бы хоть нѣсколько пріучить ее имѣть собственныя сужденія о вещахъ. Напротивъ, по его убѣжденію, то-то и хорошо, что она всякаго любить будетъ, кто ни попадись. Право выбирать людей по своему вкусу, любить однихъ и не любить другихъ – можетъ принадлежать, во всей своей обширности, только ему, Русакову, всѣ же остальные должны украшаться кротостью и покорностью: таковъ ужъ уставъ самодурства... При всей своей добротѣ и умѣ, Русаковъ, какъ самодуръ, не можетъ рѣшиться на существенныя измѣненія въ своихъ отношеніяхъ къ окружающимъ и даже не можетъ понять необходимости такого измѣненія. Все зло происходитъ въ семьѣ оттого, что Русаковъ, боясь дать дочери свободу мнѣнія и право распоряжаться своими поступками, стѣсняетъ

ея мысль и чувство и дѣлаетъ изъ нея вѣчно несовершеннолѣтнюю, почти слабоумную дѣвочку. Онъ видитъ, что зло существуетъ и желаетъ, чтобъ его не было; но для этого прежде всего надо ему отстать отъ самодурства; разстаться съ своими понятіями о сущности правъ своихъ надъ умомъ и волею дочери; а это уже выше его силъ, это недоступно даже его понятію... И вотъ онъ сваливаетъ вину на другихъ: то Арина Ѳедотовна съ заразой пришла, то просто—лукавый попуталъ. „Врагъ рода человѣческаго,—говоритъ,—всякимъ соблазномъ соблазняетъ насъ, всякимъ прельщеніемъ...“ И не хочетъ понять самой простой истины: что не нужно усыплять въ человѣкѣ его внутреннія силы и связывать ему руки и ноги, если хотятъ, чтобъ онъ могъ успѣшно бороться со своими врагами.

И за это самодурство отца дѣвочка и должна поплатиться всѣмъ, что могло бы доставить ей истинно-счастливую, сознательную, свѣтлую будущность. Общій взглядъ Максима Ѳедотыча на жизнь не могъ не отразиться, наперекоръ его любви, и на развитіи дочери. Онъ умѣлъ уберечь ее отъ всего, что даетъ человѣку средства беречь самого себя, и оттого-то онъ такъ плохо уберегъ ее. Кажется, чего бы лучше: воспитана дѣвушка „въ страхѣ да въ добродѣтели“, по словамъ Русакова, дурныхъ книгъ не читала, людей почти вовсе не видѣла, выходъ имѣла только въ церковь Божію, вольнодумныхъ мыслей о непочтеніи къ старшимъ и о правахъ сердца не могла ниоткуда набраться, отъ претензій на личную самостоятельность была далека, какъ отъ мысли поступить въ военную службу... Чего бы, кажется, лучше? Жила бы себѣ спокойно и ровно, по плану, разъ навсегда начертанному Русаковымъ, и ничто бы, кажется, не должно было увлекать и совращать съ праваго пути это совершенное, кроткое созданіе, эту голубку безотвѣтную. Но шатко, мимолетно и ничтожно все, чему нѣтъ основанія и поддержки внутри человѣка, въ его разсудкѣ и сознательной рѣшимости. Только тѣ семейныя и общественныя отношенія и могутъ быть крѣпки, которыя вытекаютъ изъ внутренняго убѣжденія и оправдываются добровольнымъ, разумнымъ согласіемъ всѣхъ, въ нихъ участвующихъ. Самодурство, даже въ лицѣ лучшихъ его представителей, подобныхъ Русакову, не признаетъ этого—и зато терпитъ жестокія пораженія отъ первой случайности, отъ первой ничтож-

ной интрижки, даже просто шалости, не имѣющей опредѣленнаго смысла. Что могло быть ничтожнѣе и безсмысленнѣе разсужденій Арины Ѳедотовны? Что могло представиться пошлѣе и нелѣпѣе Вихорева Авдотьѣ Максимовнѣ? И однакоже, эти двѣ пошлости разстроиваютъ всю гармонію семейнаго быта Русаковыхъ, заставляютъ отца проклинать дочь, дочь—уйти отъ отца, и затѣмъ ставятъ несчастную дѣвушку въ такое положеніе, за которымъ, по мнѣнію самого Русакова, слѣдуетъ не только для нея самой горе и безчестье на всю жизнь, но и общій позоръ для цѣлой семьи. И въ самодурномъ бытѣ, съ его патріархальными обычаями, не находится въ этомъ случаѣ даже силы примиренія, потому что здѣсь нарушена не только формальность цѣломудрія, но и принципъ повиновенія... Для возстановленія правъ невинной, но опозоренной дѣвушки нужна великодушная выходка Бородкина, совершенно исключительная и несообразная съ нравами этой среды, которой неразвитость и самодурство обусловливаютъ какъ чрезвычайную легкость поступка Авдотьи Максимовны, такъ и невозможность примиренія.

Такимъ образомъ, мы можемъ повторить наше заключеніе: комедіею *Не въ свои сани не садись* Островскій—намѣренно, или ненамѣренно, или даже противъ воли—показалъ намъ, что пока существуютъ самодурныя условія въ самой основѣ жизни, до тѣхъ поръ самыя добрыя и благородныя личности ничего хорошаго не въ состояніи сдѣлать, до тѣхъ поръ благосостояніе семейства и даже цѣлаго общества непрочно и ничѣмъ не обезпечено даже отъ самыхъ пустыхъ случайностей. Изъ анализа характера и отношеній Русакова мы вывели эту истину въ приложеніи къ тому случаю, когда порядочная натура находится въ положеніи самодура и отуманивается своими правами. Въ другихъ комедіяхъ Островскаго мы находимъ еще болѣе сильное указаніе той же истины, въ приложеніи къ другой половинѣ „темнаго царства",—половинѣ зависимой и угнетенной.

И къ Русакову могли имѣть нѣкоторое примѣненіе стихи, поставленные эпиграфомъ этой статьи: и онъ имѣетъ добрыя намѣренія, и онъ желаетъ пользы для другихъ, но „напрасно проситъ о тѣни" и изсыхаетъ отъ палящихъ лучей самодурства. Но всего болѣе идутъ эти стихи къ тѣмъ несчастнымъ, которые, будучи одарены прекраснѣйшимъ

сердцемъ и чистѣйшими стремленіями, изнемогаютъ подъ гнетомъ самодурства, убивающаго въ нихъ всякую мысль и чувство. О нихъ-то думая, мы не разъ вспоминали:

Напрасно пророка о тѣни онъ проситъ:
Его лишь песокъ раскаленный заноситъ,
Да коршунъ хохлатый, степной нелюдимъ,
Добычу терзаетъ и щиплетъ надъ нимъ.

III.

Это все больше отъ необузданности, а то и отъ глупости.

Островскій.

Въ горькой долѣ дочери Русакова мы видимъ много неразумнаго; но тамъ впечатлѣніе смягчается тѣмъ, что угнетеніе все-таки не столь грубо тяготѣетъ надъ ней. Гораздо болѣе нелѣпаго и дикаго представляютъ намъ въ судьбѣ своей угнетенныя личности, изображенныя въ комедіи *Бѣдность не порокъ*.

Бѣдность не порокъ намъ очень ясно представляетъ, какъ честная, но слабая натура глохнетъ и погибаетъ подъ безсмысліемъ самодурства. Гордѣй Карпычъ Торцовъ, отецъ Любови Гордѣевны, братъ Любима Торцова и хозяинъ Мити, есть уже самодуръ въ полномъ смыслѣ. Онъ и крутъ и гордъ, и разсудка не имѣетъ, по отзыву жены его, Пелагеи Егоровны. Цѣлый домъ дрожитъ передъ нимъ. Особенно грозенъ сдѣлался онъ съ тѣхъ поръ, какъ подружился съ Африканомъ Саввичемъ Коршуновымъ и сталъ „перенимать новую моду". На этой дружбѣ и пристрастіи Гордѣя Карпыча къ новой модѣ и основана завязка комедіи. Читатель помнитъ, конечно, что Торцовъ хочетъ выдать за Африкана Саввича дочь свою, которая любитъ приказчика Митю, и сама имъ любима... На этомъ основаніи критика предположила, что *Бѣдность не порокъ* написана Островскимъ съ тою цѣлью, чтобы показать, какія вредныя послѣдствія производитъ въ купеческой семьѣ отступленіе отъ старыхъ обычаевъ и увлеченіе новою модой... За это, съ одной стороны, неумѣренно превозносили Островскаго, съ другой—безпощадно бранили. Мы не станемъ спорить ни съ тѣми ни

съ другими критиками и не станемъ разбирать справедливости ихъ предположенія. Положимъ даже, что у Островскаго дѣйствительно была та мысль, какую ему приписывали: насъ это мало теперь занимаетъ. Для насъ гораздо интереснѣе то, что въ Гордѣѣ Торцовѣ является намъ новый оттѣнокъ, новый видъ самодурства: здѣсь мы видимъ, какимъ образомъ воспринимается самодуромъ образованность, т.-е. тѣ случайныя и ничтожныя формы ея, которыя единственно и доступны его разумѣнію. Объ этомъ мы и поговоримъ теперь.

Самодурство и образованіе—вещи, сами-по-себѣ противоположныя, и потому столкновеніе между ними, очевидно, должно кончиться подчиненіемъ одного другому: или самодуръ проникнется началами образованности, и тогда перестанетъ быть самодуромъ, или онъ образованіе сдѣлаетъ слугою своей прихоти, при чемъ, разумѣется, останется прежнимъ невѣждою. Послѣднее произошло съ Гордѣемъ Карпычемъ, какъ бываетъ почти со всѣми самодурами. Онъ никакъ не предполагаетъ, что первый шагъ къ образованности дѣлается подчиненіемъ своего произвола требованіямъ разсудка и уваженіемъ тѣхъ же требованій въ другихъ. Ему, напротивъ, кажется, что всякая образованность, всякая логика существуютъ только затѣмъ, чтобы служить къ совершеннѣйшему исполненію его прихотей. Оттого онъ и понимаетъ только грубо-матеріальную, чисто-внѣшнюю сторону образованія. „Что они,—говоритъ,—пьютъ-то по необразованію своему! Наливки тамъ, вишневки разныя—а не понимаютъ того, что на это есть шампанское!“—„А за столомъ-то какое невѣжество: молодецъ въ поддевкѣ прислуживаетъ, либо дѣвка!“—„Я, говоритъ, въ здѣшнемъ городѣ только и вижу невѣжество да необразованіе; для того и хочу въ Москву переѣхать и буду тамъ *моду всякую подражать*“. Находя, что въ этомъ-то подражаніи и состоитъ образованность, онъ пристаетъ къ женѣ, чтобы та на старости лѣтъ надѣла чепчикъ вмѣсто головки, задавала модные вечера съ музыкантами, отстала отъ всѣхъ своихъ старыхъ привычекъ. Но онъ не видитъ никакой надобности измѣнить свои отношенія къ домашнимъ, дать здравому смыслу хоть какое-нибудь участіе въ своемъ семейномъ бытѣ. Требовательность Гордѣя Карпыча стала больше, а простора для дѣятельности всѣхъ окружающихъ онъ не даетъ попрежнему. Жена

жалуется, что съ нимъ „нельзя сговорить, при его крутомъ-то характерѣ“, особенно послѣ того, какъ *переняль* эту образованность. „То все-таки разсудокъ имѣлъ,—говоритъ про него Пелагея Егоровна,—а тутъ ужъ совсѣмъ у него помутилось“... Даже о судьбѣ дочери жена не смѣетъ ничего сказать ему: „Смотритъ звѣремъ, ни словечка не скажетъ,—точно я и не мать... Да право... ничего я ему сказать не смѣю; развѣ съ кѣмъ поговоришь съ посторонним про свое горе, поплачешь, душу отведешь, только и всего“... Отношенія Гордѣя Карпыча ко всѣмъ домашнимъ тоже грубы и притѣснительны въ высшей степени. Отъ дочери онъ только и требуетъ, чтобы изъ его воли не смѣла выходить. На просьбу ея—не выдавать ее за Коршунова, онъ отвѣчаетъ: „Ты, дура, сама не понимаешь своего счастія... Одно дѣло—ты будешь жить на виду, а не въ этакой глуши; *а другое дѣло—я такъ приказываю*“. И дочь отвѣчаетъ: „Я приказу твоего не смѣю ослушаться“. Приказчика Митю Гордѣй Карпычъ ругаетъ безцеремонно и совершенно напрасно. Узнавъ, что онъ посылаетъ матери деньги, Торцовъ замѣчаетъ: „Себя-то бы образилъ прежде: матери-то не Богъ-знаетъ что нужно, не въ роскоши воспитана; сама, чай, хлѣвы затворяла“... Въ глазахъ Гордѣя Карпыча это большое преступленіе: матери деньги посылаетъ человѣкъ, а себѣ сюртука новаго не сошьетъ!.. А между тѣмъ, Торцовъ и не думаетъ прибавить жалованья усердному приказчику, на что даже самъ кроткій Митя жалуется: „Жалованье маленькое отъ Гордѣя Карпыча, все обида да брань, да все бѣдностью попрекаетъ, точно я виноватъ... а жалованья не прибавляетъ...“ Вообще—грубость и необузданность безпрестанно и очень сильно проявляются въ Гордѣѣ Карпычѣ. Входя въ комнату приказчиковъ, которые поютъ пѣсню, онъ кричитъ: „Что распѣлись! Горланятъ точно мужичье!..“ и начинаетъ ругаться. Во второмъ актѣ, когда Пелагея Егоровна устроила вечеринку и позвала ряженыхъ, вдругъ вбѣгаетъ Арина, говоритъ: „Самъ пріѣхалъ“,—и всѣ присутствующіе встаютъ въ перепугѣ. Гордѣй Карпычъ входитъ и, дѣйствительно, здоровается съ женой и гостями слѣдующимъ привѣтствіемъ: „Это что за сволочь! Вонъ!.. Жена, принимай гостя!..“ Гость этотъ—Африканъ Саввичъ, и онъ-то ужъ сдерживаетъ нѣсколько порывы гнѣва Гордѣя Карпыча... Ясно, что даже та внѣшность образованія, которая

выражается въ манерахъ и приличіяхъ, не далась Гордѣю Карпычу. Онъ могъ надѣть новый костюмъ, завести новую *мебель*, пристраститься къ „шемпанскому", но въ своей личности, въ характерѣ, даже во внѣшней манерѣ обращенія съ людьми—онъ не хотѣлъ ничего измѣнить. Во всѣхъ своихъ привычкахъ онъ остался вѣренъ своей самодурной натурѣ, и въ немъ мы видимъ довольно любопытный образчикъ того, какимъ манеромъ на всякаго самодура дѣйствуетъ образованіе. Казалось бы, человѣкъ попалъ на хорошую дорогу: созналъ недостатки того образа жизни, какой велъ доселѣ, исполнился негодованіемъ противъ невѣжества, понялъ превосходство образованности вообще... Утѣшительное явленіе! Положимъ, что все это въ немъ еще смутно, слабо, невѣрно; но все-таки начало сдѣлано, застой потревоженъ, дѣятельность получила новое направленіе... Быть-можетъ, онъ пойдетъ и дальше по этому пути, и нравъ его смягчится, вся жизнь приметъ новый характеръ... Нѣтъ, не дожидайтесь... Во всякомъ другомъ образованіе возбуждаетъ симпатическія стремленія, смягчаетъ характеръ, развиваетъ уваженіе къ началамъ справедливости и т. д. Но въ самодурѣ само просвѣщеніе, сама логика, сама добродѣтель принимаютъ свой дикій и безобразный видъ. Отправляясь отъ той точки, что его произволъ долженъ быть закономъ для всѣхъ и для всего, самодуръ радъ воспользоваться тѣмъ, что просвѣщеніе приготовило для удобствъ человѣка, радъ требовать отъ другихъ, чтобъ его воля выполнялась лучше, сообразно съ успѣхами разныхъ знаній, съ введеніемъ новыхъ изобрѣтеній и пр. Но только на этомъ онъ и остановится. Не ждите, чтобъ онъ самъ на себя наложилъ какія-нибудь ограниченія, вслѣдствіе сознанія новыхъ требованій образованности; не думайте даже, чтобъ онъ могъ проникнуться серіознымъ уваженіемъ къ законамъ разума и къ выводамъ науки: это вовсе несообразно съ натурою самодурства. Нѣтъ, онъ постоянно будетъ смотрѣть свысока на людей мысли и знанія, какъ на чернорабочихъ, обязанныхъ приготовлять матеріалъ для удобствъ его произвола; онъ постоянно будетъ отыскивать въ новыхъ успѣхахъ образованности предлоги для предъявленія новыхъ правъ своихъ, но никогда не дойдетъ до сознанія обязанностей, налагаемыхъ на него тѣми же успѣхами образованности. Иначе и не можетъ онъ поступать, не переставая

быть самодуромъ, такъ какъ первое требованіе образованности въ томъ именно и состоитъ, чтобъ отказаться отъ самодурства. А отказаться отъ самодурства для какого-нибудь Гордѣя Карпыча Торцова значитъ— обратиться въ полное ничтожество. И вотъ, онъ тѣшится надъ всѣми окружающими: колетъ имъ глаза ихъ невѣжествомъ и преслѣдуетъ за всякое обнаруженіе ими знанія и здраваго смысла. Онъ узналъ, что образованныя дѣвушки хорошо говорятъ, и упрекаетъ дочь, что та говорить не умѣетъ; но чуть она заговорила, кричитъ: „Молчи, дура!“ Увидѣлъ онъ, что образованные приказчики хорошо одѣваются, и сердится на Митю, что у того сюртукъ плохъ; но жалованьишко продолжаетъ давать ему самое ничтожное... Такъ точно и во всей своей жизни—онъ умѣетъ извлечь изъ претензій на образованность только увеличеніе требованій и правъ своихъ, но никакъ не расширеніе своихъ собственныхъ обязанностей... Такова ужъ сущность этого милаго свойства, которое такъ мѣтко названо у Островскаго самодурствомъ! Въ раскрытіи этого-то отношенія самодурства къ образованности заключается для насъ главный интересъ лица Гордѣя Карпыча. Мы вовсе не понимаемъ, какимъ образомъ нѣкоторые критики могли вывести, что въ этомъ лицѣ и вообще въ комедіи *Бѣдность не порокъ* Островскій хотѣлъ показать вредное дѣйствіе новыхъ понятій на старый русскій бытъ... Изъ всей комедіи ясно, что Гордѣй Карпычъ сталъ такимъ грубымъ, страшнымъ и нелѣпымъ—не съ тѣхъ поръ только, какъ съѣздилъ въ Москву и перенялъ новую моду. Онъ и прежде былъ въ сущности такой же самодуръ; теперь только прибавилось у него нѣсколько новыхъ требованій.

Подъ вліяніемъ такого человѣка и такихъ отношеній развиваются кроткія натуры Любови Гордѣевны и Мити, представляющія собою образецъ того, до чего можетъ доходить обезличеніе и до какой совершенной неспособности къ самобытной дѣятельности доводитъ угнетеніе даже самую симпатичную, самоотверженную натуру. Митя способенъ къ жертвамъ: онъ самъ терпитъ нужду, чтобы только помогать своей матери; онъ сноситъ всѣ грубости Гордѣя Карпыча и не хочетъ отходить отъ него изъ любви къ его дочери; онъ, несмотря на гнѣвъ хозяина, пригрѣваетъ въ своей комнатѣ Любима Торцова и даетъ ему даже денегъ на похмелье. Словомъ, у Мити такъ много самоотверженія,

что, кажется, ему всякія жертвы, всякія опасности должны быть ни почемъ... Не меньшей добротой отличается и Любовь Гордѣевна. А ужъ какъ она любитъ Митю,—этого и сказать нельзя: кажется, душу бы за него отдала съ радостью... Будь это люди нормальные, съ свободною волей и хоть съ нѣкоторою энергіей, - ничто не могло бы разлучить ихъ, или, по крайней мѣрѣ, разлука эта не обошлась бы безъ тяжелой и страшной борьбы. Но посмотрите, какъ разыгрывается вся исторія въ семействѣ Торцова. При самомъ объясненіи въ любви, собираясь просить благословенія у отца, Любовь Гордѣевна говоритъ Митѣ: „А ну какъ тятенька не захочетъ нашего счастья,—что тогда?" Митя отвѣчаетъ: „Что загадывать впередъ? Тамъ—какъ Богъ дастъ. Не знаю, какъ тебѣ, а мнѣ безъ тебя жизнь не въ жизнь". Любочка ничего не находитъ отвѣтить на эти слова. Какъ ясно рисуется здѣсь безсиліе и забитость молодыхъ людей! Они боятся даже подумать о какомъ-нибудь самостоятельномъ шагѣ, стараются прогнать отъ себя даже мысль о предстоящихъ препятствіяхъ. Она съ ужасомъ говоритъ: „Что будетъ, если тятенька не согласится?"—а онъ, вмѣсто отвѣта: „Какъ Богъ дастъ"... Ясно, что они не въ состояніи исполнить своихъ намѣреній, если встрѣтятъ хоть малѣйшее препятствіе. И дѣйствительно,—въ этотъ самый вечеръ является Гордѣй Карпычъ съ Коршуновымъ, приказываетъ дочери ласкать и цѣловать его и объявляетъ, что это ея женихъ. Пелагея Егоровна приходитъ въ ужасъ и въ какомъ-то безсознательномъ порывѣ кричитъ, схватывая дочь за руки: „Моя дочь, не отдамъ! батюшка, Гордѣй Карпычъ, не шути надъ материнскимъ сердцемъ! перестань... истомилъ всю душу". Но Гордѣй Карпычъ грозно вопіетъ: „Жена! ты меня знаешь: у меня сказано—сдѣлано",—и жена умолкаетъ. Начинаетъ теперь дочь свою оппозицію. Начинаетъ она тѣмъ, что падаетъ отцу въ ноги и говоритъ: „Тятенька! я приказа твоего не смѣю ослушаться... Тятенька, не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь! Передумай, тятенька! Что хочешь меня заставь, только не принуждай ты меня противъ сердца замужъ итти за немилаго". Кончается же оппозиція тѣмъ, что на суровый отказъ отца невѣста отвѣчаетъ: „Воля твоя, батюшка", кланяется и отходитъ къ матери, а Коршуновъ велитъ дѣвушкамъ пѣть свадебную пѣсню... Борьба оказалась не очень упорною и

продолжительною; но даже и такое проявленіе личныхъ своихъ желаній очень много значитъ въ Любови Гордѣевнѣ. Только крайность огорченія, только тяжелая душевная мука могли заставить ее раскрыть ротъ для произнесенія словъ, несогласныхъ съ волею родителя. Но и тутъ—какія слова: „передумай!“ „не захоти!“ Какое жалкое положеніе: не имѣть даже ни малѣйшаго помышленія о возможности сдѣлать что-нибудь самому, полагать всю надежду на чужое рѣшеніе, на чужую милость, въ то время, какъ намъ грозитъ кровная бѣда!.. Каково должно быть извращеніе человѣческой природы въ этомъ ужасномъ семействѣ, когда даже чувство самосохраненія принимаетъ здѣсь столь рабскую форму!..

Третій актъ комедіи открывается тѣмъ, что воля Гордѣя Карпыча совершилась: гости пируютъ на помолвкѣ его дочери съ Африканомъ Саввичемъ. Старая служанка, Арина, ругаетъ жениха и тоскуетъ объ участи невѣсты; Пелагея Егоровна жалуется на свое горе, что дочка у ней погибаетъ; Митя приходитъ прощаться: онъ рѣшился уѣхать къ матери отъ своей напасти. Слезы и жалобы Пелагеи Егоровны выводятъ его, однако, изъ себя, и онъ начинаетъ ей колоть глаза ея трусостью и безсиліемъ. „Не на кого,—говоритъ,—вамъ плакаться: сами отдаете. Чѣмъ плакать-то, не отдавали бы лучше. За что дѣвичій вѣкъ заѣдаете, въ кабалу отдаете? Нешто это не грѣхъ?“ и пр. У Пелагеи Егоровны одинъ отвѣтъ: „Знаю я все, да не моя воля; а ты бы, Митя, лучше пожалѣлъ меня“. Тутъ Митя приходитъ въ умиленіе и разсказываетъ ей про свою любовь, а она замѣчаетъ: „Ахъ ты, сердечный! Экой ты горькій паренекъ-то, какъ я на тебя посмотрю!..“ Она сожалѣетъ объ его горѣ, какъ о такомъ, котораго никакими человѣческими средствами отвратить ужъ невозможно,—какъ-будто бы она услыхала, напр., о томъ, что Митя себѣ руки обрубилъ или что мать его умерла... Но вотъ и сама Любовь Гордѣевна приходитъ; у Мити расходилось сердце до того, что онъ предлагаетъ Пелагеѣ Егоровнѣ снарядить дочку потеплѣе къ вечеру, а онъ ее увезетъ къ своей матушкѣ, да тамъ и повѣнчается. Рѣшеніе это очень смѣло, но оно не составляетъ обдуманнаго, серіознаго плана, и ему суждено погибнуть такъ же скоро, какъ оно зародилось. Самъ Митя характеризуетъ свой порывъ такою фразой: „Эхъ, дайте душѣ просторъ—разгу-

ляться хочетъ! По крайности, коли придется и въ отвѣтъ итти, такъ ужъ зато буду знать, что потѣшился". Итакъ, это отчаянная, безумная вспышка, къ какимъ бываютъ въ нѣкоторыя мгновенія способны самые робкіе люди. Но у Мити нѣтъ силы поддержать свое требованіе и, встрѣтивъ отказъ отъ матери и отъ дочери, онъ довольно скоро и самъ отказывается отъ своего намѣренія, говоря: „Ну, знать, не судьба". А Любовь Гордѣевна—та ужъ вовсе убита, такъ что не можетъ допустить даже и мысли о согласіи на предложеніе Мити... И немудрено: она, вѣдь, гораздо ближе къ Гордѣю Карпычу, гораздо болѣе подвергалась вліянію его самодурства, нежели Митя. Оттого она безропотно рѣшается на всякія муки, только чтобъ не выступить изъ отцовскаго приказа. „Нѣтъ, Митя, не бывать этому,—говоритъ она,—не томи себя понапрасну, не надрывай мою душу... И такъ мое сердце все изныло во мнѣ... Поѣзжай съ Богомъ". И Митя отходитъ, зная, что „Любови Гордѣевнѣ за Коршуновымъ не иначе какъ погибать надобно"; и она это знаетъ, и мать знаетъ,—и всѣ тоскливо и тупо покоряются своей судьбѣ... До такой степени гнетъ самодурства исказилъ въ нихъ человѣческій образъ, заглушилъ всякое самобытное чувство, отнялъ всякую способность къ защитѣ самыхъ священныхъ правъ своихъ, правъ на неприкосновенность чувства, на независимость сердечныхъ влеченій, на наслажденіе взаимною любовью!..

И, вѣдь, если бы еще въ самомъ дѣлѣ сила неодолимая, натура высшаго разряда тяготѣла надъ этими несчастными! А то вовсе нѣтъ!.. Гордѣй Карпычъ не только крайне ограниченъ въ своихъ понятіяхъ, но еще и трусливъ, и слабодушенъ. Это опять-таки—неотъемлемое, неизбѣжное свойство самодурства. Самодуръ дуритъ, ломается, артачится, пока не встрѣчаетъ себѣ противодѣйствія, или пока противодѣйствіе робко и нерѣшительно... Но у него нѣтъ такой точки опоры, которая могла бы поддержать его въ серіозной и продолжительной борьбѣ. Онъ требуетъ и приказываетъ, но самъ хорошенько не понимаетъ—ни настоящаго смысла своихъ приказаній, ни того, на чемъ они основаны... Кромѣ того, въ немъ есть всегда неопредѣленный, смутный страхъ за свои права: онъ чувствуетъ, что многихъ своихъ претензій не можетъ оправдать никакимъ правомъ, никакимъ общимъ закономъ... Боясь, чтобы другіе этого непримѣтили, онъ

употребляетъ обыкновенную мѣру—запугиванье. Извѣстно, какъ скрывается подъ этою мѣрой всякая ничтожность, фальшь, нечистота, —словомъ, —несостоятельность всякаго рода. Учитель, не довольно свѣдущій, старается быть строже съ учениками, чтобы тѣ его не разспрашивали ни о чемъ. Начальникъ, не понимающій дѣла или нечистый на-руку, старается напустить на себя важность, чтобы подчиненные не дерзали слишкомъ смѣло судить о немъ. Баринъ, не имѣющій никакого дѣйствительнаго достоинства, старается взять суровостью и грубостью предъ лакеемъ... Благодаря общей апатіи и добродушію людей, такое поведеніе почти всегда удается: иной и хотѣлъ бы спросить отчета—какъ и почему?—у начальника или учителя, да видитъ, что къ тому приступу нѣтъ, такъ и махнетъ рукой... „Э,—скажетъ,—ну его! Еще обругаетъ ни за что ни про что!" И вслѣдствіе этого разсужденія, наглая, самодурная глупость и безчестность продолжаютъ безмятежно пользоваться всѣми выгодами своей наглости и всѣми знаками видимаго почета отъ окружающихъ. Всеобщая потачка возвышаетъ гордость самодура и даже дѣйствительно придаетъ ему силы. Она вознаграждаетъ для него отсутствіе сознанія о своемъ внутреннемъ достоинствѣ. Такъ, господинъ, вывозящій мусоръ изъ города, могъ бы, несмотря на совершенную безцѣнность этого предмета, заломить за него непомѣрныя деньги, если бы увидѣлъ, что всѣ окрестные жители, по непонятной иллюзіи, придаютъ ему какую-то особенную цѣну... Но только на подобной иллюзіи и держится значеніе самодура. Только покажись гдѣ-нибудь сильный и рѣшительный отпоръ,—сила самодура падаетъ, онъ начинаетъ трусить и теряться. На первый разъ еще у него станетъ храбрости и упрямства, и это объясняется даже просто привычкой: привыкши встрѣчать безмолвное повиновеніе, онъ съ перваго раза и повѣрить не хочетъ, чтобы могло явиться серіозное противодѣйствіе его волѣ. Вслѣдствіе того, считая сначала за слѣдствіе недоразумѣнія всякій голосъ, имѣющій хоть тѣнь намѣренія ограничить его самовольство, онъ разражается взрывомъ бѣшенства, пытается запугать еще больше, чѣмъ прежде пугалъ, и этимъ средствомъ по большей части успѣваетъ смирить или заглушить всякое недовольство. Но чуть только онъ увидитъ, что его сознательно не боятся, что съ нимъ идутъ на споръ рѣшительный, что вопросъ

ставится прямо: „Погибну, но не уступлю“,—онъ немедленно отступаетъ, смягчается, умолкаетъ и переноситъ свой гнѣвъ на другіе предметы или на другихъ людей, которые виноваты только тѣмъ, что они послабѣе... Всякій, кто учился, служилъ, занимался частными комиссіями, вообще имѣлъ дѣла съ людьми,—натыкался, вѣроятно, не разъ въ жизни на подобнаго самодура и можетъ засвидѣтельствовать практическую справедливость нашихъ словъ. Бойтесь сказать *мимоходомъ* слово вопреки сердитому и безтолковому начальнику: васъ ждетъ потокъ бранныхъ словъ и угрожающихъ жестовъ, крайне оскорбительныхъ. Мало того,—васъ и впослѣдствіи будетъ преслѣдовать неблагопріятное мнѣніе начальника: вы либералъ, вы непочтительны къ начальству, голова наша набита фанаберіей... Но если вы хотите служить и вести дѣла честно, не бойтесь вступать въ серіозный, рѣшительный споръ съ самодурами. Изъ ста случаевъ въ девяносто-девяти вы возьмете верхъ. Только рѣшитесь заранѣе, что вы на полусловѣ не остановитесь и пойдете до конца, хотя бы оттого угрожала вамъ дѣйствительная опасность—потерять мѣсто или лишиться какихъ-нибудь милостей. Первая ваша попытка заикнуться о вашемъ мнѣніи будетъ предупреждена возвышеніемъ голоса самодура; но вы все-таки возражайте. Возраженіе ваше встрѣчено будетъ бранью или выговоромъ, болѣе или менѣе неприличными, смотря по важности и по привычкамъ лица, къ которому вы обращаетесь. Но вы не смущайтесь: возвышайте вашъ голосъ наравнѣ съ голосомъ самодура, усиливайте ваши выраженія соразмѣрно съ его рѣчью, принимайте болѣе и болѣе рѣшительный тонъ, смотря по степени его раздраженія. Если разговоръ прекратился, возобновляйте его на другой и на третій день, не возвращаясь назадъ, а начиная съ того, на чемъ остановились вчера,—и будьте увѣрены, что ваше дѣло будетъ выиграно. Самодуръ возненавидитъ васъ, но еще болѣе испугается. Онъ радъ будетъ прогнать и погубить васъ; но, зная, что съ вами много хлопотъ, самъ постарается избѣжать новыхъ столкновеній и сдѣлается даже очень уступчивъ: во-первыхъ, у него нѣтъ внутреннихъ силъ для равной борьбы на чистоту, во-вторыхъ, онъ вообще непривыкъ къ какой бы то ни было послѣдовательной и продолжительной работѣ, а бороться съ человѣкомъ, который смѣло и неотступно пристаетъ къ вамъ,—это тоже работа не малая...

Итакъ, Гордѣй Карпычъ, въ качествѣ самодура, очень слабодушенъ и вовсе не имѣетъ выдержки въ своемъ характерѣ. Всѣ качества дѣйствительно сильной натуры замѣняются у него необузданнымъ произволомъ да тупоумнымъ упрямствомъ. Вотъ чѣмъ объясняется и оправдывается видимая неожиданность развязки, которую далъ Островскій комедіи *Бѣдность не порокъ*. При появленіи этой комедіи всѣ критики возстали на автора за произвольность развязки. Внезапная перемѣна Гордѣя Карпыча, его ссора съ Африканомъ Саввичемъ и вниманіе къ требованіямъ Любима Торцова показались всѣмъ неестественными. Да тутъ же еще, кстати, хотѣли видѣть со стороны автора навязываніе какого-то великодушія Торцову и какъ-будто искусственное облагороживаніе его личности. Теперь, кажется, не нужно доказывать, что такихъ намѣреній не было у Островскаго: характеръ его литературной дѣятельности опредѣлился, и въ одномъ изъ послѣдующихъ своихъ произведеній онъ самъ произнесъ то слово, которое, по нашему мнѣнію, всего лучше можетъ служить къ характеристикѣ направленія его сатиры. Преслѣдованіе самодурства во всѣхъ его видахъ, осмѣиваніе его въ послѣднихъ его убѣжищахъ, даже тамъ, гдѣ оно принимаетъ личину благородства и великодушія,—вотъ, по нашему убѣжденію, настоящее дѣло, на которое постоянно устремляется талантъ Островскаго, даже совершенно независимо отъ его временныхъ воззрѣній и теоретическихъ убѣжденій. Въ трехъ комедіяхъ его изображаются порывы великодушія у самодуровъ, и каждый разъ они являются глупыми, ненужными или обидными. Въ *Не своихъ саняхъ* Русаковъ, разжалобившись надъ дочерью, тоже великодушно измѣняетъ свое рѣшеніе и соглашается выдать ее за Вихорева. Спрашивается: зачѣмъ? съ какой стати? Вѣдь, онъ, повидимому, вполнѣ убѣжденъ, что замужество съ Вихоревымъ составитъ гибель его дочери. За нѣсколько минутъ ранѣе онъ даже доказываетъ это довольно резонно; за нѣсколько минутъ онъ выказываетъ свою твердость, угрожая лишить дочь своего благословенія въ случаѣ непослушанія. А тутъ вдругъ великодушная уступка! Чѣмъ она вызвана? Отчасти добротою сердца и отцовскою любовью, но всего болѣе совершеннымъ отсутствіемъ прочныхъ основъ для принятаго имъ прежде рѣшенія. Человѣкъ, знающій, что онъ дѣлаетъ, и любящій свое дѣло, не отстанетъ отъ него по минутному

капризу. Тотъ же Русаковъ не рѣшится сбрить себѣ бороду или надѣть фракъ, какъ бы его дочь ни убивалась изъ-за этого. А относительно судьбы дочери у него нѣтъ въ головѣ даже такихъ прочно сложившихся и вполнѣ опредѣленныхъ убѣжденій, какъ насчетъ бороды и фрака. Оттого-то и возможно для него въ рѣшеніи о ней такое легкомысліе, которое въ глазахъ нѣкоторыхъ представляется даже умилительнымъ великодушіемъ, такъ же, какъ и уплата долга за Вихорева!..

Тою же неразумностью отличается и великодушіе Торцова. Онъ души не чаетъ въ своемъ будущемъ зятѣ, Африканѣ Саввичѣ. „Можешь ли ты меня теперь понимать?“ спрашиваетъ онъ, и ничего, кажется, не желаетъ болѣе, какъ только того, чтобы зятюшка его понялъ. Чтобы угодить ему и скрѣпить свою дружбу съ нимъ, Торцовъ жертвуетъ дочерью, презираетъ ея мольбы и слезы матери, даже самъ, видимо, унижается и позволяетъ ему обходиться съ собой нѣсколько свысока. Но вотъ Любимъ Торцовъ начинаетъ обижать нареченнаго зятя, зять обиженъ и даетъ это замѣтить Гордѣю Карпычу довольно грубо, заключая свою рѣчь словами: „Нѣтъ, теперь *ты* приди ко мнѣ да покланяйся, чтобъ я дочь-то твою взялъ“. Этихъ словъ довольно, чтобы взбѣсить Гордѣя Карпыча. Онъ вспыльчиво спрашиваетъ: „Я къ тебѣ пойду кланяться?“ А Коршуновъ подливаетъ масла въ огонь, говоря: „Пойдешь, я тебя знаю. Тебѣ нужно свадьбу сдѣлать, хоть въ петлю лѣзть, да только бъ весь городъ удивить, а жениховъ-то нѣтъ... Вотъ несчастье-то твое“. Этими словами Корщуновъ совершенно портитъ свое дѣло: онъ употребилъ именно ту форму, которой самодурство никакъ не можетъ переносить и которая сама опять-таки есть не что иное, какъ нелѣпое порожденіе самодурства. Одинъ самодуръ говоритъ: „Ты не смѣешь этого сдѣлать“, а другой отвѣчаетъ: „Нѣтъ, смѣю“. Тутъ споръ идетъ уже о томъ, кто кого передуритъ. И если одинъ изъ спорящихъ чего-нибудь добивается отъ другого, то, разумѣется, побѣдителемъ останется тотъ, отъ котораго добиваются; ему, вѣдь, тутъ и труда никакого не нужно: стоитъ только не дать, и дѣло съ концомъ. Такъ происходитъ и здѣсь. Выслушавъ „не смѣешь“ Коршунова, Гордѣй Карпычъ говоритъ: „Опосля этого, когда ты такія слова говоришь, *я самъ* тебя знать не хочу! Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло,

за кого вздумается, за того и отдамъ. Съ деньгами, что́ я за ней дамъ, всякій человѣкъ будетъ... Вотъ за Митьку отдамъ! " И въ порывѣ гнѣва онъ нѣсколько разъ повторяетъ: „Да, за Митьку отдамъ! Назло ему, за Митрія отдамъ!." Коршуновъ уходитъ въ ярости, а домашніе всѣ удивлены, принимая слова Гордѣя Карпыча за серіозное рѣшеніе: до такой степени пріучены они къ неразумности всѣхъ его поступковъ. Митя, съ наивностью загнаннаго юноши, очень довѣрчиваго и очень плохо понимающаго истинный смыслъ всего, что вокругъ него происходитъ, даже обращается къ Торцову со слѣдующею рѣчью: „Зачѣмъ же назло, Гордѣй Карпычъ? Со зломъ такого дѣла не дѣлаютъ. Мнѣ назло не надобно-съ. Лучше ужъ я всю жизнь буду мучиться. Коли есть ваша такая милость, такъ ужъ вы благословите насъ, какъ слѣдуетъ,—по-родительски, съ любовію..." Но эти наивныя слова возбуждаютъ, разумѣется, гнѣвное изумленіе въ Торцовѣ, который и не думалъ говорить серіозно объ отдачѣ дочери за Митю. „Что, что! — вскрикиваетъ онъ. — Ты ужъ и радъ случаю! Да *какъ ты смѣлъ* подумать-то? Что она, ровня что ль тебѣ? *Съ кѣмъ ты говоришь*, вспомни!.." Митя становится передъ нимъ на колѣни, но это смиреніе не обезоруживаетъ Гордѣя Карпыча: онъ продолжаетъ ругаться. Просьбы дочери и жены тоже остаются безсильны. Но тутъ-то является къ нимъ на помощь Любимъ Торцовъ,— озорникъ, съ которымъ Гордѣй Карпычъ ужъ достаточно повозился и никакого ладу не нашелъ... Любимъ говоритъ ему то же, что и Коршуновъ: „Да ты поклонись въ ноги Любиму Торцову, что онъ тебя оконфузилъ-то", и Пелагея Егоровна прибавляетъ: „Именно, Любимушка, надо тебѣ въ ноги поклониться..." Можно бы ожидать, что Гордѣй Карпычъ, назло домашнимъ, опять упрется и выдумаетъ еще что-нибудь *назло*. Но онъ только спрашиваетъ въ недоумѣніи: „Что жъ я, извергъ что ли какой въ своемъ семействѣ?" Изъ этого вы уже замѣчаете, что его начинаетъ пробивать великодушіе. Разъ онъ уже поставилъ на своемъ, прогнавъ Коршунова, и, слѣдовательно, самолюбіе его удовлетворено покамѣстъ. Къ тому же онъ ужъ и утомленъ напряженіемъ, которое сдѣлалъ, и не въ состояніи теперь снова собрать ту же энергію для другой борьбы. А тутъ, вмѣстѣ съ кроткими мольбами жены, допекаютъ его разсужденія и назойливыя просьбы брата Любима, который

говоритъ съ нимъ смѣло и рѣшительно, безъ всякихъ умолчаній, подкрѣпляя просьбы свои доказательствами, взятыми изъ собственнаго опыта. Гордѣй Карпычъ, какъ-будто затуманивается; онъ смотритъ вокругъ себя и не знаетъ, какъ ему все это понимать и что дѣлать; онъ ищетъ внутри себя, на чемъ бы опереться въ борьбѣ, и ничего не находитъ, кромѣ своей самодурной воли. Она-то и высказывается въ послѣднемъ его возраженіи: „Ты мнѣ что ни говори, а я тебя слушать не хочу...“ Но Любимъ не придаетъ особенной важности такому возраженію и продолжаетъ свои настоянія. Гордѣй Карпычъ окончательно сбитъ съ толку и обезсиленъ; сознаніе всего окружающаго рѣшительно мутится въ его головѣ; онъ никакъ не можетъ отыскать своихъ мыслей, которыя никогда и не были крѣпко связаны между собой, а теперь ужъ совсѣмъ разлетѣлись въ разныя стороны... Въ эту критическую минуту онъ позволяетъ себѣ раскваситься, его прошибаетъ слеза, и онъ, благодаря брата Любима за назиданіе, благословляетъ будущее счастіе дѣтей своихъ... Пользуясь его расположеніемъ, и племянникъ его, Гуслинъ, которому Торцовъ запрещалъ жениться, проситъ разрѣшенія и получаетъ его... Гордѣй Карпычъ говоритъ: „Теперь просите всѣ, кому что нужно; теперь я сталъ другой человѣкъ!..“

Какой широкій размахъ великодушія, подумаешь!.. Такъ и чуешь какого-то восточнаго султана, который говоритъ: „Все въ моей власти!.. Стоитъ мнѣ мигнуть, и съ тебя голову снимутъ, стоитъ сказать слово, и неслыханно-роскошные дворцы вырастутъ для тебя изъ земли. Проси, чего хочешь! полміра могу я взять и подарить, кому хочу“... Разница только въ размѣрахъ, а сущность дѣла та же самая въ словахъ Торцова. Дай ему какой-нибудь калифатъ, онъ бы и тамъ сталъ распоряжаться такъ же точно, какъ теперь въ своемъ семействѣ. Дурилъ бы, презирая всѣ человѣческія права и не признавая другихъ законовъ, кромѣ своего произвола, а подчасъ удивлялъ бы своимъ великодушіемъ, основаннымъ опять-таки на той мысли, что „вотъ, дескать, смотрите: у васъ правъ никакихъ нѣтъ, а на всемъ моя полная воля; могу казнить, могу и миловать!..“ Счастливы мы, читатель, что живемъ въ настоящее время, когда у насъ порывы подобнаго великодушія невозможны!.. Ими можно пользоваться въ извѣстныя минуты, какъ пользовались Митя

и Любовь Гордѣевна: ихъ дѣло выиграно, хотя Гордѣй Карпычъ, разумѣется, и не надолго останется великодушнымъ и будетъ послѣ каяться и попрекать ихъ своимъ рѣшеніемъ... Но подобные выигрыши ненадежны. Когда вы разсчитываете, какъ устроить свою жизнь, то, конечно, не будете основывать своихъ расчетовъ на томъ, что, можетъ-быть, выиграете большое состояніе въ лотерею. Такъ точно въ разумной, сознательной жизни невозможно разсчитывать и на выигрышъ великодушія самодура... Пусть лучше не будетъ этихъ благородныхъ, широкихъ барскихъ замашекъ, которыми восторгались старые, до идіотства захолопѣвшіе лакеи; но пусть будетъ свято и неприкосновенно то, что мнѣ принадлежитъ по праву; пусть у меня будетъ возможность всегда употреблять свободно и разумно мою мысль и волю, а не тогда, когда выйдетъ милостивое разрѣшеніе отъ какого-нибудь Гордѣя Карпыча Торцова.

Но безсиліе и внутреннее ничтожество самодурства не выдается еще въ этихъ комедіяхъ съ такою поразительною яркостью, какъ въ небольшой комедіи: *Въ чужомъ пиру похмелье*. Здѣсь есть все—и грубость, и отсутствіе честности, и трусость, и порывы великодушія,—и все это покрыто такою тупоумною глупостью, что даже люди, наиболѣе расположенные къ славянофильству, не могли одобрить Тита Титыча Брускова, а замѣтили только, что все-таки у него душа добрая... Аграфена Платоновна, хозяйка квартиры, гдѣ живетъ учитель Ивановъ съ дочерью, отзывается о Брусковѣ, какъ о человѣкѣ „дикомъ, властномъ, крутомъ сердцемъ, словомъ сказать—самодурѣ“. На вопросъ Иванова: что значитъ самодуръ?—она объясняетъ: „Самодуръ—это называется, коли вотъ человѣкъ никого не слушаетъ: ты ему хоть колъ на головѣ теши, а онъ все свое. Топнетъ ногой, скажетъ: кто я? Тутъ ужъ всѣ домашніе ему въ ноги должны, такъ и лежать, а то бѣда“... Продолжая свою характеристику, она замѣчаетъ, что „насчетъ плутовства—онъ, точно, старикъ хитрый; но хоть и плутоватъ, а человѣкъ темный. Онъ только въ своемъ домѣ свирѣпъ, а то съ нимъ, что хочешь дѣлай,—дуракъ дуракомъ; на пустомъ спугнуть можно“. И дѣйствительно, изъ пьесы оказывается, что всѣ слова Аграфены Платоновны справедливы. Она же сама, ни съ того ни съ сего, беретъ съ Брускова, зашедшаго въ квартиру Ивановыхъ, тысячу цѣлковыхъ за расписку, въ которой сынъ его

Андрей Титычъ, обѣщается жениться на дочери Иванова. Расписка эта и сама-по-себѣ ничего не значитъ, да Ивановъ съ дочерью и не знаютъ о ней, и претензіи никакой не имѣютъ; все это сама хозяйка устраиваетъ, желая ихъ облагодѣтельствовать... Но Брусковъ, какъ темный человѣкъ, вполнѣ освоившійся съ обычаями „темнаго царства", не входитъ ни въ какія соображенія. Во-первыхъ, онъ всегда готовъ къ тому, что его обманутъ, такъ какъ онъ самъ готовъ обмануть всякаго. Поэтому, прочитавъ бумажку, показанную ему Аграфеною Платоновной, онъ преспокойно замѣчаетъ: „Это, то-есть, насчетъ грабежу. Ну, народецъ!.." И затѣмъ начинаетъ торговаться, нисколько не возмущаясь этою исторіей, а только удивляясь ловкой штукѣ, которую сочинили съ его сыномъ. Во-вторыхъ, онъ ужасно боится всякаго суда, потому что хоть и надѣется на свои деньги, но все-таки не можетъ сообразить, правъ ли онъ долженъ быть по суду, или нѣтъ,—а знаетъ только, что по суду тоже придется много денегъ заплатить. На этомъ основаніи, только услышавъ отъ Аграфены Платоновны, что теперь пойдетъ „дѣло по дѣлу, а судъ по формѣ", онъ чешетъ себѣ затылокъ и говоритъ: „По формѣ?.. Нѣтъ, ужъ лучше мы такъ, между себя сдѣлаемся". И это ему, дѣйствительно, гораздо легче ужъ и потому даже, что подобныя сдѣлки для него очень привычны. Онъ такъ объясняется съ женою на этотъ счетъ, возвратясь отъ Ивановыхъ:

Титъ Титычъ. Настасья! Смѣетъ меня кто обидѣть?

Настасья Панкратьевна. Никто, батюшка Китъ Китычъ, не смѣетъ васъ обидѣть. Вы сами всякаго обидите.

Титъ Титычъ. Я обижу, я и помилую, а то деньгами заплачу. Я за это много денегъ заплатилъ на своемъ вѣку.

Настасья Панкратьевна. Много, Китъ Китычъ, много.

Титъ Титычъ. Молчи.

Отсутствіе яснаго сознанія нравственныхъ началъ выражается и въ обращеніи, которое Брусковъ позволяетъ себѣ съ Аграфеною Платоновной и съ Ивановымъ, послѣ того какъ заплатилъ деньги и получилъ расписку. Аграфена Платоновна старается его выпроводить, но онъ усаживается и начинаетъ ругаться, представляя такой резонъ: „Нѣтъ, погоди—*дай хоть поругаться-то за свои деньги*". Но впрочемъ, это онъ такъ только, зло сорвать хочетъ; въ своихъ ругательствахъ онъ не видитъ ничего оскорбительнаго, да и самъ не задѣтъ за живое. Когда приходитъ Ивановъ и, ничего

не зная о происшедшей исторіи, съ недоумѣніемъ смотритъ на Брускова, Титъ Титычъ обращается къ нему съ такою рѣчью: „Ты что на меня смотришь? На мнѣ, ничего не написано. Деньги-то взять умѣли. *Вы меня хоть попотчуйте чѣмъ за мои деньги-то*". Ивановъ проситъ его уйти; онъ опять начинаетъ ругаться. Ивановъ гонитъ его вонъ,—онъ возражаетъ: „Что ты кричишь-то? *Я, вѣдь, ничего, я такъ—шучу съ тобой*". Ивановъ продолжаетъ гнать его, и Брусковъ подходитъ къ нему и, ударяя его по плечу, говоритъ: „Поѣдемъ ко мнѣ! *Выпьемъ вмѣстѣ, пріятели будемъ. Что ссориться-то*!" Ивановъ входитъ въ пущій азартъ, и Брусковъ, съ неудовольствіемъ замѣчая: „ишь, ты, какой сердитый!"—уходитъ съ новыми ругательствами... Пришедши домой, онъ велитъ Захару Захарычу, пьянчужкѣ-приказному, писать „такое прошеніе, чтобы троихъ человѣкъ въ Сибирь сослать по этому прошенію". Я, говоритъ, „такъ хочу и никакихъ денегъ для этого не пожалѣю". Но тутъ приходитъ Ивановъ, узнавшій, между тѣмъ, все дѣло, приноситъ деньги, взятыя Аграфеною Платоновной, и проситъ назадъ расписку. Брусковъ тотчасъ смекаетъ, что Ивановъ затѣмъ ее проситъ, чтобы потомъ за нее больше содрать. Но старикъ-учитель разжалобилъ его, и онъ спрашиваетъ: „Аль отдать? Сахарычъ,—отдать?" Захаръ Захарычъ говоритъ: „Ни-ни-ни!"—Но Брусковъ внезапно рѣшаетъ: „А я говорю, что отдать!.. Ты молчи, не смѣй разговаривать!" И расписка отдана и тутъ же разорвана Ивановымъ, а черезъ нѣсколько минутъ Брусковъ находитъ, что „деньги и все это—тлѣнъ" и что, слѣдовательно, сынъ его можетъ жениться на дочери Иванова, хотя она и бѣдна... „Мое слово—законъ",—говоритъ онъ и посылаетъ сына сватать дочь учителя. „Да помилуйте, тятенька, онъ не отдастъ",—возражаетъ сынъ. „Я тебѣ приказываю, слышишь,—говоритъ Титъ Титычъ:—какъ онъ смѣетъ не отдать, когда я этого желаю?.. Вы не смѣете со мной разговаривать,—прибавляетъ онъ.—А если не отдастъ за тебя, ты лучше мнѣ и на глаза не показывайся!.."

Во всемъ этомъ замѣчательно то, что вся исторія сама-по-себѣ необыкновенно глупа... Если смотрѣть здраво, то всѣ ея участники хотятъ невозможнаго, или—лучше сказать—сами не смыслятъ, чего они хотятъ. Аграфена Платоновна, не спросясь Ивановыхъ, беретъ съ Андрея Брускова расписку, а съ отца его—деньги. Титъ Титычъ хочетъ услать

Ивановыхъ въ Сибирь и основываетъ это на распискѣ, которую его же выгода требуетъ уничтожить. Ивановъ убивается, требуя—даже не уничтоженія, а именно *возвращенія* расписки, что ему вовсе ненужно, и только возбуждаетъ справедливыя подозрѣнія въ Брусковѣ... Все это совершенно нелѣпо и безсмысленно, какъ самъ Брусковъ и вся его жизнь. Но всего глупѣе роль сына Брускова, Андрея Титыча, изъ-за котораго идетъ вся эта исторія и который самъ, по его же выраженію, „какъ угорѣлый ходитъ по землѣ" и только сокрушается о томъ, что у нихъ въ домѣ „все не такъ, какъ у людей", и что его „уродомъ сдѣлали, а не человѣкомъ". И въ самомъ дѣлѣ, — смѣшно посмотрѣть, что съ нимъ дѣлаютъ. Парню ужъ давно за двадцать, смысломъ его природа не обидѣла: по фабрикѣ отцовской онъ лучше всѣхъ понимаетъ дѣло, впередъ знаетъ, что требуется, кромѣ того, и къ наукамъ имѣетъ наклонность, и искусства любитъ— „къ скрыпкѣ оченно пристрастіе имѣетъ"; словомъ сказать— парень совершеннолѣтній, добрый и неглупый; возросъ онъ до того, что ужъ и жениться собирается... И вдругъ онъ „отъ тятеньки скрывается"!.. Только заслышалъ, что „самъ пріѣхалъ",—какъ и кричитъ: „Маменька, спрячьте меня отъ тятеньки!"—и бѣжитъ къ матери въ спальню прятаться... Какая тому причина? Та, что тятенька его женить задумалъ насильственнымъ образомъ... такъ онъ, видите, отбѣгаться думаетъ!.. И способъ-то хорошій выбралъ!.. А зачѣмъ тятенька хочетъ его женить насильно, на то причина одна: что такъ онъ хочетъ... Мать, впрочемъ, представляетъ и другую причину: невѣста, найденная отцомъ, очень богата, „а намъ,— по словамъ Настасьи Панкратьевны,—надо невѣсту съ большими деньгами, *потому, сами богаты*"... Логика неопровержимая!.. И Андрей Титычъ ничего хорошенько не можетъ возразить противъ нея: онъ уже доведенъ отцовскимъ обращеніемъ до того, что самъ считаетъ себя „просто пропащимъ человѣкомъ". А обращеніе, въ самомъ дѣлѣ, хорошее, если послушать его разсказовъ Лизаветѣ Ивановнѣ, дочери Иванова. По его словамъ, у него „крылья ошибены, то-есть обрублены, какъ есть". Жениться онъ долженъ не по своему выбору, а по приказу отцовскому. „А коли скажешь, что, молъ, тятенька, эта невѣста не нравится: а, говоритъ, въ солдаты отдамъ!.. Ну, и шабашъ!.. Да ужъ не то что въ этакомъ дѣлѣ,—прибавляетъ онъ,—и въ другомъ-то въ чемъ

воли не даютъ. Я вотъ помоложе былъ, и учиться хотѣлъ, такъ и то не велѣли!..“ Лизавета Ивановна совѣтуетъ ему, выбравъ хорошую минуту, разсказать отцу откровенно все,—что онъ способности имѣетъ, что учиться хочетъ и т. п. Андрей Титычъ отвѣчаетъ на это: „Онъ такую откровенность задастъ, что мѣста не найдешь. Вы думаете,—онъ не знаетъ, что ученый лучше неученаго? Только хочетъ на своемъ поставить... Одинъ капризъ, одна только амбиція,—что, вотъ, я неученъ, а ты умнѣе меня хочешь быть“.

Ну, скажите, есть ли какая-нибудь возможность вести разумную рѣчь съ этими людьми! Отецъ знаетъ, что ученый лучше неученаго, и сыну извѣстно, что отецъ это знаетъ, и сынъ хочетъ учиться, и все-таки отецъ запрещаетъ, и сынъ не смѣетъ ослушаться!.. Отецъ признаетъ себя неучемъ, сознаетъ, что это дурно, и боится, чтобы сынъ его не избѣжалъ этого зла!.. Сынъ знаетъ, что отецъ только вслѣдствіе собственнаго невѣжества запрещаетъ ему учиться, и считаетъ долгомъ покориться этому невѣжеству!.. Кто разберетъ эту безсмысленную путаницу, внесенную самодурствомъ въ семейныя отношенія? Кто сумѣетъ бросить лучъ свѣта въ безобразный мракъ этой непостижимой логики „темнаго царства“? Подумаешь, что Андрей Титычъ тоже сумасшедшій, какъ его братецъ Капитоша, который представляетъ собой еще одинъ любопытный результатъ семейной дисциплины въ домѣ Брускова... Но всѣ окружающіе говорятъ, что Андрей Титычъ—умный, и онъ даже самъ такъ разумно разсуждаетъ о своемъ братѣ: „Не пускаютъ—говоритъ—меня въ театръ; ту причину пригоняютъ, что у насъ одинъ братъ помѣшанный отъ театру; а онъ совсѣмъ не отъ театру,—*такъ, съ малолѣтства заколотили очень*...“ А Андрюша еще не заколоченъ и все-таки представляетъ изъ себя какого-то поврежденнаго. Ужъ примирился бы, что ли, со своимъ положеніемъ, какъ сотни и тысячи другихъ мирятся! Такъ нѣтъ,—этого не хочетъ онъ, и тѣмъ приводитъ въ отчаяніе отца и мать. Мать сокрушается о немъ даже больше, чѣмъ о другомъ сынѣ своемъ—дурачкѣ. Положеніе Купидоши какъ-то мало безпокоитъ ее: оно ей такъ близко и сродно; она даже потѣшается надъ нимъ, а печалится больше всего лишь о томъ, что онъ табачище очень крѣпкій куритъ. „Купидоша у насъ совсѣмъ какой-то ума рехнувшій по театру,—объясняетъ она своей гостьѣ Ненилѣ Сидоровнѣ.—Да табакъ куритъ,

Ненила Сидоровна, такой крѣпкій, просто дышать нельзя. Въ комнатахъ такого курить нельзя ни подъ какимъ видомъ,—кого хочешь стошнитъ... Такъ все больше въ кухнѣ пребываетъ. *Вотъ иногда скучно, позовешь его, а онъ-то и давай кричать по-тіатральному,—ну, и утѣшаешься на него.* Съ пѣвчими поетъ басомъ, — голосъ такой громкій, такъ, какъ словно изъ ружья выпалитъ". Стало-быть, глупость сына имѣетъ даже свою пріятность для матери!.. Но умъ Андрюши внушаетъ ей опасенія очень серіозныя: „Совсѣмъ,—говоритъ,—отъ дому отбивается: то нехорошо, другое не по немъ, учиться, говоритъ, хочу... А на что ему много-то знать? *И такъ боекъ, а какъ обучать-то всему, тогда съ нимъ и не сговоришь; онъ мать-то и уважать не станетъ; хоть изъ дому бѣги...*" Такимъ образомъ, доля самодурства Брускова переходитъ и къ женѣ его, хоть на словахъ только,—и Андрюша, при всей своей любви къ знанію и при всѣхъ природныхъ способностяхъ, долженъ вырасти неучемъ, для того, чтобы сохранить уваженіе къ отцу и матери. Они, бѣдняки, чувствуютъ, что умному-то и образованному человѣку не за что уважать ихъ!..

А отчего же Андрей Титычъ, коли ужъ онъ дѣйствительно человѣкъ неглупый, не рѣшается, въ самомъ дѣлѣ, удовлетворить своей страсти къ ученью, употребивъ даже въ этомъ случаѣ нѣкоторое самовольство? Вѣдь, бывали же на Руси примѣры, что мальчики, одержимые страстью къ наукѣ, бросали все и шли учиться, не заботясь ни о мнѣніи родныхъ, ни о какой поддержкѣ въ жизни... Да, по тѣ мальчики, вѣрно, какъ-нибудь укрылись отъ мертвящаго вліянія самодурства, не были заколочены съ малолѣтства; оттого у нихъ и могла развиться нѣкоторая рѣшимость на борьбу съ жизнью, нѣкоторая сила воли. Отъ Андрюши и Капитоши Брусковыхъ невозможно требовать ничего подобнаго. Ихъ, несчастныхъ, колотили въ ребячествѣ, ими помыкаютъ, а подчасъ потѣшаются и взрослыми... Гдѣ ужъ тутъ развиться свѣтлымъ, независимымъ соображеніямъ и могучей рѣшимости? Андрея Титыча только развѣ на то хватитъ, чтобы впослѣдствіи бушевать, подобно своему отцу, и дурить надъ другими, въ отместку за то, что другіе надъ нимъ дурили... Такъ изъ поколѣнія въ поколѣніе и переходитъ эта безобразная іерархія, въ которой тотъ, кто выбрался наверхъ, давитъ и топчетъ тѣхъ, кто остался

внизу. Что же ему дѣлать иначе? На этой сплошной толпѣ байбаковъ, поднявшихъ его степенство вверхъ, онъ только и держится: онъ поневолѣ долженъ больше или меньше давить ее собою,—иначе самъ упадетъ опять подъ ноги другимъ и, чего добраго, будетъ растоптанъ... А кому же охота быть растоптаннымъ?

Но тутъ можетъ представляться вопросъ совершенно другого свойства: отчего эти байбаки такъ упорно продолжаютъ поддерживать надъ собою человѣка, который ничего имъ хорошаго, окромя дурного, не сдѣлалъ и не дѣлаетъ? Отчего Митя безотвѣтенъ предъ Торцовымъ, Андрюша терзается, но не смѣетъ слова сказать Титу Титычу, и пр.? Отчего цѣлое общество терпитъ въ своихъ нравахъ такое множество самодуровъ, мѣшающихъ развитію всякаго порядка и правды? Въ обществѣ, воспитанномъ подъ вліяніемъ Торцовыхъ и Брусковыхъ, нѣтъ рѣшимости на борьбу. Но, вѣдь, нельзя не сознаться, что если самодуръ, самъ-по-себѣ, внутренно несостоятеленъ, какъ мы видѣли это выше, то его значеніе только и можетъ утверждаться на поддержкѣ другихъ. Значитъ, тутъ и особеннаго героизма не нужно: только не давай ему общество этой поддержки, просто немножко разступись толпа, сжатая для того, чтобы держать на себѣ какого-нибудь Торцова или Брускова,—и онъ самъ-собою упадетъ и будетъ дѣйствительно задавленъ, если и тутъ обнаружитъ претензію на самодурство... Отчего же въ обществѣ столько десятковъ и сотенъ лѣтъ терпится это безсильное, гнилое, дряхлое явленіе, давно уже отжившее свой вѣкъ въ сознаніи лучшей, истинно образованной части общества? На это есть двѣ важныя причины, которыя очень ясны изъ комедій Островскаго и на которыя мы теперь намѣрены обратить вниманіе читателей.

IV.

Въ терпѣньи тяготу сноси
И безъ роптанія проси.

Ломоносовъ.

Первая изъ причинъ, удерживающихъ людей отъ противодѣйствія самодурству, есть — странно сказать — *чувство законности*, а вторая—*необходимость въ матеріальномъ обезпече-*

ніи. Съ перваго раза обѣ причины, представленныя нами, должны, разумѣется, показаться нелѣпостью. Повидимому, совершенно напротивъ: именно отсутствіе чувства законности и безпечность относительно матеріальнаго благосостоянія могутъ объяснять равнодушіе людей ко всѣмъ претензіямъ самодурства. Люди, разсуждающіе на основаніи отвлеченныхъ принциповъ, сейчасъ могутъ вывести такія соображенія. Самодурство не признаетъ никакихъ законовъ, кромѣ собственнаго произвола; вслѣдствіе того, у всѣхъ, подвергшихся его вліянію, мало-по-малу теряется чувство законности, и они уже не считаютъ поступковъ самодура неправыми и возмутительными и потому переносятъ ихъ довольно равнодушно. Кромѣ того, самодурство, при раздѣлѣ благъ всякаго рода, постоянно, по своему обычаю, обижаетъ ихъ, пользуясь само львиною долей, а имъ ничего не оставляя. Если они терпятъ это, значитъ, у нихъ уже потеряна любовь къ собственному благосостоянію, они привыкли къ неимѣнію ничего и мало заботятся о томъ, чтобы выйти изъ этого положенія... При такомъ равнодушіи къ матеріальнымъ интересамъ всѣхъ этихъ Митей и Андрюшъ, немудрено самодурамъ помыкать ими по прихоти своей „гнилой фантазіи", какъ выражается Гордѣй Карпычъ.

Такое разсужденіе, при всей своей видимой основательности, весьма легкомысленно. Какъ-таки предложить въ людяхъ совершенное уничтоженіе любви къ самому себѣ, къ своему благосостоянію? И отчего же? Оттого, что кому-то вздумалось взять у меня мое добро!.. Нѣтъ, это можно было бы говорить только въ такомъ случаѣ, если бы всѣ, угнетенные самодурами, было очень довольны собою. Но, вѣдь, мы видимъ, что и Митя, и Андрюша, и Капитоша, и Авдотья Максимовна, и Любовь Гордѣевна очень недовольны своею судьбой. Стало-быть, ихъ не безпечность удерживаетъ въ ихъ положеніи, а что-то другое, поглубже... Это другое и есть чувство законности. Не будь этого чувства, т.-е. прими угнетенная сторона въ самомъ дѣлѣ то убѣжденіе, что никакого порядка, никакого закона нѣтъ и ненужно, тогда бы и пошло все иначе. Приказанія самодуровъ исполнялись бы только до тѣхъ поръ, пока они выгодны для исполняющихъ; а какъ только Торцовъ коснулся благосостоянія Мити и другихъ приказчиковъ,—они бы, нимало не думая, взяли, да и „сверзили" его... Вѣдь, ихъ же больше,

они сильнѣе, чѣмъ Гордѣй Карпычъ... Но они молчали передъ нимъ именно потому, что онъ хозяинъ, что его уважать слѣдуетъ. Самое то, что онъ ихъ обдѣляетъ и сечетъ, они считаютъ законною принадлежностью его положенія... Настасья Панкратьевна, вѣдь, безъ всякой прости, а, напротивъ, съ замѣтнымъ оттѣнкомъ благоговѣнія, говоритъ своему мужу: „Что вы, батюшка Китъ Китычъ, [illegible] Вы сами всякаго лучше!..“

[illegible]

Но я не считаю себя преступнымъ противъ чувства законности, ежели я совсѣмъ отказываюсь отъ условія (которое, надо замѣтить, по самой своей сущности не можетъ въ этомъ случаѣ быть прочнымъ), добровольно лишаясь его выгодъ и зато не принимая на себя его обязанностей. Я, напримѣръ, если бы поступилъ въ военную службу, можетъ-быть, дослужился бы до генерала; но зато, въ солдатскомъ званіи, я обязывался, по правиламъ военной дисциплины, дѣлать честь каждому офицеру. Но я не поступаю въ военную службу или выхожу изъ нея и, отказываясь такимъ образомъ отъ военной формы и отъ надежды быть генераломъ, считаю себя свободнымъ отъ обязательства—прикладывать руку къ козырьку при встрѣчѣ со всякимъ офицеромъ. А вотъ мужики въ отдаленныхъ отъ городовъ мѣстахъ,—такъ тѣ низко кланяются всякому встрѣчному, одѣтому въ нѣмецкое платье. Ну, на это ужъ ихъ добрая воля или, можетъ, особымъ образомъ понятое, то же чувство законности!.. Мы такого чувства не признаемъ и считаемъ себя правыми, если, не служа, не ходимъ въ департаментъ, не получая жалованья, не даемъ вычета въ пользу инвалидовъ, и т. п. Точно такъ сочли бы мы себя правыми, если бы, напримѣръ, пріѣхали въ магометанское государство и, подчинившись его законамъ, не приняли, однако, ислама. Мы сказали бы: „Государственные законы насъ ограждаютъ отъ тѣхъ видовъ насилія и несправедливости, которые здѣсь признаны противозаконными и могутъ нарушить наше благосостояніе; поэтому мы признаемъ ихъ практически. Но намъ нѣтъ никакой надобности ходить въ мечеть, потому что мы вовсе не чувствуемъ потребности молиться пророку, не нуждаемся въ истинахъ и утѣшеніяхъ алкорана и не вѣримъ Магометову раю со всѣми его гуріями; слѣдовательно, отъ ислама ничѣмъ не пользуемся и не хотимъ пользоваться“. Мы были бы правы въ этомъ случаѣ по чувству законности въ его правильномъ смыслѣ.

Такимъ образомъ, законы имѣютъ условное значеніе по отношенію къ намъ. Но мало этого: они и сами-по-себѣ не вѣчны и не абсолютны. Принимая ихъ, какъ выработанныя уже условія прошедшей жизни, мы черезъ то никакъ не обязываемся считать ихъ совершеннѣйшими и отвергать всякія другія условія. Напротивъ, въ мой естественный договоръ съ обществомъ входитъ, по самой его сущности,

и обязательство стараться объ изысканіи возможно лучшихъ законовъ. Съ точки зрѣнія общаго, естественнаго человѣческаго права, каждому члену общества ввѣряется забота о постоянномъ совершенствованіи существующихъ постановленій и объ уничтоженіи тѣхъ, которыя стали вредны или ненужны. Нужно только, чтобъ измѣненіе въ постановленіяхъ, какъ клонящееся къ общему благу, подвергалось общему суду и получило общее согласіе. Если же общее согласіе не получено, то частному лицу предоставляется спорить, доказывать свои предположенія и, наконецъ, отказаться отъ всякаго участія въ томъ дѣлѣ, о которомъ настоящія правила признаны имъ ложными... Такимъ образомъ, въ силу самаго чувства законности устраняется застой и неподвижность въ общественной организаціи, — мысли и волѣ дается просторъ и работа; нарушеніе формальнаго statu quo нерѣдко требуется тѣмъ же чувствомъ законности.

Такъ понимаютъ и объясняютъ чувство законности люди просвѣщенные, люди участвующіе, подобно намъ, въ благодѣяніяхъ цивилизаціи, но не такъ понимаютъ его тѣ темные люди, которыхъ изображаетъ намъ Островскій. Въ его „темномъ царствѣ“ вопросъ ставится совершенно иначе. Тамъ господствуетъ вѣра въ однѣ, разъ навсегда опредѣленныя и закрѣпленныя формы. Знанія здѣсь ограничены очень тѣснымъ кругомъ, работы для мысли — почти никакой; все идетъ машинально, разъ-навсегда заведеннымъ порядкомъ. Отъ этого совершенно понятно, что здѣсь дѣти никогда не вырастаютъ, а остаются дѣтьми до тѣхъ поръ, пока механически не передвинутся на мѣсто отца. Понятно и то, почему средніе термины, посредствующіе между самодурами и угнетенными, вовсе не имѣютъ опредѣленной личности, а заимствуютъ свой характеръ отъ положенія, въ какомъ находятся: то ползаютъ передъ высшими, то, въ свою очередь, задираютъ носъ передъ низшими. Точно механическія куколки: поставятъ ихъ на одинъ конецъ — кланяются; передернутъ на другой — вытягиваются и загибаютъ голову назадъ... Настасья Панкратьевна исчезаетъ предъ мужемъ, дышать не смѣетъ, а на сына тоже прикрикиваетъ: „какъ ты смѣешь?“ да „съ кѣмъ ты говоришь?“ То же мы видѣли и въ Аграфенѣ Кондратьевнѣ въ *Своихъ людяхъ*. Та же исторія повторяется въ другой сферѣ — съ Юсовымъ, въ *Доходномъ мѣстѣ*. И все это происходитъ отъ недостатка вну-

тренней самостоятельности, отъ забитости природы. Человѣку съ малыхъ лѣтъ внушаютъ, что онъ самъ-по-себѣ — ничто, что онъ есть нѣкоторымъ образомъ только орудіе чьей-то чужой воли и что, вслѣдствіе того, онъ долженъ не разсуждать, а только слушаться, слушаться и покоряться. Единственный предметъ, на который можетъ еще быть направленъ его умъ, — это пріобрѣтеніе умѣнья приноровляться къ обстоятельствамъ. Кто сумѣетъ такъ повернуть себя, тому и благо: онъ вынырнетъ... А кто не сумѣетъ, тому бѣда, — задавятъ...

Вслѣдствіе этого-то коснѣнія мысли, вся дѣятельная сторона чувства законности совершенно исчезаетъ въ „темномъ царствѣ", и остается одна пассивная. Какой-нибудь Тишка затвердилъ, что надо слушаться старшихъ, да такъ съ тѣмъ только и остался и останется на всю жизнь... Въ педагогикѣ есть положеніе, что для дѣтей, неспособныхъ еще къ отвлеченнымъ понятіямъ, воспитатель составляетъ олицетвореніе нравственнаго закона, и потому необходимо довѣріе ребенка къ воспитателю. Но обязанность воспитателя, — продолжаетъ потомъ педагогика,—состоитъ въ томъ, чтобы какъ можно скорѣе сдѣлать себя ненужнымъ для ребенка, пріучивши его понимать нравственный законъ въ его истинной сущности, независимо отъ авторитета воспитателя. Этого послѣдняго правила боятся какъ пожара и разбоя всѣ обитатели „темнаго царства" и всѣ стараются дѣйствовать совершенно въ противоположномъ духѣ. „Слушай старика, — старикъ дурно не посовѣтуетъ", говоритъ даже лучшій изъ нихъ — Русаковъ, и тоже не признаетъ правъ образованія, которое научаетъ человѣка самого, безъ чужихъ совѣтовъ, различать, что хорошо и что дурно. Отъ этого и выходитъ, что чувство законности только и выражается въ чувствѣ послушанія да терпѣнія, а все остальное дѣлается чисто невозможнымъ для обитателей „темнаго царства", пока онъ самъ не сдѣлается самодуромъ. Тишка мететъ полы въ домѣ Большова, бѣгаетъ за водкой Подхалюзину и крадетъ цѣлковые у хозяина,—и все это для него совершенно законно... За водкой посылаютъ его старшіе, а старшихъ надо слушаться: тутъ ужъ резонъ прямой. Воровать ему не велятъ; но все равно—воровство тоже освящено старшими: сколько разъ приказчики при немъ хвалились ловкою штукой, сколько разъ приказывали ему молчать объ ихъ мошенни-

чествѣ передъ хозяиномъ, сколько разъ самъ хозяинъ давалъ приказчикамъ наставленія, какъ надувать покупателей!.. Все это не пропало даромъ для бойкаго мальчика,—и вотъ откуда всѣ мерзости, безмятежно уживающіяся въ немъ съ глубочайшимъ чувствомъ законности... Этимъ-то средствомъ онъ и выбивается изъ ничтожества, въ которомъ находился, и начинаетъ самъ дурить, совершенно съ спокойною совѣстью, считая и самодурство точно такъ же законнымъ, какъ и прежнее свое униженіе.

Но, разумѣется, выбиваются наверхъ не всѣ, и даже очень немногіе: для этого надо имѣть довольно крѣпкую натуру и потомъ сверхъ-естественнымъ образомъ выворотить ее. Надо заглушить въ себѣ всѣ симпатичныя чувства, притупить свою мысль, кромѣ того,—связать себя на нѣсколько лѣтъ по рукамъ и ногамъ, и при всемъ этомъ умѣть и пожертвовать при случаѣ своимъ самолюбіемъ и личными выгодами, и тонко обдѣлать дѣльце, и ловкое колѣнце выкинуть... На это мастеровъ не очень много... Охотниковъ, правда, безчисленное множество, да не у всякаго есть такая выдержка, какая, напр., была у Павла Ивановича Чичикова,—а безъ выдержки тутъ ничего не добьешься... Потому-то бóльшая часть людей, попавшихъ подъ вліяніе самодура, предпочитаетъ просто терпѣть, съ тупою надеждою, что авось какъ-нибудь обстоятельства перемѣнятся... Внутренней силы, которая бы возбуждала ихъ къ противодѣйствію злу, въ нихъ нѣтъ, да и не можетъ быть, потому что они не имѣли возможности даже узнать хорошенько, въ чемъ зло и въ чемъ добро... Оттого-то именно въ нихъ и нѣтъ чувства справедливости и сознанія высшаго нравственнаго добра, а вмѣсто этого есть только чувство законности, въ ея установленномъ и тѣсномъ смыслѣ. Для нихъ поступки и явленія жизни раздѣляются не на хорошіе и дурные, а только на позволенные и непозволенные. Что позволено, что скрѣплено положительнымъ закономъ или хоть просто приказаніемъ, то для нихъ и хорошо, и наоборотъ. А на что положительныхъ приказаній нѣтъ, о томъ они находятся въ совершенномъ недоумѣніи. Потому-то всегда и бываютъ такъ робки и медленны шаги ихъ при всякомъ новомъ вопросѣ или явленіи, требующемъ измѣненія существующаго порядка... Тутъ мучительное безпокойство овладѣваетъ забитыми бѣдняками, подъ гнетомъ

самодурства лишившимися всякой способности разсуждать. Узнавъ, что правило, которому они слѣдовали, отмѣнено или само умерло, они рѣшительно не знаютъ, куда имъ обратиться и за что взяться,—и бываютъ ужасно рады первому встрѣчному, который возьмется вести ихъ. Само-собою разумѣется, что этотъ встрѣчный всего чаще бываетъ плутоватый самодуръ, и чѣмъ плутоватѣе онъ, тѣмъ гуще повалитъ за нимъ толпа „несмышленочковъ", желающихъ прожить чужимъ умомъ и подъ чужою волей, хотя бы и самодурною...

Высказанныя нами мысли не составляютъ плода какой-нибудь теоріи, заранѣе придуманной: въ нихъ просто заключаются выводы, прямо слѣдующіе изъ явленій русскаго быта, изображенныхъ въ комедіяхъ Островскаго. Безъ всякаго сомнѣнія, художникъ не имѣлъ въ виду доказывать тѣхъ мыслей, какія мы теперь выводимъ изъ его комедіи; но онѣ сами-собою сказались въ его произведеніяхъ и сказались удивительно правильно. Лица его комедій постоянно остаются вѣрны тому положенію, въ которое поставлены самодурнымъ бытомъ. Ни однимъ словомъ не возвышаются они надъ уровнемъ этого быта, не измѣняютъ основнымъ чертамъ ихъ типа, какъ онъ сложился въ самой жизни. Даже въ лучшихъ натурахъ комедій Островскаго мы не видимъ той смѣлости добра, которой могли бы требовать отъ нихъ при другихъ обстоятельствахъ, но которой именно не можетъ быть въ нихъ подъ гнетомъ самодурства. Едва въ слабомъ зародышѣ виднѣются въ нихъ начала высшаго нравственнаго развитія; но эти начала такъ слабы, что не могутъ служить побужденіемъ и оправданіемъ практической дѣятельности. Оттого всѣ нравственныя основанія поступковъ у честныхъ лицъ въ комедіяхъ Островскаго—внѣшни и очень узко ограничены, и всѣ вертятся только на исполненіи чужой воли, безъ внутренняго сознанія въ правотѣ дѣла. Такъ, Авдотья Максимовна, отказываясь бѣжать съ Вихоревымъ, представляетъ только ту причину, что отецъ ее проклянетъ; а бѣжавши съ нимъ, сокрушается только о томъ, что „отецъ отъ нея отступится, и весь городъ будетъ на нее пальцами показывать". У Любови Гордѣевны эта внѣшность подчиненія долгу, не озаренная внутреннимъ убѣжденіемъ, выражается еще рѣзче. Вотъ что говоритъ она Митѣ въ оправданіе своей рѣшимости—итти за Коршунова:

„Теперь изъ воли родительской мнѣ выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Должна я ему покориться, *такая наша доля дѣвичья. Такъ, знать, тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено изстари.* Не хочу я супротивъ отца итти, *чтобъ про меня люди не говорили да въ примѣръ не ставили.* Хоть я, можетъ-быть, сердце свое надорвала черезъ это, да по крайности я знаю, что *я по закону живу* и никто мнѣ въ глаза насмѣяться не смѣетъ".

Въ этихъ словахъ нѣтъ, вѣдь, ни тѣни намека на нравственное значеніе поступка; зато есть слово „законъ"... А каковъ онъ и какъ примѣняется здравымъ смысломъ къ данному случаю,—гдѣ же разсуждать объ этомъ дѣвушкѣ: самодурное воспитаніе вовсе не приготовляетъ къ такимъ разсужденіямъ.

Возведеніе послушанія въ высшій абсолютный законъ дѣлается, впрочемъ, и самими самодурами, и даже еще съ большей настойчивостью, чѣмъ угнетенною стороною... Это совершенно понятно: во-первыхъ, самодуръ также почти не имѣетъ истинныхъ нравственныхъ понятій и, слѣдовательно, не можетъ правильно различать добро и зло и, по необходимости, долженъ руководствоваться произволомъ; во-вторыхъ—безусловное послушаніе другихъ очень выгодно для него, потому что затѣмъ онъ можетъ ужъ ничѣмъ не стѣсняться. Но и тутъ, разумѣется, самодурная логика далеко уклоняется отъ общечеловѣческой. По общей логикѣ слѣдовало бы, если ужъ человѣкъ ставитъ какія-нибудь правила и требованія, хотя бы и произвольныя,—то онъ долженъ и самъ ихъ уважать въ данныхъ случаяхъ и отношеніяхъ, наравнѣ съ другими. Самодуръ разсуждаетъ не такъ: онъ считаетъ себя въ правѣ нарушить, когда ему угодно, даже тѣ правила, которыя имъ самимъ признаны и на основаніи которыхъ онъ судитъ другихъ. И такова темнота разумѣнія въ „темномъ царствѣ", что не только самъ самодуръ, но и всѣ, обиженные и задавленные имъ, признаютъ такой порядокъ вещей совершенно естественнымъ. Лучшимъ выраженіемъ этой любопытной стороны въ организаціи „темнаго царства" представляется комедія *Не такъ живи, какъ хочется.* Въ литературномъ отношеніи пьесу эту признаютъ незамѣчательною, упрекаютъ въ слабости концепціи, находятъ натяжки въ нѣкоторыхъ сценахъ и пр. Мы не будемъ долго на ней останавливаться,—не потому, чтобъ она того не стоила, а потому, что, во-первыхъ, наши статьи и безъ того очень растянулись, а во-

вторыхъ, сама пьеса очень проста—и по интригѣ и по очеркамъ характеровъ, такъ что для объясненія ихъ не нужно много словъ, особенно послѣ того, что говорено было выше. Дѣло въ томъ, что Петръ Ильичъ пьянствуетъ, тиранитъ жену, бросаетъ ее, заводитъ любовницу, а когда она, узнавъ объ этомъ обстоятельствѣ, хочетъ уйти отъ него къ своимъ родителямъ, общій судъ добрыхъ стариковъ признаетъ ее же виновною... Собравшись домой, она по дорогѣ, на постояломъ дворѣ, встрѣчаетъ отца и мать, разсказываетъ имъ все свое горе и прибавляетъ, что ушла отъ мужа, чтобъ жить съ ними, потому что ей ужъ терпѣнья не стало. Отецъ только диву дался, услышавъ такое вольнодумство. „Какъ къ намъ?—восклицаетъ онъ,—зачѣмъ къ намъ? Нѣтъ, поѣдемъ, я тебя къ мужу свезу". Даша говоритъ: „Нѣтъ, батюшка, не поѣду я къ нему",—и отецъ, полагая, не рехнулась ли дочь его,—начинаетъ ей такое увѣщаніе:

„Да ты пойми, глупая, пойми—какъ я тебя возьму къ себѣ? Вѣдь онъ мужъ твой!... (*Встаетъ съ лавки.*) Поѣдемте, что болтать-то пустяки, чего быть не можетъ!... Какъ ты отъ мужа бѣжишь, глупая! Ты думаешь,—мнѣ тебя не жаль? Ну, вотъ всѣ вмѣстѣ и поплачемъ о твоемъ горѣ—вотъ и вся наша помощь! Что я могу сдѣлать? Поплакать съ тобой—я поплачу. Вѣдь я отецъ твой, дитятко мое, милое мое! (*Плачетъ и цѣлуетъ ее.*) Ты одно пойми, дочка моя милая: Богъ соединилъ, человѣкъ не разлучаетъ. Отцы наши такъ жили, не жаловались, не роптали. Ужели мы умнѣе ихъ? Поѣдемъ къ мужу".

Эти безчеловѣчныя слова внушены просто тѣмъ, что старикъ совершенно не въ состояніи понять: какъ же это такъ,—отъ мужа уйти! Въ его головѣ никакъ не помѣщается такая мысль. Это для него такая нелѣпость, противъ которой онъ даже не знаетъ, какъ и возражать,—все равно, какъ бы намъ сказали, что человѣкъ долженъ ходить на рукахъ, а ѣсть ногами: что бы мы стали возражать?.. Онъ только и можетъ, что повторять безпрестанно: „Да какъ же это такъ?.. Да ты пойми, что это такое... Какъ же отъ мужа итти!.. Какъ же это!.."

Казалось бы, то же самое разсужденіе слѣдовало и къ мужу примѣнить. Нѣтъ, онъ внѣ закона!.. Онъ—повелитель своей жены и самодурствуетъ надъ нею, сколько душѣ угодно, даже и въ то время, какъ самъ передъ нею виноватъ и знаетъ это. Онъ узналъ, что жена провѣдала о его „кралечкѣ", кралечка провѣдала, что онъ женатъ, и прогнала его отъ себя: что же онъ? Совѣстится показаться къ

женѣ? Чувствуетъ раскаяніе? Ничего не бывало; онъ еще норовитъ, воротясь домой, сорвать на ней сердце за свою неудачу у кралечки... Кажется, это ужъ должно бы возмутить родителей бѣдной жены его: въ ихъ глазахъ онъ, кругомъ самъ виноватый, буйствуетъ и, не помня себя, грозитъ даже зарѣзать жену и выбѣгаетъ съ ножомъ на улицу... Даша и говоритъ отцу: „Посмотрите сами, каково сладко мое житье". А отецъ совѣтуетъ: „Потерпи, подожди!"—„Да чего мнѣ отъ него ждать, когда отъ него ужъ и отецъ его отступился", возражаетъ Даша, прикрываясь авторитетомъ. „Ничего, потерпи", твердитъ отецъ и затѣмъ старается представить ея несчастіе опять-таки праведною карой — все за непослушаніе, за то, что она безъ воли родителей замужъ вышла. Вотъ его рѣчь:

Агаѳонъ. Все это не дѣло, все это не дѣло! Охъ-охъ-охъ! Не хорошо! Ты сама права, что ль? Дѣло сдѣлала, что насъ со старухой бросила? Говори, дѣло сдѣлала? Такъ это и надо? Такъ это по закону и слѣдуетъ? Врагъ васъ обуялъ! Вы—точно какъ не люди. Вотъ ты и терпи и терпи Да наказанье-то съ кротостью принимай, да съ благодарностью!... А то—что это? что это? Бѣжать хочетъ! Какой это порядокъ? Гдѣ это ты видала, чтобы мужья съ женами порознь жили? Ну, ты его оставишь, бросишь его, а онъ въ отчаяніе придетъ—кто тогда виноватъ будетъ, кто? Ну, а захвораетъ онъ,—кто за нимъ уходитъ? Это вѣдь первый твой долгъ. А застигнетъ его смертный часъ, захочетъ онъ съ тобой проститься, а ты по гордости ушла отъ него...

Даша (*бросаясь ему на шею.*) Батюшка!

Агаѳонъ. Ты подумай, дочка милая, помекай... (*Плача.*) Глупы, вѣдь, мы, люди, охъ какъ глупы! Горды мы!

Замѣтьте, какъ добръ и чувствителенъ этотъ старикъ и какъ онъ въ то же время жестокосердъ, единственно потому, что не имѣетъ никакого сознанія о нравственномъ значеніи личности и все привыкъ подчинять только внѣшнимъ законамъ, установленнымъ самодурствомъ. Не по черствости или злобѣ, а совершенно наивно, начинаетъ онъ упрекать свою дочь за прошлое, въ такую минуту, когда сердце ея и безъ того разрывается на части. И потомъ—какіе резоны онъ представляетъ? Онъ не говоритъ, что, дескать, мужъ твой будетъ страдать, хворать и пр., такъ неужто тебѣ не жалко его будетъ?—или что-нибудь въ этомъ родѣ, отъ сердца. Нѣтъ, у него совсѣмъ другое основаніе: „кто тогда *будетъ виноватъ?*" да: „это первый *твой долгъ*"... На основаніи этой чисто внѣшней морали онъ и убѣждаетъ дочь: „Потерпи, потерпи—все хорошо будетъ".

И вѣдь, дѣйствительно,—глупая случайность приходитъ для оправданія словъ старика,—точно такъ, какъ—

Вѣдь и случается: возьметъ
Да и скончается купчиха,
Передъ которой глупый песъ
Три ночи выдъ, поднявши носъ.
Тогда попробуй разувѣрить!

Петръ Ильичъ, допившійся до чортиковъ, съ ножомъ въ рукѣ бѣжитъ на Москву-рѣку, ничего не видя и не понимая. Вдругъ слухъ его поражается ударомъ колокола: къ заутренѣ гдѣ-то заблаговѣстили. Онъ, по машинальной привычкѣ, поднимаетъ руку, чтобы перекреститься,—и видитъ, что въ рукѣ у него ножъ, а стоитъ онъ надъ самой прорубью... Тутъ его страхъ взялъ, хмель мгновенно отшибло, онъ вспомнилъ увѣщаніе отца и воротился домой съ полнымъ раскаяніемъ. Выслушавъ разсказъ его, отецъ довольно нѣжно упрекаетъ ее: „Что, дочка, говорилъ я тебѣ!..“ Тѣмъ дѣло и кончается.

Когда вдумаешься въ эту исторію, въ ней невольно представляется какой-то страшно-фантастическій смыслъ. Нѣкоторые утверждали, что здѣсь заключается показаніе того, какъ благодѣтеленъ для народа колокольный звонъ и какъ человѣка въ самыя трудныя минуты спасаютъ набожныя привычки, съ дѣтства усвоенныя. Нѣтъ надобности говорить, до какой степени странно подобное толкованіе. Нѣтъ, совсѣмъ другое представляется намъ въ этой драмѣ, примѣнительно къ общей идеѣ, какую находимъ мы во всѣхъ произведеніяхъ Островскаго. Въ раскаявшемся Петрѣ Ильичѣ мы видимъ безотрадность и безвыходность того положенія, въ которое онъ самъ и всѣ, близко съ нимъ связанные, ввергнуты самодурнымъ бытомъ. Петра Ильича уговариваетъ отецъ, упрашиваетъ тетка, умоляетъ жена, которую убиваетъ его поведеніе, образумливаетъ товарищъ, отвергаетъ дѣвушка, для которой онъ бросаетъ жену—на него ничто не дѣйствуетъ. Никакихъ живыхъ началъ нравственности нѣтъ въ немъ, сердце его грубо и темно совершенно. Даже любовь въ немъ такъ дика, такъ безобразна! Дашу полюбилъ онъ и увезъ отъ отца, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ уже тиранитъ ее и считаетъ наказаніемъ своей жизни безотвѣтную; полносердечную любовь ея. По Грушѣ онъ съ ума сходитъ, но что же онъ дѣлаетъ, когда она, насмѣявшись надъ нимъ, выпроваживаетъ его? Онъ обращается къ Еремкѣ, у кото-

раго есть знакомый колдунъ, и спрашиваетъ: можетъ онъ приворожить дѣвку, чтобъ любила, *чтобъ не она надо мной, а я надъ нею куражился, какъ душѣ угодно?* Вотъ предметъ его стремленій, вотъ любовь его: возможность куражиться надъ любимою женщиной, какъ душѣ угодно!.. Страшно, какъ подумаешь, что, вѣдь, обитатели „темнаго царства", сколько мы знаемъ ихъ по Островскому, всѣ имѣютъ такія самодурныя наклонности, если сами не забиты до совершеннаго отреченія отъ своей личности... Что́ же можетъ вразумить этихъ мрачныхъ людей, что́ можетъ спасти отъ нихъ тѣхъ несчастныхъ, которые принуждены терпѣть отъ нихъ?.. Ничто, положительно ничто, изъ средствъ обыкновенныхъ. Никакимъ естественнымъ путемъ нельзя дойти до измѣненія ихъ понятій и характера. Нужно что-нибудь чрезвычайное, крайнее, насильственное, хотя бы и совершенно безтолковое, для того чтобъ отрезвить ихъ. Надо было Петру Ильичу забраться къ проруби на Москвѣ-рѣкѣ, и именно въ то время, когда заблаговѣстили къ заутренѣ,—для того чтобъ очувствоваться!.. Ну, а если бы этого не случилось?.. Продолжалась бы эта жалкая жизнь Петра Ильича съ женою многіе годы, какъ она у многихъ и продолжается въ „темномъ царствѣ". Да и теперь кто поручится, что раскаяніе Петра Ильича прочно? Есть ли въ его характерѣ какіе-нибудь задатки нравственнаго исправленія? Разумѣется,—это ужъ само-по-себѣ необходимо, чтобы пьяница проспался и чтобъ человѣкъ, допившійся до чортиковъ, перегодилъ немножечко, отдохнулъ и собрался съ силами. Но надолго ли это? Не забудьте, что раскаяніе Петра Ильича произошло подъ вліяніемъ призраковъ и чудовищъ, которые ему мерещились въ пьяномъ видѣ... Онъ можетъ увѣрять и всѣ сосѣди его могутъ вѣрить, что это дѣйствительно водяникъ или другой духъ водилъ его; но, вѣдь, мы знаемъ достовѣрно, что все это слѣдствіе разстроенной фантазіи, разгоряченнаго мозга. Какая же тутъ гарантія за нравственное исправленіе человѣка? Пока онъ еще чувствуетъ истощеніе отъ минувшей гульбы, да пока живъ въ его памяти страхъ недавняго происшествія, до тѣхъ поръ онъ и поостережется... А тамъ опять примется за прежнее: этого съ достовѣрностью можно ожидать, зная, что въ немъ вовсе не развито внутреннее сознаніе о необходимости честной и полезной жизни... И бѣдная женщина—его жена—должна

будетъ попрежнему страдать въ своей горькой долѣ, если опять не совершится какого-нибудь чуда. И старики—отецъ и мать ея—попрежнему будутъ о ней сокрушаться и убѣждать ее терпѣть!.. Имъ-то все-таки легче: они ужъ совсѣмъ обезличились, они всѣ насквозь прониклись ученіемъ, что должно—

Съ терпѣньемъ тяготу сносить
И безъ роптанія просить...

Но выдержитъ ли несчастная женщина, въ которой молодая натура еще сохраняетъ остатки жизни и все еще протестуетъ по временамъ, хотя и слабо, противъ мрачной силы, безправно и безсмысленно угнетающей ее?

Навѣрное, нѣтъ! Она неизбѣжно придетъ къ паденію,—не къ тому паденію, подъ которымъ, на пошломъ языкѣ нашей искусственной морали, разумѣется полное наслажденіе любовью,—а къ дѣйствительному паденію, къ потерѣ нравственной чистоты и силы. Это паденіе одинаково можетъ постигнуть и мужчину, какъ женщину; но въ любящей женской натурѣ есть къ нему путь, который каждую минуту можетъ увлечь ее и по которому одинъ шагъ можетъ уже сдѣлать ее преступною и погибшею въ глазахъ общества. Путь этотъ—связь съ мужчиною. Мужчина тоже можетъ въ короткихъ отношеніяхъ съ женщиною искать спасенія отъ мрака и гадостей, окружающихъ его въ практической жизни. Тутъ онъ отдыхаетъ и успокоивается, тутъ онъ старается забыться. Но для мужчины подобныя отношенія негибельны: на нихъ всѣ такъ и смотрятъ, какъ на невинное развлеченіе, они не оставляютъ на немъ пятна позора передъ обществомъ. Онъ каждую минуту можетъ возвратиться отъ нихъ къ своимъ дѣловымъ отношеніямъ, вступить въ свою обычную среду, нисколько не потерявъ своего нравственнаго значенія. Не то съ женщиной: разъ сдѣлавъ невѣрный шагъ, она уже теряетъ, по силѣ господствующихъ нравовъ, возможность спокойнаго возврата на прежнюю дорогу. Она унижена, опозорена, отвержена, предъ нею всѣ двери заперты,—по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока она прямо въ лицо обществу надменно не броситъ своего позора, украшеннаго золотомъ какого-нибудь самодура. Тогда, пожалуй, и передъ нею преклонятся и даже станутъ подличать. Но и въ этомъ случаѣ глубокое нравственное растлѣніе должно совершиться въ ея натурѣ.

Такимъ образомъ,—какъ ни иди дѣвушка, вездѣ ей тяжело и опасно, и нѣтъ пути, который не привелъ бы ее къ потерѣ нравственнаго достоинства. Пока она не совсѣмъ загрубѣла и опошлѣла,—ее тяготитъ нужда, общее презрѣніе, беззащитность противъ всякаго встрѣчнаго,—такъ что она поневолѣ и незамѣтно должна привыкать и къ обману, и къ бездѣльничеству, и къ житью на чужой счетъ... А потомъ, когда она свыкнется съ своимъ положеніемъ и будетъ безмятежно продавать свои чувства и наслаждаться пышною праздностью,—тогда, при счастливомъ случаѣ, открытое поклоненіе, зависть и низости окружающихъ выгонятъ изъ нея окончательно всякое доброе чувство и втиснутъ ее въ самую глубину разврата... Если же и счастливаго случая не встрѣтится, тогда... тогда объ этихъ женщинахъ даже и не говорятъ нравственные люди, по крайней мѣрѣ, въ трезвомъ видѣ...

Но, вѣдь, и эти женщины были когда-то чистыми, нравственными существами, достойными уваженія самыхъ чопорныхъ пуристовъ формальнаго цѣломудрія. Какъ же началось ихъ паденіе? Какія причины заставили ихъ ступить на ложный путь? Что рѣшило „первый шагъ“ ихъ? Умствовать объ этомъ можно очень много; но мы не хотимъ умствовать, а дѣлаемъ эти вопросы только затѣмъ, что находимъ прямой отвѣтъ на нихъ въ комедіяхъ Островскаго. Отсутствіе живого нравственнаго развитія, неимѣніе опоры внутри себя и самодурный гнетъ извнѣ—вотъ причины, производящія въ „темномъ царствѣ“ безнравственность женщинъ, равно какъ и безнравственность мужчинъ. Мы уже видѣли, какъ выражается отсутствіе нравственной самостоятельности и непріязнь ко всему, вызванная самодурствомъ, въ натурахъ живыхъ и физически страстныхъ. Жена и сестра Пузатова только тѣмъ и живутъ, что обманываютъ его и потихоньку гуляютъ съ молодыми людьми, отпросившись въ церковь. Липочка Большова прельщается военными, боится отца, въ грошъ не ставитъ мать и потомъ выходитъ за Подхалюзина и прехладнокровно отправляетъ въ яму отца, чтобы не заплатить за него по 25 копеекъ за рубль, изъ его же имѣнія... Видѣли мы и то, какъ падаютъ и замираютъ подъ самодурнымъ гнетомъ кроткія и нѣжныя женскія натуры. Авдотья Максимовна, въ пору зрѣлости оставшаяся ребенкомъ въ своемъ развитіи, не умѣющая

понимать ни себя самое, ни свое положеніе, ни окружающихъ людей, увлекается наущеніями Арины Ѳедотовны и плѣняется Вихоревымъ... Любовь Гордѣевна, не смѣющая даже сказать отцу о своей любви къ Митѣ, идетъ за Коршунова, къ которому чувствуетъ страхъ и омерзѣніе. Не менѣе безнравственно и положеніе Даши, принужденной поить виномъ своего мужа, чтобъ онъ, пьяный, приколотилъ ее... Но все это факты уже конченные; мы видимъ здѣсь уже совершившуюся смерть личности и можемъ только догадываться о той агоніи, черезъ которую перешла молодая душа, прежде чѣмъ упала въ это положеніе. Но есть у Островскаго пьеса, гдѣ подслушанъ лепетъ чистаго сердца въ ту самую минуту, когда оно только-что еще чувствуетъ приближеніе нечистой мысли,—пьеса, которая объясняетъ намъ весь процессъ душевной борьбы, предшествующей неразумному увлеченію дѣвушки, убиваемой самодурною силой. Пьеса эта, конечно, памятна нашимъ читателямъ потому, что она появилась въ нынѣшнемъ году и обратила на себя общее вниманіе. Мы уже говорили о ней въ „Современникѣ“ и потому теперь скажемъ о ней только то, что̀ можетъ прямо относиться къ объясненію нашей мысли. Надя, воспитанница Уланбековой,—добренькая и умненькая дѣвушка, имѣющая очень скромныя и вполнѣ честныя стремленія. Она мечтаетъ о семейномъ счастіи съ любимымъ человѣкомъ, заботится о томъ, чтобы себя „облагородить“ такъ, чтобы никому не стыдно было взять ее замужъ; думаетъ о томъ, какой она хорошій порядокъ будетъ вести въ домѣ, вышедши замужъ; старается вести себя скромно, удаляется отъ молодого барина, сына Уланбековой, и даже удивляется на московскихъ барышень,—что онѣ очень бойки въ своихъ разговорахъ про кавалеровъ да про гвардейцевъ. „И откуда онѣ все это знаютъ?“ спрашиваетъ она въ недоумѣніи сама себя... Словомъ, это дѣвушка, которая, при другихъ обстоятельствахъ, могла бы вполнѣ соотвѣтствовать идеалу многихъ и многихъ людей: она отъ всей души хочетъ и, по своей натурѣ, можетъ быть хорошею женой и хорошею хозяйкой. Дайте ей еще нѣкоторое образованіе, она будетъ и хорошею матерью и воспитательницей своихъ дѣтей. Но она живетъ въ домѣ Уланбековой, этого безобразнаго самодура въ женскомъ платьѣ,—и все должно пропасть для бѣдной Нади. Лицо Уланбековой замѣчательно, какъ примѣръ того, что

значитъ самодурство, перенесенное изъ купеческаго дома въ другую сферу. Здѣсь оно могучѣе, вліяніе его обширнѣе, и потому оно еще отвратительнѣе. Купецъ ограничиваетъ свое самодурство упражненіями надъ домашними да надъ близкими людьми; но въ обществѣ онъ не можетъ дурить, потому что, какъ мы видѣли, онъ, въ качествѣ самодура, трусливъ и слабодушенъ предъ всякимъ независимымъ человѣкомъ. Ужъ на что Титъ Титычъ Брусковъ,—и тотъ не посмѣлъ очень вольничать надъ Ивановымъ и, пришедши домой, сознавался: „Они только тѣмъ и взяли, что я въ ихъ квартирѣ былъ; а пришли бы они сюда, такъ я бы ужъ бы ихъ уконтентовалъ". Буйный Петръ Ильичъ, прогнанный своею кралечкой, тоже расходился, только воротясь домой: „Они надо мной насмѣялись, выгнали меня!.. А здѣсь я дома,—все впрахъ разобью, щепки живой не оставлю",— кричитъ онъ въ изступленіи. Такимъ образомъ, многіе купеческіе самодуры „сердиты, да не сильны", и общество очень много отъ нихъ страдать не можетъ. Но родовыя черты самодурства остаются тѣ же во всѣхъ сферахъ, и чѣмъ сфера обширнѣе, тѣмъ самодурство ужаснѣе и вреднѣе. Кругъ дѣйствія Уланбековой довольно великъ. Во-первыхъ, у ней домашнихъ очень много: воспитанницы, приживалки, ключницы, горничныя, служители... Потомъ, у ней есть крестьяне. Кромѣ того, она представляетъ сильное лицо въ цѣломъ околоткѣ и имѣетъ большое вліяніе. Она и чужія свадьбы насильно устраиваетъ, и на мѣста опредѣляетъ, и отъ суда защищаетъ... А какого качества ея вліяніе,—объ этомъ можно судить по нѣкоторымъ чертамъ. Она проситъ исправника за своего крестника, Неглигентова, чтобъ его столоначальникомъ сдѣлали; исправникъ говоритъ, что мѣста нѣтъ. Уланбекова этимъ обижается и говоритъ ему: „Вы, кажется, не понимаете, кто васъ проситъ". Исправникъ принужденъ обѣщать. По этому поводу приживалка Уланбековой, Василиса Перегриновна, разсуждаетъ:

„Я и понять не могу, какъ это у него языкъ-то повернулся противъ васъ. Вотъ ужъ сейчасъ необразованіе-то и видно! Положимъ, что Неглигентовъ, по жизни своей, не стоитъ, чтобы объ немъ и разговаривать много, да по васъ-то онъ долженъ сдѣлать для него все на свѣтѣ, какой бы онъ тамъ ни былъ негодяй... Крестникъ онъ вамъ, ну, и кончено дѣло,—онъ никакихъ и разговоровъ не долженъ слушать... Всѣ это знаютъ, благодѣтельница, что вы, если захотите, такъ можете изъ грязи человѣкомъ сдѣ-

лать; а не захотите, такъ будь хоть семи пядей во лбу,—такъ въ ничтожествѣ и пропадетъ. Самъ виноватъ: отчего не умѣлъ заслужить".

Весь цинизмъ самодурной морали и логики выраженъ здѣсь очень рельефно. Личность самодура ставится здѣсь центромъ всего нравственнаго міра; отъ нея все исходитъ и къ ней все должно возвращаться. Нѣтъ никакихъ правъ, кромѣ милости самодура, никакихъ нравственныхъ правилъ, кромѣ угожденія его волѣ... Такимъ образомъ, вопросъ о законности ставится здѣсь съ безстыдною прямотою: законъ есть не что иное, какъ воля самодура, и всѣ должны ей подчиняться, а онъ не долженъ стѣсняться ничѣмъ... Каково жить людямъ подъ такою моралью!..

А вотъ каково. Воспитанницъ своихъ Уланбекова держитъ строго, подъ замкомъ. Если онѣ осмѣлятся раскрыть ротъ, то она говоритъ имъ вотъ что:

„Я не люблю, когда разсуждаютъ, просто не люблю, да и все тутъ. Этого позволить я не могу никому. Я смолоду привыкла, чтобъ каждаго моего слова слушались; тебѣ пора это знать! И мнѣ очень странно, моя милая, что ты осмѣливаешься возражать мнѣ. Я вижу, что избаловала тебя, а вы, вѣдь, сейчасъ зазнаетесь".

Но зато, по словамъ старика Потапыча, она хорошо одѣваетъ воспитанницъ и не заставляетъ ихъ работать: „хочу,—говоритъ,—чтобъ всѣ имъ завидовали". Когда же онѣ вырастутъ, отдаетъ ихъ замужъ по своему выбору. Объ этомъ Потапычъ такъ сообщаетъ Леониду, сыну Уланбековой:

„Скажутъ: я тебѣ нашла жениха, и вотъ, скажутъ тогда-то свадьба; ну, и конецъ, тутъ ужъ и разговаривать ни одна не смѣй! За кого прикажутъ, за того и ступай. Потому что, сударь, я разсуждаю такъ: кому же пріятно, давши воспитаніе, да видѣть непокорность!... А бываетъ, сударь, и такъ, что *и женихъ невѣстѣ не нравится, и невѣста жениху, такъ тутъ ужъ очень гнѣваются... такъ даже изъ себя выходятъ...* Пожелали онѣ одну воспитанницу отдать за лавочника въ городъ, а онъ, человѣкъ неполированный, вздумалъ, было, сопротивляться. Мнѣ, говоритъ, невѣста не нравится, да я и жениться-то не хочу еще. Такъ въ тѣ поры и городничему жаловались и отцу протопопу; ну и уломали дурака".

По мнѣнію Потапыча, это значитъ, что барыня „на всѣхъ свою заботливость простираютъ". Какое же побужденіе къ этой заботливости? Объяснить это старается сама Уланбекова—въ *поученіи*, которое она очень трогательно, со слезами на глазахъ, по словамъ Потапыча, читаетъ воспитанницамъ при выдачѣ ихъ замужъ.

„Вы, говоритъ, жили у меня въ богатствѣ и въ роскоши и ничего не дѣлали; теперь ты выходишь за бѣднаго, и живи всю жизнь въ бѣдности

и работай, и свой долгъ исполняй. И позабудь, говоритъ, какъ ты у меня жила, потому что не для тебя я это дѣлала; я себя только тѣшила, а ты не должна никогда о такой жизни и думать, и всегда ты помни свое ничтожество и изъ какого ты званія".

И не подумайте, что это говорится со злобою или съ сарказмомъ; вовсе нѣтъ,—это отъ полноты души, отъ искренняго убѣжденія Уланбековой. Въ ней тоже нѣтъ особенной наклонности къ злу; вся бѣда въ томъ, что она, въ кругѣ своихъ идей, ничего не можетъ признать, кромѣ себя. Все остальное кажется ей созданнымъ на ея службу, какъ злакъ полевой существуетъ не самъ-по-себѣ, а собственно, на службу человѣкамъ... Что же прикажете дѣлать съ такими понятіями?.. А что она дѣйствительно наклонна къ тому, чтобы даже добро дѣлать, это доказывается тѣмъ, какъ она заботится о мужьяхъ своихъ воспитанницъ. Потапычъ говоритъ, что, которыхъ воспитанницъ выдали за приказныхъ, такъ ужъ мужьямъ жить хорошо. „Потому, если его выгнать хотятъ изъ суда или вовсе выгнали, онъ сейчасъ къ барынѣ къ нашей съ жалобой, *и онъ ужъ за него горой, даже самого губернатора безпокоятъ*. И ужъ этотъ приказный въ тѣ поры можетъ и пьянствовать, и все, и ужъ никого не боится"... Конечно, вы скажете, что это ужъ тоже нехорошо; но все-таки видно, что Уланбекова—не мучительница какая, не злодѣйка, а женщина чувствительная, благожелательная и благодѣтельная.

По своей благожелательности (а не по чему другому) Уланбекова задумала отдать Надю за пьяницу Неглигентова. Она очень просто говоритъ объ этомъ Василисѣ Перегриновнѣ: „Ты говоришь, что онъ дурную жизнь ведетъ; такъ надобно будетъ свадьбой поторопиться. Надя у меня—дѣвушка хорошихъ правилъ, будетъ его удерживать, а то онъ отъ холостой жизни совсѣмъ избалуется". Надя сидитъ тутъ же, и слышитъ эти слова, и ничего не смѣетъ сказать противъ нихъ... Наконецъ, она умоляетъ, плачетъ; ей даютъ выговоръ и говорятъ:

„Слезы твои для меня ровно ничего не значатъ. Коли я что захочу сдѣлать, такъ ужъ поставлю на своемъ, никого въ мірѣ не послушаюсь!... И впередъ знай, что упрямство твое ни къ чему не приведетъ, только разсердишь меня."

Говорится все это прилично и солидно, но, разумѣется, Надѣ отъ того не легче. Самодурство здѣсь спрятало свои кулаки и плетку, но оно не лучше отъ этого, а, пожалуй,

еще похуже. Въ одной пьесѣ Островскаго есть точно такая сцена въ купеческой семьѣ; та гораздо грубѣе, но все-таки не такъ возмутительна. Это сцена въ *Не сошлись характерами*, гдѣ Карпъ Карпычъ сообщаетъ своей дочери о свадьбѣ своей племянницы и по этому поводу разсуждаетъ съ женой своей, Улитой Никитишной. Мы выпишемъ эту сцену для сравненія: она очень коротка.

Карпъ Карпычъ. А вотъ у насъ скоро свадьба: Матрену въ саду съ приказчикомъ застали, такъ хочу повѣнчать (*Матрена закрываетъ лицо рукавомъ*); тысячу рублевъ ему денегъ и свадьба на мой счетъ.

Улита Никитишна. Тебѣ бы только пображничать гдѣ было; затѣмъ и свадьбу-то затѣялъ.

Карпъ Карпычъ. Ну, еще что?

Улита Никитишна. Ничего больше.

Карпъ Карпычъ (*строго*). Нѣтъ, ты поговори!

Улита Никитишна. Ничего, право, ничего.

Карпъ Карпычъ (*строже*). Нѣтъ, поговори что-нибудь, я послушаю.

Улита Никитишна. Да что говорить-то, коли не слушаешь.

Карпъ Карпычъ. Что слушать-то! Слушать-то у тебя нечего. Эхъ, Улита Никитишна! (*Грозитъ пальцемъ.*) Сказано — молчи! Я хочу, чтобъ дѣвка чувствовала, а ты съ своими разговорами... (*Матрена закрываетъ другимъ рукавомъ глаза.*) Третью племянницу такъ отдаю. Я всей роднѣ благодѣтель. Вотъ теперь есть еще маленькая, такъ и ту на мѣсто Матрены возьму, и ту въ люди выведу.

Тутъ и ругательство, и угроза, и насиліе, словомъ—самодурство въ полномъ ходу... Но оно не развилось здѣсь до той виртуозности, какъ въ Уланбековой. Тутъ Матрена вѣнчается съ приказчикомъ, съ которымъ застали ее въ саду,— дѣло простое и ясное. Такъ, вѣроятно, выдалъ Карпъ Карпычъ и другихъ своихъ племянницъ. Если бъ онъ могъ придумать выдавать ихъ за тѣхъ, за кого онѣ не хотятъ и кто ихъ брать не хочетъ, то очень можетъ быть, что эта идея и понравилась бы ему... Но онъ еще не утончился до подобныхъ выдумокъ; а Уланбекова пустилась уже и въ эту роскошь. Затѣмъ и самая манера у Карпа Карпыча другая: онъ съ женой своей обращается хуже, чѣмъ Уланбекова съ воспитанницей, онъ не даетъ ей говорить, онъ даже, можетъ-быть, бивалъ ее; но все-таки жена можетъ ему дѣлать кое-какія замѣчанія, а Надя передъ Уланбековой совершенно безгласна. Вотъ какъ мало отрады приносятъ цивилизованныя формы самодурства!

И вотъ при этомъ-то, холодно и степенно нанесенномъ ударѣ появляется въ Надѣ то горькое, рвущее чувство,

которое заставляетъ человѣка бросаться безъ памяти, очертя голову, куда случится,—въ воду такъ въ воду, въ объятія перваго встрѣчнаго такъ въ объятія! Ея ощущенія переданы въ пьесѣ Островскаго съ изумительною силой и яркостью; такихъ глубоко-истинныхъ очерковъ немного во всѣхъ произведеніяхъ нашей литературы. Мы уже приводили въ „Современникѣ“ эту сцену; но не можемъ еще разъ не напомнить читателямъ нѣкоторыхъ мѣстъ ея.

„Я и сама не знаю, что со мной вдругъ сдѣлалось,—говоритъ Надя.—Какъ только барыня давеча сказала, чтобъ не смѣла я разговаривать, а шла, за кого прикажутъ, такъ у меня все сердце перевернулось. Что, я подумала, за жизнь моя, Господи! (*Плачетъ.*) Что въ томъ проку-то, что живу я честно, что берегу себя не только отъ слова какого, а и отъ взгляду-то?... Такъ меня зло даже взяло на себя. Для чего, я думаю, мнѣ беречь-то себя? Вотъ не хочу жъ, не хочу!... А у самой такъ сердце и замерло,—кажется, еще скажи она слово, я бъ умерла на мѣстѣ“.

Въ этой исповѣди ясно, какимъ безвыходнымъ кругомъ обводитъ самодурство всѣхъ несчастныхъ, захваченныхъ его вліяніемъ. Надя не пріучена къ тому, чтобы сохранить власть надъ собою и остаться вѣрною своимъ понятіямъ изъ внутренняго убѣжденія въ ихъ правотѣ и силѣ; у нея скромность и честность имѣютъ прямую цѣль—сохранить себя для замужества... Но естественное чувство ея внезапно оскорбляется приказаніемъ итти за пьянаго и грязнаго негодяя... Всѣ ея дѣвическія мечты разбиты, тяжелая доля ея представляется ей во всей своей безжалостной грубости. Прежде она мечтала, какъ будетъ сидѣть съ женихомъ,—словно княжна какая, словно у ней каждый день праздникъ,—какъ она будетъ жить замужемъ, словно въ раю, словно гордясь чѣмъ-то... А теперь у ней другія мысли; она подавлена самодурствомъ, да и впереди ничего не видитъ, кромѣ того же самодурства: „Какъ подумаешь,—говоритъ она,—что станетъ этотъ безобразный человѣкъ издѣваться надъ тобою, да ломаться, да свою власть показывать, загубитъ онъ твой вѣкъ ни за что!.. Не живя, ты съ нимъ состаришься... Такъ ужъ, право, молодой баринъ лучше...“ И въ самомъ дѣлѣ, она съ своей „отчаянности“, какъ выражается она, находитъ, что ей нравится Леонидъ, который за нею давно ужъ ухаживаетъ... Прежде она отъ него бѣгала, а теперь бросилась въ его объятія, вышедши къ нему вечеромъ въ садъ: онъ свозилъ ее на лодочкѣ на уединенный островокъ, ихъ подсмотрѣла Василиса Перегриновна, донесла Уланбе-

ковой, и та, пришедши въ великій гнѣвъ, велитъ тотчасъ послать къ Неглигентову (котораго передъ тѣмъ уже выгнала отъ себя за то, что онъ пришелъ къ ней пьяный—и, слѣдовательно, не выказалъ ей уваженія) сказать ему, что свадьба его съ Надей должна быть какъ можно скорѣе...

Тутъ является и Леонидъ со своими сожалѣніями... Но онъ уже зараженъ воздухомъ самодурства, онъ ничего не можетъ сдѣлать путнаго. Въ *Воспитанницѣ*, мимоходомъ, но съ поразительною истиной, выставлено то, какъ эпидемія самодурства, разлитая въ атмосферѣ всего „темнаго царства", непримѣтно, но неизбѣжно заражаетъ самыя свѣжія натуры. Леонидъ—мальчикъ 18 лѣтъ, не злой и не совсѣмъ глупый; характеръ его еще не сложился. Но посмотрите, какія у него замашки, какъ онъ уже испорченъ въ корнѣ и какъ все окружающее способствуетъ его дальнѣйшему развращенію, какъ все вырабатываетъ изъ него отвратительнѣйшаго самодура. Одни разговоры съ Потапычемъ чего стоятъ! Онъ замѣчаетъ Потапычу, озирая имѣніе: „Вѣдь, это все мое будетъ". И Потапычъ отвѣчаетъ: „Все, сударь, ваше, и мы ваши будемъ... Какъ, значитъ, при баринѣ, при покойникѣ, такъ все равно и вамъ должны. Потому—одна кровь... Ужъ это прямое дѣло..." Затѣмъ Леонидъ объясняетъ, что онъ служить не намѣренъ, потому что „тамъ еще писать заставятъ"... Потапычъ и на это свою рѣчь держитъ: „Нѣтъ, сударь, зачѣмъ же вамъ самимъ дѣло дѣлать! Ужъ это не порядокъ! Вамъ такую службу найдутъ,—самую барственную, великатную; работать будутъ приказные, а вы будете надъ ними надо всѣми начальникомъ. А чины ужъ сами-собою пойдутъ..." Затѣмъ Леонидъ жалуется, что дѣвушки отъ него бѣгаютъ. Потапычъ объясняетъ, что это оттого, что маменька его соблюсти желаетъ и ихъ тоже. Потомъ прибавляетъ:

„Да что жъ, сударь: маменька ваша, обыкновенно, должны строгость наблюдать, потому какъ онѣ дамы. А вамъ что на нихъ смотрѣть! Вы сами по себѣ должны поступать, какъ всѣ молодые господа поступаютъ. Ужъ вамъ порядку этого терять не должно. Что жъ вамъ отъ другихъ-то отставать? Это будетъ къ стыду къ вашему.

Леонидъ. Такъ-то такъ, да не умѣю я съ дѣвушками разговаривать.

Потапычъ. Да вамъ что съ ними разговаривать-то долго? Объ какихъ наукахъ вамъ съ ними разговаривать? Нѣшто онѣ что понимаютъ! Обыкновенно—вы баринъ, ну, вотъ и конецъ"...

И Леонидъ быстро напитывается этими понятіями. Въ

сценѣ съ Надей въ саду онъ выказываетъ себя пустымъ и дряннымъ мальчикомъ,—не больше; но въ послѣдней сценѣ, когда онъ узналъ о гнѣвѣ матери и о судьбѣ, грозящей Надѣ, онъ просто гадокъ... Онъ суетится, спрашиваетъ, нельзя ли помочь, жалѣетъ Надю, повидимому, но въ сущности, ему ужъ нѣтъ до нея дѣла... Бѣдѣ можно помочь однимъ средствомъ: Уланбекова сердита главнымъ образомъ за то, что Гришка, 19-тилѣтній лакей, ея любимецъ, не ночевалъ дома; Гришка ушелъ и завалился на сѣно, мало заботясь о гнѣвѣ барыни; но нужно послать его просить прощенья,—тогда Уланбекова развеселится, и ее можно будетъ упросить за Надю; Василиса Перегриновна язвительно предлагаетъ Леониду—попросить Гришку, чтобъ шелъ къ барынѣ. Но мальчикъ, немного подумавъ, отвѣчаетъ: „Нѣтъ, ужъ это ему много чести будетъ...“ И, рѣшивъ этимъ отвѣтомъ исполненіе грознаго приговора надъ судьбою Нади, онъ опять начинаетъ спрашиваетъ: „что дѣлать“, да приставать съ сожалѣніями... Надя ужъ выходитъ изъ терпѣнія, наконецъ, и говоритъ ему: „Полноте о такихъ пустякахъ безпокоиться; вы же поѣдете въ Петербургъ скоро; веселитесь себѣ тамъ. А до меня что вамъ за дѣло“. Леонидъ обиженъ и спрашиваетъ: „Зачѣмъ такъ говорить мнѣ?“—„Затѣмъ, что вы мальчикъ еще,—отвѣчаетъ Надя и заключаетъ:—ужъ ѣхали бы вы куда-нибудь лучше! А у меня, коли терпѣнья не хватитъ, такъ прудъ-то у насъ недалеко!..“ И Леонидъ, нѣсколько озадаченный, но втайнѣ очень довольный, что можетъ отдѣлаться, говоритъ: „А въ самомъ дѣлѣ, я лучше поѣду къ сосѣдямъ на недѣлю“... И оставляетъ Надю, которая вчера бросилась въ его объятія—по влеченію того же чувства, по которому теперь собирается броситься въ прудъ.

Итакъ, вотъ гдѣ источникъ паденій, вотъ причина нравственнаго растлѣнія, такъ обильно разлитаго по всему „темному царству“ самодуровъ!

„Пока я думала, что я человѣкъ, какъ и всѣ люди,—говоритъ Надя,—такъ у меня и мысли были другія. А какъ начала она мной какъ куклой командовать, да какъ увидѣла я, что никакой мнѣ воли, ни защиты нѣтъ, такъ отчаянность на меня напала... Куда страхъ, куда стыдъ дѣвался... Хоть день, да мой, думаю, — а тамъ что будетъ, то будетъ, ничего я и знать не хочу“.

И въ этихъ мысляхъ бросилась дѣвушка на свою погибель, и дѣйствительно только часомъ какимъ-нибудь и

попользовалась... Да и тотъ уже отнятъ у ней, потому что воспоминаніе вчерашней сцены любви уже отравлено, запачкано нынѣшнимъ поведеніемъ Леонида. „*Кому* я отдалась, *на кого* расточила я свои чистыя дѣвственныя ласки!“— должна думать теперь несчастная дѣвушка, и стыдъ горькой ошибки будетъ преслѣдовать ее сильнѣе и дольше, нежели печаль объ утраченной невинности. Да собственно говоря— и безнравственность-то ея поступка состоитъ, вѣдь, только въ томъ, что она сгоряча очень глупо распорядилась собою... А что жъ ей было дѣлать, однако?.. Ее ужъ не одно чувство законности удерживало отъ открытаго возстанія противъ воли „благодѣтельницы“, а просто безсиліе, невозможность. Куда же ей было дѣваться, гдѣ и какими средствами искать защиты, на какія средства существовать, наконецъ?.. Ей, кромѣ того, что она сдѣлала, только одно и осталось: утопиться въ прудѣ... Такъ, вѣдь, и это тоже невелика радость!..

Здѣсь-то и открывается намъ другая причина, приведенная нами на то, отчего такъ крѣпко держится самодурство, само-по-себѣ несостоятельное и давно прогнившее внутри. Чувство законности, сдѣлавшееся чисто пассивнымъ и окаменѣлымъ, превратившееся въ тупое благоговѣніе къ авторитету чужой воли, не могло бы такъ кротко и безмятежно сохраняться въ угнетенныхъ людяхъ, при видѣ тѣхъ нелѣпостей и гадостей самодурства, если бы его не поддерживало что-нибудь болѣе живое и существенное. И дѣйствительно, оно поддерживается постоянно тѣмъ, что въ людяхъ есть неизбѣжное стремленіе и потребность—обезпечить свой матеріальный бытъ. Эта потребность, въ соединеніи съ тупымъ и неразумнымъ чувствомъ законности, чрезвычайно благопріятствуетъ процвѣтанію самодурства. Если бы чувство законности не было въ людяхъ „темнаго царства“ такъ неподвижно и пассивно, то, конечно, потребность въ улучшеніи матеріальнаго быта повела бы совсѣмъ къ другимъ результатамъ. Митя не сталъ бы заглазно плакаться на хозяина и молчать передъ нимъ, считая закономъ его волю, а просто нашелъ бы очень законнымъ дѣломъ — потребовать отъ него прибавки жалованья. Самъ Подхалюзинъ не сталъ бы обмѣривать и обсчитывать, повинуясь волѣ хозяина, какъ высшему закону, и откладывая гроши себѣ въ карманъ, а просто потребовалъ бы участія въ барышахъ Большова,

такъ какъ онъ уже всѣми его дѣлами завѣдывалъ. Тогда, конечно, Большову и банкротство бы не понадобилось. Да и самодурствовать-то ему было бы не слишкомъ повадно. Съ другой стороны, если бы надобности въ матеріальныхъ благахъ не было для человѣка, то, конечно, Андрей Титычъ не сталъ бы такъ дрожать передъ тятенькой, и Надя могла бы не жить у Уланбековой, и даже Тишка не сталъ бы уважать Подхалюзина. Но теперь дѣла представляются въ такомъ видѣ: матеріальныя блага нужны всякому человѣку, но они уже захвачены самодурами, такъ что слабая угнетенная сторона, находящаяся подъ ихъ вліяніемъ, должна и въ этомъ зависѣть отъ самодурной милости какого-нибудь Торцова и Уланбековой; можно бы отъ нихъ потребовать того, чѣмъ они владѣютъ не по праву; но чувство законности запрещаетъ нарушать должное уваженіе къ нимъ... Что же изъ этого выходитъ? Слѣдствіе, кажется, ясно: нужно „безъ роптанія просить“ у самодуровъ, чтобъ они, живя сами, дали жить и другимъ... Но чтобъ они исполнили просьбу, нужно снискать ихъ милость; а для этого надо во всемъ съ ними согласиться, имъ покориться и съ „терпѣньемъ тяготу сносить“, если придется... А тяготы придется довольно, судя „по крутому-то характеру“ Гордѣя Карпыча или г-жи Уланбековой, да и по ихъ непроходимой глупости... Ко всему этому надо себя приготовить, воспитать себя для этого, а именно: *переломить* свой характеръ, *выбить* изъ головы дурь, т.-е. собственныя убѣжденія, *смирить* себя, т.-е. отложить всякую мысль о своихъ правахъ и о человѣческомъ достоинствѣ. Все это самими самодурами очень успѣшно и выполняется надъ всѣми людьми, родящимися въ предѣлахъ ихъ вліянія. Оттого-то у нихъ и есть подъ руками такъ много безотвѣтныхъ Митей, Андрюшъ, раболѣпныхъ Потапычей и т. п. Если же въ комъ и послѣ самодурной дрессировки еще останется какое-нибудь чувство личной самостоятельности и умъ сохранитъ еще способность къ составленію собственныхъ сужденій, то для этой личности и ума готовъ торный путь: самодурство, какъ мы убѣдились, по самому существу своему тупоумно и невѣжественно,—слѣдовательно, ничего не можетъ быть легче, какъ надуть любого самодура. Человѣкъ, сохранившій остатки ума, непремѣнно на то и пускается въ этомъ самодурномъ кругѣ „темнаго царства“, если только пускается въ практи-

ческую дѣятельность; отсюда и произошла пословица, что „умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ“.

Такимъ образомъ, подъ самодурами два разряда ихъ воспитанниковъ и кліентовъ—живые и неживые. Неживые, задавленные, неподвижные,—такъ ужъ и лежатъ, не обнаруживая никакихъ попытокъ: перетащатъ ихъ съ одного мѣста на другое,—ладно, а не перетащатъ,—такъ и сгніютъ... Живые, напротивъ, все стараются помѣститься получше и поближе около самодура, а если линія подойдетъ, то и ножку ему подставить, чтобы сѣсть на него верхомъ и самимъ задурить. И новый самодуръ уже бываетъ хуже, опаснѣй и долговѣчнѣй, потому что онъ хитрѣе прежняго и наученъ его горькимъ опытомъ. Такъ оно все и идетъ: за однимъ самодуромъ другой, въ другихъ формахъ, болѣе цивилизованныхъ, какъ Уланбекова цивилизована сравнительно, напримѣръ, съ Брусковымъ, но въ сущности съ тѣми же требованіями и съ тѣмъ же характеромъ. Живыя натуры угнетаемой стороны пускаются въ плутни для своего обезпеченія, а неживыя стараются своей неподвижностью и покорностью заслужить себѣ милость самодура и капельку живой воды (которую онъ, впрочемъ, даетъ имъ очень рѣдко, чтобы не слишкомъ оживились).

Изъ этихъ короткихъ и простыхъ изображеній нетрудно понять, почему тяжесть самодурныхъ отношеній въ этомъ „темномъ царствѣ“ обрушивается всего болѣе на женщинъ. Мы обѣщали въ прошедшей статьѣ обратить вниманіе на рабское положеніе женщины въ русской семьѣ, какъ оно является въ комедіяхъ Островскаго. Мы, кажется, достаточно указали на него въ настоящей статьѣ; остается намъ сказать нѣсколько словъ о его причинахъ и указать при этомъ на одну комедію, о которой до сихъ поръ мы не говорили ни слова—на *Бѣдную невѣсту*.

По устройству нашего общества женщина почти вездѣ имѣетъ совершенно то же значеніе, какое имѣли паразиты въ древности: она вѣчно должна жить на чужой счетъ. Понятно, какое обидное мнѣніе о женщинѣ складывается въ обществѣ... Правда, что на чужой счетъ живутъ и сами домовладыки этого „темнаго царства“, подобные Брускову, Большову и пр. Но тѣ упорно держатъ за собою какое-то, никѣмъ не выговоренное, но всѣми признанное *право* паразитунеядство. Притомъ они оправдываются даже правилами

политической экономіи: у нихъ есть капиталъ (откуда и какъ онъ добытъ,—до этого ужъ что за дѣло!), и они по праву пользуются процентами... А если проценты эти въ торговлѣ ихъ и оказываются нѣсколько чрезмѣрны, то опять въ этомъ никто невиноватъ: значитъ, конкуренція слаба. Наконецъ, надо и то разсуждать: самодуръ, по общему сознанію и по его собственному убѣжденію, есть начало, центръ и глава всего, что вокругъ него дѣлается; значитъ, хоть бы онъ собственно-самъ и ничего не дѣлалъ, но зато дѣятельность другихъ принадлежитъ ему. Отъ него, вѣдь, даются право и способы къ дѣятельности; безъ него остальные люди ничтожны, какъ говоритъ Юсовъ въ *Доходномъ мѣстѣ*: „Обратили на тебя вниманіе, ну, ты и человѣкъ, дышишь; а не обратили,—что ты?“ Такъ, стало-быть, о бездѣятельности самихъ самодуровъ и говорить нечего. Надо говорить о другой половинѣ „темнаго царства“, о той, которую мы назвали угнетаемою. Тутъ всѣ трудятся болѣе или менѣе. Конечно, трудъ этотъ несвободенъ, несамостоятеленъ; трудящіеся во всемъ зависятъ отъ прихоти самодуровъ и часто принуждены дѣлать вовсе не то, что слѣдуетъ, и что имъ хочется... Вспомнимъ, какъ Андрюша Брусковъ порывается учиться, какъ Митя стремится къ тому, чтобы „образовать себя“, и какъ имъ это не удается. Они, стало-быть, тоже очень стѣснены въ своей дѣятельности, и именно вслѣдствіе необезпеченности своего положенія, вслѣдствіе зависимости ихъ матеріальныхъ средствъ отъ первой прихоти самодура... Но все-таки они еще могутъ надѣяться, что и самодуръ не вдругъ ихъ прогонитъ и броситъ: все же они что-нибудь дѣлаютъ и приносятъ пользу самодуру... Положимъ, Торцовъ не дорожитъ приказчиками, такъ же, какъ Вышневскій въ *Доходномъ мѣстѣ* чиновниками, и можетъ ихъ мѣнять каждый день. Но на мѣсто смѣненныхъ надо же кого-нибудь опредѣлить; слѣдовательно, Торцовъ имѣетъ вообще нужду въ людяхъ и, слѣдовательно, хоть вслѣдствіе своего консерватизма, не будетъ зря гонять тѣхъ, которые ему не противятся, а угождаютъ. Притомъ же и самыя занятія мужчины, какъ бы они ни были второстепенны и зависимы, все-таки требуютъ извѣстной степени развитія, и потому кругъ знаній мальчика, съ самаго дѣтства, даже въ понятіяхъ самихъ Брусковыхъ, предполагается гораздо обширнѣе, чѣмъ для дѣвочки. Андрюша Брусковъ, напр., по фабрикѣ у отца—

первый; для этого надо же ему было хоть посмотрѣть на что-нибудь, если ужъ не учиться систематически, какъ слѣдуетъ. А о дочеряхъ мать этого же Андрюши говоритъ очень наивно: „Что дочери! *Дочерей и запереть можно, да и хлопотъ съ ними меньше,—ни учить, ни что*". За дочерьми, по ея мнѣнію, только и нуженъ присмотръ, чтобъ ихъ отъ парней уберечь до замужества; а тамъ уже мужъ будетъ беречь свою жену отъ постороннихъ... Во всѣхъ, до сихъ поръ разсмотрѣнныхъ нами, комедіяхъ Островскаго мы видѣли, какъ всѣ обитатели его „темнаго царства" выражаютъ полнѣйшее пренебреженіе къ женщинѣ, которое тѣмъ болѣе безнадежно, что совершенно добродушно. Тутъ нѣтъ даже и такого раздраженія, съ какимъ, напр., одинъ господинъ отдѣлывалъ купца, осмѣлившагося писать о крестьянскомъ вопросѣ. Въ такомъ раздраженіи, какъ оно ни высокомѣрно, все-таки видно боязливое вниманіе, какое-то смутное сознаніе, что въ противной сторонѣ все-таки кроется нѣкоторая сила; тонъ пренебреженія здѣсь искусственъ. Ничего подобнаго нѣтъ въ тонѣ отношеній мужей къ женамъ и отцовъ къ дочерямъ въ „темномъ царствѣ" комедій Островскаго. Эти господа не раздражаются, не возстаютъ серіозно противъ значенія женщины; они позволяютъ своимъ женамъ даже спорить съ собою... Но просто они не могутъ помѣстить въ головѣ мысли, что женщина есть тоже человѣкъ, равный имъ, имѣющій свои права. Да этого и сами женщины не думаютъ. „Ужъ что женщина! курица не птица, женщина не человѣкъ",—повторяютъ онѣ вмѣстѣ съ Ничкиной въ *Праздничномъ снѣ*. Она сама ничего не дѣлаетъ, ничего не пріобрѣтаетъ, не играетъ никакой роли въ обществѣ, не составляетъ никакой инстанціи въ дѣлахъ. Что бы она ни была, все она только по отцѣ да по мужѣ... И она безропотно покоряется этому, находя, что такъ быть должно, такъ ужъ испоконъ вѣку заведено, и, стало-быть, судьба ужъ такая... Слабыя попытки ея выказать свое значеніе ограничиваются только развѣ разговорами, подобными слѣдующему разговору Улиты Никитишны съ Карпомъ Карпычемъ, въ *Не сошлись характерами*. Мы приводимъ этотъ разговоръ, потому что въ немъ, кромѣ подтвержденія нашей мысли, находимъ одинъ изъ примѣровъ того мастерства, съ какимъ Островскій умѣетъ передавать неуловимѣйшія черты пошлости и тупоумія, повсюду разлитыхъ въ этомъ „темномъ

царствѣ“ и служащихъ, вмѣстѣ съ самодурствомъ, главнымъ основаніемъ его быта.

Улита Никитишна (*заваривая чай*). Нынче все муаръ антикъ въ моду пошелъ.

Карпъ Карпычъ. Какой это муаръ антикъ?

Улита Никитишна. Такая матерія.

Карпъ Карпычъ. Ну, и пущай ее.

Улита Никитишна. Да я такъ... Вотъ кабы Серафимочка замужъ вышла, такъ ужъ сшила бы себѣ, кажется... Всѣ дамы носятъ.

Карпъ Карпычъ. А ты нешто дама?

Улита Никитишна. Обнакновенно дама.

Карпъ Карпычъ. Да вотъ можешь ты чувствовать,—не могу я слышать этого слова... когда ты себя дамой называешь.

Улита Никитишна. Да что же такое за слово: — дама? что въ немъ... (*ищетъ слова*) постыднаго.

Карпъ Карпычъ. Да коли не люблю! Вотъ тебѣ и сказъ!

Улита Никитишна. Ну, а Серафимочка дама?

Карпъ Карпычъ. Извѣстно—дама: та ученая, да за бариномъ была. А ты что? Все была баба, а какъ мужъ разбогатѣлъ, дама стала. А ты своимъ умомъ дойди.

Улита Никитишна. Да нѣтъ! Все-таки... какъ же!

Карпъ Карпычъ. Сказано—молчи, ну и баста! (*Молчаніе.*)

Улита Никитишна. Когда это было страженіе?

Карпъ Карпычъ. Какое страженіе?

Улита Никитишна. Ну, вотъ недавно-то. Развѣ не помнишь, что ли.

Карпъ Карпычъ. Такъ что же?

Улита Никитишна. Такъ много изъ простого званія въ офицеры произошли.

Карпъ Карпычъ. Вѣдь, не бабы же. За свою службу каждый получаетъ, что соотвѣтственно.

Улита Никитишна. А какъ же вотъ къ намъ мѣщанка ходитъ, такъ говорила, что когда племянникъ курсъ выдержитъ, такъ и она будетъ благородная.

Карпъ Карпычъ. Да, дожидайся.

Улита Никитишна. А говорятъ, въ какихъ-то земляхъ изъ женщинъ полки есть.

Карпъ Карпычъ (*смѣется.*) Гвардія! (*Молчаніе.*)

Улита Никитишна. Говорятъ, грѣшно чай пить.

Карпъ Карпычъ. Это еще отчего?

Улита Никитишна. Потому—изъ некрещеной земли идетъ.

Карпъ Карпычъ. Мало ли что изъ некрещеной земли идетъ.

Улита Никитишна. Вотъ тебѣ примѣръ: хлѣбъ изъ крещеной земли, мы его и ѣдимъ во́-время; а чай — когда пьемъ? Люди къ обѣднѣ, а мы за чай; вотъ теперь вечерня, а мы за чай. Вотъ и значитъ грѣхъ.

Карпъ Карпычъ. А ты пей во́-время.

Улита Никитишна. Нѣтъ, все-таки...

Карпъ Карпычъ. Все-таки молчи. Ума у тебя нѣтъ, а разговаривать любишь. Ну, и молчи! (*Молчаніе.*)

Улита Никитишна. Какая Серафимочка у насъ счастливая! Была за бариномъ—барыня стала; и овдовѣла—все-таки барыня. А какъ теперь, если за князя выйдетъ, такъ, пожалуй, княгиня будетъ.

Карпъ Карпычъ. Все-таки по мужѣ.

Улита Никитишна. Ну, а какъ Серафимочка за князя выйдетъ, неужто я такъ-таки ничего? Вѣдь, она мое рожденіе.

Карпъ Карпычъ. Съ тобой говорить, только мысли въ головѣ разбивать. Я, было, объ дѣлѣ задумалъ, а ты тутъ съ разговоромъ да съ глупостями. Вѣдь, вашего бабья разговору всю жизнь не переслушаешь. А сказать тебѣ: молчи!—такъ вотъ дѣло-то короче будетъ.

Послѣ этого разговора Карпъ Карпычъ замѣчаетъ просебя, что, „кабы на бабъ да не страхъ, съ ними бы и не сообразилъ"... Все, говоритъ, соблазняютъ мужчинъ, и „молодой человѣкъ, который и неопытный, можетъ польститься на ихъ прелесть, а человѣкъ, который въ разумъ входитъ и въ лѣта постоянныя, для того женская прелесть ничего не значитъ, даже скверно...". Съ этой стороны всѣ и смотрятъ на женщину въ „темномъ царствѣ", да еще и то считаютъ за одолженіе... Женщинъ не продаютъ такъ открыто на рынкахъ, какъ дѣлали на Востокѣ, но нельзя сказать, чтобъ ихъ не продавали вовсе. И даже способъ продажи все еще довольно циниченъ и безстыденъ, какъ это можно видѣть на нѣсколькихъ экземплярахъ свахъ, выведенныхъ Островскимъ въ разныхъ его комедіяхъ. Мы не будемъ останавливаться на этихъ лицахъ, потому что и такъ уже давно злоупотребляемъ терпѣніемъ читателя; но не можемъ не указать на сцены сватанья въ *Бѣдной невѣстѣ*. Вся эта пьеса отличается совершенною простотой и обыденностью и отсутствіемъ всякихъ рѣзкихъ чертъ, подобныхъ, напримѣръ, разсужденіямъ вдовы Кукушкиной въ *Доходномъ мѣстѣ*. Но тѣмъ не менѣе сватанье дѣвушки, заботы матери о ея выдачѣ, разговоры о женщинахъ—все это можетъ навести ужасъ на человѣка, который задумается надъ комедіей... Анна Петровна, мать Марьи Андреевны,—женщина слабая, сырая, позабывчивая, какъ она сама себя рекомендуетъ. Каждый ея шагъ ясно доказываетъ, что она выросла и прожила большую часть жизни тоже подъ какимъ-то гнетомъ, отнявшимъ у нея всякую способность и вкусъ къ самостоятельной дѣятельности. Она ничего сообразить не можетъ, не знаетъ, къ кому обратиться и чѣмъ взяться, суетится и мечется безъ всякаго толку и все жалуется на дочь, что та долго замужъ не выходитъ. Созна-

вая свое полное ничтожество, она твердитъ безпрестанно: „Какъ это безъ мужчины въ домѣ, ужъ я и не знаю... Что мы знаемъ тутъ, сидя-то... Вотъ, будочникъ бумагу какую-то приносилъ. Кто ее тамъ разберетъ? Вотъ, поди жъ ты, женское-то дѣло какое! Такъ и ходишь, какъ дура... Вотъ, цѣлое утро денегъ не сочту... Какъ это безъ мужчины, это я ужъ и не знаю; тутъ и безъ бѣды бѣда". Какъ видите, это ужъ такое ничтожество, что предъ мужемъ или кѣмъ бы то ни было посильнѣе она, вѣроятно, и пикнуть не смѣла. Но воздухъ самодурства и на нее повѣялъ, и она безъ пути, безъ разума распоряжается судьбою дочери, бранитъ, попрекаетъ ее, напоминаетъ ей долгъ послушанія матери и не выказываетъ никакихъ признаковъ того, что она понимаетъ, что́ такое человѣческое чувство и живая личность человѣка. Все это—прямые и несомнѣнные признаки самодурной закалки, доказывающіе только, какъ она легко пристаетъ даже къ самымъ неспособнымъ. Для самодурства, какъ видно, нѣтъ ни пола, ни возраста, ни званія. Женщины, вообще такъ забитыя и презрѣнныя въ „темномъ царствѣ", могутъ тоже самодурничать, да еще какъ! Примѣръ—Уланбекова... Мальчишки и старики, купцы, чиновники, помѣщики—всѣ, кто хотите, начинаютъ, при первой возможности, самодурничать... Человѣкъ всѣми презрѣнъ, тысячу разъ битъ и оплеванъ, предъ всѣми трепещетъ, кажется, ужъ такое смиренномудріе, что воды не замутитъ!.. Но заведись у него хоть одинъ сынишка или попади къ нему въ руки воспитанникъ, слуга, подчиненный -- онъ немедленно начнетъ надъ ними самодурничать, не переставая въ то же время дрожать передъ каждымъ встрѣчнымъ, который ему не кланяется... Такъ ужъ устроено „темное царство", таковы уставы его іерархіи; тутъ личный характеръ человѣка даже мало и значенія-то имѣетъ... „Больше все дѣлается отъ необузданности, а то и отъ „глупости", какъ выражается Бородкинъ.

Въ первой статьѣ о „темномъ царствѣ" мы старались показать, какимъ образомъ самыя тяжкія преступленія совершаются въ немъ и самыя безчеловѣчныя отношенія установляются между людьми—безъ особенной злобы и ехидства, а просто по тупоумію и закоснѣлости въ данныхъ понятіяхъ, крайне ограниченныхъ и смутныхъ. Напоминая объ этомъ читателямъ, мы замѣтимъ здѣсь только, что

Анна Петровна представляетъ собою одно изъ очень яркихъ проявленій этой *безнравственности по глупости*. Ея отношенія къ дочери глубоко безнравственны: она каждую минуту пилитъ Машеньку и доводитъ ее до страшнаго нервическаго раздраженія, до истерики, своими безпрерывными жалобами и попреками: „Я тебя растила, я тебя холила, а ты вотъ чѣмъ платишь!.. Ты хочешь свой капризъ выдержать и нейдешь замужъ, а мать тутъ плачь на старости лѣтъ... Вѣдь, у насъ ничего нѣтъ; куда я на старости дѣнусь,—въ кухарки мнѣ, что ли итти? Ты только повѣсничать любишь, а мать позабыла, для матери ничего не хочешь сдѣлать... Что жъ, авось добрые люди найдутся, не оставятъ старуху!..“ Такія рѣчи повторяются передъ Марьею Андреевной постоянно, каждый день и каждый часъ. Какова же эта мать, имѣющая до такой степени барышническій взглядъ на дочь! Не ясны ли на ней черты самодурныхъ тенденцій, коснувшихся ея хоть слегка и вовсе несродныхъ ея характеру, но все-таки успѣвшихъ сдѣлать ее несносною для окружающихъ? Такая личность и такія отношенія должны возмущать душу... Но Анна Петровна обезоруживаетъ насъ своимъ необычайнымъ добродушіемъ и недальностью. Въ ней нѣтъ положительной безнравственности, а есть только отсутствіе нравственности, отсутствіе всякихъ гуманныхъ началъ въ ея организмѣ. Выдача дочери замужъ—ея мономанія; что съ этимъ прикажете дѣлать? А что она настаиваетъ на согласіи Маши выйти за Беневоленскаго, такъ это происходитъ отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, Беневоленскій возьмется хлопотать объ ихъ дѣлѣ въ сенатѣ, а во-вторыхъ, она не можетъ представить, чтобы дѣвушкѣ было не все равно, за кого ни выходить замужъ. Когда Машенька объявляетъ, что Беневоленскій ей противенъ, Анна Петровна даже сообразить этого никакъ не можетъ,—сначала не обращаетъ вниманія и говоритъ, что у Маши голова вздоромъ набита и что она сама двадцать разъ передумаетъ, а потомъ, послѣ вторичнаго отказа дочери, объясняетъ его тѣмъ, что „это только капризъ, только, чтобъ матери напротивъ что-нибудь сдѣлать“. Между тѣмъ, надо замѣтить, что она и сама Беневоленскаго вовсе не знаетъ и не одобряетъ. Въ заключительной сценѣ, когда уже все кончено, она хватилась за умъ—сказать Машѣ: „Нравится ли онъ тебѣ? Признаться сказать, скоренько дѣло-то сдѣлали

кто его знаетъ,—въ него не влѣзешь". Что́ станете дѣлать съ такою наивностью? Даже и сердиться нельзя на нее... Только диву даешься, и еще грустнѣе оглянешься на ту среду, въ которой вырастаютъ и прозябаютъ подобные субъекты...

Въ этой-то средѣ и мается Марья Андреевна, простенькая и малоразвитая дѣвушка, но съ натурой очень деликатною и благородною. Мается она всего больше оттого, что мать торопится ее съ рукъ сбыть и, не довольствуясь свахами, сама хлопочетъ во всѣ стороны насчетъ жениховъ. До какой степени соблюдается деликатность во всемъ этомъ, видно, напримѣръ, изъ письма, которое пишетъ къ Аннѣ Петровнѣ ея пріятель, добрый старичокъ Добротворскій.

„Насчетъ того пункта, о которомъ вы меня просили,—пишетъ онъ,—я въ назначенномъ вами присутственномъ мѣстѣ былъ: холостыхъ чиновниковъ для Марьи Андреевны достойныхъ нѣтъ; есть одинъ, но я сомнѣваюсь, чтобъ оный вамъ понравился, ибо очень великъ ростомъ—весьма много выше обыкновеннаго—и рябой. Но, по справкамъ моимъ отъ секретаря и прочихъ его сослуживцевъ, оказался нравственности хорошей и непьющій, что, какъ мнѣ извѣстно, вамъ весьма желательно. Не прикажите ли посмотрѣть въ другихъ присутственныхъ мѣстахъ, что и будетъ мною исполнено съ величайшимъ удовольствіемъ".

И это письмо Анна Петровна заставляетъ читать самое Машеньку! Понятно, что бѣдная дѣвушка обидѣлась; но мать никакъ не можетъ понять, чѣмъ тутъ обижаться!

А изъ-за чего же терпитъ несчастная всѣ эти оскорбленія? Что ее держитъ въ этомъ омутѣ? Ясно, что: она *бѣдная невѣста*, ей некуда дѣваться, нечего дѣлать, кромѣ какъ ждать или искать выгоднаго жениха. Замужество—это ея должность, работа, карьера, назначеніе жизни. Какъ поденщикъ ищетъ работы, чиновникъ—мѣста, нищій—подаянія, такъ дѣвушка должна искать жениха... Надъ этимъ смѣются современные либералы; но интересно бы знать,—что же, въ самомъ дѣлѣ, станетъ у насъ дѣлать дѣвушка, не вышедшая замужъ? Если подумать, такъ и окажется, что Анна Петровна очень резонно говоритъ: „Что такое незамужняя женщина? Ничего!.. Что она значитъ? Ужъ и вдовье-то дѣло плохо, а дѣвичье-то ужъ и совсѣмъ нехорошо! Женщина должна жить съ мужемъ, хозяйничать, воспитывать дѣтей, а ты что жъ будешь дѣлать-то старою дѣвкой? Чулокъ вязать!.." Слова эти глупо-справедливы, и они-то могутъ служить довольно категорическимъ отвѣтомъ на то, почему

у насъ женщина въ семьѣ находится въ такомъ рабскомъ положеніи и почему самодурство тяготѣетъ надъ нею съ особенною силой.

Нѣкоторую самостоятельность можетъ она пріобрѣсти, если имѣетъ въ своихъ рукахъ деньги. Эту сторону женской жизни изобразилъ Островскій въ пьесѣ *Не сошлись характерами*. Изящный Поль является чрезвычайно внимательнымъ и покорнымъ къ женѣ, надѣясь выпросить у нея денегъ. Но и сами деньги какъ-то не то значатъ въ рукахъ женщины, что у мужчины. Понятіе о богатствѣ какого-нибудь самодура довольно скоро срастается съ понятіемъ о его личности, потому, вѣроятно, что все-таки онъ самъ своими деньгами распоряжается и пускаетъ ихъ въ ходъ. Поэтому, входя въ сношенія съ богачомъ, всякій старается какъ можно болѣе *участвовать* въ его выгодахъ; заводя же сношенія съ женщиной, имѣющею деньги, прямо уже хлопочутъ о томъ, чтобы завладѣть ея достояніемъ. Сама же личность женщины остается безъ всякаго значенія. Это очень хорошо понимаетъ Серафима Карповна, вѣрная наставленіямъ своего родителя. Выходя замужъ, она заранѣе обѣщаетъ не давать денегъ мужу, говоря: „Что жъ я буду тогда безъ капиталу? я ничего не буду значить",—на что родитель отвѣчаетъ многозначительнымъ „обнаковенно!.." И по выходѣ замужъ она сдерживаетъ свое обѣщаніе: когда мужъ попросилъ у нея денегъ, она уѣхала къ папенькѣ, а мужу прислала письмо, въ которомъ, между прочимъ, излагалась такая философія:

„Что я буду значить, когда у меня не будетъ денегъ?—тогда я ничего не буду значить! Когда у меня не будетъ денегъ,—я кого полюблю, а меня, напротивъ того, не будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги,—я кого полюблю, и меня будутъ любить, и мы будемъ счастливы"...

И вѣдь, справедливо разсуждаетъ Серафима Карповна!..

Но и это, вѣдь, еще рѣдкій случай, чтобы къ женщинѣ въ руки деньги попадали. Для этого надо, чтобъ она рано овдовѣла отъ богатаго мужа. А то—съ какой стати къ ней попадутъ деньги? Да и что она съ ними сдѣлаетъ? Разбросаетъ по моднымъ магазинамъ, либо раздастъ по монастырямъ, смотря по лѣтамъ и наклонностямъ. Больше она ничего не въ состояніи сдѣлать. Лучше же ихъ употребить на что-нибудь практически-путное... И по закону-то ей въ наслѣдство идетъ только четырнадцатая часть, а ежели

мимо закона, такъ и того не слѣдуетъ... Все равно, вѣдь, не удержатся у неё денежки... Развѣ-что жениха себѣ купитъ хорошаго... Да и того почти никогда не бываетъ. Въ женихи къ богатымъ невѣстамъ все являются Вихоревы, Баранчевскіе, Бальзаминовы, Прежневы... Всѣ эти господа принадлежатъ къ той категоріи, которую опредѣляетъ Неуѣденовъ въ *Праздничномъ снѣ*:

„Другой сунется въ службу, въ какую бы то ни на есть, послужитъ безъ году недѣлю, повиляетъ хвостомъ, видитъ—не тяга, умишка-то не хватаетъ, учился-то плохо, двухъ перечесть не умѣетъ, лѣнь-то прежде его родилась, а побарствовать-то хочется: вотъ, и онъ пойдетъ бродить по улицамъ да по гуляньямъ,—не объявится ли какая дура съ деньгами"...

Дѣйствительно, всѣ эти господа красивы и глупы такъ, что о нихъ вспоминать тошно; большею частью они или служили, или желаютъ служить въ военной службѣ, имѣютъ наклонности къ самодурству и очень любятъ, когда ихъ считаютъ образованными людьми. Но ихъ невѣжество во всѣхъ отношеніяхъ равняется темнотѣ самихъ самодуровъ. и только благодаря самодурной системѣ—запрещать учиться низшимъ и особенно женщинамъ, могутъ они не казаться смѣшными въ этой средѣ. Разбирая *Не въ свои сани не садись*, мы уже достаточно говорили о томъ, почему Авдотья Максимовна могла увлечься Вихоревымъ. Здѣсь прибавимъ только указаніе на подобное же отношеніе Марьи Андреевны къ Меричу въ *Бѣдной невѣстѣ*. Мы заранѣе отстранили отъ себя разборъ частныхъ художественныхъ достоинствъ въ сценахъ и лицахъ комедій Островскаго; поэтому не будемъ разбирать въ подробности и характеръ Мерича. Но не можемъ не замѣтить, что для насъ это лицо изумительно по мастерству, съ какимъ Островскій умѣлъ въ немъ очертить приличнаго, не злого, не отвратительнаго, но съ ногъ до головы пошлаго человѣка. Это не есть сколокъ съ одного изъ тѣхъ типовъ, которыхъ нѣсколько экземпляровъ представлено въ лучшихъ нашихъ литературныхъ произведеніяхъ: онъ не Онѣгинъ, не Печоринъ, не Грушницкій даже, даже вообще не *лишній человѣкъ*. У тѣхъ все-таки есть внутри что-то такое, что они считаютъ своимъ достояніемъ, чѣмъ дорожатъ, чѣмъ воображаютъ себя серіозно проникнутыми. Бѣда только въ томъ, что они мелковаты натурою и лишены серіознаго развитія, такъ что ничто не можетъ пройти въ глубину ихъ сознанія, ничему не могутъ они отдаться всею

душой. Но у Мерича даже и неглубокихъ-то убѣжденій нѣтъ: отъ него всякая истина, всякое серіозное чувство и стремленіе какъ-то отскакиваетъ; онъ какъ-будто не только никогда не жилъ сознательною жизнью, но даже вовсе и не понимаетъ, что́ бы это могло значить... Пошлость безконечная, ничѣмъ не усиленная, не подкрашенная, а настоящая въ натурѣ пошлость—отражается въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ его движеніи... И въ этого человѣка влюбляется неглупая дѣвушка, съ хорошими чувствами!.. Таковы неизбѣжныя послѣдствія самодурной системы воспитанія, считающей своимъ долгомъ—какъ можно больше вязать и сжимать молодую натуру и какъ можно долѣе оставлять ее въ непроглядномъ мракѣ...

Марья Андреевна бѣдна, и Меричъ, разумѣется, на ней не женится: онъ принадлежитъ тоже къ числу тѣхъ, которымъ нужны богатыя невѣсты. Но бываютъ въ „темномъ царствѣ" и такіе случаи, что неразумные бѣдняки женятся на бѣдныхъ дѣвушкахъ... И тутъ-то начинается адъ кромѣшный!.. Адъ этотъ хорошо изображенъ Островскимъ въ *Доходномъ мѣстѣ*. Читатели наши, конечно, помнятъ исторію молодого Жадова, который, будучи племянникомъ важной особы, раздражаетъ дядю своимъ либерализмомъ и лишается его благосклонности, а потомъ, женившись на хорошенькой и доброй, но бѣдной и глупой Полинѣ и потерпѣвши нѣсколько времени нужду и упреки жены, приходитъ опять къ дядѣ—уже просить доходнаго мѣста. Изложеніе семейныхъ отношеній и указаніе ихъ вліянія на общественную дѣятельность представляются намъ лучшею стороной этой комедіи. А затѣмъ любопытна внутренняя, душевная сторона жизни этихъ людей, которыхъ мы офиціально такъ презираемъ и клеймимъ названіями крючкотворцевъ и взяточниковъ. Здѣсь въ полной силѣ выразилось одно изъ главныхъ свойствъ таланта Островскаго—умѣнье заглянуть въ душу человѣка и изобразить его человѣческую сторону, независимо отъ его офиціальнаго положенія. Объ этомъ много уже говорили мы, разбирая *Своихъ людей*, и потому теперь укажемъ только на нѣкоторыя черты, относящіяся спеціально къ чиновникамъ. Благодушіе и особеннаго рода совѣстливость взяточниковъ рисуются нѣсколькими бѣглыми чертами еще въ *Бѣдной невѣстѣ*, въ лицѣ добряка Добротворскаго. Но въ *Доходномъ мѣстѣ* черты эти гораздо ярче въ Юсовѣ

и Бѣлогубовѣ. Лица эти прямо наводятъ насъ на мысль, что всѣ ихъ беззаконія—чисто слѣдствія ложнаго ихъ положенія въ обществѣ и ложныхъ понятій, пріобрѣтенныхъ вслѣдствіе фальшивости положенія. А ложное положеніе ихъ есть опять-таки послѣдствіе одной общей причины всѣхъ гадостей „темнаго царства"—самодурства. Въ сферѣ чиновнической оно еще гаже и возмутительнѣе, чѣмъ въ купеческой, потому что здѣсь дѣло постоянно идетъ объ общихъ интересахъ и прикрывается именемъ права и закона. Кромѣ того, здѣсь мы видимъ уже безчисленное множество оттѣнковъ и степеней; и чѣмъ выше, тѣмъ самодурство становится наглѣе внутренно и гибельнѣе для общаго блага, но благообразнѣе и величавѣе въ своихъ формахъ. Съ Юсовымъ, когда онъ былъ мальчишкой, мелкіе чиновники обращались, какъ съ собачонкой; Юсовъ съ Бѣлогубовымъ обращается уже не столько грубо; Вышневскій же говоритъ съ Юсовымъ такимъ достойнымъ тономъ, что нужно только благоговѣть, а шокироваться вовсе нечѣмъ. Но, въ сущности, вся бѣда въ вѣдомствѣ Вышневскаго оттого и происходитъ, что онъ самъ зараженъ самодурствомъ, а за нимъ ужъ и всѣ. Законовъ никакихъ никто не признаетъ; честности никто въ толкъ взять не можетъ, ума не опредѣляютъ иначе, какъ способностью пажиться, главною добродѣтелью признаютъ смиреніе предъ волею старшихъ. Юсовъ простодушно признаетъ, что онъ гордости ни съ кѣмъ не имѣетъ, только, вотъ, верхоглядовъ не любитъ, нынѣшнихъ образованныхъ-то.

„Съ этими,—говоритъ,—я строгъ и взыскателенъ; у меня правило—всячески ихъ тѣснить для пользы службы: потому отъ нихъ вредъ".

Немудрено въ немъ такое воззрѣніе, потому что онъ самъ

„...года два былъ на побѣгушкахъ, разныя комиссіи исправлялъ: и за водкой-то бѣгалъ, и за пирогами, и за квасомъ,—кому съ похмелья,—и сидѣлъ-то не на стулѣ, а у окошка, на связкѣ бумагъ, и писалъ-то не изъ чернильницы, а изъ старой помадной банки,—и вотъ вышелъ въ люди",—и теперь признаетъ, что все это не отъ насъ, свыше"...

И онъ не по злобѣ и не по плутовству тѣснитъ образованныхъ людей, а у него ужъ въ самомъ дѣлѣ такое убѣжденіе сложилось, что отъ нихъ вредъ для службы... То же убѣжденіе передано и Бѣлогубову, который говоритъ: „что за польза и отъ ученья, когда въ человѣкѣ страху нѣтъ,—трепету передъ начальствомъ". Да иначе думать они и не могутъ, потому что все, ихъ окружающее, на каждомъ шагу подтверждаетъ ихъ мнѣніе. Даже тѣ *образованные*, которые

спорятъ съ ними,—какъ часто они собственнымъ же поведеніемъ обличаютъ свою неправоту! Такъ случилось и съ Жадовымъ. Сначала Бѣлогубовъ какъ-то ежился передъ Жадовымъ и признавалъ какую-то силу въ его умственномъ превосходствѣ. Онъ смутно ощущалъ, что унижаться и подличать, зависѣть отъ первой прихоти и отказаться отъ своей воли—не всегда пріятно. Видя, что Жадовъ гораздо свободнѣе и независимѣе въ своихъ поступкахъ, Бѣлогубовъ почти завидовалъ ему. На вопросъ своей невѣсты, почему онъ откладываетъ свадьбу, когда Жадовъ своей не откладываетъ, онъ отвѣчалъ:

„Совсѣмъ другое дѣло-съ. У него дяденька богатый-съ, *да и самъ онъ образованный человѣкъ, вездѣ можетъ мѣсто имѣть. Хоть и въ учители пойдетъ—все хлѣбъ-съ. А я что-съ? Пока не дадутъ мѣста столоначальника ничего не могу-съ*“...

Но, получивши это мѣсто, между тѣмъ какъ Жадовъ и свое-то потерялъ, Бѣлогубовъ начинаетъ уже чувствовать самодовольное сожалѣніе къ Жадову, которое и выражаетъ ему при встрѣчѣ въ трактирѣ. Что же въ самомъ дѣлѣ, къ чему послужило Жадову *ученье безъ трепета?* Только къ тому, что онъ мучился самъ, мучилъ цѣлый годъ жену свою и, наконецъ, пошелъ же къ дядѣ просить Бѣлогубовскаго мѣста... И дядя подѣломъ его отчистилъ...

„Вотъ,—говоритъ,—они, герои-то! Молодой человѣкъ, который кричалъ на всѣхъ перекресткахъ про взяточниковъ, говорилъ о какомъ-то новомъ поколѣніи,—идетъ къ нимъ же просить доходнаго мѣста, чтобъ брать взятки!.. Хорошо новое поколѣніе!“

Вообще Вышневскій, утвердившись на своей точкѣ зрѣнія statu quo, чрезвычайно логически разбиваетъ впрахъ всѣ благородныя фразы Жадова и, какъ дважды-два—четыре, доказываетъ ему, что, при настоящемъ порядкѣ вещей, невозможно честнымъ образомъ обезпечить себя и свое семейство. Честные способы пріобрѣтенія слишкомъ ничтожны, да и тѣхъ еще не дадутъ тому, кто не захочетъ угождать, а будетъ противорѣчить. И это, вѣдь, не бѣдственная случайность, а тяжкая необходимость, вытекающая прямо и неизбѣжно изъ системы самодурства, развитой въ „темномъ царствѣ“. „Будь хоть семи пядей во лбу, но если вамъ не нравится, то останется въ ничтожествѣ; и самъ виноватъ: зачѣмъ не умѣлъ заслужить вашей милости“. Вотъ и всѣ права и вся философія „темнаго царства“! И вовсе не удивительно, если Юсовъ, узнавъ, что все вѣдомство Вышнев-

скаго отдано подъ судъ, выражаетъ искреннее убѣжденіе, что это „по грѣхамъ нашимъ—*наказаніе за гордость*“... Вышневскій то же самое объясняетъ, только нѣсколько раціональнѣе: „моя быстрая карьера,—говоритъ,—и замѣтное обогащеніе вооружили противъ меня сильныхъ людей...“ И, сходясь въ этомъ объясненіи, оба администратора остаются затѣмъ совершенно спокойны совѣстью, относительно законности своихъ дѣйствій... Да и отчего бы не быть имъ спокойными, когда ихъ дѣятельность, равно какъ и всѣ ихъ понятія и стремленія, такъ гармонируютъ съ общимъ ходомъ дѣлъ и устройствомъ „темнаго царства“?..

„Но вѣдь есть же какой-нибудь выходъ изъ этого мрака?.. Островскій, такъ вѣрно и полно изобразивши намъ „темное царство“, показавши намъ все разнообразіе его обитателей и давши намъ заглянуть въ ихъ душу, гдѣ мы успѣли разглядѣть нѣкоторыя человѣческія черты, долженъ былъ дать намъ указаніе и на возможность выхода на вольный свѣтъ изъ этого темнаго омута... Иначе—вѣдь это ужасно — мы остаемся въ неразрѣшимой дилеммѣ: или умереть съ голоду, броситься въ прудъ, сойти съ ума,—или же убить въ себѣ мысль и волю, потерять всякое нравственное достоинство и сдѣлаться раболѣпнымъ исполнителемъ чужой воли, взяточникомъ, мошенникомъ, для того, чтобы безмятежно провести жизнь свою... Если только къ этому приводитъ насъ вся художественная дѣятельность замѣчательнаго писателя, такъ это очень печально“.

Печально,—правда; но что же дѣлать? Мы должны сознаться: выхода изъ „темнаго царства“ мы не нашли въ произведеніяхъ Островскаго. Винить ли за это художника? Не оглянуться ли лучше вокругъ себя и не обратить ли свои требованія къ самой жизни, такъ вяло и однообразно плетущейся вокругъ насъ... Правда, тяжело намъ дышать подъ мертвящимъ давленіемъ самодурства, бушующаго въ разныхъ видахъ, отъ первой до послѣдней страницы Островскаго; но и окончивши чтеніе, и отложивши книгу въ сторону, и вышедши изъ театра послѣ представленія одной изъ пьесъ Островскаго,—развѣ мы не видимъ наяву вокругъ себя безчисленнаго множества тѣхъ же Брусковыхъ, Торцовыхъ, Улапбековыхъ, Вышневскихъ, развѣ не чувствуемъ мы на себѣ ихъ мертвящаго дыханія?.. Поблагодаримъ же художника за то, что онъ, при свѣтѣ своихъ яркихъ изображе-

ній, далъ намъ хоть осмотрѣться въ этомъ темномъ царствѣ. И то ужъ много значитъ... Выхода же надо искать въ самой жизни: литература только воспроизводитъ жизнь и никогда не даетъ того, чего нѣтъ въ дѣйствительности.

Впрочемъ, попытки освобожденія отъ тьмы бываютъ въ жизни: нельзя пройти мимо ихъ и въ комедіяхъ Островскаго. Только эти попытки ужасны, да притомъ и остаются все-таки только попытками. Лицъ, совершенно чистыхъ отъ житейской грязи, мы не находимъ у Островскаго.

Не хотимъ дѣлать никакихъ общихъ выводовъ о талантѣ Островскаго. Мы старались показать, *что и какъ* охватываетъ онъ въ русской жизни своимъ художническимъ чувствомъ, *въ какомъ видѣ* онъ передаетъ воспринятое и прочувствованное имъ и какое значеніе въ нашихъ понятіяхъ должно придавать явленіямъ, изображаемымъ въ его произведеніяхъ. Мы нашли у Островскаго полноту изображеній русской жизни, съ ея Подхалюзинскимъ сюртучкомъ, Вихоревскими перчатками, Наденькинымъ заплаканнымъ платочкомъ, Жадовскою тросточкой и съ Торцовскою самодурно-безобразною шапкой... Многаго мы не досказали, объ иномъ, напротивъ, говорили очень длинно; но пусть простятъ намъ читатели, имѣвшіе терпѣніе дочитать нашу статью. Виною того и другого былъ болѣе всего способъ выраженія,—отчасти метафорическій,—котораго мы должны были держаться. Говоря о лицахъ Островскаго, мы, разумѣется, хотѣли показать ихъ значеніе въ дѣйствительной жизни; но мы все-таки должны были относиться, главнымъ образомъ, къ произведеніямъ фантазіи автора, а не непосредственно къ явленіямъ настоящей жизни. Вотъ почему иногда общій смыслъ раскрываемой идеи требовалъ большихъ распространеній и повтореній одного и того же въ разныхъ видахъ,—чтобы быть понятнымъ и въ то же время уложиться въ фигуральную форму, которую мы должны были взять для нашей статьи, по требованію самого предмета... Нѣкоторыя же вещи никакъ не могли быть удовлетворительно переданы въ этой фигуральной формѣ, и потому мы почли лучшимъ пока оставить ихъ вовсе. Впрочемъ, тѣ выводы и заключенія, которыхъ мы не досказали здѣсь, должны сами-собою прійти на мысль читателю, у котораго достанетъ терпѣнія и вниманія до конца статьи.

Н. Добролюбовъ.

Изданія А. С. Панафидиной.

Москва, Покровка, Лялинъ переул., соб. домъ.

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

о произведеніяхъ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА.

Съ портретомъ, біографическимъ очеркомъ и примѣчаніями.
Составилъ **Н. ДЕНИСЮКЪ.**

Выпускъ первый (1856—1863 гг.).

Въ первый выпускъ вошли статьи: Н. Добролюбова, Н. Чернышевскаго, П. Анненкова, А. Дружинина, Е. Эдельсона и др.; статьи изъ „Отечественныхъ Записокъ", „Библіотеки для чтенія", „Голоса", „Сына Отечества", „Спб. Вѣдомостей", „Сѣверной Пчелы", „Русскаго Инвалида" и т. д. **М. 1905. Цѣна 1 руб.**

Помѣщенныя *въ первомъ выпускѣ* критическія статьи касаются слѣдующихъ произведеній Щедрина: „Губернскихъ очерковъ" („Неумѣлые", Обманутый подпоручикъ", „Княжна Анна Львовна", „Талантливыя натуры", „Матушка Мавра Кузьмовна", „Богомольцы, странники и проѣзжіе", „Сказка", „Порфирій Петровичъ", „Первый разсказъ подьячаго", „Второй разсказъ подьячаго", „Что такое коммерція?", „Выгодная женитьба", „Озорники", „Непріятное посѣщеніе", „Надорванные", „Въ острогѣ", „Праздники", „Женихъ", „Пріѣздъ ревизора", „Книга объ умирающихъ"), „Сатиръ въ прозѣ" („Литераторы-обыватели", „Г-жа Надейкова", „Погоня за счастьемъ", „Къ читателю", „Соглашеніе", „Погребенные заживо", „Скрежетъ зубовный", „Нашъ губернскій день", „Клевета", „Наши глуповскія дѣла") и „Невинныхъ разсказовъ".

Выпускъ второй (1864—1875 гг.).

Во второй выпускъ вошли статьи: Д. И. Писарева, А. М. Скабичевскаго, Н. К. Михайловскаго, В. П. Буренина, барона Н. А. Корфа, Герцо-Виноградскаго, В. Г. Авсѣенко, О. Миллера и др.; статьи изъ „Русскаго Слова", „Эпохи", „Спб. Вѣдомостей", „Вѣстника Европы", „Недѣли", „Новаго Времени", „Русскаго Міра", „Биржевыхъ Вѣдомостей", „Одесскаго Вѣстника", „Сына Отечества", „Искры", „Отечественныхъ Записокъ", „Гражданина", „Новостей" и т. д. **М. 1905. Цѣна 1 руб.**

Во второмъ выпускѣ разобраны слѣдующія произведенія Щедрина: „Признаки времени", „Письма о провинціи", „Ташкентцы приготовительнаго класса", „Сказки", „Исторія одного города", „Дневникъ провинціала въ Петербургѣ", „Благонамѣренныя рѣчи", „Губернскіе очерки", „Сатиры въ прозѣ", „Невинные разсказы", „Ташкентцы", „Помпадуры и помпадурши" и др.

Выпускъ третій (1876—1881 гг.).

Въ третій выпускъ вошли статьи: А. М. Скабичевскаго, В. В. Маркова, В. С. Соловьева, С. А. Венгерова, В. Буренина, Евг. Маркова, А. Введенскаго, Е. Утина и др.; статьи: изъ „Русскихъ Вѣдомостей", „Сына Отечества", „Недѣли", „Гражданина", „Современныхъ Извѣстій", „Биржевыхъ Вѣдомостей", „Молвы", „Дѣла", „Голоса", „Спб. Вѣдомостей", „Русскаго Міра", „Новаго Времени", „Новостей", „Сѣвернаго Вѣстника", „Русской Рѣчи", „Кіевлянина", „Вѣстника Европы" и т. д. **М. 1905. Цѣна 1 рубль.**

Въ третьемъ выпускѣ разработаны слѣдующія произведенія Щедрина: „Благонамѣренныя рѣчи", „Экскурсіи въ область умѣренности и аккуратности" („Дворянскія мелодіи", „На досугѣ", „День прошелъ—и слава Богу", „Тряпичкины-очевидцы", „Чужой толкъ"), „Круглый годъ", „За рубежомъ", „Господа Головлевы", „Современная идиллія" „Сборникъ" („Дѣти Москвы", „Похороны", „Дворянская хандра") и др.

Выпускъ четвертый (1882—1888 гг.).

Въ четвертый выпускъ вошли статьи: К. К. Арсеньева, А. И. Введенскаго, М. Протопопова, В. Буренина, П. К. Щебальскаго и др.; статьи: изъ „Вѣстника Европы", „Русскаго Вѣстника", „Вѣка", „Дѣла", „Новаго Времени", „Русской Мысли", „Гражданина" и т. д. **М. 1905 г. Цѣна 1 рубль.**

Въ четвертомъ выпускѣ разобраны слѣдующія произведенія Щедрина: „Письма къ тетенькѣ", „Современная идиллія", „Пошехонскіе разсказы", „Запутанное дѣло", „Губернскіе очерки", „Сатиры въ прозѣ", „Благонамѣренныя рѣчи", „За рубежомъ", „Признаки времени", „Письма о провинціи", „Господа Ташкентцы", „Дневникъ провинціала", „Помпадуры и помпадурши", „Дворянская мелодія", „Дворянская хандра", „Въ средѣ умѣренности и аккуратности", „Круглый годъ", „Сказки", „Пестрыя письма", „Пошехонская старина".

Выпускъ пятый (1889—1899 гг.).

Въ пятый выпускъ вошли статьи: А. Пыпина, Н. Михайловскаго, А. Скабичевскаго. К. Арсеньева, В. Чуйко, С. Трубачева, К. Ѳ. Головина (Орловскій), Н. Каблукова, Евг. Соловьева (Андреевичъ), Р. И. Сементковскаго и т. д. **М. 1905 г. Цѣна 1 рубль.**

Въ пятомъ выпускѣ разобраны слѣдующія произведенія Щедрина: „Журнальныя статьи, напечат. въ Современникѣ", „Письма къ тетенькѣ", „Благонамѣренныя рѣчи", „Круглый годъ", „За рубежомъ", „Пестрыя письма", „Мелочи жизни", „Ташкентцы", „Письма о провинціи", „Въ средѣ умѣренности и аккуратности", „Дневникъ провинціала", „Пошехонскіе разсказы", „Исторія одного города", „Помпадуры и помпадурши", „Господа Головлевы", „Пошехонская старина", „Губернскіе очерки", „Невинные разсказы", „Сатиры въ прозѣ", „Признаки времени", „Сказки".